

Джон Стейнбек

4

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

Джон Стейнбек

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

Том 4

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1989

84.7 США
С 79

Составление
и
общая редакция
С. С. И в а н ь к о

Иллюстрации художника
П. Н. П и н к и с е в и ч а

С $\frac{4703000000 - 1987}{080(02) - 89}$ 1987—89

© Издательство «Правда». 1989.
(Составление. Перевод: «Благостный четверг».
Историко-литературная справка. Иллюстрации.)

ЖЕМЧУЖИНА

«В городе рассказывают об одной огромной жемчужине — о том, как ее нашли и как ее снова лишились. Рассказывают о ловце жемчуга Кіно, и его жене Хуане, и о ребенке их Койотито. Историю эту передавали из уст в уста так часто, что она укоренилась в сознании людей. И как во всех историях, рассказанных и пересказанных множество раз и запавших в человеческое сердце, в ней есть только хорошее и дурное, только добро и зло, только черное и белое и никаких полутонов.

Если это притча, может быть, каждый поймет ее по-своему и каждый увидит в ней свою собственную жизнь. Как бы то ни было, в городе рассказывают, что...»

Ки́но проснулся в предутренней темноте. Звезды все еще сияли, и день просвечивал белизной только у самого горизонта в восточной части неба. Петухи уже перекликались друг с дружкой, и свиньи, спозаранку начавшие свои нескончаемые поиски, рылись среди хвороста и щепок в надежде, что где-нибудь отыщется не замеченное ими раньше съестное. За стенами тростниковой хижины, в зарослях опунций, чирикала и трепыхала крылышками стайка маленьких птиц.

Ки́но открыл глаза и посмотрел сначала на светящийся квадрат — это был вход в хижину, потом на подвешенный к потолку ящик, где спал Койотито. И наконец, он повернул голову к Хуане — к своей жене, которая лежала на циновке рядом с ним, прикрыв синей шалью поздри, грудь и спину. Глаза у Хуаны тоже были открыты. Ки́но не помнил, чтобы, проснувшись, он когда-нибудь не встретил взгляда Хуаны. Ее темные глаза поблескивали маленькими звездочками. Она смотрела на него, и так бывало всегда, когда он просыпался.

Ки́но слышал легкий всплеск утренней волны на берегу. Слушать это было приятно — Ки́но опять закрыл глаза, чтобы вникнуть в звучащую в нем музыку. Может быть, так делал только он один, а может быть, так делали все люди его народа. В давние времена люди его народа были великими слагателями песен, и, что бы они ни делали, что бы они ни слышали, о чем бы они ни думали — все претворялось в песнь. Это было очень давно. Песни остались и по сию пору; Ки́но знал их все, а новых песен не прибавлялось. Это не значит, что у каждого человека не было своей собственной песни. Вот и сейчас в голове у Ки́но звучала песнь, ясная, тихая, и если бы Ки́но мог рассказать о ней, он назвал бы ее Песнью семьи.

Ноздри у Ки́но были прикрыты краем одеяла, чтобы не дышать сырым воздухом. Его глаза блеснули в сторо-

ну — на легкий шорох. Это почти бесшумно вставала Хуана. Ступая крепкими босыми ногами по земляному полу, она подошла к ящику, где спал Койотито, и наклонилась над ним и сказала ему какое-то ласковое словечко. Койотито посмотрел на нее, закрыл глаза и снова уснул.

Хуана подошла к ямке для костра, откопала уголек и стала раздувать его, ломая и подкладывая в ямку сухие ветки.

Кино тоже встал, накинул одеяло на голову, на плечи и прикрыл им ноздри. Он сунул ноги в сандалии и вышел смотреть восход солнца.

За дверью он присел на корточки и подобрал одеяло к коленям. Он увидел, как высоко в небе над Заливом яркими пятнами вспыхнули маленькие облачка. К нему подошла коза, она повела носом и уставилась на него холодными желтыми глазами. Тем временем за спиной у Кино Хуана разожгла костер, и яркие блики стрелами протянулись сквозь щели в стене тростниковой хижины, легли зыбким квадратом через порог. Запоздалая почная бабочка порхнула внутрь, на огонь. Песнь семьи зазвучала позади Кино. И ритм семейной песни бился в жернове, которым Хуана молола кукурузу на утренние лепешки.

Рассвет занимался теперь быстро: белесая мгла, румянец в небе, разлив света и вспышка пламени — сразу, лишь только солнце вынырнуло из Залива. Кино посмотрел вниз, пряча глаза от сияющего блеска. Он услышал позади хлопанье ладоней по лепешкам, сочный запах раскаленной сковороды. На земле копошились муравьи — большие, черные, с глянцевитым тельцем, и маленькие, пыльно-серые, шустрые. С величавостью господ бога смотрел Кино, как один пыльно-серый муравей отчаянно выкарабкивался из ловушки, которую вырыл ему в песке муравьиный лев. Поджарая пугливая собака подкралась к Кино и, услышав его ласковый оклик, свернула калачиком рядом с ним, аккуратно обвила хвостом лапы и грациозным движением положила на них голову. Собака была черная, с золотисто-желтыми подпалинами на том месте, где падлежит расти бровям. Утро выдалось как утро, самое обычное, и все же ни одно другое не могло сравниться с ним.

Кино услышал поскрипывание веревки — это Хуана вынула Койотито из подвешенного к потолку ящика. Она умыла его и пристроила в провес шали так, чтобы он был

у самой ее груди. Кино видел все это не глядя. Хуана тихо запела древнюю песнь, которая состояла всего из трех нот, с бесконечной сменой интервалов между ними. И эта песнь была частью Песни семьи. Каждая мелочь вливалась в Песнь семьи. И иной раз она взлетала до такой щемящей ноты, что к горлу подступал комок, и ты знал: вот оно — твоё спокойствие, вот оно — твоё тепло, вот оно — твоё *Все*.

За тростниковой изгородью стояли другие тростниковые хижинки, и оттуда тоже тянуло дымком, оттуда тоже доносились утренние звуки, но те песни были другие, и свиньи там были другие, и среди жён там не было Хуаны. Кино был молодой, сильный, и черные волосы спадали ему на бронзовый лоб. Глаза у него были теплые, ясные, взгляд их пронзительный, усы — редкие и жесткие. Он отнял край одеяла от поздравлений, потому что темный, ядовитый воздух теперь растаял и на хижину падал желтый солнечный свет. Два петуха, растопырив крылья, распушив перья на шее, припадали друг перед другом к земле у тростниковой изгороди и пугали друг друга обманными наскоками. Где им, неумелым, драться. Они не бойцовые. Минуту Кино смотрел на них, а потом перевел взгляд вверх — туда, где от Залива к холмам мерцала в небе стайка диких голубей. Мир проснулся, и Кино встал и вошел в тростниковую хижину.

Когда он появился на пороге, Хуана поднялась от пылающего в ямке костра. Она снова положила Койотито в ящик, подвешенный к потолку, расчесала свои черные волосы, заплела их в две косы и связала концы узкой зеленой ленточкой. Кино присел на корточки у костра, свернул трубкой горячую лепешку, обмакнул ее в подливку и съел. И еще он выпил немного пульки, и это был весь его завтрак. Других завтраков ему есть не приходилось, если не считать праздников да еще одного памятного дня, когда он съел такое невероятное количество печенья, что чуть не умер. Кино наелся, и тогда Хуана вернулась к костру и тоже позавтракала. Они обменялись между собой двумя-тремя словами, но стоит ли тратить слова, особенно если говоришь не по необходимости, а по привычке. Кино удовлетворенно вздохнул, и это было их беседой.

Солнце нагревало тростниковую хижину, длинными полосами проникая сквозь щели в стенах. И одна такая полоска упала на ящик, где лежал Койотито, и на веревки, тянувшиеся к потолку.

Движение, еле заметное, привлекло к ящику взгляд Кино и Хуаны. Они застыли, каждый на своем месте. Вниз по веревке, на которой ящик Койотито был подвешен к потолочной перекладине, легко и словно пританцовывая, полз скорпион. Хвост с жалом был у него вытянут, но он мог в любую минуту ударить им.

Дыхание со свистом вырвалось из ноздрей у Кино, и он открыл рот, чтобы этого не было слышно. И тут испуг исчез из его глаз, оцепенелость прошла. В голове у него зазвенела новая Песнь — Песнь зла, музыка недруга, несущего горе семье, дикий, грозный, приглушенный напев, а сквозь него жалобным плачем пробивалась Песнь семьи.

Скорпион легко полз вниз по веревке к ящику. Хуана чуть слышно, сквозь сжатые зубы, прошептала древнее заклинание и еще «Богородицу». Но Кино не мог больше оставаться в неподвижности. Его тело бесшумно скользнуло по хижине — скользнуло бесшумно и плавно. Он шел, вытянув перед собой руки ладонями вниз, и не сводил со скорпиона глаз. А Койотито, лежавший в ящике, смеялся и протягивал к скорпиону ручонку. Скорпион почуял опасность, когда Кино был совсем близко. Он замер, и его хвост короткими рывками поднялся над спиной, и на хвосте полукругом блеснуло жало.

Кино стоял не дыша. Он слышал, как Хуана снова прошептала древнее заклинание, и он слышал злой вражеский напев. Он не смел двинуться, он ждал, когда скорпион двинется первым, а тот насторожился, стараясь разведать, откуда ему грозит смерть. Рука отца тянулась вперед — тянулась медленно, ровно. Хвост с жалом дернулся кверху. И в эту минуту смеющийся Койотито качнул веревку, и скорпион сорвался с нее.

Рука отца метнулась поймать, схватить, но скорпион пролетел мимо, упал ребенку на плечо и, едва коснувшись его, вонзил жало. И тут Кино поймал скорпиона и, хрипло вскрикнув, раздавил, расплющил его пальцами. Он швырнул это месиво себе под ноги и ударил по нему кулаком, а Койотито зашелся криком от боли. Но Кино бил, топтал врага до тех пор, пока на земляном полу не остался только мокрый след. Зубы у Кино были оскалены, глаза бешено горели, а в ушах гремела Песнь врага.

Но ребенок был уже на руках у Хуаны. Она нашла место укуса, начинавшее краснеть. Она прижалась к ранке

губами, сплюнула и снова стала сосать, а Койотито все кричал и кричал.

Кино стоял рядом; он не знал, что делать, он только мешал Хуане.

На крик ребенка сбегались соседи. Они высыпали из своих хижин. Брат Кино Хуан Томас и его толстая жена Аполония и четверо их детей столпились в дверях, загоротив вход, из-за них выглядывали другие, а один маленький мальчик пробрался между ногами взрослых, чтобы как следует все увидеть. И те, кто стоял впереди, передавали тем, кто стоял сзади: «Скорпион. Ребенка укусил скорпион».

Хуана оторвала губы от места укуса. Ранка чуть увеличилась и, обескровленная после высасывания, побелела по краям, но красный отек распространился дальше, вздувшись твердым лимфатическим бугорком. Эти люди знали, что такое скорпион. Взрослые тяжело болеют от его укуса, а ребенку недолго и умереть. Они знали, что сначала будет отек, и жар, и спазмы в горле, потом начнутся желудочные колики, а потом, если яд успел глубоко проникнуть в ранку, Койотито умрет. Но жгучая боль от укуса постепенно стихала. Крики Койотито переходили в стоны.

Кино часто дивился железной воле своей терпеливой хрупкой жены. Она, такая покорная, почтительная, всеялая, почти без единого крика выгибала спину дугой, рожая ребенка. Усталость и голод она сносила чуть ли не легче его самого. На веслах могла поспорить со взрослым мужчиной. И вот сейчас она решилась на такое, чего он никогда не ждал от нее.

— Доктора,— сказала она.— Пойди приведи доктора.

Это слово дошло до соседей, теснившихся на маленьком дворике за тростниковой изгородью. И они повторяли: «Хуана велит позвать доктора». Удивительная вещь, небывалая вещь — вдруг потребовать доктора. А если его приведут, это будет и вовсе чудо. Доктор никогда не ходит в поселок, где стоят тростниковые хижины. Да и зачем ему ходить сюда, если он пользуется богачей, которые живут в каменных и кирпичных городских домах, и еле справляется с этим.

— Он не пойдет,— сказали те, кто стоял во дворе.

— Он не пойдет,— сказали те, кто стоял в дверях, и Кино сам так подумал.

— Доктор не пойдет к нам,— сказал Кино Хуане.

Она перевела на него взгляд, холодный, как взгляд львицы. Койотито был ее первенец — Койотито был для нее почти всем в мире. И Кино почувствовал решимость Хуаны, и музыка семьи стальным тембром зазвучала у него в ушах.

— Тогда мы пойдем к нему сами, — сказала Хуана, и она оправила свою темно-синюю шаль на голове, один конец ее перебросила на руку, положила в провес стоящего ребенка, а другим концом прикрыла ему лоб, чтобы свет не резал глаза. Люди, толпившиеся в дверях, подались назад, толкая тех, кто стоял сзади, и пропустили ее. Кино последовал за ней. Они вышли из калитки на изрезанную колесами дорогу, и соседи потянулись за ними.

Весь поселок принял участие в их беде. Бесшумно ступая босыми ногами, люди быстро двигались к центру города — впереди Хуана и Кино, за ними по пятам Хуан Томас и Аполония, колыхавшая на ходу своим огромным животом, потом — соседи, а ребятишки бежали рысцой справа и слева. Желтое солнце отбрасывало вперед на дорогу их черные тени, так что они ступали по своим теням.

Процессия подошла к тому месту, где тростниковые хижины кончились и начинался город с корпичными и каменными домами, город, где на каждом шагу были глухие ограды, голые снаружи, а изнутри, в прохладных садиках с журчащей водой, сплошь увитые белыми, розовыми и ярко-красными цветами бугенвиллеи. Из этих скрытых от глаз садиков доносилось пение птиц, запертых в клетки, и плеск прохладной воды, струившейся на раскаленные плиты. Процессия пересекла залитую слепящим солнцем площадь и миновала церковь. Толпа росла и росла, и тем, кто второпях примыкал к ней, рассказывали шепотом, что ребенка укусила скорпион, что отец и мать несут его к доктору.

И новые участники процессии, особенно нищие с церковной паперти — великие знатоки финансовых вопросов, — быстро оглядывали старенькую синюю юбку Хуаны, замечали прорехи на ее шали, оценивали зеленую ленточку в косах, безошибочно определяли, сколько лет служит Кино его одеяло, сколько тысяч раз была стирана его одежда, и, убедившись, что они бедняки, шли вместе со всеми посмотреть, какой оборот примет эта драма. Четверо нищих с церковной паперти знали все, что делалось в городе. Лица молодых женщин, спешивших к исповеди, были для них

открытой книгой, и когда женщины выходили из церкви, нищие сразу угадывали их грехи. Им были известны все мелкие городские сплетни и многие крупные преступления. Они спали в тени на паперти, не покидая своего поста, и видели каждого, кто даже украдкой шел в церковь искать утешения в своих скорбях. Доктора они тоже знали. Ничто не оставалось для них тайной — ни его невеселость, жестокость, алчность, ни его ненасытность, ни его грехи. Они знали наперечет все неудачные аборт, которые он делал, знали, что милостыню он даст скупно — медяками. Они видели, как вносили в церковь тех, кого он отправлял на тот свет. И, поскольку ранняя обедня кончилась и в делах было затишье, нищие — эти неустанные добытчики точных сведений о ближних — примкнули к процессии, любопытствуя, как разжиревший, обленевшийся доктор поступит с ребенком бедняков, которого укусила скорпион.

Процессия подошла к широкой калитке в ограде докторского дома. Оттуда доносилось журчание воды и пение птиц, запертых в клетки, и шарканье длинных метел по плитняку. Из докторского дома доносился и вкусный запах поджаренной грудки.

Кино в нерешительности стал перед калиткой. Этот доктор не был сыном его народа. Этот доктор принадлежал к той расе, которая почти четыре века избивала, и морила голодом, и грабила, и презирала соплеменников Кино, и так запугала их, что бедняки униженно подходили к этой двери. И как бывало всегда, когда Кино случалось сталкиваться с людьми этой расы, он вдруг почувствовал себя слабым и вдруг испугался чего-то и в то же время озлобился. Гнев и страх всегда шли рука об руку. Кино легче было бы убить этого доктора, чем заговорить с ним, ибо соплеменники доктора обращались с соплеменниками Кино, как с бессловесной скотиной. И когда Кино поднял правую руку к железному кольцу на калитке, гнев вспыхнул в нем, в ушах загремела музыка врага и губы его плотно сжались, но левая рука сама собой потянулась к шляпе. Железное кольцо громынуло о калитку. Кино снял шляпу и стал ждать. Койотито негромко застонал на руках у Хуаны, и она ласково прошептала ему что-то. Толпа сгрудилась вокруг них, чтобы ничего не проглядеть, ничего не упустить.

Через минуту-другую широкая калитка чуть приотворилась. Кино увидел в эту щель зеленую прохладу садика

и маленький плещущий фонтан. Человек, который выглянул оттуда, был его соплеменник. Кино заговорил с ним на древнем языке их племени.

— Малыша... нашего первенца... укусил скорпион,— сказал Кино.— Ему нужен искусный лекарь.

Щель уменьшилась; слуга не пожелал говорить на древнем языке.

— Минутку,— сказал он.— Пойду узнаю,— и, притворив калитку, запер ее изнутри на засов.

Слепящее солнце разбросало черные людские тени по белой каменной ограде.

Доктор сидел на постели у себя в комнате. На нем был красный муаровый халат, привезенный когда-то из Парижа и узковатый теперь в груди, если застегнуться на все пуговицы. На коленях у доктора стоял серебряный поднос с серебряной шоколадницей и чашечкой тончайшего фарфора, казавшейся до смешного маленькой, когда он брал ее своей огромной ручищей и подносил ко рту, держа большим и указательным пальцами, а остальные три растопырив, чтобы не мешали. Глаза его тонули в отечных мешках, углы рта были брюзгливо опущены. С годами доктор стал тучным и говорил хриплым голосом, потому что горло у него заплыло жиром. На столике рядом с кроватью торчали в стаканчике сигареты и лежал маленький восточный гонг. Мебель в комнате была громоздкая, темная, мрачная; картины — все религиозного содержания, а фотография только одна, да и то покойницы жены, вкушающей теперь райское блаженство, если этого можно было добиться мессами, которые оплачивались по ее завещанию. В свое время доктор, хоть и ненадолго, приобщился к большому миру, и всю его последующую жизнь заполнили воспоминания и тоска по Франции. Тогда, говорил он, я жил, как цивилизованный человек, подразумевая под этим, что его скромные средства позволяли ему содержать любовницу и питаться в ресторанах. Он палил себе вторую чашку шоколада и раскрыл пальцами песочное печенье. Слуга подошел к открытой двери и остановился там, дожидаясь, когда его заметят.

— Ну? — спросил доктор.

— Какой-то индеец с ребенком. Ребенка укусил скорпион.

Доктор осторожно опустил чашку на поднос, прежде чем дать волю гневу.

— Только мне и дела, что лечить «каких-то индейцев» от укусов насекомых. Я врач, а не ветеринар.

— Да, хозяин,— сказал слуга.

— Деньги у него есть? — осведомился доктор.— Да нет! Они все безденежные. Я один во всем мире почему-то должен работать даром. Мне это надоело. Пойди узнай, есть у него деньги?

Вернувшись, слуга чуть приотворил калитку и посмотрел в щель на ожидающую ответа толпу. И на этот раз он заговорил на древнем языке:

— У тебя есть чем заплатить за лечение?

Кино сунул руку в потайной карман где-то под одеялом. Он вынул оттуда бумажку, сложенную вчетверо. Он стал бережно разворачивать ее по сгибам — один, другой, третий... и наконец там показались восемь мелких, плоских жемчужин. Они были уродливые, серые, точно маленькие язвы, и не имели почти никакой цены. Слуга взял их вместе с бумажкой и снова затворил калитку, но на этот раз ждать его пришлось недолго. Он отворил калитку ровно настолько, чтобы бумажка пролезла в щель.

— Доктор ушел,— сказал он.— Его позвали к тяжело-больному.— И быстро захлопнул калитку, потому что ему было стыдно.

И стыд волной прокатился по толпе. Она стала таять. Нищие вернулись на ступеньки паперти, слоняющиеся бездельники отправились слоняться дальше, а соседи разошлись, чтобы Кино, которого так опозорили у всех на глазах, не было стыдно перед ними.

Кино долго стоял у ограды докторского дома, и рядом с ним стояла Хуана. Медленно надел он свою просительно снятую шляпу. И вдруг наотмашь ударил кулаком по калитке. И удивленно посмотрел на рассеченные суставы и на кровь, струившуюся у него между пальцами.

II

Город теснился у широкого речного устья, подступая своими старыми желтыми домами к самому берегу Залива. А на берегу лежали вытащенные из воды найаритские лодки — белые и голубые лодки, служившие уже не одному поколению, потому что их смолили особым водонепроницаемым составом, секрет изготовления которого принадлежал

ловцам жемчуга. Лодки были высокобортные, стройные, с закругленным носом, закругленной кормой и мидель-шпангоутом, где крепилась мачта с маленьким треугольным парусом.

Желтый песок подходил почти к самой воде, и там его сменяли водоросли и измельченная прибоем ракушка. В песке сновали, копошились крабы, а на отмелях среди битой ракушки то выскакивали, то снова прятались по своим крохотным норкам маленькие омары. Морское дно кишело всем ползающим, плавающим, тянущим ростки кверху. Тихая волна колыхала бурые водоросли, покачивала длинные листья зеленой zostеры, за которые цеплялись морские коньки. Ядовитые рыбы — пятнистые ботете — лежали на мягком слое zostеры, а над ними шныряли взад и вперед разноцветные крабы.

Голодные городские собаки и свиньи неустанно рыскали по берегу в надежде на то, что наступающий прилив выбросит на отмель дохлую рыбу или морскую птицу.

Утро было еще совсем молодое, но мглистый мираж уже возникал вдали. Дрожащий воздух, который одно увеличивает, а другое стирает совсем, стлался над Заливом, и в этой дрожащей зыби все казалось призрачным, обманывающим зрение; все в ней — и море и земля — обретало и четкую ясность, и смутность сновидения. Может быть, поэтому люди, живущие у Залива, полагаются больше на то, что им подсказывает внутренний голос, на то, что им подсказывает воображение, и не доверяют глазам — глаза обманывают, они сокращают даль и видят резкие контуры там, где их нет. В мангровой роще за городом с одного края стволы деревьев обрисовывались четко, как в линзе телескопа, а с другого — расплывались черно-зеленым пятном. Дальний берег Залива таял в зыбком тумане, похожем на воду. Во всем, что охватывал глаз, не было ни малейшей достоверности, нельзя было, положившись на зрение, знать, действительно ли ты видишь что-нибудь или перед тобой пустота. И люди, жившие у Залива, считали, что так бывает повсюду, и это не казалось им странным. Над водой нависла медно-мглистая дымка, и знойное солнце пронизывало ее и заставляло мерцать слепящими отсветами.

Тростниковые хижины ловцов жемчуга стояли в глубине отмели, справа от города, и лодки были вытаснены на берег неподалеку от них.

Кино и Хуана медленно спустились к берегу и подошли к своей лодке — единственной ценности, которую Кино имел в этом мире. Лодка была очень старая, дед Кино привел ее из Найарита, а после него она досталась отцу Кино, а от отца перешла к Кино. Эта лодка была одновременно и его достоянием, и его кормилицей, ибо мужчина, имеющий лодку, может обещать женщине, что у нее будет хоть какая-то еда. Лодка — это спасение от голода. Каждый год Кино заново покрывал ее водонепроницаемым составом, способ изготовления которого тоже достался ему от отца. И сейчас он подошел к ней и, как всегда, нежно коснулся рукой ее носа. Он положил водолазный камень, корзинку и веревки на песок. Потом свернул вдвое одеяло и бросил его на нос лодки.

Хуана опустила Койотито на одеяло и прикрыла шалью, чтобы уберечь от палящего солнца. Койотито молчал, не плакал, но отек поднимался у него с плеча на шею и за ухо, лицо было опухшее, щеки горели. Хуана сошла в воду. Она собрала со дна бурых водорослей, сделала из них плоскую ленточку и приложила ее к отечному плечу мальчика, и это средство было ничем не хуже, а то и лучше тех, которые мог посоветовать доктор. Средству этому не хватало только одного — докторского авторитета, потому что оно было совсем бесхитростное и ничего не стоило. Желудочные колики не появились у Койотито. Вероятно, Хуана успела вовремя высосать яд из ранки, но высосать вместе с ядом собственную тревогу за их первенца ей не удалось. В ее молитвах не было прямой просьбы о выздоровлении ребенка — она молила о том, чтобы Кино нашел жемчужину, которой они могли бы расплатиться с доктором за лечение Койотито, ибо ход мыслей у людей, живущих около Залива, так же зыбок, как мираж, что встает над ним.

Кино и Хуана протащили лодку по песку к Заливу, и, когда она всплыла, Хуана села в нее, а Кино пошел рядом, подталкивая корму до тех пор, пока лодка не скользнула по воде всем корпусом, чуть подрагивая на прибрежной волне. Тогда они дружно опустили двусторонние весла, и лодка с шипением рванулась вперед, покрывая морщинками морскую гладь. Другие ловцы жемчуга уже давно вышли в море. Через несколько минут Кино увидел их сквозь дымку, стоявшую над тем местом, где была жемчужная банка.

Солнечный свет проникал сквозь воду до самой банки, и там, на каменистом дне, усеянном разломанными открытыми раковинами, лежали фестончатые жемчужницы. Это была та самая банка, которая в прошлые века вознесла короля Испании на первое место в Европе, банка, которая давала ему деньги на ведение войн и одела богатыми ризами не одну церковь за упокой его души. Серые жемчужницы с похожими на юбку фестончиками по краям, облепленные рачками и маленькими крабами, оплетенные нитями водорослей жемчужницы. Случайности подстерегают жемчужницу ежеминутно — крохотная песчинка может попасть в складки мантии и вызвать там раздражение, и тогда мякоть, защищаясь от песчинки, будет обволакивать ее ровным слоем перламутрового вещества. И, раз начав, мякоть не перестанет обволакивать инородное тело до тех пор, пока его не выбросит оттуда волной или пока не погибнет сама жемчужница. Из века в век люди ныряли под воду и собирали жемчужницы с банок и вскрывали их створки в поисках песчинок, одетых слоем перламутрового вещества. Рыбы косяками держались поблизости от этих мест, поблизости от раковин, брошенных ловцами жемчуга, и выедали мякоть, заключенную под блестящей гладью их створок. Но зарождение жемчуга — дело случая, такая находка — редкое счастье, легкое похлопывание по плечу, которым удостаивает человека бог, или боги, или все они вместе.

У Кино было две веревки: одна — привязанная к камню, другая — к корзинке. Он снял с себя рубашку и брюки и положил шляпу на дно лодки. Вода была гладкая, словно подернутая маслом. В одну руку он взял камень, в другую — корзинку и скользнул через борт ногами вперед, и камень увлек его на дно. Пузырьки воздуха вскипели над ним и рассеялись, и толща воды прояснилась. Навверху, сквозь ее волнистую зеркальную чистоту, он увидел днища лодок, скользивших по ней.

Кино двигался осторожно, чтобы не замутило воду илом и песком. Он продел правую ступню под веревку, которой был обвязан камень, и его руки заработали быстро, срывая жемчужницы с их ложа то по одной, то сразу по несколько штук. Он клал их в корзинку. В некоторых местах раковины сидели так тесно одна к другой, что отставали сразу целыми сростками.

Народ Кино пел обо всем, что с ним случалось, обо всем, что существовало в мире. Он сложил песни рыбам, разгневанному морю и тихому морю, свету и тьме, луне и солнцу, и песни эти таились в глубине сознания Кино и его народа все до единой, даже забытые. И сейчас, когда Кино наполнял свою корзинку раковинами, в нем зазвучала песнь, и ритмом этой песни было его гулко стучащее сердце, которому подавало кислород дыхание, задержанное в груди, а мелодией песни были стайки рыб — они то соберутся облачком, то снова исчезнут, — и серо-зеленая вода, и кишущая в ней мелкая живность. Но в глубине этой песни, в самой ее сердцевине, подголоском звучала другая, еле слышная и все же неугасимая, тайная, нежная, настойчивая и временами прячущаяся за основной голос. Это была Песнь в честь Жемчужины, в честь Той, что вдруг найдется, ибо жемчужину могла подарить любая раковина, брошенная в корзинку. Удача и неудача — дело случая, и удача — это когда боги на твоей стороне. И Кино знал, что в лодке, там, наверху, его жена Хуана творит чудо молитвы, и лицо у нее застывшее, мускулы напряжены — она готова взять удачу силой, вырвать ее из рук у богов, ибо удача нужна ей, чтобы отек на плече у Койотито опал и не распространялся дальше. И так как нужда в удаче была велика и жажда удачи была велика, тоненькая тайная мелодия жемчужины — Той, что вдруг найдется, — звучала громче в это утро. Она ясно и нежно, целыми фразами вылеталась в Песнь подводного мира.

Гордость, молодость и сила позволяли Кино без всякого напряжения оставаться под водой больше двух минут, и он работал не спеша, выбирая самые крупные раковины. Потрясенные моллюски лежали с плотно сомкнутыми створками. Чуть правее от Кино громоздились камни, сплошь покрытые жемчужницами, но молодыми, еще негодными. Кино поплыл к камням, и там, под небольшим выступом, он увидел очень большую раковину, которая лежала одна, без своих сородичей. Створки у этой древней жемчужницы были приоткрыты, потому что ее охранял камешный выступ. И между похожими на губы кожными складками что-то блеснуло призрачным блеском — блеснуло и тут же исчезло, потому что створки раковины захлопнулись. Сердце у Кино забилося тугими толчками, и в ушах у него пронзительно запела мелодия Той, что вдруг най-

дется. Медленным движением он оторвал раковину от ее ложа и крепко прижал к груди. Он высвободил ногу из веревки, опоясывающей камень, и его тело поднялось на поверхность, черные волосы сверкнули на солнце. Он протянул руку через борт и положил раковину на дно лодки.

Хуана откинулась к правому борту, выравнивая лодку, пока он влезал в нее. Глаза у него горели, но, подчиняясь требованиям приличий, он вытянул из воды сначала камень, потом корзинку с раковинами. Хуана почувствовала его волнение и отвела взгляд в сторону. Не годится слишком сильно желать чего-нибудь. Иной раз это гонит удачу прочь. Желай, но не очень настойчиво, и будь деликатен по отношению к богу или богам. Хуана перестала дышать. Не спеша Кино открыл свой короткий острый нож. Он в раздумье посмотрел на корзинку. Может быть, лучше вскрыть ту раковину последней? Он вынул из корзинки маленькую жемчужницу, перерезал ей замыкательный мускул, ощупал пальцем складки маантии и бросил жемчужницу за борт. И тут он словно впервые увидел большую раковину. Он опустился на корточки, взял ее в руки и осмотрел со всех сторон. Бороздки раковины поблескивали на свету, переходя из черного цвета в коричневый, и на ней сидели только два-три маленьких рачка. Кино не решился открыть ее. То, что он видел, могло быть просто отсветом, случайно приставшим перламутровым осколком, а то и чистой игрой воображения. В этом Заливе с его неверным светом иллюзий больше, чем реальностей.

Но взгляд Хуаны не отрывался от Кино. Хуана не могла больше ждать. Она коснулась ладонью головы Койотито, прикрытой шалью.

— Открой, — чуть слышно проговорила она.

Кино ловким движением всунул нож между створок раковины. Он почувствовал, как напрягся у моллюска мускул. Он повел черенок ножа книзу, действуя им, как рычагом; замыкательный мускул, стягивающий обе створки, лопнул, и верхняя створка отскочила прочь. Похожий на губы моллюск съежился и тут же обмяк. Кино приподнял кожную складку, и там лежала она — огромная жемчужина, не уступающая в совершенстве самой луне. Она вбирала в себя свет и словно очищала его и отдавала обратно серебристым излучением. Она была большая — с яйцо морской чайки. Она была самая большая в мире.

У Хуаны перехватило дыхание, и она чуть застонала. А в ушах у Кино звенела тайная музыка Той, что вдруг найдется, звенела чистая, прекрасная, теплая и сладостная, сияющая и полная торжества. И в глубине огромной жемчужины проступали его мечты, его сновидения. Он отделил ее от умирающего моллюска, и положил на ладонь, и покатал на ладони, и увидел, что она совершенна по форме. Хуана подвинулась к нему, не сводя глаз с жемчужины, лежащей в его руке. Это была та самая рука, которую он разбил о калитку в ограде докторского дома, и рассеченная кожа на ее суставах посерела от соленой морской воды.

И Хуана бессознательно потянулась к Койотито, спавшему на отцовском одеяле. Она сняла примочку из водорослей и посмотрела на его плечо.

— Кино! — пронзительно крикнула Хуана.

Он отвел глаза от своей жемчужины и увидел, что отек у сына спадает, что его тельце побороло яд. И тогда пальцы Кино сомкнулись над жемчужиной, и он не совладал с собой. Он запрокинул голову и протяжно взвыл. Глаза у него закатились под лоб, из горла вырвался крик, тело повело судорогой.

Люди на других лодках испуганно оглянулись и тут же ударили веслами и наперегонки понеслись к лодке Хуаны и Кино.

III

Каждый город схож с живым организмом. У каждого города есть первная система, голова, плечи, ноги. Города разнятся один от другого, двух одинаковых не бывает. И эмоциональная жизнь их идет полным ходом. Каким образом вести распространяются по городу — это загадка, разрешить которую нелегко. Вести летят быстрее, чем мальчишки могут сорваться с места и побежать раззванивать их; быстрее, чем женщины могут обмениваться ими, пересговариваясь через ограду.

Не успели Кино с Хуаной и с другими ловцами жемчуга подойти к тростниковым хижинам, как первые города напряглись и завибрировали, принимая поразительную весть: Кино выловил *Жемчужину* — самую большую в мире. Не успели мальчишки, еле переводя дух, выговорить эти слова, как их матери уже все узнали. Поразительная

весть пролетела мимо тростниковых хижин и пенящейся волной обрушилась на город с каменными кирпичными домами. Она докатилась до священника, гуляющего по своему саду, поселила задумчивость в его очах и напомнила ему, что церковь нуждается в ремонте. Священник прикинул, сколько может стоять такая жемчужина, и стал припоминать — крестил ли он младенца Кино, венчал ли Кино с женой? Весть пришла к хозяевам магазинов, и они поглядывали на залежавшуюся на полках мужскую одежду.

Весть пришла и к доктору, в то время как на приеме у него сидела женщина, которую мучили не болезни, а старость, хотя ни она сама, ни доктор не хотели признать это. И когда выяснилось, кто такой Кино, доктор принял вид строгий, но доступный.

— Его ребенок — мой пациент, — сказал доктор. — Я лечу его от укуса скорпиона.

И он закатил заплывшие жиром глаза и вспомнил Париж. Комната, которую он спимал в Париже, представилась ему роскошной, его скуластая сожительница — прелестной, доброй девушкой, хотя про нее нельзя было сказать ни того, ни другого, ни третьего. Доктор устремил взгляд куда-то в пространство, мимо своей пожилой пациентки, и увидел себя в парижском ресторане, и гарсон откупоривал ему бутылку вина.

Раньше всех весть дошла до нищих на церковной паперти, и, услышав ее, нищие удовлетворенно захихикали, ибо они знали, что нет даятеля более щедрого, чем бедняк, которому привалило неожиданное счастье.

Кино выловил Жемчужину — самую большую в мире. В городе по маленьким конторам сидели агенты, скупщики жемчуга. Скупщики сидели каждый в своей конторе и ждали, когда им принесут жемчужины, и лишь только продавцы появлялись, они начинали тараторить, торговаться, кричать и грозить, и это продолжалось до тех пор, пока цена не падала до такого уровня, ниже которого ловец жемчуга уже не мог пойти. И для низкой цены был свой предел, и преступать его скупщики не смели, ибо бывали случаи, что, отчаявшись, человек уходил и жертвовал свои жемчужины церкви. А когда сделка совершалась, скупщики оставались в конторе одни, и пальцы их нервно поигрывали жемчужинами, и они жалели, что эти драгоценности принадлежат не им. Ибо на самом-то деле скупщиков было немного —

скупщик был только один, и он, этот один человек, рассадил своих агентов по разным конторам, чтобы создать видимость конкуренции. Поразительная весть проникла и в скупочные конторы, и глаза у скупщиков сузились, в кончиках пальцев появился легкий зуд, и каждый скупщик подумал, что не вечно же будет жить их хозяин, придется кому-нибудь со временем занять его место. И каждый из них представлял себе, как при наличии некоторого капитала он начнет свое собственное дело.

Многие вдруг вспыхнули интересом к Кино — им интересовались люди, занимающиеся торговлей, и люди, чающие подачек и помощи. Кино выловил Жемчужину — самую большую в мире. Сущность жемчужины смешалась с людской сущностью, и эта смесь выделила странный, мутный осадок. От каждого человека вдруг потянулись какие-то нити к жемчужине Кино, и жемчужина Кино проникла в чужие сны, желания, вожеления, расчеты, планы, замыслы, мечты о будущем, нужды, страсти, и лишь один человек стоял на пути к их утолению, и этот человек был Кино. И, как ни странно, все вдруг почувствовали в нем врага. Поразительная весть подняла со дна города нечто бесконечно злое и темное; темная муть была как скорпион или как чувство голода, когда голодного дразнит запах пищи, или как чувство одиночества у влюбленного, когда его любовь безответна. Ядоносные железы города начали выделять яд, и город вслухал и тяжело отдувался под его панором.

Но Кино и Хуана ничего этого не знали. Им, таким счастливым и взволнованным, казалось, что все радуются их радостью. Хуан Томас и Аполония радовались, а ведь они оба тоже были частью того мира. Вечером, когда солнце спряталось за горами Полуострова и опустилось в открытое море, Кино присел на корточки у себя в хижине рядом с Хуаной. И в тростниковую хижину набились соседи. Кино держал в руке свою огромную жемчужину, и она лежала, теплая и живая, у него на ладони. И мелодия жемчужины сливалась с Песней семьи, и обе они звучали еще сластнее от этого. Соседи разглядывали жемчужину, лежащую на ладони у Кино, и дивились — бывают же такие счастливыцы на свете!

И Хуан Томас, который сидел на корточках по правую руку от Кино, ибо он приходился ему братом, сказал:

— Ты богач! Что же ты теперь будешь делать?

Кино ушел взглядом в свою жемчужину, а Хуана опустила ресницы и прикрыла лицо шалью, чтобы никто не заметил, как она волнуется. И в мерцающей жемчужине проступило все то, о чем Кино мечтал раньше и от чего отказался, ибо все это было несбыточно. Он увидел в жемчужине, как Хуана с Койотито на руках и сам он, Кино, стоят, преклонив колени, у высокого алтаря и священник венчает их, потому что теперь они смогут заплатить ему. Он тихо проговорил:

— Мы обвенчаемся... в церкви.

Он увидел в жемчужине, как они будут одеты: на Хуане — шаль, совсем новая, так что складки у нее еще коробятся, и новая юбка, и Кино приметил, что из-под длинной юбки Хуаны выглядывают туфли. Все видно в тепло мерцающей жемчужине! Сам он в новом белом костюме, и шляпа у него новая — не соломенная, а тонкого черного войлока, и ноги тоже обуты — и на нем не сандалии, а башмаки со шнуровкой. Но Койотито — вот кто красавец! Койотито в синем матросском костюмчике из американского магазина, и на голове у него маленькая капитанская каскетка — Кино запомнилась такая, когда к ним в город зашел пароход с туристами. Кино разглядел все это в излучающей свет жемчужине, и он сказал:

— Мы купим новую одежду.

И мелодия жемчужины трубным гласом запела у него в ушах.

А потом на ее нежно-серой поверхности проступили и другие вещи, которые Кино так хотелось иметь: гарпун взамен того, что он упустил в море год назад, — новый железный гарпун с кольцом на древке, и (его мыслям нелегко было совершить такой скачок)... и карабин! А что же? Ведь он теперь богатый! И Кино увидел Кино в жемчужине — Кино, который держал в руках винчестер. Мечты, безудержные мечты! Но как приятно так помечтать! Его губы нерешительно выговорили это слово.

— Карабин, — сказал он. — Может быть, я куплю карабин.

И карабин опрокинул все барьеры. Казалось бы, это немыслимо, но стоило ему подумать о покупке карабина, как горизонт распахнулся перед ним, и он устремился дальше. Ибо сказано, что человек никогда не удовлетворяется

достигнутым: дайте ему желаемое, и он попросит что-нибудь еще. Да! Сказано — в умаление человеку, тогда как это один из самых замечательных его талантов, это талант, который возносит человека над животными, довольствующимися тем, что у них есть.

Соседи, толпившиеся в хижине, молча закивали в ответ на эти безудержные мечты. Но сзади кто-то прошептал: «Карабин. Он купит карабин».

Мелодия жемчужины торжествующим звоном стояла в ушах Кино. Хуана подняла голову и широко открытыми глазами посмотрела на Кино, дивясь его отваге, дивясь силе его мечты. А он, раздвинувший перед собой горизонты, был теперь словно провод под током. В жемчужине ему виделся Койотито, сидевший за маленькой партой, точь-в-точь такой, какую он увидел однажды, заглянув в открытую дверь школы. Койотито был в курточке, а сверху на курточку был выпущен белый воротничок, подвязанный широким шелковым галстуком. Мало того! Койотито писал на большом листе бумаги. Кино свирепо посмотрел на своих соседей.

— Мой сын пойдет в школу, — сказал он, и соседи притихли.

Хуана громко передохнула. Глаза Хуаны, не отрывавшиеся от лица Кино, заблестели, и потом, словно проверяя, возможно ли такое чудо, она быстро перевела взгляд на Койотито, который лежал у нее на руках.

Лицо у Кино пророчески светилось.

— Мой сын будет листать и читать книги, и мой сын научится писать и понимать по писаному. И мой сын выучит цифры, и тогда мы станем свободными людьми, потому что он будет все знать, а от него и мы все узнаем.

И Кино увидел в жемчужине, как он сам и Хуана сидят на корточках перед маленьким костром в тростниковой хижине, а Койотито читает им по большой книге.

— Вот что нам даст эта жемчужина, — сказал Кино.

Он ни разу в жизни не произносил столько слов подряд, и ему стало страшно своей многоречивости. Его пальцы сомкнулись над жемчужиной и погасили ее. Кино стало страшно, как бывает страшно человеку, когда он скажет: «Так будет», — не зная, что его ждет впереди.

И соседи поняли, что у них на глазах свершилось великое чудо. Они поняли, что тот день, когда Кино нашел

жемчужину, положит для них начало новому летосчислению и что толки об этом дне не затихнут долгие годы. Если все, о чем говорил Кино, исполнится, они станут рассказывать, какой он тогда был, и что он сказал, и как блестяли у него глаза, и в конце своего рассказа добавят: «Кино словно преобразился. Великая сила вошла в него, и с этого все и началось. Видите, чем он стал теперь! И все это произошло у меня на глазах!»

А если замыслы Кино пойдут прахом, те же самые соседи будут рассказывать так: «С этого все и началось. Безумие охватило его, и он говорил безумные слова. Да хранит нас господь от такой беды! Господь покарал Кино, ибо он взбунтовался против нашей жизни. Видите, что с ним стало! И я сам был при том, как разум покинул его».

Кино взглянул на свою сжатую в кулак руку и увидел запекшуюся кровь и кожу, стянувшуюся на суставах, разбитых о докторскую калитку.

Сумерки сгущались. Хуана перехватила шаль пониже, пристроила туда ребенка, так чтобы он лежал у ее бедра, подошла к ямке для костра и откопала уголек в золе и стала раздувать его, подкладывая сверху сломанные сухие ветки. Отсветы огненных язычков заплясали по лицам соседок. Соседи знали, что давно пора ужинать, но им не хотелось уходить.

Стало совсем темно, и отблески костра дотянулись до тростниковых стен, когда у входа в хижину возник шепот, и слова, сказанные там, шепотом же передавались из уст в уста.

— Отец идет... идет священник.

Мужчины обнажили головы и испятились от двери, а женщины покрыли шалями лица и опустили глаза. Кино и его брат Хуан Томас встали. В хижину вошел священник — седой, стареющий человек со старчески дряблым лицом и по-молодому острым взглядом. «Дети» — называл он этих людей и, как с детьми, обращался с ними.

— Кино, — мягко начал он, — ты получил имя в честь великого мужа — великого отца церкви. — Это прозвучало как благословение. — Твой покровитель покорил пустыню и смягчил сердца твоих соплеменников. Известно ли тебе это? Так написано в книгах.

Кино быстро взглянул на головку Койотито, прижавшуюся к бедру Хуаны. Настанет день, подумал он, когда

этот мальчик будет знать, что написано в книгах и чего там нет. Мелодия жемчужины умолкла, а вместо нее Кино услышал ту, другую — утреннюю. Медленной, тонкой струйкой зазвенел напев зла, вражеский напев, но он был еще слабый, еще отдаленный. И Кино оглядел своих соседей, стараясь угадать, с кем из них проникла сюда эта песнь.

Священник заговорил снова:

— Мне сказали, что ты нашел сокровище — огромную жемчужину.

Кино разжал руку и протянул ее на свет, и священник чуть слышно ахнул, пораженный величиной и прелестью жемчужины. И он сказал:

— Я надеюсь, сын мой, что ты не забудешь возблагодарить Того, кто даровал тебе такое счастье, и испросишь его водительства на будущее.

Кино молча кивнул, и вместо него тихо ответила Хуана:

— Мы не забудем, отец. И теперь мы обвенчаемся. Так сказал Кино.— Она обвела соседей взглядом, ища подтверждения своим словам, и они торжественно склонили головы.

Священник сказал:

— Приятно знать, что ваши первые мысли — мысли благочестивые. Да хранит вас господь, дети мои.— Он повернулся и не спеша пошел к выходу, и люди расступились перед ним.

Но пальцы Кино снова сомкнулись вокруг жемчужины, и он подозрительно посмотрел по сторонам, потому что недобрая песнь снова зазвучала у него в ушах, зазвучала пронзительно, приглушая мелодию жемчужины.

Соседи один за другим разошлись по своим хижинам, и Хуана присела у костра и поставила на маленький огонь глиняный горшок с фасолью. Кино подошел к двери и выглянул наружу. Как и всегда, до него донесся запах дыма от костров, и он увидел затуманенные звезды и, почувствовав вечернюю сырость, прикрыл ноздри краем одеяла. Тощая собака опять подбежала к нему и приветственно затрепыхалась всем телом, точно флаг на ветру, но Кино обратил к ней взгляд и не увидел ее. Он прорвался сквозь кольцо горизонта в холодную пустоту. Он чувствовал себя одиноким, беззащитным, и в стрекотанье цикад, в скрипучих голосах квакш, в урчанье лягушек ему слышался на-

пев врага. Кино чуть вздрогнул и плотнее прикрыл ноздри краем одеяла. Жемчужина была все еще зажата у него в руке, зажата крепко, и он чувствовал ладонью, какая она гладкая и теплая.

За спиной у Кино Хуана пошлепывала руками по лепешкам, прежде чем положить их на глиняный противень. Кино чувствовал позади себя тепло и нежность, и Песнь семьи звучала там, словно мурлыканье котенка. Но теперь, сказав вслух, что его ждет впереди, он тем самым создал свое будущее. Замысел — это реальная вещь, и то, что ты замышляешь, живет в тебе. Замысел, родившийся и уже зримый, становится реальностью в ряду других реальностей. Он существует, его уже нельзя разрушить, но на него легко посягнуть. И будущее Кино стало такой реальностью, и лишь только оно утвердилось, другие силы — разрушительные — потянулись к нему, и Кино знал это и должен был готовиться к тому, чтобы отразить их посягательства. И еще Кино знал, что боги не любят людских замыслов, не любят, когда людям сопутствует успех, разве только если его приведет случай. Он знал, что боги мстят человеку, добившемуся успеха своими собственными силами. И, зная это, Кино страшился своих замыслов, но, поскольку они уже существовали, разрушить их он не мог. И чтобы оградить свои замыслы от всяких посягательств, он постепенно заковывал себя в броню — один против всего мира. Его глаза, его разум нащупали опасность задолго до того, как она появилась.

Стоя в дверях, он увидел, что вдоль изгороди идут двое и один человек несет фонарь, который освещает землю и ноги их обоих. Они свернули к проходу в тростниковой изгороди и подошли к его хижине. И Кино узнал их: один был доктор, а другой — слуга, который отворил ему калитку утром. Рассеченные суставы его правой руки словно обожгло огнем, когда он увидел, кто идет к нему.

Доктор сказал:

— Меня не было дома, когда ты приходил утром. Но теперь я освободился и решил сразу же прийти посмотреть твоего ребенка.

Кино стоял на пороге, загораживая плечами вход в хижину, и ненависть бушевала в его глазах — ненависть и страх, ибо вековая покорность глубоко сидела в нем.

— Ребенок почти здоров, — отрывисто проговорил он.

Доктор улыбнулся, но его глаза в отечных мешках не улыбались.

Он сказал:

— Укусы скорпиона дают иной раз неожиданные последствия, друг мой. Как будто наступает явное улучшение, и вдруг, когда никто этого не ждет...

Доктор надул губы и сделал ими «пуфф!», показывая, как скоро может наступить конец. И он переложил свою черную сумку с инструментами из правой руки в левую, так, чтобы на нее упал свет фонаря, ибо ему было хорошо известно, что народ Кино любит всякие инструменты и верит в их могущество.

— Иной раз,— ровным голосом продолжал доктор,— иной раз у больного вдруг начинает сохнуть нога, или он слепнет, или становится горбуном! О! Мне ли не знать, что такое скорпион, друг мой, и я умею лечить от его укусов.

Кино почувствовал, как его ненависть и ярость испаряются и на их место приходит страх. Он ничего не понимает в болезнях, а доктор, может быть, действительно умеет лечить. Рисковать нельзя — нельзя отгораживаться от доктора своим явным несвежеством. Доктор, может быть, все понимает. Кино загнан в ловушку, всегда расставленную перед людьми его народа, и он не вырвется из нее до тех пор, пока не будет знать наверно, что написано в книгах и чего там нет. Да! Рисковать нельзя — нельзя подвергать опасности ни жизнь, ни прямую спинку Койотито. Кино отступил в сторону и пропустил доктора и его слугу в тростниковую хижину.

Хуана поднялась от огня и попятилась в угол и прикрыла ребенку лицо кистями шали. А когда доктор подошел к ней и протянул руку, она судорожно прижала Койотито к груди и метнула взгляд на Кино и увидела, как блики огня перебегают по его лицу.

Кино молча кивнул ей, и только тогда она позволила доктору взять ребенка.

— Посвети мне,— сказал доктор, и когда слуга поднял фонарь, доктор внимательно оглядел ранку на плече у Койотито. Он задумался на минуту, а потом завернул ребенку верхнее веко и посмотрел глазное яблоко. Он покачал головой, не отпуская сучившего ножками Койотито.

— Так я и думал,— сказал доктор. — Яд проник глубоко и скоро сделает свое дело. Поди сюда, посмотри.— Он

снова завернул ребенку верхнее веко.— Видишь — поси-
нело.— И Кино с ужасом убедился, что и вправду глазное
яблоко у Койотито голубоватое. А кто знает, может быть,
оно у него всегда такое? Но ловушка была поставлена. Кино
не посмел рисковать.

Отечные глаза доктора подернулись слезой.

— Я дам ему лекарство, может быть, оно поборет яд,—
сказал он, передавая ребенка отцу.

И доктор вынул из своей сумки маленький пузырек с
белым порошком и желатиновую капсулу. Он всыпал по-
рошок в капсулу, закрыл ее, вложил в другую — побольше
и закрыл и эту. Дальнейшее было сделано ловко, умело.
Доктор взял ребенка у Кино и, ухватив его двумя пальцами
за нижнюю губу, открыл ему рот. Толстые пальцы доктора
сунули капсулу на самый корень языка, так что ребенок
не мог выплюнуть ее, а потом доктор поднял с пола ма-
ленький кувшин и дал Койотито глотнуть пульки — и все.
Доктор снова посмотрел ему глазное яблоко, поджал губы
и будто задумался.

Но вот он отдал ребенка Хуане и повернулся к Кино:

— Действие яда должно сказаться в течение часа. Если
лекарство подействует, ребенок выживет. Через час я приду.
Может быть, я поспел вовремя и спасу его.— Он глубоко
вздохнул и вышел из хижины, и слуга с фонарем после-
довал за ним.

Хуана держала ребенка у себя под шалью и смотрела
на него сама не своя от волнения и страха. Кино подошел
к ней, откинул край шали и тоже посмотрел на Койотито.
Он поднял руку, чтобы оттянуть ему веко, и только тогда
увидел, что жемчужина все еще зажата у него в руке. Он
подошел к ящичку у стены и вынул оттуда небольшую тря-
пицу. Он завернул в нее жемчужину, вырыл пальцами ямку
в дальнем углу хижины, положил туда этот крошечный
сверток, забросал его землей и разровнял место, так чтобы
ничего не было видно. Потом вернулся к костру, около ко-
торого, не сводя глаз с лица Койотито, сидела Хуана.

Придя домой, доктор опустился в кресло и посмотрел
на часы. Слуги подали ему легкий ужин — шоколад с пе-
сочным печеньем и фрукты, и доктор сидел, недовольно
глядя на все это.

В соседних хижинах впервые обсуждалось то, чему было
суждено долгие годы служить темой всех бесед, всех тол-

ков и пересудов. Соседи показывали друг другу, какая огромная эта жемчужина, соединяя кончики большого и указательного пальцев, и легкими ласкающими движениями рук старались передать, до чего же она прекрасна. С этого дня соседи будут пристально следить за Кино и Хуаной, следить, не вскружило ли им голову богатство — ведь богатство кружит голову всем. Соседи знали, почему доктор пришел к Койотито. Доктор был плохой актер, и все догадались о цели его прихода.

А в Заливе маленькие рыбешки, сбившиеся плотным косяком, сверкали чешуей в воде, спасаясь от косяка крупных рыб, которые гонялись за ними, чтобы сожрать их. И людям, сидевшим по тростниковым хижинам, было слышно, как идет эта бойня, как мелочь со свистом рассекает волну, а хищники, стремительно вырываясь на поверхность, шлепают по воде плавниками и хвостом. Испарения поднимались над Заливом и солеными капельками оседали на кустах, кактусах и низкорослых деревьях. И мыши сновали по земле, а маленькие ночные ястребки бесшумно охотились на них.

Костлявый черный щенок с золотисто-огненными подпалинами над глазами подошел к дверям хижины Кино и заглянул туда. Он чуть не отвихлял себе зад, когда Кино скользнул по нему взглядом, и сразу затих, лишь только Кино отвел от него глаза. Щенок не вошел в хижину, а, сидя у порога, с безумным интересом следил за тем, как Кино ел фасоль из маленького глиняного горшочка, как он вытер его дочиста лепешкой, съел и лепешку и запил все это пулькой.

Поужинав, Кино стал свертывать самокрутку, как вдруг Хуана резко вскрикнула:

— Кино!

Он взглянул на Хуану, встал и быстро подошел к ней, потому что в глазах Хуаны был ужас. Он нагнулся и ничего не разглядел в полумраке. Он подкинул ногой веток в ямку, чтобы костер разгорелся ярче, и тогда огонь осветил голову Койотито. Лицо у ребенка было все красное, горло судорожно подергивалось, в уголках рта проступила густая слюна. У Койотито начинались желудочные колики, и ему было совсем плохо.

Кино стал на колени рядом с женой.

— Значит, доктор говорил правду, — сказал он, сказал

и самому себе и жене, потому что мысли у него были все еще злые, недоверчивые и он все еще не забыл про белый порошок. Покачиваясь взад и вперед, Хуана жалобно затянула Песнь семьи, точно ею можно было отогнать беду, а ребенка тошнило, и он корчился у нее на руках. Кино был весь во власти своих сомнений, и напев зла гудел у него в ушах, почти заглушая песнь Хуаны.

Доктор выпил чашку шоколада, подобрал со скатерти крошки песочного печенья и отправил их в рот. Потом он вытер пальцы салфеткой, посмотрел на часы, поднялся и взял свою сумку.

Весть о том, что ребенку стало хуже, быстро облетела тростниковые хижинны, потому что после голода болезнь — самый страшный враг бедняков. И кое-кто из соседей тихо говорил: «Вот видите! По пятам за удачей идут се пагубные друзья». И они вставали, покачивая головой, и шли к хижине Кино. Прикрывая красн одсяла поздри от сырости, соседи со всех сторон спсшили в темноте к хижине Кино, и скоро там опять стало тесно. Люди стояли и смотрели на Койотито и время от времени коротко переговаривались между собой о том, как это грустно, что такая беда случилась в день радости, и добавляли: «Все в руках божиих».

Старухи присели на корточки рядом с Хуаной и пытались помочь ей, а если не помочь, так хоть утешить.

Доктор быстро вошел в хижину в сопровождении своего слуги. Он разогнал старух, точно это были куры. Он взял ребенка, осмотрел его и пощупал ему лоб.

— Яд оказывает свое действие, — сказал доктор. — Но я буду бороться с ним. Сделаю все, что могу.

Он попросил воды и капнул в кружку три капли нашатырного спирта, потом разжал Койотито зубы и влил раствор ему в рот. Койотито пронзительно закричал, давясь и выплевывая лекарство, а Хуана, как обезумевшая, смотрела на него. Возясь с ребенком, доктор приговаривал:

— Счастье, что я умею лечить от укусов скорпиона, не то... — И доктор пожал плечами, давая этим понять, что было бы, если бы не его умение.

Но Кино, еще не расставшийся со своими подозрениями, все смотрел и смотрел на раскрытую докторскую сумку и видневшийся в ней пузырек с белым порошком. Мало-помалу судороги прекратились, и Койотито затих на руках

у доктора. А потом он глубоко вздохнул и задремал, измученный приступами рвоты.

Доктор передал Койотито с рук на руки Хуане.

— Теперь дело пойдет на поправку,— сказал он.— Я выиграл бой.

И Хуана обожающими глазами посмотрела на него.

Доктор уже закрыл свою сумку. Он спросил:

— Когда же ты думаешь расплатиться со мною? — Он проговорил это даже ласково.

— Я расплачусь, как только продам жемчужину,— ответил Кино.

— У тебя есть жемчужина? И хорошая жемчужина? — заинтересовался доктор.

И тут хором вступили соседи.

— Он выловил самую большую в мире! — наперебой кричали они и, сомкнув кончики большого и указательного пальцев, показывали, какая она огромная, эта жемчужина.

— Кино разбогатеет,— перебивая один другого, говорили соседи.— Такой жемчужины еще никто не видел.

Доктор сделал удивленное лицо.

— Первый раз слышу. А где ты держишь свою жемчужину? В надежном месте? Хочешь, я спрячу ее у себя в сейфе?

Кино прикрыл глаза веками, и на скулах у него проступили желваки.

— Место надежное,— сказал он.— Завтра я продам ее и заплачу вам.

Доктор пожал плечами, но его слезящиеся глаза, не отрываясь, смотрели в глаза Кино. Он был уверен, что жемчужина спрятана в хижине, и следил, не взглянет ли Кино на то место, где она зарыта.

— Будет очень жаль, если жемчужину украдут у тебя до того, как ты ее продашь,— сказал доктор и заметил, что Кино невольно метнул взгляд на пол, к угловой стойке хижины.

Когда доктор ушел и соседи нехотя разбрелись по домам, Кино присел на корточки у тлеющих в ямке углей и стал прислушиваться к ночным звукам — к шороху легкой прибрежной волны и лаю собак где-то вдалеке, к шелесту ветерка на крыше тростниковой хижины и к приглушенным голосам соседей, доносившимся из других хижин поселка. А голоса не умолкали, потому что сон у этих людей пре-

рывистый: они проснутся среди ночи, поговорят и опять засыпают. И, посидев у тлеющего костра еще несколько минут, Кино встал и подошел к двери.

Он втянул ноздрями воздух и прислушался, не подползает ли, не крадется ли кто, и его глаза впивались в ночную темноту, ибо Песнь зла не стихала, а вместе с ней не стихали ни гнев, ни страх в сердце Кино. Приглядевшись, прислушавшись к ночи, он вернулся в хижину, подошел к угловой стойке, откопал жемчужину и, вырыв под циновкой другую ямку, положил ее туда и прикрыл сверху землей.

А Хуана, сидевшая у костра, следила за ним недоумевающим взглядом, и когда он спрятал жемчужину, она спросила:

— Кого ты боишься?

Кино искал слово, нужное для ответа, и, найдя его наконец, сказал:

— Всех.— И почувствовал, как твердая броня одевает ему сердце.

Они легли на циновку, и в эту ночь Хуана не стала класть ребенка в ящик, подвешенный к потолку, а взяла его к себе и прикрыла ему лицо своей шалью. И вскоре в ямке для костра один за другим погасли все угольки.

Голова у Кино горела даже во сне, и ему снилось, что Койотито научился читать и что теперь он, его сын и сын его народа, расскажет своему отцу всю правду. Койотито читал книгу — огромную, величиной с дом, буквы в ней были большие, каждая величиной с собаку, и слова скакали и резвились по ее страницам. А потом на книгу упала густая тень, и сейчас же вслед за этим снова зазвучал злой напев, и Кино беспокойно заворочался во сне, и при первом же его движении глаза у Хуаны открылись. Кино проснулся, но злой напев все еще пульсировал у него в ушах, и он лежал в темноте, насторожившись всем своим существом.

И вдруг из дальнего угла хижины до него донесся звук, такой слабый, что, может статься, это только почудилось ему, затаенный шорох, бесшумная поступь, почти невнятное «х-х» сдерживаемого дыхания. Кино сам перестал дышать, прислушиваясь, и он знал: то темное, что таится в его доме, тоже не дышит и тоже прислушивается. Минуту-две в дальнем углу хижины все было тихо. Кино мог бы подумать, что он ошибся. Но рука Хуаны предостерегающе

подкралась к его руке, и тут звук слышался снова: шорох шагов по утоптанному полу и царапанье пальцами по земле.

К сердцу Кино волной подступил смертельный страх, а вслед за страхом, как всегда,— гнев. Рука его метнулась к груди, туда, где висел на шнурке нож, и он вскочил с циновки и, хрипя, фыркая, как разъяренная кошка, бросился на то темное, что таилось в углу его дома. Он нащупал рукой мягкость ткани, ударил ножом, промахнулся, снова ударил, почувствовал, что нож распорол ткань, и тут мозг ему пронзило молнией, и его обожгло взрывом боли. Шорох у порога, быстро удаляющийся топот ног — и все стихло.

Кино почувствовал, что со лба у него течет теплая кровь, услышал зов Хуаны:

— Кино! Кино!

И в голосе ее был ужас. Тогда холодное спокойствие пришло к нему, так же стремительно, как минуту назад гнев, и он сказал:

— Я жив. Здесь больше никого нет.

Он ощупью пробрался к циновке. А Хуана уже была у костра. Она раскопала в золе уголек, бросила на него разорванных кукурузных листьев, подула на них, и по хижине заплясали маленькие отсветы огня. А потом Хуана достала из потайного места огарок священной свечки, зажгла его и поставила на камень у костра. Хуана двигалась быстро и тихо напевала все время. Она намочила край своей шали в воде и вытерла Кино кровь со лба.

— Ничего,— сказал Кино, но голос и глаза были у него угрюмые, холодные, и ненависть росла в нем.

И тогда напряжение, кипевшее в Хуане, прорвалось наружу, губы у нее сжались тонкой полоской.

— Эта жемчужина недобрая! — крикнула Хуана. — В ней грех! Она погубит нас! — В голосе Хуаны зазвучали пронзительные нотки. — Выбрось ее, Кино. Давай раздавим ее жерновом. Давай закопаем ее и забудем то место. Давай бросим ее назад в море. Она несет с собой беду. Кино, муж мой! Она погубит нас! — И в отблесках огня, плясавшего по хижине, губы и ресницы Хуаны дрожали от страха.

Но во взгляде Кино была непоколебимость, и волю его тоже ничто не могло поколебать.

— Когда мы еще дождемся такого? — сказал он. — Наш сын должен учиться в школе. Он должен разорвать путы, которые держат нас.

— Она принесет нам гибель! — крикнула Хуана. — Всем нам, даже нашему сыну.

— Молчи, — сказал Кино. — Довольно говорить. Утром мы продадим жемчужину, и все, что в ней есть недоброго, уйдет, останется только хорошее. Молчи, жена. — Его темные глаза хмуро уставились на огонь, и тут он впервые почувствовал, что все еще держит нож в руке, и, взглянув на стальное лезвие, увидел на нем узкую полоску крови. Секунду он колебался, а потом, вместо того чтобы вытереть нож о брюки, счистил с него кровь, ударив им в землю.

Вдали уже начали перекликаться петухи, и в воздухе потеплело — рассвет был близок. Утренний ветер покрывал рябью гладь речного устья, шелестел листвой мангровых деревьев, и маленькие волны все чаще и чаще набсгали на мелкую ракушку прибрежной кромки. Кино приподнял циновку, откопал свою жемчужину и положил ее перед собой.

И красота жемчужины, зыбко мерцающей серебром при свете огарка, обманула его своей прелестью. Она была такая красивая, такая нежная, и у нее была своя песнь — песнь, полная обещаний, сулящая радость, надежное будущее, покой. Ее теплое свечение было как целебное снадобье на саднящую рану, как стена, ограждающая от обид. Она навсегда захлопывала дверь перед голодом. И по мере того, как Кино смотрел на нее, взгляд у него становился все мягче и напряженность сходила с лица. Он видел маленькое отражение огарка в серебристой поверхности жемчужины, он слышал чудесную песнь подводного царства, музыку рассеянного зеленого света на морском дне. Взглянув на него украдкой, Хуана увидела, что он улыбается. И так как они были все же одним существом, одной волей, она улыбнулась вместе с ним.

И в утро этого дня их приласкала надежда.

IV

Не достойна ли удивления зоркость, с какой каждый маленький городок следит и за самим собой, и за отдельными единицами, составляющими его целое. Если мужчина, женщина, ребенок живет, придерживаясь раз и навсегда установленных правил, и не нарушает обычаев, не отли-

чается от других мужчин, женщин и детей, не идет на риск новизны, не страждет каким-нибудь недугом и не грозит ни душевному покою, ни размеренному течению жизни города, тогда эта единица пребывает в неизвестности и ничем не даст знать о себе. Но пусть только кто-нибудь один сделает шаг в сторону от рутины мысли или от раз заведенного, надежного порядка вещей, и нервы горожан сейчас же отзовутся на это, первая система города сейчас же придет в действие. И тогда каждая отдельная единица сообщается с другими такими же единицами.

И вот ранним утром по всему городу Ла-Пас разнеслась весть, что днем Кино пойдет продавать свою жемчужину. Это стало известно соседям в тростниковых хижинах и ловцам жемчуга; это стало известно в китайских бакалейных лавках; это стало известно в церкви, потому что служки перешептывались между собой, делясь последней новостью о жемчужине. Слух об этом дошел и до монахов; нищие на церковной паперти обсуждали его, ибо им-то наверняка предстояло вкусить от первых плодов удачи, выпавшей на долю Кино. Мальчишки встретили эту новость восторженными криками, но больше всех она взволновала скупщиков жемчуга, и когда день наступил, каждый скупщик уже сидел у себя в конторе наедине со своим черным бархатным лотком и кончиками пальцев катал по нему жемчужины и заранее репетировал свою роль в предстоящем событии.

Издавна принято было считать, что скупщики жемчуга ведут свои дела каждый сам по себе и перехватывают друг у друга жемчужины, которые приносят им на продажу. И когда-то действительно так и было. Но этот порядок не оправдал себя, ибо, горячась, скупщики частенько переплачивали ловцам жемчуга, и мириться с таким расточительством в конце концов не желали. В дальнейшем остался только один скупщик — многорукий скупщик, и люди, которые сидели по своим конторам в ожидании Кино, знали заранее, сколько они предложат за его жемчужину, сколько надбавят и на какие пойдут ухищрения, чтобы сбить цену. И хотя эти скупщики работали не на процентах, а получали только свое жалованье, их трепала лихорадка, ими владел охотничий азарт, потому что человек, которому по роду его занятий надлежит сбивать цену, торгуется с радостью, с восторгом и сбивает ее настолько, насколько

это удастся ему. И так всякий из нас на любом жизненном поприще действует в полную меру своих способностей и выполняет все от него зависящее, что бы мы там ни думали сами о себе. Скупщик жемчуга остается скупщиком жемчуга независимо от того, получит ли он награду за свои труды, повысят ли его в должности, удостоят ли похвалы, и самый лучший, самый удачливый среди них тот, кто покупает жемчуг по самой низкой цене.

Солнце, желтое и горячее в то утро, поднимало испарения с речного устья и с Залива и серебристо-дымчатыми шарфами развешивало их в воздухе, а воздух дрожал, и даль расплывалась в нем. К северу от города над Заливом стоял мираж — отображение горы, которая была больше чем в двухстах милях отсюда, и отвесные склоны этой горы были укутаны сосновыми лесами, а над линией лесов она вздымалась в небо голой скалистой вершиной.

В утро этого дня лодки лежали на берегу, никто не вышел на ловлю жемчуга, ибо в городе ожидалось важные события, надо было присутствовать при них и видеть собственными глазами, как Кино пойдет продавать свою огромную жемчужину.

В утро этого дня обитатели тростниковых хижин засиделись за завтраком, и каждый из них говорил о том, что бы он сделал, если бы жемчужина досталась ему. И один человек сказал, что он принес бы ее в дар святому отцу в Риме. Другой — что он уплатил бы за помин души всех своих родственников на тысячу лет вперед. Третий предпочитал, выручив деньги за жемчужину, раздать их беднякам Ла-Паса, а четвертый прикидывал, сколько можно сделать добра на такую большую сумму, скольких можно осчастливить, выручить, спасти. Соседи надеялись, что свалившееся на Кино богатство не вскружит ему голову, не превратит его в черствого богача, не привьет ему дурных черенков от дичка скупости, злобы и бессердечия. Ибо Кино любили в поселке, и было бы жаль, если бы жемчужина принесла ему гибель. «У него такая хорошая жена Хуана, — говорили соседи, — и такой славный мальчик Койотито, и ведь Койотито — не последний, будут и другие дети. Неужели огромная жемчужина погубит их всех?»

Для Кино и Хуаны утро этого дня было лучшим за всю их жизнь, и они могли сравнить его только с тем днем, когда родился Койотито. Этот день положит начало всем

последующим. И они будут говорить: «Это было за два года до того, как мы продали жемчужину». Или: «Это было спустя полтора месяца после того, как мы продали жемчужину». Хуана решила, что в такой день можно на все махнуть рукой, и она одела Койотито в платице, которое береглось к его крещению, когда будет чем заплатить за крещение. И Хуана расчесала волосы, вплела в косы красные ленты, завязала концы бантиками и нарядилась в свою свадебную юбку и кофточку. Когда все приготовления подошли к концу, солнце уже высоко поднялось над горизонтом. Рубашка и брюки у Кино были хоть и рваные, но, чистые, и в этот день он последний раз надевал на себя лохмотья. Ибо завтра, а может статься, даже сегодня у него будет все новое.

Соседи, посматривавшие сквозь щели в стенах на дверь хижины Кино, тоже были одеты и готовы к выходу. Собираясь вместе с Кино и Хуаной идти продавать жемчужину, никто из них не испытывал ни малейшего чувства неловкости. Так и следовало поступить в этот знаменательный день, надо быть сумасшедшим, чтобы не пойти вместе с Кино и Хуаной. Останься они дома, это можно было бы считать чуть ли не знаком недружелюбия с их стороны.

Хуана бережно надела шаль на голову, и один ее конец спустила по правому боку и перекинула через правую руку, так что получилось нечто вроде маленькой люльки, и в эту люльку она посадила Койотито — пусть все увидит, и не только увидит, а может быть, и запомнит. Кино надел широкополую соломенную шляпу и потрогал тулью рукой — все ли в порядке, ибо надевать ее следовало не на затылок и не набекрень, как любит носить шляпы бесшабашная, неженатая молодежь, и не прямо, как носят люди пожилые, а чуть на нос, что должно было подчеркивать напористость, деловитость и силу воли ее обладателя. О многом можно судить по тому, как сидит у человека шляпа на голове! Кино сунул ноги в сандалии и завязал ремешки. Огромная жемчужина была завернута в кусок мягкой замши и положена в кожаный мешочек — в нагрудный карман. Кино аккуратно скатал одеяло в длину, перебросил его через левое плечо, и теперь они были готовы — все трое.

Полный достоинства, Кино вышел из своей хижины, а следом за ним Хуана с Койотито на руках. И на промытой отливом дороге к ним один за другим присоединились со-

седи. Хижины извергали на улицу взрослых, выплескивали детей. Но цель этого шествия была такая серьезная, что только один человек шагал рядом с Кино, и это был его брат Хуан Томас.

Хуан Томас наставлял младшего брата.

— Смотри, как бы тебя не обманули. Надо действовать осмотрительно,— говорил он.

— Очень осмотрительно,— согласился с ним Кино.

— Мы не знаем, сколько платят за жемчуг в других городах,— говорил Хуан Томас.— Как угадать настоящую цену, если нам неизвестно, сколько скупщик получит за твою жемчужину в другом городе?

— Ты прав,— сказал Кино.— Но откуда нам это знать? Мы живем здесь, мы не знаем, что делается в других местах.

Чем ближе они подходили к городу, тем больше и больше росла сопровождающая их толпа, но Хуан Томас продолжал говорить, потому что его мучило беспокойство.

— Когда тебя еще не было на свете, Кино,— говорил он,— старики все думали, как сделать, чтобы получать больше денег за жемчуг. И они решили найти человека, который возил бы жемчуг в столицу и продавал бы его там и получал бы плату за свои труды.

Кино склонил голову:

— Знаю,— сказал он.— Это было мудрое решение.

— И такого человека нашли,— продолжал Хуан Томас.— Все отдали ему свои жемчужины и отправили его в путь. И с тех пор он как в воду канул, а вместе с ним и жемчуг. Тогда нашли другого человека, и его тоже отправили в большой город, и он тоже исчез. После этого старики отказались от своей затеи, и все пошло по-прежнему.

— Знаю,— сказал Кино.— Я помню, как наш отец рассказывал об этом. Старики решили мудро, но религия не позволяет так делать. Об этом нам говорил священник. Пропажа всех жемчужин была возмездием тем, кто захотел сменить свое место на лучшее. Священник объяснил нам, что каждый мужчина и каждая женщина — это воин, посланный господом богом охранять чертог Вселенной. Кому положено нести стражу на крепостном валу, кому — во тьме подземелья. Оставлять свой пост не дозволено и бегать с места на место тоже не дозволено, ибо тогда силы ада восстанут и чертог будет разрушен.

— Я слышал эту проповедь,— сказал Хуан Томас,— Он читает ее каждый год.

Братья чуть прищурились, так, как щурился весь их народ — и сами они, и прадеды, и прапрадеды их — вот уже четыреста лет, с того самого дня, когда эту страну заполнили чужеземцы, всезнающие, всевластные и готовые в любую минуту подкрепить пороховом свои знания и власть. И за четыреста лет народ Кино научился отгораживаться от них только чуть заметным прищуром глаз, чуть заметными складками у рта и отчужденностью. Ничто не могло разрушить эту ограду, ничто не могло помешать им оставаться самими собой под ее защитой.

Нарастающая толпа двигалась торжественным шагом, чувствуя все значение этого дня, и если кто-нибудь из ребятшек затевал драку, поднимал крик или плач, срывал шляпу с головы у сверстника и взъерошивал ему волосы, взрослые шикали на озорников и смирляли их. Настолько важные события ожидались в этот день, что один дряхлый старец тоже примкнул к процессии, восседая на могучих плечах своего внука. Процессия миновала тростниковые хижины и вступила в город с кирпичными и каменными домами, где улицы были чуть пошире, а вдоль домов шли узкие тротуары. И как накануне к ней примкнули нищие с церковной паперти; ее провожали глазами лавочники; маленькие таверны опустели, хозяева заперли их и тоже двинулись вместе с толпой. А солнце заливало город зноем, и тень на землю отбрасывали даже мелкие камешки.

Слух о приближении процессии опередил ее, и скупщики жемчуга выпрямились и насторожились, сидя в своих маленьких темных конторах. Они стали перелистывать какие-то бумаги, притворяясь занятыми на случай появления Кино, и убрали свой жемчуг с глаз долой, ибо не годится, чтобы мелкие жемчужины оставались на столе, когда рядом с ними ляжет красавица. Весть о прелести жемчужины, которую несет Кино, уже дошла до них. Конторы скупщиков теснились все на одной узенькой улице, окна у них были снаружи зарешечены, а изнутри закрыты жалюзи, и оттого, что свет проникал внутрь только сквозь щели между деревянными планками, в конторах всегда стояла мягкая полутьма.

В одной из контор сидел грузный, неповоротливый человек. Выражение лица у него было отечески доброе,

взгляд ласковый. Такой здоровается приветливо и обязательно за руку, знает множество анекдотов — словом, душа нараспашку. А какая в нем отзывчивость! Посреди шуток и смеха вдруг загрустит, вспомнив вашу покойную тетюшку, и смахнет слезу, скорбя о вашей невозвратимой утрате. В то утро он поставил себе на стол вазу, а в нее единственный цветок — алый гибискус, и ваза соседствовала с черным бархатным лотком для жемчуга. Лицо у этого человека было выбрито до синевы, руки были чистые, с отполированными ногтями. Дверь его конторы стояла распахнутой навстречу утру, и он напевал что-то себе под нос, а правой рукой проделывал фокус с монетой. Монета перекатывалась у него по костяшкам пальцев, уходила на ладонь, подскакивала кверху, поблескивая на свету. Она мгновенно исчезала и снова появлялась, а он даже не смотрел на нее. Пальцы работали сами собой, с точностью автомата, и человек напевал что-то себе под нос и поглядывал на дверь. И вдруг он услышал топот приближающейся толпы, пальцы его правой руки заработали еще быстрее, и когда Кино появился в дверях, монета сверкнула в последний раз и исчезла.

— Добрый день, друг мой, — сказал грузный человек. — Чем могу служить тебе?

Глаза Кино не сразу привыкли к полумраку маленькой конторы, потому что в них все еще стояло слепящее солнце. А в глазах скупщика стояла жестокость, и они смотрели на Кино по-ястребиному — в упор, не мигая, тогда как губы его приветливо улыбались. И правая рука, спрятанная под столом, по-прежнему играла монетой.

— Я принес жемчужину, — сказал Кино. И Хуан Томас, стоя рядом с ним, чуть слышно хмыкнул, недовольный сдержанностью этого ответа. Соседи смотрели в контору с порога, мальчишки висели на оконной решетке, а двое-трое малышей, опустившись на четвереньки, наблюдали за всем происходящим, выглядывая из-за ног Кино.

— Ты принес одну жемчужину, — сказал скупщик, — а мне приносят их сразу по десять — двенадцать штук. Ну что ж, покажи свою жемчужину. Мы оценим ее и заплатим тебе по справедливости. — И его пальцы лихорадочно завертели монету.

Чутье подсказало Кино, что надо бить на эффект. Это получилось у него как-то само собой. Медленно положил

он на стол кожаный мешочек, медленно вынул оттуда грязную замшевую тряпочку, скатил огромную жемчужину на черный бархатный лоток и, мгновенно подняв глаза, посмотрел скупщику в лицо. Ни малейшей перемены не было в этом лице — оно не дрогнуло, ничем не выдало себя, но рука, спрятанная под столом, дала осечку. Монета запнулась за сустав пальца и бесшумно скользнула скупщику на колени. И пальцы, прятаясь под столом, сжались в кулак. Когда правая рука вынырнула из своего тайного убежища, указательный палец тронул огромную жемчужину, пустил ее по черному бархату лотка; большой и указательный подняли ее, поднесли к глазам скупщика и подкинули в воздух.

Кино затаил дыхание, и соседи тоже затаили дыхание, и по толпе — от стола к дверям — пронесся шепот:

— Он рассматривает ее. Цену еще не сказал... О цене речи пока не было.

Рука скупщика действовала сама по себе. Рука бросила огромную жемчужину обратно на бархатный лоток, указательный палец толкнул, щелкнул ее — он издевался над ней, а на лице скупщика заиграла грустная, презрительная усмешка.

— Ничего не могу поделать, друг мой, — проговорил он и чуть пожал плечами, выражая этим свою полную непричастность к постигшей Кино неудаче.

— Эта жемчужина стоит больших денег, — сказал Кино.

Пальцы скупщика снова щелкнули жемчужину так, что она заметалась по бархатному лотку, мягко отскакивая от его бортов.

— Знаешь, что такое обманка? — Спросил скупщик. — Люди ищут золото, а находят обманку. Так и с твоей жемчужиной. Она слишком велика. Кто ее купит? На такие спроса нет. Это всего лишь диковинка. Жаль, но что поделаешь? Ты думал, что твоя жемчужина стоит огромных денег, а ведь это только диковинка, особой ценности она не имеет.

В глазах у Кино были растерянность, тревога.

— Она самая большая в мире! — воскликнул он. — Такой жемчужины еще никто не видел!

— Ошибасься, — сказал скупщик. — Она слишком большая, грубая. Она представляет интерес лишь как редкостный по величине экземпляр. Если ее купят, так разве в какой-нибудь музей для пополнения коллекции морских

раковин. Я могу предложить тебе за нее... ну, скажем, тысячу песо.

Лицо у Кино потемнело, глаза смотрели грозно.

— Она стоит пятьдесят тысяч,— сказал он.— Вы сами это знаете. Вы хотите обмануть меня.

Ухо скупщика уловило, как по толпе, услышавшей предложенную цену, прошел невнятный ропот. И скупщик почувствовал легкую дрожь страха.

— Не вини меня,— быстро проговорил он.— Я всего лишь оценщик. Спроси кого-нибудь еще. Сходи к другим скупщикам и покажи им свою жемчужину. А лучше пусть они сами придут сюда, и ты убедишься, что мы не в сговоре. Эй!— крикнул он и приказал мальчику, выглянувшему из-за двери в глубине конторы: — Сбегай к тому-то и тому-то. Попроси их прийти сюда, только не говори зачем. Скажи просто, что я буду рад их видеть.— И правая рука нырнула под стол и вынула еще одну монету из кармана, и монета начала перекатываться взад и вперед по костяшкам пальцев.

Соседи Кино перешептывались между собой. Они так и думали, что добром это не кончится. Слов нет, жемчужина большая, но цвет у нее необычный. Она с самого начала показалась им какой-то странной. И если уж на то пошло, тысяча песо на дороге не валяется. Для человека, у которого ничего нет, это целое состояние. А что, если Кино согласится на такую цену? Ведь только вчера он был бедняком.

Но Кино словно окаменел. Он чувствовал, что судьба его решается, что его кольцом окружает волчья стая, что над ним вьются стервятники. Он чувствовал, как зло подкрадывается к нему, и не знал, где искать защиты. Он слышал вражескую песнь, она стояла у него в ушах. А огромная жемчужина, поблескивая, лежала в черном бархатном лотке, и человек, сидевший за столом, не мог отвести от нее глаз.

Толпа в дверях дрогнула и расступилась, давая дорогу троим скупщикам. Толпа примолкла теперь, боясь упустить хоть слово, боясь прозевать малейшее движение, малейший взгляд. Кино тоже молчал — молчал настороженно. И вдруг он почувствовал, что его потянули сзади за рубашку, и, оглянувшись, посмотрел в глаза Хуаны, и когда он отвернулся от нее, новые силы прихлынули ему к сердцу.

Скупщики смотрели куда угодно, только не друг на друга и не на жемчужину. Тот, что сидел за столом, сказал: — Я оценил вот эту жемчужину. Ее хозяин не согласен с моей оценкой. Прошу вас взглянуть на эту... эту вещь и определить ее стоимость. Учти,— обратился он к Кино,— что я не назвал суммы, которую предложил тебе.

Первый скупщик, тощий, жилистый, словно только сейчас увидел жемчужину. Он взял ее, быстро покатал между большим и указательным пальцами и презрительным жестом бросил в лоток.

— Меня можете не принимать в расчет,— сухо проговорил он.— Я ничего не дам. Мне такая не нужна. Это не жемчужина... Это какое-то чудовище.— Его тонкие губы сжались еле заметной полоской.

Теперь второй скупщик, маленький, с тихим, робким голосом, взял жемчужину, внимательно осмотрел ее. Он вынул лупу из кармана и посмотрел на жемчужину еще раз. И негромко рассмеялся.

— Искусственные и то бывают лучше,— сказал второй скупщик.— Мне такие попадались. Она мягкая, рыхлая. Через несколько месяцев потускнеет и умрет. Смотри...— Он протянул лупу Кино, показал, как пользоваться ею, и Кино, которому никогда не приходилось разглядывать жемчуг сквозь увеличительное стекло, испугался, увидев, какая странная поверхность у его жемчужины.

Третий скупщик взял ее у Кино.

— Один мой клиент интересуется такими вещами,— сказал он.— Даю пятьсот песо, а ему, может быть, продам за шестьсот.

Кино быстро протянул руку и выхватил жемчужину у него из пальцев. Он завернул ее в замшевый лоскут и сунул за пазуху.

Человек, сидевший за столом, сказал:

— Я, конечно, набитый дурак, но от своей цены не отступлюсь. Даю по-прежнему тысячу песо. Что это ты? — удивился он, когда Кино спрятал жемчужину.

— Вы меня обманываете! — гневно крикнул Кино.— Я не буду продавать здесь свою жемчужину. Я поеду в другой город, может быть, даже в столицу.

Скупщики быстро переглянулись. Они поняли, что переборщили; они знали, что им влетит за такой промах, и тогда человек, сидевший за столом, быстро проговорил:

— Хорошо, даю полторы тысячи.

Кино повернулся и, расталкивая соседей, пошел к двери. Жужжание голосов доносилось до него смутно, сквозь яростный гул крови в ушах, и, пробившись к выходу, он зашагал прочь от конторы. Хуана рысцой поспевала за ним.

Когда наступил вечер, соседи разошлись по домам и, ужиная кукурузными лепешками и фасолью, обсуждали важные события этого дня. Трудно сказать, где правда. Слов нет, жемчужина красивая, но они впервые видят такую, а скупщики разбираются в жемчуге лучше всех. «И вы помните? — говорили они. — Скупщики не советовались друг с другом, и все трое признали, что жемчужина не имеет никакой цены».

— А может, они сговорились заранее?

— Если это так, значит, нас обманывают всю нашу жизнь.

Может быть, говорили некоторые, может быть, Кино не следовало отказываться от полутора тысяч песо. Это большие деньги, он таких денег и в руках не держал. Может быть, Кино безмозглый дурак? А что, если он и в самом деле поедет в столицу и не найдет там покупателя на свою жемчужину? Такое трудно пережить. Вот теперь, говорили трусливые, теперь когда Кино пошел наперекор этим скупщикам, они вовсе не захотят иметь с ним дело. Может быть, Кино сам положил голову на плаху, сам погубил себя.

Другие же говорили: «Кино отважный человек, такого человека не запугаешь; он прав». И эти гордились своим соседом Кино.

А Кино, опустив голову, сидел на циновке у себя в хижине и думал. Жемчужина была зарыта под камнем у костра. Кино долго, не отрываясь, смотрел на пеструю циновку, и у него уже начинало рябить в глазах. Он потерял свой мир, а нового не нашел. И Кино было страшно. Еще ни разу в жизни не случалось ему далеко уходить из дому. Чужие люди, чужие места страшили его. Он представлял себе это чудовище, что зовется столицей, чудовище, где все чужое. Оно притаилось за морем, за горами, до него тысячи миль, и каждая чужая, страшная миля внушала Кино ужас. Но он потерял свой старый мир, и теперь ему надо было пробираться в новый, ибо его мечта о будущем была реальна, уничтожить ее никто не мог. Он сказал «я пойду», и это «пойду» тоже обрело реальность. Решиться пойти и

сказать об этом вслух — все равно что быть на полпути к цели.

Хуана следила за ним, когда он зарывал жемчужину, она следила за ним, купая и кормя грудью Койотито, а теперь Хуана пекла кукурузные лепешки на ужин.

Хуан Томас вошел к ним в хижину и присел на корточки рядом с Кино, и после долгого молчания Кино сказал: — Что мне было делать? Эти люди обманщики.

Хуан Томас медленно покачал головой. Он был старший, и Кино прибегнул к его мудрости.

— Не знаю, как быть... — ответил он. — Нас обманывают со дня нашего рождения и до самой могилы, когда втридорога просят за гроб. Но мы живем, несмотря ни на что. Ты пошел наперекор не только скупщикам жемчуга, но наперекор всей нашей жизни, наперекор всему, на чем она держится, и я страшусь за тебя.

— Что мне грозит, кроме голода? — спросил Кино.

Хуан Томас медленно покачал головой.

— Голод грозит нам всем. Но что, если ты прав... что, если жемчужина стоит больших денег?.. Ты думаешь, этим все кончится?

— Как тебя понять?

— Сам не знаю, — сказал Хуан Томас, — но я страшусь за тебя. Ты ступил на неизведанную землю, дороги ее незнакомы тебе.

— Я все равно пойду. Я не стану откладывать, — сказал Кино.

— Да. Идти надо, — согласился с ним Хуан Томас. — Но как знать? Может быть, там, в столице, будет то же самое? Здесь у тебя много друзей, здесь я — твой брат. А там ты один.

— Что же мне делать? — воскликнул Кино. — Здесь творятся беззакония. Мой сын должен быть счастлив. А они замахиываются на его счастье. Друзья не оставят меня без помощи.

— Да, они не откажутся помогать, пока это не будет им в тягость, пока это не подвергнет их опасности, — сказал Хуан Томас и встал со словами: — Да хранит тебя господь.

И Кино тоже сказал:

— Да хранит тебя господь, — и даже не посмотрел брату вслед, потому что эти слова странным холодком отозвались у него в груди.

Когда Хуан Томас ушел, Кино долго сидел на циновке и думал. Оцепенение и серая безнадежность сковывали его. Перед ним были закрыты все пути. Грозный напев врага не умолкал. Мысли жгли его, не давая ему покоя, но чувства по-прежнему были в тесном сродстве со всем миром, и этот дар единения с миром он получил от своего народа. Он слышал, как надвигается ночь, как прядают на песок и откатываются назад, в Залив, маленькие волны, слышал сонные жалобы птиц, устраивающихся на покой, и любовное томление кошек, и ровный посвист пространства. И в ноздрях у него стоял острый запах водорослей, оставленных отливом на берегу. Маленькие язычки огня бросали узорчатые тени на циновку, и он застывшим взглядом смотрел на них.

Хуана тревожно следила за ним, но она знала его, знала, что лучшая помощь ему — это молчать и быть рядом. И Хуане словно тоже слышалась Песнь зла, и она боролась с ней, тихонько напевая песенку о семье, песенку о покое, тепле, нерушимости семьи. Она держала Койотито на руках и пела ему, гоня беду прочь, и голос ее смело восставал против угрозы, таившейся в суровой мелодии зла.

Кино, не двигаясь, сидел на циновке и не просил ужинать. Но Хуана знала: он попросит, когда проголодается. Взгляд у Кино был застывший, и он чувствовал, что зло настороже, что оно неслышно бродит за стенами тростниковой хижины. Потайное, крадущееся, оно поджидало его в темноте. Оно страшной тенью расплывалось в ночи, но эта тень звала, грозила, бросала ему вызов. Его правая рука скользнула за пазуху и тронула нож, глаза расширились; он встал и подошел к двери.

Хуана хотела остановить его; она подняла руку, чтобы остановить его, и в ужасе глотнула воздух. Кино долго вглядывался в темноту, а потом ступил за дверь. Хуана тотчас услышала почти бесшумный бросок, натужный хрип, звук удара. Она застыла на месте, скованная ужасом, но через секунду между губами у нее, как у кошки, блеснул оскал зубов. Она опустила Койотито на пол. Она схватила камень, лежащий у костра, и выбежала из хижины, но там, у тростниковой изгороди, все стихло. Кино пытался встать, приподняться с земли, а около него никого не было. Только колеблющиеся тени и плеск то набегающих, то уходящих волн и ровный посвист пространства. Но зло было здесь,

повсюду, оно пряталось за тростниковой изгородью, таилось возле хижины, ширяло в воздухе.

Хуана бросила камень и, обняв Кино, помогла ему встать и повела домой. Кровь струилась у него с волос, а от уха до подбородка, через всю щеку, шла рана — глубокая кровоточащая рана. Он еле переступал ногами, почти теряя сознание, и все мотал и мотал головой. Рубашка на нем была располосована и висела клочьями. Хуана помогла ему сесть на циновку, подолом юбки утерла густеющую кровь с лица и дала глотнуть пульки из маленького кувшинчика. Но он все мотал и мотал головой, стараясь прогнать дурманящую темноту из глаз.

— Кто? — спросила Хуана.

— Не знаю, — сказал Кино. — Не видел.

Тогда Хуана принесла воды в глиняном горшке и промыла ему рану, а он сидел, тупо глядя в одну точку.

— Кино, муж мой! — воскликнула Хуана, но его глаза смотрели мимо нее. — Кино, ты слышишь меня?

— Слышу, — вяло проговорил он.

— Кино, эта жемчужина недобрая. Давай уничтожим ее, пока она не уничтожила нас самих. Давай раздавим ее жерновами. Давай... давай бросим ее в море, ей место только там, Кино, она недобрая, недобрая!

И пока Хуана говорила, свет постепенно разгорался в глазах Кино, и они яростно вспыхнули, и мускулы у него на лице окрепли, и воля тоже окрепла.

— Нет, — сказал Кино. — Я не сдамся. Я одолею. Мы не упустим своего счастья. — Он с размаху ударил кулаком по циновке. — Никто не отнимет у нас нашей удачи. — И взгляд у него смягчился, и он ласковой рукой тронул Хуану за плечо. — Доверься мне, — сказал он. — Я мужчина. — И в глазах у него блеснула хитрая искорка. — Утром мы спустим лодку на воду и поедem по морю, а потом пойдem через горы к столице. Пойдем оба — ты и я. Больше нас никто не обманет. Я мужчина.

— Муж мой! — хрипло проговорила Хуана. — Мне страшно. Мужчину тоже могут убить. Давай бросим жемчужину назад в море.

— Молчи! — яростно крикнул он. — Я мужчина. Молчи. — И Хуана умолкла, потому что так велел ей его голос. — Давай спать, — сказал он. — Завтра с первыми лучами — в дорогу. Ты не боишься уйти со мной?

— Нет, Кино.

Тогда взгляд Кино стал мягким, теплым, и его рука коснулась щеки Хуаны.

— Давай спать,— сказал он.

V

Поздняя луна поднялась в небе перед первыми петухами. Кино проснулся в темноте, уловив легкое движение рядом с собой, он сам не двинулся — только глаза его обшарили темноту. И в бледном свете луны, пробиравшемся сквозь щели тростниковой хижины, Кино почувствовал, как Хуана бесшумно встает с циновки. Он увидел, как она крадется к костру. Но руки ее сделали свое дело так бережно, что он слышал только легкий шорох, когда они двинули камень, лежащий у костра. А потом Хуана тенью скользнула к выходу. Она задержалась на секунду у ящика, где спал Койотито, загородила темным силуэтом квадрат двери и исчезла.

И злоба волной обдала Кино. Он вскочил с циновки, вышел из хижины так же тихо, как Хуана, и слышал ее быстрые шаги, удаляющиеся к берегу. Он ступал бесшумно, а в мозгу у него полыхала ярость. Заросли кустарника остались позади; спотыкаясь о камни, Хуана шла к воде, но, услышав, что он догоняет ее, побежала. Она занесла руку для броска, но Кино метнулся вперед, схватил эту занесенную над головой руку и вырвал жемчужину из ее пальцев. Он кулаком ударил Хуану по лицу, и она упала на камни, и тогда он ударил ее ногой в бок. При бледном свете луны он увидел, как маленькие волны подбежали к Хуане и отхлынули назад, и юбка ее всплыла на них и тут же облепила ей ноги.

Кино оскалил зубы и зашипел как змея, а Хуана смотрела на него, точно овца на мясника, неподвижными, широко открытыми глазами, в которых не было страха. Она знала, что Кино готов убить ее и что Кино прав. Она покорно принимала смерть, не защищаясь, не моля о пощаде. Но ярость Кино утихла, и на место ярости пришло чувство омерзения. Он отвернулся от Хуаны и зашагал по берегу к зарослям кустарника. Вспышка гнева опустошила его.

Он слышал, как к нему метнулись из зарослей, выхватил из-за пазухи нож, всадил его в первую темную фигуру

и почувствовал, что не промахнулся. И, сбитый с ног, тут же упал сам, сначала на колени, а с колен — ничком на землю. Жадные пальцы пробрались ему за рубашку, лихорадочные пальцы шарили, обыскивали его, и жемчужина, выпав из разжатой руки, откатилась за небольшой валун на тропинке. И легла там, мерцая серебром в лунном свете.

Хуана с трудом приподнялась с камней у воды. Лицо у нее ныло, в боку была тупая боль. Она стала, пошатываясь, на колени, и мокрая юбка облепила ее бедра. В сердце Хуаны не было злобы против мужа. Он сказал: «Я мужчина», — а эти слова много о чем говорили Хуане. Они говорили Хуане, что муж ее наполовину безумец, наполовину бог. Они говорили ей, что Кино может помериться силой с горой и ополчиться против моря. В глубине своей женской души Хуана знала, что гора устоит, а человек погибнет, что море вспенится, а человек утонет в нем. И все же это и делает его мужчиной — полубезумцем и полубогом, а Хуана не могла жить одна, она должна была чувствовать его рядом с собой. И хотя это различие между мужчиной и женщиной иной раз приводило ее в смятение, она считала, что так и должно быть, и покорялась и не могла жить одна. Она пойдет за Кино, как же иначе! Ведь бывало же раньше, что ее женское благоразумие, женская осторожность и чувство самосохранения пробивались сквозь мужское упорство Кино и спасали их всех. Морщась от боли, Хуана встала, опустила сложенные чашечкой ладони в волны, умыла разбитое лицо обжигающей соленой водой и, крадучись, пошла вверх по берегу следом за Кино.

Длинные перистые облака плыли по небу с юга. Бледная луна ныряла в них и снова выплывала, так что Хуана шла то в темноте, то на свету. Она горбилась от боли, голова у нее была низко опущена. Вот и заросли, и небо снова затянуло облаками, но лишь только луна выглянула из-за них, огромная жемчужина, лежавшая на тропинке у валуна, сверкнула серебром в лунном свете. Хуана опустилась на колени и подняла ее, но тут луна снова спряталась. Хуана стояла на коленях, думая, что ей делать: может быть, вернуться к морю и закончить начатое? Но в эту минуту снова посветлело, и она увидела на тропинке два человеческих тела. Она кинулась туда и узнала Кино, а рядом с ним лежал неизвестный ей человек, и шея у этого человека была залита чем-то темным, глянцевито поблескивающим.

Кино медленно шевельнулся, руки и ноги у него дернулись, как у раздавленной букашки, из горла вырвалось хриплое бормотание. И Хуана сразу, в один миг поняла, что прежняя их жизнь ушла навсегда. Мертвые на тропинке, нож Кино с окровавленным лезвием убедили ее в этом. До сих пор Хуана еще пыталась спасти хоть крохи прежнего покоя, крохи той жизни, что была до жемчужины. Но теперь бывшее ушло, его не вернешь. И, поняв это, она сразу, без раздумий, отрешилась от прошлого. Теперь надо было думать только о том, как им спастись.

Куда девалась ее боль, вялость ее движений? Она быстро оттащила убитого с тропинки в заросли кустарника. Потом подошла к Кино и утерла ему лицо мокрой юбкой. Он начинал приходить в себя и тихо стонал.

— Жемчужину отняли. Я потерял ее. Теперь все кончено,— сказал он.— Жемчужины нет.

Хуана успокаивала его, как больного ребенка.

— Молчи, молчи,— говорила она.— Вот твоя жемчужина. Я нашла ее на тропинке. Ты слышишь меня? Вот твоя жемчужина. Ты понимаешь, что я говорю? Ты убил человека. Нам надо бежать. Понимаешь? Нас схватят. Надо бежать, пока еще темно.

— На меня напали,— неуверенно проговорил Кино.— Я защищался, я спасал свою жизнь.

— А ты помнишь, что было вчера? — сказала Хуана.— Думаешь, в городе посчитаются, напали на тебя или нет? Ты помнишь скупщиков? Неужели же тебе поверят?

Кино вздохнул всей грудью и стряхнул с себя слабость.

— Да,— сказал он.— Ты права.— И воля его окрепла, и он снова стал мужчиной.

— Беги домой, возьми Койотито,— сказал он.— И захвати всю кукурузу, что у нас есть. Я спущу на воду лодку, и мы уедем.

Кино поднял нож, валявшийся на тропинке, и ушел в темноту. Спотыкаясь, он выбрался на берег и отыскал там свою лодку. И когда луна снова выглянула из-за облаков, он увидел, что в днище его лодки пробита большая брешь. И слепая ярость вспыхнула в нем и придала ему силы. Тьма смыкается вокруг его семьи; вражеская песнь будоражит ночь, парит над мангровой рощей, завывает в морском прибое. Лодка его деда, смоленная тысячи раз, и расщепленная пробоина в ее днище. Это зло, с которым не

мирится сознание. Убийство человека — зло меньшее, чем убийство лодки. Ведь у лодки нет сыновей, лодка беззащитна, и рана, нанесенная ей, не заживет. К ярости, бушевавшей в сердце Кино, примешивалась боль, но эта последняя капля закалила его волю так, что теперь ее ничто не могло бы сломить. Он стал зверем, который будет прятаться и нападать из засады, и он будет жить теперь только для того, чтобы спасти себя и семью. Мучительная боль в голове прошла. Кино больше не чувствовал ее. Он в несколько прыжков одолел отмель и побежал сквозь густой кустарник к своей хижине. И ни разу, ни на одну секунду не пришло ему в голову, что вместо своей можно воспользоваться чьей-нибудь чужой лодкой. Эта мысль была так же далека от него, как мысль о том, что в лодке, кому бы она ни принадлежала, можно сделать пробоину.

Петухи перекликались между собой — рассвет был близок. Дымок первых костров просачивался сквозь стены тростниковых хижин, и в воздухе стоял запах первых курузных лепешек. Ранние птицы уже суетились в кустах. Бледная луна побледнела еще больше, облака сгустились и плотным слоем затянули южную часть неба. Ветер повернул к речному устью — тревожный, порывистый ветер, несущий с собой запах бури, и в воздухе чувствовалось, что предрассветная тишина обманчива, что скоро ее не будет.

Подбегая к своей хижине, Кино весь дрожал какой-то странной ликующей дрожью. Теперь мысль его работала ясно, ибо выбора перед ним не осталось, и его пальцы сначала тронули жемчужину в нагрудном кармане, а потом нож, висевший на шнурке за пазухой.

Он увидел впереди слабое зарево, и тут же из темноты с треском вымахнул вверх столб огня, и отсветы его упали на тропинку. Кино побежал, не чуя под собой ног. Он знал: это полыхает его хижина. И он знал, что тростниковые хижины сгорают дотла в несколько минут. Когда он был уже совсем близко, навстречу ему метнулась чья-то тень... Хуана с Койотито, и в руке у нее судорожно зажато одеяло Кино. Ребенок испуганно плакал, а в широко раскрытых глазах Хуаны стоял ужас. Кино знал, что ему не спасти своего жилья, и он ни о чем не стал спрашивать Хуану. Он сам все понял, но Хуана все-таки сказала:

— Пол изрыт, все обшарили, даже колыбель. А подожгли снаружи, пока я была там.

Безжалостное пламя пожара озарило лицо Кино — каждую черточку его лица.

— Кто? — спросил он.

— Не знаю, — ответила она. — Какие-то темнокожие.

Соседи выбежали из своих хижин, и они следили за падающими искрами и затапывали их, чтобы огонь не перемахнул дальше. И вдруг Кино стало страшно. Его испугал яркий свет. Он вспомнил про человека, который лежал, убитый, на тропинке, и схватил Хуану за руку и увлек ее со света в тень, падающую от соседской хижины, ибо теперь свет грозил им опасностью. На решение ему понадобилась всего лишь секунда, и, решившись, он пробрался задом поселка к хижине своего брата Хуана Томаса и переступил ее порог, ведя за собой Хуану. Снаружи раздавались крики взрослых и плач детей, так как друзья Кино думали, что он не успел выбежать из горящей хижины.

Жилье у Хуана Томаса было такое же, как и у его брата Кино; тростниковые хижины почти все строятся одинаково, все пропускают свет и воздух. И Кино с Хуаной, сидя в углу хижины Хуана Томаса, видели сквозь щели в ее стенах пляшущие языки огня. Они видели, как эти языки яростно взметнулись вверх, как завалилась крыша, и вслед за тем огонь мгновенно потух, точно костер, сложенный из мелких сухих веток. А потом они снова слышали крики друзей и пронзительный вопль Аполонии, жены Хуана Томаса, которая, будучи ближайшей их родственницей, затаила плач по ним — покойникам.

Вспомнив, что шаль на ней старая, Аполония бросилась домой за новой, праздничной. И когда она стала рыться в ящике у стены, до нее донесся негромкий голос Кино:

— Не причитай, Аполония. Мы живы.

— Как вы сюда попали? — спросила она.

— Не спрашивай, — сказал Кино. — Пойди приведи Хуана Томаса, но больше никому ничего не говори. Запомни, Аполония, это очень важно для нас.

Она постояла минуту, растерянно прижав руки к груди, а потом тихо ответила ему:

— Хорошо, брат мой.

Вскоре Хуан Томас вернулся домой. Он зажег свечу, подошел с ней в угол, куда они забились, и сказал:

— Аполония, запри дверь и никого не пускай.— Хуан Томас, как старший, взял власть в свои руки.— Ну что, брат мой? — спросил он.

— На меня напали в темноте,— сказал Кино.— И в драке я убил человека.

— Кто он? — быстро спросил Хуан Томас.

— Не знаю. Темнота... и все темно, все непонятно.

— Это она, жемчужина,— сказал Хуан Томас.— В этой жемчужине сидит дьявол. Тебе следовало продать ее, и дьявол ушел бы вместе с ней. Может быть, еще не поздно? Продай и купи себе покой на эти деньги.

Но Кино сказал:

— Брат мой! Меня оскорбили, и целой жизни не хватит, чтобы забыть это. Моя лодка лежит на берегу с пробитым днищем, мой дом сожгли, а в зарослях кустарника — убитый. Бежать мне некуда. Спрячь нас у себя, брат мой.

Кино в упор взглянул на Хуана Томаса, подметил глубокую тревогу у него в глазах и, предупреждая возможный отказ, быстро проговорил:

— Ненадолго. Пройдет день, наступит ночь, и ночью мы уйдем.

— Хорошо. Спрячу,— сказал Хуан Томас.

— Я не хочу навлекать на тебя беду,— продолжал Кино.— Ведь со мной — как с прокаженным. Мы уйдем сегодня в ночь. И ты будешь в безопасности.

— Я не оставляю тебя без помощи,— сказал Хуан Томас и добавил: — Аполония, запри дверь. И даже шепнуть никому не смей, где Кино.

Весь следующий день Кино и Хуан молча просидели в полутемной хижине Хуана Томаса и слушали, что говорят о них соседи. Сквозь щели им было видно, как соседи роются в золе, ищут там их обгоревшие кости. Затаившись в хижине Хуана Томаса, они слушали, с каким ужасом все обсуждают весть о пробоине в лодке. Хуан Томас уходил и разговаривал с людьми, чтобы усыпить возможные подозрения, и делился с ними своими догадками и домыслами о том, что произошло с Кино, Хуаной и ребенком. Одному он говорил: «Наверно, они ушли вдоль побережья на юг, спасаясь от проклятия, которое тяготеет над ними».

А другому: «Кино никогда не расстанется с морем. Может быть, он раздобыл себе другую лодку! — И добавлял: — Аполония слегла от горя».

А днем поднялся ветер, и он хлестал воду в Заливе, ворошил водоросли на берегу, он завывал и в хижинах, и при таком ветре лодку, вышедшую в море, ждала бы верная гибель. И Хуан Томас стал говорить соседям: «Кино нигде нет. Наверно, он ушел в море и утонул». После каждого своего выхода он возвращался не с пустыми руками. Он принес плетеную соломенную сумку с фасолью и бутылъ из тыквы, полную риса. Занял где-то чашку сушеного перца и пачку соли и еще раздобыл нож дюймов восемнадцати в длину, тяжелый, как маленький топор, и этот нож мог служить одновременно и инструментом и оружием. И когда Кино увидел его, взгляд у Кино просветлел, и он любовно провел по ножу ладонью и попробовал лезвие большим пальцем.

Ветер выл над Заливом, взбивал воду пеной, мангровые деревья метались под его порывами из стороны в сторону, как испуганное стадо, а тончайшая песчаная пыль поднялась с побережья и плотным облаком повисла над морем. Ветер развеял тучи, очистил небо и гнал перед собой песок, точно снег в метель.

В вечерних сумерках Хуан Томас долго говорил с братом:

— Куда ты пойдешь?

— На север,— ответил Кино.— Я слышал, что на севере есть большие города.

— Держись подальше от побережья,— сказал Хуан Томас.— В городе собирают людей, пошлют обшаривать весь берег. За тобой будет погоня. Жемчужина все еще при тебе?

— При мне,— ответил Кино.— Я не расстанусь с ней. Я мог бы принести ее в дар, но теперь она моя беда и вся моя жизнь, и я не расстанусь с ней.— И когда он говорил это, в глазах у него были злоба, жестокость и горечь.

Койотито расплакался, и Хуана прошептала над ним заклинание, чтобы он замолчал.

— Ветер сильный,— сказал Хуан Томас.— Следов не останется.

Они собрались в путь затемно, до восхода луны. И перед выходом, по обычаю, молча постояли в хижине Хуа-

на Томаса. Хуана держала Койотито за спиной, укрыв и подхватив его шалью, и он спал, прижавшись щекой к ее плечу. Шаль укрывала ребенка, а один ее конец Хуана держала у лица, защищая ноздри от ночной сырости. Хуан Томас дважды обнял брата и поцеловал его в обе щеки.

— Да хранит тебя господь,— сказал он, и это было как смерть.— Ты не расстанешься со своей жемчужиной?

— Эта жемчужина стала моей душой,— сказал Кино.— Расстаться с ней — все равно что потерять душу. Да хранит господь и тебя.

VI

Ветер дул сильно, свирепо, и он сразу забросал Хуану и Кино сухими ветками, песком и галькой. Они плотнее запахнули на себе одежду, прикрыли лицо, оставив одни глаза, и вышли в мир. Ветер разогнал облака, и звезды холодно поблескивали в черном небе. Хуана и Кино шли с опаской, держась подальше от центральных улиц, где их мог увидеть первый попавшийся сторож, ибо город замыкался на все замки, на все засовы, боясь ночи, и те, кто бродил в темноте, не могли остаться незамеченными. Кино окраинами пробирался на север — на север по звездам — и наконец вышел на изрезанную колеями песчаную дорогу, которая вела сквозь чащу кустарника к Лорето — обители чудотворной девы Марии.

Кино чувствовал, как ему бьет песком по ногам, и радовался, что ветер заметает следы. Тусклые звезды показывали дорогу, узенькой лентой убегавшую вперед сквозь заросли кустарника. А за спиной у себя Кино слышал легкую поступь Хуаны. Он шагал быстро и бесшумно, и Хуана рысцой поспевала за ним.

Что-то древнее шевельнулось в душе Кино. Пробиваясь сквозь страх, который всегда вселяли в него темнота и дьяволы, бродящие в ночи, к нему льнуло волной какое-то странное ликующее чувство; что-то звериное зарождалось в нем — звериное чутье, звериная осторожность, ярость; что-то древнее овладевало им, надвигаясь из глубины веков, прожитых его народом. Ветер дул ему в спину, звезды указывали путь. Ветер плакал и шуршал в кустарнике, а они все шли и шли — час, другой, третий.

Никто не попадался им навстречу, они никого не видели. И наконец справа от дороги в небе показалась ущербная луна, и, когда она поднялась выше, ветер утих и на земле тоже все примолкло.

Узкая, изрезанная колеями дорога была видна теперь ясно. При безветрии на ней останутся отпечатки ног, но они уже далеко отошли от города, и, быть может, следов никто не заметит. Кино шел по самой колее, и Хуана ступала за ним след в след. Если утром по дороге проедет в город тяжелая повозка, этого будет достаточно, и никто не догадается, что они проходили здесь.

Они шли всю ночь, не замедляя шага. Среди ночи Койотито проснулся, и Хуана переложила его к груди и убаюкала, и он снова заснул. Но то злое, что таится в ночи, сопровождало их все время. Над головой у них, зловеще ухая, с шелковым свистом крыльев проносились совы, в зарослях плакали и заливались хохотом койоты. А раз даже какой-то крупный зверь тяжелой поступью продрался сквозь кусты и тотчас кинулся прочь. И Кино стиснул рукоятку ножа и почувствовал в нем надежного защитника.

Мелодия жемчужины торжествующе звенела в ушах у Кино, а сквозь нее просачивалась тихая песенка семьи, и обе они вплетались в мягкий шорох сандалий по песку. Кино и Хуана шли всю ночь, и на рассвете Кино стал подыскивать, где бы им укрыться на день. И такое место нашлось недалеко от дороги. Маленькая прогалина среди кустов — может быть, недавняя лежка оленей — вся точно занавешенная ломким сухостоем. И когда Хуана села на землю и устроилась поудобнее, чтобы покормить Койотито грудью, Кино вернулся на дорогу. Он сломал ветку и тщательно разровнял следы там, где они сворачивали к зарослям. В рассветных сумерках до него донесся скрип колес, и он спрятался за кусты и пропустил мимо себя двухколесную повозку, запряженную тяжело налегавшим на оглобли волом. А когда повозка скрылась, он вышел из кустов, пригляделся к колеям и увидел, что отпечатки их ног исчезли. И он разровнял свои новые следы и вернулся к Хуане.

Хуана дала ему мягких кукурузных лепешек, которые сунула им на дорогу Аполония, и легла поспать. Но Кино не спал; он сидел рядом с ней, низко опустив голову. Он долго наблюдал за муравьями, вереницей тянувшимися по земле, и потом двинул ногу вперед. Муравьи одолели это

препятствие и продолжали свой путь, а Кино так и остался сидеть, глядя, как они переползают через его ступню.

Солнце уже начинало припекать. Они далеко отошли от Залива, а здесь, в этих местах, воздух был такой сухой и горячий, что раскаленный зноем кустарник то и дело по трескивал, источая приятный смолистый запах. И когда Хуана проснулась, когда солнце высоко поднялось в небе, Кино заговорил с ней о том, что она давно знала сама

— Вон от того дерева держись подальше,— сказал он, показывая на низкорослое деревце.— Не дотрагивайся до него. Если дотронуться, а потом потерять глаза — ослепнешь. И не подходи к тем деревьям, которые кровоточат. Видишь? — вон одно такое. Если надломить на нем ветку, из места надлома потечет красная кровь, а это приносит несчастье.— И Хуана молча кивнула, выслушав его, и чуть заметно улыбнулась, потому что она сама все это знала

— Как ты думаешь, пошлют за нами погоню? — спросила она.— Будут разыскивать?

— Будут,— ответил Кино.— Тот, кто найдет нас, завладеет жемчужиной. Разыскивать будут.

И Хуана сказала:

— Может быть, скупщики говорили правду и эта жемчужина ничего не стоит? Может быть, мы обманулись в ней?

Кино сунул руку за пазуху и вынул свою жемчужину. Солнце заиграло на ней так, что ее блеск ослепил его

— Нет,— сказал он.— Разве стали бы охотиться за жемчужиной, которая ничего не стоит?

— А ты знаешь, кто напал на тебя? Это были скупщики?

— Нет, не знаю,— ответил он.— Я не рассмотрел их в темноте.

Он вгляделся в жемчужину, стараясь отыскать в ней свои прежние видения.

— Когда мы продадим ее, я куплю карабин,— сказал он и стал искать его на блестящей поверхности, но вместо карабина увидел только скорчившееся на тропинке тело и кровь, блестящей струйкой текущую из перерезанного горла. И он быстро проговорил: — Мы обвенчаемся в большой церкви.— Но в жемчужине была только Хуана, с разбитым лицом пробиравшаяся ночью к их тростниковой хижине.— Наш сын научится читать,— отчаянно крикнул он.

И лицо Койотито — опухшее, с лихорадочным блеском в глазах, как после того лекарства, которое ему дал доктор.

И Кино снова спрятал свою жемчужину за пазуху, и Песнь жемчужины зловеще зазвенела у него в ушах, переплетаясь с Песнью врага.

Солнце жгло с такой силой, что Кино и Хуана перебрались с прогалины в кружевную тень кустов, где по земле прыгали маленькие серые птички, которые тоже искали тени. Днем, в самый зной, Кино лег, надвинул шляпу на глаза, прикрыл лицо одеялом от мух и заснул.

Но Хуана не спала. Она сидела неподвижно, точно каменное изваяние с застывшей маской лица. Губы ее, разбитые кулаком Кино, были все еще вспухшие, а около рассеченного подбородка с жужжанием вились мухи. Но Хуана сидела неподвижно, как часовой, и когда Койотито проснулся, она положила его на землю, и он стал махать ручонками и дрыгать ножками, заворковал, заулыбался, и наконец Хуана тоже улыбнулась ему. Она подняла с земли маленькую веточку и пощекотала Койотито пятки, а потом развязала узел и напоила сына водой из тыквенной бутылки.

Кино заворочался во сне и вскрикнул гортанным голосом, и рука его дернулась кверху, будто в драке. А потом он застонал и быстро сел, раздув ноздри, глядя прямо перед собой широко открытыми глазами. Он слушал, но до него доносился только сухой треск в кустарнике и ровный посвист пространства.

— Что ты? — спросила Хуана.

— Молчи, — сказал он.

— Тебе приснилось.

— Может быть. — Но Кино не успокоился, и когда Хуана дала ему кукурузную лепешку из своих припасов, он то и дело переставал жевать и все прислушивался к чему-то. Тревога не оставляла его; он оглянулся через плечо, поднял свой большой нож с земли, потрогал лезвие. И, когда Койотито снова заворковал, Кино сказал Хуане: — Уйми его.

— Что случилось? — спросила она.

— Не знаю.

Он снова прислушался, по-звериному сверкнув глазами. Потом бесшумно встал и, низко пригнувшись, пробрался сквозь заросли к дороге. Но дальше он не пошел, а лег под колючим кустом и посмотрел в ту сторону, откуда они с Хуаной пришли.

И он увидел их. И, застыв всем телом, опустил голову под прикрытием низких ветвей. Вдали показались трое — двое пеших, третий всадник. Кино знал, что это за люди, и весь похолодел от страха. Даже отсюда, издали, ему было видно, что двое пеших идут медленно, низко склоняясь к земле. Один остановится, приглядится к чему-то, другой подойдет к нему и тоже посмотрит. Это были следопыты, ищейки, те самые, что выслеживают даже горных баранов на каменистых склонах. Чутье у них — как у собак. Быть может, Хуана или он сам ступили где-нибудь в сторону от дорожной колеи, и эти люди, эти охотники найдут их по следам — по сломанной травинке, по еле заметной осыпи в песке. За ними верхом на лошади ехал какой-то темнокожий, ноздри у него были прикрыты краем одеяла, а поперек седла поблескивало на солнце дуло винтовки.

Кино лежал так тихо, что его нельзя было отличить от кустов. Затаив дыхание, он перевел глаза туда, где недавно разравнивал свои следы. Даже гладкий, ровно раскиданный песок может много о чем сказать следопытам. Он знал этих горцев-охотников, этих ищеек. В местах, где дичи мало, им приходится применять свое умение по-другому, и вот теперь они охотятся за ним. Двое пеших рыскали по дороге, точно звери, и, находя какие-то приметы, склонялись к земле, и всадник тоже останавливался.

Охотники повизгивали, точно собаки, напавшие на горячий след. Кино медленно протянул руку к своему большому ножу и положил его рядом с собой. Он знал, что ему делать. Если эти ищейки задержат шаги около заметных следов, он кинется на всадника, убьет его и завладеет винтовкой. Это единственный путь к спасению. И, подпустив всех троих поближе, он вырыл носками сандалий ямки в песке, так, чтобы вскочить сразу, так, чтобы у ног была опора для прыжка. Низко нависшая ветка мешала ему смотреть, загораживая дорогу.

Хуана, сидевшая в глубине зарослей, услышала мягкий стук подков, и в эту минуту Койотито снова заворковал. Она схватила его на руки, прикрыла с головой шалью, дала ему грудь, и он умолк.

Когда следопыты подошли еще ближе, Кино увидел из-под нависшей ветки только их ноги и ноги лошади. Он увидел темные заскорузлые ступни, белые лохмотья брюк, услышал поскрипывание кожаного седла, позвякивание

шпор. У замеченных следов пешие остановились и внимательно оглядели это место, и всадник тоже остановился. Лошадь мотнула головой, прося повода, и мундштук звякнул ей о зубы, и она захрапела. Тогда следопыты выпрямились, посмотрели на лошадь и особенно внимательно на ее уши.

Кино перестал дышать, но спина у него чуть выгнулась, мускулы на руках и ногах резко напряжились, и на верхней губе полоской проступил пот. Следопыты долго разглядывали дорогу, потом медленно пошли дальше, не сводя глаз с песка, а всадник двинулся следом за ними. Следопыты пошли быстрее — пройдут несколько шагов, остановятся, посмотрят — и снова чуть не бегом. Кино знал, что они вернутся. Они будут кружить около этого места, будут замедлять шаги, нагибаться над дорогой, разглядывать ее, они все обшарят и рано или поздно придут назад к замеченным следам.

Он скользнул в заросли, даже не потрудившись уничтожить отпечатки своих ног. К чему? Слишком много оставлено примет, слишком много сломанных веток, и взрыхленного песка, и сдвинутых с места камешков. Теперь им владела только одна мысль — о бегстве, безоглядном бегстве. Он знал, что эти ищейки найдут его следы. Осталось одно — бежать. Пробираясь сквозь кусты быстрыми, неслышными шагами, он вышел к тому месту, где сидела Хуана. Она вопрошающе подняла на него глаза.

— Ищейки, — сказал он. — Пойдем.

И внезапно его охватило чувство беспомощности, безнадёжности, и он почернел лицом и печально посмотрел на Хуану.

— Может, мне лучше сдаться им?

Хуана вскочила, и ее рука легла на его руку.

— А жемчужина? — хрипло вскрикнула она. — Неужели же эти люди уведут тебя живым, чтобы ты уличил их в краже?

Его рука вяло потянулась за пазуху, где была спрятана жемчужина.

— Все равно отнимут, — чуть слышно проговорил он.

— Пойдем! — крикнула она. — Пойдем! — И не дождавшись ответа: — Неужели ты думаешь, что меня отпустят живой? Неужели ты думаешь, что отпустят живым ребенка?

И смысл этих слов дошел до сознания Кино, и он оскалил зубы, и глаза у него бешено вспыхнули.

— Пойдем,— сказал он.— Мы поднимемся в горы. Может быть, в горах они потеряют нас.

С лихорадочной быстротой собрал Кино лежащие на земле тыквенные бутылки и мешочек со всеми их припасами. Узел он взял в левую руку, а в правой у него был нож. Он развел кусты, пропуская Хуану вперед, и они свернули к западу, туда, где поднимались высокие голые горы. Быстро, почти бегом, шли они сквозь заросли кустарника. Это было бегство — безоглядное бегство. Кино даже не пытался соблюдать осторожность. Он отшвыривал камни, попадавшие под ноги, продираясь сквозь чащу; сбивал листья с ветвей, и они предательски отмечали его путь. Полуденное солнце заливало потрескавшуюся землю таким зноем, что даже растительность не выдерживала этого и негодуя позванивала под палящими лучами. Но впереди были голые гранитные горы, они поднимались над обломками скал, уходя вершинами прямо в небо. И Кино бежал к этим вершинам, как делают почти все звери, скрываясь от преследования.

Места эти были засушливые; здесь росли одни кактусы, долго сохраняющие воду, да кустарник с длинными корнями, которые глубоко проникают в почву за влагой и довольствуются малым. Земли в этой пустыне не было видно — один камень, и большие глыбы его, и осколки любой формы, не отшлифованные водой. Между камнями пробивалась унылая сухая трава — трава, которой достаточно одного дождя, чтобы пустить ростки, образовать семенную коробочку, уронить семена в почву и умереть. Рогатые лягушки провожали глазами семью Кино, поворачивая, как на стержне, свои маленькие драконьи головы. Время от времени крупные зайцы, прятаясь в тени, выскакивали на звук шагов и, отбежав немного в сторону, прятались за ближайшим же камнем. Звенящий зной дрожал над пустыней, и гранитные горы вдали казались такими прохладными и желанными.

Кино спасался бегством. Он знал, как все это будет. Ищейки пройдут по дороге еще немного и, убедившись, что след исчез, вернутся назад и снова начнут осматривать, обшаривать каждый куст и вскоре найдут то место, где он и Хуана остановились на отдых. А дальше дело пойдет совсем легко — мелкие камешки, сбитые листья, сломанные ветки, маленькие углубленья в песке, там, где неверно ступила нога. Кино будто видел их перед собой: торопятся

по следу, чуть повизгивая от нетерпения, а позади них темнокожий всадник с винтовкой, как бы равнодушный ко всему происходящему. Напоследок и он сделает свое дело, потому что назад в город им никому не вернуться. О, как ясно звучала теперь Песнь зла в ушах у Кино, мешаясь со звоном зноя и сухим треском змеиных гремушек. Ширь и мощь мелодии исчезла, она стала вкрадчивой, гибельной, как отравы, и биение сердца Кино было ее призывом, ее ритмом.

Путь становился все круче, камни — все крупнее и крупнее. Но теперь расстояние между следопытами и семьей Кино увеличилось. И посреди крутого подъема Кино остановился передохнуть. Он влез на большую каменную глыбу и посмотрел назад — туда, где над зарослями переливался дрожащий от зноя воздух. Но врагов своих — ни пеших, ни даже всадника — он не увидел. Хуана присела на корточки в тени, падающей от каменной глыбы. Она поднесла к губам Койотито бутыл с водой; его пересохший язычок жадно прильнул к горлышку. Когда Кино спрыгнул вниз, Хуана подняла на него глаза; она заметила, что он смотрит на ее ноги, исцарапанные, изрезанные о камни и кусты, и быстро прикрыла их юбкой. Потом протянула ему бутыл, но он покачал головой. Глаза Хуаны ярко блестели на побледневшем от усталости лице. Кино провел языком по пересохшим губам.

— Хуана, — сказал он. — Я пойду дальше, а ты спрячься, пережди здесь. Я заведу их в горы, и когда они минуют тебя, ступай в Лорето или Санта-Росалию. А потом, если мне удастся уйти от них, я приду за тобой. Это наш единственный путь к спасению.

Хуана глубоко заглянула ему в глаза.

— Нет, — сказала она. — Мы будем вместе.

— Один я пойду быстрее, — резко проговорил Кино. — Если идти вместе, для ребенка это будет еще опаснее.

— Нет, — сказала Хуана.

— Не спорь. Так надо, и такова моя воля.

— Нет, — сказала Хуана.

Он искал хоть намек на слабость в ее лице, намек на страх, колебания — и не нашел. Глаза Хуаны ярко блестели. Тогда он беспомощно пожал плечами, но ее сила передавалась и ему. Когда они пошли дальше, их бегство уже нельзя было назвать безоглядным.

Чем ближе к горам, тем больше менялось все вокруг. Каменная крошка уступала место длинным пластам гранита с глубокими расселинами между ними, и Кино перепрыгивал с одного пласта на другой, стараясь ступать по их гладкой поверхности, на которой не остается никаких отпечатков. Он знал, что, потеряв след, ищейки будут кружить там, где он оборвался, пока снова не нападут на него, и это отнимет у них немало времени. И теперь он шел к горам не напрямик, а зигзагами и то и дело сворачивал на юг и оставлял за собой какую-нибудь отметку, а потом снова возвращался к голым гранитным пластам. Подъем становился все круче и круче, и у Кино появилась легкая одышка.

Солнце приближалось к голым зубцам гранитных гор, когда Кино, уже никуда больше не сворачивая, пошел прямо к черневшей впереди глубокой расселине в горной гряде. Если в этих местах есть вода, так ее надо искать только там, ибо там что-то растет — он видел зелень даже издали. И если в гладкой гранитной гряде есть проход, его тоже надо искать у глубокой расселины. Правда, это не безопасно, потому что такая мысль может прийти в голову и следопытам, но пустая бутылка не давала ему свободы выбора. И когда солнце спустилось к линии гор, Кино и Хуана, устало волоча ноги, начали трудный подъем к видневшейся впереди расселине.

Высоко в горах, из узкой трещины под серым гранитным выступом, журча, бежал маленький ручеек. Его питал снег, сохраняющийся все лето в затененных уголках среди утесов. Ручеек этот временами пересыхал, обнажая свое каменистое, устланное водорослями ложе, но потом опять накапливал холодную, чистую, свежую водичку. В дни коротких ливней он даже превращался в поток и обрушивал вниз по расселине пенящуюся белую струю. Но сил ему хватало ненадолго, и большую часть года он бежал тонкой ниточкой. Местами вода собиралась в маленькие бочажки, а потом падала с высоты ста футов в другой такой же бочажок и, переполнив его, снова струилась вниз от бочажка к бочажку и наконец уходила в каменистую почву предгорья и исчезала там без следа. Собственно и исчезать-то было почти нечему, потому что, пока вода бежала по отвесным склонам, раскаленный воздух утолял ею свою жажду, а брызгами ее питалась истомившаяся без влаги растительность. Звери постоянно навещали эти маленькие бочажки. Горные

бараны и олени, пумы, еноты и мыши издалека приходили сюда на водопой. Птицы, прятаясь днем в зарослях кустарника, слетались вечерами к этим бочажкам, похожим на ступеньки, вырубленные в крутом горном склоне. Вдоль ложа ручейка местами собирались наносы песка и земли, и там, где только можно было запустить в них корни, сразу что-нибудь вырастало—дикий виноград и карликовые пальмы, папоротник, гибискус и трава с пушистыми метелками на длинных стеблях. А в бочажках жили лягушки и плавунцы, и по дну их ползали черви. Все, что любит воду, стремилось к этим мелким лужицам. Дикие кошки приходили сюда на охоту и лакали воду, оmyвая в ней окровавленные зубы, и после каждого их посещения все вокруг было усеяно перьями. Около маленьких бочажков не угасала жизнь, потому что здесь была вода, и по той же самой причине здесь изо дня в день шло смертоубийство.

На самой нижней ступеньке, где ручеек разливался вширь, прежде чем ринуться вниз с высоты ста футов и бесследно пропасть в каменистой пустыне, была небольшая площадка — гранит и слой песка на нем. Вода струилась сюда тонкой ниточкой, но и этого было достаточно, чтобы бочажок не пересыхал, чтобы под навесом скалы находили приют и низкорослые травы, и папоротник, и дикий виноград, который полз вверх по склону, цепляясь своими усиками за гранит. Весенние потоки образовали здесь нечто вроде песчаной отмели, и во влажном песке вокруг бочажка зеленел водяной кресс. Отмель была вся изрыта, истоптана, взрыхлена ногами животных, приходивших сюда на водопой и на охоту.

Солнце уже спустилось за гранитный кряж, когда Кино и Хуана одолели крутой, неровный подъем и наконец-то подошли к воде. С этой площадки была видна вся пустыня вплоть до Залива, голубеющего вдали. К бочажку они добрались из последних сил, и Хуана, рухнув на колени, прежде всего умыла Койотито, а потом наполнила бутылъ водой и напоила его. Ребенок тоже был измучен и капризничал и все плакал, пока Хуана не дала ему грудь, и тогда он прильнул к ней и зачмокал, громко насасывая язычком. Кино долго и жадно пил прямо из бочажка. Потом он прилег, глядя, как Хуана кормит ребенка, и дал отдых мышцам, но через минуту встал, подошел к тому месту, где ручеек переливался через край гранитного выступа, и пристально огля-

дел расстилавшуюся внизу пустыню. Его взгляд остановился на чем-то, и он замер. Далеко внизу виднелись оба следопыта; они виднелись точечками, будто это ползли муравьи, а сзади них полз третий муравей — побольше.

Хуана повернула голову и увидела, как напряглись у него плечи.

— Далеко? — спокойно спросила Хуана.

— К ночи будут здесь, — ответил Кино. Он взглянул вверх, на длинную отвесную трещину в скалах, откуда текла вода. — Надо идти на запад, — сказал он и внимательно пригляделся к серому гранитному уступу правее трещины. И на высоте тридцати футов он увидел на нем ряд небольших впадин, нечто вроде пещер. Он снял сандалии и, цепляясь пальцами ног за неровности гранитного уступа, поднялся к пещерам и заглянул в них. Это были небольшие эрозионные углубления с идущими под уклон сводами. Кино вошел в самую большую пещеру, лег там и, убедившись, что снаружи его не видно, быстро вернулся к Хуане. — Лезь туда. Может быть, там нас не найдут, — сказал он.

Не говоря ни слова, Хуана налила доверху тыквенную бутылку, и Кино помог ей подняться в пещеру, потом собрал все их съестные припасы и переправил туда же. Сидя у входа в пещеру, Хуана наблюдала за ним. Она заметила, что он не стал уничтожать их следы на песке, а полез вверх по утесу левее бочажка, ломая и обрывая виноградные лозы и папоротник. Поднявшись до следующего гранитного выступа, он таким же путем спустился вниз, оглядел гладкий уступ со впадинами — не осталось ли там их следов, и наконец взобрался по нему и пролез мимо Хуаны в пещеру.

— Когда они придут, — сказал он, — мы незаметно выйдем отсюда и спустимся в предгорья. Как бы только ребенок не заплакал. Смотри, чтобы он у тебя молчал.

— Он не заплачет, — сказала она и, обеими руками приподняв головку Койотито, глубоко заглянула ему в глаза, и он ответил ей величавым взглядом. — Он знает, что нельзя, — сказала Хуана.

Кино лежал у входа в пещеру, уткнувшись подбородком в скрещенные руки, и смотрел, как синяя тень от горного кряжа двигалась по зарослям кустарника внизу, достигла Залива и длинным сумеречным пологом протянулась над землей.

Ищейки долго не появлялись — следы Кино, видимо, было не так-то легко отыскивать. Уже начинало темнеть, когда они добрались до маленького бочажка на гранитном выступе. И теперь все трое следопытов шли пешком, потому что лошадь не смогла бы одолеть последний крутой склон. Сверху они казались маленькими, щуплыми. Двое, не успев напиться, стали обследовать небольшую песчаную отмель и увидели следы, оставленные Кино на утесе левее бочажка. Третий, с винтовкой, отдыхал, и, напившись, те двое присели рядом с ним на корточки, и огоньки трех сигарет то разгорались, то затухали в сумерках. А потом Кино увидел, что они принялись за еду, и до него долетели их смягченные расстоянием голоса.

Вскоре на горный кряж надвинулась тьма — густая, черная. Звери, навещавшие бочажок, пришли и в этот вечер, но учуяв людей, скрылись во тьме.

Кино услышал шепот у себя за спиной.

— Койотито! — прошептала Хуана. Она успокаивала его. Кино услышал хныканье и по звуку понял, что Хуана прикрыла ребенка шалью.

Внизу на отмели вспыхнула спичка, и в ее мгновенном свете Кино увидел, что двое следопытов уже спят, свернувшись клубком, по-собачьи, а третий караулит, и огонек спички отблеском скользнул по его винтовке. Спичка погасла, но глаза Кино все запомнили. Он еще видел этих людей, каждого в отдельности: двое спят, свернувшись клубком, а третий сидит на корточках, поставив винтовку между колен.

Кино бесшумно подался в глубь пещеры. В глазах Хуаны отражалась низко стоявшая в небе звезда, и они светились, как две искры. Кино тихо подполз к ней и почти коснулся губами ее щеки.

— Я знаю, что делать.

— Тебя убьют.

— Если подкрасться к тому, что с винтовкой... — шептал Кино. — Надо покончить с ним первым... тогда не убьют. Те двое спят.

Пальцы Хуаны выбрались из-под шали и схватили его за руку.

— Ты в белом... они увидят тебя при звездах.

— Нет, — сказал он. — Но надо сделать это до того, как выйдет луна.

Он искал ласкового слова и не нашел его.

— Если меня убьют,— сказал он,— ты так и сиди здесь. А потом, когда их не будет, ступай в Лорето.

Пальцы, сжимавшие ему кисть, чуть дрогнули.

— Что же делать? — сказал он.— Выбора нет. Все равно утром они нас разыщут.

И голос у нее тоже чуть дрогнул.

— Да хранит тебя господь,— сказала она.

Он пригляделся к ней в темноте и увидел ее большие глаза. Его рука протянулась и ощупью нашла ребенка и секунду задержалась ладонью на головке Койотито. А потом Кино поднял руку и коснулся щеки Хуаны, и дыхание занялось у нее в груди.

В полукруге свода, на фоне звездного неба, Хуана увидела, что Кино снимает с себя свою белую одежду. Грязная, рваная, она все же могла выдать его в ночной темноте. Бронзовая кожа будет ему лучшей защитой. А потом она увидела, как он обмотал шнурок амулета вокруг роговой рукоятки ножа, так что нож повис у него на груди, оставляя обе руки свободными. Он не вернулся к ней. Его темная пригнувшаяся фигура секунду задержалась в полукруге свода, и вот ее уже нет.

Хуана подползла к выходу из пещеры и посмотрела вниз. Она, как сова, выглядывала из своего гнезда в гранитном уступе, а ребенок спал у нее за спиной, положив головку набок и прижавшись к ее плечу. Она чувствовала его теплое дыхание у себя на шее и шептала то молитву, то ворожбу — то «Богородицу», то древнее заклинание против темных сил зла.

Когда Хуана выглянула из пещеры, ночь как будто посветлела, и на востоке, там, где должна была появиться луна, в небе проступило сияние. И, глядя вниз, Хуана увидела огонек сигареты во рту у дозорного.

Кино ящерицей медленно полз по гладкому уступу. Он дернул шнурок на шее и передвинул нож за спину, чтобы лезвие не звякнуло о гранит. Его растопыренные пальцы впивались в неровности горного склона, он льнул к нему грудью, нащупывал босыми ступнями опору, боясь поскользнуться, ибо малейший звук — шорох камешка, невольный вздох, неосторожное прикосновение тела к граниту — мог поднять на ноги тех, что были внизу. Любой звук, несродный ночи, мог насторожить их. Но темная

ночь не хотела молчать: маленькие квакши, жившие возле воды, чирикали как птицы, в расселине громко отдавался металлический стрекот цикад. А в голове у Кино по-прежнему звучал напев врага, пульсирующий глухо, будто сквозь сон. Но Песнь семьи стала теперь пронзительной, свирепой и дикой, точно шипение разъяренной пумы. Она набирала силу и гнала его на встречу с врагом. Ее мелодию подхватили цикады, и чирикающие квакши вторили ей, расчленяя ее на маленькие фразы.

Неслышно, как тень, Кино спускался по утесу. Босая нога скользнет на несколько дюймов вниз, пальцы нащупают опору, вцепятся в нее, то же движение другой ногой, потом чуть передвинется ладонь правой руки, следом за ней — левая, и вот уже все тело бесшумно опустилось вниз. Кино открыл рот, чтобы и дышать беззвучно, ибо он знал, что невидимкой нельзя стать даже в темноте. Если дозорный, услышав какой-то шорох, взглянет на это темное пятно, прильнувшее к уступу, — на его тело, — он все поймет. Ползти надо было так медленно, чтобы дозорный даже не повел глазами в эту сторону. И прошло много времени, прежде чем Кино одолел спуск и скользнул за карликовую пальму у края гранитной площадки. Сердце грохотало у него в груди, ладони и лицо были мокрые от пота. Он скорчился за пальмой и, чтобы успокоиться, долго переводил дыхание, набирая полные легкие воздуха.

Каких-нибудь двадцать футов отделяли его теперь от врага, и он старался до мельчайших подробностей припомнить всю эту гранитную площадку. Нет ли на ней камня, о который можно споткнуться во время стремительного броска? Он стал растирать себе икры, чтобы их не свело судорогой, и почувствовал, как дергаются у него мышцы после такого долгого напряжения. А потом он с опаской посмотрел на восток. До восхода луны оставались считанные минуты, надо торопиться. Силуэт дозорного темнел перед ним, но двоих спящих из-за пальмы не было видно. Дозорный ему и нужен — с ним и надо разделаться быстро и без всяких колебаний. Он осторожно потянул через плечо шнурок амулета и высвободил роговую рукоятку своего большого ножа.

Поздно! Едва он успел выпрямиться, как из-за линии горизонта в восточной части неба вынырнула серебряная кромка луны. Он снова спрятался за пальму.

Луна была старая, ущербная, но она бросила резкий свет и резкую тень в расселину, и теперь Кино ясно увидел человека с винтовкой на маленькой отмели у бочажка. Дозорный посмотрел на луну, снова закурил, и огонек спички осветил на миг его смуглое лицо. Ждать больше нельзя; как только дозорный отведет взгляд от луны, Кино бросится. Мускулы у него на ногах напряглись, точно пружина, заведенная до отказа.

И тут откуда-то сверху донесся тоненький приглушенный плач. Дозорный поднял голову, прислушиваясь, и встал, и один из спящих завопил на песке и спросил сонным голосом:

— Что это?

— Не знаю,— ответил дозорный.— Похоже на плач. Голос будто человеческий... будто ребенок плачет.

Проснувшийся сказал:

— Кто его знает? Может, койот с выводком? Мне приходилось слышать, как скулят их детеныши — совсем по-человечьи.

Пот крупными каплями катился по лбу Кино, попадал в глаза и обжигал их. Тоненький плач зазвенел снова, и дозорный взглянул на гранитный уступ — туда, где была пещера.

— Наверно, койот,— сказал он, и Кино услышал, как его винтовка сухо щелкнула затвором.

— Если это койот, он у меня сейчас замолчит,— сказал дозорный, поднимая винтовку к плечу.

Выстрел грянул, застигнув Кино посредине броска, и вспышка ослепила его. Большой нож взлетел вверх и ударил с надсадным хрустом. Лезвие прошло сквозь шею глубоко в грудь. Кино действовал, как страшный своей мощью механизм. Он схватил винтовку и одновременно рванул нож из раны. Его сила, стремительность и точность его движений — все было как у безотказно действующего механизма. Он круто повернулся всем телом и размоzzжил голову сидевшему на песке, будто это была дыня. Третий кинулся наутек ползком, точно краб, попал в бочажок, вскочил и, как одержимый, полез вверх по утесу, откуда тонкой ниточкой струилась вода. Он скулил и лепетал что-то, цепляясь руками и ногами за плети дикого винограда. Но Кино был беспощаден и холоден, как сталь. Не спеша поднял он спусковой рычаг, приложил винтовку к плечу, не спеша

прицелился и выстрелил. Его враг рухнул со скалы прямо в воду, и Кино медленно подошел к бочажку. В лунном свете перед ним блеснули полные ужаса, безумные глаза, и Кино прицелился и выстрелил между глаз.

А потом Кино неуверенно повел головой по сторонам. Что случилось? Какой звук пытается проникнуть в его мозг. Квакши и цикады молчали. Но лишь только кровавая волна отхлынула от мозга Кино, он осознал этот звук. Этот протяжный, надрывный, забирающий все выше и выше истерический вопль неся из маленькой пещеры в гранитном уступе. Вопль — вестник смерти.

Все в Ла-Пасе помнят возвращение семьи Кино; быть может, там еще есть старики, которые сами присутствовали при возвращении Кино и Хуаны, но те, кто знает об этом только понаслышке от своих отцов и дедов, тоже представляют, как все было. Это возвращение никого не оставило безучастным.

Золотой солнечный день близился к вечеру, когда первые мальчишки, как сумасшедшие, ворвались в город и разнесли по всем улицам весть, что Кино и Хуана вернулись. Все высыпали им навстречу. Солнце спускалось к линии гор на западе, и тени длинными полосами тянулись по земле. И быть может, именно из-за них, из-за этих теней, возвращение Кино и Хуаны оставило такой глубокий след в людской памяти.

Они возвращались в город по изрезанной колеями песчаной дороге, и они шли не гуськом, как всегда, — Кино первый, Хуана за ним, — а рядом, бок о бок. Солнце светило им в спину, и длинные тени их шествовали впереди, так что казалось, будто они несут каждый по темной башне. Кино держал винтовку на согнутой руке, а Хуана шла, переброшив свою шаль через плечо, как узел. И узелок этот был маленький, но в нем лежало что-то тяжелое, оттягивающее ткань. Шаль Хуаны коробилась от запекшейся крови, и узелок чуть покачивался в такт ее шагам. Лицо у Хуаны было застывшее, скованное морщинками усталости, скованное борьбой с усталостью. А взгляд ее уходил куда-то внутрь. Она шла далекая и чуждая всему, как небо. Губы у Кино были плотно сжаты, скулы обрисовывались четко, и люди рассказывают, что он нес в себе что-то страшное, грозное, как надвигающаяся буря. Люди рассказывают, что и Хуана, и Кино казались такими далекими от человеческих за-

бот, человеческого горя; что, пройдя сквозь муку, они будто вышли по другую ее сторону; что их обоих будто ограждала стена, воздвигнутая колдовской силой. И те, кто прибежал посмотреть на них, подались назад, уступая им дорогу, и не обмолвились с ними ни словом.

Кино и Хуана шли по городу так, будто города не было. Они не смотрели ни направо, ни налево, ни вверх, ни вниз, а только прямо перед собой. Шаг у них был чуть судорожный, как у искусно сделанных деревянных кукол, и грозные черные башни тянулись перед ними далеко вперед. И когда они проходили по городу с его кирпичными и каменными домами, скупщики жемчуга смотрели им вслед сквозь зарешеченные окна, слуги припадали одним глазом к прорезям в калитках, а матери поворачивали своих младших за плечи и прижимали их к себе — лицом в юбку. Кино и Хуана прошли бок о бок через весь город с кирпичными и каменными домами, миновали тростниковые хижины, и соседи подавались назад, уступая им дорогу. Хуан Томас поднял руку, приветствуя их, но слов приветствия не нашел, и рука его на минуту нерешительно повисла в воздухе.

Песнь семьи пронзительно звенела в ушах у Кино. Теперь он был свободен от всего и страшен в своей свободе, и Песнь эта стала его боевым кличем. Они прошли мимо черного квадрата — всего, что осталось от их хижины, — и даже не посмотрели в ту сторону. Они прошли сквозь заросли, окаймлявшие береговую отмель, и спустились к воде. И ни он, ни она даже не взглянули на свою пробитую лодку.

И, подойдя к самой воде, они остановились и устремили взгляд на Залив. А потом Кино положил винтовку на песок, сунул руку за пазуху и вынул оттуда свою огромную жемчужину. Она лежала у него на ладони. Он вгляделся в ее поверхность — серую, бугристую теперь. Искаженные злобой лица смотрели на него оттуда, и он увидел зарево пожара. И на поверхности жемчужины он увидел обезумевшие глаза человека, упавшего в бочажок. И на поверхности жемчужины он увидел Койотито, который лежал в маленькой пещере, и головка у Койотито была разmozжена пулей. Жемчужина была страшная; она была серая, как злокачественная опухоль. И Кино услышал Песнь жемчужины, нестройную, дикую. Пальцы Кино чуть дрогнули, и он медленно повернулся к Хуане и протянул жемчужину ей. Она

стояла рядом с ним, все еще держа за спиной свой недвижимый узелок. Секунду она смотрела на жемчужину, потом взглянула Кино в глаза и тихо проговорила:

— Нет... ты.

И Кино отвел руку назад и что было сил швырнул жемчужину далеко в море. Кино и Хуана следили, как она летит, мерцая и подмигивая им в лучах заходящего солнца. Они увидели легкий всплеск вдали и, стоя рядом, бок о бок, долго не сводили глаз с этого места.

А жемчужина коснулась прекрасной зеленой воды и пошла ко дну. Покачивающиеся водоросли звали, манили ее к себе. На ней играли прекрасные зеленые блики. Она коснулась песчаного дна. Вода на поверхности моря была как зеленое зеркало. А жемчужина лежала на дне, среди перистых, похожих на папоротник растений. Краб, скользнувший мимо нее, поднял за собой легкое облачко песка, и когда оно рассеялось, жемчужина исчезла.

И Песнь жемчужины сначала перешла в невнятный шепот, а потом умолкла совсем.

ЗАБЛУДИВШИЙСЯ АВТОБУС

Роман

Внемлите, судари, со тщанием
Сей притчи мудрым увещаниям
И ощутите Божий страх:
На небо смертного призвание
Есть всей земле напоминание,
Сколь преходящи мы во днях.

«Призвание смертного на небо»¹

¹ Моралите, XV в. Перевод *Андрея Сергеева*.

ГЛАВА 1

В шестидесяти семи километрах к югу от Сан-Исидро, на шоссе Север — Юг есть перекресток, восемьдесят с лишним лет назад прозванный Мятежным углом.

Здесь от шоссе под прямым углом ответвляется дорога на запад, и через ссмыдссят восемь километров она выходит на другое шоссе Север — Юг, соединяющее Сан-Франциско с Лос-Анджелесом и, само собой, Голливудом. Всякий, кому нужно попасть из долины в глубине штата на побережье, должен свернуть на эту дорогу, которая начинается у Мятежного угла и, попетляв между холмами, через пустыньку, через поля, через перевал выбегает на приморское шоссе прямо посреди городка Сан-Хуан-де-ла-Крус.

Мятежный угол получил свое название в 1862 году. Рассказывают, что на этом перекрестке держала кузницу семья Бленкенов. Сами Бленкены и зятья их были нищие, темные, гордые и буйные выходцы из Кентукки. Не нажив добра и мебели, они притащили с востока что имели — свои предрассудки и свою политику. Не обзаведясь рабами, они, однако, готовы были живот положить за свободу рабства. Когда началась война, Бленкены посовещались, не поехать ли назад через бескрайний Запад, сражаться за Конфедерацию. Но путь был длинный, в один конец они уже проехали — и решили, что больно далеко. Так в Калифорнии, склонявшейся к северянам, Угол Бленкенов с кузницей и шестьюдесятью пятью гектарами земли отложился от Союза и примкнул к Конфедерации. По рассказам, чтобы оборонять свой мятежный остров от проклятых янки, Бленкены отрыли окопы и прорезали в кузне бойницы. Янки же эти — в большинстве мексиканцы, немцы, ирландцы и китайцы — не то что не нападали на мятежников, а прямо гордились ими. Слаще Бленкенам никогда не жилось: неприятель подносил кур и яйца, а в убойную пору даже

свиную колбасу,— все считали, что такую доблесть надо уважать, невзирая на убеждения. Участок получил название «Мятежный угол» и сохранил его по сей день.

После войны Бленкены сделались ленивыми, склочными; как всякая побежденная страна, упивались ненавистью и обидами — а потому, забывши вместе с войной и гордость, люди перестали ковать у них лошадей и направлять плуги. И то, что армии Союза не могли сделать силой оружия, сделал Первый национальный банк Сан-Исидро с помощью просроченной закладной.

Теперь, восемьдесят с лишним лет спустя, о Бленкенах помнят мало — только, что они были очень гордые и очень вздорные. Участок за это время много раз менял хозяев и в конце концов вошел в империю газетного короля. Кузница сгорела, была отстроена, сгорела снова, а то, что осталось, переоборудовали в гараж с бензоколонкой, а позже в магазин-ресторан-гараж со станцией обслуживания. Когда участок купили Хуан Чикой с женой и приобрели право на пассажирские перевозки между Мятежным углом и Сан-Хуан-де-ла-Крусом, хозяйство это стало еще и автобусной станцией. Мятежные Бленкены из-за гордости и повышенной обидчивости, которая есть признак невежества и лени, исчезли с лица земли, и никто теперь не помнит, какие они из себя были. А Мятежный угол знают хорошо и Чикоев любят.

За бензоколонками стояла маленькая закусочная, в закусочной — стойка с круглыми закрепленными табуретами и три столика для тех, кто желал расположиться поосновательнее. Чаше они пустовали — за столиком полагалось давать чаевые хозяйке, а за стойкой нет. Позади стойки первую полку занимали булки, плюшки, пончики, вторую — консервированные супы, апельсины и бананы, третью — коробки кукурузных хлопьев, рисовых хлопьев, ячменных хлопьев и других казенных злаков. С краю за стойкой был рашпер, рядом с ним раковина, рядом с ней краники — газированной воды и пивной, рядом с ними мороженицы, а на самой стойке, между держателями для бумажных салфеток, монетными щелями проигрывателя, солонками, перечницами и соусницами красовались под прозрачными колпаками пироги. По стенам, везде, где только можно, висели календари и плакаты, изображавшие неправдоподобно ярких девушек с налитыми грудями и без бедер: блон-

динки, брюнетки, рыжие — все, как одна, обладали этим чрезвычайным верхним устройством, и пришелец из другого мира, при виде такой увлеченности художника и публики, наверно, решил бы, что мы размножаемся посредством молочных желез.

У Алисы, жены Хуана Чикоя, которая работала в этом блестящем окружении, была вислая грудь, широкие бедра, и ходила она, тяжело ступая на пятки. Алиса вовсе не завидовала ежемесячным девушкам и кока-кольным девушкам. Она никогда таких не встречала и не думала, что они вообще встречаются. Она жарила яичницы и шницели, разогревала супы из банок, разливала пиво, накладывала мороженое, к вечеру ноги гудели, и она делалась раздражительной и сварливой. А в середине дня из прически вываливалась прямая влажная прядь и лезла в глаза; сперва Алиса откидывала ее рукой, а под конец просто сдувала.

Рядом с закусочной в уцелевшей кузнице был оборудован гараж, на потолке и балках до сих пор чернела копоть старого горна, и правил здесь — между автобусными рейсами в Сан-Хуан-де-ла-Крус и обратно — Хуан Чикой. Он был хороший, спокойный человек, Хуан Чикой, полуирландец-полумексиканец лет пятидесяти, с ясными глазами, густыми волосами и красивым смуглым лицом. Жена любила его безумно — и побаивалась, потому что он был мужчина, а их, Алиса обнаружила, не так уж много. Каждый рано или поздно обнаруживает, что мужчин на свете не так уж много.

В гараже Хуан латал проколотые шины, выгонял воздушные пробки из бензопроводов, вычищал наждачно твердую пыль из карбюраторов, менял диафрагмы чахоточных бензонасосов, делал всякий мелкий ремонт, о котором моторизованная публика знать не знает. Не занимался он починками только с половины одиннадцатого до четырех. В это время он вез на автобусе в Сан-Хуан-де-ла-Крус пассажиров, которых высаживали на Мятежном углу большие автобусы компании «Борзая», и возвращался обратно с людьми, которых забирали «борзые» — либо в 4.46 на север, либо в 5.17 на юг.

Пока Хуан Чикой был в рейсе, обязанности механика исполнял очередной мальчишка-переросток или безусый юнец — более или менее «ученик». Ни один из них не задерживался надолго. Доверчивый клиент и вообразить не

мог, какие разрушения способен причинить такой подручный его карбюратору, и хотя сам Хуан был первоклассным механиком, в учениках у него обыкновенно ходили дерзкие подростки, которые проводили досуг, запихивая железные плашки в щель проигрывателя-автомата или вяло переругиваясь с Алисой. Этих юнцов все манила куда-то удача, увлекающая все дальше на юг, к Лос-Анджелесу и, опять же, Голливуду, где в конце концов соберутся юнцы со всего света.

За гаражом были две кабинки, увитые плющом: одна «Мужчины», другая «Дамы». К каждой вела своя дорожка: одна по левую руку от гаража, другая по правую руку от гаража.

Выделялся Угол и замечен был среди распаханых полей благодаря большим дубам, окружавшим гараж и закускую. Высокие и стройные, с черными стволами и сучьями, ярко-зеленые летом и черные, унылые зимой, эти деревья стояли как вежи в плоской длинной долине. Никто не знает, Бленкены их посадили или же, наоборот, сами осели возле них. Последнее вероятней: во-первых, Бленкены отродясь не сажали того, чего нельзя съесть, а во-вторых, деревьям с виду было больше восьмидесяти пяти лет. Может быть, даже лет двести; впрочем, возможно, что их корни питались от какого-то подземного ключа, почему дубы и выросли такими сильными посреди полупустынных мест.

Летом эти большие деревья бросали на станцию тень, и проезжие часто останавливались под ними перекусить и остудить перегретые моторы. Да и сама станция была уютна: весело окрашенная в красный и зеленый цвет, с широкой грядкой гераней вокруг ресторана, красных гераней в густо-зеленой листве, плотной, как живая изгородь. Белый гравий перед бензоколонкой каждый день продирали граблями и поливали. В ресторане и гараже царили система и порядок. Например, на полках в ресторане банки с супом, коробки с хлопьями и даже грейпфруты располагались в пирамидках: четыре в нижнем ряду, потом три, потом две и одна на верхушке. Так же и банки с маслом в гараже; а вентиляторные ремни были развешаны на гвоздях по ранжиру. Станцию содержали в аккуратности. Окна ресторана были забраны сетками от мух, а дверь с сеткой мощно захлопывалась за каждым входящим и выходящим. Потому что мух Алиса Чикой ненавидела. В мире, и без того трудно пере-

носимом и мало понятном, мухи были для нее совсем уже гадостным испытанием. Алиса ненавидела их жестоко, и смерть насекомого под мухобойкой или медленное удушение на липучке доставляли ей жгучую радость.

Подобно тому, как через гараж Хуана вереницей проходили ученики, в закусочной у Алисы мелькали молодые помощницы. Девушки эти, недотепистые, мечтательные, серенькие, — которые поинтереснее обыкновенно отбывали через несколько дней с клиентом, — по части работы не отличались. Они развозили мокрой тряпкой грязь, грезили над голливудскими журналами, вздыхали в проигрыватель; а у последней краснели глаза, не проходил насморк, и она писала длинные страстные письма Кларку Гейблу. Всех их Алиса подозревала в том, что они впускают мух. Не раз доставалось за мух и последней девушке — Норме.

По утрам распорядок на Мятежном углу был неизменный. С рассветом, а зимой и того раньше, в закусочной зажигалась лампа, и Алиса включала кофеварку (громадное идолоподобное серебряное сооружение, которое у археологов грядущей эпохи будет значиться как предмет культа амельканов, расы, предшествовавшей атомитам, которые по неизвестной причине исчезли с лица Земли). Первыми заезжали завтракать усталые шоферы грузовиков, и к этому времени в закусочной уже было тепло и уютно. Потом являлись коммивояжеры, спешившие затемно к большим городам юга, чтобы сохранить для дела целый день. Коммивояжеры всегда следили за грузовиками и останавливались там же, потому что шоферы грузовиков считаются большими знатоками придорожной пищи и кофе. С восходом солнца подруливали первые туристы — поесть и расспросить о дороге.

Туристы с севера мало интересовали Норму, зато кто ехал с юга или через Сан-Хуан-де-ла-Крус, то есть мог побывать в Голливуде, — эти ее просто притягивали. За четыре месяца Норма встретила пятнадцать человек, лично побывавших в Голливуде, пятеро из них побывали на студии, а двое видели живого Кларка Гейбла. Вдохновленная этими двоими, появившимися сразу друг за другом, она написала письмо на двенадцати страницах, которое начиналось словами «Дорогой мистер Гейбл» и заканчивалось «Любящий Друг». От мысли, что мистер Гейбл вдруг узнает, кто написал письмо, ее бросало в дрожь.

Норма была верной девушкой. Пусть другие, ветреницы, бегают за выскочками синатрами, ван джонсонами, сонни тафтсами. Даже в войну, когда фильмов с Гейблом не выходило, Норма оставалась ему верна, освежая свою мечту цветной карточкой мистера Гейбла в летном обмундировании с пулеметными лентами крест-накрест.

Она часто насмеялась над сонни тафтсами. Ей нравились мужчины постарше, с интересными лицами. Бывало, когда она возила мокрой тряпкой взад-вперед по стойке, мечтательно расширившиеся глаза ее останавливались на сетчатой двери — и сужались светлые глаза, и закрывались на секунду. Это надо было понимать так, что в тайный вертоград ее мечты через сетчатую дверь вошел Кларк Гейбл и ахнул при виде ее и застыл с приоткрытым ртом, признавши в ней свою суженую. А мимо него влетали и вылетали невозбранно мухи.

Дальше этого у них не заходило. Норма была робка. А кроме того, не знала, как это делается. Вся ее любовная жизнь состояла из нескольких борцовских схваток на заднем сиденье машины, причем ее целью было сохранить на себе одежду. До сих пор она побеждала просто за счет целеустремленности. Она была уверена, что мистер Гейбл не только не позволит себе ничего подобного, но и, услышав о таком, не одобрит.

Норма носила нелиняющие платья — гордость торговой фирмы «Национальные долларовые магазины». Но, конечно, у нее было и выходное, сатиновое, платье. Хотя, если приглядеться, то и в нелиняющих есть своя прелесть. Мексиканскую серебряную брошку, изображающую ацтекский календарный камень, ей завещала тетка, за которой Норма ухаживала семь месяцев и на самом деле хотела котиковую накидку и кольцо с речным жемчугом и бирюзой. Но они отошли другой родне. А еще, от матери, Норме осталась нитка мелких янтарных бус. Норма никогда не надевала бусы вместе с мексиканской брошкой. Кроме этого, у нее были еще две драгоценности, совершенно ослепительные, — и Норма знала, что они ослепительные. На дне чемодана у нее лежали золоченое обручальное кольцо и перстень с громадным бриллиантом типа бразильского, оба — за пять долларов. Она надевала их только в постель. Утром снимала и прятала в чемодан. Об их существовании не знала ни

одна живая душа на свете. Засыпая, Норма вертела их на среднем пальце левой руки.

Планировка спален на Мятежном углу была простая. Жилье было пристроено к закусочной сзади. Дверь у края стойки открывалась в спальню-гостиную Чикоев, где стояла двуспальная кровать под вязаным покрывалом, консольный приемник, пара мягких кресел, диван (все это называлось «гарнитур») и металлическая лампа под зелено-мраморным стеклянным абажуром. Отсюда вела дверь в комнату Нормы, ибо Алиса придерживалась теории, что за девушками нужен глаз и нельзя давать им волю. Чтобы попасть в ванную, Норме надо было пройти через комнату Чикоев или же лезть через окно, как она обычно и поступала. Подручный механика жил в комнате по другую сторону от хозяйской спальни, но имел отдельный выход и пользовался увитой плющом кабинкой позади гаража.

В общем, это был складный архитектурный ансамбль, и удобный и симпатичный. Во времена Бленкенов Мятежный угол представлял собой место грязное, неприглядное и подозрительное — Чикои же здесь процветали. Были и деньги в банке, и в какой-то степени чувство уверенности, и счастье.

Этот островок, осененный рослыми деревьями, был виден за много километров. Чтобы найти Мятежный угол и дорогу на Сан-Хуан-де-ла-Крус, никто не нуждался в дорожных указателях. В просторной долине хлеба расстилались до подножия высоких гор на востоке, а в западную сторону не так далеко — до округлых холмов, где на черных лысынах стояли вечнозеленые дубы. Летом холмы плыли, томились, пеклись в желтом зное, и Мятежный угол под сенью высоких деревьев был местом заманчивым и запоминающимся. Зимой, в проливные дожди, закусочная сулила тепло, бобы под острым соусом и кофе.

В разгар весны, когда зеленела трава в полях и предгорьях, когда люпин и маки одевали землю в лазурь и золото, когда пробуждались большие деревья с желто-зеленой молодой листвой, милее места не было на свете. Такую красоту не перестаешь замечать, даже когда она привычна. От нее сжимает горло утром и сладко теснит под ложечкой, когда заходит солнце. От аромата люпина и трав дышишь быстро и шумно, почти сладострастно. В такую-то пору цветения и роста, еще до зари, и вышел с электрическим

фонарем к автобусу Хуан Чикой. Его подручный Прыщ Карсон сонно плелся за ним.

Окна закусочной еще были темны. Над восточными холмами даже не серело. Было еще далеко до рассвета, и совы ухали над полями. Хуан подошел к автобусу, стоявшему перед гаражом. При свете фонаря он был похож на длинный аэростат с серебряными окнами. Прыщ Карсон, не проснувшись как следует, стоял, руки в карманах, и вздрагивал — не от холода, а со сна.

Ветерок потянул над полями и принес запах люпина и запах земли, очнувшейся и неистово производящей.

ГЛАВА 2

Фонарь с мелким, обращенным вниз отражателем ярко освещал только ноги, ботинки, шины и комли дубов. Он нырял и качался, и бело-голубой пузырек лампочки ослепительно сиял. Хуан подошел с фонарем к гаражу, вынул из комбинезона связку ключей, нашел ключ от висячего замка и отомкнул ворота. Внутри зажег верхний свет и выключил фонарь.

Он взял с верстака полосатую рабочую кепку. На нем был комбинезон с большими латунными пуговицами на нагруднике и боковых застежках, а сверху — черная куртка из конской кожи с черными вязаными манжетами и воротом. Туфли у него были круглоносые и жесткие, и подошва такая толстая, что казалась надутой. В старом шраме на щеке возле большого носа залегла тень. Он сгреб пытерней густые черные волосы и заправил под кепку. Руки у него были широкие и сильные, с тупыми пальцами, ногти плоские от работы, свилеватые, в бороздках от ушибов и повреждений. На среднем пальце левой руки не хватало фаланги, и он грибком утолщался к концу. Утолщение было другой фактуры, чем остальной палец, лоснилось, как будто хотело сойти за ноготь, и на этом пальце Хуан носил широкое обручальное кольцо, как будто решил: не годишься для работы, так послужи хоть для украшения.

Из кармана в нагруднике торчали карандаш, линейка и шинный манометр. Брился Хуан только вчера, и щетина на горле и по сторонам подбородка была беловатая и седоватая, как у старого эрделя. Это бросалось в глаза, потому

что в остальном борода была черная как смоль. Черные глаза насмешливо шурились — вроде того, как шуруются от дыма, когда нельзя вынуть изо рта сигарету. А губы у Хуана были полные и добрые — спокойные губы: нижняя слегка выдавалась, но не брюзгливо, а с юмором и уверенностью; верхнюю, хорошо очерченную, прорезал чуть слева глубокий шрам, почти белый на розовом. Видно, когда-то ее рассекло насквозь, и теперь тугой белый шнурок стягивал полную губу, так что она набегала на шрам двумя крохотными складочками. Уши у него были не очень большие, но торчали, как ракушки или как если бы их оттопырили руками, к чему-то прислушиваясь. И Хуан, казалось, все время к чему-то прислушивается, причем глаза его смеются над услышанным, а рот не совсем одобряет. Движения у него были уверенные, даже тогда, когда его занятие уверенности не требовало. Ходил он так, как будто шел в точно определенное место. Руки двигались быстро и четко и никогда не баловались со спичками или ногтями. Зубы у Хуана были длинные и с золотом по кромкам, что придавало его улыбке некоторую свирепость.

Возле верстака он снял с гвоздей инструменты и уложил в длинный плоский ящик — ключи, пассатижи, несколько отверток, молоток и бородок. Рядом с ним Прыщ Карсон, налитый сном, облокотился на масляную доску верстака. На нем был рваный свитер мото клуба и тулья фетровой шляпы, обрезанная по краю зубчиками. Прыщ был длинный узкоплечий малый семнадцати лет, с тонкой талией и длинным лисьим носом; глаза у него по утрам казались совсем светлыми, а днем становились оливковыми. На щеках золотился пух, а сами щеки были изрыты, изъедены и распаханы прыщами. Между старых воронок торчали новые образования, зреющие и убывающие. Кожа блестела от снадобий, которые прописываются при таких страданиях и не помогают ни на грош.

Синие джинсы на Прыще были тесные и настолько длинные, что низки он подвернул сантиметров на двадцать пять. На узких его боках штаны удерживались широким, богато тисненным ремнем с толстой гравированной серебряной пряжкой, в которой сидело четыре бирюзы. Прыщ старался не давать рукам воли, но пальцы самочинно тянулись к изрытым щекам, и, поймав себя на этом, он опять опускал руки. Он писал всем фирмам, предлагавшим лекарства

от прыщей, и ходил по врачам, которые знали, что вылечить не могут, но знали также, что скорее всего это пройдет через несколько лет само по себе. Тем не менее они прописывали ему мази и примочки, а один посадил его на овощную диету.

Глаза у него были узкие и с косым разрезом, как у сонного волка; сейчас, ранним утром, они совсем слиплись от гноя. Прыщ был редкостный соня. Будь на то его воля, он спал бы чуть ли не круглые сутки. Весь его организм и душа были полем жестокой битвы, которая зовется юностью. Вожделения в нем не затихали, и когда они не были прямо или явно половыми, то выливались в меланхолию, глубокую и слезливую чувствительность или крепкую, с душком, религиозность. В уме его и чувствах, как на лице, все время шла вулканическая работа, все время саднило и свербело. У него бывали приступы неистовой праведности, когда он убивался из-за своих пороков, вслед за чем впадал в меланхолическую лень, близкую к прострации; уныние сменялось спячкой. После он долго еще ходил, как в дурмане, вялый и обалделый.

В это утро он надел свои коричнево-белые, с дырочками, полуботинки на босу ногу, и из-под завернутых штанин выглядывали лодыжки в разводах грязи. В периоды упадка Прыщ до того обессилевал, что совсем не мылся и даже ел плохо. Фетровая тулья с аккуратными зубчиками служила не так для красоты, как для того, чтобы длинные каштановые волосы не лезли в глаза и не маслились, когда он работал под машиной. Сейчас он стоял, бессмысленно глядя на Хуана, складывавшего инструменты в ящик, и ум его ворочался в громадных байковых одеялах сна, тяжких до тошноты. Хуан сказал:

— Включи лампу на длинном шнуре. Давай, Прыщ. Давай, давай, просыпайся!

Прыщ встряхнулся, как собака.

— Что-то никак не могу очухаться,— объяснил он.

— Лампу отнеси туда и тащи мою доску. Надо двигаться.

Прыщ взял переносную лампу в защитной сетке и стал сматывать с ручки тяжелый резиновый шнур. Потом включил его в розетку возле двери, и свет плеснул. Хуан поднял ящик с инструментами, шагнул за дверь и взглянул на темное небо. Воздух переменился. Ветерок колыхал моло-

дые дубовые листья, шнырял между гераней — нерешительный влажный ветерок. Хуан принюхивался к нему, как принюхиваются к цветку.

— Если опять дождь, — сказал он, — ей-богу, это лишнее.

На востоке посветлело, стали обозначаться вершины гор. Подошел Прыщ с переносной лампой, разматывая за собой резиновый шнур. Большие деревья выступили навстречу свету, и он заблестел на желтоватой зелени молодых листиков. Прыщ отнес лампу к автобусу и вернулся в гараж за длинной доской на роликах, которая позволяла передвигаться, лежа под машиной. Он кинул доску около автобуса.

— Да, похоже, натягивает, — сказал он. — Так ведь весной в Калифорнии, считай, всегда дожди.

Хуан сказал:

— Против весны я ничего не имею, но шестеренка у нас полетела, а пассажиры ждут, а земля от дождей раскисла...

— Для урожая — хорошо, — заметил Прыщ.

Хуан умолк и оглянулся на помощника. От глаз у него разбежались веселые морщинки.

— Это точно, — сказал он, — точно.

Прыщ застенчиво отвернулся.

Автобус теперь освещала переносная лампа, и выглядел он непривычно и беспомощно, потому что там, где полагалось быть задним колесам, стояла пара тяжелых дровяных козел, и держал его не задний мост, а брус 10×10 сантиметров, положенный на козлы.

Это был старый автобус, на нем стоял четырехцилиндровый мотор с низкой степенью сжатия и специальная коробка скоростей с пятью передними передачами вместо трех, причем две — меньше нормальной первой, и двумя задними. Несмотря на толстый слой свежей серебрянки, на выпуклых бортах ясно проступали все бугры и вмятины, царапины и шрамы долгой и тяжелой службы. Почему-то от кустарной окраски старый автомобиль выглядит еще древнее и потасканнее, чем если бы ему предоставили честно приходить в упадок.

Внутри автобус тоже ремонтировали. Сиденья, некогда плетеные, были обиты красным дерматином, и хотя работа была аккуратная, она была не профессиональная. В салоне

стоял кисловатый душок дерматина и откровенный, назойливый запах бензина и масла. Это был старый, старый автобус, переживший много поездок и много трудностей. Дубовые планки пола были сточены и вытерты подошвами пассажиров. Борта были помятые и выправленные. Окна не открывались, потому что весь кузов слегка перекосило, и летом Хуан выставлял окна, а на зиму вставлял опять.

Кресло водителя протерлось до пружин, но на протертом месте лежала цветастая ситцевая подушка двойного назначения — оберегать водителя и прижимать голые пружины. На ветровом стекле висели талисманы: детский башмачок — для охраны, потому что неверные ножки младенца требуют постоянной осмотрительности и божьего попечения, и крошечная боксерская перчатка — это для силы, силы кулака на брошенном вперед предплечье, силы поршня, толкающего шатун, силы человека как ответственной и гордой личности. Еще на ветровом стекле висела пухленькая целлулоидная куколка в вишнево-зеленом головном уборе из страусовых перьев и соблазнительном саронге. Она была для радостей плоти, глаза, слуха, обоняния. На ходу игрушки крутились, качались и прыгали перед глазами водителя.

Там, где ветровое стекло делила пополам средняя стойка, на приборной доске расположилась маленькая металлическая, ярко раскрашенная Дева Гвадалупская. Лучи от нее шли золотые, одежды на ней были лазоревые, и стояла она на молодом месяце, который держали херувимы. Она олицетворяла связь Хуана с вечностью. К церковной и догматической стороне религии это имело мало касательства, а больше — к религии как памяти и чувству. Смуглая Дева напоминала Хуану и о матери, и о темном домике, где мать, говорившая по-испански с легким ирландским акцентом, его вырастила. Потому что Деву Гвадалупскую мать выбрала своей личной богиней. Отставку получили св. Патрик и св. Бригита и десять тысяч бледных северных дев, на их место взошла эта смуглая, с настоящей кровью в жилах, близкая к людям.

Мать преклонялась перед своей Девой, чей день отмечают лопающимися в небе ракетами, а отец Хуана, мексиканец, понятно, не видел тут ничего особенного. Естественно, что в дни святых пускают ракеты. Как же иначе? Взлетающая с треском трубка — это, понятно, душа возно-

сится в небо, а гремучая вспышка вверху — это торжественный вход в тронный зал Небес. Хуан Чикой хотя и не был набожным человеком, в свои пятьдесят лет не вел бы автобус с легкой душой, если бы за ним не приглядывала Гвадалупана. Религия его была практическая.

Под святой в щитке было отделение для мелочей, и там лежали револьвер «смит-вессон» калибра 11,43 мм, бинт, пузырек йода, флакон лавандовой нюхательной соли и непечатая пол-литровая бутылка виски. Хуан считал, что с таким снаряжением он готов почти к любой непредвиденности.

На переднем бампере автобуса когда-то была надпись, до сих пор еще различимая: «El grand Poder de Jesus» — «Великая сила Иисусова». Она осталась от прежнего владельца. Теперь же на обоих бамперах было четко выведено простое слово «Любимая». И все, кто знал автобус, знали его как «Любимую». Сейчас «Любимая» была парализована: задние колеса сняты, зад висел в воздухе, опираясь на десятисантиметровый брус, перекинутый между козлами.

Хуан держал новую коронную шестерню, катал в ней ведущую.

— Поднеси поближе свет,— сказал он Прыщу и прокатил шестеренку по всему кольцу.— Помню, раз поставил новое кольцо со старой шестеренкой — сразу полетело.

— Когда зуб ломается, гремит прилично,— сказал Прыщ.— Звук такой, как будто он сквозь пол в тебя летит. Как вы думаете, почему он сломался?

Хуан держал кольцевую шестерню перед собой торцом и медленно вел по ней малую, проверяя на просвет зацепление.

— Не знаю,— ответил он.— В металле и вообще в машинах много непонятного. Возьми Форда. Он выпустит сотню машин, и две или три из них — ни к черту. Не что-нибудь одно барахлит,— вся машина барахло. И ресоры, и мотор, и помпа, и вентилятор, и карбюратор. Она вся помаленьку разваливается, и никто не знает, почему так. Возьми другую машину, тоже с конвейера,— вроде такая же, как все, да не такая. В ней что-то есть, чего в других нет. В ней силы больше. Как в крепком человеке. Делай с ней что хочешь — все выдержит.

— У меня была такая,— сказал Прыщ.— «Форд-А». Я ее продал. Спорить могу, она еще бежит. Ездил на ней три года и десяти центов на ремонт не истратил.

Хуан положил новые шестерни на подставку и поднял с земли старую. Он пальцем потрогал обломок зуба.

— Металл — хитрая вещь, — сказал он. — Иногда он как будто устает. Знаешь, у нас в Мексике люди держали по два, по три мясных ножа. Одним пользовались, а остальные втыкали в землю. Говорили: «Лезвие отдыхает». Не знаю, так ли, но эти ножи можно было заточить, как бритву. Я думаю, никто не понимает металла, даже те, кто его делает. Давай посадим шестерню. Ну-ка поднеси туда свет.

Хуан положил доску с роликами позади автобуса, лег на нее спиной и, отталкиваясь ногами, въехал под днище.

— Передвинь свет немного левее. Нет, выше. Вот. Теперь пихни мне ящик с инструментами, можешь?

Руки Хуана работали четко: масло капнуло ему на щеку. Он стер его тыльной стороной ладони.

— Поганая работенка.

Прыщ заглянул к нему под автобус.

— Может, повешу лампу тут на гайку? — спросил он.

— Да нет, через минуту надо будет перенести, — ответил Хуан.

Прыщ сказал:

— Хорошо бы вы сегодня починили. В своей кровати охота поспать. В кресле ничего не отдыхаешь.

Хуан фыркнул.

— Ты видал, как они разозлились, когда нам пришлось вернуться из-за шестерни? Можно подумать, я нарочно это устроил. До того были злы, что и на Алису накинулись из-за порога. Наверное, думают, она их сама печет. В дороге люди очень не любят задержек.

— Спали на наших кроватях, — заметил Прыщ. — Не понимаю, чего они разоряются. В креслах-то спали мы с вами да Алиса с Нормой. А хуже всех — эти, Причарды. Не девушка, конечно, не Милдред, а старики. Им все чего-то кажется, что их надувают. Он мне сто раз сказал, что он там президент или еще кто и он этого так не оставит. Возмутительно, говорит. А сам с женой спал на вашей кровати. Интересно, где Милдред спала? — Глаза у Прыща слегка заблестели.

— На диване, наверно, — сказал Хуан. — А может, с папой, с мамой. Который игрушками торгует, ночевал в комнате Нормы.

— Этот мне понравился,— сказал Прыщ,— он не ругался. Сказал, что с удовольствием заночует. А чем занимается, не говорил. Зато Причарды за всех пошумели — не Милдред, а старики. А знаете, куда они едут, мистер Чикой? По Мексике. Милдред учит в колледже испанский. Она им будет вместо переводчицы.

Хуан вставил шпонку и несильными ударами загнал ее до конца. Потом выбрался из-под автобуса.

— Давай собирать задний мост.

Свет просачивался в небо из-за гор. В сером и черном, бесцветная, занималась заря, и в ней белые и синие предметы стали серебряными и красными, а темно-зеленые были черны. Черны и белы были молодые листья больших дубов, и очертания гор обозначились резко. Слабо порозовели восточные кромки тяжелых и пузатых облаков, колобками катившихся по небу.

Внезапно в закуской вспыхнул свет и вырвал из небытия грядку гераней перед домом. Хуан оглянулся на свет.

— Алиса встала,— сказал он.— Скоро кофе поспеет. Давай кончать с задним мостом.

Мужчины работали слаженно. Каждый знал, что делать. Каждый делал свое. Прыщ тоже лежал на спине, затягивал гайки на карте, и от дружной работы рождалось хорошее чувство.

Хуан напряг руку, подтягивая гайку, ключ сорвался, и он ссадил костяшку пальца. Густая черная кровь потекла по грязной руке. Он пососал ссадину, и вокруг рта осталось кольцо темного масла.

— Сильно ободрали? — спросил Прыщ.

— Да нет, это, наверно, к удаче. Без крови работу не сделаешь. Так мой отец говорил.— Он опять пососал палец; кровь шла тише.

Тепло и розовый отсвет зари исподволь разливались вокруг, и электрический свет как будто терял яркость.

— Интересно, сколько еще приедет на «борзом»,— празднично полюбопытствовал Прыщ. И тут из хорошего чувства к мистеру Чикою родилась волнующая мысль. Мысль была такая пронзительная, что стало даже больно.— Мистер Чикой...— начал он с запинкой, робким, униженным, умоляющим тоном.

Хуан перестал навинчивать гайку и ждал просьбы — о выходном, о прибавке, о чем-нибудь. Просьба была неми-

нуема. Она слышалась в голосе и для Хуана означала — неприятность. Неприятности всегда так начинались.

Прыщ молчал. Он не находил слов.

— Чего ты хочешь? — осторожно спросил Хуан.

— Мистер Чикой, мы не могли бы договориться... вы не могли бы, ну... больше не звать меня Прыщом?

Хуан отнял ключ от гайки и повернул голову. Оба лежали на спине, лицом друг к другу. Хуан видел воронки от старых прыщей, набухающие бугорки и один в соку, тугой, с желтой головкой, готовый лопнуть. Хуан смотрел, и взгляд его смягчался. Он сообразил. До него вдруг дошло — и он удивился, что только сейчас, а не раньше.

— Как тебя звать? — грубо спросил он.

— Эд, — ответил Прыщ. — Эд Карсон, я дальний родственник Кйта Карсона. Пока этими не пошел, меня в школе звали Кйтом. — Голос был намеренно ровный, но грудь его тяжело подымалась и он сопел носом.

Хуан отвернулся и снова взглянул на массивный шар дифференциала.

— Ладно, — сказал он, — давай ставить домкраты. — Он выехал из-под автобуса. — Сперва накачай туда масло.

Прыщ быстро ушел в гараж и вернулся со шприцем, таща за собой воздушный шланг. Он повернул кран, и воздух с шипением вошел в шприц со смазкой. Шприц попукивал, нагоняя в картер смазку, пока она не полезла наружу. Прыщ ввернул пробку.

Хуан сказал:

— Кит, вытри руки и погляди, как там у Алисы кофе, ладно?

Прыщ пошел к закуской. Перед дверью, под большим дубом было еще почти темно. Он постоял там, задержав дыхание. Его трясло, как в ознобе.

ГЛАВА 3

Когда макушка солнца высунулась из-за восточных гор, Хуан Чикой встал с земли и отряхнул грязь с комбинезона на ногах и на зад. Солнце ударило в окна закуской и теплом разлилось по зеленой траве вокруг гаража. Загорелось на маках, на плоских пашнях и на синих люпиновых островах.

Хуан подошел к двери автобуса. Он всунулся в кабину, повернул ключ зажигания и ладонью надавил на стартер. Стартер повыл сердито, потом мотор схватил, взревел, и Хуан сбавил газ. Он рукой выжал сцепление, включил первую скорость и отпустил сцепление. Колеса медленно вращались в воздухе, и Хуан пошел назад — послушать, как работает задний мост, не шумит ли новая пара шестерен.

В гараже Прыщ мыл руки в мелком тазике с бензином. Солнце пригрело бурый прошлогодний лист, залетевший в угол дверной коробки. Вскоре из-под листа медленно выползла сонная муха и замерла на ярком солнце. Ее крылья мутно персливались, и она была вялая от ночного холода. Муха потерла крылья ногами, потом потерла ногу об ногу, потом потерла голову передними ногами, между тем как солнце, косо бившее из-под громадных пушистых облаков, разогревало ее организм. Вдруг она снялась, дважды описала круг, вылетела под дубы, врезалась в сетчатую дверь закусочной, упала на спину и зажужжала на земле, пытаясь перевернуться. Потом все-таки встала, взлетела и заняла позицию на притолоке.

Алиса Чикой, осунувшаяся после ночи в кресле, подошла к двери и посмотрела на автобус. Сетчатая дверь приоткрылась всего на несколько сантиметров, но муха юркнула в щель. Алиса заметила ее вторжение и тут же шваркнула по ней посудным полотенцем. Муха зажужжала очумело, а потом уселась под краем стойки. Алиса посмотрела, как крутятся на весу задние колеса автобуса, потом ушла за стойку и открыла паровой кран кофейницы.

Коричневая жидкость в водомерном стекле на боку кофейницы выглядела бледной, разбавленной. Алиса прошлась полотенцем по стойке и при этом заметила, что в большом белом кокосовом пироге под прозрачным колпаком неровно вырезан с краю клин. Она взяла с серебряного подноса нож, сняла колпак, подровняла торт, а крошки съела. И в тот самый миг, когда колпак опускался на место, муха ворвалась под него и накинулась на кокосовый крем. Она села под маленьким выступом, так что сверху не было видно, и стала жадно рыться и возиться в сладком креме. Она овладела огромной тортовой горой и была очень счастлива.

Вошел пропахший бензином и маслом Прыщ и уселся на круглый табурет.

— Ну, мы все сделали, — сказал он.

— Ты и кто еще? — саркастически спросила Алиса.

— Нет, конечно, всю тонкую работу делал мистер Чикой. Мне бы чашку кофе и пирога.

— Ты уже там поклевал, пока я спала. — Она откинула волосы от глаз. — Следов не заметишь.

— Ну, запишите на меня, — сказал Прыщ. — Я же плачу за питание — нет?

— Ну чего ты ешь столько сладкого? — сказала Алиса. — Круглый день толчешься у подноса. У тебя и жалованья-то не остается. Все уходит на сласти. Оттого и прыщи, ей-богу. Удержаться, что ли, не можешь?

Прыщ застенчиво поглядел на свои руки. Под ногтями, где не взял бензин, было черно.

— Там калорий много, — сказал он. — Кто работает, ему калории нужны. Скажем, примерно в три часа дня, когда у тебя упадок. Нужно что-нибудь питательное, чтобы побольше калорий.

— Чтобы штаны оттягивали, — заметила Алиса. — Тебе калории нужны, как мне... — И она покинула фразу на половине. Алиса была большая ругательница, но главных слов никогда не произносила — только подводила к ним. Она налила из крантика кофе в чашку, толстую, плоскодонную чашку без блюдца, плеснула молока и двинула ее через стойку.

Смутно глядя на соблазнительную девушку от кока-колы, висевшую над проигрывателем, Прыщ насыпал четыре ложки сахара и мешал, мешал его, держа ложку торчком.

— Мне бы пирога, — терпеливо повторил он.

— Да на здоровье. Отрасти себе сиденье, как аэростат.

Прыщ взглянул на ладный Алисин зад и быстро отвел глаза. Алиса достала из-за стойки нож и вырезала клин из кокосового пирога. Горка крема оползла и завалила муху. Алиса сдвинула кусок на блюде и толкнула через стойку. Прыщ напал на него с кофейной ложкой.

— Эти люди еще не встали? — спросил он.

— Нет, но зашебуршились. Кто-то из них извел всю горячую воду. На закусочную ни капли не осталось.

— Это, наверно, Милдред, — предположил Прыщ.

— А?

— Девушка. Наверно, в ванне купалась.

Алиса посмотрела на него в упор.

— Занимайся своими калориями да фантазию свою не особенно распускай.

— А что я такого сказал? Э, тут муха в пироге. Алиса оцепенела.

— Вчера у тебя в супе была муха. Ты их что, в кармане носишь?

— Нет, правда. Еще трепыхается.

Алиса подошла.

— Убей ее! — закричала она. — Раздави! Выпустить хочешь? — Она схватила за стойкой вилку и раздавила муху вместе с крошками, а потом скинула все в урну.

— А мой пирог? — спросил Прыщ.

— Получишь другой кусок. Не понимаю, почему у тебя всегда мухи. Больше ни у кого.

— Везет, наверно, — вполголоса сказал Прыщ.

— Что?

— Я сказал просто...

— Я слышала, что ты сказал. — Она не выпалась и была раздражена. — Будешь язык распускать — вылетишь отсюда пулей. Будь ты механик-размеханик. По мне, ты просто сопляк. Прыщавый сопляк.

Прыщ сник. Чем больше она распалялась, тем ниже он опускал голову. Он не знал, что сейчас она вымещает на нем самые разные неудовольствия.

— Чего я такого сказал? — оправдывался он. — Пошутить уже нельзя.

Алиса достигла того накала, когда оставалось либо впасть в безудержную истерическую ярость, от которой темнело в глазах и у нее самой, и у всех окружающих, либо поскорее уняться, потому что она уже чувствовала, как у нее распирает горло и грудь. Алиса быстро оценила положение. Оно было напряженным. Автобус должен выехать. Хуан тоже не выпался. Люди, ночевавшие в их постелях, услышат крик и выйдут, и Хуан может ее ударить. Один раз он ударил. Не сильно, но точно и так резко, что она испугалась, не убил ли он ее. А потом, этот черный страх, всегда маячивший на краю сознания, — что он ее бросит. Других он бросал. Скольких — она не знала, он никогда не рассказывал, но такой интересный мужчина не мог не бросать женщин. Все это пронеслось в долю секунды. Алиса решила не впадать в ярость. Она придавила то, что поднималось в груди. Рассеянно отрезала от пирога чересчур большой кусок, положила на блюде и, пройдя вдоль стойки, поставила перед Прыщом.

— Все нервничают,— сказала она.

Прыщ поднял взгляд от своих ногтей. Теперь он увидел, как въедаются исподволь в ее шею морщинки, как припухли нижние веки. Он увидел, что кожа на руках уже не тугая, как у девушек. Он ее очень пожалел. Как ни обделен был Прыщ красотой, он думал, что единственное, чем стоит обладать в жизни,— это молодость, и кто потерял молодость, тот, можно считать, умер. Сегодня утром он одержал большую победу и теперь, видя слабость и нерешительность в Алисе, стал добиваться второй.

— Мистер Чикой говорит, что больше не будет звать меня Прыщом,— сказал он.

— Почему не будет?

— Ну, я его попросил. Меня зовут Эдвард. А в школе меня звали Кйтом, потому что моя фамилия Карсон.

— Хуан зовет тебя Кйтом?

— Ага.

Алиса плохо понимала, о чем идет речь, а сзади, в спальне, слышалось движение, шаги по голым половицам, иногда — тихий разговор. Сейчас, когда чужие напомнили о себе, Прыщ стал ей ближе — все-таки он был не совсем чужой.

— Ладно, посмотрим,— сказала она.

Свет солнца бил в окна фасада и дверь и пятью яркими пятнами лежал на стене, высвечивая коробки с хлопьями и пирамиды апельсинов за стойкой. Но вот пять ярких квадратов потускнели и потухли. Прогредел гром, и вдруг хлынул ливень. Он застучал по крыше.

Прыщ подошел к двери и выглянул. За пеленой дождя местность исчезла, и на цементной дорожке вскакивали фонтанчики. Мокрый свет отливал сталью. Прыщ увидел, что Хуан спрятался в автобусе. Задние колеса все еще медленно крутились. Потом Хуан прыгнул на землю и бросился к закусочной. Прыщ распахнул перед ним дверь, и он влетел в комнату: даже от короткой перебежки комбинезон намок, а туфли хлюпали.

— Господи боже,— сказал он,— вот это ливень!

Серая стена дождя заслонила холмы, а свет цедила темный, металлический. Головки люпинов поникли под тяжестью влаги. Сбитые лепестки маков лежали на земле, как золотые монеты. И без того промокшая земля уже не впи-

тивала воду, и по уклонам сразу побежали ручейки. Ливень хлестал по крыше закусочной на Мятежном углу.

Хуан Чикой сидел за столиком у окна, пил кофе с хорошей порцией сливок, жевал пончик и глядел на ливень. Вошла Норма и принялась мыть тарелки в стальной раковине за стойкой.

— Можешь дать мне еще чашку кофе? — попросил Хуан.

Она сонно вынесла чашку из-за стойки. Чашка была полна до краев. Кофе перелился и капал с донышка. Хуан вытащил бумажную салфетку, сложил и подстелил под мокрую чашку.

— Не выпалась, а? — сказал он.

Норма осунулась, платье на ней было измято. Сейчас было видно, что она сделается старообразной еще задолго до старости. Кожа у нее была землистая, а руки в пятнах. Крапивница начиналась у нее от самых разных причин.

— Совсем не спала, — сказала она. — Попробовала на полу и все равно не могла уснуть.

— Ладно, постараемся, чтоб это больше не повторилось, — сказал Хуан. — Надо мне было достать машину и отправить их в Сан-Исидро.

— Уступил им наши постели! — с насмешкой сказала Алиса. — Это же надо придумать! Да где еще хозяева отдали бы свои постели? Им-то сегодня не работать. Могли бы и посидеть ночь.

— Да, видно, не сообразил, — отозвался Хуан.

— Тебе наплевать, что жена ночует в кресле, — сказала Алиса. — Готов отдать ее постель первому встречному.

Алиса снова почувствовала, что в ней поднимается ярость, — и испугалась. Она этого не хотела. Знала, что будет только хуже, и боялась этого, но ничего не могла поделать — ярость поднималась и клочотала.

Полотнище дождя хлестнуло по крыше, как тяжелая метла, пронеслось, оставив за собой тишину, и почти сразу новый пласт ливня накрыл закусочную. Снова громко закапало со стрех, забулькало в желобах. Хуан задумчиво смотрел в пол, и легкая улыбка растягивала его губу, перехваченную белой ленточкой шрама. И этого Алиса тоже испугалась. Сейчас он ее выделил и наблюдает за ней. Она это чувствовала. Для Алисы все отношения и положения включали только двух участников: она и другой дела-

лись огромными, а все остальные пропадали из виду. Полутонов не было. Когда она говорила с Хуаном, на свете существовали только они двое. Когда прицеплялась к Норме, весь мир исчезал, оставались только она и Норма, а вселенная тонула в сером облаке.

А Хуан — он мог все отодвинуть и увидеть любой предмет соотносительно с остальными. Предметами разной важности и величины. Мог видеть, оценивать, судить и радоваться. Хуан умел радоваться людям. Алиса умела только любить и ненавидеть, люди ей либо нравились, либо не нравились. Никаких полутонов она не видела и не чувствовала.

Она подобрала рассыпавшиеся волосы. Раз в месяц она полоскала волосы в средстве, гарантировавшем таинственный и роскошный блеск, который завораживает мужчин и обрекает на рабство. Глаза Хуана смотрели на нее издали, как на что-то забавное. И это вселяло в Алису ужас. Она знала, что он видит в ней не сердитую женщину, омрачающую мир, а просто одну из миллиона сердитых женщин, которых можно изучать, разглядывать — да, и даже получать от этого удовольствие. В ужасе Алисы был холод одиночества. Хуан заслонял собой весь мир, а она — она знала это — ничего ему не заслоняла. Он мог видеть не только вокруг нее, но и сквозь нее — что-то другое. Она помнила, что, когда он ее ударил, ужас был не в самом ударе — били ее и раньше, и ей это было даже не отвратительно, а, наоборот, возбуждало ее, воодушевляло, — но ударил он ее, как букашку. Без всякого запала. Он даже не очень рассердился, просто был раздражен. И хлопнул надосуду, чтобы не шумела. Алиса пыталась лишь привлечь его внимание одним из немногих известных ей способов. То же самое она пыталась сделать сейчас, но по расфокусированному его взгляду чувствовала, что он ускользнул.

— Я стараюсь, чтобы в доме было уютно, красиво... и ковер, и бархатный гарнитур... а ты — извольте, уступаешь все чужим. — Голос ее терял уверенность. — А твоя жена всю ночь должна сидеть в кресле.

Хуан не спеша поднял взгляд.

— Норма, — сказал он, — можешь налить мне еще чашку кофе? И побольше сливок.

Алиса разогревалась для новой вспышки гнева, чувствуя ее приближение, и тут Хуан неторопливо перевел

взгляд на нее. Взгляд был теплый и веселый и опять сфокусированный: он смотрел на нее, и она знала, что он ее видит.

— Тебе это не повредит,— сказал он.— Приятней будет спать сегодня на своей кровати.

У Алисы дух занялся. Ее окатило жаром. Ярость превратилась в острое желание. Она рассеянно улыбнулась ему и облизнула губы.

— Ну, паразит,— сказала она очень мягко. И глубоко, прерывисто вздохнула.— Яйца хочешь?

— Ага. Пару в мсшочек.

— Я знаю, какие ты любишь,— ответила она.— Бекон подать?

— Нет. Гренку и пару пончиков.

Алиса ушла за стойку.

— Когда же они вылезут? — сказала она.— Я бы хоть в ванную сходила.

— Уже зашевелились,— отозвался Хуан.— Скоро выйдут.

Там действительно шевелились. В спальне слышались шаги. Открылась какая-то дверь, и женский голос резко произнес: «Могли бы и постучать!» Мужчина ответил: «Простите, пожалуйста. Другого выхода не было — только через окно».

Голос еще одного мужчины, надтреснутый, с властной растяжкой, сказал: «Стучать, мой друг, никогда не мешает. Ушибли погу?» «Да».

Дверь у края стойки открылась, и вышел маленький человек. На нем был двубортный пиджак и рубашка того бежевого цвета, который любят езжалые люди и зовут дорожным, потому что на нем не видна грязь. Костюм по той же причине был нейтрально-серый, а галстук зеленый, вязаный. Лицо у него было вытянутое, как щенячья мордочка, и глаза блестели вопросительно, тоже как у щенка. Тоненькие, аккуратные усики лежали на верхней губе, как гусеница, и когда он говорил, она словно выгибала спину. Зубы были ровные и белые, кроме двух верхних спереди, которые сияли золотом. Вид у него был полностью причесанный, как будто он и пух с костюма счищал щеткой для волос, а рубашка — с неявными разводами, которые происходят от стирки воротничка в раковине и сушки в расстеленном виде на туалетном столике. В манерах его проглядывала застенчи-

вая бойкость, а в лице — несколько вздрагивающее выражение, как будто он привык ограждать себя от оскорблений с помощью продуманных приемов.

— Здравствуйте, люди,— сказал он.— Я как раз думал: где же вы ночевали? Ручаюсь, что сидя.

— Сидя,— неприветливо подтвердила Алиса.

— Ничего,— сказал Хуан.— Сегодня пораньше ляжем.

— Починили автобус? Думаете, доберемся в такой дождь?

— Обязательно,— сказал Хуан.

Человек, хромая, обогнул край стойки и, морщась от боли, сел за столик. Норма принесла стакан воды и столовые приборы в бумажной салфетке.

— Яйца?

— Яичницу — с глазками, с беконом, чтобы хрустел, и гренку с маслом. С маслом — улавливаете? Значит, вы ее намазываете маслом — даете ему растаять, чтобы без желтых шишечек,— как следует намазываете и получаете на чаек.— Он поднял ногу в дырчатой и простроченной туфле, поглядел на нее и закричал от боли.

— Щиколотку растянули? — спросил Хуан.

Дверь у края стойки отворилась, и вошел человек среднего роста. Он был похож на Трумэна, на вице-президента компании и на ревизора. Очки у него были в прямоугольной оправе. Костюм — приличествующего серого цвета, лицо — тоже с сероватостью. Он был бизнесмен, одевался как бизнесмен и выглядел как бизнесмен. В петлице лацкана сидел значок ложки, такой крохотный, что с двух шагов его вообще не было видно. Жилет не был застегнут на последнюю пуговицу. Но она и не предназначалась для застегивания. Поперек жилета бежала красивая золотая цепочка для часов и ключей, по дороге она ныряла в петлю, а потом выныривала. Он сказал:

— Для миссис Причард омлет — если яйца свежие, можно жидковатый,— гренку и мармелад. А мисс Причард хочет только апельсиновый сок и кофе. Мне — ячменные хлопья со сливками, яичницу перевернутую, хорошо поджаренную, но чтобы желток не растекся,— сухую гренку и кофе по-бостонски, то есть пополам с молоком. Можете все подать на подносе.

Алиса посмотрела на него с яростью.

— Лучше, если вы сами выйдете, — сказала она. — У нас не разносят.

Мистер Причард ответил холодным взглядом.

— Нас здесь задержали. Я уже потерял один день отпуска. Поломка автобуса произошла не по моей вине. Так по крайней мере завтрак подайте. Жена чувствует себя неважно. Я не привык сидеть на табурете, и миссис Причард — тоже.

Алиса пригнула голову, как бодливая корова.

— Слушайте, мне хочется в туалет и вымыть лицо, а вы заняли мою ванную.

Мистер Причард нервно дотронулся до очков.

— Я вас понимаю.

Он обернулся к Хуану, и блики на очках превратили их в два зеркальца, за которыми исчезли глаза. Рука его выдернула из жилетного кармана цепочку. Он раскрыл золотую пилку для ногтей и быстро прочистил кончиком под каждым ногтем. Потом оглянулся вокруг, и его пробрал легкий холодок неуверенности. Мистер Причард был бизнесмен, президент не очень большой корпорации. Он никогда не бывал один. Дела в его фирме вершил круг людей, работавших одинаково, думавших одинаково и даже выглядевших одинаково. Обедал он с людьми себе подобными, которые собирались в клубах; чуждым элементам и чуждым идеям доступа туда не было. Его религиозная жизнь опять-таки проходила в его ложе и в его церкви — и та и другая были изолированы и ограждены. Раз в неделю он играл в покер с людьми, настолько не отличавшимися от него, что игра была вполне равной, и отсюда они черпали убеждение, что все они — великолепные игроки. Куда бы он ни пришел, он был не просто человеком, а единицей в корпорации, единицей в клубе, в ложе, в церкви, в партии. Его идеи и мысли никогда не подвергались критике, потому что он добровольно объединялся только с такими же, как он. Он читал газету, выпускаемую его кругом и для его круга. Книжки, попадавшие в его дом, были отобраны комитетом, отбрасывавшим все, что могло его раздражить. Он терпеть не мог иные страны и иностранцев, потому что среди них трудно найти своего двойника. Он не хотел выделиться из своего круга. Он был бы рад подняться там на самый верх, чтобы им восхищались; но покинуть свой круг он и не помышлял. На редких холостяцких вечеринках, когда го-

лые женщины плясали на столе или сидели в громадных бокалах с вином, мистер Причард и гоготал, и пил это вино, но рядом были еще пятьсот причардов.

А теперь, после некрасивого заявления Алисы насчет туалета, он оглянулся вокруг и увидел, что он один. Что тут больше нет мистеров причардов. Взгляд его задержался было на маленьком мужчине в пиджачной паре, но выглядел тот как-то странно. Правда, в петлице у него тоже был какой-то что ли значок — голубая эмалевая планка с белыми звездочками, — но такого клуба мистер Причард не знал. Эти люди сделались ему противны, и даже собственный отпуск сделался противен. Ему захотелось вернуться в спальню и закрыть дверь, а тут этой толстой захотелось в туалет. Мистер Причард очень быстро почистил ногти золотой пилочкой на часовой цепочке.

От природы и сначала мистер Причард таким не был. Один раз он голосовал за Юджина Дебса, но это было давным-давно. Дело в том, что люди его круга наблюдали друг за другом. Всякое отклонение от общепринятого сперва замечалось, потом обсуждалось. Отклонившийся человек был ненадежный человек, а если он упорствовал, с ним никто не хотел иметь дело. Защитная окраска действительно защищала. Но мистер Причард не был двоедушным. Он отказался от свободы, а потом и забыл, что это такое. Теперь он смотрел на ту историю как на юнсшеское безумство. Голос, поданный за Юджина Дебса, он относил туда же, куда и посещение публичного дома в возрасте двадцати лет. У мальчишек такое не редкость. Иногда он даже в клубе за обедом вспоминал, как проголосовал за Дебса — доказывая этим, что и он был горяч и что такие выходки наряду с прыщами вообще свойственны юности. Но хотя он извинял себе это озорство и даже им гордился, он был немало озабочен поведением своей дочери Милдред.

Она водилась в колледже с очень опасной компанией — определенного сорта публикой и преподавателями, которые считались красными. Перед войной пикетировала пароход с металлоломом для Японии и собирала деньги на лекарства для тех, кого он называл красными в Испанской войне. С самой Милдред он об этом не разговаривал. Она не хотела с ним это обсуждать. И у него было глубокое убеждение, что если все будут молчать и сдерживаться, то она это перерастет. Муж и дети разрядят ее политическое беспокой-

ство. Тогда, говорил он, она поймет, что такое настоящие ценности.

Посещение публичного дома он помнил слабо. Ему было двадцать лет, и он был пьян, а после им овладело иссушающее чувство оскверненности и горя. Зато помнил следующие две недели, когда он с ужасом ждал симптомов. Он даже решил покончить с собой, если они появятся: покончить с собой так, чтобы это приняли за несчастный случай.

Сейчас он нервничал. Он был в отпуске, которого, в сущности, не хотел. Он ехал в Мексику, которую, несмотря на рекламы, считал страной не только грязной, но и опасно радикальной. Они экспроприировали нефть; другими словами, украли частную собственность. А чем это лучше России? Россия мистеру Причарду заменила дьявола средних веков как источник всяческого коварства, зла и ужасов. Сегодня он нервничал еще и потому, что не выспался. Он любил свою собственную кровать. Привыкнуть к новой — ему нужна неделя, а тут впереди три недели, и что ни ночь, то новая кровать, да и бог знает с какой живностью. Он устал, и собственная кожа казалась ему шершавой. Вода тут была жесткая, и после бритья стало ясно, что через три дня на шее образуется хомут из подкожной щетины.

Он вытащил из грудного кармана платок, снял и протер очки.

— Я предупрежу жену и дочь, — сказал он. — Я не знал, что мы вас так стеснили.

Норме понравилось это слово, и она повторила его про себя. «Стеснять... я не хотела бы вас стеснять, мистер Гейбл, но должна сказать вам...»

Мистер Причард вернулся в спальню. Слышно было, что он им разъясняет положение, а они о чем-то спрашивают.

Человек с усиками встал и заковылял к стойке, постанывая от боли.

Он взял сахарницу и, кривясь, вернулся на свое место.

— Я бы вам подала, — пожалела его Норма.

Он улыбнулся и мужественно сказал:

— Не хотел вас беспокоить.

— Вы бы несколько меня не стеснили, — сказала Норма.

Хуан опустил чашку на стол.

Прыщ сказал:

— Мне бы кусок кокосового пирога.

Алиса рассеянно отрезала ему кусок, двинула блюдо по стойке и сделала отметку в блокноте.

— Хоть бы разик хозяйка угостила,— заметил Прыщ.

— Я думаю, кое-кто тут и без хозяйки угощается, и не разик,— ответила Алиса.

— Вижу, вы здорово растянули ногу,— обратился к маленькому человеку Хуан.

— Отдавил,— сказал тот,— пальцы отдавил. Сейчас покажу.

Из спальни вышел мистер Причард и сел за свободный стол.

Маленький человек расшнуровал и снял туфлю. Потом стянул носок и аккуратно положил его в туфлю. Ступня его была забинтована до подъема, и бинт пропитался яркой красной кровью.

— Показывать не обязательно,— поспешно сказала Алиса. От вида крови ей делалось дурно.

— Все равно пора сменить повязку,— пояснил тот, размотал бинт и открыл ногу. Большой палец и два соседних были страшно раздавлены, ногти почернели, а концы пальцев превратились в кровавое мясо.

Хуан встал. Прыщ подошел поближе. Даже Норма не осталась в стороне.

— Господи спаси, жуткое дело,— сказал Хуан.— Погодите, воды принесу, промоем. Надо же чем-то намазать. Вы получите заражение. Можете ногу потерять.

Прыщ пронзительно свистнул сквозь зубы, показывая свою заинтересованность и даже некоторое восхищение размерами увечья. Маленький человек следил за лицом Хуана, и глаза его блестели от удовольствия и приятного ожидания.

— Думаете, скверно? — спросил он.

— Черт, еще как скверно,— подтвердил Хуан.

— Думаете, надо показаться врачу?

— Я бы на вашем месте показался.

Маленький человек радостно хохотнул.

— Вот это я и хотел услышать,— сказал он. Он поддел ногтем подъем ноги, и нога отделилась — и кожа, и кровь, и раздавленные пальцы, а под этим открылась ступня, целая и невредимая, со здоровыми пальцами. Закинув голову, он ликуяще рассмеялся.

— Улавливаете? Пластмасса. Новинка.

Мистер Причард подошел поближе с отвращением на лице.

— Это искусственная раненая нога «Маленького чуда»,— объявил человек. Он вытащил из бокового кармана плоскую коробку и вручил Хуану.— Вы мне посочувствовали, хочу вам подарить. С наилучшими пожеланиями от Эрнеста Хортон, представляющего компанию «Маленькое чудо».— Он увлеченно затараторил: — Выпускаются трех номиналов — с одним, двумя и тремя раздробленными пальцами. Та, которую я вам дал,— трехпальцевая, как у меня. Приложен бинт и пузырек искусственной крови, чтобы повязка выглядела страшно. Инструкция — внутри. Когда надеваете в первый раз, надо размочить в теплой воде. Тогда обтягивает, как перчатка, никто не отличит. Получите массу удовольствия.

Мистер Причард подался к нему. Он уже мысленно видел, как снимает носки на правлении. Можно сделать это сразу после мексиканской поездки, а сперва сочинить какую-нибудь историю с бандитами.

— Почему они у вас идут? — спросил он.

— По полтора доллара, но я вообще-то не продаю в розницу,— сказал Эрнест Хортон.— Торговля хватает сразу все, что я получаю. За две недели я продал сорок grossов.

— Ну? — сказал мистер Причард. Глаза у него одобрительно расширились.

— Не верите — могу показать книжку заказов. Такой ходкой новинки мне еще не приходилось продавать. «Маленькое чудо» имеет на ней отличную прибыль.

— Сколько вы накидываете? — поинтересовался мистер Причард.

— Видите ли, если вы не торгуете, я предпочел бы не говорить. Деловая этика — так?

Мистер Причард кивнул.

— Я бы взял одну для пробы по розничной цене,— сказал он.

— Сейчас, поем и принесу. Готова у вас гренка с маслом? — спросил он Норму.

— Поспевает,— сказала Норма, виновато ушла за стойку и включила тостер.

— Понимаете, их успех — на психологии,— торжествующе объяснил Эрнест.— Искусственные разрезанные пальцы мы производили годами, и они шли туго, а это... тут психологическая тонкость в том, что вы снимаете туфлю и носок.

Никто не ждет, что вы затеете такую волынку. Тот, кто до этого додумался, получил очень хороший гонорар.

— Надо полагать, вы тоже имеете с нее неплохой доход,— сказал мистер Причард с восхищением. Сейчас он чувствовал себя гораздо лучше.

— Не жалуюсь,— сказал Эрнест.— У меня в чемодане еще два-три образчика, могут вас заинтересовать. Они не для продажи, только для торговцев, но я их продемонстрирую. Может быть, посмеетесь.

— Я хочу взять полдюжины раненых ног,— сказал мистер Причард.

— Трехпальцевых?

Мистер Причард подумал. Он хотел их подарить, но он не хотел конкуренции. Чарли Джонсону розыгрыши удавались лучше, чем мистеру Причарду. Чарли был прирожденный комик.

— Скажем так: одну трехпальцевую, три двухпальцевые и две однопальцевые. Так, пожалуй, будет в самый раз.

Дождь менялся. Он накатывал тяжелыми косыми водяными обвалами, которые перемежались коротким капающим ватишьем. Хуан пил кофе у окна. На блюде перед ним лежала половинка румяного пончика.

— Я думаю, немного поутихнет,— сказал Хуан.— Мне бы еще раз проверить задний мост, до того как поедем.

— Мне бы кокосового пирога,— сказал Прыщ.

— Не получишь,— сказала Алиса.— Клиентам надо немножко оставить.

— А я, что ли, не клиент?

— Не знаю, получим ли мы сегодня из Сан-Исидро. Надо оставить на всякий случай.

На самом краю стойки стояла ваза в виде лесенки, и там лежали конфеты. Прыщ поднялся с табурета и встал перед корзинкой. Он долго рассматривал яркие палочки, не зная, что выбрать. Наконец взял три брикета и сунул в карман.

— Одна «Беби Рут», одна «Любовное гнездышко» и одна «Кокосовая киска»,— сказал он.

— «Кокосовая киска» — десять центов. Она с орехами,— сказала Алиса.

— Я знаю,— сказал Прыщ.

Алиса достала из-за стойки блокнот.

— Ты забежал вперед жалованья,— сказала она.

ГЛАВА 4

Как только Причарды вышли из спальни, Норма быстро сказала:

— Мне надо немного помыться и причесаться,— и кинулась к двери.

Алиса двинулась за ней по пятам.

— В ванную после меня,— холодно сказала она.

Норма прошла через спальню Чикоев к себе. Она закрыла за собой дверь и, поскольку ключа не было, заперлась на задвижку, чтобы не помешали. Ее узкая складная кровать была не застелена, а у стены стоял большой чемодан Эрнеста с образцами.

Комнатка была тесная. Одну стену занимал низкий комод с тазом и кувшином; над ним была прибита блестящая шелковая паволочка с бахромой. Она была розовая, с изображением скрещенных пушек на букете красных роз. И на ней было напечатано стихотворение «Письмо солдата к матери».

Тебя, о мама, помню в громе битвы,
Меня хранят от пуль твои молитвы.
Когда мы победим врага в борьбе,
Родная мама, я вернусь к тебе.

Норма оглянулась на окно, серое от дождевого света, и, сунув руку за пазуху, отогнула ворот платья. К изнанке английской булавкой был приколот ключик. Норма его отколола. Потом выдвинула из-под комода чемодан и отперла. Сверху лежал глянцевый портрет Кларка Гейбла в серебряной рамке и с надписью «С наилучшими пожеланиями — Кларк Гейбл». Портрет, рамка и надпись были куплены в магазине подарков в Сан-Исидро.

Она торопливо запустила руку на дно чемодана. Пальцы нащупали квадратную коробочку с кольцами. Норма вытащила ее, сдернула крышку, увидела, что кольца на месте, и опять спрятала на дно. Потом закрыла и заперла чемодан, задвинула под комод и снова приколола ключ к изнанке платья. После этого она выдвинула ящик комода, взяла щетку и гребень и повернулась к окну. На стене, рядом с красно-зеленой цветастой кретоновой занавеской, висело зеркало в раме. Норма подошла к нему и стала смотреть на себя.

Свинцовый свет из окна падал на ее лицо. Она широко раскрыла глаза, после чего улыбнулась, показав все зубы — жизнерадостно улыбнулась. Она приподнялась на

цыпочки, помахала громадной толпе и опять улыбнулась. Она провела гребнем по жидким волосам — гребень застрял в завитых концах, она дернула. Потом взяла из ящика карандаш и подвела тупым грифелем бесцветные брови; дуги нарисовала покруче, отчего лицо приобрело удивленное выражение. Потом стала расчесывать волосы щеткой: десять раз одну сторону, десять раз другую. Причесываясь, она приподнималась на носки и напрягала мускулы — то на левой ноге, то на правой, — чтобы развить икры. Этот метод рекомендовала одна кинозвезда, которая в жизни не делала упражнений, но имела красивые ноги.

Норма бросила взгляд на окно, где свет потускнел еще больше. Не дай бог подсмострят этот нелепый танец. Скрытностью Норма превосходила айсберг. Снаружи виднелась только крохотная часть Нормы. Потому что несравненно бóльшая, лучшая и прекраснейшая часть Нормы была внутри нее, защищена и закупорена.

Ручка двери повернулась, и на дверь нажали. Норма напряглась и оцепенела. Двигалась только одна рука, она лихорадочно стирала брови, от чего на лбу образовались серые полосы. А в дверь уже стучались. Стучались легонько и вежливо. Она положила щетку на комод, обдернула платье и подошла. Вытянула задвижку, приоткрыла дверь. На нее смотрело лицо Эрнеста Хортонa. Его плотные ворсистые усики выгнулись подковкой.

Норма пока не отпускала дверь.

— Вы все были так любезны и прочее, — сказал он. — И мне очень неприятно причинять вам лишнее беспокойство.

Норма слегка расслабилась, но дышала еще тяжело. Она открыла дверь и отступила. Эрнест со смущенной улыбкой вошел в комнату. Он остановился возле кровати.

— Как же я не заправил койку, — сказал он и, расстелив простыню и одеяло, принялся сгонять складки.

— Не надо, я сама, — сказала Норма.

— Я вам обещал чаевые, а вы не подождали, — сказал Эрнест. — Но я приготовил. — Он застелил кровать аккуратно, как будто набил на этом руку.

— Да я бы сама убрала, — сказала Норма.

— Уже убрал, — ответил он. Он подошел к своему большому чемодану. — Не возражаете, я открою? Я хочу кое-что вынуть,

— Давайте,— сказала Норма. Глаза ее загорелись любопытством.

Он положил большой чемодан на ее кровать, щелкнул замком и откинул крышку. В чемодане были чудесные вещи. Тут были картонные трубки и платки, менявшие цвет. Тут были взрывающиеся сигареты и вонючие бомбочки. Тут были трубки для чревовещания, и рожки, и карнавальные бумажные шапки, и флажки, и смешные значки. Были шелковые наволочки вроде той, что висела над столиком. Эрнест достал шесть искусственных раненых ног в плоских упаковках, и Норма подошла поближе, чтобы заглянуть в замечательный чемодан. Взгляд ее привлекли фотографии киноартистов. Карточки были запрессованы в прозрачный пластик толщиной не меньше половины сантиметра. И у них было еще одно любопытное свойство. Они не выглядели плоскими. То ли благодаря хитрому изгибу, то ли из-за игры преломленного света лица были как бы выпуклые, выходящие из глубины. Карточки казались трехмерными, а размером были двадцать на двадцать пять сантиметров.

Сверху улыбался, как живой, Джеймс Стюарт; из-под него высовывался чей-то краешек — только волосы и часть лба, однако Норма узнала этот лоб и волосы. Губы у нее разжались, глаза блеснули. Рука потянулась к чемодану и убрала Джеймса Стюарта прочь. И правда — он, Кларк Гейбл, глядел на нее, выпуклый, натуральный. У него было серьезное, сосредоточенное выражение — подбородок вперед, глаза спокойные и внимательные. Таким на портретах она его не видела. Она глубоко вздохнула, стараясь, чтобы этого не было слышно. Она вынула карточку из чемодана, глядя ему в глаза остановившимися расширенными глазами.

Эрнест наблюдал за ней и заметил ее интерес.

— Правда, потрясающе? — сказал он. — Новая идея. Заметили, что они выпуклые, почти как статуя?

Норма кивнула, онемев.

— Предсказываю,— объявил Эрнест. — Перед всей торговлей ручаюсь. Эта штучка выметет с рынка все остальные картинки навсегда. Она кислотоустойчива, влагоустойчива и никогда не желтеет — она вечная. Она отформована и заплавлена прямо в рамке. Она вечная.

Норма не сводила глаз с портрета. Эрнест хотел забрать его, но ее пальцы вцепились в карточку, как когти.

— Сколько? — Слово прозвучало как хриплое глубокое рычание.

— Это только образец, — сказал Эрнест. — Чтобы показывать торговцам. Не для продажи. Их заказывают.

— Сколько? — Ее пальцы побелели от напряжения. Эрнест посмотрел на нее внимательно. Он увидел, что лицо ее застыло, желваки затвердели и ноздри раздуваются от сдерживаемого дыхания.

Эрнест сказал:

— В розницу они идут по два доллара, но я говорил, что с меня причитаются хорошие чаевые. Вы больше хотите это, чем чаевые?

Голос Нормы прозвучал хрипло:

— Да.

— Тогда берите.

Белизна медленно сошла с ее пальцев. В глазах светилось торжество. Она облизнула губы.

— Спасибо, — сказала она. — Спасибо вам. — Она повернула карточку лицом к себе и прижала к груди. Пластмасса была не холодная, как стекло, а теплая и нежная на ощупь.

— А я, пожалуй, обойдусь одним образцом, — сказал Эрнест. — Понимаете, ядвигаюсь на юг. В контору вернусь только через полтора месяца. Две недели решил провести в Лос-Анджелесе. Для моих товаров — лучше города нет.

Норма унесла карточку к комоду, выдвинула ящик, засунула карточку под белье и задвинула ящик.

— Вы, наверно, и в Голливуд попадете, — сказала она.

— А как же. С игрушками там еще лучше, чем в Лос-Анджелесе. А потом, у меня там вроде отпуска. У меня там много друзей. Устраиваю себе отпуск, гуляю, смотрю разные разности и заодно с торговлей знакомлюсь. Убиваю двух зайцев. Времени не теряю. У меня там фронтовой друг, на студии работает. С ним и развлекаемся. В прошлый раз начали с «Мелроз-грота». Это на Мелроз, рядом со студией РКО. Вот погуляли! Я вам не буду рассказывать, чем мы занимались, но я в жизни так не веселился. А другу, конечно, потом пришлось идти на работу, на студию.

Норма наострила уши, как щенок, когда он наблюдает за жуком.

— Ваш друг работает на студии? — равнодушно переспросила она. — На какой?

— «Метро-Голдвин-Майер»,— сказал Эрнест. Он укладывал чемодан и не смотрел на нее. Он не услышал ее свистящего дыхания и неестественных ноток в ее голосе.

— Вы тоже бываете на студии?

— Ага. Вилли устраивает мне пропуск. Иногда хожу посмотреть на съемки. Вилли — плотник. Работал там до войны и опять вернулся. Мы вместе служили. Прекрасный мальчик. На вечеринках незаменим! У него знакомых барышень, телефонов у него — вы себе представить не можете. Толстая черная книжка — и вся полна телефонами. Сам не помнит половину дам, которые у него записаны.

Эрнест постепенно зажигался темой. Он сел на стульчик возле стены. Он засмеялся.

— В начале войны — я его еще не знал — он служил в Санта-Ане. Офицеры, значит, прослышали про его черную книжечку и стали брать Вилли в Голливуд. Вилли добывал для них дам и увольнение получал, когда хотел. Ему неплохо жилось, пока их часть не посадили на пароход.

Во время этих воспоминаний в глазах у Нормы появилось выражение досады. Она теребила свой фартук. Голос ее сделался высоким, потом низким.

— Скажите, вас не очень стеснит, если я попрошу об одном одолжении?

— Да нет,— сказал Эрнест.— О каком?

— Если я дам вам письмо, а вы вдруг... Ну, окажетесь на студии МГМ и случайно встретите мистера Гейбла. Так вы ему... его не передадите?

— Кто это — мистер Гейбл?

— Мистер Кларк Гейбл,— сурово сказала Норма.

— А-а, он. Вы его знаете?

— Да,— сказала Норма ледяным голосом.— Я... я его двоюродная сестра.

— Вон что? Ну конечно, передам. Но вдруг я туда не попаду? Почему вы не отправите по почте?

Глаза у Нормы сузились.

— Почта до него не доходит,— загадочно сказала она.— Там сидит девица — ну, секретарша, так она просто забирает письма и сжигает.

— Да что вы? — сказал Эрнест.— Зачем?

Норма остановилась и подумала.

— Там просто не хотят, чтобы он их получал.

— Даже от родственников?

— Даже от двоюродной сестры,— сказала Норма.

— Это он вам сказал?

— Да.— Глаза у нее были широко раскрыты и ничего не выражали.— Да. Конечно, я скоро туда поеду. Были предложения, и раз я даже собралась ехать, но мой двоюродный брат — то есть мистер Гейбл — сказал, он сказал: «Нет, тебе надо набраться опыта. Ты молода. Тебе некуда спешить». И я набираюсь опыта. В закусочной очень много узнаешь о людях. Я их все время изучаю.

Эрнест посмотрел на нее с некоторым сомнением. Он слышал фантастические рассказы об официантках, которые в одну ночь становились звездами сцены, но у Нормы не те буфера, подумал он, и не те ноги. Ноги у Нормы были как палочки. Хотя он знал о двух или трех кинозвездах, которые без грима до того неинтересны, что на улице их никто и не узнает. Он читал о них. А Норма — хотя внешность у нее неподходящая — ну, ей подложат, где надо, и если Кларк Гейбл ей двоюродный брат, то при такой руке не пропадешь. Все двери открыты.

— В этот раз я вообще-то не собирался просить у Вилли пропуск,— сказал он.— Бывал уже я там... но, если вам нужно, я туда схожу, найду его и передам ваше письмо. А все-таки зачем, по-вашему, они выкидывают его почту?

— Просто хотят выжать из него все, что можно, а потом выкинуть его, как старый башмак,— сказала Норма со страстью. Чувства накатывали на нее волна за волной. Она была в экстазе, и в то же время ее душил страх. Норма не была лгуньей. Такого, как сейчас, с ней никогда не случилось. Она шла по длинной шаткой доске и понимала это. Одного вопроса, малейшей осведомленности со стороны Эрнеста было бы достаточно, чтобы скинуть ее в пропасть, но остановиться она не могла.

— Он великий человек,— говорила она,— великого благородства человек. Ему не нравятся роли, которые его заставляют играть, потому что он не такой. Рета Батлера — он не хотел его играть, потому что он не подлец и не любит играть подлецов.

Эрнест опустил голову и наблюдал за Нормой исподлобья. И Эрнест начал понимать. Разгадка забрезжила в его сознании. Красивее, чем сейчас, Норма никогда не будет. Ее лицо выражало достоинство и отвагу и по-настоя-

щему сильный прилив любви. Эрнесту оставалось либо осмеять ее, либо ей подыгрывать. Если бы в комнате был посторонний, например, другой мужчина, Эрнест бы, наверно, ее высмеял из страха, что этот посторонний будет его презирать, и высмеял бы тем наглее, с тем большим стыдом, что видел, как светится в девушке сильное, чистое, всепоглощающее чувство. Это оно заставляет новообращенных пролеживать ночи на камнях перед алтарем. Такого излияния нектара любви, такого открытого жара Эрнесту ни в ком не приходилось видеть.

— Я возьму письмо,— сказал он.— Я скажу, что это от двоюродной сестры.

На лице у Нормы появился испуг.

— Нет,— сказала она.— Лучше, если это будет сюрпризом. Скажите — просто от друга. Больше ничего, ничего не говорите.

— Когда вы думаете поехать туда работать? — спросил Эрнест.

— Мистер Гейбл говорит, что надо еще год подождать. Говорит, я еще молода, надо набраться опыта, узнать людей. Правда, иногда я от этого очень устаю. Так скучаю иногда по своему дому со... с большими тяжелыми шторами и длинным диваном. Так хочется повидать всех моих подруг — Бетт Дэвис, Ингрид Бергман, Джоун Фонтейн,— а с теми, остальными-то, которые вечно разводятся и всякое такое, я компанию не вожу. Мы просто сидим, говорим о серьезных вещах и все время занимаемся — ведь только так можно развиться и стать великой актрисой. А есть еще много таких, которые плохо обходятся с поклонниками: не дают автографов и так далее,— а мы нет! То есть мы не такие. Иногда мы даже приводим девушек прямо с улицы — выпить чаю и поговорить, как будто мы ровня,—мы-то понимаем, что всем обязаны верности наших поклонников.— Внутри у нее все содрогалось от страха, а остановиться она не могла. Она слишком далеко зашла по доске и не могла остановиться, и доска уже не держала ее.

Эрнест сказал:

— Я сначала не понял. Вы уже снимались? Вы уже знамениты?

— Да,— сказала Норма.— Но мое здешнее имя ничего вам не скажет. В Голливуде меня знают под другим именем.

— Под каким?

— Я не могу сказать,— ответила Норма.— Вы тут единственный, кто обо мне что-то знает. Только никому не говорите, ладно?

Эрнест был потрясен.

— Да,— пообещал он,— не скажу, раз вы не хотите.

— Храните мою тайну свято,— сказала Норма.

— Ну ясно,— сказал Эрнест.— Так давайте письмо, и не беспокойтесь, он его получит.

— Это кто это что получит? — произнесла в дверях Алиса.— Что вы тут делаете вдвоем в спальне? — подозрительно шаря в поисках улики, взгляд ее скользнул по чемодану с образцами на кровати, задержался на подушке, оценил состояние покрывала и наконец добрался до Нормы. Он двинулся от тufель по ногам, помедлил на юбке, помешкал на талии и остановился на ее пылающем лице.

Норме от смущения чуть не стало дурно. Щеки пошли красными пятнами. Алиса подбоченилась.

Эрнест примирительно сказал:

— Просто хотел убрать с дороги мой чемодан, а она попросила меня передать письмо двоюродному брату в Лос-Анджелесе.

— Нет у ней брата в Лос-Анджелесе.

— Как же нет, когда есть,— сердито сказал Эрнест,— я знаю ее брата.

И тут злость Алисы, все утро искавшая выхода, вырвалась на волю.

— Слушайте, вы! — закричала Алиса.— Не хватало еще, чтобы всякий заезжий торгаш портил моих девчонок!

— Да никто ее не трогал,— сказал Эрнест.— Никто до нее пальцем не дотронулся.

— Ах, нет? А что вы делаете у нее в спальне? А на физиономию ее посмотрите! — Алиса созрела для истерики. Сильные, хриплые, визгливые звуки вырывались из ее глотки. Волосы свалились на лицо, глаза выкатились и намокли. Губы жестоко сжались, как у боксера, который добивает потрясенного соперника.— Я этого не потерплю! Не хватало еще, чтобы она понесла! Не хватало мне щенков по всему дому! Мы вам отдали свои комнаты, свои кровати!

— Да говорят вам, ничего не было! — закричал ей Эрнест. Перед этим бредовым натиском он чувствовал се-

бя совершенно беспомощным. И то, что он ей возражает, звучало для него чуть ли не признанием вины. Он не понимал, что на нее нашло, ему стало мутно от такой несправедливости, и в нем тоже зашевелился гнев.

У Нормы был открыт рот, ей передался микроб истерии. Она дышала шумно и при каждом вздохе подвывала. Ее руки выкручивали друг дружку, словно хотели изломать.

Алиса надвигалась на Норму, сжав правую руку в кулак, и не по-женски: пальцы были сложены ровно, костяшками вверх, большой плотно лежал на суставах указательного и среднего. Слова выходили с хриплым клокотанием:

— Вон отсюда! Вон из дома! Вон, под дождь!

Алиса подступила к Норме, Норма попятилась, и у нее вырвался испуганный визг.

За дверью слышались быстрые шаги и—окрик Хуана:

— Алиса!

Она замерла. Рот у нее тоже открылся, в глазах возник страх. Хуан медленно вошел в комнату. Большие пальцы он зацепил за карманы комбинезона. Он приближался к ней легко, как кошка подкрадывается к добыче. Золотое кольцо на обрубке пальца тускло блестело в свинцовом свете из окна. У Алисы вся ярость превратилась в страх. Она съежилась, отступила, отошла за кровать, очутилась в тупике, допятилась до стены и там замерла.

— Не бей меня,—прошептала она.—Пожалуйста, не бей.

Хуан подошел к ней вплотную, его правая рука медленно протянулась к ее руке и взяла повыше локтя. Он смотрел на нее — не сквозь нее и не мимо. Он мягко повернул ее, провел по комнате и за дверь и закрыл дверь, оставив Эрнеста и Норму вдвоем.

Они смотрели на закрытую дверь почти не дыша. Хуан подвел Алису к двуспальной кровати, мягко повернул, и она осела, как калека, повалилась на спину, бессмысленно глядя на него. Он взял подушку с изголовья и подложил ей под голову. Его левая рука — с обрезанным пальцем и кольцом — ласково погладила ее по щеке.

— Ничего, сейчас успокоишься,—сказал он.

Алиса накрыла лицо руками крест-накрест и зарыдала — хрипло, придушенно, без слез.

ГЛАВА 5

Бернис Причард, ее дочь Милдред и мистер Причард сидели за столиком справа от входа. Эти трое здесь сблизились. Старшие — потому, что чувствовали себя в каком-то смысле осажденными, а Милдред — из покровительственного чувства к родителям. Она часто удивлялась, как родители выжили в этом грешном и буйном мире. Она считала их наивными и беззащитными детьми, и в отношении матери была отчасти права. Но Милдред забывала о детской прочности, устойчивости, о простодушном упорстве — добиться своего. И Бернис обладала такой прочностью. Она была довольно миловидна. У нее был прямой нос, и она так давно носила пенсне, что оно даже повлияло на его форму. Верхняя, хрящевая часть носа не только утончилась из-за пенсне, но и приобрела два красных пятнышка на местах, куда жали пружины. Глаза у нее были фиалковые, близорукие, что придавало ее взгляду милое затаенное выражение.

Она была изящная и женственная и одевалась чуть старомодно. Носила иногда жабо, старинные брошки. Блузки — всегда с кружевом, с мережкой, с безукоризненно свежим воротничком и манжетами. Употребляла лавандовую воду, отчего ее кожа, одежда и сумочка всегда пахли лавандой и еще другим, почти неуловимым кисловатым запахом, который был ее собственным. У нее были красивые ноги от щиколоток и ниже, и она обувала их в очень дорогие туфли, обычно лайковые, на шнурках, с бантиком на подъеме. Рот у нее был вяловатый, детский, мягкий, довольно бесхарактерный. Разговаривала очень мало, но в своем кругу слыла человеком добрым и проницательным: первое — благодаря тому, что говорила о людях только хорошее, даже о незнакомых, второе — благодаря тому, что не высказывала общих соображений ни о чем, кроме духов и еды. Соображения других выслушивала с тихой улыбкой, как бы извиняя им то, что у них есть соображения. На самом деле она их не слушала.

Было время, Милдред плакала от ярости, когда мать встречала этой понимающей, извиняющей улыбкой ее очередной политический или экономический монолог. Лишь много позже дочь уяснила, что мать не слышит никакого разговора, если он не затрагивает людей, мест и вещей. С другой стороны, Бернис не забывала ни одной подроб-

ности, касающейся товаров, расцветок и цен. Она могла точно вспомнить, сколько было уплачено за черные замшевые перчатки семь лет назад. Она питала слабость к перчаткам и кольцам — любимым кольцам. Их у нее накопилось изрядно, но с бриллиантовым колечком, которое мистер Причард подарил ей при помолвке, и с золотым обручальным она не расставалась никогда. Снимала их только перед ванной. А когда мыла в раковине с нашатырем гребни и щетки, оставляла их на пальцах. Нашатырь очищал кольца, и бриллиантики блестели ярче.

Ее супружеская жизнь была довольно приятной, и она была привязана к мужу. Она считала, что изучила его слабости, его фокусы и его желания. Сама она из-за небольшого природного изъяна, так называемого клобучка, не могла извлекать все радости из семейной жизни; кроме того, из-за повышенного отделения кислот не могла зачать без того, чтобы кислая среда была предварительно нейтрализована. Обе эти особенности она считала нормальными, а всякое отклонение от них — ненормальностью и дурным вкусом. Женщин чувственного склада называла «женщинами этого сорта» и немного жалела их, так же как наркоманов и алкоголичек.

Пробудившуюся было страсть мужа она приняла, а затем постепенно, незаметным, но упорным сопротивлением сперва перевела в удобное русло, потом обузда, а потом удушила, так что порывы у него возникали все реже и реже, покуда он сам наконец не поверил, что вступил в возраст, когда эта сторона жизни не играет роли.

По-своему она была очень сильной женщиной. Домашнее хозяйство у нее было поставлено толково, чисто и удобно, и еду она готовила питательную, пусть и не слишком вкусную. Специй не признавала: ей давно сказали, что они возбуждают мужчину. Никто из троих — ни мистер Причард, ни Милдред, ни она сама — не полнел, — возможно, из-за скучной пищи. Эта пища не вызывала чрезмерного аппетита.

Среди друзей Бернис считалась милейшим, бескорыстнейшим человеком на свете, и они часто называли ее святой. А сама она часто говорила, как ей незаслуженно повезло, что из всех людей на свете именно у нее самые прекрасные, самые верные друзья. Она обожала цветы, сажала их, и прищипывала, и удобряла, и обрезала. Она

всегда держала в доме большие вазы с цветами, и друзья говорили, что к ней приходишь, как в цветочный магазин, и до чего же красиво она составляет букеты.

Лекарств она не принимала и без жалоб терпела частые запоры, покуда избавление не происходило силою вещей. Она не перенесла ни одной тяжелой болезни или травмы, а потому у нее не было мерила боли. Колотье в боку, легкий прострел, резь от газов под ложечкой втайне убеждали ее, что она при смерти. Когда она носила Милдред, она не сомневалась, что умрет, и привела свои дела в порядок, чтобы облегчить жизнь Причарду. Она даже написала письмо — с указанием вскрыть после ее смерти, — где советовала ему снова жениться, чтобы ребенок не рос совсем без матери. Потом она это письмо уничтожила.

Ее тело и ум были вялы и ленивы, и в глубине души она боролась с завистью к людям, у которых, казалось ей, бывают в жизни радости, тогда как ее жизнь проходит серым облаком в серой комнате. Обделенная восприятиями, она жила правилами. Образование полезно. Самообладание необходимо. Всему свое время и свое место. Путешествия расширяют кругозор. Эта последняя аксиома и погнала ее в результате путешествовать по Мексике.

Как она приходила к своим выводам, непонятно было даже ей самой. Это был долгий, медленный процесс накопления косвенных признаков, предположений, случайностей — тысяч их, — покуда наконец в совокупности они не решали дело. По сути же, в Мексику ей не хотелось. Ей просто хотелось вернуться к друзьям — из Мексики. Мужу совсем туда не хотелось. Он согласился только ради семьи и в надежде, что это будет полезно ему в культурном отношении. А Милдред хотелось — но не с родителями. Ей хотелось встретить новых и необычных людей и от общения с ними тоже стать новой и необычной. Милдред ощущала в себе мощные скрытые залежи чувств, и, вероятно, они в ней были. Они почти в каждом есть.

Бернис Причард, хотя и отвергала суеверия, была очень чутка к приметам. Поломка автобуса в начале пути напугала ее и, видимо, сулила цепь неприятностей, которые погубят все путешествие. Она видела, что муж не в своей тарелке. Ночью, лежа без сна на двуспальной кровати Чикоев и прислушиваясь ко вздохам мистера Причарда, она сказала:

— Все это превратится в приключение, когда останется позади. Я прямо слышу, как ты об этом рассказываешь. Будет смешно.

— Да, пожалуй,— ответил мистер Причард.

Они были привязаны друг к другу — примерно как брат с сестрой. В изъянах своей жены как женщины мистер Причард усматривал признак настоящей леди. Насчет ее верности беспокоиться не приходилось. Подсознательно он понимал, что жена у него холодная, но умом полагал это правильным. Свою нервозность, дурные сны, резкие боли, случавшиеся в области желудка, он приписывал неумеренному потреблению кофе и сидячему образу жизни.

Ему нравились красивые волосы жены, всегда завитые и чистые, нравилась ее опрятность в одежде, льстили комплименты по поводу ее хозяйственности и цветов. Такой женой можно было гордиться. Она вырастила прекрасную дочь, прекрасную, здоровую девушку.

Милдред была прекрасная девушка — высокая девушка, на пять сантиметров выше отца и на тринадцать выше матери. Она унаследовала от матери фиалковый цвет глаз и вместе с ним — близорукость. Без очков она видела плохо. У нее была хорошая фигура, крепкие ноги с сильными тонкими лодыжками. Ляжки и ягодицы у нее были ровные, гладкие и плотные от тренировок. Она была хорошей теннисисткой и играла центральной в баскетбольной команде колледжа. Грудь у нее были большие, тугие и широкие в основании. Физиологический недостаток матери ей не передался, и она уже пережила два полноценных романа, которые принесли ей глубокое удовлетворение и породили тягу к более постоянной связи.

Подбородок у Милдред был твердый и упрямый, как у отца, а рот мягкий, с полными губами, немного испуганный. Она носила очки в толстой черной оправе, придававшей ей ученый вид. Для новых знакомых всегда бывало неожиданностью увидеть Милдред на танцах без очков. Танцевала она хорошо, разве только чересчур правильно: усердная спортсменка, она, наверно, и в танцы вкладывала слишком много усердия в ущерб свободе. В танце у нее была некоторая склонность вести, но партнер с твердыми убеждениями мог преодолеть ее.

У Милдред тоже были твердые убеждения, но менявшиеся. Она участвовала в кампаниях, обычно благород-

ных. Она совсем не понимала отца, потому что он ее всегда озадачивал. Говоря ему что-то здоровое, логичное, разумное, она наталкивалась на непроходимую тупость, полное отсутствие мысли, которое ее ужасало. И тут же он мог высказаться или поступить так умно, что она кидалась в другую крайность. Свысока она определяла его как карикатурного коммерсанта, загребущего, серого, черствого, а он вдруг разрушал ее уютную схему поступком или мыслью, отмеченными добротой и чуткостью.

О его эмоциональной жизни она и вовсе ничего не знала, так же как он — о ее. То есть в ее представлении у человека средних лет вообще не могло быть эмоциональной жизни. Милдред, которой шел двадцать второй год, считала, что у пятидесятилетнего никаких паров и соков не остается, — и считала не без оснований, поскольку и мужчины и женщины этого возраста были непривлекательны. Влюбленный или влюбленная пятидесяти лет показались бы ей зрелищем непристойным.

Если между Милдред и отцом лежала пропасть, то от матери ее отделяла бездна. Женщина, лишенная сильных желаний, не могла приблизиться к девушке, у которой они были. Попробовав сначала поделиться с матерью своими восторгами, найти поддержку своим чувствам, Милдред наткнулась на глухоту, полное непонимание — и отпрянула, опять ушла в себя. Она долго ни с кем не откровенничала, не пыталась никому открыться, думая, что она одна такая на свете, а остальные женщины похожи на ее мать. Но наконец полное доверие Милдред завоевала крупная мускулистая женщина, тренировавшая университетских хоккеисток, бейсболисток и лучниц, — завоевала, а потом захотела с ней жить. Это потрясение изгладилось только тогда, когда с ней стал жить студент инженерного факультета — молодой человек с мягким голосом и жесткими волосами.

Теперь Милдред держала свои чувства при себе, думала свои мысли про себя и ждала, когда смерть, замужество или случай освободят ее от родителей. Но она любила родителей и ужаснулась бы, если бы умом поняла, что желает им смерти.

Между ними троими никогда не было тесной близости, хотя все приличия соблюдались. Они были и нежны, и заботливы, и ласковы друг с другом, но Хуан Чикой с Алисой регулярно возобновляли отношения, о каких мистер

Причард и его жена не могли и помыслить. И они даже не догадывались о существовании людей, которые утоляли потребность их дочери в дружбе. И не могли догадываться. Не должны были. Молодых женщин, танцевавших нагишом на банкетах в клубе, отец Милдред считал порочными, и хотя он глазел на них, платил им и хлопал, ему в голову не приходило, что он как-то связан с пороком.

Раза два по настоянию жены он предостерегал Милдред насчет мужчин, учил, как убереечь себя. Он давал понять — и сам верил, — что очень неплохо знает жизнь, а все его знание, помимо чужих рассказов, сводилось к одному визиту в публичный дом, банкетам и сухому безучастному снисхождению жены.

В это утро на Милдред был свитер, плиссированная юбка и туфли наподобие мокасин. Семья сидела за столиком в закусочной. Длинный жакет миссис Причард из черно-бурой лисы висел на крючке подле мистера Причарда. Мистер Причард привык пасти этот жакет, подавать его жене, принимать у жены, следить, чтобы он был аккуратно повешен, а не валялся как попало. Если где-то мех был примят, он пушил его ладонью. Он любил этот жакет, любил за то, что он дорогой, любил смотреть на жену в жакете и слушать, как его обсуждают другие женщины. Черно-бурая лиса встречалась сравнительно редко, а кроме того, была ценным имуществом. Мистер Причард считал, что с ней надо хорошо обращаться. Он первым напоминал, что пора отвезти жакет на лето в холодильник. Он же и высказал мысль, что, пожалуй, не стоит брать его в Мексику: во-первых, Мексика — тропическая страна, а во-вторых, там бандиты, они могут украсть жакет. Миссис же Причард полагала, что взять стоит: во-первых, они заедут в Лос-Анджелес и Голливуд, а там все носят мех, а во-вторых, ей говорили, что ночи в Мехико холодные. Мистер Причард охотно уступил: для него, так же как для жены, этот мех был зна́ком их положения. Он рекомендовал их как людей преуспевающих, консервативных и солидных. Тебя совсем иначе принимают, если у тебя меховое пальто и дорогие чемоданы.

Сейчас жакет висел около мистера Причарда, и он сновисто пробегал пальцами по меху, высвобождая длинную ость из подшерстка. Сидя за столиком, они слышали за дверью спальни хриплые крики Алисы, бросавшейся на

Норму; их зверская грубость глубоко потрясла всех Причардов — и сблизила, насколько это было возможно. Милдред закурила сигарету, избегая материнского взгляда. Курить она начала всего полгода назад, когда ей исполнился двадцать один. После первого взрыва эту тему больше не обсуждали, но каждый раз, когда Милдред закуривала при ней, мать всем своим видом выражала неодобрение.

Дождь перестал, только капало с дубов на крышу. Побитая водой земля промокла, размякла. Пшеница, тучная и тяжелая от обильной дождями весны, легла под последним ливнем, и поля покрылись как бы застывшими волнами. Вода точилась, бежала, лилась, неслась в низины на полях. Канавы вдоль шоссе наполнились, и кое-где вода вышла даже на полотно. Повсюду журчала вода, бормотала вода. Все лепестки с золотых маков облетели, а сочный люпин тоже не вынес собственной тяжести и поник, как пшеница.

Разгуливалось. Тучи разлохматились, и уже плескалась в разрывах чистая синева, а по ней стремглав скользили шелковые клочья облаков. В вышине гулял крепкий ветер и растаскивал, перемешивал, скатывал тучи, но на земле воздух был совсем неподвижен, и пахло червями, мокрой травой, обнаженными корневищами.

С участка вокруг гаража и закусочной на Мятежном углу вода сливалась по канавкам в глубокий кювет у шоссе. Автобус в серебристой краске сверкал чистотой, вода еще капала с его бортов и каплями лежала на ветровом стекле. В закусочной было жарковато.

Прыщ стоял за стойкой и помогал готовить, хотя до нынешнего дня ему это никогда не приходило в голову. Всегда, на прежних местах, он ненавидел работу, а потому, естественно, ненавидел и хозяина. Но переживания сегодняшнего утра были еще свежи. В ушах еще звучал голос Хуана: «Кит, вытри руки и погляди, как там у Алисы кофе». Ничего приятнее он в жизни не слышал. Ему хотелось что-то сделать для Хуана. Он выжал Причардам апельсины, подал кофе, а теперь пытался одновременно следить за гренками и сбивать яйца.

Мистер Причард сказал:

— Давайте все закажем болтушку. Так им будет проще. Мне можно подать на сковородке, и сделайте посуше.

— Хорошо, — сказал Прыщ. Сковорода у него перекалилась, и яичница скворчала и трещала, распространяя

запах мокрых куриных перьев, который сопутствует чрезмерно быстрой жарке.

Милдред закинула ногу на ногу, и подол юбки затянулся под колено, так что с противоположной от Прыща стороны оно, наверно, оголилось. Он хотел зайти с той стороны и посмотреть. Его узкие глаза без конца шныряли туда — ухватить что можно. Только чтобы не заметила, как он смотрит ей на ноги. Он все рассчитал в уме. Если она не опустит ногу, он пойдет подавать яичницу, а через руку повесит салфетку. Потом, когда он поставит тарелки, он зайдет за их стол шага на четыре и как бы случайно салфетку уронит. Он наклонится, посмотрит из-под локтя и тогда сможет увидеть ногу Милдред.

Он приготовил салфетку и мешал, торопил яичницу, пока Милдред не переменяла позу. Ворошил яичницу. Яичница уже пригорела, а Прыщ загребал только по верху, чтобы не содрать со дна корку. Чад от горевших яиц наполнил закусочную. Милдред подняла взгляд и заметила огонек в глазах Прыща. Она посмотрела вниз, увидела, как задралась юбка, и одернула ее. Прыщ следил за ней исподтишка. Он понял, что попался, и щеки у него вспыхнули.

Темный дым поднялся над яичницей, а над гренками поднялся синий дым. Хуан тихо вышел из спальни и принюхался.

— Господи боже, — сказал он, — что ты делаешь, Кит?

— Хотел помочь, — смущенно ответил Прыщ.

Хуан улыбнулся.

— Спасибо, конечно, но лучше бы ты не жарил. — Он подошел к газовой плите, снял сковороду с горелой яичницей, сунул в раковину и пустил воду. Яичница зашипела и забулькала, потом обиженно стихла. Хуан сказал:

— Кит, поди попробуй завести машину. Если не схватывает, подсос не трогай. Только зальешь. Если сразу не заведется, сними крышку распределителя и протри контакты. Могли отсыреть. Когда заведешь, несколько минут покрути на первой, а потом уже переключай, и пусть работает. Только смотри, чтобы он не стрялся с козел. На холостых — да?

Прыщ вытер руки.

— Масло сперва проверить, не уходит ли?

— Ага. Тебя учить не надо. Ага, взгляни. Утром на цапфе что-то было густо.

— Может быть, от тряски,— сказал Прыщ. Он забыл, как глядел на ногу Милдред. Он расцвел от похвалы Хуана.

— Кит, я не думаю, что он убежит, но все-таки ты за ним присматривай.

Прыщ подобострастно рассмеялся шутке хозяина и вышел на двор. Хуан поглядел в зал.

— Жена неважно себя чувствует,— сказал он.— Что прикажете? Еще кофе?

— Да,— сказал мистер Причард.— Молодой человек пытался изжарить яичницу, но сжег. Моя жена любит жидковатую...

— Если яйца свежие,— вставила его жена.

— Если яйца свежие,— повторил мистер Причард.— А я люблю посуше.

— Яйца свежие, да,— сказал Хуан.— Свежие, прямо со льда.

— Не уверена, что смогу съесть яйцо из холодильника,— сказала миссис Причард.

— Из холодильника, врать не буду.

— Я, пожалуй, обойдусь пончиком,— сказала миссис Причард.

— Я то же самое,— сказал мистер Причард.

Хуан открыто и с восхищением посмотрел на ноги Милдред. Она посмотрела на него. Он нехотя оторвал взгляд от ее ног, и в его черных глазах было столько удовольствия, столько откровенного восхищения, что она порозовела. В животе у нее стало тепло. Она ощутила электрический удар.

— А!..— Она отвернулась.— Пожалуй, еще кофе. Ну, раз так, и пончик тоже.

— Пончиков осталось только два,— сказал Хуан.— Я подам два пончика и плюшку, а вы уже деритесь, кому что.

На дворе раздался рев автобуса и почти сразу перешел в тихое ворчание.

— Звук хороший,— сказал Хуан.

Из спальни тихо, чуть ли не крадучись, вышел Эрнест Хортон и осторожно прикрыл за собой дверь. Он подошел к мистеру Причарду и положил на стол шесть плоских коробочек.

— Пожалуйста,— сказал он,— шесть.

Мистер Причард вынул бумажник.

— Найдется сдача с двадцати? — спросил он.

— Нет.

— Можете разменять двадцать? — спросил он Хуана. Хуан нажал кнопку на кассе и поднял плоскую гирьку из отделения с бумажными деньгами.

— Могу десятками.

— Годится, — сказал Эрнест Хортон, — Доллар у меня, кажется, есть. С вас — девять. — Он забрал десятку, а мистеру Причарду отдал доллар.

— Что тут? — спросила миссис Причард. Она взяла коробку, но мистер Причард выхватил ее. — Не надо, — сказал он таинственно.

— Нет, что тут?

— Это мое дело, — игриво ответил мистер Причард. — Скоро узнаешь.

— Ах, сюрприз?

— Совершенно верно. А девочки пусть не суют носик не в свое дело. — Мистер Причард, когда был настроен игриво, всегда называл жену «девочкой», и она машинально начинала ему подыгрывать.

— А когда девочки увидят хорошенький подарок?

— Потерпи, — сказал он, засовывая плоские коробки в боковой карман. Он хотел охрометь, когда представится удобный случай. И даже придумал один вариант. Нога у него так заболит, что он сам не сможет снять туфлю и носок. И попросит жену снять ему туфлю и носок. То-то у нее будет лицо, то-то будет смеху! Она обомрет, когда увидит больную ногу.

— Что там, Элиот? — спросила она немного сварливо.

— Узнаешь, имейте терпение, девочки. Слушайте, — обратился он к Эрнесту, — я тут придумал поворотик. Потом расскажу.

Эрнест сказал:

— Ага, вот так вот мир и движется. Вы придумали поворотик — и обеспечены. Ломать вы ничего не хотите. Только поворотик — лицовка, как говорят в Голливуде. Это про сценарий. Берете картину, которая имела кассу, и делаете лицовку — так, не чересчур... не чересчур, а в меру, и получаешь вещь.

— Справедливо замечено, — сказал мистер Причард. — Справедливо замечено, друг мой.

— Интересно с этими поворотиками,— сказал Эрнест. Он сел на табурет и закинул ногу на ногу.— Интересно, как можно обмануться в новой идее. Я, скажем, изобрел одну штуку и решил, что теперь могу посиживать да деньги считать — не тут-то было! Понимаете, много людей вроде меня разъезжают, и весь их гардероб в чемодане. А тут, например, съезд или какое-то из ряда вон свидание. И нужен смокинг. А для смокинга нужно много места, а наденете вы его раз-другой за всю поездку. Вот у меня и возникла идея. Положим, рассудил я, у вас есть хороший темный костюм — темно-синий, или почти черный, или маренго,— и положим, к нему есть шелковые чехлы на лацканы, и ленты, которые пристегиваются к брюкам. Вечером вы наденете хороший костюм, натягиваете шелковые чехлы на лацканы, пристегиваете ленты к брючинам — и вы уже в смокинге. Я даже придумал для них упаковку.

— Послушайте! — вскричал мистер Причард.— Чудесная идея! Ведь сколько места у меня в чемодане занимает смокинг — а зачем? Я лучше повезу такую штуку. Если вы возьмете патент и развернете рекламную кампанию, широкую, по всей стране... ну да — можно привлечь знаменитого киноартиста...

Эрнест поднял руку.

— Вот и я так думал,— сказал он.— И ошибался — и вы ошибаетесь. Я все уже вычертил — и как они будут надеваться, и как на брючинах будут шелковые петельки для крючков, которые на ленте... а у меня был приятель, коммивояжер в фирме готового платья...— Эрнест хохотнул,— так он мне открыл глаза. На тебя,— говорит,— все портные и все фабриканты накинутся сворой. Они продают смокинги по пятьдесят — сто пятьдесят долларов, а ты своей десятидолларовой штучкой подрубаешь их под корень. Да они тебя живьем съедят.

Мистер Причард важно кивнул.

— Да, суть ясна. Они должны защищать и себя, и своих акционеров.

— Он нарисовал не очень обнадеживающую картинку,— сказал Эрнест.— Я думал, я буду посиживать и считать доходы. Я думал: у того, кто летает, например, вес багажа ограничен. Имеет он право сэкономить на весе? А тут у него два костюма, но весят — как один. А потом мне пришла мысль — может быть, за это ухватятся ювелирные

фирмы. Набор: запонки для манжет, для воротничка, мои лацканы и ленты — все в красивой коробке. Но это пока так, предварительно. Ни с кем не советовался. Может быть, что-то выйдет.

— Нам с вами надо встретиться и поговорить подробнее,— сказал мистер Причард.— Вы получили патент?

— Да нет. Мне не хотелось тратиться, пока этим никто не заинтересовался.

— Да,— сказал мистер Причард.— Пожалуй, вы правы. И адвокаты и процедура, все это стоит изрядных денег. Наверно, вы правы.— Он переменял тему.— Когда мы сможем выехать? — спросил он Хуана.

— «Борзой» приходит около десяти. Они привозят обычный груз и пассажиров. Мы отправляемся в десять тридцать. По расписанию. Подать вам что-нибудь еще? Еще кофе?

— Еще кофе,— сказал мистер Причард.

Хуан подал ему и посмотрел через окно, как крутятся в воздухе колеса автобуса. Мистер Причард посмотрел на свои часы.

— У нас еще час,— сказал он.

Из-за угла дома появился высокий сутулый старик. Он ночевал в постели Прыща. Старик открыл дверь, вошел и сел на табурет. Его тонкая подагрическая шея была постоянно согнута, так что нос указывал прямо в землю. Ему было далеко за шестьдесят, и брови у него нависали над глазами, как у скайтерьера. Длинная верхняя губа с глубокими морщинами выдавалась вперед, как короткий хоботок тапира. Уголок посередине казался хватательным органом. Глаза у него были золотисто-желтые, так что вид он имел свирепый.

— Мне это не нравится,— начал он без предисловий.— Вчера не понравилось, когда вы сломались, а сегодня еще больше не нравится.

— Я починил задний мост,— сказал Хуан.— Вон крутится.

— Я, кажется, верну билет и поеду обратно в Сан-Исидро на «борзом».

— Это ваше право.

— У меня предчувствие,— сказал старик.— Мне все это не нравится. Что-то меня предостерегает. Раза два со мной так бывало. Один раз решил не обращать внимания — и попал в беду.

— Автобус в исправности,— сказал Хуан, слегка повысив от досады голос.

— Я не про автобус говорю,— сказал старик.— Я здесь живу, я местный. Земля насквозь промокла. Река Сан-Исидро сейчас поднялась. Вы знаете, как она разливается. Сразу за Пико Бланко она уходит в каньон Лоун Пайн, и там большая излучина. Земля не принимает воду, и все до капли стекает в Сан-Исидро. Сейчас она бушует.

Миссис Причард заметно встревожилась.

— Вы думаете, это опасно? — спросила она.

— Что ты, милая,— сказал мистер Причард.

— У меня предчувствие,— сказал старик.— Старая дорога шла вдоль излучины и реку не пересекала. Так вот, тридцать лет назад мистер Траск вылез в начальники дорожного управления. Старая дорога его, видите ли, не устраивала. Он соорудил два моста — и что он выгадал? Тридцать два километра он выгадал. Округу это обошлось в двадцать семь тысяч. Мистер Траск был жулик.

Он повернул согнутую шею и оглядел Причардов.

— Жулик. Его бы на другую работку наладили, да умер три года назад. Богатым умер. Два его сына сейчас в Калифорнийском университете, живут на денежки налогоплательщиков.— Он умолк, и его верхняя губа задвигалась из стороны в сторону над длинными желтыми зубами.— Настоящего напора эти мосты не выдержат. Там бетон слабый. Я верну билет и поеду обратно в Сан-Исидро.

— Позавчера река была в норме,— сказал Хуан.— Почти никакого паводка.

— Не знаете вы эту реку. Она может подняться за два часа. Я видел, как она разливалась на три четверти километра и по ней плыли курятники и дохлые коровы. Нет, раз уж у меня предчувствие, я не поеду. Хотя я не суеверный.

— Вы думаете, мост может провалиться под автобусом?

— Что я думаю — мое дело. А что Траск был жулик — знаю. Оставил после себя состояние — тридцать шесть тысяч пятьсот долларов. И сынки-студенты сейчас их тратят.

Хуан вышел из-за стойки к настенному телефону.

— Алло,— сказал он.— Дайте мне станцию обслуживания Брида на Сан-Хуанской дороге. Номера не знаю.— Он подождал немного, потом сказал: — Алло. Это Чикой с Угла. Как река? У-у, да? Ну, а мост цел? Ага. Хорошо,



«ЗАБЛУДИВШИЙСЯ АВТОБУС»



«ЗАБЛУДИВШИЙСЯ АВТОБУС»

ладно, до скорого.— Хуан повесил трубку.— Вода порядком поднялась,— объявил он.— Мост, говорят, цел.

— Когда над каньоном ливень, река может подняться на метр за три часа. Когда вы туда доберетесь, моста уже может не быть.

Хуан с легким раздражением обернулся к нему.

— Чего вы от меня хотите? Чтобы я не ехал?

— Это дело ваше. А я хочу отдать билет и вернуться в Сан-Исидро. Дурака валять и в ваших глупостях участвовать не буду. Один раз у меня было такое предчувствие, я не прислушался — и сломал обе ноги. Нет, дорогой мой, когда вы вчера сломались, у меня тоже появилось предчувствие.

— Считайте, что вернули билет,— сказал Хуан.

— О том и речь, любезный. Вы тут недавно. Вы не знаете того, что я знаю про Траска. Жалованье полторы тысячи в год, а наследства оставляет — тридцать шесть с половиной и земли шестьдесят пять гектаров. Видали?

Хуан сказал:

— Хорошо, будет вам место на «борзом».

— Я ведь вам не про Траска историю рассказываю. А говорю, как дело было. Сами соображайте, что к чему. Тридцать шесть тысяч пятьсот долларов.

Эрнест Хортон спросил:

— А если его снесет?

— Тогда мы по нему не переедем,— сказал Хуан.

— И что будем делать? Повернем назад?

— Конечно,— сказал Хуан.— Или назад, или перепрыгнем.

Сутулый старик торжествующе улыбнулся слушателям.

— Видите? — сказал он.— Вы сюда вернетесь, а автобуса на Сан-Исидро уже не будет. Сколько вы здесь просидите? Месяц? Подождете, пока новый мост построят? А вы знаете, кто теперь начальник дорожного управления? Студент. Прямо со студенческой скамьи. Книжки, книжки, а опыта никакого. Ну да, начертить мост он может, а построить? Это мы увидим.

Хуан вдруг рассмеялся.

— Замечательно,— сказал он.— Старый мост еще не снесло, а вам уже новый не нравится, который не построили.

Старик нагнул больную шею набок:

— Дерзим? — спросил он.

В черных глазах Хуана зажегся тусклый красный огонек.

— Да,— сказал он.— Я посажу вас на «борзой», не беспокойтесь. Не хотел бы я вас везти.

— А выкинуть меня не можете, вы — общественный транспорт.

— Ладно,— устало сказал Хуан.— Сам иногда удивляюсь, зачем я держу автобус. Может быть, скоро с ним развяжусь. Одна морока. Предчувствия у вас! Чушь!

Бернис внимательно прислушивалась к этому разговору.

— Я в них тоже не верю,— сказала она,— но говорят, в Мексике в это время года сухо. Как осенью. А дожди там летом.

— Мама,— сказала Милдред,— мистер Чикой знает Мексику. Он там родился.

— О, в самом деле? Сейчас там сухо, правда?

— Кое-где,— сказал Хуан.— Там, куда вы собираетесь,— наверное. Есть места, где сухо не бывает.

Мистер Причард откашлялся.

— Мы едем в Мехико и Пуэблу, а потом в Куэрнаваку и Тахко, может быть, съездим в Акапулько и на вулкан, если все будет хорошо.

— Все будет хорошо,— сказал Хуан.

— Вы знаете эти места? — осведомился мистер Причард.

— Конечно.

— Как там гостиницы? — спросил мистер Причард.— Знаете эти туристские агентства: все у них прекрасно. А как на самом деле?

— Прекрасные,— сказал Хуан, уже улыбаясь.— Роскошные. Каждое утро — завтрак в постель.

— Извините, если я причинил вам утром неудобства,— сказал мистер Причард.

— Да чего там.— Хуан оперся руками на стойку и заговорил доверительно.— Иногда просто надоедает. Катаешь на этом проклятом автобусе взад и вперед, взад и вперед. Иногда кажется, плюнул бы и уехал в холмы. Я читал про капитана парома в Нью-Йорке — как-то раз он взял курс в открытое море, и с тех пор о нем не слышали. Может быть, утонул, а может, причалил к какому-нибудь острову. Я его понимаю.

На шоссе перед закусочной притормозил громадный красный грузовик с прицепом. Водитель выглянул. Хуан

помахал ладонью из стороны в сторону. Грузовик перешел на вторую скорость, прибавил газу и скрылся.

— Я думал, он заедет,— сказал мистер Причард.

— Он любит пирог с малиной,— сказал Хуан.— Когда у нас есть, он всегда останавливается. Я ему показал, что нет.

Милдред смотрела на Хуана не отрываясь. Чем-то трогал ее этот смуглый человек со странными теплыми глазами. Ее тянуло к нему. Ей хотелось привлечь его внимание — особое внимание. Она расправила плечи, так что грудь приподнялась.

— Почему вы уехали из Мексики? — спросила она и сняла очки, чтобы он увидел ее без очков, когда будет отвечать. Она облокотилась на стол, поднесла указательный палец к наружному углу глаза и оттянула его к виску. Так глаз видел лучше. Она могла яснее разглядеть лицо. Кроме того, это придавало глазу томную миндалевидность, а глаза у нее были красивые.

— Не знаю, почему я уехал,— сказал ей Хуан. Его теплый взгляд будто окутывал ее и гладил. Внутри у нее все сладко опустилось. «Да что я, с ума сошла? — подумала она.— Надо прекратить». Живая и чувственная картина мелькнула у нее в голове.

Хуан сказал:

— Людям там, если они небогатые, приходится слишком тяжело работать за маленькие деньги. Это, наверно, главное, почему я уехал.

— Вы очень хорошо говорите по-английски,— сказала Бернис Причард так, как будто это было комплиментом.

— А что тут такого? Мать была ирландкой. Учился сразу обоим языкам.

— Так вы мексиканский гражданин? — спросил мистер Причард.

— Наверно,— сказал Хуан.— Я этим как-то не интересовался.

— Вам не мешало бы подать прошение о гражданстве,— сказал мистер Причард.

— Зачем?

— Не помешало бы.

— Правительству это все равно,— ответил Хуан.— На логи плачу, призвать меня могут.

— Тем не менее вам бы это не помешало,— сказал мистер Причард.

Взгляд Хуана играл с Милдред, трогал ее грудь, скользил по бедрам. Он увидел, как она вздохнула и слегка выгнула спину, и где-то на дне его души шевельнулась ненависть. Не сильная, потому что ее в нем было мало, но индейская кровь — была, и в сумраке прошлого гнездилась ненависть к *ojos claros*, светлым глазам, блондинам. Ненависть, страх перед белой кожей. Светлоглазые веками забирали лучшие земли, лучших лошадей, лучших женщин. Хуан ощутил в себе волнение, как слабую еще зарницу; его приятно согревала мысль, что если бы он захотел, он мог бы взять и скрутить эту девушку, надругаться над ней. Он мог бы нарушить ее покой, соблазнить и духовно и физически, а потом прогнать. В нем зашевелилась жестокость, и он не мешал ей расти. Голос его стал мягче и глубже. Он говорил прямо в ее фиалковые глаза.

— Моя страна,— сказал он,— хоть я и не живу там, она в моем сердце.— Про себя засмеялся над этим, но Милдред не смеялась. Она подалась вперед и оттянула уголки обоих глаз, чтобы лучше видеть его лицо.

— Я помню всякое,— сказал Хуан.— У нас в городе на площади были писцы, которые сочиняли бумаги для неграмотных. Они были хорошие люди. Другими не могли быть. Деревенские их быстро бы раскусили. Они понятливые, эти крестьяне с гор. Помню, однажды утром, когда я был мальчишкой, я сидел на скамье. В городе была фиеста в честь святого. Церковь завалена цветами, стояли лотки со сладостями, чертово колесо и маленькая карусель. И всю ночь в честь святого пускали ракеты. В парке к писцу подошел индеец и сказал: «Я прошу тебя написать письмо моему патрону. Я скажу тебе, что писать, а ты напиши красивыми и хорошими словами, чтобы он не принял меня за невежу».— «Письмо длинное?» — спрашивает писец. «Не знаю», — говорит индеец. «Это будет стоить одно песо», — говорит писец. И маленький индеец заплатил ему и сказал: «Ты напиши моему патрону, что я не могу вернуться в свой город и на свое поле, потому что я увидел великую красоту и должен остаться. Напиши ему, что мне очень жаль, я не хочу огорчать его и огорчать моих друзей, но я не могу вернуться. Я стал другим, и друзья меня не узнают. На поле я буду тосковать и не буду знать покоя. А друзья от

меня откажутся и возненавидят меня, потому что я стал другим. Я видел звезды. Напиши ему это. И напиши, чтобы отдал мой стул моему названому брату, а мою свинью с двумя поросятами — старухе, которая сидела со мной, когда у меня была лихорадка. Горшки мои — зятю, и скажи патрону, пусть с ним будет Бог и красота. Скажи ему это».

Хуан замолчал и увидел, что рот у Милдред приоткрыт, — увидел, что она воспринимает его рассказ как притчу о ней.

— Что с ним произошло? — спросила она.

— А-а. Он увидел карусель, — сказал Хуан. — Он не мог с ней расстаться. Он спал возле нее, скоро у него кончились деньги, и он голодал, а потом хозяин пустил его к рычагу, управлять каруселью, и стал кормить. Он не мог с ней расстаться. Он влюбился в карусель. Может быть, он до сих пор там. — Рассказывая, Хуан постепенно превращался в иностранца. В речи его зазвучал легкий акцент.

Милдред глубоко вздохнула. Мистер Причард сказал;

— Позвольте, я правильно понял? Он отказался от своей земли, от всего имущества и не вернулся домой, потому что увидел карусель?

— Земля-то у него была не своя. Своей земли у индейцев не бывает. Но от всего остального, что у него было, — отказался.

Милдред сердито посмотрела на отца. Это был как раз тот случай, когда он выглядел глупым до отвращения. Неужели он не понимает, как красива эта история? Ее взгляд вернулся к Хуану — молча сказать, что она понимает, и в выражении его лица ей почудилось что-то такое, чего раньше не было. Ей показалось, что она увидела в его лице злое, жестокое торжество, — но может быть, это все — близорукость, подумала она. Проклятая близорукость, ничего не дает разглядеть. Однако то, что она увидела, ее поразило. Она тут же взглянула на мать, а потом на отца — вдруг и они заметили, — но они взирали на Хуана бессмысленно. Отец говорил очень медленно, отчего Милдред просто выходила из себя:

— Я могу понять, что это показалось ему красивым, если он раньше не видел карусели, — но ведь ко всему привыкаешь. Человек и к дворцу привыкнет за несколько дней — и сразу захочет еще чего-нибудь.

— Это же просто рассказ,— перебила Милдред с такой свирепостью, что отец оглянулся на нее удивленно.

Милдред почти ощущала пальцы Хуана на своих бедрах. Во всем теле легонько покалывало от возбуждения, не находившего выхода. Зуд был чисто физиологическим, и Милдред разъярилась на отца так, как будто он помешал им в самом разгаре. Она надела очки, быстро взглянула на Хуана и тут же отвела взгляд, потому что глаза у него были затуманенные, хотя смотрел он на них троих. Он как будто торжествовал. Он смеялся над ней и над тем, что происходило незаметно для отца и матери. И вдруг ее желание стало комом в животе, и в животе заболело, и ей сделалось тошно. Она испугалась, что ее вырвет.

Эрнест Хортон сказал:

— Я давно хочу прокатиться в Мексику. Думал как-нибудь поговорить об этом с начальством. Там, наверно, можно завязать довольно полезные связи. Взять хотя бы их фиесты. Так же продаются такие штучки, правильно?

— Конечно,— сказал Хуан.— Продают маленькие четки и религиозные картинки, свечи, всякое такое... сладости, мороженое.

— Ну, если кто-нибудь туда съездит и поразведает — ведь мы бы могли выпускать этот товар гораздо дешевле, чем они. Мы бы могли штамповать эти четки — и красиво — из белого чугуна. А ракеты? Наша фирма поставляет их для самых больших праздников; все виды фейерверков. Это мысль. Я, пожалуй, напишу письмо.

Хуан посмотрел на растущую стопку грязных тарелок в раковине. Он оглянулся на дверь спальни, потом открыл дверь и заглянул туда. Кровать была пуста. Алиса уже встала, но дверь в ванную была закрыта. Хуан вернулся и стал мыть грязную посуду в раковине.

Небо быстро очищалось, и чистое желтое солнце светило на отмытую землю. Молодые листья дубов были почти желтыми в утреннем свете. Зеленые поля казались неправдоподобно молодыми.

Хуан усмехнулся. Он отрезал два куска хлеба.

— Я, пожалуй, немного пройду,— сказал мистер Причард.— Хочешь со мной, милая? — спросил он жену. Она бросила взгляд на дверь спальни.

— Одну минуту,— сказала она, и он ее понял.

— Я подожду за дверью,— сказал он.

ГЛАВА 6

Когда Хуан ушел, Алиса долго лежала на спине, закрыв лицо руками крест-накрест. Постепенно, как ребенок, она перестала всхлипывать. Сгиб руки был теплым и мокрым от слез. Ею овладел покой, и напряжение спало, как тугая сеть, опутывавшая тело. Она лежала спокойно и расслабленно, а мысль скачком вернулась к тому, что произошло. Алиса не помнила женщину, которая кричала на Норму. Утренняя сцена уже подернулась дымкой, Алиса не могла объяснить себе свой поступок. Теперь задумавшись об этом, она поняла, что на самом деле не подозревала Норму в дурном поведении, а если бы и заподозрила, все равно не приняла бы близко к сердцу. Любви к Норме она не питала. Норма была ей совершенно безразлична. Несчастливая линиялая кошечка.

Когда Норма поступила на работу, Алиса, конечно, направила на них с Хуаном свои антенны, но, не обнаружив со стороны Хуана никакой реакции — никакого оживления, никаких искательных и провожающих взглядов, — потеряла к Норме всякий интерес и воспринимала ее только как организм для подавания кофе и мытья посуды. Алиса почти не замечала вещи и людей, если они не попадали так или иначе в приход или расход ее сиюминутной жизни. А сейчас, когда она лежала расслабленно, согревшись и успокоившись, ум ее заработал, и с мыслями вкрался страх.

Она перебрала в памяти всю сцену. Страх вызывала мягкость Хуана. Он должен был ее ударить. И то, что не ударил, ее встревожило. Или она ему стала совсем безразлична? Такая доброта мимоходом у мужчины, установила Алиса, — преддверие отставки. Она пыталась вспомнить, как выглядят старшая и младшая Причард, вспомнила, не смотрел ли с теплом на кого-нибудь из них Хуан. Она знала Хуана. Когда в нем просыпался интерес, глаза у него разогревались, как печка. Потом с легким содроганием она вспомнила, что свою кровать он уступил Причардам. От нее до сих пор пахло лавандой. Этот запах стал Алисе противен и ненавистен.

Она прислушивалась к глухим голосам за дверью. Хуан их кормит. Он не стал бы этим заниматься, если бы у него не было интереса. Он сказал бы: да ну к черту — и пошел бы возиться с автобусом. Страх и беспокойство овладевали

Алисой. Она плохо обошлась с Нормой. Но это пустяки. С такой, как Норма, только обойдись чуть поласковей — она вся размякнет и потечет. Она так мало видела любви, что ей только запашок учуять — сразу распустит слюни до земли. Алиса презирала подобную жажду любви. Она не умела сравнить потребность Нормы со своею. Для Алисы сама она была большой, а все остальные — очень маленькие, то есть все, кроме Хуана. А он опять-таки был ее продолжением. Она решила, что первым делом, пожалуй, надо привести в порядок Норму. Норма нужна была ей в закуской, потому что сразу же после отъезда Хуана Алиса собиралась напиться. Когда он вернется, она скажет, что с ума сходила от зубной боли.

Напивалась она не очень часто, но сейчас ждала этого с нетерпением. И раз уж она решила, надо прятать концы сразу. Пьяных женщин Хуан не любил. Она убрала руки с лица. От тяжести их в глазах поплыла муть, но через секунду зрение прояснилось. Она увидела, как стелется солнечный свет по зеленой равнине за окном и льется за холмы далеко на запад. Погожий день.

Алиса с усилием поднялась и пошла в ванную. Она намочила край полотенца в холодной воде и похлопала им по лицу, разглаживая замявшиеся от тяжести рук пухлые щеки. Потом обтерла щеки, нос и лоб. Бретелька лифчика оторвалась. Она расстегнула платье и, обнаружив, что английская булавка, на которой держался лифчик, еще там, снова приколола бретельку. Получилось коротковато — но когда Хуан уедет, она пришьет. Ничего она, конечно, не пришьет. Когда бретелька совсем истреплется, она купит новый лифчик.

Алиса причесалась и намазала губы. Глаза еще были красные. Она пустила из пипетки капли в углы глаз и пальцами разогнала их под веками. Еще раз осмотрела себя в зеркале аптечки и вышла. В комнате стащила с себя мятое платье и надела чистое ситцевое.

Она быстро подошла к двери в комнату Нормы и тихо постучалась. Никто не отозвался. Она опять постучалась. В комнате слышалось шуршание бумаги. Потом — шаги, и Норма открыла дверь. Глаза у нее были мутные, как будто она только что проснулась. Она держала огрызок карандаша, которым до этого подводила брови.

Когда она увидела Алису, на лице ее появилась тревога.

— Я ничего такого не делала с этим человеком,— быстро сказала она.

Алиса шагнула в комнату. Она умела обращаться со своими девушками, пока не выходила из себя.

— Я знаю, золотко,— сказала Алиса. Она опустила глаза, как будто ей было стыдно. Она умела обращаться со своими девушками.

— Зачем вы так говорили? Кто-нибудь услышит и в самом деле подумает. Я не такая. Я просто хочу зарабатывать и жить тихо.— Ей стало жалко себя, на глаза навернулись слезы.

Алиса сказала:

— Я зря на тебя набросилась — просто паршиво себя чувствовала. Дни мои подошли. Знаешь ведь как бывает погано. Иногда просто не в себе.

Норма оглядела ее с любопытством. Она впервые видела Алису такой кроткой. Впервые — потому что до сих пор Алисе не было нужды в ее расположении. Алиса не любила женщин и девушек. Ее отношение к другим женщинам всегда было окрашено жестокостью, и, увидев, как наполнились слезами глаза Нормы, она возликовала.

— По себе знаешь,— сказала Алиса.— Прямо сама не своя.

— Я знаю,— сказала Норма. Токи робкого тепла исходили от нее. Она изголодалась по любви, дружбе, близости хоть с каким-нибудь живым существом.— Я знаю,— повторила она и почувствовала себя старше и сильнее Алисы, которую ей хотелось защитить,— Алисе только того и надо было.

Алиса увидела у нее в руке карандаш.

— Может, ты выйдешь и поможешь там? Мистер Чикой с ног сбился.

— Сию минуту,— сказала Норма.

Алиса закрыла дверь и прислушалась. Тишина, потом шуршание, потом резкий стук задвинутого ящика. Алиса откинула ладонью волосы и тихо подошла к двери в закусокную. Она была довольна. Она многое разузнала о Норме. Она узнала, как Норма относилась к жизни. Она узнала, куда Норма спрятала письмо.

Алиса и раньше пыталась залезть к Норме в чемодан, но он всегда был заперт, и хотя она могла бы разнять его голыми руками — картонный,— остались бы следы. Ниче-

го, она подождет. Раньше или позже, если поглядывать, Норма забудет запереть чемодан. Алиса была умна, но она не понимала, что Норма тоже не дура. Норма поработала уже у алис. Когда Алиса лазила по ящикам ее комода, разглядывала ее вещи и читала письма от сестры, она не замечала картонной спички, валявшейся на краю ящика. Норма всегда клала ее туда, и если спичка оказывалась сдвинутой, ясно было, что кто-то покопался в ее вещах. Хуан и Прыщ не могли, значит, это Алиса.

Норма вряд ли забыла бы запереть чемодан. При всей своей мечтательности Норма была неглупа. В коробке из-под зубной пасты в запертом чемодане лежали двадцать семь долларов. Когда наберется пятьдесят, Норма уедет в Голливуд, наймется в ресторан и будет ждать «случая». За пятьдесят долларов можно снять комнату на два месяца. Питаться она будет на работе. Ее высокие долгоногие мечты — это само собой, но и в няньке она не нуждалась. Норма была не дура. Да, она не понимала ненависти Алисы ко всем женщинам. Она не догадывалась, что извинения Алисы — уловка. Но, вероятно, она и это поняла бы вовремя, если бы это стало опасным. И хотя Норма верила, что только самые возвышенные и благородные мысли и побуждения владеют Кларком Гейблом, о побуждениях людей, с которыми она сталкивалась в обиходной жизни, она кое-что знала и была невысокого мнения.

Когда Прыщ стал скрестись ночью в ее окошко, она знала, как тут распорядиться. Она окошко заперла. А лезть с шумом, когда в соседней комнате спал Хуан, он побоялся бы. Норма им не дурочка.

Сейчас Алиса стояла в спальне перед дверью в закусокную. Она провела пальцем под обоими глазами, потом открыла дверь и вышла за стойку как ни в чем не бывало.

ГЛАВА 7

Большой и красивый автобус компании «Борзая» стоял под посадочным навесом в Сан-Исидро. Рабочие заправляли его, проверяли уровень масла и давление в шинах. Система обслуживания работала как часы. Негр подметал салон, отряхивал сиденья и подбирал с полу спички, окурки и обертки от жвачки. Он провел пальцами под спинкой

заднего сиденья, тянувшегося от борта до борта. Иногда он находил тут монету или перочинный нож. Деньги оставлял себе, а большинство других предметов сдавал на станцию. Люди поднимают жуткую вонь из-за петерянных вещей, а из-за мелочи — нет. Иногда удавалось набрать за этим сиденьем доллара два. Сегодня уборщик выковырял две десятицентовых, одну пятидесятицентовую и маленький бумажник с призывной повесткой, водительскими правами и членской карточкой Клуба Львов.

Он заглянул в отделение для бумажных денег. Две пятидесятидолларовых и чек на пятьсот. Он положил бумажник в карман рубашки и обмахнул сиденье метелкой. Он дышал тяжело. С деньгами просто. Можно их вынуть, а бумажник кинуть на сиденье, чтобы после рейса его нашел другой уборщик. Чек — не трогать. С чеками опасно. Но эти две хорошенькие полусотенные... какие хорошенькие полусотенные!.. В горле у него встал ком и не пройдет, пока хорошенькие не окажутся у него, а бумажник за сиденьем.

Но он не мог до них добраться, потому что оголец снаружи мыл окна, забрызганные дорожной грязью. Приходилось выжидать. Попадешься — выгонят.

В манжете его синих диагоналевых брюк было распоротое место. Он придумал сунуть две хорошенькие туда, в манжет, перед тем, как сойдет с автобуса. А перед концом рабочего дня он заболеет. Ага, заболеет. С неделю не будет выходить. Если он заболеет на работе и все равно доработает день до конца, тогда никто не догадается, почему он не выходил еще несколько дней, и его не выгонят. Он услышал, как кто-то влез в автобус, и немного напрягся. Это заглянул шофер, Луи.

— Здорово, Джордж, — сказал он. — Слушай, не находил бумажника? Один говорит, потерял.

Джордж что-то буркнул.

— Ладно, пойду сам посмотрю, — сказал Луи.

Джордж разко обернулся — он все еще стоял на коленях.

— Нашел я его, — сказал он. — Хотел кончить тут и сдать.

— Да? — сказал Луи. Он взял у Джорджа бумажник и открыл. Оголец смотрел через стекло. Луи грустно улыбнулся Джорджу и скосил глаза на малого.

— Не повезло, Джордж,— сказал Луи.— Похоже, делодохлое. Этот сказал две полусотенные, тут и есть две полусотенные.— Он вытащил деньги и чек, чтобы их увидел малый, подглядывавший в окно.— Ничего, Джордж, может, в другой раз повезет,— сказал Луи.

— Может, он заплатит за находку? — сказал Джордж.

— Тогда половина — твоя,— сказал Луи.— А если меньше доллара — все твои.

Луи ушел из автобуса в зал ожидания. Он сдал бумажник в кассу.

— Джордж нашел. Как раз собирался нести,— сказал Луи.— Молодец парень.— Луи знал, что хозяин бумажника стоит у него за спиной, и сказал кассиру: — Если бы я потерял, я бы Джорджа отблагодарил как следует. Хуже всего человека портит — это когда его не поощряют. Я помню, парень нашел тысячу и сдал, а ему даже спасибо не сказали. Так он чуть ли не на другой день ограбил банк и убил двоих охранников.— Луи врал легко и без запинки.

— Сколько едет на юг? — спросил Луи.

— У тебя полно,— сказал кассир.— Один до Мятёжного угла, и пироги не забудь, как на прошлой неделе. В жизни не слыхал такого скандала из-за пятидесяти пирогов. Вот ваш бумажник, сэр. Проверьте, все ли на месте.

Владелец заплатил за находку пять долларов. Луи решил, что как-нибудь отдаст Джорджу доллар. Он знал, что Джордж не поверит,— ну и черт с ним. Это вообще дело скользкое — кто у кого захамил. Плывет в руки — не зевай. Луи был крупный, поноватый, но любитель красиво одеться. Собутыльники звали его «Мордатый». За словом в карман он не лез, был сообразителен и старался прослыть лошадиником. Скаковых лошадей называл собачками, а всякую ситуацию — надбавкой. Он бы хотел быть Бобом Хоупом, а еще лучше — Бингом Кросби.

Луи увидел Джорджа, который заглядывал в дверь зала. Его охватил порыв щедрости. Он подошел и дал Джорджу долларовую бумажку.

— Жадная сволочь! — сказал он.— На доллар. Ему приносят пятьсот с лишним, а он тебе — доллар!

Джордж взглянул ему в лицо — стрельнул карими глазами. Он знал, что это ложь, и знал, что ничего не может сделать. Если Луи на него разозлится, может напакостить. И страшно хотелось напиться. Джордж прямо чувствовал,

как его разбирает виски. А все из-за этого сопляка — суется со своим носом.

— Спасибо,— сказал Джордж.

Мальчишка прошел мимо с ведром и губкой. Джордж сказал:

— По-твоему, это чистые окна?

И Луи подыграл Джорджу. Он сказал малому:

— Хочешь выйти в люди — шевелись. Окна загвазданные. Вымой снова.

— Я тебе не подчиняюсь. Начальник будет недоволен — тогда посмотрим.

Луи и Джордж переглянулись. Сопляк. Луи только захотеть, и через неделю ему дадут под зад коленкой.

Большие автобусы «Борзой», тяжелые и высокие, как дома, въезжали под посадочный навес и отъезжали. Шоферы плавно и красиво подруливали к платформам. Пахло маслом, дизельным выхлопом, конфетами и сильным моющим порошком, ударявшим в нос.

Луи вернулся на станцию. Внимание его привлекла молодая женщина, вошедшая с улицы. Она несла чемодан. Взгляд Луи выхватил ее из толпы. Краля! Такую кралю он посадил бы в автобусе позади своего кресла. Он поглядывал бы на нее в зеркальце и расспрашивал. Может, живет где-нибудь по маршруту. У Луи много приключений началось с этого.

Свет с улицы падал на нее сзади, так что Луи не мог разглядеть лицо, но чувствовал — хороша. А почему чувствовал — он сам не мог сказать. Мало ли какая могла стоять там, против света. Почему же ее заметил? Конечно, фигура складная и красивые ноги, это видно. Но главное — от нее как-то тянуло женщиной.

Он видел, что она направилась с чемоданом к кассе, и поэтому сразу к ней не пошел. Он ушел в туалет. Он стал перед умывальником, окунул руки в воду и провел ладонями по волосам. Потом вынул из бокового кармана расческу, гладко зачесал волосы назад и примял рукой сзади, где остался хохолок. Потом расчесал усики — без особой нужды, потому что они были очень короткие. Одернул серый вельветовый пиджак, подтянул пояс и слегка подобрал живот.

Сунув расческу в карман, он снова осмотрел себя в зеркале. Пригладил волосы на висках. Ощупал затылок — не

торчит ли там, прилег ли хохолок. Поправил форменную черную бабочку на резинках и, достав из кармана рубашки сенсен, кинул несколько зернышек в рот. И напоследок как бы встряхнул на себе пиджак.

Когда его правая рука протянулась к латунной ручке двери, левая пробежала пальцами вверх и вниз по ширинке, проверяя, все ли застегнуто. Он сложил губы в кривоватую улыбку — смесь искушенности и простодушия, — которая приносила ему успех. Луи прочел где-то, что если смотришь девушке в глаза и улыбаешься, это производит впечатление. Не просто смотришь на нее так, как будто она самая красивая на свете, а смотришь, покуда она не отведет глаза. И еще одна хитрость. Если тебе трудно смотреть людям в глаза, смотри им в переносицу. Тому, на кого смотришь, кажется будто ему смотрят в глаза, а на самом деле ты не смотришь. Этот прием Луи находил очень удачным.

Почти все свободное от сна время Луи думал о женщинах. Ему нравилось плохо с ними обходиться. Нравилось бросать их, когда они в него влюблялись. Он называл их щетками. «Я возьму щетку, — говорил он, — ты возьмешь щетку и загудим». Он величаво вышел из туалета, но тут же вынужден был отступить, потому что два человека несли между скамейками длинный ящик с отдушинами. На стенке ящика большими белыми буквами было написано: ДОМАШНИЕ ПИРОГИ МАТУШКИ МЭХОНИ. Грузчики прошли мимо Луи к посадочной платформе.

Женщина уже сидела на скамейке, чемодан она поставила у ног. Проходя по залу, Луи быстро взглянул на ее ноги, а потом встретился с ней глазами и стал смотреть. Он улыбался кривоватой улыбкой и двигался по направлению к ней. Она смотрела на него без улыбки, потом отвела взгляд.

Луи расстроился. Она должна была смутиться — но не смутилась. Просто потеряла к нему интерес. А хороша была и в самом деле: красивые, не худые ноги с крепкими бедрами, живота — никакого, и большая грудь, которой она отнюдь не стеснялась. Она была блондинка, с жесткими, слегка посекшимися от горячей завивки волосами, но волосы красивые, блестящие, и прическа такая, как нравилось Луи — с крупными завитками. Глаза были подведены синим карандашом, на веки положен кольдкрем, а ресницы густо намазаны тушью. Румян не было, губы накрашены ярко, так, что рот казался почти квадратным, как у неко-

торых киноактрис. На ней был костюм — узкая юбка и жакет с круглым воротником. Туфли — коричневые, с белой строчкой. И сама хороша, и одета как надо. И видно — в дорогое.

Луи разглядывал ее лицо, пока шел. У него было чувство, что он ее где-то видел. Может, в кино, а может, просто похожа на какую-нибудь знакомую. Такое тоже случается. Глаза были широко расставлены, почти неестественно широко, — голубые с коричневыми искорками и ясно обозначенными линиями от зрачка к наружному краю радужной оболочки. Брови были выщипаны и подрисованы высокими дугами, что придавало ей удивленный вид. Луи заметил, что ее руки в перчатках лежат спокойно. Она не нервничала, не суежилась, и это его успокоило. Он боялся самообладания в женщинах, и его не покидало чувство, что где-то он ее видел. Колени у нее были не костлявые, круглые, а юбка не задиралась, хотя она ее не обдергивала.

Проходя мимо, Луи наказал ее за то, что она отвела взгляд, — уставился ей на ноги. Действовало это обыкновенно таким образом, что женщина поправляла юбку, даже если юбка не задралась, — но сейчас не подействовало. Его искусство не произвело впечатления, и Луи слегка растерялся. Проститутка, наверное, сказал он себе. Обыкновенная дешевка. И тут же посмеялся над собой. При таких-то вещах — дешевка?

Луи подошел к окошку кассы и сардонически улыбнулся кассиру Эдгару. Эдгар им восхищался. Эдгар хотел бы походить на него.

— Куда щетка едет? — спросил Луи.

— Щетка?

— Ну. Баба, блондинка.

— А-а. — Эдгар обменялся мужским понимающим взглядом с Луи. — На юг, — сказал он.

— На моей телеге?

— Ну.

Луи побарабанил по доске пальцами. Он отрастил на мизинце очень длинный ноготь. Ноготь выгнулся желобком и был подпилен остро. Луи не знал, зачем он это сделал, но с удовольствием отметил, что еще несколько шоферов начали отращивать ноготь на мизинце. Луи создавал моду, и это было ему приятно. Один шофер такси привязал хвост енота к пробке радиатора, и на другой же день у каждого

трепался на капоте кусок меха. Скорняки делали искусственные лисьи хвосты, и ни один школьник не появлялся на машине без развевающегося хвостика. А таксист, наверное, развалившись за баранкой, с удовольствием думал, что все началось с него. Луи отращивал ноготь на мизинце пять месяцев и уже видел несколько человек своих последователей. Это может пойти по стране — а началось все с Луи.

Он постучал по доске длинным выпуклым ногтем, но осторожно, потому что когда ноготь вырастает до такой длины, он легко ломается. Эдгар смотрел на ноготь. Свою же левую руку он прятал внизу. У него тоже отрастал ноготь, но он был еще не очень длинный, и Эдгар не хотел показывать его Луи, пока не отрастет как следует. У Эдгара ногти были ломкие, этот приходилось покрывать бесцветным лаком, иначе он бы сразу сломался. Он даже в постели раз сломался. Эдгар посмотрел на блондинку.

— Хочешь заняться этой...щеткой?

— Почему не попробовать? — сказал Луи. — Может, и проститутка.

— Хорошая проститутка — тоже дело. — Взгляд Эдгара опять скользнул в ту сторону. Женщина положила ногу на ногу. — Луи, — сказал он извиняющимся голосом, — пока я не забыл — ты присмотри за тем, как грузят ящик с пирогами. На прошлой неделе на нас была жалоба. Где-то по дороге уронили ящик, и малиновый пирог весь перемешался с лимонным, а сверху еще изюм насыпался. Пришлось выплачивать.

— Только не в моем рейсе, — отрезал Луи. — Его ведь в Сан-Хуан везут? На ихней колыхаге с Мятежного угла и уронили.

— Выплачивать нам пришлось, — сказал Эдгар. — Все-таки проверь, ладно?

— В моем рейсе никаких пирогов не роняли, — угрожающе сказал Луи.

— Я знаю. Знаю, что не у тебя. Но из конторы велели передать тебе, чтобы ты проследил.

— Чего же они ко мне не обратились? — сказал Луи. — Есть жалоба — ну так и вызвали бы меня, а не передавали через кого-то. — Он раздувал в себе злость, как костер. Но злился он на женщину. Дешевка. Он посмотрел на большие настенные часы. Секундная стрелка в полметра длиной прыгала по циферблату, а в выпуклом стекле Луи видел блон-

динку, которая сидела, закинув ногу на ногу. В кривом стекле было плохо видно, но ему показалось, что она смотрит ему в затылок. Злость в нем приутихла.

— Я присмотрю за пирогами,— пообещал он.— Скажи им, малины в лимонном не будет. Я, кажется, подзаймусь этой щеткой.— Он увидел восхищение в глазах Эдгара и медленно повернулся лицом к залу.

Луи не ошибся. Она смотрела ему в затылок, а когда он повернулся, продолжала смотреть в лицо. Во взгляде ее не было интереса, совсем никакого. Но глаза красивые, подумал он. Хорсша, черт! Луи прочел в журнале, что широко расставленные глаза говорят о сексуальности, и от блондинки тянуло ею, тянуло. На таких всегда оглядываются на улице. Стоит ей появиться — сразу все поворачиваются и смотрят. Прямо видишь, как головы поворачиваются, словно на ипподроме. Что-то в ней есть особенное — и дело не в косметике, не в походке, хотя и они много значат. Что бы это ни было, но она несла в себе такой заряд. Луи почувствовал его, когда она только вошла с улицы и стояла против света, так что он даже не мог ее разглядеть. Сейчас она смотрела на Луи без улыбки, вообще без всякого выражения, просто смотрела, а он это все равно чувствовал. Горло у него перехватило, и шея над воротничком покраснела. Он знал, что через секунду отведет глаза. Эдгар ждал, и Эдгар верил в Луи.

Репутация Луи была несколько преувеличенной, но он действительно имел подход, действительно не терялся по части щеток. И все же сейчас ему было не по себе. Эта щетка его осадилась. Хотелось залепить ей пощечину. Грудь распирало. Если он не возьмется за дело сейчас, шанс будет упущен. Он видел темные лучики на радужных оболочках, круглый подбородок. Он применил обнимающий взгляд. Он слегка расширил глаза и улыбнулся, как будто вдруг узнал ее. И двинулся прямо к ней.

Он тонко придал улыбке легкую почтительность. Она продолжала смотреть ему в глаза, но уже не так холодно. Он остановился перед ней.

— Кассир говорит, вы едете на юг на моем автобусе, мадам,— сказал он. Он чуть не рассмеялся над этим «мадам», но обычно слово действовало. Подействовало и на нее. Она чуть-чуть улыбнулась.

— Я отнесу ваш чемодан,— продолжал Луи.— Отправляемся минуты через три.

— Спасибо,— сказала женщина.— «Голос у нее грудной и чувственный»,— подумал Луи.

— Позвольте взять ваш чемодан. Я его сейчас поставлю, и место будет занято.

— Он тяжелый,— сказала она.

— Я тоже, кажется, не карлик,— возразил Луи. Он взял ее чемодан и быстро пошел на посадочную платформу. Он влез в автобус и поставил чемодан перед сиденьем, которое было прямо за его креслом. Можно смотреть на нее в зеркальце и поговорить по дороге. Он вышел из автобуса и увидел, что оголец с другим уборщиком грузят на крышу ящик с пирогами.

— Поаккуратнее с этой штукой,— громко сказал Луи.— Вы, паразиты, уронили такой на прошлой неделе, а капают на меня.

— Ничего я не ронял,— сказал мальчишка.

— Ну да, не ронял,— сказал Луи.— Не парывайся, малый.— Он ушел через стеклянные двери в зал ожидания.

— Чего его разбирает? — спросил другой уборщик.

— Да я его зашухарил,— сказал мальчишка.— Джордж нашел бумажник, а я видел, ну и побоялся притырить. С начинкой бумажник. Оба взъелись на меня — что я видел. Луи с Джорджем эту сотню поделили бы, а из-за меня она накрылась. Видя, что я видел, ну и, ясно, побоялись притырить.

— Я бы от сотни не отказался,— сказал уборщик.

— А кто бы отказался? — сказал мальчишка.

— Взял бы я сотню да как загулял бы — на сотню знаешь как можно погулять?

И пошел ритуальный разговор.

В зале возникла легкая суeta. Пассажиры автобуса, отправлявшегося на юг, уже собрались. У Эдгара в кассе было много работы — но не так много, чтобы выпустить из виду блондинку. «Щетка»,— шептал он. Это было новое слово. Теперь он будет им пользоваться. Он осмотрел ноготь мизинца на левой руке. Не скоро вырастет такой хороший, как у Луи. Но зачем себя обманывать? Все равно, таким ходоком, как Луи, он не будет. Бабы ему всегда доставались второго разбора.

Был последний набег пассажиров на кондитерский лоток, на автоматы с арахисом и жвачкой. Китаец купил «Тайм» и «Ньюсуик», аккуратно скатал их вместе и опустил

в карман черного габардинового пальто. Старуха нервно перебирала журналы у газетчиков, не собираясь ничего покупать. Два индуса в ослепительно белых чалмах, с лаково-черными кудрявыми бородами стояли рядышком перед окном кассы. Пытаясь объясниться, они бросали вокруг огненные взгляды.

Луи стоял у выхода на платформу и безотрывно смотрел на блондинку. От него не укрылось, что каждый мужчина в зале занят тем же. Все наблюдали за ней исподтишка, чтобы никто не заметил. Луи повернулся и посмотрел через стеклянные двери: мальчишка и другой уборщик укрепили ящик с пирогами на крыше автобуса и покрыли брезентом.

В зале ожидания вдруг потемнело. Должно быть, туча закрыла солнце. Потом снова посветлело, как будто плавно вывели реостат. Зазвенел большой колокольчик над стеклянными дверьми. Луи взглянул на ручные часы и вышел на платформу к большому автобусу. Пассажиры в зале ожидания поднялись и зашаркали к дверям.

Эдгар никак не мог понять, куда хотят ехать индусы. «У, башка тряпичная,— сказал он про себя.— И чего их носит — выучились бы сперва по-английски».

Луи забрался на высокое кресло, отгороженное трубой из нержавеющей стали, и проверял билеты у входивших пассажиров. Китаец в черном пальто сразу направился к заднему сиденью, снял пальто и положил «Тайм» с «Нью-суиком» на колени. Старая дама, задыхаясь, преодолела ступеньку и села прямо позади Луи. Он сказал:

— Извините, это место занято.

— Что значит занято? — ошетинулась она. — Здесь места не нумерованные.

— Это место занято,— повторил Луи.— Вы же видите — чемодан стоит? — Он ненавидел старух. Он их боялся. От них пахло чем-то таким, что у него поджилки дрожали. Они бешеные, и у них нет гордости. Им скандал устроить — все равно что плюнуть. И всегда своего добиваются. Бабка Луи была тираном. И всегда своего добивалась, потому что была бешеная. Боковым зрением он видел блондинку, дожидавшуюся на подножке автобуса, когда пройдут индусы. Надо же так влипнуть. Он вдруг рассердился.

— Мадам,— сказал он,— в автобусе распоряжаюсь я. Тут сколько угодно хороших мест. Будьте любезны пересестъ.

Старуха выставила на него подбородок и нахмурилась. Она поелозила задом, устраиваясь поудобнее.

— Вы этой девице место заняли — вот кому вы заняли, — сказала она. — Я вот подам на вас жалобу начальству. Луи взорвался.

— Сделайте одолжение. Выходите и подавайте на меня жалобу. Пассажиров у компании много, а хороших шоферов мало. — Он видел, что блондинка слушает, и ему это было приятно.

Старуха почувствовала, что он сердится.

— Я на вас пожалуюсь, — сказала она.

— Жалуйтесь на здоровье. Вы можете сойти, — громко ответил Луи, — но на этом месте сидеть не будете. Оно предоставлено пассажирке по совету врача.

Это была лазейка, и старуха ею воспользовалась.

— Почему вы сразу не сказали? — спросила она. — Что же я — понять не могу? Но я все равно пожалуюсь на вашу грубость.

— Сделайте одолжение, — устало сказал Луи. — Мне не привыкать.

Старуха пересела на следующее место. «Сейчас наострит уши и будет меня ловить, — подумал Луи. — А-а, пускай. У нас пассажиров больше, чем водителей». Блондинка была уже рядом, протягивала билет. Луи непроизвольно сказал:

— Вы только до Мятежного?

— Да, у меня там пересадка. — Она улыбнулась, услышав разочарование в его голосе.

— Вот ваше место, — сказал он. Он видел в зеркальце, как она села, закинула ногу на ногу, одернула юбку и поставила сумочку рядом с собой. Потом выпрямилась и поправила воротник жакета.

Она знала, что Луи наблюдает за каждым ее движением. С ней так бывало всегда. Она знала, что отличается от других женщин, но не совсем понимала — чем. С одной стороны, было приятно — что тебе всегда уступают лучшее место, не дают заплатить за обед, поддерживают под руку, когда переходишь улицу. Руки мужчин все время тянулись к ней. И в этом же было постоянное неудобство. Приходилось урезонивать, или улещивать, или оскорблять, или просто драться, чтобы отстали. Все мужчины домогались одного и того же, и деться от этого было некуда. Она воспринимала это как неизбежность и была права.

Когда она была совсем молоденькой, ее это мучило. Было гадко, давило ощущение вины. Но повзрослев, она притерпелась и выработала свои методы. Иногда она уступала, иногда принимала в подарок деньги или вещи. Подходы же почти все ей были известны. Она точно могла предугадать все, что сделает или скажет Луи в следующие полчаса. Иногда это помогало избежать осложнений. Мужчины постарше хотели ей помочь, устроить учиться или устроить на сцену. Из молодых некоторые хотели на ней жениться или опекать ее. И лишь немногие, очень немногие, честно и прямо желали с ней спать, о чем и заявляли.

С ними было проще всего, потому что она могла сказать да или нет и на этом поставить точку. Больше всего она ненавидела в своем даре — или своем недостатке — грызню, вечно разгорающуюся вокруг нее. Мужчины яростно сцеплялись в ее присутствии. Грызлись, как терьеры; поэтому ей иногда хотелось нравиться женщинам — но она не нравилась. Она была не глупа. И знала, почему не нравится, но ничего не могла поделать. Мечтала же она — о красивом доме в красивом городке, о двух детях и о том, как она будет стоять на лестнице. Она будет красиво одета и будет встречать гостей к обеду. Будет муж — конечно; но он как-то ускользал из этой картины, потому что рекламы в женских журналах, из которых и вырастала мечта, никогда не включали мужчину. Только миловидная женщина в красивом платье спускается по лестнице, только гости в столовой, только свечи и обеденный стол темного дерева, и чистенькие дети целуют маму, отправляясь спать. Вот чего ей хотелось. И она понимала яснее ясного, что этого как раз у нее не будет.

В ней накопилось много грусти. Она думала о других женщинах. Может быть, они в постели не такие, как она? Наблюдая жизнь, она видела, что на большинство женщин мужчины так не реагируют, как на нее. Чувственность не разыгрывала в ней с обременительной силой или постоянством, а как у других женщин — она не знала. С ней они никогда этого не обсуждали. Они ее не любили. Однажды молодой врач, к которому она обратилась в надежде какнибудь умерить свои периодические страдания, начал к ней приставать, и когда она его окоротила, заметил: «Вокруг вас воздух этим заражен. Не знаю, как это у вас получается, но это факт. Есть такие женщины, — сказал он. — Слава богу, их немного, иначе бы мужчина спятил».

Она пробовала одеваться поостроже, но это мало помогало. На обычной работе она не удерживалась. Она научилась печатать, но когда ее нанимали, в конторе все летело кувыркoм. А теперь у нее была кормушка. Платили хорошо, сложностей особых не было. Она раздевалась на холостяцких банкетах. Антрепризой занималось обыкновенное агентство. Она не понимала, что за смысл в этих банкетах и что за удовольствие мужчинам, но мужчины приходили, а она получала пятьдесят долларов за то, что снимала одежду, и это было лучше, чем если бы одежду сдирали в кабинете. Она даже почитала о нимфомании — хоть и немного, но понимала, что ею не страдает. И чуть ли не жалела об этом. Иногда она думала просто поступить в публичный дом, скопить там денег и уехать на покой в деревню — или же выйти за пожилого, с которым можно сладить. Это было бы самое простое. Молодые люди, которые ей нравились, почему-то начинали злобствовать. Они всегда подозревали ее в обмане. Либо дулись, либо пробовали бить, либо в ярости прогоняли ее.

Она пыталась удержать их, но все кончалось только так. А старик с деньгами — это выход. Она бы хорошо к нему относилась. И деньги и время свое он тратил бы не впустую. У нее были только две подруги, и обе из публичного дома. Как видно, только такие могли не завидовать и не осуждать ее. Но одна уехала из страны. Куда — неизвестно. Отправилась куда-то с армией. А другая жила с рекламщиком, и подруга ей была ни к чему.

Другая — это Лорейн. Они вместе снимали квартиру. Лорейн была равнодушна к мужчинам, но и женщинами не интересовалась. А потом Лорейн связалась со своим рекламщиком и попросила ее выехать. Лорейн все объяснила напрямик, когда сказала ей, что приходить не надо.

Лорейн была в публичном доме, а этот рекламщик в нее влюбился. Но тут Лорейн заболела гонореей и раньше, чем сама почувствовала, заразила рекламщика. Он был из впечатлительных, ошалел, потерял место и приполз к Лорейн плакаться. Она все-таки считала себя виноватой, поэтому пустила его и кормила, пока их лечили. Это было до новых лекарств, так что им доставалось.

А потом рекламщик стал налегать на снотворные таблетки. Она заставляла его дома без сознания, а так он ходил

обалделый, без таблеток склочничал и ел их все больше и больше. Два раза его увозили откачивать.

Лорейн была хоршая, на самом деле, и ей приходилось туго, потому что зарабатывать в доме не могла, покуда не вылечилась. Она не хотела заражать никого из знакомых, но надо было есть, платить врачу и за квартиру. Пришлось зарабатывать на улицах Глендейла, а чувствовала она себя плохо. А тут — одно к одному — рекламщик стал ревновать и не пускал ее на улицу, хотя сам сидел без работы. Хорошо бы все это уже рассосалось, и они с Лорейн могли бы опять жить вместе. Они были дружной парой. И жилось им весело, славно, по-тихому весело.

В Чикаго шел съезд за съездом, и она хорошо подработала на банкетах. В Лос-Анджелес возвращалась на автобусах из экономии. Хотелось хоть немного пожить тихо. От Лорейн давно не было вестей. Последний раз она предупредила, что рекламщик читает ее письма, поэтому писать не надо.

Последние пассажиры выходили из дверей и садились в автобус.

Луи закинул ногу на ногу. Он немножко робел перед этой женщиной.

— Так вы — в Лос-Анджелес, — сказал он, — вы там живете?

— Время от времени.

— Люблю присматриваться к людям, — сказал он. — Перед нами знаете сколько проходило?

Мотор автобуса тихо дышал. Старуха свирепо смотрела на Луи. Он видел ее в зеркальце. Наверно, напишет жалобу начальству.

«Ну и черт с ним, с начальством», — сказал себе Луи. Работу он всегда найдет. Да и не больно там обращают внимание на письма старух. Он окинул взглядом салон. Индусы как будто держались за руки. Китаец раскрыл на коленях «Тайм» и «Ньюсуик» и сравнивал сообщения. Его голова поворачивалась от журнала к журналу, между бровей пролегла удивленная складка. Диспетчер махнул рукой.

Луи запер рычагом дверь. Он включил заднюю скорость и, подав автобус назад из бетонного углубления, повернул аккуратно, по широкой дуге, так что переднее крыло прошло в каком-нибудь сантиметре от северной стенки. Потом выкрутил руль обратно и так же, на тихом ходу, провел

автобус впритирку к другой стене въезда. На пересечении въезда с улицей Луи остановился и посмотрел, свободна ли она. Потом сделал левый поворот, на противоположную сторону улицы. Луи был хороший шофер и ездил безупречно. По главной улице Сан-Исидро автобус выехал на окраину и дальше — на свободное шоссе.

Небо и солнце были умытыми, чистыми. Краски стали сочнее. Кюветы наполнились водой, и там, где они были засорены, вода выливалась на шоссе. Автобус врезался в такую лужу с громким всплеском, и Луи почувствовал, как потянуло руль. Трава свалаялась от ливня, но сейчас горячее солнце накачивало сочные стебли силой, и она уже подымалась на пригорках.

Луи опять поглядел в зеркальце на блондинку. Она смотрела ему в затылок. Но что-то заставило ее взглянуть в зеркальце — в глаза Луи, — и глаза ее с темными лучами, ее прямой красивый нос, квадратно нарисованный рот фотографически отпечатались в памяти Луи. Глядя ему в глаза, она улыбнулась так, как будто ей хорошо.

Луи почувствовал, как сжимается горло и воздух распирает грудь. Он подумал, что, наверно, тронулся. Луи знал, что он застенчив, но обычно мог убедить себя в обратном, а сейчас испытывал все мучения шестнадцатилетнего. Его взгляд перебегал с дороги на зеркальце, туда и обратно. Щеки у него горели. «Что за черт? — сказал он себе. — Что ли я совсем того из-за девки?» Он присмотрелся к ней внимательнее, подыскивая какую-нибудь спасительную мысль, и тут увидел у нее под ушами глубокие следы хирургических щипцов. Это его несколько успокоило. Небось, не такая была бы уверенная, если бы знала, что он видел шрамы. Шестьдесят семь километров. Надо уложиться. Если он хочет заболтать девку, нельзя терять ни минуты. Но когда он попытался заговорить, голос сел.

Она наклонилась к нему поближе.

— Я не расслышала, — сказала она.

Луи кашлянул.

— Я говорю, красиво как после дождя.

— Да, красиво.

Он решил начать своим обычным ходом. В зеркальце он видел, что она по-прежнему сидит наклонившись, чтобы лучше слышать.

— Я вам говорил,— начал он.— Люблю присматриваться к людям. Я бы сказал, что вы работаете в кино или в театре.

— Нет,— ответила она.— Вы бы ошиблись.

— Так вы не играете?

— Нет.

— А вообще — работаете?

Она рассмеялась; лицо у нее становилось очень приятным, когда она смеялась. Но Луи заметил, что один верхний зуб у нее кривой. Он рос вбок и налезал на соседа. Она перестала смеяться, и верхняя губа закрыла зуб. «Стесняется»,— подумал Луи.

Она все знала наперед. Предугадывала, что он собирается сказать. Все это уже бывало много раз. Он собирался разузнать, где она живет. Спросит у нее телефон. Но с этим — просто. Она нигде не жила. У Лорейн стоял ее сундук с книжками — «Капитан Хорнблоуэр», «Жизнь Бетховена», дешевые книжки рассказов Сарояна — и старыми вечерними платьями, которые надо перешить. Она понимала, что Луи растерян. Ей знакома была эта краснота, выползавшая из-под воротничка мужчины, и хрипотца нескладной речи. Она увидела, что Луи настороженно поглядел в зеркало на пассажиров.

Индусы слегка улыбались друг другу. Китаец смотрел в пустоту, пытаясь увязать разноречивые сообщения двух журналов. Грек на заднем сиденье перочинным ножом разрезал пополам итальянскую сигару. Одну половину он вставил в рот, а другую задумчиво опустил в грудной карман. Старуха разжигала в себе злость на Луи. Она уставила железный взгляд ему в затылок, подбородок ее дрожал от ярости, а стиснутые губы побелели от напряжения.

Девушка снова наклонилась вперед.

— Я сберегу вам время,— сказала она.— Я стоматологическая сестра. Знаете, занимаюсь хозяйством у зубного врача в кабинете.— Она часто так рекомендовалась. Сама не знала почему. Может быть, потому, что это пресекало всякие догадки, и никаких вопросов больше не задавали. Люди не любят долго говорить о зубоврачебных делах.

Луй переваривал сообщение. Автобус подошел к железнодорожному переезду. Луи машинально нажал тормоз и остановился. Воздух зашипел, когда он отпустил педаль; Луи переключал передачи, набирая скорость. Он чувство-

вал, что времени — уже в обрез. Старая карга с минуты на минуту подымет шум. Нет у него никаких шестидесяти семи километров. Как только старуха встрянет, все будет испорчено. Луи хотел успеть за это время побольше, но его система не терпела спешки. Полчасика бы не нажимать — но старуха подгоняла.

— Иногда я заезжаю в Лос-Анджелес, — сказал он. — Можно вас как-нибудь там найти... сходили бы пообедать, на концерт?

Она отозвалась дружелюбно. Никакой вредности, паскудства в ней не было. Она сказала:

— Не знаю. Понимаете, мне пока негде жить. Я уезжала. Хочу поскорее найти квартиру.

— Но вы же где-то работаете, — сказал Луи. — Туда вам нельзя позвонить?

Старуха ерзала и вертелась. Она была в бешенстве от того, что Луи согнал ее с переднего места.

— Да нет, — сказала блондинка. — Понимаете, я без работы. Найду я, конечно, сразу, потому что по моей специальности работа всегда есть.

— Это — не то, чтобы меня отшить? — спросил Луи.

— Нет.

— Ну, может быть, вы сами мне черкнете, когда устроитесь?

— Может быть.

— Понимаете, хотелось бы иметь знакомую в Лос-Анджелесе.

И тут он раздался — голос визгливый, как точило.

— В нашем штате есть закон насчет разговоров с пассажирами. Следите за дорогой. — Старуха обратилась ко всему автобусу. — Шофер подвергает нашу жизнь опасности. Если он будет отвлекаться, я потребую выпустить меня.

Луи подобрался. Это серьезно. Старуха действительно может нагадить. Он повернулся к зеркальцу и отыскал глазами глаза блондинки. Он произнес одними губами: «Старая трухлявая карга!»

Женщина улыбнулась и приложила палец к губам. Она почувствовала облегчение — а с другой стороны, ей было немного жаль. Она знала, что раньше или позже с Луи будут хлопоты. Но при этом видела, что во многих отношениях он парень славный и до какой-то степени с ним можно

совладать. По тому, как он краснел, она поняла, что его, наверно, можно остановить, просто обидев.

Но все было кончено, и Луи это понимал. Она не станет ввязываться в историю. Ему надо было все успеть по дороге. Он это знал. Когда приезжаешь на станцию, у всех на уме одно — поскорее выбраться. Теперь все сорвалось. На Мятежном углу он остановится, только чтобы высадить ее и сгрузить эти сволочные пироги. Он пригнулся к рулю. Блондинка сложила руки на коленях и уже не смотрела на него в зеркальце. Да сколько угодно есть девушек красивее. И шрамы эти от щипцов — жуткие. Просто мороз по коже. Конечно, волосы зачесывает на уши — чтобы закрыть. Такой нельзя носить высокую прическу. А Луи любил, когда высокая — господи! ничего себе, проснуться — и увидеть эти шрамы. Щеток вокруг навалом — как-нибудь перебьемся. Но в груди и в животе лежала печальная тяжесть. Он и отсовывал ее и проталкивал, но она не поддавалась. Еще ни к одной женщине его так сильно не тянуло, как к этой, да и тянуло иначе. Луи ощутил сухое скребущее чувство потери. Даже имени ее не узнал, а теперь разве узнаешь? Ему представилось, как его встретит в Сан-Исидро вопросительный, любопытный взгляд Эдгара. Он спросил себя, будет ли он врать Эдгару.

Дорога пела под большими шинами гнусавую песню, мотор тяжело рокотал. В небе висели большие ленивые мокрые тучи, темные, как сажа, посередине, и белые, сияющие по краям. Одна из них наползала на солнце. Тень ее легла впереди на шоссе, и Луи видел, как она несется навстречу автобусу, а дальше по шоссе уже вырос зеленый курган — дубы, окружавшие закусочную на Мятежном углу. Им овладело разочарование.

Как только автобус въехал, сбоку подошел Хуан Чикой.

— Что у вас для меня? — спросил он, когда открылась дверь.

— Одна пассажирка и партия пирогов, — сказал Луи. Он встал с кресла, протянул руку назад и взял чемодан блондинки. Спустившись на землю, он поднял руки, а женщина оперлась на его плечи и сошла. Они вместе зашагали к закусочной.

— До свидания, — сказала она.

— До свидания, — сказал Луи. Он смотрел ей вслед, пока она шла к двери, покачивая маленьким задом.

Хуан и Прыщ спустили ящик с пирогами с крыши автобуса. Луи забрался в автобус.

— Пока,— сказал Хуан.

Старуха пересела на переднее место. Луи запер рычагом дверь. Он включил скорость и отъехал. Когда автобус набрал ход и шоссе загудело под шинами, он взглянул в зеркальце. На лице старухи было злобное торжество.

«Это ты все поломала,— сказал про себя Луи.— Ты погубила».

Старуха подняла голову и встретила с ним глазами в зеркальце. Луи медленно сложил губами слова: «Пропади ты, старая сука!» Он увидел, как сжались и побелели ее губы. Она поняла, о чем речь.

Шоссе с пением убегало под колеса.

ГЛАВА 8

Хуан с Прыщом отнесли ящик с домашними пирогами матушки Мэхони к двери закусочной и опустили на землю. Оба посмотрели, как блондинка входит в закусочную. Прыщ низко, с переливом присвистнул. Ладони у него вдруг вспотели. Хуан опустил глаза так, что они только чуть поблескивали сквозь ресницы. Он быстро и нервно облизал губы.

— Я знаю, что у тебя на уме,— сказал Хуан.— Хочешь взять выходной и побежать задрать ногу на дерево?

— Ёлки,— сказал Прыщ и свистнул.

— Вот-вот,— сказал Хуан. Он нагнулся, отпер задвижку на ящике и поднял крышку на петлях.— Давай поспорим, Кит.

— Насчет чего? — спросил Прыщ.

— Могу спорить,— сказал Хуан,— и ставлю два против одного: тебе пришло в голову, что ты уже две недели не брал выходного и хорошо бы взять сегодня и поехать со мной в Сан-Хуан. А еще бы лучше, если бы автобус опять сломался.

У подручного вокруг прыщей тоже порозовело. Он смущенно поднял глаза и посмотрел на хозяина, но во взгляде Хуана было столько беззлобной насмешки, что Прыщу стало легче. «Черт! — подумал он.— Вот это человек. И чего я раньше у других работал?»

— Ну,— сказал Прыщ вслух и почувствовал, что разговаривает с мужчиной. Хуан понимает, как человек смотрит на жизнь. Когда мимо проходит девушка, Хуан знает, что у человека на уме.— Ну...— сказал он снова.

— Ну,— передразнил его Хуан.— А кто будет качать бензин и чинить резину?

— А раньше кто чинил? — спросил Прыщ.

— Никто,— сказал Хуан.— Мы просто вешали на гараж табличку — «Закрыто на ремонт». А заправлять Алиса может.— Он хлопнул Прыща по плечу.

«Какой мужик,— подумал Прыщ.— Какой мужик!»

Противни с пирогами вставлялись в пазы, которые не позволяли им соединяться. В ящике было четыре стойки по двенадцать пирогов — всего сорок восемь.

— Давай-ка посмотрим,— сказал Хуан,— нам надо: шесть с малиной, четыре с лимонным кремом, четыре с изюмом и два с заварным и карамелью.— Он вытаскивал пироги из гнезд и клал на крышку ящика.— Отнеси их, Пры... то есть Кит.

Прыщ взял в руки по пирогу и пошел в закусочную. Блондинка сидела на табурете за чашкой кофе. Он не видел ее лица, но ощутил электричество — или что там от нее исходило. Он положил пироги на стойку.

Повернувшись к выходу, он почувствовал, как тихо стало в комнате.

И мистер Причард, и склочный старик, и молодой — Хортон — сидели, как замороженные. То и дело они поднимали глаза и взглядом омывали блондинку. Мисс Причард и ее мать подчеркнуто смотрели на кучки отрубей за стойкой. Алисы не было, а перед блондинкой стояла Норма и вытирала тряпкой стойку.

— Хотите плюшку? — спросила Норма.

Прыщ замер. Он должен услышать голос блондинки.

— Да, пожалуй,— сказала она. Внутри у Прыща что-то ёкнуло от этого грудного голоса. Он кинулся на двор за новыми пирогами.

— Давай поживее,— сказал Хуан.— Можешь смотреть на нее всю дорогу до Сан-Хуана, если, конечно, не хочешь за руль.

Прыщ таскал пироги. Шестнадцать отнес. Тридцать два осталось. Хуан закрыл ящик и запер задвижку. Выйдя в последний раз, Прыщ помог Хуану засунуть ящик в

большой черный багажник «Любимой». Автобус был готов. Готов к дороге. Хуан отступил и оглядел его. Не «борзой», но тоже ничего. Вокруг окон сквозь алюминиевую краску проступала ржавчина. Надо будет подкрасить. Да и колпаки не мешает освежить.

— Давай собирайся,— сказал он Прыщу.— Запри гараж. Между скамеек под шлангами от радиатора лежит табличка, повесь ее на дверь. А ну, мигом, если хочешь успеть переодеться.

Прыщ убежал в гараж. Хуан потянулся, разведя руки, и пошел в закусочную.

Правая рука мистера Причарда лежала на левой, и мысок мелко подрагивал. Когда блондинка вошла, он заглянул ей в лицо и теперь испытывал приятное волнение. Но он был озадачен. Где-то он видел эту девушку. То ли на одном из своих заводов, то ли секретарша, то ли у кого-то из приятелей в конторе. Но он ее видел. В этом он не сомневался. Он искренне верил, что не забывает ни одного лица, хотя на самом деле редко какое запоминал. Он и не присматривался ни к одному лицу, если не собирался вступить с этим лицом в сделку. Сейчас он недоумевал: почему у него возникло ощущение греха, когда он узнал эту девушку? Где он мог ее видеть?

Бернис тайком наблюдала за подергиванием его ноги. Эрнест Хортон открыто глазел на ноги блондинки. Норме она понравилась. В одном отношении Норма была похожа на Лорейн. Она никого не любила — ну, кроме одного,— поэтому у нее ничего не могли отнять, терять ей было нечего. А эта женщина была симпатичная. Разговаривала скромно и вежливо. Да и гостья расположилась к Норме, чувствуя, что может ей понравиться.

Перед самым приходом «борзого» Алиса сказала Норме: «Побудь за стойкой, ладно? Я сейчас». Потом автобус, блондинка, приготовление кофе заняли все внимание Нормы. Но сейчас ее резанула одна догадка, и внутри разлился тошнотворный холодок. Она поняла, что сейчас происходит, так ясно, как будто увидела. Она поняла, и в голове, оттесняя гадливый гнев, зароились расчеты. Маленькая пачка денег, мелких. На это можно жить, пока не найдешь работу. А почему не уйти сейчас? Все равно же уйдет, рано или поздно. Она открыла шкафчики внизу за стойкой и засунула туда пироги, оставив по одному каждого

сорта. Один с малиной, один с изюмом, один с лимонным кремом, один карамельный она расположила рядышком на стойке, и от их запаха ее еще сильнее затошнило. Она все еще не могла решиться.

В закусочную вошел Хуан и остановился, глядя блондинке в затылок. Норма сказала:

— Вы не побудете минуту за стойкой, мистер Чикой?

— Где Алиса? — спросил Хуан.

— Не знаю, — сказала Норма. Она мысленно видела Алису. Зрение у Алисы неважное. Она поднесет письмо к окну, поближе к свету. На самом-то деле ей неинтересно. Просто — праздное, ленивое любопытство. Она наклонится к окну боком, волосы упадут ей на глаза, и она будет сдувать их, копаясь в страничках. Норму передернуло. Она представила себе, как влетит в комнату. Представила, как вырвет письмо, и ее пальцы сами собой согнулись. Она почувствовала, как ногти корябают кожу Алисы, лезут Алисе в глаза, в эти мерзкие, набухшие, влажные глаза. Алиса повалится на спину, а Норма прыгнет коленями на большое мягкое брюхо и будет царапать и драть лицо Алисы, и из царапин польется кровь.

Хуан посмотрел на Норму и сказал:

— Что случилось? Тебя тошнит?

— Да, — сказала Норма.

— Иди, пока здесь не стошнило.

Норма пробралась к краю стойки и тихо открыла дверь спальни. Дверь из спальни в ее комнату была чуть-чуть приоткрыта. Норма затворила за собой дверь и бесшумно двинулась к своей комнате. Она похолодела, ее трясло. Она была как ледышка. Она бесшумно распахнула свою дверь. Так и есть — Алиса у окна, держит перед носом письмо к Кларку Гейблу и сдувает в сторону волосы.

Алиса дунула на волосы, оглянулась и увидела в дверях Норму. Рот у нее был открыт, в глазах — жадное любопытство. Она не могла изменить выражение лица. Норма шагнула в комнату. Подбородок она выставила так, что вокруг рта залегли складки. Алиса с бессмысленным видом протянула ей письмо. Норма взяла его, аккуратно сложила и сунула за пазуху. А затем подошла к комоду. Она вытащила из-под него чемодан, отколола ключ от изнанки платья и отперла чемодан. Резкими движениями начала собирать вещи. Вывалила ящики комода в чемодан и кула-

ком примяла одежду. Из стенного шкафа вытащила все три платья и пальто с кроликовым воротником, положила пальто на кровать, накрутила платья на плечики и тоже запихнула в чемодан.

Алиса не могла пошевелиться. Она смотрела на Норму, поворачивая голову вслед за всеми ее перемещениями. В мозгу у Нормы звучал безмолвный крик торжества. Она взяла верх. После того, как ее всю жизнь шпыняли, она взяла верх, и она безмолвствовала. Ей это нравилось. Она не сказала ни слова и не скажет ни слова. Она кинула в чемодан две пары туфель, захлопнула его и заперла.

— Ты прямо сейчас уходишь? — спросила Алиса.

Норма не ответила. Она не нарушит своего торжества. Ничто ее не заставит.

— Я не хотела ничего плохого, — сказала Алиса.

Норма не посмотрела на нее.

— Ты лучше помалкивай, не то я тебе устрою, — неуверенно пообещала Алиса. Норма все равно не ответила. Она подошла к кровати и надела черное пальто с кроликом. Потом подняла чемодан и вышла из комнаты. Она сопела. Она прошла за стойкой к кассовому аппарату и нажала кнопку «Касса». Вынула десять долларов: пятерку, четыре по одному, полдоллара и две четвертушки. Сунула деньги в боковой карман черного пальто. Ее слабый рот был плотно сжат. Хуан сказал:

— Что здесь происходит?

— Я еду с вами в Сан-Хуан, — сказала Норма.

— А кто будет помогать Алисе? Она одна не управится.

— Я уволилась, — сказала Норма. Огибая край стойки, она увидела, что блондинка наблюдает за ней. Норма вышла за сетчатую дверь. Она подошла с чемоданом к автобусу, вошла и заняла место ближе к задку. Чемодан поставила рядом с собой, на пола. Она сидела очень прямо.

Хуан проводил ее взглядом до двери. Он пожал плечами.

— Что бы это значило? — спросил он, не обращаясь ни к кому в особенности.

Эрнест Хортон смотрел хмуро. Он ненавидел Алису Чикой.

Он сказал:

— Когда вы думаете выехать?



«ЗАБЛУДИВШИЙСЯ АВТОБУС»



«ЗАБЛУДИВШИЙСЯ АВТОБУС»

— В десять тридцать,— сказал Хуан.— Сейчас десять минут одиннадцатого.— Он взглянул на Причардов.— Так, мне надо переодеться. Если захотите кофе или еще чего-нибудь, берите сами.

Он ушел в спальню. Он сбросил лямки комбинезона и спустил комбинезон на пол. На нем были трусы в узкую синюю полоску. Он стянул через голову синюю рубашку, скинул мокасины и вышел из комбинезона, оставив и туфли, и носки, и комбинезон кучей на полу. Тело у Хуана было твердое и коричневое; обязан этим он был не солнцу, а коричневым предкам. Он подошел к ванной и постучался. Алиса спустила воду в унитазе и открыла дверь. Она опять мыла лицо, и мокрая прядь волос прилипла к щеке. Губы у нее оттопырились, глаза припухли и покраснели.

— Что происходит? — спросил Хуан.— Черт знает как сегодня развлекаешься, а?

— Зуб болит,— сказала Алиса.— Что я могу сделать? Дергает прямо, вот тут.

— А с Нормой что? — спросил Хуан.

— Пусть уезжает,— сказала Алиса.— Я так и знала, что когда-нибудь она попадется.

— Да что она сделала-то?

— Руку запустила куда не следует,— сказала Алиса.

— А что она взяла?

— Я подумала: надо проверить. Помнишь, ты подарил мне на Рождество флакон «Беллоджии»? Так вот он пропал, и я нашла у нее в чемодане. И как раз когда нашла, она сама явилась — тут же, конечно, в амбицию, а я ей сказала, что она свободна.

Взгляд Хуана стал рассеянным. Попахивало враньем, но что там на самом деле — его не очень занимало. Женские свары его не касались. Он стал в ванну и задернул непромокаемую занавеску.

— С самого утра куролесишь,— сказал он.— Что с тобой творится?

— У меня это дело,— сказала Алиса,— и еще зуб болит.

Хуан знал, что первое — неправда. А что второе — ложь, только подозревал.

— Выпей, когда уедем. Поможет с обеих сторон,— сказал он.

Алиса была довольна. Она и хотела, чтобы он сам предложил.

— Придется тебе побыть за всех,— продолжал Хуан.— Прыщ тоже уезжает.

В Алисе все выиграло. Она остается одна, совсем одна. Но нельзя показывать Хуану, что она этого хочет.

— А Прыщ зачем едет? — спросила она.

— Хочет кое-чего поискать в Сан-Хуане. Слушай, а может, вообще закроем? Сходишь в Сан-Хуане к зубному врачу.

— Нет,— сказала Алиса.— Не стоит. Завтра или послезавтра съезжу в Сан-Исидро. Не стоит закрывать закусочную.

— Как хочешь. У тебя болит,— сказал Хуан и включил воду. Он высунул голову из-за занавески.— Иди туда, подай пассажирам.

К тому времени, когда появилась Алиса, Эрнест Хортон уже присоседился к блондинке.

— Ну что, нальете нам две чашки кофе? — сказал он. И блондинке: — Или вам кока-колы?

— Нет. Кофе. От кока-колы я толстею.

Эрнест ухаживал. Он уже спросил, как ее зовут, и блондинка сказала, что Камиллой Дубс. Сказала, конечно, неправду. Это было быстрое объединение рекламы «Ксмела» на стене — непременно блондинка с воздухоплавательными грудями — и дерева за окном. Но отныне она — Камилла Дубс, по крайней мере до конца поездки.

— Я недавно где-то слышал ваше имя,— сказал Эрнест. Он учтиво передал ей сахарницу.

Нога мистера Причарда слегка подергивалась в воздухе, миссис Причард наблюдала за мужем. Она видела, что мистер Причард чем-то раздражен, но чем — не понимала. Она не имела опыта в таких делах. Ее подруги были не того типа, чтобы мистер Причард стал дергать ногой. А о жизни мужа за пределами своего круга она не знала ничего.

Он спустил ногу на пол, встал и подошел к стойке.

— Вам пришел на память процесс об убийстве Дубс,— сказал он Эрнесту.— Я убежден, что нашу молодую даму не убили и обратно — она никого не убила,— пошутил он. Будьте добры, еще кофе,— любезно обратился он к Алисе.

Дочь посмотрела на него, оттянув уголок правого глаза. Она слышала в его голосе что-то незнакомое. Тон был несколько величественным. Он растягивал «а» и изъяснялся с ненатуральной церемонностью. Это поразило его дочь.

Она присмотрелась к блондинке и вдруг поняла. Мистер Причард реагировал на Камиллу Дубс. Он с нею заигрывал — как бы по-отечески. Дочери это не понравилось.

Мистер Причард сказал:

— У меня такое впечатление, что мы с вами встречались. Это могло быть?

Милдред мысленно передразнила его: «Кажись, я тебя гдей-то видел?»

Камилла посмотрела на лицо мистера Причарда, потом скользнула взглядом по клубному значку у него на лацкане. Она-то знала, где он ее видел. Когда она сидела нагишом в бокале, она очень старалась не смотреть на лица мужчин. В их влажных выпученных глазах и вислогубых улыбках было что-то пугающее. Казалось, стоит взглянуть на кого-нибудь прямо — он на нее кинется. Публика была для нее — розовые мячи лиц и сотни белых воротничков с аккуратными галстуками. В клубах «Двух с половиной — трех тысяч» обычно — смокинги. Она сказала:

— Не помню.

— Бывали на Среднем Западе? — не отставал мистер Причард.

— Я работала в Чикаго, — сказала она.

— Где? — спросил мистер Причард. — Едва ли я мог ошибиться.

— У зубного врача.

Глаза мистера Причарда оживились за очками.

— Ну как же, конечно. У доктора Хораса Либхольца, моего зубного врача в Чикаго.

— Нет, — сказала она, — нет, у него не работала. Последнее мое место — у доктора Ч. Т. Честерфилда. — Это она тоже взяла с плаката — и неосмотрительно. Камилла надеялась, что он не заметит у себя за плечом надпись: «Честный Табак — Честерфилд».

К отвращению дочери, мистер Причард весело произнес:

— Ничего, рано или поздно вспомню. Я не забываю ни одного лица.

Миссис Причард перехватила взгляд дочери и уловила ее неприязнь. Она опять взглянула на мужа. Он вел себя странно.

— Элиот, — сказала она, — можешь принести мне кофе? Мистер Причард встрепенулся.

— А?.. Да, сейчас,— сказал он уже своим обычным голосом. Правда, вернулось и раздражение.

Сетчатая дверь открылась и громко захлопнулась. Вошел Прыщ Карсон, но Прыщ преобразенный. Он сильно напудрил лицо, пытаясь скрыть нарывчики — и добился того, что из красных они превратились в фиолетовые. Волосы, зализанные назад, слиплись от помады. На нем была рубашка с беспощадным воротничком, пристегнутым на горле золотой запонкой, и зеленый галстук с маленьким узелком. Воротник причинял Прыщу легкое удушье. Когда он глотал, воротник и галстук привставали. Костюм на нем был шоколадный, из ворсистой материи; на одной штанине угадывались отпечатки кроватных пружин. Туфли — белые с коричневым, шерстяные носки в красную и зеленую клетку.

Алиса изумилась его виду.

— Нет, вы посмотрите, каков явился! — сказала она.

Прыщ ее ненавидел. Он сел на табурет, от которого только что отошел мистер Причард с чашкой кофе для жены.

— Мне бы кусочек свежего пирога с малиной.— Он боязливо поглядел на Камиллу и чуть сдавленным голосом сказал: — Девушка, вам надо попробовать этого пирога.

Камилла посмотрела на него, и ее взгляд оттаял. Она понимала, когда человеку не по себе.

— Нет, спасибо,— мягко сказала она.— Я позавтракала в Сан-Исидро.

— Я плачу,— шалея, объявил Прыщ.

— Нет, правда, спасибо. Не могу.

— Зато он может,— вмешалась Алиса.— Он может есть их вверх ногами в ванне с пивом в Вербное Воскресенье.— Она крутанула пирог и взяла нож.

— Двойную, пожалуйста,— попросил Прыщ.

— По-моему, получки у тебя не будет,— безжалостно сказала Алиса.— Слопал целиком весь недельный заработок.

Прыщ дернулся. Господи, до чего он ненавидел Алису! Алиса наблюдала за блондинкой. Она чувствовала, в чем дело. Все мужчины в комнате сделали стойку и сосредоточились на приезжей. Алису это встревожило. Хуан войдет — все будет ясно. Минуту назад ей хотелось поскорее спровадить автобус и как следует выпить. Но сейчас — сейчас она встревожилась.

Эрнест Хортон сказал Камилле:

— Если мне удастся добраться до чемодана, я вам по-

кажу, какими смешными штуками я торгую. Новинки. Ужасно забавные.

Она спросила:

— Давно вы вернулись из армии?

— Пять месяцев.

Она перевела взгляд на его лацкан с голубой планкой и белыми звездочками.

— Это хороший, — сказала она. — Он у нас какой-то главный. Да?

— Говорят, что да, — сказал Эрнест. — Хотя поесть на него не купишь. — Они вместе рассмеялись.

— Большой начальник вам его надевал?

— У-у, — ответил Эрнест.

Мистер Причард подался вперед. Его раздражало, что он не понимает их разговора.

Прыц сказал:

— Вам надо попробовать пирога с малиной.

— Не могу, — сказала Камилла.

Алиса сказала:

— Только найди в нем муху — так и надену весь на морду.

Камилла разбиралась в симптомах. Эта уже готова ее возненавидеть. Она настороженно взглянула на остальных двух женщин. От миссис Причард беспокойства не будет. А вот молодая, что очки носить не хочет... Камилла только понадеялась, что им нечего будет делить. Может оказаться тем еще фруктом. Она мысленно крикнула: «О господи, Лорейн, развяжись ты со своим придурком, и опять будем жить вместе». На нее навалилась усталость и страшное одиночество. Она прикинула: а каково это — быть замужем за мистером Причардом. Примерно о таком мужчине она и думала. Наверно, это не очень трудно. По жене его не похоже, чтобы с ним было много хлопот.

Бернис Причард ничего не подозревала. Она не испытывала неприязни к Камилле. Она лишь смутно ощущала какую-то перемену в воздухе, но какую именно — не улавливала.

— Не мешало бы нам собрать вещи, — жизнерадостно сказала она дочери. Между тем вещи уже были собраны.

Из спальни вышел Хуан. Он надел чистые вельветовые брюки, чистую синюю рубашку и кожаную куртку. Его густые волосы были зачесаны назад, а лицо лоснилось после бритья.

— Все готовы? — спросил он.

Алиса наблюдала за ним, пока он огибал стойку. Он даже не взглянул на Камиллу. В Алисе шевельнулась тревога. Хуан смотрел на всех девушек. А раз не посмотрел, значит, что-то не так. Алисе это не понравилось.

Ван Брант, старик с согнутой шеей, вошел со двора и остановился, придерживая сетчатую дверь.

— Опять дождь собирается, — сказал он.

Хуан был краток:

— Уедете со следующим «борзым» в Сан-Исидро.

— Я передумал, — объявил Ван Брант. — Я еду с вами. Хочу посмотреть на этот мост. Но говорю вам, дождь собирается.

— Я думал, вы не хотите ехать.

— Могу я передумать, нет? Почему вы не позвоните еще раз насчет моста?

— Сказали, что он цел.

— Это когда было, — сказал Ван Брант. — Вы не здешний. Не знаете, какие быстрые бывают паводки на Сан-Исидро. А я видел, как она поднимается за три часа на метр, когда холмы сбрасывают воду. Лучше позвоните.

Хуан рассердился.

— Слушайте, — сказал он, — я водитель автобуса. Не первый день. Вам не нравится? Либо езжайте и положитесь на меня, либо оставайтесь, но позвольте мне его вести.

Ван Брант нагнул голову набок и холодно посмотрел на Хуана.

— Не знаю, поеду я с вами или нет. А может, напишу на вас в транспортную комиссию. Вы, между прочим, — общественный транспорт. Прощу не забывать.

— Ну что, поехали? — сказал Хуан.

Алиса исподтишка наблюдала за ним: он не смотрел на Камиллу, не предложил поднести ее чемодан. Скверно. Алисе это не нравилось. Непохоже на Хуана.

Камилла подняла чемодан и заторопилась к автобусу. Ей не хотелось сидеть рядом с мужчиной. Она устала. Она быстро перебрала варианты. Милдред Причард — без спутника, но Милдред ее уже невзлюбила. Зато девушка, которая уволилась, давно в автобусе. Камилла торопливо пересекла двор и поднялась по ступенькам. Эрнест Хортон и мистер Причард не мешкая устремились за ней, но Камилла уже стояла в проходе. Норма сидела не шевелясь. Взгляд

ее был враждебным, а нос красным и блестящим. Норма была крайне напугана своим поступком.

Камилла сказала ей:

— Можно с тобой сесть, детка?

Норма чопорно повернула голову и оглядела блондинку.

— Свободных мест много,— ответила она.

— А все-таки можно? Я потом тебе объясню.

— Располагайтесь, где вам угодно,— важно сказала Норма. Видно было, что вещи на блондинке дорогие. И это сбивало с толку. Люди обычно не хотели сидеть рядом с Нормой. Но тут должна быть причина. Может быть — таинственная причина. Что-то, а фильмы Норма знала. Такое могло вылиться в полнометражный упоительный сюжет. Она подвинулась к окну и освободила место.

— Далеко вы едете? — спросила Норма.

— В Лос-Анджелес.

— Ну! И я туда! Вы там живете?

— Наездами,— сказала Камилла. Она взглянула в окно: мужчины, выскочив из закусочной, увидели, что она села с Нормой. Их стремительность упала. Забег отменяется. Они столпились позади автобуса, чтобы погрузить вещи в багажник.

Хуан задержался у двери закусочной; Алиса смотрела на него через сетку.

— Угломись,— сказал он.— С самого утра черт знает что творится. Постарайся привести себя в порядок до моего приезда.

Лицо у Алисы стало жестче. Она готова была ответить.

Хуан продолжал:

— А то я однажды не приеду.

У нее захватило дух.

— Мне просто нездоровится,— захныкала она.

— Так давай выздоравливай, не перегибай палку. С хворыми, знаешь, долго носиться никто не будет. Никто. Поняла? — Глаза Хуана смотрели не на нее, а сквозь нее и мимо, и Алису охватила паника. Хуан повернулся и пошел к автобусу.

Алиса облокотилась на поперечину сетчатой двери. В глазах собирались большие теплые слезы. «Я толстая,— тихо сказала она,— и старая. Старая, боже мой!» Слезы побежали носом. Она втянула их обратно. Она сказала:

«Ты можешь найти молоденькую, а я что могу? Ничего. Старая галоша». Она тихо хлюпала носом за сеткой.

Мистер Причард был бы не прочь устроиться позади блондинки, чтобы на нее смотреть, но миссис Причард заняла место впереди, и ему пришлось сесть рядом. Милдред сидела отдельно, с другой стороны и позади них. Потом влез Прыщ и сел на место, облюбованное мистером Причардом, а рядом с ним расположился Эрнест Хортон.

К огорчению Хуана, Ван Брант уселся прямо за креслом водителя. Хуан нервничал. Он не выспался, а в доме с раннего утра творилось черт-те что. Он аккуратно сложил чемоданы в заднем багажнике, покрыл брезентом и захлопнул дверь. Потом помахал Алисе — она стояла в закусочной, прислонившись к сетке. Судя по ее позе, она плакала, и это отвечало его намерениям. Отбилась от рук. Он сам не понимал, почему ее не бросит. От самой обыкновенной лени, подумалось ему. Уход от нее означал душевные пертурбации, которых он не желал. Помимо воли он будет беспокоиться о ней, и вообще — маета. Ему сразу понадобится другая женщина, а это — опять споры, разговоры, уговоры. Одно дело — найти с кем переспать, а ему нужна женщина на все время, и это — большая разница. Когда приливаешь к одной, хлопот меньше. Вдобавок после Мексики Хуан не встречал ни одной женщины, кроме Алисы, чтобы умела готовить бобы. Непонятно. В Мексике любая индианка умеет приготовить бобы как следует, а здесь — никто, кроме Алисы: чтобы соусу сколько надо, чтобы дух был бобов, а не приправы. Здесь чего только не кладут — и помидоры, и красный перец, и чеснок — а бобы надо готовить ради них самих, сами по себе, отдельно. Хуан усмехнулся. «Потому что умеет готовить бобы», — сказал он себе.

Но была еще одна причина. Алиса его любила. На самом деле. И он это знал. А этим не бросаются. Это — здание, в нем есть единство, и ты не можешь оставить его, не оторвав кусок от себя. Так что если хочешь быть целым, ты остаешься, как бы мало тебе это не нравилось. Хуан был не из тех, кто долго себя морочит.

Уже перед дверью автобуса он повернулся и быстро пошел к закусочной.

— Ты полечись все-таки, — сказал он Алисе. Взгляд у него был теплый. — Глотни — от зуба. — Он повернулся и зашагал к автобусу. Когда он придет, Алиса будет пья-

ная в дым, но ничего — может, промоет систему и ей станет легче. А если она завалится, он переночует на кровати Нормы. Хуан не переносил ее запаха, когда она напивалась. Запах был кислый, резкий.

Хуан посмотрел на небо. Воздух был неподвижен, но в вышине дул ветер, собирая над горами новые полчища облаков, и облака были плоские, они соединялись и влезали друг на друга в стремительном движении по небу. С больших дубов еще капало, и на листьях герани тоже блестели посередке капли. На земле в затишье кипела деятельность.

Как ни противно ему было соглашаться с Ван Брантом, Хуан тоже боялся, что опять будет дождь — и скоро. Он поднялся по ступеням автобуса. Ван Брант прицепился к нему, не дав даже сесть.

— Знаете, откуда ветер дует? С юго-запада. Знаете, откуда облака натягивает? С юго-запада. А знаете, откуда к нам дожди приходят? — торжествующе спросил он. — С юго-запада.

— Ладно, и так и так когда-нибудь умрем, — сказал Хуан. — И кое-кто — довольно жуткой смертью. Трактор, например, тебя задавит. Не видали, как трактор давит?

— С чего вы это взяли? — спросил Ван Брант.

— Дождь так дождь, — сказал Хуан.

— Нет у меня трактора, — сказал Ван Брант. — У меня четыре пары лошадей, лучшие в штате. Откуда вы взяли про трактор?

Хуан нажал стартер. Он заработал с тонким скрипучим подвыванием, но мотор завелся почти сразу и звучал хорошо. Звук был ровный и чистый. Хуан обернулся.

— Кит, — позвал он, — ты там слушай задний мост.

— Ладно, — сказал Прыщ. Ему было приятно доверие Хуана.

Хуан махнул Алисе и закрыл рычагом дверь. За сеткой не видно было, что она делает. Подождет, пока они не скроются из виду, и только тогда возьмет бутылку. Он надеялся, что она ничего не натворит.

Хуан проехал мимо фасада закусочной и свернул направо на асфальтовую дорогу в Сан-Хуан-де-ла-Крус. Дорога была не очень широкая, но ровная и с выпуклым профилем, так что вода на ней не застаивалась. По долине и холмам были разбросаны пятна солнечного света, разгорюженные подвижными тенями облаков, летевших по небу.

И солнечные места, и тени были пасмурно-серые, хмурые и угрожающие.

«Любимая» подпрыгивала на скорости шестьдесят пять километров. Это был хороший автобус, и задний мост тоже звучал хорошо.

— Никогда не любил тракторы,— сказал Ван Брант.

— Я тоже,— согласился Хуан. У него вдруг сделалось прекрасное настроение.

Ван Брант не мог успокоиться. Хуан преуспел сверх ожидания. Ван Брант повернул к нему голову на согнутой шее.

— Слушайте, а вы не из этих предсказателей или как их там?

— Нет,— сказал Хуан.

— А то ведь я во всякую эту ерунду не верю,— сказал Ван Брант.

— Я тоже,— сказал Хуан.

— А трактор ни за что бы не стал держать.

У Хуана язык чесался сказать: «У меня брат был, так его лошадь копытом убила»,— но он подумал: «Тьфу ты, нашел с кем тягаться. Интересно, отчего он так напуган».

ГЛАВА 9

Дорога в Сан-Хуан-де-ля-Крус была асфальтовая. В двадцатые годы в Калифорнии проложили сотни километров бетонных шоссе, и люди, развалившись поудобнее, говорили: «Ну, это — вечное. Это проживет, сколько римские дороги, и дольше — никакая трава сквозь бетон не прорастет, не пробьется». Но они ошибались. Обутые в резину грузовики, тяжело подскакивающие машины били бетон, и он со временем терял крепость, начинал крошиться. Там обломится бровка, тут появится выбоина или трещина пробежит, а зимой ее еще льдом разопрет, и вот стойкий цемент сдастся под ударами резины и ломается.

Потом ремонтные бригады заливали трещины гудроном, чтобы преградить путь воде, но — без толку, и в конце концов бетон стали покрывать асфальтом. Этот оказался живучим, потому что не так упрямо встречал удары шин. Он слегка подавался, потом слегка выравнивался. Летом размягкал, зимой твердел. И постепенно все дороги покрылись

лоснящейся черной одеждой, которая отливает вдалеке серебром.

Дорога на Сан-Хуан долго бежала ровными полями, и поля были разгорожены, потому что скот здесь больше не гулял. Земля была слишком дорога для выпаса. Поля подходили к самому шоссе. Они заканчивались кюветами. В кюветах буйно росли полевая горчица и местная сурепка с лиловыми цветочками. Вдоль канав тянулся синий люпин. Маки стояли в бутонах, потому что раскрывшиеся цветы обил ливень.

Дорога бежала прямо к предгорью — округлым, женственным холмикам, мягким и притягательным, как тело. И облегавшая их зеленая травка казалась бархатистой, как молодая кожа. От дождя холмы стали яркими, сочными, и по ровной красивой дороге среди красоты катился автобус «Любимая». Отражались в воде канав его отмытые блестящие бока. Качались перед стеклом талисманы — крохотные боксерские перчатки, детские башмачки. С лунного серпа над приборной доской ласково смотрела на пассажиров Дева Гвадалупская.

Из заднего моста не слышалось грубого или нехорошего звука, только коробка скоростей тихо подвывала. Хуан уселся поудобнее, предвкушая приятную езду. Перед ним было большое зеркало, где он мог видеть пассажиров, а за окном другое — длинное, в нем отражалась дорога сзади. Дорога была пустынна. Его обогнали несколько легковых машин, но ни одной не попалось навстречу. Сперва он был смутно озадачен этим, потом забеспокоился всерьез. А вдруг мост вышел из строя? Ну что ж, тогда придется ехать назад. Он отвезет их всех в Сан-Исидро и там высадит. Если мост снесло, автобус ходить не будет, пока его не восстановят. Он увидел в зеркале, что Эрнест Хортон раскрыл чемодан с образцами и показывает Прыщу какую-то игрушку, которая завертелась, блеснула и исчезла. Заметил, что Норма с блондинкой наклонились друг к дружке и разговаривают. Он чуть прибавил скорость.

Он не собирался ухаживать за блондинкой. Подступить к ней не было никакой возможности. А Хуан уже достаточно пожил, чтобы не страдать из-за того, что недоступно. Конечно, подвернись ему случай, он бы и задумываться не стал, что делать. У него заныло под ложечкой, едва он ее увидел.

До сих пор Норма держалась с Камиллой чопорно. Она взяла такой холодный тон, что просто не могла сразу оттаять. Но Камилле она нужна была как щит, да и ехали они в одно место.

— Я ни разу не была в Лос-Анджелесе и Голливуде. — призналась Норма потихоньку, чтобы не услышал Эрнест. — Ни куда пойти, не знаю, ничего.

— А что ты собираешься делать? — спросила Камилла.

— Устроюсь на работу, наверно. Официанткой или еще где-нибудь. Хотелось бы устроиться в кино.

Губы Камиллы растянулись в сухой улыбке.

— Сперва все-таки устройся официанткой, — сказала она. — Кино — лихая лавочка.

— Вы актриса? — спросила Норма. — Вы похожи на актрису.

— Нет, — сказала Камилла. — Я работаю сестрой. У зубных врачей.

— Вы живете в гостинице или у вас дом, комната?

— Жить мне негде, — сказала Камилла. — До того, как уехала работать в Чикаго, мы с подругой снимали квартиру.

Взгляд у Нормы оживился.

— Я скопила немного, — сказала она. — Может быть, снимем вместе? Слушайте, если я устроюсь в ресторан, на еду тратить почти не придется. И домой могла бы приносить. — Глаза у Нормы разгорелись. — Да ведь если снимать вдвоем, это не так дорого. И чаевые, наверно, будут.

Камилла расположилась к девушке. Она взглянула на красный нос, землистые щеки и маленькие бесцветные глаза.

— Посмотрим, как получится, — сказала она.

Норма наклонилась поближе.

— Я знаю, что волосы у вас не крашенные, — сказала она. — Но может, вы научите, как мне мои подкрасить. А то — как мышь. Прямо мышь.

Камилла рассмеялась.

— Ты бы удивилась, если бы узнала, какие они у меня на самом деле, — сказала она. — А ну-ка посиди спокойно. — Она разглядывала лицо Нормы, прикидывая, что могут сделать здесь крем, пудра и тушь, пытаясь представить себе, как будут выглядеть блестящие и завитые волосы, как увеличит глаза тень на веках, как переиначит рот губная пома-

да. Насчет красоты Камилла не питала иллюзий. Без грима Лорейн была линялой кошкой — а вот же обходилась. Поработать над этой девушкой и вселить в нее немного уверенности — и интересно, и, опять же, напарница будет. И может быть, даже лучше, чем Лорейн.

— Это надо обдумать, — сказала она. — Красивые здесь места. Хотела бы я когда-нибудь поселиться за городом. — В голове у нее возникла картина, прообраз того, что у них получится. Норму нужно улучшить. Она будет даже хорошенькая, если будет за собой следить. А потом Норма познакомится с парнем и, конечно, приведет домой, чтобы им похвастаться, а парень станет подкатываться к Камилле, и Норма ее возненавидит. Вот так все и будет. Так уже бывало. Но какого черта! До тех пор-то им будет хорошо. Да и предупредить это можно — уходить заранее, когда Норма вздумает привести его.

Дружелюбное чувство согрело Камиллу.

— Это надо обдумать, — сказала она.

Хуан увидел впереди раздавленного зайца. Многим доставляет удовольствие переехать какого-нибудь зверька, а Хуан этого не любил. Он чуть повернул руль, расплюснутая тушка прошла промеж колес, и под шиной не хрупнуло. Он держал скорость чуть-чуть за семьдесят. Большие автобусы на шоссе часто гнали под сто, Хуану же спешить было некуда. Еще три километра дорога будет прямой, а потом начнет петлять между круглых холмов. Хуан снял одну руку с баранки и потянулся.

Пролетавшие телеграфные столбы похлестывали по глазам Милдред Причард. Очки она все же надела. Она следила за лицом Хуана в зеркале. С ее места оно было видно чуть больше, чем в профиль. Милдред заметила, что он то и дело поднимает голову — взглянуть на блондинку, — и ее разбирала злость. Ее до сих пор смущало то, что произошло в закусочной. Никто об этом, конечно, не знал — разве что Хуан Чикой догадался. Она до сих пор ощущала тепло и легкий зуд. И в голове крутилась одна и та же фраза. Не блондинка она, не сестра и никакая не Камилла Дубс. Фраза выскакивала и выскакивала, раз за разом. Милдред усмехнулась про себя. «Ага, пытаемся ее истребить, — подумала она. — Какая глупость. Почему не признаться прямо, что ревную? Я ревную. Хорошо. Ну и что же, меньше я ревную оттого, что призналась? Нет, не меньше. Но отец

из-за нее выглядит дураком. Хорошо. Не все ли мне равно, дурак он или нет? Нет, не все равно — когда мы вместе. Стесняюсь перед людьми, что я его дочь, и только. Нет, это тоже неправда. Не хочу ехать с ним в Мексику. Прямо слышу все, что он скажет». Ей было неуютно, и тряска тоже не улучшала самочувствия. «Баскетбол,— подумала она,— это — дело». Она напрягла мускулы бедер и подумала о стриженном под ежик студенте с инженерного факультета. Она стала вспоминать их роман.

Мистер Причард уже устал и соскучился. Соскучившись, он бывал несносен. Он егозил.

— Края, кажется, богатые,— сказал он жене.— Ты знаешь, большую часть овощей для Соединенных Штатов выращивает Калифорния.— Миссис Причард уже слышала, как она будет рассказывать дома о путешествии.

«Потом мы ехали и ехали по зеленым полям, поросшим люпином и маками, прямо как в саду. В каком-то странном местечке к нам под села молодая блондинка, и мужчины вели себя нелепо, даже Элиот. Я потом потешалась над ним неделю». Она напишет об этом в письме. «Но я совершенно уверена, что это бедное размалеванное создание — милейшее и очаровательное существо. Она назвалась медицинской сестрой, но я думаю, что она, вероятно, актриса — знаете, на маленькие роли. В Голливуде их масса. Тридцать восемь тысяч зарегистрированных. У них большое агентство по найму. Тридцать восемь тысяч». Она слегка кивала головой. Ей хотелось спать и есть. «Интересно, какие еще нас ждут приключения»,— думала она.

Когда миссис Причард погружалась в мечтания, от мужа это не ускользало. Они достаточно прожили вместе, поэтому он сразу улавливал, что жена не слушает его, и обычно продолжал говорить. Он часто уточнял свои мысли о делах или о политике, излагая их жене, когда она не слушала. У него была цепкая память на цифры и факты. Он знал, сколько приблизительно тонн сахарной свеклы производит долина Салинас. Он где-то прочел об этом и запомнил, хотя цифра была ему совершенно ни к чему. Он считал, что такие сведения полезны, и никогда не задавался вопросом, насколько они полезны и почему. Но сейчас его не тянуло к положительным знаниям. Мощный магнит воздействовал на него сзади. Хотелось обернуться и поглядеть на блондинку. Хотелось сидеть там, откуда ее видно.

Позади находились Хортон и Прыщ. Нельзя же просто сесть напротив и глазеть на нее.

Миссис Причард спросила:

— Сколько ей, по-твоему, лет?

Вопрос ошеломил его, потому что он размышлял как раз о том же.

— Кому сколько лет? — спросил он.

— Этой молодой женщине. Молодой блондинке.

— А-а, ей. Почему я знаю? — Ответ прозвучал так грубо, что жена немного растерялась и обиделась. Он увидел это и попытался прикрыть промашку. — Девочки больше понимают про девочек, — сказал он. — Тебе легче угадать, чем мне.

— Почему? Нет, не знаю. При такой косметике и крашенных волосах... трудно сказать. Мне просто интересно. Думаю, что-нибудь от двадцати пяти до тридцати.

— А я совершенно себе не представляю, — сказал мистер Причард. Он посмотрел в окно на приближавшиеся холмы. Ладони у него слегка взмокли, магнит сзади притягивал его. Хотелось оглянуться. — Просто не представляю, — сказал мистер Причард. — А вот этот молодой, Хортон, меня заинтересовал. Он молод, у него есть хватка и мысли есть. Нет, этот человек мне по душе. Знаешь, такому нашлось бы место в нашей компании. — Речь уже шла о коммерции.

Бернис тоже умела оградить себя магическим кругом — материнства или, скажем, менструации, или темы в этом роде, и ни один мужчина не мог или не захотел бы вступить внутрь. А у мужа таким магическим кругом была коммерция. Когда дело касалось коммерции, она не смела к нему приблизиться. В коммерции она ничего не понимала и не интересовалась ею. Это была его территория, и жена ее уважала.

— Кажется, приятный молодой человек, — сказала она. — Его речь и манеры...

— Помилуй, Бернис! — раздраженно перебил он. — Коммерция — это не речь и манеры. Коммерция — это чего ты стоишь в делах. Это самое демократичное занятие на свете. На что ты годишься в деле — все остальное не в счет.

Он пытался вспомнить, какие у блондинки губы. Он был убежден, что женщины с полными губами сладострастны.

— Хотелось бы немного поговорить с Хортоном, пока он здесь,— сказал мистер Причард.

Бернис знала, что он беспокоен.

— Почему вам не поговорить сейчас? — предложила она.

— Да не знаю. Он сидит с мальчиком.

— Я уверена, что мальчик пересядет, если ты его мило попросишь.— Она была уверена, что любой человек окажет тебе любую услугу, если его мило попросить. И у нее это действительно получалось. Она обращалась с самыми нескромными просьбами к незнакомым людям и получала желаемое исключительно благодаря тому, что обращалась мило. Она просила посыльного в гостинице отнести ее чемоданы на станцию за четыре квартала — не брать же такси из-за такого пустяка,— а потом мило благодарила его и давала десять центов.

Сейчас она знала, что помогает мужу сделать что-то нужное. Что именно — она не совсем понимала. Ей хотелось вернуться к сочинению воображаемого письма о путешествии. «Элиот так всем интересуется. Со всеми подолгу разговаривает. Поэтому, наверно, он столько и добился. Ему все интересно. И он такой тактичный. Там был мальчик с большими прыщами, и Элиоту не хотелось его беспокоить, но я ему сказала, что надо только мило попросить. Людям нравится, когда с ними любезны».

Мистер Причард опять чистил ногти золотым инструментом, который носил на часовой цепочке.

Взгляд Прыща был прикован к затылку Камиллы. Сев, он первым делом проверил, не видно ли под сиденьем ее ног, хотя бы щиколоток. Время от времени она поворачивалась к окну, и тогда он видел ее профиль, длинные начерченные, загнутые ресницы, прямой напудренный нос с чуть потемневшими от табачного дыма и дорожной пыли ноздрями. Четко очерченная верхняя губа чуть выдавалась вперед, вспухая тяжелым красным лепестком, и Прыщ видел над ней зачаточный пушок. Почему-то это его мучительно возбуждало. Когда ее голова была повернута прямо, он видел в открывшемся между прядями просвете одно ее ухо. Видел тяжелую мочку и складку в глубине, где ухо плотно прилегало к голове. Край раковины заворачивался желобком. Когда он стал смотреть на ее ухо, она, словно почувствовав его взгляд, вскинула голову и тряхнула волосами, так

что просвет исчез и ухо скрылось. Она достала из сумки гребень, потому что волосы сдвинулись и открыли глубокий шрам от зажимов под ухом. Прыщ увидел уродливый шрам впервые. Ему пришлось наклониться в сторону, чтобы разглядеть, и в груди у него закололо. Он ощутил глубокую и бессмысленную печаль, но печаль тоже была плотоядной. Он вообразил, как держит ее голову и гладит пальцем бедный шрам. Он несколько раз сглотнул.

Камилла тихо сказала Норме:

— А еще там есть маленькая церковь на Вереске. Наверно, самое красивое кладбище на свете. Знаешь, туда пускают по билетам. Я люблю там просто гулять. Так красиво, и почти все время играет орган, а кругом похоронены люди, которых ты видела в кино. Я всегда говорю: вот где я хотела бы, чтоб меня похоронили.

— Не люблю таких разговоров,— сказала Норма.— Плохая примета.

Прыщ рассеянно беседовал с Эрнестом Хортоном об армии.

— Говорят, можно получить специальность и повсюду ездить. Не знаю. Я записался на радарные курсы. Начинаются со следующей недели, заочные. По-моему, радар сейчас входит в силу. А в армии можно пройти настоящий основательный курс радиолокации.

Эрнест сказал:

— Не знаю, как в мирное время. На войне — учись сколько влезет.

— А вы бывали в настоящих боях?

— Побывал, хоть и не напрашивался.

— А где вы служили? — спросил Прыщ.

— Да по всему пеклу,— сказал Эрнест.

— Может, осмотрюсь немного, а там устроюсь, как вы, по торговой части,— предположил Прыщ.

— А это — просто положить зубы на полку, пока не наладишь связи,— сказал Эрнест.— У меня пять лет ушло на то, чтобы завязать связи, и тут меня призвали. Я только-только поднимаюсь на ноги. В это нельзя вот так просто взять и войти, надо поработать. Кажется, и не работа вовсе — а еще какая. Если бы я начинал все снова, я бы получил специальность, чтобы хоть дом иметь. Как хорошо, когда есть жена и пара ребятишек.— Эрнест всегда так говорил. А выпивши — и верил. Дом ему был не нужен. Он

любил ездить и видеть разных людей. Из дома он сбежал бы сразу. Однажды он был женат — и ушел на второй день, бросив вконец перепуганную и разгневанную жену, после чего больше ее не видел и не писал ей. Но как-то раз увидел ее фотографию. Ее забрали: вышла замуж за пятерых и за каждого получала армейское пособие. Вот это невеста. Ничего не скажешь, обернулась. Эрнест даже восхищался ею. С такого оборота и прибыль настоящая.

— А почему дальше не хочешь учиться? — спросил он Прыща.

— Да ну их с их премудростью, — сказал Прыщ. — Эти студенты — все равно как барышни. А я хочу жить, как мужчина.

Камилла наклонилась к Норме и шептала ей на ухо. Обе тряслись от смеха. Автобус на скорости вписался в поворот, и его обступили холмы. Дорога пошла между крутыми склонами, почва на откосах была темной, сочилась водой. Короткие золотоспинные папоротники цеплялись за гравий, и с них тоже капало. Хуан положил правую руку на руль и свободно свесил оба локтя. Теперь пятнадцать минут дорога будет петлять между холмами, без единого прямого участка. Он взглянул в зеркальце на блондинку. Вокруг глаз у нее собрались морщинки от смеха, и она прикрывала рот растопыренными пальцами, как девочка.

Мистер Причард, отправившись назад, был неосмотрителен, и на вираже его кинуло в сторону. Он хотел схватиться за спинку, промахнулся и рухнул на колени Камилле. Правой рукой, пытаясь задержать падение, он задрал ее короткую юбку, и его рука попала ей между колен. Юбка треснула. Камилла помогла ему подняться и одернула юбку. Мистер Причард густо покраснел.

— Я очень виноват, — сказал он.

— Ничего страшного.

— Но я порвал вам юбку.

— Я починю.

— Но я должен заплатить за починку.

— Я сама зашью. Тут немного. — Она посмотрела на его лицо и поняла, что он изо всех сил старается растянуть объяснение. «Сейчас захочет узнать, по какому адресу выслать деньги», — подумала она.

Миссис Причард окликнула мужа:

— Элиот, ты решил посидеть у дамы на коленях?

Тут даже Хуан рассмеялся. Рассмеялись все. И вдруг люди в автобусе перестали быть чужими. Произошла какая-то химическая реакция. Норма хохотала истерически. Все напряжение утра разрядилось в этом хохоте. Мистер Причард сказал:

— Должен заметить, вы вели себя мужественно. Я шел сюда не затем, чтобы сидеть у вас на коленях. Я хотел обменяться несколькими словами с этим джентльменом. Другок,— сказал он Прыщу,— ты не мог бы пересесть на минуту? Мне надо обсудить одно дело с мистером... я, по моему, не знаю вашей фамилии?

— Хортон,— сказал Эрнест,— Эрнест Хортон.

Мистер Причард владел самыми разными приемами обращения с людьми. Он никогда не забывал имя человека более богатого или влиятельного, чем он, и никогда не знал имени человека менее влиятельного. Он обнаружил, что, вынудив человека назваться, ты ставишь его в невыигрышное положение. Когда человек называет себя, он чувствует себя несколько оголенным и незащищенным.

Камилла смотрела на порванную юбку и тихо разговаривала с Нормой.

— Мне всегда хотелось жить на холме,— говорила она.— Я люблю холмы. Люблю гулять по холмам.

— Все это очень хорошо, когда ты богатая и знаменитая,— решительно сказала Норма.— Я знаю людей в кино: чуть выдастся свободный час — и, представляете, идут охотиться или удить рыбу, наденут старье и курят трубку.

Норма раскрывалась перед Камиллой. Никогда в жизни она не ощущала такой приподнятости и свободы. Она могла говорить все, что заблагорассудится. Она тихонько посмеивалась.

— Куда приятней носить старые грязные платья, если у тебя полон шкаф красивых, чистых, новых,— сказала она.— А у меня только старые и есть, и они мне до смерти надоели.— Норма взглянула на Камиллу — как она отнесется к такой откровенности. Та кивнула.

— Верно говоришь, детка.— Что-то очень сильное и родственное все больше сближало их. Мистер Причард пытался подслушать их разговор, но не мог.

Вода, бежавшая в долину, наполнила кюветы до краев. Тяжелые тучи накапливались для новой атаки.

— Дождь собирается,— радостно предупредил Ван Брант.

Хуан закричал.

— У меня шурина лошадь копытом убила,— буркнул он.

— Значит, совсем бестолковый,— сказал Ван Брант.— Если лошадь человека лягнула, чаще всего сам виноват.

— Сам или не сам, а убила,— сказал Хуан и умолк.

Вершина подъема была уже близко, и виражи делались все круче и круче.

— Мне показался очень интересным наш короткий утренний разговор, мистер Хортон. Приятно поговорить с человеком, у которого есть хватка и сметка. Я постоянно присматриваю таких людей для моей компании.

— Благодарю,— сказал Эрнест.

— Как раз сейчас у нас много хлопот с этими демобилизованными,— сказал мистер Причард.— Понимаете, хорошие люди. И я считаю, что для них должно быть сделано все-все. Но они отстали от жизни. Устарели. А в нашем деле надо все время идти в ногу. Кто шел в ногу, стоит двоих, которые, так сказать, выбрались из мясорубки.— Он посмотрел на Эрнеста, ожидая одобрения. Но вместо этого увидел в глазах Эрнеста какую-то колючую насмешку.

— Понял вас,— сказал Эрнест.— Я четыре года был в армии.

— О! — сказал мистер Причард.— О, ну да — вы, я вижу, не носите увольнительного значка.

— У меня есть работа,— сказал Эрнест.

Мысли у мистера Причарда путались. Какая грубая оплошность с его стороны. Он не мог сообразить, что это за штука у Эрнеста в петлице. Что-то знакомое. Ведь знает он ее.

— Они отличные ребята,— сказал он,— надеюсь только, мы все же обзаведемся правительством, которое сумеет о них позаботиться.

— Как после той войны? — спросил Эрнест. Это был двойной укол, и мистер Причард усомнился, прав ли он был в своем расположении к Хортону. Была в Хортоне какая-то грубость. Какая-то развязность и сумасбродство, заметные у многих бывших солдат. Врачи говорят, что это у них пройдет, когда они проживут немного нормальной пристойной жизнью. Они выбиты из колеи. Надо обязательно что-то сделать.

— Я всегда первым готов встать на защиту наших ветеранов,— сказал мистер Причард. Боже, как ему хотелось отделаться от этой темы. Эрнест глядел на него с кривоватой усмешкой, которую ему уже приходилось замечать у претендентов на место.— Я просто подумал, что стоит порасспросить человека с вашей хваткой и сметкой,— смущенно сказал мистер Причард.— Я был бы очень рад, если бы вы зашли ко мне после отпуска. У нас всегда найдется место для человека с такими качествами.

— Ну что ж,— сказал Эрнест,— по правде, мне осточертело без конца мотаться по стране. Я часто думаю — неплохо было бы обзавестись домом, женой и парой ребятишек. Это жизнь. Приходишь вечером домой, затворился от всего мира, а тут у тебя, к примеру, мальчик и девочка. А ночевки в отелях — разве житье?

Мистер Причард кивнул.

— Вы правы на все сто,— сказал он с большим облегчением.— Кому-кому, а мне это объяснять не надо. Двадцать один год женат и не хочу ничего другого.

— Вам повезло,— сказал Эрнест.— Ваша жена прекрасно выглядит.

— Она и жена прекрасная,— сказал мистер Причард.— Самый заботливый человек на свете. Я часто думаю, что бы я делал без нее.

— Я тоже был женат,— сказал Эрнест.— Она умерла.— Лицо у него стало грустным.

— Сочувствую,— сказал мистер Причард.— Извините, конечно, за банальность. Но время залечивает раны. И может быть, вы еще... словом, я бы не терял надежды.

— Нет, я не теряю.

— Не хочу совать нос в чужие дела,— сказал мистер Причард,— но я тут подумал о вашей идее насчет чехлов на лацканы, чтобы превратить темный костюм в смокинг. Если вы ни с кем не связаны, я подумал, что мы могли бы... ну, обсудить это в деловом плане.

— Я ведь вам объяснил положение. Фирмы готового платья не потерпят того, что потеснит их с рынка. Я пока не вижу никакого подступа.

Мистер Причард сказал:

— Я забыл, вы, кажется, подавали заявку на патент?

— Да нет. Я вам говорил. Я только зарегистрировал идею.

— Что значит зарегистрировали?

— Ну, составил описание, с чертежами, положил в конверт и отправил по почте себе, заказным. Этим засвидетельствовано, к о г д а я придумал — потому что конверт запечатан.

— Понимаю,— сказал мистер Причард и спросил себя, действителен ли такой способ юридически. Неизвестно. Но всегда лучше принять изобретателя в пай. Только самым крупным людям по карману взять изобретение на корню. Крупным людям по карману долгая драка. Они рассчитали, что это дешевле, чем войти с изобретателем в долю, и цифры показывают, что они правы. Но фирма мистера Причарда была не настолько крупна, а кроме того, он всегда считал, что великодушные окупаются.

— У меня есть две-три дельных мысли,— сказал он.— Конечно, тут нужна какая-то организация. А что, если нам с вами заключить сделку? Все это пока предположительно, понимаете, надеюсь? Я обеспечиваю организацию, а прибыли мы делим.

— Но никому это не нужно,— сказал Эрнест.— Я уже спрашивал.

Мистер Причард положил руку ему на колено. В груди сосало: надо замолчать, но он помнил усмешку в глазах Эрнеста, и ему хотелось понравиться Эрнесту, вызвать восхищение. Он не мог замолчать.

— Предположим, мы организовали компанию и защитили идею,— сказал он.— То есть запатентовали. Теперь мы готовимся к производству этого продукта, даем рекламу по всей стране...

— Одну минутку,— перебил Эрнест.

Но мистера Причарда несло:

— Теперь предположим, что наши планы как-то попали в руки, скажем, ну, Харта, Шафнера и Маркса или какого-нибудь другого крупного фабриканта или же акционерного общества. Конечно, они попадают туда по чистой случайности. И нас захотят откупить.

Эрнест заинтересовался.

— Откупить патент?

— Не только патент, а всю компанию.

— Но если они купят патент, они смогут похоронить идею,— сказал Эрнест.

Глаза у мистера Причарда сузились и поблескивали за очками, в углах рта притаилась улыбка. Он впервые забыл о Камилле с тех пор, как она вышла из автобуса на Мятёжном углу.

— Загляните немного дальше,— сказал он.— Когда мы продаем и ликвидируем компанию, мы платим только налог с прибылей.

— Толково,— в возбуждении сказал Эрнест.— Да, сэр, очень толково. Это шантаж, и шантаж высочайшего класса. Да, сэр, тут под нас не подкопаться.

Улыбка сошла с губ мистера Причарда.

— В каком смысле шантаж? Мы собирались развернуть производство. Мы могли даже заказать оборудование.

— Именно в этом смысле,— сказал Эрнест.— Высокий класс. Ажурная работа. Вы толковый человек.

Мистер Причард сказал:

— Надеюсь, вы не считаете это непорядочным. Я занимаюсь коммерцией тридцать пять лет и поднялся в моей компании на самый верх. Я могу гордиться моей репутацией.

— Я вас не критикую,— сказал Эрнест.— Эта ваша мысль мне кажется очень дельной. Я — за, только...

— Что только? — спросил мистер Причард.

— С деньгами у меня слабовато,— сказал Эрнест,— а мне надо по-быстрому зашибить. Перехватить, на худой конец.

— Зачем вам деньги? Может быть, я вам ссужу...

— Нет,— сказал Эрнест,— сам достану.

— Что, придумали новый поворотик? — спросил мистер Причард.

— Да,— сказал Эрнест,— послать мою идейку в патентное бюро с почтовым голубем.

— Надеюсь, у вас и в мыслях нет...

— Конечно, нет,— сказал Эрнест.— Боже упаси. Но у меня будет веселей на душе, если этот конверт прилетит в Вашингтон в одиночку.

Мистер Причард откинулся на спинку и улыбнулся. Дорога впереди вилась и петляла и промеж двух громадных уступов ныряла в следующую долину.

— Молодой человек, не волнуйтесь. Мне кажется, мы с вами столкнемся. Только не думайте, пожалуйста, что я хочу вас обойти. Моя репутация говорит сама за себя.

— Да я не думаю,— сказал Эрнест.— Не думаю.— Он искоса взглянул на мистера Причарда.— Дело-то в том, что у меня в Лос-Анджелесе пара роскошных дамочек, и я боюсь забраться в их квартирку и обо всем на свете забыть.— Реакция была та, на какую он рассчитывал...

— Я пробуду два дня в Голливуде,— сказал мистер Причард.— Можем обговорить там наши дела.

— К примеру, у дам на квартире?

— Надо же время от времени слегка расслабиться. Я останавлиюсь в Беверли Уилшир. Позвоните мне туда.

— Обязательно,— сказал Эрнест.— Вы какой масти дам предпочитаете?

— Поймите меня правильно,— сказал мистер Причард.— Просто посидеть и выпить виски с содовой — все-таки у меня определенное положение. Так что прошу понять меня правильно.

— Ну как же,— сказал Эрнест.— Если желаете, попробуем подобрать эту блондинку.

— Не глумите,— сказал мистер Причард.

Прыщ пересел вперед. Под подбородком он ощущал жгучий зуд и знал, что образуется новый вулкан. Он сел наискосок от Милдред Причард. Он не хотел трогать новообразование руками, но руки не подчинялись. Правая поднялась, и указательный палец потер шишечку под подбородком. До чего болела шишечка. Этот будет зверь. Прыщ уже знал, каков он будет с виду. Хотелось выдавить его, расцарапать, содрать. Нервы были натянуты. Он загнал руку в карман пиджака и сжал кулак.

Милдред рассеянно смотрела в окно.

— И мне охота в Мексику,— сказал Прыщ.

Милдред удивленно обернулась к нему. Очки отразили свет из окна и уставились на него бельмами бликов.

Прыщ сглотнул.

— Никогда там не был,— сказал он слабым голосом.

— Я тоже,— сказала Милдред.

— Да, вы-то едете.

Она кивнула. Она не хотела смотреть на него, потому что не могла отвести глаз от прыщей, а он стеснялся.

— Может быть, и вы скоро съездите,— смущенно сказала она.

— Угу, я поеду,— сказал Прыщ.— Я всюду поезжу. Я любитель путешествовать. Для меня лучше нет чем путешествовать. Так жизнь узнаешь.

Она опять кивнула и сняла очки, чтобы отгородиться от него. Теперь она видела его не так ясно.

— Я думал, хорошо бы стать миссионером, как Спенсер Трейси, уехать в Китай и лечить их от всяких болезней. Вы были в Китае?

— Нет,— сказала Милдред. Она была зачарована ходом его мыслей.

Большинство своих мыслей Прыщ черпал из кинофильмов, остальные из радиопередач.

— А народ в Китае очень бедный,— сказал он,— есть такие бедные, что умирают с голоду прямо у тебя под окном, если какой-нибудь миссионер не выйдет помочь. А помог ты им — ну, они тебя любят, и пусть только япошка какой-нибудь сунется — они его сразу ножом.— Он мрачно кивнул.— Я думаю, они такие же, как мы с вами, не хуже,— сказал он.— А Спенсер Трейси приехал и стал их лечить — и они его полюбили... и знаете, что он еще сделал? Он открыл в себе душу. А там была девушка, и он сомневался, то ли жениться на ней, то ли нет, потому что она была с прошлым. Ну, конечно, оказалось, что она в этом не виновата, и вообще это неправда — все старуха на нее наговорила.— Глаза у Прыща блестели от жалости и воодушевления.— Но Спенсер Трейси не поверил этой клевете, он жил в старом дворце с тайными коридорами и подземными ходами и... ну а потом пришли япошки.

— Я видела картину,— сказала Милдред.

Автобус на второй скорости брал последний подъем. Но вот расселась впереди вершина, и распахнулось пространство, и с крутого левого поворота открылась внизу хмурая, под серыми тучами, долина, и тусклой сталью блеснула в грозном свете широкая излуцина реки Сан-Исидро. Хуан включил пятую передачу и поехал под уклон.

ГЛАВА 10

Река Сан-Исидро течет по долине Сан-Хуан, виляя и поворачивая, покуда не изливается лениво в бухту Блек Рок под косой Бэт. Сама долина длинная и не очень широ-

кая, и река, которой течь не так уж далеко, старается по-больше растянуть свой путь, перекидываясь от одного края плоской полосы к другому. То прижмется к горе и протиснется под обрывом, то растечется мелко по песчаным перекатам. Изрядную часть года воды в реке нет совсем, и песчаное ложе сплошь зарастает ивняком, который тянется корнями к подземной воде.

Когда вода уходит, в ивняке селятся кролики, еноты, койоты и мелкие лисы. В верховьях, на севере и на востоке, река идет не одним руслом, а собирается из многих ручьев, так что на карте истоки напоминают дерево с короткими голыми веточками. Сухие каменные холмы с крутыми склонами, расселинами и водомоинами весь год держат реку на голодном пайке, зато в дождливую пору, в конце зимы и весной, каменистые склоны впитывают мало воды, а остальную сбрасывают черными стремительными ручейками, и ручейки выбегают из ложбин, растут и впадают в ручьи по-больше, а те сливаются в северном конце долины.

Вот отчего поздней весной, когда холмы впитают столько воды, сколько могут, река Сан-Исидро от сильной грозы вздувается за несколько часов бешеным паводком. И тут пенная желтая вода грызет берега, и громадные ломти угодий обваливаются в реку. Тут трупы коров и овец катятся в желтой стремнине. Это шальная, вспыльчивая река; часть года — мертвая, а остальную часть — смертоносная.

Если провести прямую из Мятежного угла в Сан-Хуан-де-ла-Крус, она пересечет долину посередине, и как раз тут река делает большую излучину, кидаясь петлей к горе на восточном краю и утекая прочь между полей и ферм. В прежнее время дорога шла вдоль излучины и карабкалась по склону, чтобы не пересекать реку. Но появились инженеры, бетон и сталь, и через реку легли два моста, скостивши с ее шалостей двадцать километров.

Это были деревянные мосты, но усиленные стальными стержнями и опирались концами на бетонные устои, а серединами — на бетонные быки. Дерево было выкрашено красным суриком, и железо тоже покраснело от ржавчины. Ивовые фашины на кольях отражали воду в пролеты, чтобы грызущий поток не подмывал предмостья.

Мосты были не очень старые, но сооружены в ту пору, когда не только налоги были низки, но и собрать их целиком не удавалась по причине так называемых «трудностей».

Окружной инженер решил строить то, что по средствам, а средства позволяли только простейшую конструкцию. И лес не мешало бы взять потолще, и раскосов поставить побольше, но надо было уложиться в определенную сумму, и он уложился. И каждый год фермеры средней долины созерцали реку с насмешливой опаской. Они знали, что в один прекрасный день будет быстрый сокрушительный паводок и мосты снесет. Каждый год они ходатайствовали перед округом о замене деревянных мостов, но маловато было голосов в сельской местности, чтобы этим ходатайствам вняли. Средства шли большим городам, где были не только голоса, но также имущество, подлежащее обложению. Народ не стремился на среднеплодородные земли. Клочок с хорошей заправочной станцией в Сан-Хуане давал казне больше, чем полсотни гектаров пашни в долине. Фермеры знали, что гибель мостов — вопрос только времени, и тогда уж, говорили они, эти, в округе, небось прочухаются.

В сотне метров от первого моста на дороге в Сан-Хуан стоял магазинчик. Он торговал бакалеей, шинами, скобяными изделиями, которые человек покупает в субботу под вечер или если ему некогда съездить в Сан-Хуан-де-ла-Крус или через горы в Сан-Исидро. Это был универсальный магазин Брида. А с недавних пор, как и все сельские магазины, он обзавелся бензоколонками и автомобильными запчастями.

Мистер Брид с женой были неофициальными смотрителями моста, в паводки их телефон звонил непрерывно, и они сообщали, сильно ли поднялась вода. Они к этому привыкли. Больше всего они боялись, что мост однажды снесет, а новый построят на полкилометра ниже, и тогда придется переносить магазин или же строить новый возле нового моста.

Половину выручки им давали лимонады, бутерброды, бензин и сладости, купленные проезжими. Даже автобус из Мятежного угла на Сан-Хуан всегда здесь останавливался. Он забрасывал срочные грузы, а пассажиры заходили попить. Хуан Чикой и Бриды были старыми друзьями.

И вот река поднялась, да не просто поднялась, а, как скажет жене Брид, «очень крутит за кольями перед мостом, и если она там прорвется, пиши пропало». С рассвета он уже пять раз ходил к мосту. Сегодня она набедокурит, мистеру Бриду было ясно. Небритый, с поджатыми губа-

ми, он стоял на мосту в восемь часов утра и смотрел на бурливую желтую воду со шнурами желтой пены и вырванными дубками и тополями. Под ним пронеслись волчком несколько струганых досок, потом кусок кровли, еще с дранкой, а потом приплыл, покачиваясь, труп черного абердинского быка с фермы Макэлроя — широкий, коротконогий. Когда его затянуло под мост, он перевернулся навзничь, и Брид разглядел жутко закатившиеся глаза и выпавший язык. Бриду стало тошно.

Все знали, что хлев у Макэлроя поставлен слишком близко к берегу и что бык стоит тысячу восемьсот долларов. Не Маку бросаться такими деньгами. Другой его скотины Брид не увидел, но и быка хватало. Макэлрой очень рассчитывал на этого быка. Брид прошел немного по мосту. Теперь вода всего на метр не доставала до бревен, и Брид чувствовал, как яростно прет на опоры вода и как они кряхтят под ногами. Он потер пальцами небритый подбородок и пошел назад в магазин. Жене он не стал говорить о черном быке Макэлроя. Она только огорчится.

Когда Хуан Чикой позвонил насчет моста, Брид сказал ему правду. Мост еще стоял, но долго ли он выдержит — один бог знает. Вода все прибывала. Голые каменные холмы все лили и лили ее в реку, и небо опять затягивалось.

В девять часов вода подступила к нижнему поясу на сорок пять сантиметров. Как только вода навалится на раскосы и стойки да еще вырванные деревья ударят в мост — его минуты сочтены. Брид стоял за сетчатой дверью и барабанил по проволоке пальцами.

— Давай я тебе завтрак приготовлю, — сказала его жена. — Можно подумать, это твой мост.

— Да это как посмотреть, — ответил Брид. — Если его снесет — скажут, я недоглядел. Я звонил в надзор, звонил инженеру округа. И там и там не отвечают. Если промост за опорой — пиши пропало.

— Позавтракал бы лучше. Нажарю тебе оладьев.

— Ладно, — сказал Брид. — Только не толстые.

— У меня толстые не бывают, — сказала жена. — Хочешь, яйцом залью?

— Давай, — сказал Брид. — Не знаю, Хуан успеет или нет. Он должен быть здесь через час, не раньше, а вода... Черт, как прибывает!

— Это не причина чертыхаться, — сказала миссис Брид. Муж обернулся к ней.

— Если это, по-твоему, не причина, то что же тогда причина? Выпью я, вот что.

— До завтрака?

— До всего.

Конечно, она не знала про черного быка. Он подошел к настенному телефону и набрал номер Макэлроя — пять цифр, — потом стал обзванивать его соседей, покуда не ответил Пайндэйл, тремя километрами ниже по течению.

— Я тоже ему дозванивался, — сказал Пайндэйл. — Его телефон молчит. Съезжу на лошади, посмотрю, не случилось ли что.

— По-моему, стоит, — сказал Брид. — Утром его новый бык проплыл под мостом.

Жена посмотрела на него с испугом.

— Уолтер! — вскрикнула она.

— Да, это правда. Не хотел тебя огорчать.

— Уолтер! Боже мой! — сказала миссис Брид.

ГЛАВА 11

Алиса Чикой стояла за сетчатой дверью и глядела, как отъезжает автобус. Слезы сохли у нее на щеках.

Когда автобус скрылся за углом дома, она перешла к боковому окну, смотревшему на дорогу. Автобус въехал в полосу солнечного света, засиял там, а потом пропал из виду. Алиса глубоко, с наслаждением вздохнула. Ее день! Она одна. Она испытывала блаженное чувство уединенности — уединенности греховной. Она медленно разгладила платье на боках, погладила себя по бедрам. Посмотрела на ногти. Нет, это подождет.

Она медленно обвела взглядом закусочную. В воздухе еще стоял запах табачного дыма. Надо было разделаться с делами, но день принадлежал ей, и она решила не торопиться. Раньше всего она достала из стенного шкафа картонную вывеску с большой надписью «Закрито». Она вышла наружу и повесила надпись на гвоздь, вбитый в раму сетчатой двери. Потом вошла и заперла сетчатую дверь на засов. Задвинула внутреннюю дверь и повернула ключ. После этого обошла все окна, опустила жалюзи и повернула в них пластины вертикально, чтобы никто не заглянул с улицы. В закусочной стало темно и совсем тихо. Алиса

действовала не спеша. Перемыла и расставила кофейные чашки, вымыла стойку и столы. Пироги спрятала под прилавок. Потом взяла из спальни щетку, подмела пол и высыпала грязь, пыль и окурки в урну. Стойка поблескивала в потемках, чистые крышки столов белели.

Алиса сбошла стойку и села на табурет. Ее день! Она ощущала дурашливую легкость. «Ну, а почему нет?» — сказала она вслух. — Не так уж много у меня радостей. Ну-ка подай, — сказала она, — подай мне двойное виски, да поживее».

Она положила руки на стойку и внимательно их оглядела. «Бедные ручки, испортила вас работа, — прошептала она, — милые ручки». И тут же, криком: «Да где же, черт, твое виски?» И сама себе ответила: «Сейчас, мадам, несу, мадам». — «Вот так-то лучше, — сказала Алиса. — Не забывай, с кем разговариваешь. И не вздумай дерзить, тебе это так не пройдет. Ты у меня на примете».

«Да, мадам», — ответила она себе. Потом встала и ушла за стойку.

С дальнего края над самым полом был встроен шкафчик. Алиса нагнулась, открыла дверцу и не глядя вытащила бутылку виски «Старый дед». Сняла с полки стакан для воды и отнесла с бутылкой к тому месту, где стоял ее табурет.

«Пожалуйста, мадам».

«Подай на стол. За кого ты меня принимаешь — я что, за стойкой буду пить?»

«Нет, мадам».

«Принеси еще стакан. И бутылку холодного пива».

«Слушаюсь, мадам».

Все это она перенесла на стол возле двери и расставила. «Можешь идти», — сказала она и ответила: «Слушаюсь, мадам».

«Но далеко не уходи, на случай если что-нибудь понадобится».

Наливая себе пиво, она захихикала. Кто-нибудь услышит — подумает, свихнулась. А что, может, и вправду. Она не скупясь налила виски в другой стакан. «Алиса, — сказала она, — приготовились, внимание, марш!» Она повела стаканом и выпила — медленно. Не залпом. Она цедила жгучее неразбавленное виски, и виски горячо разливалось по языку и под языком и при медленном глотке щипало

нёбо, а потом теплом входило в грудь и опускалось до живота. Осушив стакан, она не сразу отняла его от губ. Потом поставила, сказала: «Ах!» и хрипло выдохнула.

В выдохе вернулся нежный запах виски. Теперь она взялась за стакан с пивом. Она положила ногу на ногу и медленно тянула пиво, пока стакан не опустел.

«Господи!» — сказала она.

Казалось ей, она никогда не замечала, как уютна и мила ее закусовая при свете, едва пробивающемся сквозь закрытые жалюзи. Она услышала грузовик на шоссе и встревожилась. А вдруг кто-то помешает — испортит ей день. Нет уж, пусть тогда дверь ломают. Она никому не станет открывать. Она налила на два пальца виски в один стакан и на четыре пальца пива — в другой. «Муху зашибить — тоже есть много способов», — сказала она и опрокинула стакан с виски, а за ним сразу стакан с пивом. Ага, это мысль. Получается другой вкус. Разный вкус — смотря как пить. Почему никто этого не заметил, кроме Алисы? Это стоило бы записать: «Пьешь по-разному — вкус разный». В правом веке она ощутила легкое напряжение, а по жилам на руках побежала странная, приятная боль.

«Некогда им замечать, — сказала она с расстановкой. — Нет времени». Она налила полстакана пива и долила доверху виски. «Интересно, а так кто-нибудь пробовал?»

Металлический держатель для бумажных салфеток стоял напротив и отражал ее лицо. «Привет, детка», — сказала она. Она повела стаканом, и он искажился в блестящем металле так же, как ее лицо. «Рванули, детка. Твое здоровье, детка». И она выпила виски с пивом так, как пьет молоко одолеваемый жаждой. «Ах ты черт, — сказала она, — не так уж плохо. Да. По-моему, неплохо придумано. Хорошо».

Она повернула держатель с салфетками так, чтобы лучше себя видеть. Но изгиб металла ломал ее нос сверху и раздувал бульбой на конце. Она встала, обошла стойку, вынесла из спальни круглое ручное зеркальце и поставила на стол, прислонив к сахарнице. Потом уселась и скрестила ноги. «Эй, а ну-ка! Я хочу тебя угостить». Она налила виски в оба стакана. «Без пива, — сказала она. — Кончилось пиво. Ну, это беда поправимая».

Она подошла к холодильнику и достала еще бутылку пива. «Вот, видишь, — сказала она зеркалу, — сперва мы берем виски — не слишком много... не слишком мало... и до-

бавляем пива, чтобы в самый раз. И пожалуйста». Она толкнула один стакан к зеркалу, выпила из другого. «Некоторые люди пить боятся,— сказала она.— Не умеют».

«Ах, ты не хочешь? Ну, дело твое. Я тебя пить не заставляю. Но и пропасть ему не дам». И она выпила из другого стакана. Щеки у нее пощипывало, как будто прихватило морозом. Она поднесла зеркальце поближе и посмотрела на себя. Глаза были влажные и блестели. Она откинула повисшую прядь волос.

«А если хочешь посидеть в свое удовольствие, это не значит, что можно распускаться». И вдруг перед ней возникло видение, и она опустила зеркало лицом вниз. Видение налетело внезапно и резко, ошеломив, как удар. Может быть, из-за того, что она сидела в потемках, Алиса закричала: «Не хочу об этом думать. Не переносу!»

Но мысль, видение не отступали. Затемненная комната, на белой кровати — мать, парализованная, неподвижная, немая; ее глаза смотрят прямо вверх, а потом белая рука поднимается со стеганого одеяла — жестом отчаяния, прося о помощи. Алиса могла войти украдкой, но как бы тихо она ни кралась, рука поднималась беспомощно и страшно, и Алиса, подержав ее немного, ласково опускала и выходила. Всякий раз, переступая порог этой комнаты, Алиса умоляла руку не подниматься, лежать тихо, замереть, как все тело.

«Я не хочу об этом думать,— закричала она.— С чего это вылезло?» Ее рука задрожала, и бутылка звякнула о стакан. Алиса налила чуть не до краев, выпила, поперхнулась и закашляла так, что едва удержалась от рвоты. «Это приведет тебя в чувство,— сказала она.— Я хочу думать о чем-нибудь другом».

Она вообразила себя в постели с Хуаном, но мысль скользнула дальше. «Я могла бы иметь кого захочу,— похвасталась она.— Сколько их за мной бегало, ей-богу, а я не больно соглашалась». Губы ее оттопырились в грязноватой ухмылке. «А может, стоило, пока могла. Сдаю же... Врешь, гадина,— закричала она,— я сейчас не хуже, чем раньше. Лучше! Кому, на хрен, нужна костлявая сучка, которая ничего не умеет? Настоящему мужчине такого даром не надо. Да мне только выйти, они как мухи налетят».

В бутылке оставалось чуть меньше половины. Она немного пролила мимо и сама над собой засмеялась. «Кажется, я чуть-чуть захмелела»,— сказала она.

В дверь громко постучали, Алиса оцепенела и умолкла. Стук раздался снова. Мужской голос сказал:

— Никого. Мне показалось, разговаривают.

— А попробуй еще. Может, они в комнатах,— отозвался женский голос.

Алиса тихо взяла зеркальце и посмотрела на себя. Она кивнула головой и подмигнула себе. Опять постучали.

— Говорю тебе, никого нет.

— Попробуй дверь.

Алиса услышала, как загремела сетчатая дверь,

— Заперто,— сказал мужчина, и женщина ответила!

— Заперто изнутри. Должны быть дома.

Мужчина рассмеялся, и под ногами у него закрипел гравий.

— Ну, если они дома, значит, им хочется побыть одним. Тебе никогда не хочется побыть одной, малютка? Со мной, я имею в виду.

— Да ну тебя,— сказала женщина.— Мне хочется бутерброд.

— А с этим придется повременить.

Алиса удивилась, почему не слышала ни автомобиля, ни шагов по гравию. «Ну, точно, наела»,— подумала она. Как отъезжает автомобиль, она прекрасно слышала.

«Прямо не могут, когда что-нибудь не по-ихнему,— сказала Алиса.— Человек хочет отдохнуть денек, в себя прийти, а им вынь да положь бутерброд».

Она подняла бутылку и, критически прищурясь, посмотрела на просвет. «Маловато осталось». Ей стало страшно. Вдруг кончится, а ей не хватит? Но тут же кивнула и улыбнулась себе. В самом заднем шкафчика две бутылки портвейна. Это ее ободрило, она как следует налила в стакан и стала тянуть. Хуан не любил, когда при нем пили женщины. Он говорил, что у них лица делаются гнусные и он этого не выносит. Ничего, Алиса ему покажет. Она отпила из стакана половину и тяжело поднялась.

«Ты постой здесь, подожди меня немного»,— вежливо сказала она стакану. Огибая стойку, она качнулась, и угол ударил ее в бок над самым бедром. «Этот будет синий с черным»,— сказала она. Через спальню она прошла в ванную.

Она намочила полотенце и стала натирать его мылом, покуда не образовалась густая паста; потом стала тереть им лицо. Особенно терла возле носа и маленькую складку под

нижней губой. Надела полотенце на мизинец и повертела в ноздрях, протерла уши. Потом, зажмурясь, ополоснула лицо водой и посмотрела на себя в зеркало над умывальником. Лицо показалось ей очень красным, а глаза были слегка воспаленные. Она долго занималась своим лицом. Намазала кремом; потом стерла его полотенцем. Посмотрела, нет ли на полотенце грязи,— нашла. Подвела брови коричневым карандашом. С помадой пришлось повозиться. С нижней губы кармином заехала на подбородок; пришлось стереть полотенцем и начать сызнова. Нарисовала губы очень толстыми, потом сложила их и прокатила друг по дружке; поглядела на зубы и стерла с них помаду полотенцем. Надо было раньше почистить зубы, а потом браться за помаду. Теперь пудра. Чтобы лицо было не такое красное. Потом расчесала волосы. Ей никогда не нравились ее волосы. Попробовала уложить их с шиком, так и этак, и ей стало надоедать.

В спальне она откопала черную фетровую шляпку с подобием козырька. Собрала волосы под шляпу и лихо заломила козырек.

«Теперь,— сказала она,— теперь посмотрим, как у женщины делается гнусное лицо. Пришел бы сейчас Хуан. По-другому запел бы».

В спальне она достала из комода флакон «Беллоджии» и надушила себе грудь, мочки ушей, лоб под волосами. Тронула и верхнюю губу. «Мне тоже хочется нюхать»,— сказала она.

Она вернулась в закуточную, осторожно обогнув угол, о который ударилась в прошлый раз. Тут стало еще темнее, потому что заходила туча и свет едва цедился в комнату. Алиса села за свой столик и поправила зеркальце. «Хорошенькая,— сказала она,— прямо хорошенькая. Что будешь делать вечером? Хочешь пойти на танцы?»

Она налила себе стакан. А что, если заедет этот шофер с «Красной стрелы» — и постучится? Она его пустит. Большой шутник. Она налила бы ему стаканчик-другой, а потом показала бы шутку-другую.

«Рэд,— сказала бы она,— ты из себя строишь большого шутника, но я тебе кое-что покажу. Ты не все еще шутки знаешь». Она остановила мысленный взгляд на его узкой талии и тяжелых мускулистых руках. Джинсы он носил на широком ремне, а на джинсах... нет, мужик был что надо.

Да — что там еще, с этими джинсами... Медная заклепка внизу, откуда начинается ширинка. Чем-то эта заклепка опечалила Алису. У Бада была такая. Медная заклепка на том же самом месте. Она попробовала отвернуться и от этого видения, не смогла — и всплыло, всплыло в памяти. Он упрашивал ее и упрашивал. Наконец они ушли на пикник, за шесть километров. Бад нес еду — крутые яйца, бутерброды с ветчиной и яблочный пирог. Пирог Алиса купила, но Баду сказала, что испекла сама. А он даже не стал дожидаться еды.

Он сделал ей больно. А потом она сказала: «Куда ты?»

«У меня работа стоит», — сказал Бад.

«Ты говорил, что любишь меня».

«Ну?»

«Ты не бросишь меня, Бад?»

«Слушай, милая, переспали, и ладно. Я контрактов не подписывал».

«Это же первый раз, Бад».

«Без первого раза ни у кого не обходится», — сказал он.

Теперь Алиса оплакивала себя. «Ни черта хорошего! — крикнула она в зеркало. — Ни черта хорошего в этом нет». Плача, она допила стакан и вылила в него остатки из бутылки.

В остальных тоже не было ни черта хорошего — и с чем она осталась? Паршивая работа с постельными удобствами и без жалованья. Вот с чем. И за паршивым оглоедом замужем — вот с чем. Нашла, называется. Глушь такая, что и в кино не съездишь. Сиди в паршивой закуской.

Она опустила голову на руки и горько заплакала. А другая Алиса слушала, как она плачет. Другая Алиса стояла над ней и наблюдала. Ходи на цыпочках, все время его ублажай. Она подняла голову и посмотрела в зеркало. Помада размазалась по всей верхней губе. Глаза покраснели, из носу текло. Она вынула из держателя две бумажные салфетки и высморкалась. Скатила салфетки и кинула на пол.

И чего она вылизывает эту дыру? Всем плевать. А на нее разве не всем плевать? Всем! Ничего, она за себя постоит. Над Алисой не больно-то покуражишься. Она допила виски.

Достать портвейн оказалось делом нелегким. Она споткнулась и налетела на раковину. В носу горячо набухло, и она засопела. Она установила бутылку портвейна на стойке и достала штопор. Когда она попыталась воткнуть што-

пор, бутылка упала, а при второй попытке пробка раскрошилась. Алиса протолкнула пальцем остатки ее в горлышко и побрела к столу.

«Водичка»,— сказала она. Она наполнила стакан темно-красным вином. «Вот виски бы еще». Во рту у нее пересохло. Она с жадностью выпила полстакана. «А хорошее»,— захихикала она. Может, всегда надо вперед пить виски, чтобы вино было вкуснее.

Она придвинула к себе зеркальце. «Ты старая кляча,— горько сказала она.— Грязная, пьяная старая кляча. Ясно — кому ты такая нужна? Я бы сама на такую не польстилась».

Лицо в зеркале было одно, но контуры его двоились, и где-то вне поля зрения комната уже раскачивалась и подпрыгивала. Алиса допила стакан, поперхнулась, и красное вино потекло обратно из углов рта. Она стала наливать снова, но не сразу попала в стакан и разлила вино по столу. Сердце у нее колотилось. Она слышала его и чувствовала, как оно бьется у нее в руках, плечах и в жилах на груди. Она мрачно выпила.

Упьюсь,— и черт с ним, тем лучше. Хорошо бы больше не проснуться. Хорошо бы — конец всему... конец всему... конец всему... Покажу этим паразитам — не хочу жить и не буду. Я им покажу.

И тут она увидела муху. Это была не обычная комнатная муха, а молоденькая мясная, и ее тело блестело богатой переливчатой синью. Она явилась к столу и сидела перед винной лужицей. Она сунула туда хоботок, потом отошла почиститься.

Алиса застыла. Кожа у нее собралась от ненависти. Все ее огорчения, все обиды сосредоточились на мухе. Усилием воли она свела раздвоившееся насекомое в одно. «Ну, стерва,— тихо сказала она.— Думаешь, я напилась. Я тебе покажу».

Глаза у нее сделались настороженные, хитрые. Бочком, бочком она отодвинулась от стола и пригнулась к полу, опершись на руку. Она не сводила с мухи глаз. Та не двигалась. Алиса подкралась к стойке, зашла за нее. Посудное полотенце лежало на краю стальной раковины. Она взяла его в правую руку и старательно сложила. Полотенце было слишком легким. Она намочила его под краном и отжала лишнюю воду. «Покажу стерве»,— сказала она и, как кош-

ка, двинулась вдоль стойки. Муха по-прежнему сидела, по-прежнему сияла.

Алиса подняла руки и закинула полотенце на плечо. Алиса тихо подступала к мухе, выставив локоть. Ударил. Бутылка, стаканы, сахарница, держатель с салфетками — все полетело на пол. Муха взвилась и закружила. Алиса стояла неподвижно, провожая ее глазами. Муха уселась на стойку. Алиса сделала выпад, ударила по ней, а когда муха взлетела, еще раз хлопнула полотенцем по воздуху.

«Так не пойдет,— сказала она себе.— Подкрасться к ней. Подкрасться». Пол накренился под ногами. Она вытянула руку и схватилась за табурет. Куда она девалась? Слышно было ее жужжание. Злой, омерзительный звон ее крыльев. Должна же она сесть куда-нибудь когда-нибудь. К горлу подкатила тошнота.

Муха заложила несколько петель, восьмерок и кругов, а потом перешла на бреющие челночные полеты из одного конца комнаты в другой. Алиса выжидала. В поле зрения вползала с краев темнота. Муха с легким щелчком села на коробку кукурузных хлопьев на макушке большой пирамиды, выстроенной на полке за стойкой. Она приземлилась на «К» «Кукурузных» и беспокойно переползла на «у». Там она замерла. Алиса втянула носом воздух.

Комната прыгала и кружилась, но напряжением воли муху и то, что рядом, Алиса держала в фокусе. Левая рука оперлась за спиной на прилавок, и пальцы поползли по нему. Медленно, молча она огибала торец стойки. И очень, очень осторожно поднимала правую руку. Муха скакнула вперед и снова замерла. Она приготовилась взлететь. Алиса почувствовала это. Почувствовала раньше, чем муха поднялась. Она вложила в удар весь свой вес. Мокрое полотенце врезалось в пирамиду картонных коробок и пробило ее насквозь. Коробки, рядок стаканов и ваза с апельсинами полетели на пол, и Алиса упала на них.

Комната понеслась на нее красными и синими огнями. Под щекой лопнувшая коробка извергла хлопья. Алиса подняла раз голову, потом опустила, и вертящаяся темнота накрыла ее.

В закуской было сумрачно и очень тихо. Муха подобралась к краю винной лужицы, высохшей на белом столе. Потыкавшись в разные стороны — не грозит ли откуда опасность,— она неторопливо опустила плоский хоботок в сладкое густое вино.

ГЛАВА 12

Серые тучи громоздились — угроза на угрозе, — и синий сумрак окутал землю. В долине Сан-Хуан темная зелень казалась черной, а более светлая зелень травы — стилой, влажно-синей. «Любимая» тяжело катилась по шоссе, и алюминиевая краска на ней отливала зловещим холодом вороненого ствола. В южной стороне черная гряда туч осыпалась бахромой дождя, и занавес его медленно упал.

Автобус подъехал к бензоколонкам перед магазином Брида и остановился. Игрушечные боксерские перчатки и детская туфелька мелко и часто качались, как короткие маятники. Хуан продолжал сидеть после того, как автобус остановился. Напоследок он дал газ, прислушался, потом со вздохом повернул ключ, и мотор смолк.

— Долго собираетесь здесь стоять? — спросил Ван Брант.

— Хочу взглянуть на мост, — сказал Хуан.

— Еще цел, — сказал Ван Брант.

— Мы тоже, — ответил Хуан. Он отпер рычагом дверь. Брид появился из-за сетчатой двери и пошел к автобусу. Он пожал Хуану руку.

— Опоздали немного?

— По-моему, нет, — ответил Хуан, — если у меня часы правильные.

Спустился Прыщ и стал рядом с ними. Он вышел первым, чтобы посмотреть, как слезает блондинка.

— Кока-кола есть? — спросил он.

— Нет, — сказал Брид. — Несколько бутылок пепси. Кока-колы месяц не было. Да — одно и то же. Их не отличишь.

— Как мост? — спросил Хуан.

Мистер Брид покачал головой.

— По-моему, труба дело. Сами взгляните. Хорошего мало.

— Трещин пока нет? — спросил Хуан.

— Может полететь вот так, — сказал Брид и с размаха ударил ладонью о ладонь. — Нагрузка на нем такая, что он плачет, как ребенок. Пошли посмотрим.

Из автобуса вышли мистер Причард с Эрнестом, за ними Милдред и Камилла и последней — Норма. Камилла была ученая. Прыщ ничего не увидел.

— У них есть пепси-кола, — сказал Прыщ. — Хотите?

Камилла обернулась к Норме. Она начала понимать, чем может быть полезна Норма.

— Хочешь попить? — спросила она.

— Да не откажусь, — сказала Норма.

Прыщ постарался скрыть разочарование. Брид и Хуан шагали по шоссе к реке.

— Хочу поглядеть на мост, — крикнул Хуан через плечо.

Миссис Причард окликнула мужа со ступенек:

— Милый, ты не мог бы принести мне выпить чего-нибудь холодного? Хотя бы воды, если нет ничего другого. И спроси, где у них — ну, знаешь что.

— Это сзади, — сказала Норма.

Бриду тоже хотелось посмотреть на мост, и он пристроился в ногу к Хуану.

— Каждый год жду, что его снесет, — сказал он. — Хоть бы построили такой мост, чтобы я мог спать по ночам, когда идет ливень. А то лежишь в постели, слышишь, как дождь стучит по крыше, и все прислушиваешься, не снесло ли мост. А ведь не знаю даже, какой там будет звук, когда он повалится.

Хуан усмехнулся.

— Это мне знакомо. Помню, в Торреоне — я был тогда мальчишкой. Бывало, слушали ночью, не захлопает ли — значит, не поднимется ли стрельба. Стрельба-то нам даже нравилась, только это всегда значило, что мой папаша ненадолго отлучится. Один раз он отлучился и больше не пришел. Мы, наверно, всегда чувствовали, что так и будет.

— Что с ним стало? — спросил Брид.

— Не знаю. Наверное, попал кому-нибудь на мушку. Не мог усидеть дома, когда стреляли. Без него не могло обойтись. Я думаю, он и не очень интересовался, из-за чего дерутся. А домой всегда приходил с кучей рассказов. — Хуан усмехнулся. — Был у него один про Панчо Вилью. Будто бы пришла к Вилье бедная женщина и говорит: «Ты расстрелял моего мужа, а теперь я с ребятами умру с голоду». А у Вильи тогда было много денег. У него были прессы, он сам печатал. Повернулся к казначею и приказал: «Накатай для бедной женщины пять кило бумажек по двадцать песо». Он их даже не считал — сколько у него было. Напечатали, перевязали пачку проволокой, и женщина ушла. И тут один сержант говорит Вилье: «Ошибка

получилась, мой генерал. Мужа этой женщины мы не расстреляли. Он напился, и мы посадили его в тюрьму». Тогда Панчо говорит: «Идите и сейчас же расстреляйте. Нельзя же разочаровывать бедную женщину».

Брид сказал:

— Глупость какая-то.

Хуан засмеялся.

— Ну да, как раз это мне и нравится. Эге, речка уже прорывается сзади за фащину.

— Знаю. Я звонил, хотел им сказать,— ответил Брид.— Никто не подходит к телефону.

Они вместе взошли на деревянный мост. Ступив на настил, Хуан сразу почувствовал рокоющую вибрацию воды. Мост трясся и вздрагивал. От бревен шло низкое гудение, громче, чем шум воды. Хуан заглянул через край. Бревна нижнего пояса были под водой, река внизу кипела и пенилась. Весь мост содрогался и вздыхал, и тихо, натужно вскрикивали бревна там, где они были схвачены стальными болтами. На глазах у Хуана и Брида, тяжело перекачиваясь по течению, приплыл большой старый дуб. Когда он ударил в мост и повернулся, все сооружение застонало, как будто напрягая последние силы. Дуб застрял в затопленных стойках, и под мостом раздался громкий треск. Мужчины сразу сошли на берег.

— Быстро она поднимается? — спросил Хуан.

— За последний час — на четверть метра. Конечно, может теперь пойти на убыль. Может быть, больше уже не поднимется.

Хуан посмотрел сбоку на ферму. Он увидел бурую головку болта над самой поверхностью воды и остановил на ней взгляд.

— Проехать бы я смог, пожалуй,— сказал он.— Можно попробовать с ходу. А можно отправить пассажиров через мост пешком, переехать самому и подобрать их на той стороне. А как второй мост?

— Не знаю. Я звонил туда, хотел узнать, никто не отвечает. А что, если вы переедете, а другой снесло, вернетесь сюда — и этого тоже нет? Вы застрянете в излучине. Пассажиры вам скажут спасибо.

— Они и так мне скажут,— ответил Хуан.— Один там... нет, двое — дадут мне жизни что так, что так. Я уж чувствую. Вы, случаем, не знаете Ван Бранта?

— А-а, старый хрыч! Знаю, как же. Должен мне тридцать семь долларов. Я ему продал семена люцерны, а он говорит — никуда не годятся. Не хочет платить. У него долги по всей округе. Все, что он покупает, — никуда не годится. Я ему конфетку не продам в кредит. Скажет, не сладкая. Так он с вами?

— С нами, — сказал Хуан. — И еще один из Чикаго. Шишка из фирмы. Если что-нибудь окажется ему не по вкусу, он мне задаст жару.

— Да, — сказал Брид, — надо вам что-то решать.

Хуан поглядел на грозовое небо.

— Дождь будет, это ясно. А холмы и так мокрые — все польется в реку. Переехать-то я смогу; а вот смогу ли вернуться назад?

— Примерно десять шансов из ста, — сказал Брид. — Как жена?

— Так себе, — ответил Хуан. — Зубы разболелись.

— За зубами выгодней следить, — сказал Брид. — Раз в полгода показаться врачу.

Хуан засмеялся.

— Это конечно. А вам приходилось встречать такого человека?

— Нет, — согласился Брид. Ему нравился Хуан. Он даже не считал его иностранцем.

— И я не встречал, — сказал Хуан. — Так, есть еще способ избавиться от неприятностей с пассажирами.

— Какой?

— Пусть сами решают. У нас ведь демократия?

— Да они просто передерутся.

— Ну и передерутся — что же тут страшного? — сказал Хуан.

— Это мысль, — сказал Брид. — Но я вам вот что скажу. На чем бы все ни порешили, Ван Брант обязательно станет поперек. Этот проголосует против второго пришествия, если люди его хотят.

— С ним-то просто, — сказал Хуан. — Надо только найти к нему подход. Был у меня конь, до того вредный, — тянешь левый повод, он идет направо. Я его дурачил. Делал все наоборот — а он думал, что делает по-своему. От Ван Бранта чего хочешь добьешься — только заспорь.

— Я ему запрещаю отдавать мне тридцать семь долларов, — сказал Брид.

— А что, глядишь, и отдаст,— сказал Хуан.— Нет, вода еще поднимается. Болт закрыла. Пойду узнаю у пассажиров, чего они хотят.

Между тем Прыщ в магазине почувствовал, что его немного обманули. Его вынудили угостить пепси-колой не только Камиллу, но и Норму. Как он ни старался, отделить Камиллу от Нормы он не мог. Но виновата была не Норма. Камилла ею воспользовалась. Норма разругалась от удовольствия. Никогда в жизни она не была так счастлива. Такая красавица — а как душевно к ней отнеслась. Они подруги. И ведь не сказала, что будут жить вместе. Она сказала — посмотрим, как пойдут дела. Норму почему-то это очень обнадежило. Люди к Норме не относились душевно. Сперва они говорили «да», а потом старались отвертеться. А эта женщина, выглядевшая именно так, как всю жизнь мечтала выглядеть Норма,— она сказала «посмотрим». Норма мысленно видела их квартиру. Там будет бархатная кушетка, а перед ней низкий столик. И шторы будут из бордового бархата. И конечно, у них будет радиолка и много пластинок. Дальше ей думать не хотелось. Дальше думать — это почти что сглазить. А для кушетки — скорее подойдет цвет электрик.

Она подняла стакан с пепси-колой, глотнула сладкой колючей воды, и в тот же миг отчаяние нахлынуло на нее, как тяжелый газ. «Никогда этого не будет,— крикнула она про себя.— Уплывет! Все останется как всегда, и я опять буду одна». Она зажмурилась и потеряла глаза. Когда открыла глаза, ей стало легче. «Не отдам,— подумала она,— Мало-помалу наберу на квартиру, и если даже у нас с ней ничего не получится, хоть квартира-то будет». Ею овладела решимость — принять, что выпадет. «Если хоть часть сбудется — и то будет подарок. Но надеяться не надо, надеяться нельзя. Тогда все лопнет».

Прыщ сказал:

— У меня большие планы. Я изучаю радиолокацию. Это будет очень ценная специальность. Кто знает радар, может очень прилично устроиться. По-моему, человек должен смотреть вперед, а по-вашему? Ведь какие есть люди — они не смотрят вперед, в будущее, и с чего начали, тем кончают.

На губах у Камиллы застыла слабая улыбка.

— Пожалуй, что так,— сказала она. Ей хотелось отделаться от паренька. Паренек был симпатичный, просто ей

хотелось от него отделаться. Уж очень все на нем написано.— Большое спасибо за угощение,— сказала она.— Не мешало бы мне пойти привести себя в порядок. Ты не пойдешь, Норма?

Лицо Нормы выразило преданность.

— Да, конечно,— ответила она.— Мне тоже не мешает привести себя в порядок.— Все, что ни говорила ее новая подруга, было верно, прекрасно и замечательно. «Боже милостивый, ну, пусть получится!»—мысленно вскричала Норма.

Миссис Причард пила лимонад. Добиться его удалось не сразу, потому что здесь не подавали лимонад. Но когда миссис Причард показала на лимоны в бакалейном отделе и даже вызвалась собственноручно их выжать — хозяйке ничего не оставалось, как сделать это самой.

— Я просто не могу пить несвежие напитки из бутылок,— объяснила миссис Причард.— Я люблю чистый фруктовый сок.— Миссис Брид, негодуя, уступила этому ласковому натиску. Миссис Причард пила свой лимонад и разглядывала стенд с открытками на галантерейной витрине. Тут было здание суда в Сан-Хуан-де-ла-Крусе и гостиница в Сан-Исидро, выстроенная у горячего источника слабительной воды. В эту старую красивую гостиницу ездили ревматики принимать ванны. Гостиница называлась на открытках курортом. В галантерейной витрине была всякая всячина. Раскрашенные гипсовые собачки, стеклянные пистолетики с разноцветными конфетками, яркие куколки и затейливые деревянные шкатулки с засахаренными фруктами. Были лампы, чьи абажуры начинали вращаться при включении, так что лесные пожары горели и корабли плыли на всех парусах почти как в жизни. Эрнест Хортон стоял тут же и смотрел на витрину пренебрежительно. Он сказал мистеру Причарду:

— Я иногда думаю, что мне стоило бы открыть магазин новинок — одних новинок. Кое-что из этих старых вещей выбрасывают на рынок годами — и никто не берет. А у моей компании — только перспективные товары, сплошь новые.

Мистер Причард кивнул.

— Это придает уверенности — когда работаешь в фирме и знаешь, что она ищущая,— сказал он.— Вот почему я думаю, что вам у нас понравится. Я смело могу утверждать, что мы ни на час не прекращаем поисков.

Эрнест сказал:

— Извините, я схожу за чемоданом. У меня есть вещичка, которая еще не поступила в продажу, но у торговцев пошла нарасхват. Пока только образцы. Может быть, и здесь получу заказ.

Он быстро вышел и притащил свой чемодан. Он открыл его и вынул картонную коробку.

— Видите, упаковка простая. Для большего эффекта.— Он вытащил из коробки настоящий унитаз вышиной сантиметров в тридцать. Он был и с бачком и с медной ручкой на цепочке, а сама раковина была белая. На ней было даже сиденье, крашенное под дерево.

Миссис Брид подошла с той стороны прилавка.

— Всеми покупками занимается муж,— сказала она.— Поговорите с ним.

— Понимаю,— сказал Эрнест.— Я просто хотел показать вам эту вещь. Она сама за себя говорит.

— Для чего это? — спросил мистер Причард.

— А вот смотрите,— сказал Эрнест. Он дернул цепочку, и бачок сразу спустил коричневую жидкость. Эрнест снял с унитаза сиденье, и оно оказалось со стаканчиком.— Тридцать грамм,— торжествующе сказал он.— Если хотите двойную порцию, например, для коктейля, дерните цепочку дважды.

— Виски! — воскликнул мистер Причард.

— Ром, коньяк. Что угодно,— сказал Эрнест,— Видите, здесь в бачке место для заправки, а бачок — пластмасса с гарантией. Впечатление оглушительное. У меня уже заказов на тысячу восемьсот штук. Фурор. Хохот вызывает безотказно.

— Ей-богу, остроумно,— сказал мистер Причард.— Кто придумывает такие вещи?

— У нас есть отдел предложений,— объяснил Эрнест.— Всякий может подать предложение. Эту вещь изобрел один наш коммивояжер из района Великих озер. Он получит неплохие премиальные. Тому, кто выдвинул дельное предложение, компания выплачивает два процента с прибыли.

— Остроумно,— повторил мистер Причард. Он представил себе, как увидит эту вещь Чарли Джонсон. Чарли, конечно, кинется покупать такой же.— Почем они у вас идут? — спросил мистер Причард.

— На этот розничная цена — пять долларов. Но если

не возражаете, я посоветовал бы другую модель, которая идет по двадцать семь пятьдесят.

Мистер Причард поджал губы.

— Зато что вы получаете? — продолжал Эрнест. — Эта пластмассовая, а более дорогая... так! бачок дубовый, сделан из старых бочек из-под виски, прекрасно сохраняет напиток. Цепочка — чистое серебро, ручка — бразильский бриллиант. Унитаз фаянсовый, настоящий туалетный фаянс, а сиденье — красного дерева, ручная работа. И на бачке серебряная пластинка — например, если хотите подарить своему клубу или ложе, можете поставить на ней свое имя.

— Да, кажется, товар того стоит, — заметил мистер Причард. Он решился. Теперь он знал, как обставить Чарли Джонсона. Один стульчак он подарит Чарли. Но на пластинке будет надпись: «Чарли Джонсону, первому такому-сякому Америки от Элиота Причарда», — и пускай себе хвастает Чарли, сколько душе угодно. Все увидят, чья идея.

— Лишнего у вас с собой нет? — спросил он.

— Нет, надо заказать.

Вмешалась миссис Причард. Она подошла потихоньку.

— Элиот, неужели ты это купишь? Элиот, это вульгарно.

— Ну конечно, я не стану показывать при дамах, — ответил мистер Причард. — Нет, девочка. Знаешь, что я сделаю? Я пошлю такой Чарли Джонсону. Я с ним расквитаюсь за чучело вонючки. Так-то. Он у меня попляшет.

Миссис Причард пояснила:

— Мистер Причард жил с Чарли Джонсоном в одной комнате, когда учился в колледже. Они дико друг друга разыгрывают. Когда они вместе, они ведут себя как мальчишки.

— Значит, — серьезно сказал мистер Причард, — если я закажу такой, вы могли бы послать его по адресу, который я дам? И сделать гравировку? Я напишу, что мне надо выгравировать на пластинке.

— Что ты хочешь написать? — спросила Бернис.

— А девочки пусть не суют носик во взрослые дела, — ответил мистер Причард.

— Не сомневаюсь, что-нибудь ужасное, — сказала Бернис.

На Милдред напала хандра. Она ощущала тяжесть, усталость, все ей стало неинтересно. Она одиноко сидела на плетеном проволочном стуле у края прилавка. Цинически

наблюдала за попытками Прыща остаться наедине с блондинкой. Поездка привела ее в уныние. Она сама себе была противна после того, что произошло. Что же она за женщина, если шофер автобуса так ее распалил? Она передернулась от отвращения. А где он? Почему не возвращается? Она подавила желание встать и посмотреть, где он. Рядом раздался голос Ван Бранта, она вздрогнула.

— Девушка,— сказал он,— у вас из-под юбки рубашка видна. Я решил, что вам не мешает знать.

— Да, да. Большое спасибо.

— Если бы никто не сказал, вы могли бы целый день ходить и думать, что у вас все в порядке,— пояснил он.

— Да, да, спасибо.— Она встала и, перегнувшись назад, прижала азбуку к ногам — проверить. Комбинация высовывалась сзади сантиметра на два.

— Я считаю, в таких случаях всегда лучше сказать,— продолжал Ван Брант.

— Вы правы. Наверно, бретелька оторвалась.

— Мне не интересно знать про ваше нижнее белье,— ответил он холодно.— Я только заметил — и повторяю еще раз: у вас из-под юбки рубашка видна. Не подумайте, что я сказал это из каких-то других соображений.

— Я и не думаю,— беспомощно ответила Милдред.

Ван Брант продолжал:

— Многие девушки чересчур заняты своими ногами. Думают, что все на них смотрят.

Вдруг Милдред громко, с надрывом захохотала.

— Что тут смешного? — возмутился Ван Брант.

— Ничего,— сказала Милдред.— Просто вспомнила одну шутку.— Она вспомнила, что все утро Ван Брант только и норовил посмотреть кому-нибудь на ноги.

— Если она такая смешная — расскажите ее.

— Да нет. Это долго объяснять. Я пойду подколою бретельку.— Она посмотрела на него, а потом с расстановкой сказала: — Понимаете, на каждом плече две бретельки. Одна от комбинации, а другая — от лифчика, а лифчик крепко поддерживает грудь.— Она увидела, как из-под воротничка у Ван Бранта выползла краснота.— А ниже него ничего нет — до штанишек, если бы я носила штанишки, но я не ношу.

Ван Брант повернулся и быстро ушел, а Милдред стало легче. Теперь у старого дурака не будет ни минуты покоя.

Можно было бы понаблюдать за ним, а потом, пожалуй, и поймать на приманку. Смеясь про себя, она встала, вышла и направилась вокруг магазина к пристройке с надписью «Дамы».

На дверь была набита решетка, и вьюн уже карабкался по ней. Милдред стояла перед закрытой дверью. Слышно было, как Норма разговаривает там с блондинкой. Она прислушалась. Может быть, из-за этого и стоило поехать — просто послушать, что говорят люди. Милдред любила подслушивать. Иногда эта склонность беспокоила ее. Она с интересом слушала всякие пустяки. Но всего лучше было слушать в женских уборных. Раскованность женщины в комнате, где есть умывальник, зеркало и унитаз, заинтересовала ее давно. Однажды она написала в колледже работу, признанную смелой, где доказывала, что женщины освобождаются от торможений, когда у них задраны юбки.

Причина либо в этом, полагала она, либо в уверенности, что мужчина, враг, не вторгнется на их территорию. Это единственное место в мире, где женщины могут быть уверены, что мужчина сюда не проникнет. Поэтому они расслабляются и внешне становятся такими, какие они внутри. Она много об этом думала. В общественных уборных женщины друг с дружкой бывают и доброжелательнее, и злее — но откровеннее. Может быть, потому, что тут нет мужчин. Потому что где нет мужчин — нет соревнования, и они отбрасывают притворство.

Милдред задумывалась: а не так же и у мужчин в уборных? Но это сомнительно: мужчины соперничают вовсе не из-за одних женщин, между тем как женская озабоченность по большей части связана с мужчиной. Работу ей вернули с замечанием: «Не до конца продумано». Она собиралась ее углубить.

В магазине она была неприветлива с Камиллой. Блондинка ей просто не нравилась. Но она знала, что ее нерасположение останется за дверью уборной. Она подумала: «Не странно ли, что женщины соперничают из-за мужчин, которые им даже не нужны?»

Норма и Камилла все разговаривали и разговаривали. Милдред взялась за дверь и толкнула ее. В маленькой комнате была кабинка и умывальник с квадратным зеркалом. На одной стене висел ящик с бумажными подстилками для

сиденья, а возле раковины — бумажные полотенца. Автомат с гигиеническими пакетами был привинчен к стене около окна с матовым стеклом. Цементный пол был выкрашен суриком, а стены покрыты многими слоями белой краски. Стоял резкий запах дезинфекции с отдушкой.

Камилла сидела на стульчаке, а Норма стояла перед зеркалом. Когда Милдред вошла, обе оглянулись на нее.

— Хотите сюда? — спросила блондинка.

— Нет, — сказала Милдред. — Бретелька комбинации свалилась.

Камилла посмотрела ей на юбку.

— Да, действительно. Нет, не так, — сказала она Норме. — Видишь, какой у тебя лоб? Вот и подними немного брови к вискам, только немного. Подожди, детка, подожди минуту, я тебе покажу.

Она встала и подошла к Норме.

— Повернись, чтобы мне было видно. Вот так. И так. Теперь посмотри сама. Видишь, они как бы уменьшили лоб. У тебя лоб высокий, и тебе надо сделать его поменьше. Теперь погоди, закрой глаза. — Она взяла у Нормы карандаш для бровей и подвела нижние веки, под самыми ресницами, сделав линию более темной и продлив за наружные уголки.

— Ты слишком густо кладешь тушь, детка, — сказала она. — Видишь, как слиплись ресницы? Бери больше воды и не так торопись. Подожди минуту. — Она достала из сумочки пластмассовую коробочку с тенью для век. — А с этим надо поаккуратнее. — Она взяла на палец голубой пасты и помазала верхние веки Нормы — гуще к наружным уголкам. — Так, дай посмотреть. — Она оценила свою работу. — Слушай, детка, ты чересчур раскрываешь глаза, как кролик. Чуть-чуть опусти верхние веки. Нет, не щурься. Только веки чуть-чуть опусти. Вот, правильно. Теперь погляди на себя. Видишь разницу?

— Ой, совсем другая, — сказала Норма. В голосе ее было благоговение.

— Другая. Теперь, губы ты мажешь совсем не так. Смотри, детка, нижняя губа у тебя тонкая. У меня тоже. Намажь пониже здесь — и здесь немного.

Норма стояла смирно, как послушная девочка, и подставляла лицо.

— Поняла? В углах погуще, — сказала Камилла. — Теперь нижняя губа кажется полнее.

Милдред сказала:

— Вы мастер. Мне бы тоже не помешала помощь.

— Да? — сказала Камилла. — Ну, это довольно просто.

— У вас театральный грим, — сказала Милдред. — То есть он как бы напоминает театральный грим.

— Да, знаете, когда все время на людях... зубные врачи используют сестер почти как секретарш в приемных.

— Вот черт! — вырвалось у Милдред. — Не свалилась бретелька — оторвалась. — Она стащила платье с плеча и держала в руке короткую шелковую ленту.

— Вам надо ее подколоть, — посоветовала Камилла.

— У меня нет булавки, а иголки с нитками — в чемодане!

Камилла снова открыла сумочку, в подкладку было воткнуто штук пять английских булавок.

— Вот, — сказала она, — я всегда с амуницией. — Она открепила булавку. — Хотите, я вам подколю?

— Если не трудно. Дурацкие глаза. Ничего не вижу.

Камилла вытянула край рубашки, подвернула конец бретельки и надежно их сколола.

— Не очень-то складно, но, по крайней мере, не высывается. Булавка есть булавка. У вас с детства близорукость?

— Нет, — сказала Милдред. — Все было нормально до... ну, словом, почти до четырнадцати лет. Врач сказал, что это связано с половой зрелостью. Он сказал, что у некоторых зрение восстанавливается после первых родов.

— Неприятно.

— Ужасно противно, — сказала Милдред. — Что толку, что все время придумывают новые формы оправ. Все они не очень украшают.

— А вы не слышали про такие, которые вставляются прямо в глаз?

— Думала я о них, да так ни черта и не сделала. Наверно, боюсь, чтобы стекло прикасалось к глазам.

Норма все еще с изумлением разглядывала себя в зеркало. Глаза у нее вдруг стали больше, губы полнее, и она перестала быть похожей на мокрую мышь.

— Ну разве не прелесть? — сказала Норма, ни к кому не обращаясь. — Ну разве она не прелесть?

Камилла ответила:

— Она будет хорошенькая девочка, когда научится себя подавать и станет поуверенней. И волосами займемся, детка, как только устроимся.

— Значит, вы уже решили? — обрадовалась Норма. — Значит, снимем квартиру? — Она быстро обернулась к Милдред. — Мы хотим снять квартиру, — задыхаясь, сказала она. — У нас будет кушетка, а в воскресенье утром мы будем мыть и укладывать волосы...

— Посмотрим, — вмешалась Камилла. — Надо еще посмотреть, как пойдут дела. Мы с тобой обе безработные, а уже сняли двухэтажную квартиру. Не все сразу, детка.

— Странное путешествие, — сказала Милдред. — Мы едем в Мексику. С самого начала все пошло шиворот-навыворот. Отец хотел посмотреть здешние места. Он подумывает перебраться со временем в Калифорнию. Поэтому захотел ехать в Лос-Анджелес на автобусе. Решил, что так сможет больше увидеть.

— Что ж, сможет, — сказала Камилла.

— Боюсь, не слишком ли много он увидит, — сказала Милдред. — Но вам когда-нибудь попадалось такое собрание персонажей, как у нас?

— Все они примерно одинаковые, — заметила Камилла.

— Мне нравится мистер Чикой, — сказала Милдред. — Знаете, он наполовину мексиканец. Но этот мальчишка! Такое чувство, что стоит только отвернуться — и он на тебя вскарабкается.

— Да он ничего, — ответила Камилла. — Кобелек, конечно, не без этого. Молоденькие почти все такие. С возрастом, наверно, пройдет.

— Может, и не пройдет, — возразила Милдред. — Вы не обратили внимания на этого старика, Ван Бранта? У него не прошло. В него въелось. В душе это довольно грязный человек.

Камилла улыбнулась:

— Довольно старый.

Милдред зашла в кабинку и села.

— Я хотела спросить, — сказала она. — Отцу кажется, что он вас где-то встречал. У него неплохая память. Вы его никогда не встречали?

Милдред увидела в глазах Камиллы враждебность, увидела, как сжался ее рот, и поняла, что коснулась больного места. Но тут же лицо у Камиллы разгладилось.

— Скорее всего, я на кого-то похожа,— сказала она.— На этот раз он ошибся — разве что видел меня где-нибудь на улице.

— Честно? — спросила Милдред.— Я вас вовсе не подлавливаю. Мне просто любопытно.

Дружелюбия, приятельства, непринужденности как не бывало. Словно в комнату вошел мужчина. Взгляд Камиллы уколол Милдред.

— Он ошибся,— холодно повторила она.— Хотите верьте, хотите нет, дело ваше.

Дверь открылась, и вошла миссис Причард.

— Ах вот ты где,— сказала она дочери.— Я думала, ты пошла побродить.

— У меня лопнула бретелька на комбинации,— сказала Милдред.

— Все же поторопись. Вернулся мистер Чикой, и там уже целый спор... Спасибо, милая,— сказала она Норме, которая освободила ей место у раковины.— Я только намочу платок и слегка сотру пыль... Почему ты не выпьешь лимонаду? — спросила она у Милдред.— Эта милая женщина охотно согласилась его сделать. Я ей сказала, что она просто прославится, если станет подавать чистые фруктовые соки.

Камилла вдруг сказала:

— Хорошо бы нам дали чего-нибудь поесть. Я проголодалась. Чего-нибудь вкусного.

— И я бы не отказалась,— сказала миссис Причард.

— Я бы съела холодного краба под майонезом, а к нему бы — бутылку пива,— добавила Камилла.

— Никогда не ела так краба,— сказала миссис Причард,— но если бы вы знали, до чего вкусно моя мама готовила маслюка. Она брала старинную чугунную сковородку, а рыба — рыба должна быть очень свежая и очень хорошо выпотрошена. Панировку она делала из обжаренных крошек — хлебных крошек, не сухарных — и клала полную столовую ложку... нет, две столовые ложки соевого соуса во взбитое яйцо. Я думаю, в этом и был секрет.

— Мама,— сказала Милдред,— не надо опять про маслюка.

— Ты бы выпила лимонаду,— сказала миссис Причард.— Он очищает кожу. От долгой дороги кожа портится.

— Пора бы уж ехать,— сказала Милдред.— Позавтракать мы можем в следующем городе. Как он называется?

— Сан-Хуан-де-ла-Крус,— сказала Норма.

— Сан-Хуан-де-ла-Крус,— нежно повторила миссис Причард.— По-моему, испанские названия очень милы.

Перед уходом Норма окинула себя в зеркале долгим изумленным взглядом. Она опустила глаза. Тут понадобится тренировка, чтобы не забывать опускать, зато это решительно меняло всю ее внешность и ей нравилось.

ГЛАВА 13

Хуан сидел на табурете, пил пепси-колу и тер лоснистый конец ампутированного пальца о рубчики вельветовых брюк. Когда женщины вернулись из-за дома и вошли в магазин, он посмотрел на них, и потирание сменилось постукиванием.

— Все здесь? — спросил он.— Нет, одного не хватает. Где мистер Ван Брант?

— Я тут.

Голос раздался из бакалеи, где, скрывшись за стеной из кофейных банок, он бесцельно разглядывал полки.

Мистер Причард сказал:

— Я хочу знать, когда мы поедем. Мне надо успеть к самолету.

— Я понимаю,— вежливо ответил Хуан,— как раз об этом я и хочу поговорить. Мост ненадежный. Переехать я, наверно, смогу. Но дальше — еще мост, его может снести, если уже не снесло. Нам не удалось о нем разузнать. Если мы въедем в излучину, а оба моста снесет, мы застрянем, и тут уж ни к каким самолетам не успеешь. Так вот я хочу, чтобы вы проголосовали, и сделаю так, как решит большинство пассажиров. Я могу рискнуть и переехать на ту сторону, а могу отвезти вас назад, и там вы рассудите, куда вам ехать. Решайте сами. Но когда вы решите, прошу вас потом не идти на попятный.

Он запрокинул бутылку с пепси-колой и выпил.

— Мне некогда,— громко сказал мистер Причард.— Послушайте, друг мой. Я не был в отпуске с начала войны. Я производил военное снаряжение, необходимое для победы, и это мой первый отпуск. Мне просто некогда кататься по всему штату. Я нуждаюсь в отдыхе. У меня всего несколько недель — не тратить же их таким образом!

Хуан сказал:

— Извините. Я это не нарочно устроил, вы же понимаете,— но если мы застрянем в излучине, вы можете потерять гораздо больше времени, а я могу потерять автобус при переправе. Нагрузка на мост такая, что он вот-вот развалится. Может рухнуть в любую минуту. Другой выход — вернуться назад.

Из-за кофейного штабеля появился Ван Брант. В руках у него была литровая банка грушевого компота. Через весь магазин он прошел к миссис Брид.

— Почему?

— Сорок семь центов.

— Господи! За банку компота?

— Мы на этом не выгадали.— сказала она.— Сами теперь больше платим.

Ван Брант ожесточенно швырнул на прилавок полдоллара.

— Откройте ее,— сказал он.— Сорок семь центов за паршивую баночку компота!

Миссис Брид вставила банку в настенную открывалку, повернула ручку и остановилась, как только приподнялся край. Она передала банку через прилавок Ван Бранту. Сперва он отпил сироп, потом залез туда пальцами и вытащил желтый ломтик. Он подержал его над банкой, чтобы сироп стек.

— Так вот, я вас слышал,— сказал он.— Вы думаете, что можете отнимать у нас время. Мне надо попасть в суд, и попасть сегодня. А вы обязаны меня доставить. Вы — общественный транспорт и подчиняетесь установлениям железнодорожной комиссии.

— О том и стараюсь,— ответил Хуан.— А одно из установлений комиссии — не убивать пассажиров.

— Все от того, что местность не знаете,— продолжал Ван Брант.— Должно быть твердое правило, что раньше, чем водить автобус, надо знать местность.— Он потряс ломтик груши, кинул его в рот и двумя пальцами выловил другой. Он наслаждался.

— Вы сказали, есть только два пути. Так вот, их три. Вы не знаете, что здесь была старая дорога, пока не построили эти дурацкие мосты. Она идет как раз вдоль излучины. По ней ездили дилижансы.

Хуан вопросительно посмотрел на Брида.

— Я слышал о ней, но в каком она виде?

— По ней больше ста лет ездили дилижансы,— сказал Ван Брант.

Брид сказал:

— Я знаю, что первые километра три приличные, а дальше как — не знаю. Она идет по склону горы на восток, вон туда. Ее могло размыть. Я был там еще до дождей.

— Вот и решайте,— сказал Ван Брант. Он отряхнул кусочек груши, кинул его в рот и заговорил с полным ртом.— Я сказал вам, что будет дождь. Сказал вам, что река разольется, а теперь, когда вы застряли, я сказал вам, как выбраться. Может, и вашу дерьмовую колымагу за вас повести?

— Не распоясывайтесь,— прикрикнул Хуан,— выберите выражения. Тут женщины.

Ван Брант запрокинул банку и допил сироп, задерживая груши зубами. Густой сироп потек по подбородку, и он утерся рукавом.

— Ну и поездка, тьфу! — сказал он.— С самого начала.

Хуан повернулся к остальным пассажирам.

— Что ж, вот так. В правилах сказано, что я должен ездить по шоссе. Старую дорогу я не знаю. Не знаю, проеду по ней или нет. Решайте сами, что делать. Если мы застрянем, я не хочу, чтоб всё валили на меня.

Мистер Причард сказал:

— Я люблю, когда дело делается. А мне, любезный, надо в Лос-Анджелес. У меня билеты на самолет до Мехико. Знаете, сколько они стоят? И рейс переменить нельзя. Нам надо пробиваться. Так что давайте действуйте. Вы думаете, мост опасен?

— Не думаю, а знаю,— ответил Хуан.

— Так,— сказал мистер Причард,— и говорите, что не знаете, можно ли проехать по старой дороге?

— Именно,— сказал Хуан.

— Значит, у нас два рискованных пути и один верный. И верный никуда нас не приводит. Х-мम्म,— сказал мистер Причард.

— Как ты считаешь, милый? — сказала миссис Причард.— Надо что-то решать. Я три дня как следует не мылась. Милый, нам надо что-то решать.

Милдред сказала:

— Попробуем по старой дороге. Это может быть интересно.— Она взглянула на Хуана — как он отнесется к этому предложению, но он уже перевел взгляд с нее на Камиллу.

Что-то, оставшееся от недавней встречи с Милдред, заставило Камиллу сказать:

— Я за старую дорогу. Я уже так устала и такая грязная, что мне почти все безразлично.

Хуан отвел взгляд, посмотрел на Норму и прищурился. Это была совсем не та Норма. И она поняла, что он это заметил.

— Я тоже за старую,— сказала она, едва дыша.

Эрнест Хортон нашел себе стул — на нем обычно отдыхала миссис Брид во второй половине дня, когда у нее распухали ноги. Он наблюдал за подсчетом голосов.

— Мне, в общем, все равно,— сказал он.— Конечно, я хотел бы попасть в Лос-Анджелес, но это не так важно. Как скажут другие, так и я.

Ван Браун со стуком опустил банку на прилавок.

— Будет дождь,— сказал он.— Эта окольная дорога может сделаться ужасно скользкой. Неизвестно, удастся ли вам въехать на тот восточный холм. Он крутой и глинистый. Если увязнете там, я не знаю, как вы выберетесь.

— Но вы же сами это предложили,— сказала Милдред.

— Я просто перечисляю все доводы против,— сказал Ван Браун.— Перечисляю по порядку.

— За что вы голосуете? — спросил Хуан.

— А я не голосую. Ничего глупее в жизни не слышал. Я считаю, что решение должен принимать шофер, как капитан корабля.

Прыщ отошел к кондитерскому прилавку. Он выложил десять центов и взял две конфеты. Одну сунул в карман, чтобы дать Камилле, когда сможет остаться с ней наедине, а другую медленно развернул. Шальная, волнующая мысль вдруг стукнула ему в голову. Что если они поедут по мосту, и прямо посередине он провалится и автобус упадет в реку? Прыща выбросит наружу, а блондинка будет заперта в автобусе. Прыщ нырял и нырял и, уже полумертвый, разбил наконец окно, вытащил бесчувственную Камиллу, поплыл с ней к берегу, положил ее на зеленую траву и стал тереть ей ноги, чтобы восстановить кровооб-

ращение. Или лучше — повернул ее на спину, положил руки ей на грудь и сделал искусственное дыхание.

А если они поедут по старой дороге и автобус застрянет? Тогда они останутся на всю ночь и, может быть, у костра, будут вместе, сядут вместе к костру, и он будет освещать их лица, и, может быть, укроются одним одеялом. Прыщ сказал:

— По-моему, лучше попробовать по старой дороге.

Хуан посмотрел на него и ухмыльнулся.

— В тебе кровь настоящего Кита Карсона, а, Кит?

Прыщ понял, что это шутка, но шутка не издевательская.

— Так, кажется, все, кроме одного, за, а один не голосует. Почему? Чтобы можно было подать на меня в суд?

Ван Брант обернулся к остальным.

— Вы с ума посходили, — сказал он. — Вы понимаете, что он делает? Он хочет выкрутиться. Если что-нибудь случится, он будет ни при чем, скажет, что сделал так, как вы ему велели. Нет, мне он голову не заморочит.

Мистер Причард протер очки белым льняным платком.

— Интересная мысль, — сказал он. — В таком разрезе я об этом не подумал. Мы в самом деле отказываемся от своих прав.

В глазах у Хуана зажглась злость. Рот сжался в ни-точку.

— Садитесь в автобус, — сказал он. — Я везу вас обратно в Сан-Исидро и высаживаю. Я хотел вас доставить на место, а вы ведете себя так, как будто я вас хочу убить. А ну, садитесь в автобус. Я сыт по горло. Со вчерашнего дня я верчусь, как мартышка, чтобы вас ублажить, и я сыт этим по горло. Так что занимайте места. Едем обратно.

Мистер Причард подошел к нему.

— Нет, вы меня не так поняли, — сказал он. — Я благодарен вам за ваши труды. Мы все благодарны. Я просто хотел рассмотреть вопрос всесторонне. В делах я всегда так поступаю. Семь раз отмерь, один раз отрежь.

— Я сыт по горло, — повторил Хуан. — Я уступил вам свою постель. Я хочу от вас избавиться.

Ван Брант сказал:

— Между прочим, сломался-то ваш автобус. Вина не наша.

Хуан ответил ровным голосом:

— А больше всего, кажется, я хочу избавиться от вас.

— Не забывайтесь,— ответил Ван Брант.— Учтите, что вы водитель общественного транспорта и вам выданы права. После этого происшествия не так трудно будет их отобрать.

У Хуана вдруг пропала злость. Он захохотал.

— Вот обрадовали так обрадовали. Навсегда избавлюсь от таких, как вы, и уж тогда я найду, куда засунуть эти права, свернувши в трубочку и обвязавши колючей проволокой.

Камилла громко рассмеялась, а Эрнест Хортон радостно хихикнул.

— Это надо запомнить,— сказал он,— ей-богу. Послушайте, мистер Чикой. Эти двое желают разговаривать. Остальные хотят ехать. Мы рискнем. Проведите-ка вы черту, и кто перейдет за нее — едет, прочие остаются здесь. Так будет вернее.

Милдред сказала:

— Мистер Чикой, я хочу ехать.

— Ладно,— сказал Хуан.— Вот большая щель в полу. Кто не хочет, чтобы я ехал по старой дороге, перейдите на ту сторону, к овощам.

Никто не двинулся. Хуан внимательно взглянул каждому в лицо.

— Это незаконно,— сказал Ван Брант.— Суд этого не примет.

— Чего не примет?

— Того, что вы делаете.

— До суда пока не дошло.

— Может дойти,— сказал Ван Брант.

— А вас, если и захотите, не возьму,— сказал Хуан.

— Только попробуйте не взять. У меня билет, у меня право ехать на автобусе. Только попробуйте не взять, я на вас подам, вы оглянуться не успеете.

Хуан сгорбился.

— Это точно,— сказал он.— Ладно, поехали.— Он обернулся к Бриду.— Можете одолжить мне инструменты? Верну на обратной дороге.

— Какие инструменты?

— Да кирку и лопату.

— А-а, конечно. На случай, если застрянете?

— Ага, а талей у вас нет?

— Не очень хорошие. Блоки-то ничего, а трос старый, двенадцать миллиметров. Не знаю, сколько он выдержит. Автобус-то у вас тяжеловатый.

— Ну хоть такие, лучше, чем ничего,— ответил Хуан.— А новый трос у вас нельзя купить?

— С начала войны у нас ни кусочка не было манильского троса,— сказал Брид.— А что есть — к вашим услугам. Пойдемте. Берите, что приглянется.

Хуан сказал:

— Пошли, Кит, поможешь мне.

Все трое вышли из магазина и обогнули дом.

Эрнест сказал Камилле:

— Такое упустить? Да ни за какие деньги.

— Если бы еще я не так устала,— ответила она.— Шестой день еду на автобусах. Хочется скинуть с себя все и денька два по-человечески поспать.

— Почему вы не поехали на поезде? Вы ведь из Чикаго?

— Из Чикаго.

— Так вы могли сесть на «Старшего вождя» и спать себе всю дорогу до Лос-Анджелеса. Это хороший поезд.

— Выгадываю центы,— ответила Камилла.— Накопила немного денег и хочу поваляться недельку-другую до того, как поступлю на работу. А это как-то лучше на двухспальной кровати, чем на вагонной полке.

— Я правильно улавливаю? — спросил он.

— Неправильно,— ответила Камилла.

— Хорошо, как скажете.

— Знаете, кончим эти игры,— сказала Камилла.— Я устала до чертовой матери, и мне неохота играть с вами в шарady.

— Хорошо, красавица, хорошо. Согласен играть во что хотите.

— Тогда давайте посидим тихо. Идет?

— А знаете? Вы мне нравитесь,— сказал Эрнест.— Я бы вас с удовольствием куда-нибудь сводил, когда вы отдохнете.

— Ну, посмотрим, как получится,— сказала она.

Эрнест ей понравился. С ним можно иметь дело. Он кое-что повидал, поэтому с ним просто.

Норма наблюдала за ними, прислушивалась. Она восхищалась Камиллой. Ей хотелось научиться, как это де-

лается. Она вдруг сообразила, что глаза у нее широко раскрыты, как у кролика,— и сразу опустила веки.

Миссис Причард сказала:

— Надеюсь, у меня не разболится голова. Элиот, посмотри, нет ли у них аспирина, хорошо?

Миссис Брид оторвала целлофановый пакетик от большой выставочной картонки.

— Возьмете пакет? Пять центов.

— Возьмем, пожалуй, полдюжины,— сказал мистер Причард.

— Это будет, с налогом, двадцать шесть центов.

— Зачем так много, Элиот? — сказала миссис Причард.— У меня в чемодане флакон, пятьсот штук.

— Всегда лучше иметь запас,— ответил он. Он знал, каковы ее мигрени: они были ужасны. Они искажали ее лицо и превращали ее в потный, студенистый, пыхтящий, оскаленный комок боли. Они заполняли комнату и дом. Они действовали на всех окружающих. Мистер Причард ощущал ее мигрень сквозь стены. Он ощущал ее всем телом, и врач говорил, что помочь тут ничем нельзя. Ей вливали хлористый кальций и давали успокаивающее. Мигрени случались обыкновенно, когда она нервничала и когда дела — не по ее вине — шли плохо.

Муж хотел бы избавить ее от страданий. Они казались корыстными — ее головные боли,— и, однако, это было не так. Боль была настоящая. Невозможно симулировать такую мучительную боль. Мистер Причард страшился их больше всего на свете. От хорошего приступа кидало в дрожь весь дом. И они были немного похожи на совесть. Как ни убеждал себя мистер Причард, он не мог отделаться от чувства, что отчасти он в них виноват. Не то чтобы миссис Причард когда-нибудь это говорила или давала понять. Наоборот, она вела себя очень мужественно. Она старалась заглушить свои крики подушкой.

Мистер Причард не часто беспокоил ее в постели — вернее сказать, очень редко. Но странным образом он связывал свою нечастую похоть и потерю самообладания с ее головными болями. Это глубоко внедрилось в его ум, и каким путем внедрилось — он сам не знал. Но это висело на его совести. Его низменность, его похоть, недостаток самообладания — они были причиной. Избавиться от этого чувства он не мог. Иногда он ловил себя на том, что

искренне ненавидит жену за свои огорчения. Когда у нее болела голова, он оставался после работы в кабинете и, случалось, часами сидел за столом, просто глядя на коричневую обивку стен, и боль жены колотилась в его теле.

Бывало, в разгаре самого жестокого приступа она предлагала ему развеяться. «Сходи в кино,— стонала она.— Пойди к Чарли Джонсону. Выпей виски. Напейся. Не сиди здесь. Сходи в кино». Но это было невозможно. Он не мог.

Он засунул шесть прозрачных пакетиков в карман пиджака.

— Может быть, примешь сейчас две таблетки, на всякий случай? — спросил он.

— Нет,— ответила она.— Я думаю, ничего не случится.— Она улыбнулась, как всегда, мужественно и нежно.

Милдред, услышав слово «аспирин», отошла в бакалейный отдел и стала изучать на стене ценник, утвержденный федеральным управлением. Она стиснула губы, горло у нее сдавило. «О, господи боже мой,— пробормотала она вполголоса.— О, господи, неужели опять начинается?» Милдред не совсем верила этим головным болям. У самой у нее голова никогда сильно не болела, только побаливала при периодических недомоганиях да несколько раз с похмелья в школе. Материнские приступы она объясняла психозом, называла психосоматическими и страшилась их больше, чем отец. В детстве она убегала от них, пряталась в подвале или за шкафом. Но обычно ее вытаскивали и отводили к маме, потому что, когда у мамы болела голова, она нуждалась в любви и ласке. Милдред считала эти головные боли проклятием. Она их ненавидела. И ненавидела мать, когда они начинались.

Одно время Милдред считала их чистым притворством и даже теперь, когда узнала из книг, что боль неподдельная, все равно видела в этих приступах оружие, которым мать пользуется с предельным коварством и предельной жестокостью. Они были мучением для матери, это правда, но также вожами и кнутом для семьи. Они держали семью в повиновении. В некоторых вопросах нежелание матери было законом, потому что за ним маячила мигрень. А когда Милдред жила у родителей, она сознавала, что боится прийти домой позже часу ночи потому, что опоздание почти неизбежно вызовет у матери мигрень.

Между приступами забывалось, до чего они сокрушительны. Милдред полагала, что матери нужен психиатр. И Бернис шла на все. Она на все соглашалась. На дыбы тут встал мистер Причард. Он не верит в психиатров, сказал он. Но на самом деле он верил в них — настолько, что боялся их. Ибо мистер Причард постепенно впал в зависимость от головных болей. В каком-то смысле они были ему оправданием. Они были ему карой и указывали ему на грехи, которые надо искупить. Мистер Причард нуждался в грехах. Их не было в его деловой жизни, потому что жестокости там были заданы и предусмотрены уставом как необходимость и ответственность перед акционерами. А мистер Причард нуждался в личных грехах и в личном искуплении. Идею насчет психиатра он с негодованием отверг.

Милдред заставила себя повернуться и подойти к матери.

— Ты здорова, дорогая?

— Да,— бодро ответила Бернис.

— Голова не болит?

Бернис ответила извиняющимся тоном:

— Нет, просто сжало, и я испугалась. Никогда себе не прощу, если со мной случится этот ужас и я испорчу папе путешествие.

Милдред с легкой дрожью думала о женщине, которая была ее матерью,— о ее власти и ее жестокости. Это, наверно, бессознательное. Иначе что же? Милдред видела и слышала, как стряпалось это путешествие в Мексику. Отец ехать не хотел. Он с удовольствием провел бы отпуск дома, просто не работая: это значило, что он все равно ходил бы на работу каждый день; но, приходя туда когда вздумается и уходя не в урочное время, а когда захочется, наслаждался бы ощущением праздности и отдыха.

Однако идея путешествия в Мексику была внедрена. Как и когда? Милдред не знала, и отец не знал. Но постепенно он уверился не только в том, что это его идея, но и в том, что семьей он с собой тащит. А от этого возникало чудесное чувство, что он в своем доме хозяин. Он проходил дверь за дверью в лабиринте, и они за ним закрывались. Это было похоже на гнездо-ловушку. Курица видит дыру, заглядывает, видит кучку зерна, заходит через дверцу — дверца закрывается. Ага, гнездо. Темно и тихо.

Почему бы не снести яичко? Славную сыграем шутку над тем, кто оставил открытую дверцу.

Отец почти забыл, что не хотел ехать в Мексику. И мистер и миссис Причард пошли на это ради дочери. Конечно, так оно было вернее. Она учит в университете испанский — и язык она знает плохо, точно так же, как ее учителя. Мексика — где же еще попрактиковаться? Мать сказала, что нет лучшего способа изучить язык, чем разговаривать на нем.

Глядя на нежное и спокойное лицо матери, Милдред просто не могла поверить, что эта женщина способна затеять дело и тут же сорвать его. Чего ради? А ведь с нее станется. Идею подсунула она. И голова у нее заболит как пить дать. Но она подождет, покуда не окажется вдали от врачей, покуда ее головная боль не сможет произвести наибольшее впечатление. В это трудно было поверить. Милдред не думала, что мать делает это сознательно. Но в груди у Милдред словно застрял ком теста и давил ей на желудок. Мигрень приближалась. Милдред знала это.

Она позавидовала Камилле. Камилла шлюха, думала Милдред. А насколько проще живется шлюхе. Ни укоров совести, ни потерь — ничего, кроме чудесного, ленивого, как у кошки на солнышке, самобытия. Можно переспать с кем хочешь, никогда больше его не увидеть и не испытывать от этого чувства утраты или непрочности. Так, думала Милдред, обстоит у Камиллы. И ей хотелось бы жить так же, но она знала, что это невозможно. Невозможно из-за матери. И, непрошенная, явилась мысль: если бы мать умерла, ей жилось бы куда проще. Завела бы себе где-нибудь укромную квартирку. Она почти с яростью отбросила эту мысль. «Какая гадость — так думать». — назидательно сказала она себе. Но мечта эта посещала ее часто.

Она посмотрела в фасадное окно. Прыщ помог втащить тали в автобус, а трос был в смазке и оставил след на шоколадных брюках Прыща. Он оттирал их носовым платком. «Бедный мальчик, — подумала Милдред, — костюм-то, наверно, единственный». Она хотела сказать ему, чтобы он не трогал пятно, но в это время он подошел к бензоколонке, смочил бензином платок и умело принялся за чистку.

А Хуан уже звал: «Поехали, граждане»..

ГЛАВА 14

Окольная дорога вдоль излучины реки Сан-Исидро была очень старая дорога, никто и не знал ее возраста. Это правда, что по ней ездили в дилижансах и верхом. В сухое время года по ней гнали скот к реке, где он мог полежать в жару под ивами и напиться из ям, отрытых в ложе реки. Старая дорога была просто полоской земли, только что не вспаханной, а убитой копытами да отмеченной колеями. Летом, когда проезжала телега, тяжелые тучи пыли подымались над ней, а зимой из-под конских копыт прыскала полужидкая грязь. Постепенно дорога углубилась, стала ниже, чем поля вокруг, и зимой превращалась в длинное озеро со стоячей водой, местами очень глубокой.

Тогда-то люди со стругами и прорыли канавы по бокам, отсыпав грунт в сторону дороги. А потом землю стали возделывать, и скот стал такой ценностью, что владельцы придорожных участков поставили изгороди, чтобы своя скотина не уходила, а чужая не приходила.

Изгороди представляли собой обрезные столбы из секвойи, связанные на середине высоты досками 15×2,5 см. А поверху была пущена старинная колючая проволока—перекрученная полоска металла с заточенными зубцами. Изгороди жгло солнце и мочили дожди, красноватые доски и столбы сделались светло-серыми или серо-зелеными, дерево обросло лишайником, а на теневой стороне столбов лепился мох.

Прохожие люди, воспламененные истиной, писали свои послания на досках. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное...», «Грешник, приди к Богу», «Поздно...» «Что пользы человеку...», «Приди ко Христу». А другие люди писали другие послания по трафарету «Медикаменты у Джея...», «Сайрус Нобл — лечебное виски...», «Веломагазин Сан-Исидро». Теперь все надписи выцвели и потускнели.

По мере того как все меньше земли оставалось под выпасом и все больше шло под пшеницу, ячмень и овес, фермеры начали истреблять на полях сорняки — сурепку, дикую горчицу, маки, чертополох, молочай,— и эти беженцы нашли приют в канавах у дороги. Поздней весной горчица стояла в два метра ростом, и красноплечие желтушники вили гнезда под желтыми цветами. А в мокрых канавах росла жеруха — водяной кресс.

Придорожные канавы под высокими зарослями бурьяна стали жилищем для ласок и ярких водяных змей, а по вечерам — водопоем для птиц. Весной луговые жаворонки все утро сидели на старых изгородях и сыпали свои тирольские песни. А осенними вечерами на колючей проволоке плечом к плечу, километр за километром сидели траурные голуби, и переключка их катилась на километры непрерывной нотой. По вечерам вдоль канав летали козодои, высматривая снесь, и в темноте разыскивали кроликов сипухи. А когда заболела корова, на старой изгороди сидели, дожидаясь ее смерти, большие и уродливые черные грифы.

Дорога была почти заброшенной. Пользовались ею всего несколько семей, к чьим фермам не было никакого иного доступа. Когда-то здесь было много мелких владений, человек жил подле своей пашни, сзади дома была его ферма, а спереди, под окнами залы, — его грядки. Теперь же здесь расстилалась незаселенная земля, и домишки со старыми амбарами стояли без стекол, некрашенные, серые.

К полудню с юго-запада надвинулись тучи и встали грядой. Есть примета, что чем дальше собираются тучи, тем больше будет идти дождь. Но он еще не собрался. Еще виднелись клочки голубого неба, и то и дело слепящий луч солнца упирался в землю. А раз башнеподобное облако раскроило солнечный свет на длинные прямые ленты.

Хуану пришлось вернуться немного назад по шоссе — к повороту на старую дорогу. Прежде чем свернуть, он остановил автобус, вылез и прошел вперед. Он почувствовал под ногами жирную грязь. И ему стало радостно. Он чуть ли не силком тащил это поголовье к нужному месту, хотя ему-то дела нет до их нужд. Теперь он думал о них чуть ли не со злорадством. Они сами выбрали эту дорогу, и, может быть, им повезет. Он испытывал радость отпускника. Хотели — пусть получают. Интересно, что они станут делать, если застрянет автобус. Перед тем как повернуть назад, он ковырнул носком смесь гравия и грязи. Он подумал — а что сейчас делает Алиса? Да уж известно, что Алиса делает. А если он загробит автобус... ха, он может просто уйти от него, просто уйти и не вернуться. До чего же радостным было это чувство отпускника. Когда он влезал в автобус, его лицо сияло от удовольствия.

— Прямо не знаю, попроберемся ли,—весело сказал он. И пассажиров несколько встревожило его воодушевление.

Пассажиры собрались вместе, заняв самые передние места. Для каждого из них Хуан был единственной связью с нормальным миром, и, если бы они узнали, что у него на уме, они бы очень испугались. Хуана разбирало веселье. Он закрыл дверь автобуса и дважды газанул, прежде чем включить первую скорость и вывести автобус на топкий проселок.

Из туч вот-вот должно было хлынуть. Он знал это. Он видел, как посекалась одна туча на западе. Там уже началось, и сейчас понесется по долине еще один весенний ливень. Свет опять стал металлическим, застиранным и блеклым, как в подзорной трубе, и это могло означать лишь проливной дождь.

Ван Брант радостно сказал:

— Дождь собирается.

— Похоже,—согласился Хуан и повернул автобус на проселок. Рисунок на протекторах был глубокий, но, съехав с асфальта, Хуан почувствовал, как стала проскальзывать в жирной грязи резина и зад автобуса потащило в сторону. Все же под грязью было дно, и автобус полез по проселку. Хуан перевел на вторую скорость. Так на ней и придется ехать, чего доброго, всю дорогу.

Мистер Причард громко, чтобы перекрыть шум мотора, спросил:

— Этот объезд большой?

— Не знаю,—ответил Хуан.— Никогда здесь не ездил. Говорят, километров двадцать—двадцать пять, что-то около этого.— Он сгорбился над баранкой, и взгляд его перебежал с дороги на Деву Гвадалупы под ветровым стеклом.

Хуан не был истово верующим человеком. Он верил в силу Девы, как ребенок верит в силу своего дяди. Она была и куклой, и богиней, и амулетом, и родственницей. Мать его, ирландка, вышла замуж в семью Девы и приняла ее так же, как мать и бабушку мужа. Дева Гвадалупы стала ее семьей и ее богиней.

С этой Девой в широких юбках, стоящей на лунном серпе, прошло все детство Хуана. Она была при нем неотлучно: над его кроватью — наблюдала его сны, в кухне — присматривала за стряпней, в передней—впускала его

в дом и выпускала и на двери *Zaguan*¹ — слушала, как он играет на улице. Была в церкви — внутри своей собственной красивой часовенки; в классе и, словно этого вездесущия было мало, он еще носил ее на груди — золотую медальку на золотой цепочке. Он мог спрятаться от матери, от отца и братьев, но смуглая Дева была с ним всегда. Других родственников можно было провести, обмануть, перехитрить, одурачить, а она знала все. Он признавался ей в разных поступках — но только для порядка, потому что она и так о них знала. Это скорее был рассказ о побуждениях, толкнувших тебя на какой-то поступок, чем доклад о том, какой поступок ты совершил. Хотя и это было глупо, потому что побуждения она тоже знала. И тут у нее бывало особенное выражение лица, полуулыбка, словно она вот-вот рассмеется. Она не только понимала, она и чуть-чуть забавлялась. И если эта полуулыбка вообще что-то означала, то ужасные детские преступления, как видно, не заслуживали ада..

Так что в детстве Хуан любил ее искренне, надеялся на нее, а отец говорил, что она особо выделена оберегать мексиканцев. Когда он видел на улице немецких или американских детей, он знал, что его Деве на них наплевать, потому что они не мексиканцы.

Если добавить к этому, что Хуан не верил в нее умом и верил каждым чувством, то вы уясните его отношение к Деве Марии Гвадалупской.

Автобус лез по грязной дороге очень медленно, оставляя за собой глубокие колеи. Хуан скосил глаза на Деву и сказал про себя: «Ты знаешь, что я не был счастлив и что из чувства долга, которое мне поперек натуры, я оставался в силках, раскинутых для меня. А сейчас я доверяю решать тебе. Сам я не могу взять на себя решение сбежать от жены и от маленького моего хозяйства. Когда я был моложе, я бы и сам смог, но теперь я размяк и слаб в решениях. Я передаю это в твои руки. Я на этом проселке не по своей воле. Меня затащила сюда воля этих людей, которым нет дела ни до меня, ни до моей целостности и счастья, а только до своих надобностей. Я думаю, они меня даже не видят. Я — машина, чтобы везти их, куда им надо. Я предлагал им вернуться. Ты слышала. Так что я передаю это тебе, и я пойму твою волю. Если автобус заст-

¹ Сеней (исп.).

рянет так, что с обычными стараниями я его вытащу и смогу ехать,— я его вытащу. Если обычные предосторожности позволяют удержать автобус на ходу — я от них не откажусь. Но если ты в своей мудрости захочешь дать мне знак и утопишь автобус в грязи по оси или стянешь его с дороги в кювет, где я ничего не смогу сделать, тогда я пойму, что ты одобряешь мое намерение. Тогда я уйду. Тогда эти люди пусть сами о себе заботятся. Я уйду и исчезну. Я никогда не вернусь к Алисе. Я скину с себя старую жизнь, как костюм или исподнее. Решай ты».

Он кивнул и улыбнулся Деве, и у нее на лице была слабая улыбка. Она знала, чем все кончится, но выяснить это пока не было возможности. Без разрешения сбежать он не мог. Надо было, чтобы одобрила Дева. Последнее слово за ней. Если она очень против того, чтобы Хуан ушел от Алисы, она выровняет дорогу и проведет автобус, и он поймет, что отпущенное ему отпущено пожизненно.

Он сильно дышал от возбуждения, и глаза его блестели. Милдред видела его лицо в зеркале. Она не могла понять, отчего он так сияет, чему радуется. Вот мужчина, подумала она, мужчина насквозь мужественный. Такой мужчина нужен был бы настоящей женщине, потому что он не допустит в себе ничего женственного. Ему довольно его собственного пола. Он никогда не попытается понять женщину — а это такое счастье. Он будет просто брать у нее то, что ему надо. Отвращение к себе у нее прошло, и на душе стало полегче.

Ее мать сочиняла в уме очередное письмо. «И вот мы очутились на грязной дороге, за много километров от населенных мест. И даже шофер не знал дороги. Тут что угодно могло случиться. Что угодно. Вокруг никаких признаков человеческого жилья, и начинался дождь».

Дождь начинался. Не порывами и потоками, как утром, а сильный, настойчивый, барабнящий, деловитый дождь, который изливает столько-то литров в час на данную площадь. Ветер стих совсем. Это был отвесный ливень, дождь как таковой. Автобус с шипением и плеском давил ровную дорогу, и Хуан, чуть поборачивая руль, чувствовал, как заносит машину.

— Цепи у вас есть? — окликнул его Ван Брант.

— Нет, — весело ответил Хуан. — Не могу достать цепи с довоенных времен.

— Не думаю, что вы проедете, — сказал Ван Брант. — На ровной местности — еще ничего, но довольно скоро вам придется ехать в гору. — Он показал на восток, на горы, к которым полз автобус. — Река ударяется прямо в обрыв, — крикнул он пассажирам. — Дорога идет над обрывом. Не думаю, что мы въедем.

У Прыща это утро прошло во внутренней борьбе и напряжении. И без того в его жизни было мало спокойных минут, но нынче выдался день особенно бурный. Тело у него горело от возбуждения. В Прыще бушевали похотливые юношеские соки. И сон его и явь были заполнены одним предметом. Но столь разнообразно было действие этого единого раздражителя, что сейчас он готов был лезть ко всем, как щенок, а через минуту барахтался в густой и чувствительной романтике, а еще через минуту покаянно бичевал себя. Тогда он чувствовал, что он одинок и что он, одинокий, — величайший грешник на свете. С раболопным обожанием смотрел он на владеющего собой Хуана и других знакомых мужчин.

С той минуты, когда он увидел Камиллу, он потянулся к ней душой и телом, и тяга эта порождала то сладострастные картины обладания, то грезы о женитьбе и совместной жизни. То он сближался с ней настолько, что готов был подойти и попросить напрямик, то от одного ее мельком брошенного взгляда его пробирала дрожь смущения.

Снова он попытался сесть там, откуда мог незаметно наблюдать за ней, и снова потерпел неудачу. Он видел только ее затылок, зато Норму — в профиль. Так что лишь сейчас, с опозданием, Прыщ заметил перемену в Норме — и, заметив, глубоко вздохнул. Она стала другая. Он понимал, что это всего-навсего косметика — он видел со своего места и подрисованную бровь, и губную помаду, — но не от этого быстро и горячо побежала по жилам кровь. Норма стала другой. У нее появилась осознанная женственность, которой не было раньше, и неукротимые соки опять зашептали ему. Если — о чем он знал в глубине души — Камиллы ему не видать, то можно добиться Нормы. Ее он не так боялся, как богиню Камиллу. Бессознательно он начал строить план, как подстеречь Норму и одолеть ее. Новый нарывчик образовался у него на левой щеке. Не удержавшись, он ковырнул его, и зацветшая плоть возмущенно побегрела. Прыщ украдкой взглянул на предприимчивый

палец, спрятал его в карман и там обтер. Он раскровянил щеку. Он вынул носовой платок и приложил к лицу.

Мистер Причард беспокоился, смогут ли они проехать и успеет ли он к самолету. И еще его грызла мысль, мешавшая расслабиться и отдохнуть. Он попробовал отделаться от нее смехом. Он применил все привычные методы истребления неприятных мыслей, но они не помогли.

Эрнест Хортон заявил, что план мистера Причарда — шантаж, и Эрнест даже высказал опасение, что Элиот Причард украдет его идею накладных лацканов для темного костюма, если не принять мер. Сперва это возмутило мистера Причарда, — с его-то репутацией и положением? А потом он подумал: «Да, у меня есть репутация и положение в моем кругу, но здесь у меня нет ничего. Я одинок. Этот человек думает, что я вор. Я не могу отослать его к Чарли Джонсону, чтобы ему объяснили, насколько он заблуждается». Это очень сильно волновало мистера Причарда. Эрнест пошел еще дальше. Он высказал мысль, что мистер Причард — из тех людей, которые ходят на квартиры к блондинкам. Он никогда в жизни этого не делал. Необходимо доказать Эрнесту Хортону, что он судит превратно. Но как это сделать?

Рука мистера Причарда лежала на спинке сиденья, а Эрнест сидел позади него, один. Мотор автобуса, ехавшего на второй скорости, работал громко, и старый кузов дребезжал. Существовал только один способ — предложить что-то Эрнесту Хортону, что-то честное и открытое, тогда он поймет, что мистер Причард не вор.

Была одна смутная мысль. Он обернулся.

— Меня заинтересовал ваш рассказ о том, как у вас в компании относятся к свежим идеям.

Эрнеста это позабавило. Мужичку чего-то надо. Он заподозрил, что приятелю захотелось попасть на вечеринку. Такой же был начальник у Эрнеста. Обожал ночные совещания, и всегда они кончались в публичном доме, и всегда он удивлялся, как сюда попал.

— У нас чудесно относятся, — сказал Эрнест.

— В этой моей идее нет ничего особенного, — сказал мистер Причард. — Просто как-то пришло в голову. Можете ею воспользоваться, если хотите и если вам от нее будет польза.

Эрнест молча ждал.

— Возьмем запонки, — сказал мистер Причард. — Я, ска-

жем, всегда ношу отложные манжеты и запонки, а когда вы вставили запонки — чтобы снять рубашку, их надо вынуть. И если вы хотите поддержать рукава, когда моете руки, тоже надо вынуть запонки. Их легко вставить, пока не надел рубашку, но тогда не просунешь руки. А когда ты в рубашке, запонки вставить трудно. Понимаете мою мысль?

— Есть такие, которые сцепляются, — сказал Эрнест,

— Да, но на них нет спроса. Половинки всегда куда-то заваливаются и теряются.

Автобус остановился. Потом Хуан включил первую скорость и осторожно двинулся дальше. Автобус тряхнуло, когда он проехал яму, тряхнуло еще раз, когда проехали задние колеса, и он медленно пополз дальше. Дождь громко барабанил по крыше. Дворник повизгивал на ветровом стекле.

Мистер Причард еще больше откинулся на сиденье и сдвинул рукав так, что показалась золотая запонка.

— Теперь предположим, — сказал он, — что вместо цепочки или перекладины здесь пружина. Когда стаскиваешь манжету через руку, пружина растягивается; можно поддержать манжеты, чтобы вымыть руки, а потом все встанет на место. — Он внимательно следил за лицом Эрнеста.

Эрнест, прищурившись, думал.

— Но как это будет выглядеть? Пружина-то нужна стальная, иначе это на раз.

Мистер Причард с готовностью ответил:

— Я это продумал. В дешевых можно золотить пружину или серебрить. А в дорогих, скажем, чисто золотых или платиновых — в качественных — тут вместо перекладины — трубка, и, когда манжета на запястье, пружина целиком прячется в трубку.

Эрнест задумчиво кивнул.

— Да, — сказал он, — да. Очень неплохая мысль.

— Она ваша, — сказал мистер Причард. — Ваша — пользуйтесь ею как вам угодно.

Эрнест сказал:

— Наша компания выпускает другие товары, но может быть... может быть, я смогу их уговорить. Самый ходкий товар на свете — из мужских, конечно, — это бритвы и бритвенные принадлежности, ручки, карандаши и ювелирные изделия. Человек, который за год пяти строк не напишет, запросто покупает шикарную авторучку за пятнадцать

долларов. А ювелирные? Это может выгореть. Какие ваши условия, если им подойдет эта идея?

— Никаких,— ответил мистер Причард.— Никаких условий. Я вам дарю ее. Хочу помочь молодому, подающему надежды человеку.— Настроение у него опять исправилось. Но что, если выгорит это дело, которое он придумал? Что если оно принесет миллион? Что если... Но он сказал, и он своему слову хозяин. Его слово — закон. А уж захочет ли Эрнест выразить свою благодарность — это ему решать.— Мне совершенно ничего не надо,— повторил он.

— Ну, это очень мило с вашей стороны.— Эрнест достал из кармана блокнот, что-то написал и вырвал листок.— Конечно, для начала надо будет оформить права,— сказал он.— Если у вас найдется в Голливуде свободное время, может быть, позвоните мне и поговорим по-деловому? У нас с вами может получиться дело.— При этих словах его левое веко чуть опустилось, а потом он скосил глаза на миссис Причард. Он передал листок мистеру Причарду и сказал:

— Хемпстед три тысячи двести пятьдесят пять, «Герб Алоха», квартира двенадцать Б.

Мистер Причард слегка покраснел, достал бумажник и сунул в него записку, спрятал записку поглубже, на самое дно. Вообще-то она была ни к чему. Он мог выбросить ее при первом удобном случае, потому что память имел отличную. Годы пройдут, прежде чем он забудет этот номер телефона. Машинка в голове щелкнула, испытанная его машинка. Три да два — пять, и еще раз. И Хемпстед. Хемп — конопля. Конопля — лен, лен — белый. У него были сотни таких приемов запоминания. Волосы как лен, блондинка. Руки чесались выкинуть бумажку. Бернис иногда лазила к нему в бумажник за мелочью. Он сам ей разрешал. А сейчас он нутром чувствовал опасность... Однако унижительное чувство, когда тебя обозвали вором.

Он сказал жене:

— Как ты себя чувствуешь, девочка?

— Хорошо,— сказала она.— Кажется, я переборола. Просто сказала себе: «Я не позволю ей начаться. Не позволю ей портить отпуск моим милым».

— Вот и хорошо,— сказал мистер Причард.

— А скажи, милый,— продолжала она,— как к вам, мужчинам, приходят такие идеи?

— Да просто приходят — и все, — ответил он. — А эта — из-за новой рубашки с маленькими петлями. Я на днях в ней застрял, чуть не пришлось звать на помощь.

Она улыбнулась.

— По-моему, ты ужасно милый, — сказала она. Он положил руку ей на колено и сжал ей ногу. Она игриво хлопнула его по руке, и он отпустил.

Норма повернула голову так, что ее губы были против уха Камиллы. Зная, что Прыщ подслушивает, она старалась говорить как можно тише. Она ощущала его взгляд, и в каком-то смысле он ее радовал. Никогда в жизни она не чувствовала себя так уверенно, как сейчас.

— Вообще-то у меня нет семьи, ну, того, что можно назвать семьей, — сказала Норма. Она все вываливала Камилле. Она рассказывала и объясняла ей всю свою жизнь. Ей хотелось, чтобы Камилла знала о ней все — и какой она была до нынешнего утра, и какая она теперь, — чтобы Камилла стала ее семьей, чтобы привязалась к ней эта прекрасная и уверенная женщина.

— Когда ты одна на свете, ты такие штуки выкидывашь, — сказала она. — Я людям врал. Перед собой притворялась. Делала вид, как будто это на самом деле... ну — что я придумала. Знаете, что я делала? Я воображала, как будто один знаменитый артист... ну, — мой муж.

Это вырвалось. Норма не собиралась заходить так далеко. Она покраснела. Этого не надо было говорить. Этим она как будто предавала мистера Гейбла. Но, призадумавшись, она нашла, что дело обстоит не совсем так. Мистер Гейбл не вызывал такого чувства, как раньше. Чувство перешло на Камиллу. Это поразило Норму. Она усомнилась в своем постоянстве.

— Оттого, что у тебя нет семьи и нет друзей, — объяснила она. — Наверно, ты их просто придумываешь, если у тебя их нет. Но теперь-то — ну, если мы снимем квартиру, мне ничего не придется придумывать.

Камилла отвернулась, чтобы не видеть этой наготы в глазах Нормы, их совершенной беззащитности. «Милые мои! — подумала Камилла. — Куда же я угодила? Не хватало мне ребеночка. Впуталась за здорово живешь. Как это вышло-то? Теперь я должна буду над ней колдовать и жить ее жизнью, и скоро мне это осточертеет, но уже увязну так, что не выкарабкаюсь. Если Лорейн вытурила

своего рекламщика и мы можем съехаться, куда я ее дену? С чего все началось? Какого черта я полезла?»

Она повернулась к Норме.

— Детка,— начала она решительно.— Я не говорила, что мы снимем. Я сказала: посмотрим, как пойдут дела. Ты обо мне много чего не знаешь. Во-первых, я помолвлена, и мой жених— он считает, что мы скоро сможем пожениться. Так что, понимаешь,— если он захочет сейчас, как мы с тобой поселимся?

Камилла увидела в глазах у Нормы отчаяние, похожее на ужас; у девушки запали щеки и рот, бессильно повисли руки и плечи. Камилла сказала себе: «Можно снять комнату в ближайшем городе и спрятаться, потеряться. Можно сбсжать от нее. Можно... Господи, как же я в это впуталась? До чего я устала. Мне бы сейчас в горячую ванну». Вслух она сказала:

— Не огорчайся, детка. Может, он еще не надумал. Может... да послушай, детка, может, все устроится. Может быть. Правда.

Норма крепко сжала губы и отвела глаза. Голова ее вздрагивала от толчков автобуса. Камилле не хотелось на нее смотреть. Но потом Норма овладела собой. Она спокойно сказала:

— Вы, наверно, меня стыдитесь, я вас не виню. Я могу быть только официанткой, но если вы меня научите, я тоже попробую стать сестрой. Буду учиться по ночам, а днем работать официанткой. Но я выучусь, и тогда вам не надо будет меня стыдиться. Ведь это будет не так трудно, если вы поможете.

Муторная волна прокатилась по желудку Камиллы. «Господи боже милостивый! Вот это попалась. Что я ей скажу? Врать дальше? Или все же растолковать ей, каким способом я зарабатываю? Еще хуже будет? А может, это так ее оскорбит, что она и не захочет меня в подруги. Может, это самое лучшее. Нет, пожалуй, лучше всего потерять ее в толпе».

Норма говорила:

— Мне бы тоже хотелось иметь специальность, как говорится, достойную, вроде вашей.

Камилла с отчаянием сказала:

— Слушай, детка, я жутко устала. Так устала, что думать не могу. Я уже еду несколько суток. Сил нет ду-

мать ни о чем. Давай пока оставим. Посмотрим, как там пойдут дела.

— Извините,— сказала Норма.— Я разволновалась и совсем забыла. Больше не буду говорить. Посмотрим, как пойдут дела. Да?

— Да, посмотрим.

Автобус резко затормозил. Они уже подъезжали к холмам, но зеленые их волны едва виднелись в дожде. Хуан, привстав, оглядел дорогу. В полотне была яма, яма, полная воды, неизвестно какая глубокая. Может быть, автобус уйдет в нее с крышей. Хуан взглянул на Деву. «Рискнуть мне?» — спросил он неслышно. Передние колеса замерли на краю лужи. Он усмехнулся, дал задний ход и отвел автобус метров на семь.

Ван Брант сказал:

— Хотите попробовать с разгона? Застрянете.

Губы Хуана зашевелились беззвучно. «Дружочек ты мой, если бы ты только знал,— прошептал он.— Если бы все вы знали». Он включил первую скорость и поехал к яме. Вода расступилась и разлетелась с плеском. Задние колеса въехали в лужу. Автобус заскользил, забуксовал. Задние колеса вертелись, мотор ревел, и, подкидывая кузов, вертящиеся колеса медленно продвигали автобус вперед и вывезли на другую сторону. Хуан перевел на вторую скорость и пополз дальше.

— Наверно, там был гравий,— сказал он через плечо Ван Бранту.

— Ничего, посмотрим, как вы в гору поедете,— злое-ще ответил Ван Брант.

— А знаете, для человека, который хочет доехать, вы что-то очень ищете помех,— сказал Хуан.

Дорога пошла в гору, и здесь вода на ней не застаивалась. По кюветам она бежала вровень с верхом. Ведущие колеса пробуксовывали, растирали грязь в колеях. Хуан вдруг понял, что он сделает, если автобус сядет. Раньше он не понимал. Он думал добраться до Лос-Анджелеса и устроиться там шофером на грузовик, но он сделает по-другому. В кармане у него было пятьдесят долларов. Он всегда держал их при себе на случай поломок, и этого ему хватит. Он уйдет, но недалеко. Где-нибудь спрячется и переждет дождь. Может быть, даже поспит. А поесть — он захватит один пирог. Потом, когда отдохнет,

он выйдет на шоссе и проголосует, просто подождет на заправочной станции, пока его подберут. На попутных доберется до Сан-Диего, а там, через границу, — в Тихуану. Там будет хорошо, и, может быть, дня два-три он просто поваляется на пляже. С границей просто. На этой стороне он скажет, что он американец. На той — будет мексиканцем. Потом, когда отдохнет, он уедет из города, может быть, на попутной, а может быть, просто уйдет пешком через горы, и вдоль по речкам — может быть, до самого Санто-Томаса, а там подождет почтовой машины. В Санто-Томасе накупит вина, заплатит почтарю и — по полуострову на юг, через Сан-Кинтин, мимо бухты Бальенас. Пожалуй, недели две уйдет на то, чтобы добраться по камням и через кактусовую пустыню до Ла-Паса. Надо, чтобы остались еще кое-какие деньги. В Ла-Пасе сядет на пароход до Гуаймаса или Масатлана на той стороне залива, а может, и до Акапулько, и в любом из них он найдет туристов. В Акапулько — больше, чем в Гуаймасае и Масатлане. А где туристы барахтаются без испанского посреди незнакомой страны, там Хуан не пропадет. Подрабатывая помаленьку, он доберется до Мехико, а там туристов пруд пруди. И экскурсии можно водить, и по-всякому зарабатывать. А много ему не надо.

Он усмехнулся про себя. Чего ради он так долго за это держался? Он вольная птица. Может делать что захочет. Пускай его поищут. Пожалуй, еще прочтет про себя заметку в лос-анджелесских газетах. Решат, что он погиб, и будут искать тело. Алиса поначалу поднимет содом. И будет чувствовать себя важным человеком. В Мексике многие умеют готовить бобы. Может, сойдется в Мехико с какой-нибудь американкой, из тех, что скрываются там от налогов. В приличном костюме вид у него вполне представительный, Хуан это знал. Какого шута он давным-давно не вернулся?

Он уже чуял запах Мексики. Он не мог понять, почему не сделал этого раньше. А пассажиры? Пускай сами о себе беспокоятся. Не так уж далеко они заехали. До того привыкают взваливать свои трудности на других, что разучились о себе заботиться. Им это будет полезно. Хуан о себе позаботиться может — и займется этим. Что за дурацкую жизнь он вел, о чем хлопотал — как перевезти пироги из города в город? Ну, с этим покончено.

Он заговорщицки взглянул на Гвадалупану. «Нет, я сдержу слово,— сказал он неслышно.— Довезу их, если ты хочешь. Но очень может быть, что я все равно уйду».

Память обрушила на него картины обожженных солнцем холмов Южной Калифорнии, и зной Соноры, и утренний холодок Мексиканского плоскогорья, с запахом сосновых шишек в домах, с запахом маисовых лепешек. И сладко навалилась тоска по родине. Со вкусом свежих апельсинов, с огнем красного перца. Да что он делает в этой стране? Она ему чужая.

Завеса лет отлетела, и, наложившуюся на грязный проселок, он увидел, услышал, почуял Мексику, гомон рынка, скрипучий крик попугая в саду, ругань свиней на улице, цветы, и рыбу, и скромных смуглых девочек в синих шалях. Как странно, что он на столько лет об этом забыл. Он томился по югу. Он не мог понять, что за диковинная западня его тут поймала. Вдруг его охватило нетерпение — уйти сейчас же. Почему не нажать на тормоз, не открыть дверь, не уйти в дождь? Он видел, как высовываются вслед ему их глупые лица, и слышал их возмущенные голоса.

Он снова взглянул на Деву. «Я сдержу слово,— шепнул он.— Я проеду, если смогу». Он почувствовал, как колеса проскальзывают в грязи, и ухмыльнулся Деве Гвадалупы.

Теперь река прибилась к самым холмам, вместе с каймой берегового ивняка. А дорога вильнула в сторону, прочь от реки. Дождь редел, и они видели с дороги светло-желтые водовороты в широком потоке и раздерганные, завивающиеся пряди грязной пены. Впереди дорога лезла на косогор, а наверху был желтый обрыв, почти утес, и дорога шла под ним. На самом верху обрыва громадными блеклыми буквами было выведено одно слово: ПОКАЙТЕСЬ. Наверно, с большим трудом и риском для жизни писал его там какой-то блаженной человек черной краской, а теперь она почти стерлась.

В стене песчаника были пещеры, открытые дождем и ветром и прокопанные зверями. Пещеры зияли в желтом обрыве, как черные глазницы.

Изгороди здесь были еще крепкие, и в суходольных травах стояли рыжие коровы, потемневшие от дождя, некоторые уже с весенними телятами. Рыжие коровы медленно поворачивали головы и смотрели на трудившийся

автобус, а одна дурная коровища со страху ударилась бежать, лягаясь и брыкаясь, словно хотела отпугнуть автобус.

Грунт на дороге стал другим. На гравии ход был устойчивее. Кузов кидало и встряхивало на ухабах, но колеса не проскальзывали. Хуан подозрительно посмотрел на Деву. Дурачит она его? Провезет и заставит самого принимать решение? Это будет некрасивая шутка. Без знака с небес Хуан не знал, что ему делать. Дорога дала большой крюк вокруг старой фермы, а потом полезла к обрыву всерьез.

Хуан снова ехал на первой скорости, и хвостик пара из сливной трубки завивался над капотом. Конец подъема был прямо перед обрывом с темными пещерами. Хуан с сердцем нажал на газ. Колеса кидали гравий. В одном месте кювет был завален, и вода со смытой почвой разлилась по дороге. Хуан гнал машину в этой темной полосе. Передние колеса переехали ее, а задние забуксовали в жирной грязи. Автобус занесло, а колеса все буксовали, и зад машины тяжело опустился в кювет.

На лице Хуана была свирепая усмешка. Он газовал, и колеса зарывались все глубже и глубже. Он дал задний ход и прибавил газу, колеса вертелись, рыли себе ямы, уходили в ямы, и автобус сел на дифференциал. Хуан сбросил газ. В зеркальце он увидел, как Прыщ смотрел на него с изумлением.

Хуан забыл, что Прыщ-то поймет. Рот у Прыща был открыт. Не похоже на Хуана. На топком месте так не газуют. Хуан увидел вопрос в глазах Прыща. Почему он так сделал? Не такой же он бестолковый. Он встретил в зеркальце взгляд Прыща и не придумал ничего лучше, чем подмигнуть ему украдкой. Однако на лице Прыща выразилось облегчение. Если так задумано, значит, все в порядке. Если за этим что-то кроется, Прыщ его не бросит. И тут у Прыща возникла ужасная мысль. Что если это из-за Камиллы? Если она нужна Хуану, Прыщу ее не видать. Он Хуану не соперник.

Автобус сильно наклонился. Задние колеса утонули в канаве, а передние стояли высоко на полотне. «Любимая» походила на изувеченного жука. Но вот лицо Ван Бранта заслонило отражение Прыща в зеркале. Ван Брант был красный и злой, и его костлявый палец рассекал воздух у Хуана под носом.

— Допрыгались,—закричал он.—Посадили нас. Я знал, что этим кончится. Ей-богу, так и знал! Как я теперь попаду в суд? Как вы нас отсюда вытащите?

Хуан отбил его палец ладонью.

— Не тычьте мне в лицо,—сказал он.—Вы мне надоели. Ну-ка, сядьте на место.

Сердитый взгляд Ван Бранта дрогнул. Он вдруг понял, что на этого человека нет управы. Ни комиссии железнодорожной он не боится, никого. Ван Брант попятился и сел на наклонное сиденье.

Хуан выключил зажигание, мотор смолк. Дождь стучал по крыше автобуса. Хуан похлопал ладонями по баранке, потом, сидя, повернулся к пассажирам.

— Так,—сказал он.—Приехали.

Они смотрели на него растерянно. Мистер Причард робко спросил:

— Вы не можете нас вытащить?

— Я еще не смотрел,—ответил Хуан.

— Но, кажется, мы сели довольно основательно. Что вы намерены делать?

— Не знаю,—сказал Хуан. Ему хотелось увидеть лицо Эрнеста Хортонна — понял ли он, что это сделано нарочно,—но Эрнеста не было видно за Нормой. Камилла вообще никак не откликнулась на происшествие. Она слишком долго ехала, чтобы теперь торопиться.

— Сидите спокойно,—сказал Хуан. Он сел поправше в наклонившемся кресле и толкнул рычаг двери. Замок щелкнул, но дверь не открылась. Ее заклинило. Хуан встал и открыл дверь ударом ноги. Стал слышен шелест дождя на дороге и в траве. Хуан вылез под дождь и подошел к задку автобуса. Косой дождь холодил ему голову.

Машину он посадил на совесть. Теперь без аварийной, а то и трактора ее не вытащишь. Он наклонился и заглянул под днище — убедиться в том, что и так знал. Полуоси с дифференциалом лежали на земле. Пассажиры смотрели в окна, их лица искажало мокрое стекло. Хуан выпрямился и опять влез в автобус.

— Так, граждане, наверно, вам придется подождать. Виноват — но не забудьте, что все вы сами хотели ехать по этой дороге.

— Я не хотел,—сказал Ван Брант.

Хуан резко повернулся к нему.

— Не вмешивайтесь, черт побери. Не злите меня, я и так сейчас разозлюсь.

Ван Брант смекнул, что это не пустые слова. Он поглядел себе на руки, ущипнул дряблую кожу на костяшке и потер левую руку правой.

Хуан сидел боком в кресле водителя. Взгляд его перебежал на Деву. «Ладно, ладно,— мысленно сказал он ей,— малость смухлевал. Не очень, но малость есть. Думаю, теперь ты вправе сделать так, чтобы мне стало довольно неудобно». Вслух он сказал:

— Придется мне сходить и вызвать по телефону аварийную машину. Попрошу, чтобы за вами, друзья, прислали такси. Это будет не очень долго.

Ван Брант возразил сдержанно:

— Тут на шесть километров вокруг нет жилья. Дом старика Хокинса — километрах в полутора. но он стоит пустой с тех пор, как его забрал банк. Надо идти до шоссе, а это шесть километров с лишним.

— Ну, раз надо идти, значит, надо,— сказал Хуан.— Хуже, чем насквозь, не промокнешь.

В Прыще вспыхнуло чувство товарищества.

— Я пойду,— вызвался он.— Пошлите меня, а сами оставайтесь.

— Нет,— сказал Хуан,— у тебя сегодня выходной.— Он засмеялся.— Попользуйся им, Кит.— Он протянул руку к ящику в приборной доске и открыл дверцу.— Тут аварийное виски,— сказал он.

Он замешкался. Взять ему револьвер — хороший «смит-вессон» калибра 11,4, с пятнадцатисантиметровым стволом? Стыдно бросить такую вещь. Но и таскать его не с руки — если какая-нибудь неприятность, револьвер будет не в его пользу. Хуан решил оставить его. Если он собирается оставить жену, то револьвер давно можно оставить. Он небрежно сказал:

— Если на вас нападут тигры, тут у меня револьвер.

— Я хочу есть,— пожаловалась Камилла.

Хуан улыбнулся ей.

— Возьмите эти ключи и откройте багажник. Там полно пирогов.— Он улыбнулся Прыщу.— Смотри, все не ешь. Значит, вы можете оставаться в автобусе, а если хотите — можете вынуть из багажника брезент и poste-

лить себе в какой-нибудь пещере. Можете даже развести там костер, если найдете сухое топливо. Я постараюсь, чтобы машину за вами прислали поскорее.

— Можно. я пойду вместо вас? — спросил Прыщ.

— Нет, ты посиди здесь и присмотри за всем, — сказал Хуан и увидел, как Прыщ вспыхнул от удовольствия. Хуан доверху застегнул куртку. — Сидите спокойно, — сказал он и спустился на землю.

Прыщ выбрался за ним следом. Он прошел за Хуаном несколько шагов, Хуан повернулся и подождал его.

— Мистер Чикой, — тихо сказал Прыщ, — что вы задумали?

— Задумал?

— Ага. Ну, понимаете... вы газовали.

Хуан положил руку ему на плечо.

— Слушай, Кит, когда-нибудь я тебе скажу. Ты пока побудь за меня, ладно?

— Ну конечно, мистер Чикой, только... я просто хотел узнать.

— Я тебе все объясню, когда мы будем одни, — сказал Хуан. — Ты последи пока, чтобы эти люди не поубивали друг друга, ладно?

— Ну конечно, — смущенно ответил Прыщ. — Через сколько вы думаете вернуться?

— Не знаю, — нетерпеливо ответил Хуан. — Почему я знаю? Делай, что я говорю.

— Конечно. Ну конечно, — сказал Прыщ.

— И ешь пирогов сколько хочешь, — сказал Хуан.

— Но нам же платить за них, мистер Чикой!

— Конечно, — сказал Хуан и зашагал под дождем по дороге. Он знал, что Прыщ смотрит ему вслед, и знал, что Прыщ что-то почувствовал. Прыщ догадался, что он убегает. А Хуана это не так уж радовало. Не так, как он ожидал. Не так ему было хорошо, не так приятно, не так привольно. Он остановился и посмотрел назад. Прыщ как раз влезал в автобус.

Дорога шла мимо выветренного каменного обрыва с пещерами. Хуан свернул с дороги и зашел на минуту в укрытие. Пещеры и уступы над ними были больше, чем казалось снаружи, и внутри было довольно сухо. Перед входом в самую большую лежали три закопченных камня и помятая жестянка. Хуан вернулся на дорогу и пошел дальше.

Дождь слабел. Справа под склоном горы ему открылась просторная излучина реки, которая здесь поворачивала и бежала обратно поперек долины, между намокших зеленых полей. Все вокруг было пропитано влагой. Сильно пахло гнилью — мясистые зеленые стебли прели. Охлестанный дождем проселок расковыривала вода, а не колеса. Тут давно никто не проезжал.

Хуан пошел быстрее, бодая дождь. Хуже, чем он думал. Он пытался вспомнить солнечную четкость Мексики, девочек в синих шaliaх и дух горячих бобов, но в голову лезла Алиса. Алиса выглядывала из-за сетчатой двери. И он подумал о спальне с цветастыми занавесками. Она любила, чтобы было уютно. Она любила красивые вещи. Взять покрывало — огромное покрывало, которое она связала сама, мелкими квадратиками, и не было двух одинакового цвета. Она говорила, что могла бы получить за него больше ста долларов. И целиком связано ее руками.

Он подумал о больших деревьях и о том, как приятно было лежать в полной ванне горячей воды — в собственной ванной комнате, первой настоящей ванной комнате в его жизни, если не считать гостиниц. И всегда там кусок душистого мыла. «Просто привычка, будь она проклята, — сказал он себе. — Дурацкая западня. Привыкаешь к чему-то, а потом начинаешь думать, что тебе нравится. Перетерплю, как простуду перетерпливаю. Будет, конечно, тяжело. Буду волноваться за Алису. Жалеть буду. Укорять себя; а то и спать буду плохо. Но перетерплю. А после и думать перестану. Дешевая западня, и больше ничего». Возникло лицо Прыща, доверчивое и дружелюбное. «Потом объясню. Я тебе все объясню, Кит Карсон». Мало кто так верил Хуану.

Он хотел подумать об озере Чапала, и над светлой спокойной его водой увидел «Любимую», увязшую в грязи.

Внизу слева, в ложбине, он увидел дом, конюшню и ветряную мельницу со сломанными повисшими крыльями. Это и есть, наверное, дом старика Хокинса. Как раз — где пересидеть. Он пойдет туда — может быть, в дом, но скорее в конюшню. Старая конюшня обыкновенно чище старого дома. Там должен быть чердак или сеновал. Хуан заберется наверх и поспит. Ни о чем не будет думать. Проснется, может быть, завтра в эту же пору, выйдет на шоссе округа и проголосует. До пассажиров — какое ему дело?

«С голоду не умрут. Это им будет совсем не вредно. Полезно будет. А мне какая печаль?»

Быстрым шагом он двинулся под гору к дому старика Хокинса. Его будут искать. Алиса решит, что его убили, и вызовет шерифа. Никому и в голову не придет, что он мог сбежать. Вот что самое потешное. Никому и в голову не придет, что он на это способен. Вот он им и докажет. Сперва до Сан-Диего, оттуда через границу и на почтовом грузовике в Ла-Пас. Алиса поднимет полицию.

Он остановился и оглянулся на дорогу. Следы его были заметны, но дождь, наверно, смоеет их, да он и сам бы мог замести следы, если бы захотел. Он отвернулся от дороги и пошел к дому Хокинса.

Старый дом, стоило его бросить, пришел в упадок очень быстро. Забегавшие сюда ребята перебили стекла, утащили свинцовые трубы и водопроводные детали, а двери хлопали без толку и сорвались с петель. Дождь с ветром стащили старые темные обои и обнажили слой старых газет со старыми комиксами — «Хитрый дед», «Маленький Немо», «Веселый хулиган» и «Бастер Браун». Побывали здесь и бродяги, намусорили, сожгли дверные коробки в старом закопченном камине. В доме пахло запустением и кислой сыростью. Хуан заглянул в дверь, вошел, принялся к брошенному дому и черным ходом вышел к конюшне.

Изгородь загона повалилась, ворота конюшни упали, но запах внутри был свежий. В стойлах, там, где лошади терлись о дерево, оно было отполировано. Углы скрадывала паутина. Между выгребными окошками еще стояли свечные коробки с вытертыми щетками и ржавыми скребницами. На вешалке возле двери висел старый хомут и гужи. Кожа на хомутине полопалась, и в трещины выглядывал войлок.

Сеновала тут не было. Под сено была занята когда-то вся середина конюшни. Хуан обошел крайнее стойло. Внутри было сумрачно, и свет неба низался сквозь трещины в кровле. Пол устилала короткая солома, темная от старости и чуть затхлая. Тихо стоя в дверях, Хуан слышал мышинный писк и чуял запах мышинных поселений. Две ржаво-белые сипухи поглядели на него с балки и снова закрыли желтые глаза.

Дождь затихал и уже едва шелестел по крыше. Хуан зашел в угол и ногой откинул верхний пыльный слой со-

ломы. Он сел, потом лег навзничь и заложил руки за голову. Конюшня жила тайными слабыми звуками, но Хуан очень устал. Нервы были натянуты, настроение мерзкое. Он подумал, что, если поспит, ему, может быть, станет легче.

Он еще в автобусе чувствовал, предвкушал судорожный восторг слияния со свободой. Но так не получилось. Ему было скверно. Плечи болели, и сейчас, хотя он расслабился и вытянулся, спать не хотелось. Он спросил себя: «Что же, счастья никогда не будет? И сделать ничего нельзя?» Он пытался вспомнить былое время, когда ему казалось, что он счастлив, когда он испытывал чистую радость — и в уме всплывали картинки. Раннее-раннее утро, в воздухе холодок, солнце поднимается за горами, и по грязной дороге прыгают серые птички. Радоваться как будто нечему, но радость была.

И другая. Вечер, лоснящаяся лошадь трется красивой шеей об изгородь, кричит перепел, и где-то звук капающей воды. Он задышал чаще от одного воспоминания.

И другая. Он едет на старой тележке с двоюродной сестрой. Она старше его... он не помнит ее лица. Лошадь отпрянула от клочка бумаги, сестра повалилась на него и, чтобы сесть, оперлась на его бедро, и внутри у него все занялось, а в голове загудело от восторга.

И другая. В полночь он стоит в громадном сумрачном соборе, и от острого варварского запаха копала свербит в носу. Он держит тоненькую свечку, перевязанную посередине белым шелковым бантом. И, как во сне, ласковый рокот мессы донесся издали с высокого алтаря, и его объяла сладкая дрема.

Мышцы Хуана расслабились, и он уснул на соломе в пустой конюшне. И робкие мышцы, почуяв, что он спит, вылезли из-под соломы и деловито играли вокруг, а дождь тихо шуршал по крыше.

ГЛАВА 15

Пассажиры смотрели, как уходит Хуан и скрывается за косогором. Никто не заговорил — даже тогда, когда в автобус влез Прыщ и занял место водителя. Сиденья были наклонены, и каждый старался уместиться поудобнее.

Наконец мистер Причард обратился ко всем с вопросом:

— Как вы думаете, сколько времени ему понадобится, чтобы прислать сюда машину?

Ван Брант нервно потер левую руку.

— Ждите ее не раньше, чем через три часа. Ему идти шесть с половиной километров. Если ему и удастся вызвать машину, они будут час собираться да час сюда ехать. Если вообще поедут. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь согласился ехать по этой дороге. Нам надо было идти с ним и голосовать на шоссе.

— Мы не можем, — ответил мистер Причард. — С нами багаж.

Миссис Причард сказала:

— Я не хотела ничего говорить, когда тебе взбрела в голову эта дикая идея, Элиот. В конце концов это же твой отпуск.

Ей давно хотелось объяснить другим пассажирам, как люди их положения, для всех очевидного, могли очутиться в автобусе, могли подвергнуть себя таким неудобствам. Они, наперно, удивляются, — думала Бернис. Теперь она повернулась и обратилась к ним:

— Мы выехали на поезде, чудесном поезде, «Город Сан-Франциско» — очень комфортабельный и дорогой поезд. А потом у моего чудака мужа возникла дикая идея ехать на автобусе. Он решил, что так лучше увидит страну.

— И мы ее видим, девочка, — сердито напомнил он.

Она продолжала:

— Мой муж сказал, что он оторван от людей. Ему захотелось послушать, о чем говорит народ, настоящий народ. — Тонкая струйка яда зажурчала в ее голосе. — Я подумала, что это глупо, но ведь это его отпуск. Ведь это он столько трудился для победы. У жен забот было немного — выкрутиться как-нибудь с нормированными продуктами, раздобыть еды в пустых магазинах. Представляете, было два месяца, когда мы не видели ни крошки мяса. Ничего, кроме кур.

Мистер Причард посмотрел на жену с некоторым удивлением. Не часто ему доводилось слышать такую досаду в ее голосе, и это подействовало на него неожиданно. Он поймал себя на том, что сердится — ужасно, безрассудно сердится. Причиной был ее тон.

— Я очень жалею, что мы поехали,— сказал он.— Я, кстати, и не хотел ехать. Я бы превосходно отдохнул, играя понемногу в гольф и ночуя в своей постели. Я совсем не хотел ехать.

Остальные пассажиры наблюдали за ними с любопытством. Они скучали. Это могло стать занятным. Супружеская ссора постепенно захватывала автобус.

Милдред сказала:

— Мама, папа, кончайте.

— А ты не вмешивайся,— сказал мистер Причард.— Я не хотел ехать. Совсем не хотел. Терпеть не могу чужие страны, в особенности грязные.

Губы у миссис Причард сжались и побелели, глаза сделались холодными.

— Ты удачно выбрал время, чтобы об этом сообщить,— сказала она.— Кто составил весь маршрут и покупал все билеты? Кто посадил нас на этот автобус, застрявший неизвестно где? Кто это сделал? Я это сделала?

— Мама! — закричала Милдред. Она никогда не слышала у матери такого тона.

— Довольно странное заявление... — голос у миссис Причард слегка прерывался,— я так стараюсь. Эта поездка со всеми расходами обойдется нам в три или четыре тысячи. Если бы ты не хотел ехать, я могла бы построить оранжерею для орхидей, которую мне так давно хочется,— миленькую крохотную оранжерею. Ты говорил: мы покажем дурной пример, если построим ее во время войны, но война уже кончилась, а мы едем в путешествие, которого ты не хотел. Так ты теперь и для меня его испортил. Оно мне будет не в радость. Ты все портишь. Все! — Она закрыла глаза рукой.

Милдред встала.

— Мама, прекрати. Мама, прекрати сейчас же!

Миссис Причард тихонько застонала.

— Если ты не прекратишь, я уйду,— сказала Милдред.

— Уходи,— сказала миссис Причард.— Ах, уходи. Ты ничего не понимаешь.

Лицо у Милдред стало жестче. Она надела свое габардиновое пальто.

— Я пойду на шоссе,— сказала она.

— Это шесть километров с лишним,— сказал Ван Брант.— Вы испортите туфли.

— Я хорошо хожу,— ответила Милдред. Ей надо было уйти: в ней поднималась ненависть к матери и ее мутило. Миссис Причард извлекла носовой платок, и запах лаванды наполнил автобус.

— Возьми себя в руки,— грубо сказала Милдред.— Я знаю, что ты собираешься устроить. Собираешься устроить мигрень и наказать нас. Я тебя знаю. Очередной притворный приступ,— со злобой сказала она.— Не желаю сидеть и смотреть на твои выкрутасы.

Прыщ наблюдал увлеченно. Он дышал ртом.

Миссис Причард смотрела на дочь в ужасе.

— Дорогая! Ты ведь сама так не думаешь!

— Кажется, начинаю,— сказала Милдред.— Очень уж кстати случаются эти мигрени.

Мистер Причард сказал:

— Милдред, перестань!

— Я пошла.

— Милдред, я запрещаю!

Дочь резко обернулась к нему.

— Плевать на твои запрещения! — Она застегнула пальто на груди.

Мистер Причард протянул руку.

— Милдред, дорогая, я тебя прошу.

— Хватит с меня,— сказала она.— Мне надо проветриться.— Она вылезла из автобуса и быстро пошла прочь.

— Элиот,— крикнула миссис Причард.— Элиот, останови ее. Не позволяй ей уйти.

Он потрепал ее по руке.

— Ничего, девочка, ничего с ней не будет. Мы просто раздражены. Мы все.

— Ох, Элиот,— простонала она,— если бы только я могла лечь. Если бы я могла немного отдохнуть. Она думает, что я изображаю головную боль. Элиот, я убью себя, если она вправду так думает. О, если бы я могла лечь и вытянуться!

Прыщ сказал:

— Мадам, у нас взаду лежат куски брезента. Мы закрываем ими багаж, когда везем на крыше. Ваш муж может постелить брезент в пещере, вы там полежите.

— Чудесная мысль! — сказал мистер Причард.

— Лежать на сырой земле? — ужаснулась она.— Нет.

— Нет, на брезенте. Я устрою моей девочке милую кроватку.

— Ну, не знаю,— сказала она.

— Посмотри, дорогая,— настаивал он.— Посмотри, сейчас я скатаю мое пальто, а ты положишь на него голову, вот так. А немного погодя я приду за тобой и провожу тебя к твоей постельке.

Она всхлипнула.

— Ты положишь голову на подушку и закроешь глаза.

Прыщ сказал:

— Мистер Чикой велел мне вытащить пироги, если кто проголодается. Там четырех сортов, и все довольно приличные. Я бы съел кусок прямо сейчас.

— Давайте сначала возьмем брезент,— сказал мистер Причард.— Моя жена устала. Она просто падает с ног. Поможете устроить ей постель, ладно?

— Конечно,— сказал Прыщ. Он чувствовал, что неплохо справляется в отсутствие Хуана. Настроение было веселое и бодрое. Об этом говорила вся его повадка: плечи были расправлены, а бледные волчьи глаза смотрели ясно и уверенно. Одно лишь беспокоило Прыща. Он жалел, что не догадался кинуть в автобус старую пару туфель. Двухцветным его полуботинкам теперь достанется, и надо будет основательно поработать зубной щеткой, пока отчистишь эту грязь. А показать, что он бережет свою обувь, он не может: Камилла поймет, что он не такой рубаха-парень. На нее не произведет впечатления мужчина, который переживает из-за своей обуви — даже если это новые бело-коричневые полуботинки.

Эрнест сказал:

— Пойду погляжу на пещеры.— Он встал и вылез из автобуса. Ван Брант ворча последовал за ним.

Миссис Причард примостилась на мужнином пальто и закрыла глаза. Она была угнетена. Как она могла сцепиться с ним при людях — с мужем? Такого еще не бывало. Когда назревала ссора, она старалась остаться с ним с глазу на глаз. Даже дочери не дозволялось присутствовать при ссорах. Бернис считала вульгарным ругаться при посторонних, а кроме того, это разрушало образ, который она строила годами, — легенду о том, что благодаря ее мягкому характеру у них идеальный брак. В это верили все ее знакомые. Она сама в это верила. Своими стараниями она создала прекрас-

ный брак, а теперь она оступилась. Она поссорилась. Она проговорилась насчет оранжерейки для орхидей.

Она уже несколько лет хотела эту оранжерею. Точнее — с тех пор, как прочла в «Харперс Базаре» про оранжерею некоей миссис Уильям О. Маккензи. Фотографии были красивые. Люди стали бы говорить о миссис Причард, что у нее прелестная оранжерея. Это вещь дорогая, ценность. Это лучше колец и мехов. Люди, с которыми она даже не знакома, прослышали бы про ее оранжерею. Втихомолку она многое разузнала об устройстве таких теплиц. Она изучала чертежи. Она знала стоимость отопительных систем и увлажнителей. Она знала, где покупают рассаду и какие на нее цены. Она изучала книги по цветоводству. И все это в глубокой тайне, ибо она знала, что, когда придет срок соорудить теплицу, она устроит так, чтобы мистеру Причарду захотелось выяснить все самому и ей объяснить. Это единственный путь. И ее это даже не возмущало. Просто такова жизнь, и таким путем она сделала свой брак счастливым. Она будет восхищаться его познаниями и спрашивать его совета по всякому поводу.

Но ее тревожило, что она сгоряча проболталась. Эта оплошность может отбросить ее назад на полгода и больше. Она намеревалась подвести его к тому, чтобы он предложил оранжерею сам, и дозированным сопротивлением заставить его преодолеть ее неохоту. А теперь, в ссоре, она выдала свою цель, и у него возникнет стойкое предубеждение. Если в дальнейшем не проявить величайшей осмотрительности, он вообще может упереться на своем.

Сзади до нее долетел тихий разговор Нормы с Камиллой. Им и в голову не приходило, что она подслушивает: глаза у нее были закрыты, и выглядела она такой маленькой, такой больной. Норма говорила:

— А еще я хочу, чтобы вы меня научили, как вы обращаетесь... ну, с парнями.

— Что значит — как? — спросила блондинка со смешком.

— Ну, с Прыщом, например. Я же видела, как он себя вел... старался, но на выстрел не мог подъехать, а вы вроде ничего и не делали. Или с этим, другим, например, с торговцем. Он ведь довольно шустрый, а вы его отшили, как маленького. Хотела бы я знать, как это у вас получается.

Камилла была польщена. Хоть и боялась она надеть себе такой хомут на шею, а все же приятно, когда тобой восхищаются. Тут-то и было самое время объяснить Норме, что никакая она не сестра, объяснить про гигантский винный бокал и про банкетки, но она не могла. Короче, ей не хотелось разочаровывать Норму. Ей хотелось восхищения.

— Мне что нравится — что вы не вредничаете, не огрызаетесь, а они к вам близко подойти не смеют,— продолжала Норма.

— Знаешь, не замечала,— ответила Камилла.— Инстинкт, наверно, какой-то.— Она усмехнулась.— У меня подруга есть — вот она умеет с ними управляться. Ей на все плевать, а с мужчинами она, пожалуй, даже вредная. И вот, Лорейн — так ее зовут — была... ну, можно сказать, помолвлена с одним — у него было хорошее место, словом, человек подходящий. Лорейн хотела шубу. У нее, конечно, был короткий жакет из волка и пара белых песцов — потому что Лорейн пользуется большим успехом. Она хорошенькая и маленькая, а когда она с женщинами — смешит беспрерывно. И вот Лорейн хотела норковую шубу, не короткую, а настоящую, полную, они стоят три-четыре тысячи.

Норма свистнула сквозь зубы.

— Ничего себе! — сказала она.

— В один прекрасный день Лорейн говорит: «Кажется, теперь у меня будет шуба». Говорю: «Ты шутишь».

«Думаешь, шучу? Эдди подарит».

«Когда он тебе сказал?» — спрашиваю.

Лорейн только засмеялась. «Он мне не сказал. Он еще сам не знает».

«Так,— говорю.— Ты случайно не того?»

«Давай спорить?» — Лорейн хлебом не корми, дай поспорить.

А я спорить не люблю, я говорю: «Как же ты собираешься подъехать?»

«Если я скажу, не разболтаешь? Это просто. Я знаю Эдди. Сегодня вечером начну его подковыривать и буду подковыривать, покуда он не взбесится. Не отвяжусь, пока он меня не стукнет. Может, даже подставляюсь — когда Эдди под мухой, он плохо попадает. Вот, а потом дам ему повариться в собственном соку. Я знаю Эдди. Он будет жалеть и переживать. Ну что, поспорим? — говорит.—

Я даже срок поставлю. Спорим, что к завтрашнему вечеру у меня будет шуба».

Я вообще никогда не спору — и говорю ей: «На двадцать пять центов — что не будет».

У Нормы был открыт рот от волнения, а у миссис Причард в щелках между сомкнутыми ресницами мерцал отраженный свет.

— Ну, а шубу-то? — не вытерпела Норма.

— В воскресенье утром я к ней пришла. У Лорейн — фонарь, красивый синий фонарь, залеплен пластырем, и нос разбит.

— Ну, а шубу она получила?

— Получила, будь спокойна, — Камилла хмурилась с озадаченным видом. — Получила, и шуба была прелесть. Потом она все с себя сняла — мы были вдвоем. Она вывернула шубу и надела прямо на голое тело, мехом к телу. И стала кататься, кататься по полу, а сама смеется, хохочет, как ненормальная.

Норма медленно перевела дух.

— Ой, — сказала Норма, — почему это она?

— Не знаю. Она была, что ли... ну, что ли, не в себе — как будто рехнулась.

У миссис Причард горело лицо. Она дышала очень часто. Кожу покалывало, по бедрам и животу разливался тянущий зуд, и ее охватило возбуждение, какое ей пришлось испытать только раз в жизни — давным-давно, когда она ехала верхом.

Норма рассудительно сказала:

— По-моему, это нехорошо. Если она в самом деле любила Эдди, и он хотел на ней жениться, по-моему, нехорошо так поступать.

— По-моему, тоже, — согласилась Камилла. — Мне это не очень нравилось в Лорейн, я ей так и сказала, а она говорит: «Ну, другие женщины просто подбираются дольше кружной дорогой, а я хотела быстро. В конце-то концов выходит одно на одно. А Эдди все равно кто-нибудь обратит».

— И она за него вышла?

— Да нет, не вышла.

— Да она его небось и не любила, — горячо сказала Норма. — Просто обирала этого Эдди.

— Может быть, — отозвалась Камилла, — но мы с ней

старые подруги, и если мне что нужно, она всегда тут как тут. Один раз у меня было воспаление легких, она сидела со мной трое суток напролет, я была без гроша, и она заплатила врачу.

— Да, тут трудно разобратся,— заметила Норма.

— Трудно,—согласилась Камилла.—Видишь, а ты меня спрашиваешь, как обращаться с мужчинами.

Миссис Причард секла себя словами. Ее испугала собственная реакция. Она сказала себе—даже вслух прошептала: «Какая страшная, вульгарная история. Какие низменные эти девушки. Так вот что имеет в виду Элиот, говоря «соприкоснуться с народом». Нет, это ужас. Мы просто забываем, каковы люди, как они бывают гнусны. «Милая Эллен,—лихорадочно излагала она, а внутренние части ляжек все еще покалывало от возбуждения.—Милая Эллен, дорога из Сан-Исидро в Сан-Хуан-де-ла-Крус была ужасна. Автобус застрял в канаве, а мы сидели и ждали, час за часом. Мой Элиот был очень нежен и устроил мне постель в смешной пещерке. Ты говорила, что у меня будут приключения. Помнишь? Ты сказала, что у меня всегда бывают приключения. Ты не ошиблась. С нами в автобусе ехали две вульгарные необразованные девушки, одна официантка, а другая довольно хорошенькая. Ты догадаешься, что за птица. Я отдыхала, а они, наверно, решили, что я сплю, и преспокойно беседовали. Не могу написать на бумаге, что они говорили. Я до сих пор краснею. Порядочные люди просто не знают, как живут эти существа. Это невероятно. Я убеждена, что все от невежества. Если бы у нас были получше школы и если бы — словом, если хочешь знать правду,—если бы мы, те, кто должен показывать пример, показывали бы пример получше, я уверена, что вся картина стала бы меняться — медленно, но верно».

Эллен будет читать и читать это письмо знакомым. «Я только что получила письмо от Бернис. С ней происходят самые удивительные приключения. Знаете, с ней всегда так. Нет, вам надо послушать, что она пишет. Я не знаю никого, кто умел бы, как Бернис, разглядеть в людях хорошее».

Норма говорила:

— Если бы парень мне нравился, я бы ни за что с ним так не поступила. Если бы он захотел сделать мне подарок, пусть бы сам догадался.

— Я тоже так на это смотрю,— согласилась Камилла.— Но у меня нет меховой шубы, даже жакета, а у Лорейн — три.

— Нет, не думаю, что это честно,— сказала Норма.— Не думаю, чтобы мне понравилась Лорейн.

«Скажи на милость! — мысленно воскликнула Камилла.— Не знаешь, понравится ли тебе Лорейн. Да представляешь ли ты, что Лорейн о тебе подумает? Нет,— поправилась она,— неправда, Лорейн скорее всего приняла бы эту девушку, привела бы ее в порядок, помогла бы. Что там ни говори про Лорейн, а что она плохой товарищ, про нее не скажешь».

ГЛАВА 16

Милдред наклонила голову, чтобы дождь не забрызгивал очки. Шагать по гравию было приятно, и от ходьбы она задышала глубже. Ей казалось, что смеркается. Час был не поздний, но вечер уже подкрадывался, высветляя светлые предметы, вроде обломков кварца и известняка, а темные, вроде столбов ограды, превращая в черные.

Милдред шагала быстро, с силой ставя ногу на землю, вгоняя каблуки в гравий. Она старалась выкинуть из головы родительскую ссору. Она не помнила, чтобы мать с отцом ругались при ней. Но процесс был отлаженный, и сама шаблонность ходов показывала, что в нем нет ничего чрезвычайного. Мать, наверное, умело загоняла ссоры в спальню, где их никто не мог услышать. Она создала и поддерживала версию об идеальном браке. На этот раз, когда температура достигла точки воспламенения, спальни поблизости не было. Милдред различила в ссоре нехорошие капельки желтого яда, и это ее встревожило. Яд был тайный — не открытая честная ярость, а подспудная ползучая злость, бившая острым узким жалом и тут же прятавшая оружие.

И впереди — бесконечная поездка по Мексике. А что, если ей не вернуться? Что, если уйти, проголосовать на дороге и исчезнуть... снять где-нибудь комнату, хотя бы на берегу моря, и проваляться все это время на камнях или на пляже? Мысль была очень заманчивая. Она сама себе будет стряпать и познакомится с людьми на берегу.

Нелепая мысль. У нее нет денег. Отец был очень щедр — но не на звонкую монету. Он мог платить за ее платья и по ресторанным счетам, но наличных денег и у нее всегда было очень мало. Отец был щедр, но весьма любопытен. Он желал знать, что она покупает, где ест, и он выяснял это по ежемесячным счетам.

Конечно, можно устроиться на работу. Все равно ей это предстоит, не сейчас, но скоро. Нет, придется потерпеть. Придется дотянуть эту жуткую поездку по Мексике — а как было бы чудесно проехаться в одиночку! — и опять в университет. Но скоро она пойдет работать, и отец одобрит это. Он скажет Чарли Джонсону: «Я готов давать ей все, что надо, но где там — у нее столько прыти. Она сама зарабатывает на жизнь». Он скажет это с гордостью, словно это его заслуга, и даже не поймет, что работает она из желания оградить себя, иметь свою квартиру, свои деньги и тратить их, не докладываясь ему.

Дома, например, ей было разрешено залезать в винный шкаф когда угодно, но она знала, что отец точно помнит уровень в каждой бутылке, и, если она нальет себе три рюмки, он сразу заметит. Он очень любопытный человек.

Милдред сняла очки, вытерла их о подкладку пальто и снова надела. Она различала на дороге следы Хуана, большие шаги. Были места, где его нога поскользнулась на камушке, а в грязи отпечатывалась вся ступня со смазанными очертаниями мыска. Милдред попробовала поставить ноги в его следы, но шаг у него был широкий, и скоро у нее заныли бедра.

Что-то в нем есть странное, притягательное, подумала она. Она была рада, что утреннее переживание выдохлось. Она знала: смысла в нем искать нечего. Раздражение в совокупности с действием желез — все это она проходила. А кроме того, она знала про себя, что она женщина с большим биологическим потенциалом. Недалеко уже то время, когда ей необходимо будет либо выйти замуж, либо завести какую-нибудь постоянную связь. Периоды беспокойства и нужды становились все чаще. Она вспомнила смуглое лицо Хуана и блестящие глаза — они ее не волновали. Но в нем была теплота и честность. Он ей нравился.

Одолев склон, она увидела внизу брошенную ферму, и это зрелище захватило ее. От фермы веяло унынием.

Она знала, что не сможет пройти мимо дома, не заглянув туда. Шаг ее убыстрился. Ее разбирало любопытство.

«Закладную просрочили,— объяснил Ван Брант,— и семье пришлось уехать, а банку старый дом без надобности. Он землю отнимал».

Шаг ее почти сравнялся с шагом Хуана. Она размашисто спустилась к подошве холма и перед утонувшим в грязи въездом на ферму вдруг стала. Следы Хуана вели туда. Она прошла еще немного по дороге,— посмотреть, не выходят ли они с фермы, но никаких следов больше не увидела.

«Значит, он еще там,— сказала она себе.— Но почему? Он ведь шел к шоссе. Телефона тут быть не может». Сообразив, что происходит что-то непонятное, да и сам человек этот ей почти неизвестен, она насторожилась. Она медленно вернулась ко входу и сошла на траву, чтобы гравий не шуршал под ногами.

От брошенного дома исходила какая-то опасность. Вспомнились старые газетные сообщения об убийствах в таких местах. От страха у нее встал ком в горле. «Ну и что,— утешила она себя,— могу повернуться и уйти. Никто меня не держит. Никто туда не загоняет, но знаю, что надо заглянуть. Знаю, что не уйду. Наверно, те убитые девушки тоже могли уйти. Наверно, сами напросились».

Она представила себе, как лежит на полу в комнате, задушенная или зарезанная, и что-то в этой картине ей показалось смешным... вот что — в очках лежит. А что она знает про Хуана? У него жена и небольшое дело. Ей вспомнился один заголовок: «Отец троих детей — садист-убийца. Пастор убил хористку». Почему, интересно, убивают столько хористок и органистов? Как видно, с хорошим пением связана большая профессиональная вредность. Все время за органами находят задушенных хористок. Она засмеялась. Она знала, что войдет в дом. Протопать туда или наоборот — подкрасться и застигнуть Хуана врасплох за его занятием? Может быть, он просто в уборной.

Она осторожно поставила ногу на ступеньку и замерла, когда под ее тяжестью скрипнула доска. Она прошла по дому, заглядывая в шкафы. В кухне валялась опрокинутая банка из-под перца, а в стенном шкафу спальни забыли вешалку. Милдред наклонила голову набок, чтобы

разглядеть старые газеты с комиксами под отставшими обоями. Она пробежала полосу «Веселого хулигана». Лошачиха Мод вскинула зад и лягнула, Сай полетел кубарем, на штанах у Сая отпечатались копыта.

Милдред подняла голову. Почему она раньше не подумала о конюшне? Она тихонько вернулась на крыльцо и внимательно осмотрела доски. Видны были мокрые следы Хуана. Они привели ее в комнату и там пропали. Тогда она подошла к открытой задней двери и выглянула. Ну что за дура — ходила крадучись! Вот следы — ведут наружу, действительно к конюшне.

Она спустилась по гнилым ступеням, прошла по следу через двор и мимо старой ветряной мельницы. В конюшне остановилась, прислушалась. Ни звука. Ей хотелось крикнуть и покончить с этим. Медленно она прошла вдоль стойл и обогнула последнее. Глаза не сразу привыкли к потемкам. Она стояла посередине конюшни. Все мыши попрятались. Потом она увидела Хуана. Он лежал навзничь, закинув руки за голову. Глаза у него были закрыты, и он дышал ровно.

«Могу уйти, — сказала Милдред. — Никто меня не держит. Сама буду виновата. Надо это запомнить. У него свои дела. Да что за чепуха такая?»

Она сняла очки и сунула в карман. Фигура мужчины расплылась в ее близоруких глазах, но все же она его видела. Медленно и осторожно она прошла по застланному соломой полу, остановилась возле Хуана и, поставив ногу за ногу, села по-турецки. Шрам у него на губе был белый, а дышал он неглубоко и ровно. «Просто устал, — сказала она себе. — Прилег отдохнуть и уснул. Не надо его будить».

Она подумала о тех, кто в автобусе, — что, если ни Хуан, ни она не вернутся? Что они там будут делать? Мать рухнет. Отец даст телеграмму губернатору — двум или трем губернаторам. Вызовет ФБР. Солоно ей придется. Но что они могут? Ей двадцать один год. Когда ее поймают, она может сказать: «Я совершеннолетняя и живу, как хочу. Кому какое дело?» А если уехать в Мексику с Хуаном? Это уже совсем другая история, совсем другая.

В голову полезли посторонние мыслишки. Если он индеец или с индейской примесью, разве к нему можно под-

красться? Она оттянула углы глаз, чтобы разглядеть его лицо. Лицо, дубленое, в шрамах, но хорошее лицо, подумала она. Губы полные и насмешливые, но добрые. С женщиной он должен быть мягким. Вытерпит он с ней вряд ли долго, но будет ласков. Хотя жена, страшная эта жена, ее-то он терпит? И бог знает сколько лет. Она, наверно, была хорошенькая, когда они поженились, а сейчас уродина. Что там у них вышло? Как эта страшная баба его удержала? Может быть, он такой же, как все, как ее отец. Может быть, и его держат на привязи страхи и привычки. Милдред не понимала, как это случается с человеком, но видела, что случается. Когда человек стареет, мельчают его страхи. Отец боится чужой постели, иностранного языка, другой политической партии. Отец в самом деле верит, что демократическая партия — подрывная организация, которая приведет страну к развалу и отдаст ее бородатым коммунистам. Он боится своих друзей, а друзья боятся его. Трус на трусе, трусом погоняет.

Взгляд ее перешел на тело Хуана, крепкое, жилистое тело, которое будет становиться с возрастом только крепче и жилистее. Брюки у него намокли от дождя и облепили ноги. В нем была опрятность — опрятность механика, только что принявшего душ. Она посмотрела на его плоский живот и широкую грудь. Она не заметила, чтобы он шевельнулся или задышал чаще, но глаза его были открыты — он смотрел на нее. И глаза были не мутные со сна, а ясные.

Милдред вздрогнула. Может быть, он вовсе не спал. Наблюдал за ней с тех пор, как вошла в конюшню. Невольно она начала объяснять:

— Захотелось размяться. Понимаете, все время сидела. Решила пройтись до шоссе и перехватить машину. А тут увидела этот старый дом. Я люблю старые дома.

У нее затекли ноги. Она оперлась на руку и, вытянув ноги в другую сторону, старательно прикрыла юбкой колени. В ногах закололо, когда кровь побежала по жилам.

Хуан не отвечал. Он смотрел ей в лицо. Он медленно перекатился на бок и подпер щеку рукой. В глазах у него возник темный блеск, и углы рта чуть поднялись. Лицо у него жесткое, подумала она. Через эти глаза в голову не проникнешь. Либо все на виду, либо, наоборот, так запрятано, что вообще проникнуть нельзя.



«ЗАБЛУДИВШИЙСЯ АВТОБУС»



«ЗАБЛУДИВШИЙСЯ АВТОБУС»

— Что вы здесь делаете? — спросила она.

Губы у него слегка раздвинулись.

— А вы что здесь делаете?

— Я сказала — захотелось размяться. Сказала.

— Да, сказала.

— А вы что здесь делаете?

Он как будто не совсем проснулся.

— Я? А-а, присел отдохнуть. Заснул. Не спал ночь.

— Да, я помню, — сказала она. Ей надо было продолжать разговор. Она была взвинчена. — Не могу понять. Вам здесь не место. В смысле — в автобусе. Ваше место где-то не здесь.

— Где же это? — шутливо спросил он. Взгляд его уперся туда, где сходились лацканы пальто.

— Ну... — смущенно сказала она, — пока я шла, у меня возникла странная мысль. Я подумала, а что, если вы не вернетесь, пойдете дальше, может быть, обратно в Мексику? Я представляю себе, что на вашем месте могла бы так сделать.

Прищуриив глаза, он вглядывался в ее лицо.

— Вы в своем уме? С чего вы взяли?

— Ну, просто в голову взбрело. Ваша жизнь — в смысле езда на автобусе — должна быть довольно скучной после... ну, после Мексики.

— Вы не были в Мексике?

— Нет.

— Тогда вы не знаете, как там скучно.

— Нет.

Он поднял голову, распрямил руку и опустил голову на плечо.

— Как по-вашему, а что стало бы с ними?

— Как-нибудь вернулись бы, — ответила она. — Тут недалеко. С голоду бы не умерли.

— А как по-вашему, что стало бы с моей женой?

— С ней? — Милдред растерялась. — Я об этом не подумала.

— Нет, подумали, — сказал Хуан. — Она вам не понравилась. Я вам скажу. Она никому не нравится, кроме меня. А мне еще потому нравится, что не нравится никому. — Он ухмыльнулся. «Ну и врун», — сказал он себе.

— Конечно, дурацкая была мысль, — сказала она. — Мне даже пришло в голову, что я тоже могу убежать.

Исчезну и буду жить сама по себе, и... ну, больше не видеть никого из знакомых.— Она поднялась на колени, потом села, вытянув ноги в другую сторону.

Хуан посмотрел на ее колено. Он протянул руку и прикрыл колено юбкой. Она дернулась, когда рука потянулась к ней, потом смущенно приняла прежнюю позу.

— Только не думайте, что я пошла сюда за вами,— сказала она.

— Хотите, чтобы я не думал, а сами пошли,— сказал Хуан.

— Ну, а если и пошла?

Его рука снова приблизилась, легла на ее прикрытое колено, и ее бросило в жар.

— Не из-за вас,— сказала она. В горле у нее пересохло.— Только не думайте, что из-за вас. Я сама. Я знаю, чего хочу. Вы мне даже не нравитесь. От вас пахнет козлом.— Ее голос продолжал с запинкой: — Вы не знаете, какой жизнью я живу. Я совсем одна. Никому ничего нельзя рассказывать.

Глаза у него были горячие и блестящие и как будто обдавали ее жаром.

— Может быть, я не такая, как все,— говорила она.— Откуда я знаю? Только не из-за вас. Вы мне даже не нравитесь.

— Спорите с собой до упаду, а? — сказал Хуан.

— Слушайте, что вы собираетесь делать с автобусом? — строго спросила она.— Вы пойдете на шоссе?

Рука на ее колене стала тяжелее, потом он отнял руку.

— Я пойду обратно, вытаску автобус, довезу людей до места,— сказал он.

— Тогда зачем вы сюда пришли?

— Не вытанцевалось одно дело,— сказал он.— Я кое-что задумал, да не вытанцевалось.

— Когда вы пойдете обратно?

— Теперь скоро.

Она поглядела на его руку, спокойно лежавшую на соломе,— кожа была смуглая и блестящая, слегка морщинистая.

— Не собираетесь ко мне подъехать?

Хуан улыбнулся, и улыбка была хорошая, открытая.

— Да, наверно. Когда кончите спорить с собой. Сейчас вы ни здесь, ни там. Может быть, вы скоро решите — за или против, тогда я пойму, откуда заходить.

— А вы... вы хотите?

— Конечно,— сказал Хуан.— Конечно.

— Знаете, что я все равно буду вашей, и поэтому решили — стоит ли трудиться?

— Вы меня в ваш спор не втягивайте,— сказал Хуан.— Я старше вас. Я очень люблю эту работу. Так люблю, что могу подождать. Могу даже обойтись какое-то время.

— Вы могли бы мне очень не понравиться,— сказала она.— Вы отнимаете у меня всякую гордость. Отнимаете возможность все свалить на принуждение.

— Я думал, вашей гордости будет легче, если позволить вам самой решить.

— Выходит, не легче.

— Выходит,— сказал он.— У нас в стране женщины такие же. Надо их упрашивать — или напирать. Тогда они довольны.

— Вы что, со всеми такой?

— Нет,— ответил Хуан,— только с вами. Вы зачем-то сюда пришли. Сами сказали, что я тут ни при чем.

Она посмотрела на свои пальцы.

— Смешно. Я, что называется, интеллигентная женщина. Читаю всякие книжки. Я не девушка. Изучила тысячу историй болезни, а набиваться не умею.— Она улыбнулась коротко и тепло.— Не можете хоть немножко меня заставить?

Он протянул к ней руки, и она легла рядом с ним на солому.

— Не будете меня торопить?

— У нас целый день,— сказал он.

— Презирать меня или смеяться не будете?

— А вам не все равно?

— Не все равно,— ничего не могу поделать.

— Вы слишком много разговариваете,— сказал он.— Слишком много.

— Я знаю — со мной всегда так. Вы заберете меня? Хоть в Мексику.

— Нет,— сказал Хуан.— Попробуйте, может, вам удастся немного помолчать.

ГЛАВА 17

Прыщ вынул из зажигания ключи и подошел к заднему автобусу. Он отпер висячий замок на багажнике и поднял крышку. Пахнуло нежным запахом пирогов. Мистер Причард заглянул поверх его плеча. Багаж внутри был составлен плотно.

— Пожалуй, придется все вытащить, чтобы достать брезент,— сказал Прыщ и начал дергать стиснутые чемоданы.

— Погодите,— сказал мистер Причард.— Дайте я приподыму, а вы тащите, тогда не надо будет трогать вещи.

Мистер Причард встал на бампер и потянул кверху нижний чемодан, а Прыщ стал дергать перегиб грубого брезента. Он дергал из стороны в сторону, и постепенно брезент вылез из-под чемоданов.

— Может, заодно прихватим пару пирогов, пока открыто? — предложил Прыщ.— Тут с малиновым и лимонным кремом, с изюмом и карамельно-кремовый. Кусочек карамельно-кремового — в самый раз бы сейчас.

— Потом,— сказал мистер Причард.— Сперва устроим мою жену.— Он взялся за один край тяжелого брезента, Прыщ за другой, и они пошли к обрыву с пещерами.

Это было вполне обычное обнажение. В давние времена склон холмика отвалился и получилась гладкая стенка из мягкого камня. Ветер и дождь постепенно выедали низ, а верхушку держал дерн. И с течением веков под нависающей стеной образовалось несколько пещер. Здесь койоты плодили щенков, сюда — в прежнее время, когда они еще водились, забирались спать гризли. А в верхних пещерах днем сидели сычи.

В низу обрыва были три глубоких темных пещеры, а над ними — пещеры поменьше. Нависшая стена защищала их входы от дождя. Пещеры были творениями не одной природы — тут отдыхали и жили отряды индейцев, охотившихся на антилоп, кипели тут их битвы, которых уже никто не помнит. Позже они служили пристанищем для белых людей, запленивших страну, и люди расширяли пещеры и разводили костры под стеной.

Копоть на камне была где старая, где довольно свежая, а полы пещер сравнительно сухие, потому что этот

холмик с обрушившимся склоном не принимал стока с других, высоких холмов. На стене кто-то выцарапывал свои инициалы, но камень был такой мягкий, что они вскоре делались неразборчивыми. Только большое слово «Покайтесь» еще не сдалось непогодам. Бродячий проповедник спустился по веревке, чтобы написать это великое слово черной краской,— и ушел, ликуя, что разносит слово божие по грешному миру.

Мистер Причард, держа свой край брезента, поднял взгляд на слово «Покайтесь».

— Кому-то пришлось потрудиться,— сказал он,— крепко потрудиться.

Интересно, подумал он, кто финансировал это начинание. Какой-нибудь миссионер, подумал он.

С Прыщом они свалили брезент под стеной и пошли осматривать пещеры. Норы были мелкие и почти одинаковые: метра полтора в высоту и в ширину, три с половиной — четыре — в глубину. Мистер Причард выбрал крайнюю справа, потому что она казалась посуше, а внутри — чуть потемнее. Раз у жены начинается головная боль, в темноте ей будет легче. Прыщ помог ему расстелить брезент.

— Хорошо бы раздобыть сосновых веток или соломы и подложить под парусину,— сказал мистер Причард.

— Трава мокрая,— сказал Прыщ,— а сосны не найдешь и за сто километров отсюда.

Мистер Причард потер брезент ладонью — не грязный ли.

— Она может лечь на мое пальто,— сказал он,— а своим меховым накрыться.

Подошли Эрнест с Ван Брантом и заглянули в пещеру.

— Мы могли бы жить тут месяц, если бы было что есть,— сказал Эрнест.

— Может, и придется, если хотите знать,— сказал Ван Брант.— Если шофер не вернется до завтрашнего утра, я пойду пешком. Хватит с меня ваших глупостей.

Прыщ предложил:

— Если хотите, могу распотрошить пару пирогов.

— А что, неплохая мысль,— ответил Эрнест.

— Вы какие любите? — спросил Прыщ.

— Да всякие.

— Карамельно-кремовый хорош. Там вместо корочки печенье.

— Ну и прекрасно,— сказал Эрнест.

Мистер Причард пошел к автобусу за женой. Ему было стыдно за недавнюю вспышку. В животе стоял твердый ком, всегда появлявшийся от неприятностей,— ком наподобие кулака. Чарли Джонсон сказал, что у него, наверное, язва, и Чарли довольно забавно прошелся на этот счет. Он сказал: у тех, кто получает меньше двадцати пяти тысяч в год, не бывает язвы. Она — признак солидного счета в банке, сказал Чарли. И бессознательно мистер Причард слегка гордился болью в животе.

Когда он влез в автобус, глаза у миссис Причард были закрыты.

— Мы постелили тебе кроватку,— сказал мистер Причард.

Она открыла глаза и растерянно огляделась.

— О!

— Ты спала? — спросил он.— Напрасно я тебя разбудил. Прости меня.

— Нет, дорогой. Ничего страшного. Я только задремала.

Он помог ей подняться.

— Ты можешь лечь на мое пальто, а своим накрыться.

Ответом на это была слабая улыбка. Он помог ей сойти на землю.

— Извини меня за грубость, девочка,— сказал он.

— Ничего. Ты просто устал. Я знаю, что ты не со зла.

— Чтобы это искупить, я угощу тебя в Голливуде роскошным, сказочным обедом, ну, хотя бы у Романова — и с шампанским. Согласна?

— Тебе нельзя доверить деньги,— игриво сказала она.— Все уже забыто. Мы просто устали.— «Дорогая Эллен, мы прелестно пообедали у Романова, и ты ни за что не угадаешь, кто сидел за соседним столиком».— Смотри, дождь почти кончился,— сказала она.

— Нет, а моей девочке надо поспать, чтобы проснуться здоровой и веселой.

— Ты уверен, что там не сыро и нет змей?

— Нет, мы смотрели.

— И пауков нет?

— Да, никакой паутины там нет.

— Ну, а большие волосатые тарантулы? Ведь у них нет паутины.

— Мы можем еще посмотреть,— сказал он.— Стены гладкие. Им там негде спрятаться.— Он подвел ее к пещерке.— Видишь, как уютно? Ты можешь лечь головой сюда, повыше, и смотреть наружу, если захочешь.

Он расстелил свое пальто, и она села.

— Теперь ляг, а я тебя накрою.

Она была очень послушна.

— Как у моей девочки головка?

— Ничего, я боялась, что будет хуже.

— Это хорошо,— сказал он.— Сосни немного. Тебе уютно?

Она издала тихий сладкий стон.

— Если тебе что-нибудь понадобится, позови. Я буду близко.

К пещере подошел Прыщ. Рот у него был набит, и он нес форму с пирогом.

— Хотите кусочек пирога?

Миссис Причард подняла голову, потом передернулась и опять легла.

— Нет, спасибо,— сказала она.— Очень любезно с вашей стороны, что вы обо мне вспомнили, но пирог — не могу.— «Элиот обращался со мной как с королевой, Эллен. Многие ли способны на это после двадцати трех лет совместной жизни? Не устаю напоминать себе, как мне повезло».

Мистер Причард посмотрел на нее сверху. Глаза у нее были закрыты, на губах легкая улыбка. Вдруг, как это часто бывало, на него напала тоска одиночества. Он помнил, ясно помнил, как она возникла первый раз. Ему было пять лет, когда родилась младшая сестра,— и вдруг все двери перед ним закрылись, и он не мог войти в детскую, не мог дотронуться до ребенка, и тогда появилось чувство, что он маленький грязнуля, шумный и нехороший, а его мама всегда занята. И тогда навалилось на него холодное одиночество, холод одиночества, который нападал и потом и вот напал опять. Легкая улыбка на лице жены означала, что Бернис удалилась от мира в свои покои, а ему туда входа нет.

Он вынул из кармана золотой маникюрный приборчик, открыл его и, отходя от пещеры, почистил ногти. Он уви-

дел Эрнеста Хортон, который сидел спиной к обрыву с другого края. Верхняя пещера была у него над головой. Эрнест сидел на газетах, и, когда подошел мистер Причард, он вытащил из-под себя двойной лист и протянул ему.

— Самая нужная вещь на свете,— сказал он.— Говорится для чего угодно, кроме чтения.

Мистер Причард со смешком взял газету и сел на нее рядом с Эрнестом.

— Если ты прочел это в газете, значит, это неправда,— процитировал он Чарли Джонсона.— Вот вам, пожалуйста. Два дня назад я жил в номере люкс гостиницы «Окленд», а сейчас мы в пещере. Вот чего стоят наши планы.

Он посмотрел на автобус. В окнах он увидел Прыща и обеих женщин — они ели пирог. Его потянуло к ним. Он бы съел кусок пирога. Эрнест сказал:

— Что чего стоит — непременно выясняется. Иногда мне просто смешно. Знаете, считается, что мы технический народ. Каждый водит машину, пользуется холодильником и радио. Люди, пожалуй, действительно думают, что у них технический ум, но засорись у вас карбюратор, и... машина так и будет стоять, куда не придет механик и не вынет сетку. Свет перегорит — зови электрика менять пробки. Лифт застрянет — паника.

— Ну, не знаю,— возразил мистер Причард.— В общем и целом американцы все же технический народ. Наши предки неплохо управлялись и сами.

— Они-то управлялись. Да и мы бы тоже, если бы нужда была. Можете вы отрегулировать опережение у себя в моторе?

— Я...

— Пойдем дальше,— сказал Эрнест.— Положим, вам пришлось остаться здесь на две недели. Сумеете вы не умереть с голоду? Либо схватите воспаление легких и умрете?

— Видите ли,— сказал мистер Причард,— теперь люди специализируются.

— Сумеете убить корову? — не отставал Эрнест.— Сумеете освежевать ее и зажарить?

Мистер Причард почувствовал, что этот молодой человек вызывает у него раздражение.

— По стране бродит какой-то цинизм,— резко сказал он.— Мне кажется, молодежь перестала верить в Америку. У наших предков была вера.

— Нашим предкам надо было кушать,— сказал Эрнест.— Им верить было некогда. Теперь люди много не работают. Им есть когда верить.

— Но веры у них нет,— вскричал мистер Причард.— Что в них вселилось?

— Интересно,— сказал Эрнест.— Я даже пробовал разобратся. У моего отца было две веры. Одна — что честность так или иначе вознаграждается. Он думал, что, если человек честен, он как-нибудь выдюжит, и думал, что, если человек хорошо трудится и откладывает, он может накопить немного денег и не страшиться завтрашнего дня. Нефтяной скандал двадцать второго года и прочие такие дела просветили его насчет первого, а тысяча девятьсот тридцатый просветил насчет второго. Он уяснил, что самые почитаемые люди совсем не честные. И умер в недоумении — страшноватом, между прочим, недоумении: во что он верил — в честность и усердие,— они себя не оправдали. А я вдруг смекнул, что вместо них-то ничего другого не придумано.

Мистер Причард не допустил до себя эту мысль.

— Налоги подтачивают усердие,— сказал он.— Было время, когда человек мог сколотить состояние, теперь не может. Все отбирают налоги. Просто работаешь на правительство. Я вам говорю: они под корень режут инициативу. Никто ни к чему не стремится.

— Да не так уж важно, на кого работаешь, если веришь,— сказал Эрнест.— На правительство или на кого-нибудь другого.

Мистер Причард перебил:

— Солдаты, пришедшие с войны,— сказал он,— вот кто меня беспокоит. Они не хотят осесть и взяться за работу. Считают, что правительство обязано кормить их всю жизнь, а нам это не по средствам.

На лбу у Эрнеста выступили капли пота, вокруг губ побелело, взгляд сделался мутным.

— Я тоже оттуда,— тихо сказал он.— Нет-нет, не беспокойтесь. Рассказывать про это не буду. Не собираюсь. Не желаю.

Мистер Причард сказал:

— Нет, конечно, я глубоко уважаю наших солдат и считаю, что к их голосу тоже надо прислушаться.

Пальцы Эрнеста подползли к петле в лацкане.

— Ну да,— сказал он,— ну да, я понимаю.— Он говорил как будто с ребенком.— Я читаю в газетах про наших лучших людей. Наверно, они наши лучшие люди, раз занимают главные места. Я читаю, что они говорят и делают, а у меня полно приятелей, которых вы назовете ханыгами, и между ними страшно мало разницы. Кое-кто из ханыг, я слышу, выдает тексты почище, чем государственный секретарь... А, ну их к черту! — Он засмеялся.— У меня есть изобретение — резиновый барабан, а бьешь в него губкой. Это для алкоголиков, которые хотят играть в оркестре на ударных. Пойду пройдуся.

— У вас нервы,— сказал мистер Причард.

— Ага, нервы,— сказал Эрнест.— У всех нервы. И вот что скажу. Если у нас опять будет война, знаете, что самое ужасное? Я опять пойду. Вот что самое ужасное.— Он встал и пошел прочь, назад, в ту сторону, откуда ехал автобус.

Голова у него была опущена, руки в карманах, ноги били дорожный гравий, и он стискивал губы и не мог остановиться. «Нервы у меня,— говорил он,— просто нервы. Больше ничего».

Мистер Причард смотрел ему вслед, потом опустил глаза на руки, снова вынул машинку для ногтей и почистил ногти. Мистер Причард был потрясен и не понимал — чем. При всем его пессимизме относительно правительства, вмешивающегося в коммерцию, в глубине души мистера Причарда всегда жила большая надежда. Есть где-то человек, такой, как Кулидж или Гувер,— он явится и вырвет правительство из рук у нынешних дураков, и тогда дело пойдет на лад. Забастовки прекратятся, все будут наживать деньги, и все будут счастливы. До этого рукой подать. Мистер Причард не сомневался. У него и в мыслях не было, что изменился мир. Мир просто наделал ошибок, но явятся нужные люди — скажем, Боб Тафт,— и все станет на места и дурацкие эксперименты кончатся.

Но молодой человек тревожил его, потому что это способный молодой человек, а живет с ощущением безнадежности. И хотя такого разговора не было, мистер Причард

знал, что Эрнест Хортон не проголосовал бы за Боба Тафта, если бы его выдвинули. Мистер Причард, как большинство его соратников, верил в чудеса, но он был глубоко потрясен. Хортон не нападал на мистера Причарда прямо, но... это, насчет карбюратора. Перед мысленным взором мистера Причарда изобразился карбюратор. Сумел бы он его разобрать? Он смутно помнил, что в карбюраторе есть какой-то поплавок, и ему рисовалась латунная сетка и прокладки.

Однако есть кое-что поважней, над чем подумать, напомнил он себе. Хортон сказал «если свет погаснет»... мистер Причард попробовал вспомнить, где у него в доме щиток с пробками,— и не смог. Хортон на него нападал, Хортон его невзлюбил. А что, если они будут отрезаны, как сказал этот молодой человек?

Мистер Причард закрыл глаза и очутился в автобусе, в проходе между сиденьями. «Не волнуйтесь,— обратился он к остальным пассажирам,— я все беру на себя. Как вы догадываетесь, не обладая определенными способностями, я не создал бы крупное коммерческое предприятие. Давайте рассуждать,— сказал он.— Прежде всего нам нужна пища. Тут на поле пасутся коровы». А Хортон сказал, что я не умею убить корову. Ничего, мы ему покажем. Может быть, Хортон не знал, что в ящичке у шофера — пистолет. А мистер Причард знал.

Мистер Причард вытащил пистолет. Он вылез из автобуса, пошел к полю и перелез через забор. Он держал в руке большой черный пистолет. Мистер Причард часто ходил в кино. Сама собой его мысль заработала наплывами. Он не увидел, как убивает корову и свежует ее, зато увидел, как возвращается к обрыву с громадным куском красного мяса. «Вот вам пища,— сказал он.— Теперь — костер». И снова дал наплыв: пляшет огонь в костре, и большой кусок мяса на вертеле над жаром.

А Камилла говорит: «Но что с животным? Оно же — чье-то».

Мистер Причард ответил: «Целесообразность не признает законов. Закон выживания — прежде всего. Кто потребует, чтобы я позволил вам голодать».

И вдруг — опять наплыв, и он тряхнул головой и открыл глаза. «Этого не касайся,— шепнул он себе.— От этого подальше». Где он ее видел? Если бы удалось не-

много с ней поговорить, он бы припомнил. Он не мог ошибиться, он был уверен в этом, потому что при виде ее лица у него как-то сжималось в груди. Он не только видел ее — что-то еще, должно быть, произошло. Он посмотрел на автобус. Прыщ и обе женщины по-прежнему сидели внутри.

Он поднялся на ноги, отряхнул сзади брюки, словно газета не предоохранила их от пыли. Дождь едва моросил, и на западе проглядывало клочками голубое небо. Все будет в порядке. Он подошел к автобусу и поднялся по ступенькам. Ван Брант растянулся на заднем сиденье, занимавшем всю ширину автобуса. Ван Брант как будто спал. Прыщ и женщины разговаривали тихо, чтобы не потревожить его.

— От жены мне надо, чтобы она была верной,— говорил Прыщ.

— А сам ты? — спросила Камилла.— Тоже собираешься быть верным?

— Конечно,— сказал Прыщ,— если жена будет, какая мне нужна.

— Ну, а если нет?

— Тогда я ей тоже покажу. Как вы с нами, так и мы с вами — как Кери Грант в этом кино.

Пустая форма из-под пирога и вторая, уже только с четвертушкой, лежали на сиденье по другую сторону от прохода. Женщины сидели вместе, а Прыщ — перед ними, боком, свесив руку за спинку.

При появлении мистера Причарда все повернулись к нему.

— Не возражаете, я присяду? — спросил он.

— Ну конечно, заходите,— сказал Прыщ.— Съедите кусочек пирога? Вот тут кусок лежит.— Он протянул пирог мистеру Причарду и сдвинул пустые формы, чтобы освободить ему место.

— У вас есть девушка? — продолжала Камилла.

— Ну, можно сказать, да. Но она... ну... как бы сказать, глуповата.

— Она вам верна?

— Конечно,— сказал Прыщ.

— Откуда вы знаете?

— Ну ни разу не... короче... ага, я уверен.

— Мне кажется, вы скоро женитесь,— шутливо сказал мистер Причард,— и сами откроете дело.

— Нет, пока нет,— сказал Прыщ,— я учусь заочно. У радара большое будущее. За год можно подняться до семидесяти пяти долларов в неделю.

— Да что вы говорите?

— Там ребята, которые кончили эти курсы, они пишут, что столько зарабатывают,— сказал Прыщ.— Один уже заведует районным отделением — всего через год.

— Районным отделением чего? — спросил мистер Причард.

— Просто районным отделением. Так он пишет в письме, а оно напечатано в рекламе.

Настроение у мистера Причарда исправилось. Вот молодой человек к чему-то стремится. Не все — циники.

Камилла поинтересовалась:

— Когда вы думаете пожениться?

— Ну, не сейчас еще,— сказал Прыщ.— Я думаю, до того, как обзаводиться семьей, надо повидать мир. Поглядеть, поездить. Может быть, устроюсь на корабль. Если знаешь радар, так ведь и радио знаешь. Я думаю, неплохо было бы устроиться на корабль и поплавать радиостом.

— А когда вы рассчитываете кончить курсы? — спросил мистер Причард.

— Занятия начинаются скоро. Талон у меня уже оформлен, теперь коплю на взнос. Испытание я прошел — написали, что у меня большие способности. У меня три или четыре письма оттуда.

Глаза у Камиллы были усталые. Мистер Причард смотрел на ее лицо. Он знал, что очки скрывают его взгляд. Он думал, что, если присмотреться к ней поближе, у нее очень приятное лицо. Губы такие полные и добрые, только глаза усталые. Всю дорогу из Чикаго на автобусе,— подумал он. С виду она не очень-то крепкая. Он видел, как округлится ее грудь под жакетом, а жакет был мятый. Отложные манжеты блузки она завернула внутрь, чтобы не запачкались края. Мистер Причард это заметил. Это говорило об аккуратности. Он любил подмечать детали.

Девушку эту он ощущал почти как запах духов. Он ощущал подъем и влечение. Не часто же видишь таких

девушек, таких привлекательных и милых, сказал он себе. И тут он услышал свой голос — а между тем и не думал, что собирается заговорить.

— Мисс Дубс,— сказал он,— я тут кое о чем подумал, и у меня возникла одна дельная мысль, которую вам, возможно, захочется выслушать. Я президент весьма крупной корпорации, и мне пришло в голову... надеюсь, молодые люди извинят нас, если вам будет угодно выслушать мою мысль. Не пройти ли нам к обрыву? Там можно сесть, у меня есть газеты.— Он изумился своим словам.

«Тьфу, нелегкая! — сказала про себя Камилла.— Поехало».

Мистер Причард вылез первым и галантно помог спуститься Камилле. Когда она перешагнула канаву, он поддержал ее под локоть, а потом мягко направил к расстеленным газетам, на которых сидел перед тем с Эрнестом. Он показал на землю.

— Не знаю, ей-богу,— сказала Камилла.— И так засиделась.

— Ничего, перемена позы — это тоже отдых,— ответил мистер Причард.— Знаете, когда я подолгу работаю за столом, я каждый час меняю высоту кресла и нахожу, что это прекрасно освежает.— Он помог ей сесть на газеты. Она прикрыла колени юбкой и, обхватив руками, подтянула к груди.

Мистер Причард сел рядом. Он снял очки.

— Я вот что подумал,— сказал он.— Понимаете, человек моего положения должен смотреть вперед и рассчитывать. Сейчас, формально, я в отпуске.— Он улыбнулся.— Отпуск... интересно, что это будет такое, настоящий отпуск.

Камилла улыбнулась. Сидеть было очень жестко. Долго ли это протянется? — подумала она.

— Так вот, главное сырье у любой преуспевающей компании — люди,— сказал мистер Причард.— Я постоянно ищу людей. Сталь и резину можно получить когда угодно, но мозги, талант, красоту, целеустремленность... это продукт редкий.

— Слушайте, дорогой мой,— сказала она,— я ужасно устала.

— Понимаю, милая, и перехожу к сути. Я хочу взять вас на работу. Проще, кажется, сказать нельзя.

— Кем?

— Секретарем в присмной. Это весьма квалифицированный труд, и отсюда можно дорасти... словом, вы можете даже стать моим личным секретарем.

Камилла совсем сникла. Она оглянулась на пещеру, где лежала миссис Причард. Ничего не было видно.

— Что на это скажет ваша жена?

— Какое она имеет к этому отношение? Она моими делами не распоряжается.

— Дорогой мой, говорю вам — я устала. Не надо нам затевать эту канитель. Я хотела бы выйти замуж. Я была бы хорошей женой — да и так относилась бы хорошо к человеку, если бы он хоть на время обеспечил мне спокойную жизнь.

— Не понимаю, к чему вы клоните, — сказал мистер Причард.

— Да нет, понимаете, — сказала она. — Я вам не нравлюсь, потому что играть в ваши игры не буду. Вам бы подбираться к этому месяцами, а потом взять да огоршить, а я сижу почти без денег. Говорите — жена не распоряжается вашими делами, а я говорю — распоряжается. И вами, и вашими делами, и всем, что вас касается. Я не хочу вас обижать, но я устала. Она, наверно, подбирает вам и секретарш, только вы не догадываетесь. Это крутая женщина.

— Я не понимаю, о чем вы говорите.

— Да понимаете, — сказала Камилла. — Кто купил вам галстук?

— Но...

— Она узнает про меня через пять минут. Она-то? Нет, дайте мне досказать. Вы не можете попросить женщину напрямик. Вам надо подъезжать сбоку. Но есть только два пути, дорогой мой. Или вы влюбляетесь, или предлагаете сделку. Если бы вы сказали: «Значит, таким путем. Столько-то на квартиру, столько-то на тряпки» — вот это я могла бы обдумать и могла бы решить, и могло бы что-то получиться. Но чтобы меня расклеивать по крошкам — не согласна. Вы что — хотели меня огоршить после двух-трех месяцев сидения за столом? Стара я для таких забав.

Мистер Причард выставил подбородок.

— Моя жена не распоряжается моими делами,— сказал он.— Не понимаю, откуда вы это взяли.

— Да бог с ней,— сказала Камилла.— Только я лучше налечу на гнездо гремучих змей, чем на вашу жену, если она меня невзлюбит.

— Меня несколько удивляет ваше отношение,— сказал мистер Причард.— У меня в мыслях не было ничего подобного. Я просто предложил вам место. Хотите соглашайтесь, хотите — нет.

— Ах ты, птичка! — сказала она.— Если вы себя так можете заморочить, упаси господь ваших девушек. Разве тут поймешь, откуда ветер дует.

Мистер Причард улыбнулся ей.

— Вы просто устали,— сказал он.— Может быть, когда вы отдохнете, вы подумаете.

Воодушевления в его голосе уже не было, и у Камиллы отлегло от души. Она подумала, что, может быть, зря она так — уж больно легко с ним управиться, лапша. Лорейн скрутила бы его за день.

Теперь мистер Причард видел ее лицо по-другому. Он видел в нем черствость и дерзость, а вдобавок, сидя к ней так близко, видел всю косметику, как она положена,— и он чувствовал себя перед этой женщиной нагим. Его огорчало, что разговор принял такой оборот. Он думал, что если она согласится... ну, тогда он... тогда... но беда в том, что она поняла. Правда, он никогда не называл бы это... но, в конце концов, есть же такое понятие, как воспитанность.

Он был смущен и от смущения снова начал сердиться. Дважды рассердиться за день—это на него не похоже. Шея у него покраснела от злости. Надо как-то замаскировать. Из уважения к себе надо. Он заговорил решительно:

— Я просто предложил вам место. Не хотите — как хотите. Не понимаю, откуда этот вульгарный тон. В конце концов, есть такое понятие, как воспитанность.

Голос ее стал резким.

— Вот что, дядя,— сказала она,— грубить и я умею. Насчет воспитанности — это уже зря. Я вам растолкую. Вам показалось, что вы меня узнали. Состоите вы в каком-нибудь клубе вроде «Международного Восьмиугольника», или в «Птицах Мира», или «Двух с половиной — трех тысячах»?

— Я в «Восьмиугольнике»,— надменно произнес мистер Причард.

— Помните девушку, которая сидела в бокале? Видала я, на что вы, молодцы, похожи. Не знаю, что вам за радость от этого, и не желаю знать. Но знаю, что это некрасиво, дядя. Может, вы и разбираетесь в воспитании. Не знаю.— Голос у нее немного прерывался, и от усталости она была почти в истерике. Она вскочила на ноги.— Пойду-ка я пройдуся, а вы ко мне не приставайте, потому что я вас знаю и знаю вашу жену.

Она быстро ушла. Мистер Причард смотрел ей вслед. Глаза у него были широко раскрыты, а в груди — гнетущая тяжесть, вялый физический ужас. Он смотрел, как движется ее красивое тело, смотрел на ее красивые ноги и мысленно видел ее раздетой — она стояла возле громадного бокала, и вино красными струями стекало по ее животу, бедрам, ягодицам.

Рот у мистера Причарда был разинут, шея — багровая. Он оторвал от нее взгляд и осмотрел свои руки. Он вынул золотую пилку для ногтей и снова засунул в карман. Голова у него закружилась. Он неуверенно встал и двинулся вдоль обрыва к пещере, где лежала миссис Причард.

Когда он вошел, она открыла глаза и улыбнулась. Мистер Причард быстро лег рядом с ней. Он приподнял край ее пальто и залез под него.

— Ты устал, дорогой,— сказала она.— Элиот! Что ты делаешь? Элиот!

— Замолчи,— сказал он.— Слышишь? Замолчи! Ты жена мне или нет? Есть у человека право на жену?

— Элиот, ты с ума сошел! Кто-нибудь... кто-нибудь тебя увидит.— Она панически сопротивлялась.— Я тебя не узнаю,— сказала она.— Элиот, ты рвешь мне платье.

— Я его купил или нет? Мне надоело, что со мной обращаются как с больным котенком.

Бернис тихо плакала от ужаса и отвращения.

Когда он ушел, она продолжала плакать, зарывшись лицом в мех. Постепенно плач прекратился, она села и выглянула наружу. Взгляд ее был свиреп. Она подняла руку и приставила ногти к щеке. Раз она провела ногтями для пробы, а потом закусил губу и рванула по щеке. Она почувствовала, как кровь сочится из царапин. Она

опустила руку на пол, измазала ее в грязи и стала втирать грязь в окровавленную щеку. Кровь просачивалась сквозь грязь и текла по шее за ворот блузки.

ГЛАВА 18

Милдред вышла с Хуаном из конюшни и сказала:

— Смотрите, дождь перестал. Смотрите, солнце над горой. Будет чудесно.

Хуан улыбнулся.

— А знаете, у меня прекрасное настроение,— сказала она.— Прекрасное настроение.

— Конечно,— сказал Хуан.

— А у вас оно достаточно прекрасное, чтобы поддержать мне зеркальце? В сарае ничего не было видно.— Она вынула из сумочки квадратное зеркальце.— Вот. Нет, чуть повыше.— Она быстро расчесала волосы, попудрила щеки и намазала губы. Она придвинулась к самому зеркальцу, потому что видела только вблизи.— Считаете, что для опозоренной девушки я веду себя легкомысленно?

— Обыкновенно себя ведете,— сказал он.— Вы мне нравитесь.

— И только? Не больше?

— Хотите, чтобы я врал?

Она засмеялась.

— Пожалуй, немного да. Нет, не хочу. И вы не возьмете меня в Мексику?

— Нет.

— Значит, это — все? Больше ничего не будет?

— Откуда я знаю? — сказал Хуан.

Она спрятала зеркальце и помаду в сумочку и разровняла помаду — губой о губу.

— Стряхните с меня солому, ладно? — Он стал отряхивать ее пальто ладонью, а она поворачивалась.— А то,— продолжала она,— папа с мамой о таких вещах не знают. Уверена, что и меня зачали непорочно. Мама меня посадила — луковица номер один — до заморозков и присыпала меня землей, песком и навозом.— Голова у нее шла кругом.— В Мексику нельзя. А что мы будем делать?

— Вернемся, вытащим автобус и поедem в Сан-Хуан.— Он пошел к воротам старой фермы.

— Можно взять вас ненадолго за руку?

Он посмотрел на руку с отрезанным пальцем и стал переходить на другую сторону, чтобы дать ей целую.

— Нет,— сказала она,— мне эта нравится.— Она взяла его за руку и погладила пальцем гладкий конец обрубка.

— Не надо,— сказал он.— Это действует мне на нервы.

Она крепко сжала его руку.

— И очки можно не надевать,— сказала она.

Склоны на востоке горели и золотились от заходящего солнца. Хуан и Милдред повернули направо и стали подниматься к автобусу.

— Ответьте мне на один вопрос, в... ну, в уплату за мое распутство?

Хуан засмеялся.

— Какой вопрос?

— Зачем вы сюда пришли? Думали, что я пойду за вами?

— Хотите правду или словами поиграть? — спросил он.

— Вообще мне и то и другое нравится. Впрочем нет... пожалуй, сперва правду.

— Я сбежал,— сказал Хуан.— Хотел удрать в Мексику и скрыться, а пассажиров бросить на произвол судьбы.

— Да? А почему вы сбежали?

— Не знаю,— сказал он.— Не заладилось. Дева Гвадалупская меня подвела. Я думал, что надул ее. Она не любит надувательства. Подрезала этому делу крылышки.

— Вы сами в это не верите,— с чувством сказала она.— Я тоже не верю. А настоящая причина?

— Чего?

— Почему вы пришли на старую ферму?

Хуан продолжал шагать и вдруг расплылся в улыбке; шрам на губе сделал улыбку кривоватой. Он посмотрел на Милдред, и взгляд его черных глаз был теплым.

— Я зашел сюда, потому что надеялся, что вы пойдете погулять, а тогда, я подумал, можно будет... вдруг удастся вас залучить.

Она продела руку ему под локоть и сильно прижалась щекой к его рукаву.

— Хотела бы я, чтобы это еще немного продлилось,— сказала она,— но знаю, что нельзя. Прощайте, Хуан.

— Прощайте,— сказал он. И они медленно пошли назад, к автобусу.

ГЛАВА 19

Ван Брант лежал вытянувшись на заднем сиденье автобуса. Глаза у него были закрыты, но он не спал. Голова его лежала на правой руке, и от тяжести правая рука затекла.

Когда Камилла вышла с мистером Причардом из автобуса, Прыщ и Норма замолчали.

Ван Брант прислушивался к тому, как растекается по жилам старость. Он почти ощущал шорох крови в своих бумажных артериях и слышал, как бьется сердце со скрипучим грисвистом. Правая рука потихоньку немела, но его беспокоила левая рука. В левой руке у него осталось мало чувствительности. Кожа была невосприимчива, словно превратилась в толстую резину. Когда он был один, он тер и массировал руку, чтобы восстановить кровообращение, и, догадываясь, что с ней на самом деле, не хотел признаваться в этом даже самому себе.

Несколько месяцев назад он потерял сознание — всего на секунду, и врач, измерив ему давление, сказал, что главное — не волноваться, и все будет в порядке. А две недели назад произошло другое. Была электрическая вспышка в голове и в глазах, секундное ощущение как бы ослепительного бело-голубого света, и теперь он совсем не мог читать. Не из-за зрения. Видел он вполне хорошо, но слова на страницах плыли и набегали друг на друга, извиваясь, как змеи, и он не мог разобрать, что они говорят.

Он очень хорошо понимал, что перенес два легких удара, но скрывал это от жены, а она скрывала от него, и врач скрывал от них обоих. И он ждал, ждал еще одного, того, который взорвется в мозгу, скрючит тело и если не убьет его, то сделает бесчувственным предметом. В ожидании этого он злился, злился на всех. Животная ненависть ко всем окружающим подкатывала к горлу.

Он перепробовал всевозможные очки. Пробовал читать газеты с лупой, потому что сам, половиной сознания, пы-

тался скрыть от себя свою беду. Злоба теперь вспыхивала и прорывалась у него совершенно неожиданно, но самым ужасным для него было то, что иногда он непроизвольно начинал плакать и не мог остановиться. Недавно он проснулся утром с мыслью: «Почему я должен ждать этого?»

Отец его умер от того же самого, но перед смертью одиннадцать месяцев пролежал в постели, как серый беспомощный червь, и все деньги, которые он копил на старость, ушли на врачей. Ван Брант понимал, что, если такое случится с ним, восьми тысяч долларов, лежавших у него в банке, не будет, и старуха жена, похоронив его, останется без гроша.

В тот день, как только открылись аптеки, он пошел в аптеку Бостон — к своему приятелю Милтону Бостону.

— Мне надо потравить белок, Милтон,— сказал он.— Дашь мне немного цианида, ладно?

— Это дьявольски опасная штука,— сказал Милтон.— Терпеть не могу его продавать. Может, я дам тебе стрихнина? Это будет ничем не хуже.

— Нет,— сказал Ван Брант,— я получил правительственный бюллетень с новой прописью, там цианид.

Милтон сказал:

— Ну ладно. Тебе, конечно, надо будет расписаться в книге ядов. Но осторожнее с этой дрянью, Ван. Осторожней. Не оставляй ее где попало.

Они дружили много лет. Вместе вступили в Синюю Ложу, были учениками, подмастерьями и по прошествии лет стали мастерами ложи Сан-Исидро; потом Милтон вошел в Капитул Королевской Арки и в Шотландский Обряд, а Ван Брант так и не поднялся выше третьей ступени. Но они остались приятелями.

— Сколько тебе надо?

— С унцию, наверно.

— Это страшно много, Ван.

— Я принесу что останется.

Милтон не успокоился.

— Только не прикасайся руками, хорошо?

— Я умею с ним обращаться,— сказал Ван Брант.

Потом он пошел к себе в кабинет, в цокольном этаже своего дома, и острым перочинным ножом проколол тыльную сторону ладони. Когда выступила кровь, он открыл

пробирку с кристаллами. И остановился. Не мог. Просто не мог высыпать кристаллы на ранку.

Через час он отнес пробирку в банк и спрятал в свой абонированный сейф, где лежало его завещание и страховки. Ему пришло в голову купить маленькую ампулу и носить на шее. Тогда, если случится сильный, ему, может быть, удастся донести ее до рта, как делали эти люди в Европе. Но сейчас высыпать — он не мог. Может быть, это и не случится.

Он носил в душе тяжесть разочарования и носил в душе злость. Злили его все люди вокруг, не собиравшиеся умирать. И еще одно его угнетало. Удар спустил с цепи некоторые его инстинкты. В нем вновь проснулись могучие вожделения. Его до удушья тянуло к молодым женщинам, даже девочкам. Он не мог оторвать от них глаз и мыслей и в самом разгаре болезненных своих фантазий вдруг разражался слезами. Он боялся, как ребенок боится в чужом доме.

Он был слишком стар, чтобы приспособиться к изменению личности и к тому новому в естестве, что было порождено ударом. Он прежде не был охотником до чтения, но теперь, потеряв способность читать, изголодался по печатному слову. И характер у него делался все более вздорным и вспыльчивым, так что даже старые знакомые начинали его избегать.

Он слушал, как точится в жилах время, и хотел, чтобы пришла смерть, и боялся ее. Сквозь прикрытые веки он видел, как золотой свет заката заливает автобус. Его губы слегка зашевелились, и он сказал: «Вечер, вечер, вечер». Слово было очень красивое, и он слышал, как по-свистывает у него в сердце. Сильное чувство овладело им, расперло грудь, расперло горло, застучало в голове. Он подумал, что опять расплечется. Он попробовал сжать правую руку, но она онемела и не сжималась.

А потом он окаменел от напряжения. Тело, казалось, раздувается, как резиновая перчатка. Ворвался вечерний свет. В мозгу выросла страшная мигающая вспышка. Он почувствовал, как валится, валится в потемки, в черноту, в черноту...

Солнце село на западный холм, сплющилось, и свет его был желтым и чистым. Напоенная долина блестела под косым светом. Прозрачный промытый воздух был

свеж. На полях поникшая пшеница и толстые оцепеневшие стебли овсюга подтянулись, а свернувшиеся лепестки золотых маков чуть раздались. Желтая речная вода бурлила и вертелась в бучилах и остервенело грызла берега. На заднем сиденье автобуса захлебывался храпом Ван Брант. Лоб у него был мокрый. Рот был открыт, глаза — тоже.

ГЛАВА 20

Прыщ пересел к Норме, она грациозно подобрала юбку и отодвинулась к окну.

— Как по-твоему, чего этот старикан хочет от девушки? — подозрительно спросил он.

— Не знаю, — сказала Норма. — Одно тебе скажу. Она себя в обиду не даст. Она замечательная девушка.

Прыщ сказал:

— Ну, не знаю. Есть и кроме нее замечательные девушки.

Норма вспыхнула.

— Кто же, например? — спросила она иронически.

— Ты, например, — сказал Прыщ.

— Вот как! — Она этого не ожидала. Она опустила голову и стала смотреть на свои сморщенные пальцы, стараясь овладеть собой.

— С чего ты вдруг взяла и уволилась? — спросил Прыщ.

— Миссис Чикой плохо ко мне относилась.

— Я знаю. Она ко всем плохо относится. Жалко, что ты ушла. Мы бы с тобой могли подружиться.

Норма не ответила. Прыщ предложил:

— Если скажешь, я притащу пирог с изюмом. Они довольно вкусные.

— Нет. Нет, спасибо. Подумать о еде не могу.

— Тошнит?

— Нет.

— Вообще, если бы ты вернулась туда на работу, мы могли бы ездить на субботний вечер в Сан-Исидро — на танцы или еще куда.

— Раньше ты об этом не подумал, — сказала она.

— А я не думал, что нравлюсь тебе.

В ней появилось лукавство. Это была восхитительная игра.

— А почему ты думаешь, что теперь нравишься? — сказала она.

— Ну, ты теперь другая. Вроде изменилась. Мне нравится твоя прическа.

— А-а, это, — сказала она. — Да там, в закусочной, вроде как незачем прихорашиваться. Кто меня увидит?

— Я, — галантно сказал Прыщ. — Давай назад. Тебя возьмут обратно. Гарантирую.

Она покачала головой.

— Нет, когда я уйду — я уйду. Обратно не приползу. А кроме того, пора подумать о будущем. У нас есть планы.

— Какие планы?

Норма заколебалась, стоит ли рассказывать. С одной стороны, можно сглазить — но удержаться она не могла.

— У нас будет квартирка с красным диваном и радио. Будет плита, холодильник, и я буду учиться на сестру. — Ее глаза сияли.

— Кто это «мы»?

— Мы с мисс Камиллой Дубс, вот кто. Когда я стану сестрой, у меня будет на что одеваться, мы будем ходить в театр и, может быть, принимать друзей.

— Ерунда, — сказал он. — Не будет этого.

— Почему ты так говоришь?

— Не будет, и все. Слушай, чего ты не вернешься к Чикоям? Я изучаю радар, а там уйдем вместе и, кто его знает, может, и сойдемся. Ведь девушке — ей же хочется замуж. Я парень молодой. Ну а... это... парню хорошо иметь жену. Это делает его вроде... целеустремленным.

Норма посмотрела ему в глаза серьезным вопросительным взглядом, — не смеется ли он над ней. И была в ее взгляде такая прямота, что Прыщ неверно истолковал его и смущенно отвернулся.

— Понятно, — сказал он с горечью. — По-твоему, нельзя встречаться с парнем, у которого такая штука. Я все делал. Больше сотни истратил на врачей и разную аптечную дрянь. Все без толку. Один врач говорит, они пройдут. Говорит, годика через два исчезнут. Только не знаю, правда ли. Ну и давай, — сказал он со злостью. — Устраивай себе квартирку. Я, может, такие развлечения знаю,

какие тебе не снились. Нечего ставить из себя.—Голос у него был совершенно подавленный, и он глядел себе на колени.

Норма посмотрела на него с удивлением. Ни в ком, кроме себя, не предполагала она такой жалкой боли. Никто еще не искал у Нормы сочувствия и поддержки. Пузырек тепла наклюнулся у нее внутри — и какая-то благодарность. Она сказала:

— Ты так не думай. Нельзя так думать — если ты девушке не безразличен, она так думать не будет. Врач знал, что говорит. Я знала трех молодых ребят, у них это потом прошло.

Прыщ не поднимал головы. Он все еще был подавлен, но бесенок уже зашевелился. Он чувствовал, что преимущество переходит к нему, и начал им пользоваться — и это было внове для него, это было открытие. Он всегда хвастался перед девушками, петушился, а тут, оказывается, так просто. Хитрый бесенок начал действовать.

— Это так доводит, что прямо не можешь, — сказал он.— Иногда думаю покончить с собой.— Он вынудил у себя всхлип.

— Нет, ты так не говори, — сказала Норма. Для нее это было тоже новой ролью, но такой, наверно, для которой она годилась лучше всего.

— Никто меня не любит, — сказал Прыщ.— Никто меня знать не хочет.

— Не говори так, — повторила Норма.— Это неправда. Ты мне всегда нравился.

— Никогда я тебе не нравился.

— Нет, нравился.— Утешая его, она положила руку ему на локоть.

Он не глядя накрыл ее ладонью и прижал к себе. А потом его рука схватила руку Нормы и сжала пальцы, и Норма машинально ответила пожатием. Он повернулся, сгреб ее и сунулся к ней лицом.

— Не надо! — крикнула она.— Перестань.

Он обхватил ее еще крепче.

— Перестань, — сказала она.— Перестань же. Старик сзади.

Прыщ прошептал:

— Слышишь, храпит старый хрыч. Хоть из пушки стреляй. Не бойся, не бойся.

Она уперлась локтями ему в грудь. Руки Прыща цеплялись за ее юбку.

— Перестань,— шепнула она.— Перестань; слышишь?— Теперь она поняла, что ее провели.— Перестань!пусти меня!

— Ну давай,— ошалело говорил он.— Давай, ну пожалуйста.— Глаза у Прыща помутнели, и он возился с ее юбкой.

— Перестань, перестань, пожалуйста. А если... если войдет Камилла? Если увидит, что ты де...

Взгляд у Прыща на секунду прояснился. Он недобро уставился на Норму.

— Ну и войдет. Ну и увидит, проститутка несчастная, а тебе не один черт?

Рот у Нормы раскрылся, руки ослабли. Она смотрела на него, не веря своим глазам. Смотрела так, как будто не расслышала. А затем — ярость ее была холодной и убийственной. Ее закаленные работой мускулы напряглись. Она вырвала руку и ударила его в зубы. Она вскочила на ноги и заработала обоими кулаками, а он был так ошарашен, что только закрывал лицо.

Она фырчала на него, как кошка.

— Сопляк! — сказала она.— У-у, сопляк паршивый.— Она пинала и толкала его, выпихнула в проход, пробежала по проходу и выскочила вон. Он запутался ногами в ножках сидений и пытался перевернуться.

Норма чувствовала слабость и дурноту. Губы у нее дрожали, из глаз текло.

— Сопляк паршивый,— плакала она.— Сопляк паршивый, грязный.— Она перешагнула кювет, кинулась в траву и уткнулась лицом в руки. Прыщ наконец встал и воровато выглянул в окно. Он совсем не знал, что теперь делать.

Камилла медленно возвращалась по дороге и увидела Норму, лежащую ничком. Она перешагнула канаву и наклонилась к ней.

— Что с тобой? Упала? Что случилось?

Норма подняла заплаканное лицо.

— Ничего,— сказала она.

— Встань,— коротко приказала Камилла.— Встань ты с мокрой травы.— Она рывком подняла Норму, подвела к обрыву и усадила на газеты.— Да что с тобой стряслось-то?

Норма утерла мокрое лицо рукавом и смазала остатки губной помады.

— Не хочу про это говорить.

— Ну, дело хозяйское,— сказала Камилла.

— Все Прыщ. Хватать меня начал.

— Ты что, постоять за себя не можешь? Сразу сырость разводить?

— Не из-за этого.

— А из-за чего же? — Камилле было, в общем, не интересно. У нее хватало своих забот.

Норма терла пальцами красные глаза.

— Я его ударила,— сказала она.— Ударила потому, что он назвал вас проституткой.

Камилла отвернулась. Она смотрела на ту сторону долины, где за горами пряталось солнце, и терла щеку. Глаза у нее были потухшие. Потом она заставила их ожить, заставила их улыбнуться и с улыбкой обернулась к Норме.

— Слушай, детка,— сказала она.— Придется тебе принять это на веру, пока сама не убедишься,— каждой случается в жизни быть проституткой. Каждой. И худшие проститутки — те, кто называет это иначе.

— Но вы же нет,— сказала Норма.

— Оставим это. Оставим. Давай-ка лучше займемся твоим личиком. Помада, конечно, ванны не заменит, но все же лучше, чем ничего.

Камилла раскрыла сумочку, порылась в ней и достала расческу.

ГЛАВА 21

Хуан ускорил шаги, и Милдред с трудом держалась рядом.

— Нам обязательно бежать? — спросила она.

— Гораздо легче будет откопать автобус, пока светло, чем ковыряться в потемках.

Она поспевала за ним рысцой.

— Вы надеетесь его вытащить?

— Да.

— Почему же вы сразу не попробовали, а ушли?

Хуан замедлил шаги.

— Я же сказал вам. Два раза сказал.

— А-а, ну да. Значит, это было всерьез?

— Я всегда говорю всерьез,— ответил Хуан.

Они пришли к автобусу, когда солнце уже скользнуло за хребет. Верхние облака все еще были розовыми и розовой прозрачностью обливали землю и холмы.

Прыщ шмыгнул из-за автобуса навстречу Хуану. В его повадке было какое-то враждебное подобострастие.

— Когда они выезжают? — спросил он.

— Никого не нашел,— лаконично ответил Хуан.— Придется самим. Мне нужна помощь. Куда они к чертям подевались?

— Разбрелись,— сказал Прыщ.

— Ладно, вынимай брезент.

— Там дама на нем спит.

— Ладно, подними ее. Нужны камни, если сможешь найти, и нужны доски или столбы. Придется, наверно, разобрать забор. Но колючую проволоку оставь, скот разбежится. И вот что, Прыщ...

Рот у Прыща открылся, плечи повисли.

— Вы обещали...

— Собери всех мужчин. Мне понадобится помощь. Я возьму большой домкрат под задним сиденьем.

Хуан вошел в автобус. Внутри уже было темновато. Он увидел, что на сиденье лежит Ван Брант.

— Вам придется встать, я хочу взять домкрат,— сказал Хуан.

Вдруг он наклонился ниже. Глаза у старика были открыты и закатились, шумный натужный храп рвался из его глотки, в углах рта собралась слюна. Хуан перевернул его на спину, язык у старика запад в горло и преградил путь воздуху. Хуан залез в его открытый рот пальцами и оттянул язык вперед и вниз. Он крикнул: «Прыщ! Прыщ!» — и свободной рукой, золотым обручальным кольцом постучал в стекло.

Прыщ вошел в автобус.

— Он заболел, черт побери. Позови кого-нибудь. По-сигналь.

Сменить их пришлось мистеру Причарду. Ему это было отвратительно, но отказаться он не мог. Хуан отрезал коротенькую палочку и показал ему, как придерживать западавший язык, уперев палочку в небо, чтобы старик не

задохнулся. Мистеру Причарду был омерзителен вид больного, и от кислого запаха, выходившего с тяжелым дыханием, его мутило. Но отказаться он не мог. Он не хотел ни о чем думать. Его ум желал выключиться. Все его существо поминутно скручивалось от леденящих мыслей. В автобус вошла его жена и, увидев его, села на первое место у двери — как можно дальше от него. И даже в сумерках он разглядел царапины и кровь у нее на воротнике. Она с ним не разговаривала.

Он мысленно сказал: «Я, наверно, был невменяем. Не понимаю, как я мог это сделать. Дорогая, ну почему ты не можешь подумать, что я был болен, не в своем уме». Он сказал это в своем уме. Он подарит ей маленькую оранжерейку — и не такую уж маленькую. Он построит ей лучшую оранжерейку на свете. Но долгое время об этом нельзя будет даже заговорить. И путешествие в Мексику — им надо пережить его. Оно будет ужасным, но им надо пережить его. И долго ли не исчезнет из ее глаз это выражение — обида, укор, упрек? Несколько дней она не будет разговаривать — это он знал, — а если и будет, то безукоризненно вежливо: краткие ответы, мягкий голос, и ни одного взгляда в глаза. «О господи, — подумал он, — как меня в такое заносит? Почему не я здесь лежу, умираю, а этот старик? Ему уже никогда не придется переживать такое».

Он почувствовал, что под машиной начали работать люди. Он услышал, как воткнулась лопата и хлюпнула грязь, услышал, как бросили камень под колесо. Жена сидела подобравшись, и на губах ее была терпеливая улыбка. Он еще не знал, как она обернет дело, но все в ее руках.

Ей было грустно, и она твердила себе: «Не нужно злых мыслей. Если Элиот поддался низменному, это вовсе не значит, что я должна забыть о своем благородстве и великодушии». В груди трепыхнулось торжество. «Я победила гнев, — прошептала она, — и победила отвращение. Я способна простить его, я знаю, что способна. Но ради него же я не должна торопиться с этим — ради его же блага. Я должна выждать». Лицо ее было преисполнено достоинства и обиды.

У автобуса Прыщ творил чудеса силы и доблести. Его двухцветные штиблеты погибали в грязи. Он губил их

почти намеренно. Слой грязи налип на его шоколадные брюки. Он надругался над своим красивым костюмом. Он вонзал лопату в землю, окапывая колеса сзади и с боков, и отшвыривал грязь. Он встал на грязь коленями, чтобы рыть руками. Его волчьи глаза горели от труда, и на лбу выступил пот. Он украдкой поглядывал на Хуана. Хуан забыл их уговор — и как раз тогда, когда Прыщу это было особенно важно. Прыщ втыкал лопату в землю с порывисто-бурной силой.

Эрнест Хортон взял кирку и перешагнул через канаву. Он снял дерн, корни, слой почвы и наткнулся на то, что искал. Каменные обломки некогда обвалившегося холма. Он выковыривал камни и складывал на траве возле ямы. К нему подошла Камилла.

— Я помогу вам носить.

— В грязи измажетесь, — сказал Эрнест.

— Думаете, я могу стать грязнее, чем сейчас? — спросила она.

Он опустил кирку.

— Не хотите дать мне телефон? Я бы вас сводил куда-нибудь.

— Я правду сказала. Я пока нигде не живу. У меня нет телефона.

— Как знаете, — сказал Эрнест.

— Да нет, честно. Где вы остановитесь?

— В «Голливуд-Плазе», — сказал Эрнест.

— Хорошо, если будете в вестибюле послезавтра около семи, я, может быть, зайду.

— Годится, — сказал Эрнест. — Пойдем обедать к Муссо-Франку.

— Я не сказала, что приду. Я сказала — может быть. Не знаю, какое еще будет настроение. Если не появлюсь, не швыряйте часы об стенку. Я уже не соображаю что к чему — до того укаталась.

— Годится, — сказал Эрнест. — Поторчу до половины восьмого.

— Вы молодец, — сказала Камилла.

— Лопух как лопух, — сказал Эрнест. — Большие не поднимайте. Я отнесу. Берите маленькие.

Она взяла в обе руки по камню и отправилась к автобусу.

Хуан подошел к старой изгороди и стал вытаскивать столбы. Он вышатнул восемь штук, но через один, чтобы не упала колючая проволока. Он отнес столбы и пошел за новыми.

Розовая заря бледнела, и на долину спускались сумерки. Хуан опер домкрат на столб, подвел его под полку обода и стал поднимать автобус с одного бока. По мере того как колесо поднималось в яме, Прыщ натакивал под него камни.

Хуан переставил домкрат, покачал еще, и постепенно одна сторона автобуса поднялась из грязи. Хуан перенес домкрат на другую сторону и стал вывешивать другое колесо.

Эрнест выкапывал камни, а Камилла с Нормой носили их к канаве.

Милдред сказала:

— А мне что делать?

— Уложите поплотнее этот столб, пока я схожу за другим рычагом,— сказал Хуан. Он работал наперегонки с темнотой. Лоб у него блестел от пота. Прыщ, коленями в грязи, бутыл яму под колесом, и другая сторона автобуса поднималась над кюветом.

— Поднимем с запасом,— сказал Хуан,— чтобы не переделывать снова. Я хочу уложить столбы под колеса.

Кончили уже в потемках. Хуан сказал:

— Надо, чтобы все подтолкнули, когда я тронусь. Если хоть метр сделаем — все в порядке.

— Как там дальше дорога? — спросил Прыщ.

— Мне показалась ничего. Ого! Дал ты жизни своему костюму.

Лицо у Прыща осунулось от разочарования.

— Подумаешь, костюм,— сказал он.— Что от него толку? — Голос был такой убитый, что Хуан уставился на него в полутьме.

Губы Хуана нехотя разошлись в улыбке.

— Я сяду за руль, а тебе придется покомандовать здесь, Кит. Заставь их навалиться, когда я тронусь. Ты знаешь, что делать. Командуй здесь, Кит.

Прыщ швырнул лопату.

— Все сюда,— закричал он.— Все сюда, а ну, нажмем! Я стану справа. Девушки тоже. Все взялись! — Он выстроил людей позади автобуса. На секунду он задержал

алчный взгляд на миссис Причард. «Пожалуй, будет только мешаться», — решил он.

Хуан забрался в автобус.

— Вылезайте толкать, — велел он мистеру Причарду.

Мотор завелся легко. Хуан дал ему несколько секунд поработать. Потом включил первую скорость, дважды стукнул по борту и услышал, как Прыщ два раза стукнул в ответ по задней стенке. Он чуть прибавил газу и стал отпускать сцепление. Колеса пошли, пробуксовали, рыкнули, пошли, и «Любимая», пьяно переваливаясь по каменной колее, выползла на дорогу. Хуан отъехал по дороге от лужи и потянул ручной тормоз. Он встал и выглянул в дверь.

— Кидайте инструменты прямо на пол, — сказал он. — Давайте, поехали.

Он включил фары, и лучи осветили гравийную дорогу до самой макушки маленького холма.

ГЛАВА 22

Хуан очень медленно въехал на вершину и повел автобус вниз по изрытому водой гравию, мимо покинутого дома. На повороте его фары ухватили безглазый дом, сломанный ветряк, конюшню.

Ночь была совсем черна, но повеял новый ветерок, неся семенной запах трав и пряный — люпина. Фары бурили ночь над дорогой, и мелькала сова, то влетая в свет, то вылетая. Далеко впереди перебегал дорогу кролик: он поглядел на фары, вспыхнули красным его глаза, и он соскочил в канаву.

Хуан вел автобус на второй скорости, держа размытую водой колею между колесами. В автобусе было темно, лишь щиток светился. Хуан кинул взгляд на Деву. «Я прошу только об одном, — сказал он про себя. — От того я отказался, но сделай одолжение, пусть она будет трезвой, когда я вернусь».

Миссис Причард уже сидела не так прямо. Голова ее качалась от толчков автобуса, и она мечтала. Она одета в... во что... что на ней будет?.. Что-нибудь светлое. Должно быть, белое. И она водит Эллен по своей оранжерейке. «Тебя удивляет, что я оставила несколько пур-



«ЗАБЛУДИВШИЙСЯ АВТОБУС»



«ЗАБЛУДИВШИЙСЯ АВТОБУС»

пурных орхидей? — спрашивает она у Эллен. — Ведь у всех есть родственники, которым нравятся пурпурные. Даже у тебя, Эллен, ты не станешь отрицать. Зато посмотри сюда. Они как раз распускаются — прелестные коричневые и зеленые. Элиот выписал их из Бразилии. Они растут за тысячу километров от устья Амазонки».

На полу автобуса кирка лязгала о лопату.

Прыщ нагнулся к Хуану.

— Я могу сменить вас, мистер Чикой. Вы устали. Давайте я поведу.

— Нет, спасибо, Кит, с тебя хватит.

— Да я не устал.

— Ничего, — сказал Хуан.

Милдред видела профиль Хуана на фоне освещенной дороги. «Интересно, на сколько мне удастся растянуть этот день. Как мятную жвачку. Надо держаться за сегодня, покуда не выпадет другой день, такой же хороший».

В шуме и тряске автобуса мистер Причард ловил ухом дыхание Ван Бранта. Он едва различал его лицо на сиденье. Мистер Причард обнаружил в своей душе ненависть к этому человеку за то, что он умирает. Он с удивлением анализировал свою ненависть. Он понял, что мог бы с легкостью задушить этого человека и жить дальше. «Что же я за тварь? — воскликнул он. — Откуда во мне эти твари? Или я схожу с ума? Может быть, я переутомился. Может быть, это — нервное расстройство».

Он наклонился к больному — не нарушилось ли у него дыхание. Сильная ссадина будет у него на небе, куда упирается палочка. Он услышал движение за спиной и увидел, что Эрнест Хортон пришел назад и сел рядом.

— Сменить вас?

— Нет, — сказал мистер Причард. — Пока, кажется, все в порядке. Как вы думаете, что с ним?

— Удар, — сказал Эрнест. — Я не хотел на вас набрасываться. Нервы расшались.

— Такой уж день, — ответил мистер Причард. — Когда все скверно, моя жена говорит: «Ничего, пройдет время, и это покажется нам смешным».

— Что ж, хорошо так смотреть на вещи, если можешь, — сказал Эрнест. — Если надумаете мне позвонить, я буду в «Голливуд-Плазе». А то попробуйте вечером на квартиру — я вам дал номер.

— Боюсь, не сумею выкроить время,— сказал мистер Причард.— А все же вы бы заглянули как-нибудь на завод. У нас может получиться дело.

— А что?! Может,— сказал Эрнест.

Норма сидела теперь у окна, Камилла рядом с ней. Норма облокотилась на подоконный выступ и глядела в порхающую темень. Над западными горами вокруг широкой черной тучи чуть серел еще ободок неба; потом, когда туча ушла, оттуда выглянула вечерняя звезда, ясная, умытая, немигающая.

«В небе первую звезду ранним вечером найду, загадаю на звезду: сбудься то, чего я жду».

Камилла сонно повернула голову.

— Что ты сказала?

Норма ответила не сразу. Потом тихо спросила:

— Посмотрим, как получится?

— Да, посмотрим, как получится,— отозвалась Камилла.

Где-то впереди, чуть слева, показались огоньки — слабые огоньки, мерцавшие сквозь расстояние, сиротливые и затерянные во тьме, далекие, холодные, мерцающие, связанные в цепочки.

Хуан посмотрел на них и крикнул:

— Вон впереди Сан-Хуан.

БЛАГОСТНЫЙ ЧЕТВЕРГ

Элизабет с любовью посвящаю

-

.

^

.

ПРОЛОГ

Как-то вечером вытянулся Мак вольготно на своей постели в Королевской ночлежке и говорит:

— Прочитал я «Консервный Ряд» Стейнбека: слабовато. Я бы все это описал другим манером,— тут Мак перевернулся на живот, подпер рукою голову.— Оно понятно, критиковать легко... Но кой-чего я б ему все же присоветовал...

— Ну, и чего? — спросил Уайти I.

— Да мало ли чего... Вот хотя бы взять. Он как пишет: глава первая, глава вторая, глава третья... Номера — ладно, ничего не имею против. Но хорошо бы к ним по паре слов — про что глава. Мало ли, вдруг захочется пересчитать какое-то место. Разве его по номеру отыщешь? А тут посмотрел в заголовок: ага! тебя-то мне и надо...

— А ведь верно...

— И еще, мне такие книжки нравятся, где много говорят. Сочинитель пускай лучше помалкивает. У кого какая внешность, я люблю сам угадывать. Как ты говоришь, таков ты, значит, и есть. Да что там внешность, я все ихние мысли по разговору угадаю. Хотя,— прибавил он,— без описаний тоже не обойтись. Должен я знать, что какого цвета, чем пахнет, на что похоже? Да как оно кому нравится?.. Но все же лучше, когда этого поменьше...

— Ишь ты! Критикует — как пиво дует,— подал голос Уайти II.— Талант! А еще можешь?

— Чего ж не мочь... слушайте. Всякий писатель любит показывать свое искусство. И правда, посмотришь — ловок, красиво закрутил... Слова-то какие — поют. А я так сужу: пиши свои выкрутасы, коли охота, да только с делом не путай. Ты собери их грудно в начале книжки... А там уж как я пожелаю: захочу — вообще их читать не буду, а захочу — прочитаю потом, когда ясно, чем все кончится...

— Так и стал бы его учить? — не поверил Эдди.

— Спрашиваешь,— сказал Уайти II.— Наш Мак такой учитель, берегись. Дай ему волю, он привидений учить будет, как лучше страх нагонять. А то какого-то писателя...

— А что, я могу! Кончайте, скажу, ребята, кандальный звон

да спиритизм... Все у вас по старинке... Я много чего могу...— Снова перевернулся на спину, уставился в полот над кроватью. Несколько времени молчал, потом сказал раздумчиво:

— Да... Так они и пошли бы у меня друг за дружкой...

— Кто, привидения? — спросил Эдди.

— Сам ты привидение... Главы...

1. Так они и жили...
2. Трудная жизнь Джозефа-Марии
3. Выкрутасы (1)
4. Иначе б не было игры
5. Появляется Сюзи
6. Муки творчества
7. Не верь началу, а верь концу
8. Великая крокетная война
9. Дураком родился... президентом помрешь
10. В стене, нас окружающей, есть лаз, нас вопрошающий
11. Тяжкие думы Элена
12. Цветок на почве каменистой
13. Параллельные прямые пересекаются
14. Незадачливая среда
15. Тяжко в ученье
16. Цветочки св. Мака Монтерейского
17. Окрутила!
18. В час досуга
19. Благодный четверг (1)
20. Благодный четверг (2)
21. Ай да четверг!
22. Во всеоружии
23. Ночь любви
24. Томительная пятница
25. Брехуня
26. Буря приближается
27. О славныххлопотный денек!
28. Новый Кубла Хан, или Видения во сне
29. О, горе нам!..
30. На свет появляется президент
31. Тернистой тропой величия
32. Поход за истиной
33. Судьба стучится в дверь
34. Хорошая сидячая ванна
35. В высшей степени комильфо
36. Лама савахфани?
37. Главка с булавку
38. Выкрутасы (2), или Празднество бабочек
39. И снова у нас в гостях Благодный четверг
40. Пусть будет в нашей жизни лишь весна!

1. ТАК ОНИ И ЖИЛИ...

Для Монтерея и Консервного Ряда война не прошла бесследно; воевать по-настоящему мало кому довелось, но дел всем хватило. И ран оказалось немало...

Особенно отличились консервные промыслы. По случаю войны отменили ограничения на лов. Из патриотических чувств сардин выбрали подчистую, а теперь их не воротить никаким патриотизмом. Помните, у Л. Кэрролла в «Алисе» устриц «всех съели до одной»? Сардинам повезло не больше. Старая история! В благородном порыве свели западные леса; а теперь вот сосем из калифорнийской земли воду, да так споро, что никакой ливень дела не поправит. Окажемся среди пустыни — наплачемся... Консервному Ряду уже сейчас не до смеха: сардин выловили, законсервировали и всех до одной съели. Как вымер консервный завод. Лишь похаживает между цехов одинокий сторож, да ветер гремит по серебристо-жемчужным рифленным кровлям... На улице не фырчат грузовики. Кругом тихо и пусто...

Беспокойное это было время — война... Дока призвали. На кого оставить Западную биологическую лабораторию? Упросил приглядеть за ней старого своего приятеля Брехуню... Служил Док техником-сержантом в подразделении по профилактике венерических болезней. К службе относился по-философски. Имея вволю казенного спирта, весело коротал свободное время. Подружился со всей частью, от следующего чина отбрыкивался. Война кончилась, тут бы и домой; но в награду за верную службу правительство оставило Дока в армии, доверило навести порядок в бумагах: ему, как главному виновнику беспорядка, работа была как раз по плечу. Через два года после победы Док вышел с почестями в отставку...

И вот он на крыльце своего дома. Дверь от сырости разбухла, насилию открыл. Похоже, Брехуня в лаборатории давненько не был... Всюду пыль, плесень. В раковине горя грязных кастрюль и сковородок. Инструменты — ржавые, клетки — пустые. Док опустился на старенький стул, на душе кошки заскребли. Выругал Брехуню — негромко, но с чувством. Потом поднялся, вышел на безмолвную улицу, ноги сами понесли его в лавку Ли Чонга за пивом. За прилавком стоял хорошо одетый молодой человек, по обличью мексиканец. Тут только Док вспомнил, что Ли Чонга больше нет.

— Пива,— сказал Док.— Две кварты.

— Сейчас сделаем,— сказал Патрон.

— Мак сюда заглядывает?

— А как же.

— Передайте ему, что я его жду.

— Я — это кто?

— Скажите ему, Док вернулся.

— Ладно, Док,—сказал Патрон.—Такое пиво устроит?

— Лишь бы пенилось...

Док с Маком допоздна засиделись в лаборатории. Пиво уже не казалось забористым, и на столе появилась бутылка виски «Старый Тенесси» («Старая тенисовка», как говорят в Монтерее), а Мак все отчитывался, как жили-поживали без Дока...

Кругом перемены. Одних не стало, других будто подменили — неизвестно, что хуже. С грустью называл Мак имена — и живых, и мертвых. Погиб на войне Гай: пылился в небо во время лондонской бомбежки, ну и накрыло осколком венитки. Жена горевала недолго, получила страховку — и снова замуж. А в Королевской ночлежке чтут память Гая: постель его сохраняют в неприкосновенности, никому не позволяют даже присесть на нее.

А что было с Уайти! Поступил на военный завод в Окленде и на другой день сломал ногу. Целых три месяца в госпитале пролежал, жил как король. Пухлые подушки, белоснежное белье... От нечего делать выучился играть на губной гармошке. Теперь можно всю жизнь играть да радоваться.

Да! У него теперь есть тезка — Уайти II. Вот уж парень так парень. Пошел в морскую пехоту, в Первую дивизию, и — за границу с пополнением. Воевал. Говорят даже (не он, люди говорят), будто наградили его Бронзовой звездой. Никто ее не видел, скорее всего потерял; а там кто знает... Боевой! До сих пор бесится, что командир отобрал у него банку заспиртованных в бренди ушей. Уайти мечтал поставить трофей дома на полочку над кроватью: пусть все видят, как служил родине.

Эдди все эти годы работал у Могучей Иды, в кафе «Ла Ида». Врач призывной комиссии глянул в его медицинскую карту, а там такие болезни, что Эдди, почитай, уже лет десять должен червей кормить. Как всех годных в армию позабирали, Ида его в бармены определила. Вот он обрадовался! Стал потихоньку отливать вино и виски в маленькие бочонки. Наполнит бочонок, заткнет хорошенько и зароет в укромном месте. Так что теперь Королевская ночлежка — единственная в округе Монтерей, у которой собственные винные погреба.

Где-то на середине первой бутылки «Старой теннисовки» Мак поведал Доку о кончине Доры Флад. Умерла Дора во сне; «Медвежий стяг» осиротел. Девочки затоковали. Закрылись, повесили табличку «Учет». Три дня пили горькую одни, без мужчин. Сквозь стены было слышно, как отпевали Дору на три голоса, песни все такие хорошие: «Христос-спаситель», «Покойся прах глубоко под землей», «Лазарет Сейнт-Джеймс»¹. А уж рыдали-то, рыдали — жалобнее койотов...

«Медвежий стяг» перешел к ближайшей родственнице Доры — ее старшей сестре. Она из Сан-Франциско. Заведовала ночной благотворительной миссией на Гауэрд-стрит (между прочим, дело прибыльное!). Она с самого начала была совладелицей «Медвежьего стяга» — только никто не знал. И все чудные правила и порядки шли, оказывается, от нее. Вот, например: Дора хотела назвать заведение «Одинокая звезда», в память о своих молодых днях в Форт-Уэрте, а сестра настояла: пусть будет «Медвежий стяг» — в честь штата Калифорния². Говорит, штатные

¹ Первые две — духовного содержания, третья — популярная песня Л. Армстронга (*Здесь и далее примечания переводчика*).

² Техас, где расположен город Форт-Уэрт, носит прозвище «Штат одинокой звезды»; а Калифорния, где находится Монтерей, — «медвежий штат».

шлюхи должны славить свой штат! Новую работу считает не хуже старой: что та, что другая — на благо общества. Мастерница составлять гороскопы. Завела новые порядки: «Медвежий стяг» теперь, по крайней мере в нерабочие часы, напоминает пансион благородных девиц. По-настоящему ее звать Флора, но еще в ночной миссии пристало к ней другое имя. Как-то ел у нее суп бродяга из образованных и говорит напоследок: «Знаете, Флора, по-моему, в вас больше от фауны». «Как говоришь? Фауна? А ведь ничего», — и велела всем звать себя Фауной.

Да, невеселые дела... Но о самом печальном Мак все не решался заговорить, язык не поворачивался. Может, рассказать пока об Анри Художнике?..

В том, что Анри уехал, Мак в какой-то степени винил себя. А дело было так. Анри построил лодку — отличное маленькое судно, и даже с каютой. Построил в лесу, потому что боялся океана. Лодка стояла на бетонных стапелях, и он был счастлив. И вот — чего не сделаешь от скуки — Мак с ребятами подшутили над ним. Наколупали с прибрежных камней ракушек и прилепили к днищу лодки быстросохнущим клеем. Ох и расстроился Анри! И рассказать о неприятности было некому: один Док мог бы понять и успокоить, но Док в армии. Анри выскоблил начисто днище, покрасил: не успела краска высохнуть, ребята опять за свое — на этот раз еще и водорослей налепили. Как им потом было стыдно, да поздно. Анри продал лодку и насовсем уехал из города. Его стали мучить кошмары: спит он у себя в каюте, ни о чем не подозревает, а лодка бороздит океанские волны...

Вот еще новость. Хочешь верь, хочешь нет, Элен тоже был в армии. После демобилизации солдаты могут без экзаменов поступать в университет. Элен не растерялся, поставил птичку на бланке заявления и очутился в Калифорнийском университете, на отделении астрофизики. Через три месяца приемная неразбериха улеглась, и он сразу же обратил на себя внимание. Особенно психологов. Но Элена уже потянуло домой, а удерживать человека против воли — нет закона... Элен потом не раз задавался вопросом, какую это науку он чуть было не изучил. Хотел спросить у Дока, да забыл мудреное слово...

Док разлил остаток первой бутылки «Старой тенисовки».

— Про всех ты рассказал, Мак, а про себя молчишь. Ты-то как жил?

— Я-то? Я был тут, смотрел, чтобы все было в ажуре...

Да, Мак следил, чтобы все было в ажуре, а еще обсуждал боевые действия с каждым встречным. О войне отзывался с уважением, говорил: «Война — это вам не куриная жопа». После войны заинтересовался испытаниями атомной бомбы: еще бы, вся страна взбудоражена. За открытие запасов урана назначили огромное вознаграждение; в душе Мака началась цепная реакция. Он купил подержанный счетчик Гейгера.

Счетчик зажужжал на монтерейской автобусной станции. И Мак последовал за ним сначала в Сан-Франциско, потом в Мэрисвиль, в Сакраменто, в Портленд. Он так увлекся этим ученым занятием, что поначалу не заметил симпатичную молодую попутчицу. Потом, в дороге, ликвидировал это упущение; как не раз уже с ним бывало, одним началось, да с другим переплелось. Разговорились: девушка ехала далеко — в Джексонвиль, штат Флорида. Мак расстался бы с ней в Такоме, но счетчик Гейгера влек его дальше на восток. Так вместе пропутешествовали они до Салайны, штат Канзас. Был знойный, душный день, по стеклам автобуса ползали мухи. Девушка прихлопнула муху и разбила часы, и тут только Мак обнаружил источник радиоактивности — светящийся циферблат. Дорожный роман — это, конечно, хорошо, но в возрасте Мака нужен интерес посolidнее. Обрато в Монтерей Мак прибыл на грузовой железнодорожной платформе, вместе со средним танком, следовавшим на базу в Форт-Орд. По пути выиграл несколько долларов у сопровождающего. Господи, как хорошо, снова дома... Мак выдраил Королевскую ночлежку. Вдоль фасада посадил вьюнки. И стал вместе с Эдди готовиться к встрече героев. Герои сбредались по одному, долго не утихало веселье...

Золотое облако меланхолии окутало Дока с Маком... Из паров «Старой тенисовки» выплывало бывшее, лица друзей — ушедших или переменившихся... И оба они знали, что избегают главного, рассказывают байки, чтобы не касаться больного места. Но вот уж обо всем поговорили, деваться некуда...

— Как тебе новый хозяин лавки? — отважно приступил Док.

— Ничего, занятный малый. Только, — голос Мака задрожал, — никогда не заменит он Ли Чонга! Не будет у нас второго такого друга...

— Что говорить, золотой был человек, — сказал Док.

— И в делах хват, — сказал Мак.

— Умная голова... — сказал Док.

— Обо всех заботился... — сказал Мак.

— А о нем никто... — сказал Док.

Они наперебой расхваливали Ли Чонга, наделяя его такими достоинствами, что он сам не узнал бы себя — до того вышел пригож да умен. Пока один рассказывал очередную историю из жизни почтенного китайского негодьянта, другой ерзал на стуле от нетерпения — сейчас еще не то вспомню. И вот уже Ли Чонг как бы и не человек, а эдакий ангел коварства и демон доброты. Так создаются боги... Да вот беда, бутылка незаметно опустела; Мака взяла досада — ну, теперь жди, Ли Чонгу достанется.

— Хитрый был, шельма! — заворчал Мак. — Уехал, никому ни слова. И помощи не попросил. Друг, называется...

— Может, боялся, начнете отговаривать? Мне-то написал, знал, что я далеко...

— Да, — сказал Мак. — Вот уж никогда не отгадаешь, что у китаезы на уме. Ну, скажи, Док, разве кто мог подумать, что он такой подвох готовит?

В самом деле, отъезд Ли Чонга был как гром среди ясного неба. Ли Чонг столько лет правил своей торговой империей — никому и в голову не могло прийти, что в один прекрасный день он продаст все добро и уедет. Казалось, он вечен — так долго его лавка всех кормила, поила, одевала, так прочно вошел он в жизнь Консервного Ряда... Своеволен и загадочен восточный ветер, прихотливые повороты восточного ума ему сродни. Нетрудно вообразить капитана, который мечтает у себя в каюте: сойти бы на берег, завести бакалейную лавку. Лавочнику не страшен шторм, не грозит течь. А вот чтобы лавочник мечтал о море... Да, да — щелкая на счетах, ставя на прилавок «Старую тенисовку», нарезая огромным ножом тончайшие ломтики бекона — Ли Чонг мечтал о море! Ему снились пальмы, полинезийцы... О планах своих он никому не говорил,

советов ничьих не спрашивал (кого-кого, а советчиков нашлось бы хоть отбавляй). И вот в один прекрасный день он продал лавку, купил шхуну и поплыл торговать в Южные Моря. В трюм шхуны погрузил все, что было в лавке и на складе: консервы, резиновые сапоги, головные уборы, иглы, наборы инструментов, комплекты для фейерверка, каландры; даже стеклянные витринки с золочеными запонками и зажигалками. Вот он уже стоит на капитанском мостике своей шхуны; вот шхуна отошла от причала, обогнула Сосновый мыс, миновала звуковой буй и растворилась в закате... И если не затонула где-то в пути, покачивается сейчас у какого-нибудь сказочного острова. Ли Чонг нежится в гамаке под палубным тентом, а вокруг радостно галдят прекрасные полунагие полинезийки, разглядывают заморские диковины — консервированные помидоры, полосатые шоферские кепочки...

— Но все-таки, почему он уехал? — никак не мог успокоиться Мак.

— Кто его знает... — сказал Док. — Кто знает, что у человека в душе... Кто знает, чего ему хочется...

— Не найти ему в чужих краях счастья, — вздохнул Мак, — среди чужого народа... Знаешь, что я думаю? Это все чертово кино! Помнишь, он по четвергам закрывался раньше? Это потому, что привозили новую ленту. Ни одного фильма не пропускал. Кино ему голову и заморочило! Это мы с тобой знаем, что там одно вранье... Нет, не видать ему счастья. Ну ничего, намытарится и вернется домой как миленький...

Док оглядел свою заброшенную лабораторию.

— Лучше б уж я был там, вместе с Ли... — вырвалось у него.

— И я, — сказал Мак. — Эти островитянки сведут его в могилу. Он ведь не молоденький...

— Да, Мак, — сказал Док. — По правде, нам бы надо быть там... защитить его... от самого себя... Как думаешь, не сходить ли мне еще за одной? Или лучше давай спать?

— А ты брось монетку.

— Брось-ка ты. Что-то я не уверен, что хочу спать. Если бросишь ты, по-нашему выпадет...

Мак подбросил монету и, конечно, угадал.

— Сиди, Док, я сам, я мигом...

И в самом деле, быстро вернулся.

2. ТРУДНАЯ ЖИЗНЬ ДЖОЗЕФА-МАРИИ

Мак принес еще одну бутылку «Старой тенисовки», налил Доку, себе...

— Слушай,— сказал Док,— что он за малый? Ну этот... мексиканец... новый хозяин лавки...

— Хороший малый,— сказал Мак.— Звать его Ривас, Джозеф-Мария. Одеться любит — как на картинке. А уж хитер!.. Хитер, да только все сам впросак попадает. И смех и грех с этим Джозефом...

— Да что такое, расскажи.

— Понимаешь, давно я к нему приглядываюсь. Кое-что он сам рассказал, а на остальное у нас своя голова имеется. Хитрец он, каких не сыщешь. Но хитрость ведь какая штука: заведется в человеке, глядишь, он и самого себя перехитрит. Вот и с ним то же...

— Ну-ка, расскажи толком...

— Вы с ним самые что ни на есть противоположные люди. Ты у нас хороший, ученый, всем взял. Одного у тебя нет — хитрости; душа нараспашку. За то мы тебя и бережем: простую душу обидеть грех. А Джозеф-Мария? Финтит, хитрит, где только можно, повадка у него такая. Так за одну эту повадку — не говоря уж за дело — ему всю жизнь и достается. А ведь вообще-то он неплохой человек!

— Да откуда он здесь взялся?

— Долгая история. Ладно, слушай...

Мак сказал верно. Док с Джозефом-Марией были полная противоположность; но противоположность зыбкая — так колеблются чашки весов. Док — человек на редкость добропорядочный. Предоставь его себе, будет неукоснительно следовать букве закона, даже самого пустяшного дорожного знака не нарушит. Не по своей воле ввязывался он порой в сомнительные дела: друзья впутывали. Могучая Ида, для которой закона о продаже спиртных напитков как бы и не было; обитательницы «Медвежьего стяга» — их занятие хоть и пользовалось благосклонностью населения, у Закона восторга не вызывало; и, конечно, Мак с ребятами, которые с незапамятных времен мирно жили под сенью закона о бродяжничестве, сумев обернуть его себе на пользу. Все они притча во языцах Монтерея, — воришки, мелкие жулики, тунеядцы — вечно что-нибудь

умышляют против добрых граждан; ничем их не исправишь, остается ими гордиться! Однако Мак и его товарищи по сравнению с Джозефом-Марией невинные ягнята.

Чем бы Джозеф-Мария в жизни ни занимался, он всегда был не в ладах с Законом. Так повелось с детства. С молодых ногтей он был решительным противником частной собственности на отчуждаемое имущество. Мальчишкой он был главарем банды в родном Лос-Анджелесе. В возрасте восьми лет шастал по бильярдным: завидев его, завсегдатаи, морские офицеры, хватались за карманы и скорей гнали его вон. Когда в мексиканском районе Лос-Анджелеса начались драки между местными бандами, Джозеф-Мария стал видной фигурой. Он открыл передвижную оружейную лавку, где всегда имелись пугачи, ножики с выкидным лезвием, кастеты, а для самых бедных покупателей — носки, туго набитые песком, — дешевое, но безотказное оружие. В двенадцать лет он попал в школу для трудновоспитуемых, а через два года окончил ее с отличием, приобретя заодно кучу воровских профессий. Милый четырнадцатилетний мальчик с чистыми голубыми глазами и ангельским голосом... Никакой сейф не смог бы устоять перед ним; даже такой невинный инструмент, как стетоскоп, в его руках превращался в отмычку. А как он лазил! Ему ничего не стоило по стене забраться на второй этаж, как будто на руках и ногах были присоски. Много чего он умел, воров, однако ж, не стал — больно велик риск. Малый он был с головой. Уж если чистить, думал он, так собственного партнера. Еще хорошо, наверное, шантажировать, создавать дутые акционерные общества, тайком от властей поднимать со дна затонувшие испанские сокровища. Впрочем, и здесь у него до дела не доходило — полиции так никогда и не удалось завести на него досье. Он не желал биться в открытую с Законом: мечтал о совершенно особенном поприще, где бы его преступные склонности удовлетворялись безопасным образом. Но только он задумался о настоящем призвании, как забродили в нем юные мужские соки, и на несколько лет его мысли и поступки приобрели иное направление; в эти годы он не подымался выше мелких афер. Когда же глаза его опять начали ясно видеть — тут бы и приняться за дело! — его взяли и зацапали в армию. Там берегли от дурных поступков как могли. Увелили, правда, без наград, без почестей, но

это был тот редкий случай, когда надо радоваться, что тебя не оценили по заслугам.

Снова оказавшись хозяином самому себе, Джозеф-Мария совсем было вышел на свою дорогу, но снова сбился с пути. Попал под влияние отца Мэрфи, хитрого молодого священника, который заманил его в лоно матери-церкви (ведь он был ей законный сын). Джозеф-Мария полюбил исповедь, отпущение грехов и скромно надеялся, подобно Франсуа Вийону, что под прикрытием сутаны его таланты не пропадут. Отец Мэрфи учил, что нужно трудиться честно в поте лица своего. Джозефа-Марию это откровение потрясло; оправившись от потрясения, он решил, что, пожалуй, стоит попробовать. (Вообще не такой уж он был пропащий тип; по крайней мере, в отличие от Вийона сумел удержаться от кражи церковного имущества.) С помощью пастыря, который имел влияние в муниципалитете, Джозеф-Мария получил почтенное место. Теперь состоял он у города на службе, зарплату получал по чеку в городском банке — и не боялся оставлять там отпечатки пальцев.

Есть в Лос-Анджелесе замечательная площадь, называется она на мексиканский лад — Пласа. На ней садики, пальмы в кадках и множество цветов. Пласа — местная достопримечательность, гордость города; тут всегда толкуются туристы: еще бы, такой мексиканской экзотики не найдешь и в самой Мексике... И вот Джозефа-Марию приставили ухаживать за растениями на площади. Работа приятная, необременительная; разгуливая по Пласе, он к тому же потихоньку поторговывал порнографическими открытками. Конечно, на этом не разбогатеешь, зато живешь честно (или почти честно) — честности Джозеф-Мария предавался так, как иные предаются пороку...

Примерно в ту пору Главное полицейское управление Лос-Анджелеса было не на шутку встревожено. Город внезапно наводнился марихуаной: ее предлагали в каждой подворотне по невиданно низкой цене. Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками совершали рейд за рейдом, но никак не могли выйти на источник. Обнюхали все городские пустыри — от Сан-Педро до Игл-Рока, — ни листика марихуаны; тогда нанесли на миллиметровку ближние и дальние окрестности. Круг поисков неуклонно расширялся, скоро ими была охвачена огромная территория между Санта-

Барбарой на севере, рекой Колорадо на востоке и мексиканской границей на юге. Границу перекрыли, оставалась западная сторона, но там был океан, а марихуана не морская капуста, чтобы расти в океане. В помощь привлекли полицию штата, местные власти, однако все напрасно. Приток марихуаны не уменьшался, обнаружилось, что мелкие толкачи сами не знают, откуда товар.

Продолжалось так полгода, и неизвестно, сколько бы еще, если бы не тринадцатилетняя школьница Милдред Бьюгл — лучший ботаник у себя в классе. Гуляя как-то в воскресенье по площади, она сорвала несколько интересных остроконечных листиков и уверенно определила *Canabis Americana*.

Да, в трудное положение попал Джозеф-Мария. Но полицейскому управлению было не легче. К суду садовника привлекать нельзя, иначе журналисты прознают, что наркотик выращивался на Пласе, у полиции под носом, что выращивал его служитель муниципалитета, что поливался он самой чистой водой, а удобрялся самым лучшим навозом, — и все за счет города!

Единогласно решили изгнать преступника, что и было незамедлительно сделано. Полицейские купили Джозефу-Марии автобусный билет до самого Сен-Луис-Обиспо и напутствовали в таких свирепых выражениях, что по спине у того побежали мурашки.

Док хмыкнул:

— Слушай, Мак, по-твоему выходит, он честный мошенник?..

— По-моему, все люди честные — каждый на свой лад, — отвечал Мак. — Ты вот лучше послушай, что он у нас здесь выдумал!

— Ну?

— Знаешь, небось, сколько у нас ошивается «мокрых спин»¹. Вот он и решил прибрать их к рукам: золотая жила! Расчет у него был верный. Сам посуди, во-первых... — Мак приготовился загибать пальцы, а потому как следует хлебнул из стаканчика, — во-первых, сам он хорошо знает их язык, ведь у него родители мексиканцы.

¹ «М о к р ы м и с п и н а м и» называют мексиканцев, тайно пересекающих границу — реку Рио-Гранде — и ставших таким образом нелегальными жителями США.

Во-вторых, «мокрые спины» бедствуют,— за гроши согласны надрываться. В-третьих, они по-нашему не говорят, порядков здешних не ведают, фараона от мусорной корзинки не отличат. Значит, им позарез нужен человек вроде Джозефа-Марии: рядить их на работу, получать за них деньги. А вздумает какой брыкаться, Джозеф шепнет на ушко чиновнику: у того, мол, мексиканца нет паспорта. Его, голубчика, цап-царап — и отправят обратно в Мексику... В общем, радовался Джозеф: наконец-то стоящее дело нашел. Всего заботы: набрал бригады две-три, они трудятся, а ты отдыхай. А лавку, думаешь, зачем купил? Пристроил сзади закуток для бедолаг: живите, работайте на меня и мои товары покупайте... И нигде, между прочим, не сказано, что это дело противозаконное... Но и тут все пошло не в ту сторону...

— Что же на этот раз помешало? — спросил Док.

— Музыка. Музыка помешала...

В самом деле, Джозеф-Мария рассчитал все до тонкости, вычислил средний расход и средний доход. План был беспроектный. И все же случай распорядился по-иному. На то он и случай: когда все шансы против — принесет удачу, а когда шансы за — возьмет да испортит игру...

В обширном районе, прилегавшем к мексиканской границе, бродили буквально миллионы «мокрых спин» — темных, безответных, трудолюбивых парней, готовых всю жизнь безропотно вкалывать на полях. И надо же было такому случиться, что именно среди джозефовых работяг попало два музыкальных дарования — певец-тенор и гитарист! Вскоре, к ужасу Джозефа-Марии, на глазах у него вырос целый оркестр: две гитары, контрабас, барабан, маракасы; были и певцы: тенор и два баритона. Джозеф-Мария совсем было собрался отправить артистов на долгие гастроли в Мексику, но тут как на грех к ним прибился его племянник Какахуэте со своей сладостной трубой.

Поля с морковью и цветной капустой были заброшены: теперь «мокрые спины» трудились на танцплощадках калифорнийских городков. Оркестр так и назывался — «Эспалдас мохадос», «Мокрые спины». Они выступали в облегающих костюмах наездников, в гигантских сомбреро, исполняли популярные песни: «Приди ко мне, печальное сердечко...», «Любовь моя из Сен-Луиса», «Раз заплакало белое облако...». Играли на танцах в клубе пожарных

в Спрекеле, в масонской ложе Соледада, в Лосином парке, что в Кинг-сити, в гринфилдском гараже, в муниципальном зале Сан-Ардо. И хозяин перестал им препятствовать, даже доставал им ангажемент. Дело процветало, Джозеф-Мария набирал все новых и новых «мокрых спин», теперь уже с музыкальными способностями. Вступив в шоу-бизнес, Джозеф-Мария быстро постиг его продувную сущность и обрадовался: как всегда, на верном пути!

— Так что видишь,— сказал Мак,— какая она нынче, музыка. Да что там музыка, все нынче какое-то чудное. Возьми хоть Фауну с «Медвежьим стягом». Это же стал не бордель, а бог знает что! Девчонок она учит политесу, сама гадает по звездам. Где такое видано?.. Все, все у нас переменялось!..

Док оглядел свою заплесневелую лабораторию, поежился:

— Я, наверное, тоже переменялся...

— Но-но, это ты брось! На тебя вся надежда. Если ты станешь другим, всех своих друзей подведешь. Мы тебя так ждали! Думали, вернешься — все у нас наладится, пойдет по-старому...

— Знаешь, что-то у меня на душе смутно...

— Не беда! — сказал Мак.— Попробуй, как в старые времена. Пригласи к себе красивую девушку, заведи на проигрывателе церковную музыку. А потом я к тебе в гости зайду, поклянчу пару долларов... Ну попробуй! Друзья просят!

— Я, конечно, попробую,— сказал Док,— но что-то мало я в это верю. Боюсь, я все-таки изменился...

3. ВЫКРУТАСЫ (1)

Оглядываясь назад, можно попытаться установить, когда именно родилась новая эпоха. И окажется, было это в самый обычный, ничем не примечательный день из долгой их вереницы...

...Все было в ту зиму и весну — и чудеса, и знамения,— но лишь спустя время открылся людям их истинный смысл. Снег сполз вниз по склонам горы Торо: с одной стороны до самого Соснового каньона, с другой — до Джеймсберга. В Кармел-Валли родился теленок о ше-

сти ногах. Над Монтереем проплыло облако в виде вензеля ОН. В подвале методистской церкви сквозь бетонный пол пророс гриб. Мистера Ролетти в возрасте девяности трех лет поразил сатириаз: старец начал приставать к школьницам, пришлось применить к нему меры физического воздействия. Весна выдалась холодная, дожди заповдали. Несметный флот сифонофор заполонил монтерейскую бухту, вода стала фиолетовой; мириады их гибли, вынесенные волнами на прибрежный песок. Касатка напала на морских львов у Тюленьих скал и вырезала полстада. Доктор Уик вынул из почки миссис Гастон камень с кулак размером, в виде головы гончей. Клуб «Львы» учредил премию в пятьдесят долларов за лучший очерк на тему «Как футбол выковывает характер». И, наконец, еще одно событие, последнее по времени, но не по значению, — роза Шермана вдруг выбросила гвоздичный бутон... Разумеется, поначалу на все это не обратили внимания; и совершенно напрасно.

Монтерей за войну сильно изменился. Изменился и Консервный Ряд с его обитателями. «Жизнь новое поет, — изрек Мак, — идет к нам что-то новое. А вот что, одному богу известно...»

Док тоже начал меняться — вопреки отчаянным мольбам друзей, вопреки собственному желанию — и ничего не мог с собой поделать. Хотя что тут странного? Человеку свойственно меняться. Перемена вкрадчива, еле ощутима — словно ветерок, трогающий на рассвете оконную занавеску, словно аромат робких полевых цветов, спрятавшихся в траве... Без всякой простуды вас вдруг зазнобит; ни с того ни с сего почувствуете вы смутное отвращение к тому, что еще вчера было мило; знайте, это признаки происходящей в вас перемены. Или еще: нападет вдруг на вас непонятный голод, который не уймешь самой сытной едой. Недаром говорят, что чрезмерный аппетит — верный знак неудовлетворенности. А кто, как не она, порождает перемены?

До войны Док жил привольно и весело, возбуждая зависть угрюмых зануд, не способных радоваться жизни. Он добывал морских животных, делал чучела и препараты для школ, колледжей и музеев. Работал в свое удовольствие: на жизнь хватало, а к богатству он не стремился. Док благоволил всему вокруг. Мир для него был полон чудес. Любовь к волшебству моря соединял он с любовью к музы-

ке, этому замечательному созданию человеческого духа. У Дока был отличный проигрыватель: Док внимал ангельским голосам Сикстинской капеллы, предавался прихотливым мыслям под звуки изысканных месс Уильяма Бэрда. Выше всех человеческих творений он ставил «Фауста» Гете и «Искусство фуги» И.-С. Баха. Друзья его обожали и, обожая, обирали. Но Док не печалился, с наивным самодовольством вспоминал слова легендарного Бриллиантового Джима¹: «Вы говорите, друзья меня обирают? Вообще-то это приятно — лишь бы было по карману». Сам Док не очень-то берег свой карман, а уж ловчить и вовсе не умел — не хватало эгоизма.

Док любил женщин и желал их. О том, чтобы его любовь не оставалась безответной, всегда заботились сами женщины. Быть неизменно добрым, щедрым и веселым — вот к чему сводились его обязанности, — и, сказать по правде, они его мало тяготили. Док жил полнокровно и всем был доволен. Не зря многие ему завидовали, вздыхали с тоской: вот бы нам так, — редкому человеку, особенно мужчине, удастся угодить самому себе, редкий человек любит свою работу и свое житье. Любовь Дока к себе не была самоподхалимажем: просто он любил людей, и для себя не делал исключения. Он жил в ладу с собой, а значит, и с остальным миром.

В армии он часто рвался душой домой, в лабораторию, к животным и к проигрывателю, к тихому труду. Когда он наконец вернулся, открыл разбухшую от сырости дверь и ступил через порог, сердцу стало сладко и больно. Со вздохом смотрел он на запыленные книжные полки. Долго выбирал, какую из любимых пластинок послушать в честь возвращения... Но вот отзвучала музыка, уплыло прошлое. Надо было думать о будущем. Брехуня, который был еще менее предприимчив, чем Док, за короткое время развалил все дело и бросил лабораторию на произвол судьбы. Запасы изготовленных до войны препаратов истощились. Сроки договоров с заказчиками истекли. Банк, который держит закладную на помещение, не станет больше мириться из патриотизма с просрочкой платежа — война-то кончи-

¹ Крупный американский предприниматель Джеймс Бьюканан Брейди был прозван Бриллиантовым Джимом за то, что владел уникальной коллекцией бриллиантов; его страсть к роскоши, кутежи и сказочная щедрость стали легендой.

лась. Док сам не знал, сумеет ли поправить пошатнувшиеся дела. В старые добрые времена он не стал бы долго раздумывать, сразу бы окунулся в работу и развлечения. Но теперь в душу к нему проник «беспокой» и то и дело потихоньку хватал за сердце.

Что это такое, «беспокой»? Одеты вы тепло, а дрожите. Едите вдоволь, а голод все равно не отпускает. Вас любят здесь, а душа ваша странствует где-то там. Но больше всего мучает то, что время, проклятое, подлое Время, не бесконечно. До конца жизни уже не вечность, вы ясно различаете его вдали, как бегун на финишной прямой различает ленточку. И внутренний голос спрашивает: «Достаточно ли я работал? Достаточно ли ел? Достаточно ли любил?» В вопросах этих извечное проклятие человека, но именно с них начинается все истинно великое. «Для чего я жил? Как прожить тот срок, что мне еще отпущен?» И напоследок, как жало, впивается злополучное: «Каков мой вклад в Великую копилку человечества? Чего я стою?» И дело тут не в тщеславии, не в амбициях. Просто похоже, что все мы, люди, — должники. Мы только родились, а долг уже висит на нас; и как потом ни бейся, его не выплатить сполна. Он растет с человеком наперегонки — долг перед человечеством. Сознание неотданного долга отравляет существование, а попробуешь отдавать — долг становится еще больше. И все же, человек, сколько ты сумел отдать — такова тебе и цена!

Раньше Док пребывал в счастливой уверенности, что долг его выплачивается исправно. Финишная ленточка не вызывала тягостных раздумий: все мы когда-нибудь умрем, главное — прожить жизнь как можно полнее. Всякий день у Дока завершался ночью, всякая мысль — выводом; всякое утро с востока, из-за гор, выкатывалось щедрое солнце — и мир начинал сиять в его лучах, радостный и свободный. Доку и в голову не приходило, что может быть по-иному. Люди совершали паломничества к нему в лабораторию — отдохнуть душой в обществе человека, который, не имея никакой цели, умеет жить так цельно. И то сказать, зачем к чему-то стремиться? Разве можно совершить что-нибудь, чего до тебя не делали тысячу раз? Разве можно изречь хоть что-нибудь, чего нет у Лао Цзы,

в «Бхагавадгите»¹, или у пророка Исайи? Гораздо важнее принимать все сущее, восхищаться этим миром, в котором красота испокон веков живет лишь вместе с тенью своей, уродством: убери эту тень — и непонятно, что такое красота. Потому-то Док и жил на зависть многим, что сумел постичь эту мудрость!

Но теперь «беспокой» точил ему душу. Может, виною был возраст, как-никак полжизни минуло. Не так активно работают железы внутренней секреции, стареет кожа, притупляется вкус, слабеют зрение и слух. А может, все дело в непривычном запустении Консервного Ряда: стоит завод, ржавеют под открытым небом груды консервной жести?.. Как бы то ни было, Дока не покидало странное чувство поражения. Поскольку Док был материалист, он первым делом проверил зрение и сделал рентген зубов — оказалось, все в порядке. Затем сходил на обследование к доктору Горацію Дормоди: никакой скрытой инфекции, которая могла бы причинять дурное самочувствие, доктор не обнаружил... Тогда Док отчаянно набросился на работу, надеясь заглушить тревогу усталостью. Трудился без отдыха: добывал морских тварей, препарировал, заспиртовывал — вот уже все полки, как встарь, заставлены коробками и стеклянными банками... Новые поколения белых крыс осуждены грызть железные прутья клеток, четыре новые гремучие змеи зажили в сытой неволе...

Но «беспокой» не оставлял Дока. Тревога схватывала душу, сердце стучало с запинкой. Не веселило самое пьяное виски; не доставлял прежнего удовольствия и первый, огромный, ледяной глоток пива из запотевшего стакана. К середине долгого разговора Док уставал, даже друзьям разучился радоваться...

Начнет Док, бывало, переворачивать большой камень в бухте Большого прилива — под таким камнем наверняка богатая добыча, — качнет этот камень раз-другой, а потом вдруг отпустит; выпрямится и, уперши руки в бока, засмотрится в даль, где над водою громоздятся белые облака с черной и розовой каймой. И думает: о чем я думаю? чего хочу? куда стремлюсь? И видит себя словно со стороны, словно сквозь стеклянный колпак — и сам себе чуден, не-

¹ Лао Цзы — древнекитайский философ, основоположник даосизма; «Бхагавадгита» — древнеиндийский памятник религиозно-философской мысли.

знаком. И слышит в себе звуки, а может, созвучия, как будто играет вдали оркестр.

Или вот как еще бывало. Засидится Док допоздна над старым разболтанным микроскопом: распинаят планктон на предметном стеклышке, тихонько орудует стеклянной палочкой. И слышит внутри себя три одновременно поющих голоса. Верхний голос — голос разума — поет: «Вот чудесные крохотные частички, не растения, не животные, но странным образом и то и другое. Они вместилище жизни. Ими питаются другие организмы. Если б они погибли, кто знает, может, погибла бы жизнь?» Средний голос — голос души — поет так: «Что ты ищешь, жалкий челове-чишко? Не самого ли себя ты потерял? Копаешься в мелочах, чтобы не думать о большом». А третий голос, нижний, поет откуда-то из самого нутра: «Одинок ты! Одинок! Разве это годится? Есть ли хоть кому от такого житья польза? Оттого и мудрствуешь, что боишься чувств. Хочешь спрятаться от одиночества — не спрячешься. Оно везде с тобой».

Тогда бросал Док начатую работу, шел проветриться к маяку; смотрел, как бьет в горизонт ослепительный луч. Здесь, у моря, мысль его, конечно, опять возвращалась к планктону: «А ведь это белковый продукт. Вот бы мне придумать, как людям употреблять его в пищу. Никто бы на свете больше не голодал». А нижний голос в это время принимался петь свое: «Одинок ты! Одинок! Пытаешься откупиться от одиночества».

Док думал, что другим нет дела до его «беспокоя». Но это было не так. Весь Консервный Ряд наблюдал за Доком и переживал за него. Больше всех волновались Макс с ребятами. Макс сказал Фауне:

— Смотрю я на Дока и думаю: может, ему женщины не хватает?

— Что ж, мое заведение — к его услугам, — сказала Фауна.

— Нет, я о другом толкую. Надо такую женщину, чтоб все время с ним жила. И пусть бы у них почаще находила коса на камень. Тут не до уныния — знай себя обороняй.

Фауна смотрела на брак благосклонно, видя в нем не только общественную пользу, но и личную для себя выгоду: лучшие ее клиенты были люди семейные.

— Ладно, давай его женим, — сказала Фауна.

— Нет, это уж слишком! — испугался Мак. — Мне его жалко...

Док прибегнул к испытанному средству от хандры; долгий неспешный путь в Ла-Джоллу — 400 миль к югу — должен был его исцелить. Док путешествовал, как в лучшие времена, с ящиком пива и семнадцатилетней спутницей. Девушка увлекалась зоологией беспозвоночных, но Док не очень-то верил в искренность этого увлечения (и оказался прав).

Поездка получилась удачная: стояла тихая теплая погода, море далеко отступило во время отлива. В межприливной зоне, под валунами, оплетенными гирляндами водорослей, Дока ждала удивительная добыча: двадцать восемь детенышей осьминога с совсем еще маленькими щупальцами! Если бы удалось сохранить их живыми — вот была бы удача! Бережно он переложил их, одного за другим, в специальное деревянное ведро, заботливо укрыл водорослями. В душе росло волнение...

Спутница его, напротив, начала испытывать некоторое разочарование. Восторг Дока означал, что Док, в отличие от нее, влюблен в зоологию. А какой девушке понравится, что ее предпочли, и главное, кому — осьминогу! Обратный путь — те же 400 миль — состоял из коротких стремительных рывков. Через каждые несколько миль Док останавливал автомобиль и смачивал мешковину, которой было укрыто заветное ведро.

— Осьминоги плохо переносят жару, — объяснял он.

Он не читал девушке стихов. Не спрашивал, о чем она думает, что чувствует, не говорил комплиментов. Зато поведал ей много нового об осьминогах (как порадовал бы ее этот рассказ раньше!).

— Замечательные животные, — говорил Док. — Нежные, загадочные, застенчивые...

— Гадкие твари, — сказала девушка.

— Что ты, ничуть, — живо отозвался Док, — хотя я понимаю, почему ты так говоришь. Осьминоги во все времена и отталкивали, и завораживали человека. Глаза их кажутся жестокими и таинственными. Сколько возникло об осьминогах легенд! Ты, конечно, знаешь скандинавский миф о кракене, морском чудовище?

— Да, наизусть, — ответила девушка с иронией.

— Вообще-то, — продолжал Док взволнованно, —

осьминоги очень робкие животные. А как еще много в них загадочного! Вот посажу их в аквариум, рассмотрю хорошенько. Хотя и нельзя их сравнивать с людьми, некоторые их черты определенно напоминают человеческие. На первый взгляд они существа тихие и безобидные, все время прячутся. Но однажды я своими глазами видел, как один из них совершил преднамеренное убийство своего сородича. У меня такое впечатление, что они способны испытывать страх и ярость. Если их разъярить, они меняют цвет — похоже на то, как люди багровеют от гнева...

— Очень интересно,— сказала девушка и подоткнула под себя юбку — обозначились круглые коленки.

— Иногда они так разъяряются,— продолжал тем временем Док,— что не выдерживают и умирают. Внешне это очень напоминает смерть человека от апоплексического удара. Удивительно эмоциональные создания! Я думаю написать о них монографию.

— Может, заодно выясните, отчего у человека бывает удар? — спросила девушка. Док не расслышал в ее голосе иронии, потому что воспринял все совершенно серьезно.

Нет нужды называть имя девушки. Она больше не появлялась в Западной биологической лаборатории. Ее вспыхнувший было интерес к науке задуло первым же порывом ветра, зато в Доке пламя забушевало вовсю.

Научное озарение подобно вспышке. Оно оставляет в душе сумятицу — волнение, восторг, испуг. Примеров такого озарения множество. Все знают о ньютоновом яблоке. Если говорить о Чарльзе Дарвине, то, по его собственным словам, главная идея «Происхождения видов» явилась ему в одно мгновение, а остаток жизни он употребил на то, чтобы доказать ее фактами. Теория относительности родилась в голове Эйнштейна в какую-то долю секунды... Накопление мысли завершается поразительным качественным скачком. Это величайшая загадка человеческого ума! В один миг все встает на свои места, неувязки увязываются, диссонансы превращаются в гармонию, бессмыслица дорастает до смысла... Но путь к озарению неблизок, и ученый изведает на нем горечь неудач.

Сказав «до свидания», девушка покинула лабораторию; а Док и не заметил ее ухода (как не замечал ее присутствия)...

С великим тщанием Док выскоблил большой аквари-

ум, выстлал дно морским песком, положил камни, обросшие губками, анемонами и гидроидами, посадил морские водоросли, запустил крабиков, угрей, прибрежных окуньков. Наносил ведрами целый бак морской воды и наладил насос — качать воду в аквариум и обратно. Док призывал на помощь все свои знания о взаимоотношениях растений и животных, о фильтрации, кислородном режиме, освещенности и температуре, о питании морских животных в условиях аквариума. В четырех стеклянных стенах он создал мир, где все служило благополучию осьминогов, а возможные недруги и опасности были устранены.

Восемь осьминогов погибли в дороге, оставшиеся двадцать скользнули на дно своего нового жилища и затаились среди камней, наливаясь гневом и трепеща. Док придвинул табуретку поближе и стал вглядываться в сотворенный им мир. Набегали мысли, зеленые и прохладные; проплывали стайками цифры. Вот оно, желанное душевное равновесие... Бесцветные глаза осьминогов спокойно взирали на Дока...

В последующие дни все заметили, что Док ведет себя как-то странно. Поэтому Мак не сразу пошел к Доку за очередными двумя долларами, а испробовал прежде другие источники. Однако никто не раскошелился, и тогда Мак опасливо постучался в Западную биологическую.

Последовавшая за сим ария Мака была, вероятно, вершиной его вымогательского искусства. Началась она с долгого, ненавязчивого вступления, — лишь к концу его стал прощупываться лейтмотив. Исполдволь в мелодию вплетались чувствительные нотки; вот уже слышалась тема печальной необходимости. Драма нарастала. Мак умело управлял голосом, добиваясь проникновенности; голос пока что не дрожал, но уже прорывалась затаенная страсть. Слушая себя, Мак приходил в восторг: сам бы не устоял перед таким исполнением! Но почему же тогда Док не отрывает глаз от тускло освещенного аквариума? Он, правда, поздоровался, когда Мак вошел, но затем не молвил ни слова. Что делать? Сам немного пугаясь своей смелости, Мак перешел на *глас ангельский*, потом на *глас скорбный* и, наконец, вознес *хвалу дающему!* Вышло так чувствительно, что у самого слезы навернулись на глаза.

А Док даже головы не повернул.

Мак стоял как оплеванный. Это ужасно — выложиться

до конца и не встретить отклика. Что теперь делать? Мак громко позвал:

— Док!

— А-а, Мак. Привет.

— Ты что, занемог?

— Да, то есть нет. Тебе что, денег? Сколько?

— Два доллара.

Даже не взглянув на Мака, Док полез в карман за бумажником. Выходит, Мак играл вхолостую! Можно было попросить прямо с порога! Мака охватил гнев, он даже подумал, не отказаться ли гордо от денег, но, как всегда, его выручил здравый смысл. Так он и стоял, мня в руке долларовые бумажки.

— Что с тобой, Док? — спросил он наконец.

Док медленно повернулся на стуле.

— Вот ведь задача, — сказал он. — Какой им нужен свет? Освещение — это всегда проблема, а здесь особенно...

— Какое освещение?

— Мы с самого начала сталкиваемся с двумя очевидными проблемами, — продолжал рассуждать Док. — Во-первых, они плохо переносят жару; во-вторых, они в известной мере подвержены светобоязни. Ума не приложу, как осветить аквариум, чтобы вода не нагревалась. И смогут ли они приспособиться к постоянному свету, пропадет ли у них светобоязнь?

— Конечно, — смятенно сказал Мак.

— Э-э, не торопись, — сказал Док. — Ведь самый процесс акклиматизации, пусть он их не убил, мог все же изменить их нормальные реакции. Вообще-то реакции животных, близкие к эмоциям, квалифицировать трудно... И вот встает вопрос, могу ли я, поместив их в аномальные условия, ожидать нормальных реакций?

Мак замотал головой.

— С помощью вскрытия не проникнешь в механизм эмоций, — продолжал Док. — Если бы какие-нибудь другие разумные существа нашли тело человека и вскрыли, они бы ничего не узнали о наших чувствах и мыслях... Так вот, сдается мне, что ярость осьминогов, или состояние, напоминающее ее внешне, — это аномалия. Допустим, я наблюдаю ее в условиях аквариума. Но происходит ли нечто подобное на морском дне? Вдруг данный феномен

ограничен условиями аквариума? Нет, нельзя из этого исходить, иначе вся моя теория рухнет!

— Док! — вскричал Мак. — Посмотри на меня! Это же я, Мак!

— А-а, Мак. Привет. Я забыл, сколько тебе надо?

— Да ты мне уже дал! — сказал Мак — и тут же понял, что сглупил.

— Вопрос упирается в оборудование, — сказал Док. — Мое — никуда не годится. Вот ведь чертовщина!

— Док, может, нам взять бутылочку «Старой теннисовки»?

— Пожалуй... — сказал Док.

— Да ты не волнуйся, я ставлю, — сказал Мак. — У меня как раз два беспризорных доллара.

— Чертовы деньги! Где нам с тобой раздобыть денег, Мак?

— Я ж говорю: я ставлю!

— Первым делом мне нужен современный бинокулярный микроскоп. И еще — хорошая подсветка для аквариума. Какой же им дать свет? Может, пустить направленный луч из другого угла комнаты? Может, за это время изобрели какую-нибудь новую подсветку? Придется заняться этим вплотную.

— Пойдем, Док...

Сначала Док купил одну бутылку «Старой теннисовки», потом послал Мака еще за одной. Друзья сидели рядышком, поставив локти на тумбу, и смотрели в аквариум. Виски становилось все меньше, поэтому Мак наливал совсем помалу, разбавлял водой.

— У меня есть дядя, — сказал Мак. — У него глаза — точь-в-точь как у них. Зато денег — куры не клюют. Интересно, отчего у богачей такой взгляд — студеный, неприветливый?

— Для самозащиты! — объяснил Док. — Чтобы родственники не слопали.

— Слушай, Док, — выпалил вдруг Мак. — Мы все переживаем. Тебя совсем не узнать. Нет в тебе прежнего веселья, ходишь как потерянный.

— Наверное, у меня переориентация...

— Тебе, конечно, виднее, — сказал Мак, — только есть мнение, что тебе нужна баба для встряски. Я знаю одного парня, он с женой не живет. Как станет ему белый свет

не мил, возвращается домой. А на другой день уже думает: господи, как же было без жены хорошо. И уходит из дома в хорошем настроении.

— Классический случай шокотерапии,— сказал Док.— Не волнуйся, Мак. У меня все в порядке. И не надо мне никакой жены! Ишь чего выдумали! Мужчине нужна не жена, а цель в жизни. Вот чего мне не хватает. Без цели можно всю жизнь проходить кругами и никуда не прийти!

— Вот! Таким ты мне нравишься! — сказал Мак.

— Знаешь, как я назову свою монографию? «Состояния некоторых цефалопод, сходные с апоплексией».

— ??!!

4. ИНАЧЕ Б НЕ БЫЛО ИГРЫ

Когда Джозеф-Мари узнал Дока поближе, Док ему полюбился. Любовь рождается от тайны — такой тайной была честность Дока. Джозеф-Мария силился ее постичь: ведь должен в ней быть хоть какой-то умысел!

Зашел он как-то к Доку в гости и увидел шахматную доску. Поинтересовался, что такое. Игра. Научи. (По части игр Джозеф-Мария был мастак.) Он без труда усвоил, как фигуры ходят, как едят, кто главнее. Сели играть. Вскоре Док отлучился: зазвонил телефон.

— Э-э, так не годится,— сказал Док, вернувшись.— Ты сдвинул фигуры. Мою пешку, своего ферзя и еще коня...

— Почему знаешь?

— Что ж тут не знать? Шахматы, может, единственная в мире игра, где не сжульничаешь.

На лице Джозефа-Марии выразилось изумление:

— Как это?

— А вот так. Иначе б не было игры.

Слова эти Джозеф-Мария запомнил, и дома весь вечер раздумывал: может ли такое быть? Кончилось тем, что он снова пришел к Доку: объясни, пожалуйста; говоришь хорошо — а понять не могу.

— Все дело в том,— объяснял Док терпеливо,— что это игра умственная и оба игрока знают одинаково, поровну. Вот и все.

— Не понимаю...

— Ну смотри, нельзя же сжульничать в математике, в поэзии, в музыке. Они основаны на ис-ти-не! Какая

ж тут может быть ложь? Какое надувательство? А шахматы — та же арифметика...

Но Джозеф-Мария только качал головой:

— Не понимаю...

Он был потрясен и заворожен. В неуязвимости доковых слов ему чудилось какое-то новое, неслыханное сверхмошенство! «А что если,— зашевелилась мысль,— взять да скрестить честность с обманом? Тогда такие дела можно делать, и никто не подкопается!.. Знать бы только, как это обстряпать...» Ум отказывался воспринимать эту дикую мысль, но она навязчиво лезла в голову. Глаза у Джозефа-Марии сузились, как у кота. «Он-то, поди, знает. Ну, Док, ну, хитрец!..»

5. ПОЯВЛЯЕТСЯ СЮЗИ

Констебля маленького городка изображают обыкновенно этаким незадачливым малым. Какую книжку ни раскрой, у него роль одна — вахлак! И людям нравится в это верить,— что с того, что в жизни бывает по-другому. На то она и вера — верить в то, чего на самом деле нет...

Констебль, если прослужил в городке не год, не два, знает всю его подноготную. Знает о тонком политическом равновесии между мэром и членами городского совета, между пожарниками и страховыми компаниями. Знает, по какому поводу миссис Гелтхем устраивает застолье и кого позовет в гости. Когда Мейбл Эндрьюс в очередной раз кричит в трубку, что к ней ломится грабитель, констебль точно знает, крыса ли это в гостиной, настоящий грабитель или мадам просто померещилось. Знает он, что у мистера Гелтхема любовь со школьной учительницей и как часто они встречаются. Знает, кто из старшеклассников перешел с джина на марихуану. Самая легкая зыбь на поверхности городской жизни не ускользнет от его внимания! Если совершено преступление, то он сразу скажет, кто в нем не замешан, а иногда с ходу назовет преступника. Неусыпный констебль отвращает от города множество неприятных происшествий. Поговорит с кем надо в темной аллее, сделает внушение по телефону; иногда довольно его тени в свете уличного фонаря... Снимая с дерева чью-то орущую кошку, констебль знает, кто ее хозяйка. А когда родители подтолкнут к нему зареванного малыша и тот

разожмет ладошку, а в ладошке вещица, стянутая у галантерейщика с прилавка,— он, если он хороший констебль, со всей строгостью простит его от лица закона.

Чужаку, сошедшему в Монтерее с дель-монтского автобуса-экспресса, невдомек, что кому-то есть дело до его приезда. Но уже следит за ним недремлющее око...

В Монтерее хороший констебль. Зовут его Джо Блейки. Никогда не дослужиться ему до полицмейстера, да он и не стремится к этому. Все в городе уважают Джо и доверяют ему. Все может Джо: если нужно, он и дерущихся супругов разнимет!.. Своим умением ладить с людьми, а также умением постоять за себя обязан он воспитанию. Джо рос младшим в семье, где, кроме него, было еще четырнадцать славных, но драчливых мальчишек и девчонок. В Монтерее Джо знает всех, от мала до велика. Если появится в городе новый человек, Джо быстро определит, что это за личность.

С автобуса дальнего следования сошла девушка по имени Сюзи. Огляделась по сторонам, подкрасила губы и, подхватив обшарпанный чемодан, зашагала к кафе «Золотой мак». Сюзи была хорошенькая девушка с прямым носиком и большим ртом. Красивая фигура, рост средний; скорее всего шатенка (крашена под блондинку). Одета в коричневую жакетку с кроличьим воротником, платье из набивного ситца, коричневые кожаные туфли. У правой туфли протерся мысок; чуть прихрамывает на правую ногу. Перед тем как уйти с остановки, открыла коричневую сумочку из искусственной кожи: там зеркальце, гребешок без двух зубьев, пачка сигарет «Счастливые»; полпакетика мятных леденцов, восемьдесят пять центов серебром (бумажных денег нет), губная помада (пудры нет), аспирин. Ключей нет.

Именно в таком порядке всплыли бы в уме Джо Блейки приметы незнакомки, случись в эту ночь в городе убийство. А между тем он не отдавал себе отчета, что запоминает — работала интуиция. Джо вошел в «Золотой мак»: хозяйка как раз ставила на стойку чашку дымящегося кофе для Сюзи. Джо уселся на соседний стул:

— Элла, мне тоже кофейку.

— Сейчас сделаю. Как жена, Джо?

— Уже лучше. Только вот силенок после болезни маловато...

— Ну еще бы,— сказала Элла.— Какие вы, мужики, непонятливые. Ты поменьше мучай ее домашними делами... Сейчас свежего тебе заварю.

— Ага,— сказал Джо.

Элла заложила кофе в кофеварочную машину.

— О чем задумалась, сестренка? — дружелюбно спросил Джо у Сюзи.

— Ни о чем,— она не оглянулась, но видела его отражение в блестящей кофеварочной машине.

— В отпуску? — спросил Джо.

— Ага.

— К нам надолго?

— Пока не знаю.

— Может, работу ищешь?

— Может, и ищу.

Элла направлялась к ним, но, увидев, что они разговаривают, заспешила к посуде.

— А знакомые у тебя здесь есть?

— Тетка живет.

— И как же ее зовут?

— Тебе что, обязательно знать?

— Извини, работа такая.

— Ладно, нету тетки...

Джо улыбнулся; Сюзи почувствовала себя спокойнее. Вообще-то он ей понравился, приятный мужчина, о жене беспокоится.

— Значит, бродяжничаем? — спросил Джо.

— Да нет пока,— сказала Сюзи.— У меня что, в вашем городе будут неприятности?

— Ну зачем же,— сказал Джо.— Карточка социального страхования у тебя есть?

— Потеряла.

— Жалко,— сказал Джо.— Учти, городок у нас чинный, на улице не промышляют. Есть специальное заведение, называется «Медвежий стяг»... Да, если захочешь уехать, приходи, денег на билет дам. Спросишь, как найти Джо Блейки, любой скажет.

— Спасибо, Джо. А насчет этого ты неправильно подумал. Я этими делами не занимаюсь...

— Это ты пока не занимаешься. У нас, как закрыли консервные промыслы, работу днем с огнем не найдешь.

Ну, будь здорова,— Джо встал, потянулся.— Элла, я пошел. Попозже зайду кофе выпью.

Элла стирала со стойки мокрой тряпкой. Наверное, у нее кончается смена, подумала Сюзи.

— Мировой парень,— сказала Элла.— Хочешь еще кофе? Свеженького?

— Мировой,— согласилась Сюзи.— Хочу...

Элла принесла чашку.

— Ты где остановилась?

— Пока нигде.

— У меня сестра хорошие комнаты сдает. И недорого, четыре доллара в неделю. Хочешь позвоню?..

— Спасибо,— сказала Сюзи.— Я прежде по городу пройду, огляжусь. Слушай, можно я у тебя чемодан оставляю? А то тяжелый.

— Чего же нельзя. Давай за стойку поставлю.

— А что если я приду, а ты сменилась?

— Нет у меня сменщиц, сестренка,— устало сказала Элла.

Сюзи поизучала витрины на улице Альварадо, потом прошла к пристани и несколько времени разглядывала причаленные рыбацкие лодки. В тени пирса стояла стайка рыбешек; двое мальчишек удили с пальца, да все без толку... Часа в четыре Сюзи прошагала по пустынному Консервному Ряду, купила в лавке пачку «Счастливых», равнодушно скользнула взглядом по Западной биологической лаборатории и, наконец, постучалась в дом напротив. Это был «Медвежий стяг».

Фауна приняла ее в своем спальном кабинете.

— Честно говоря,— сказала Фауна,— работы сейчас почти никакой, вот разве в июне моряков подвалит. Ну что ты молчишь, рассказывай, может, разжалобишь.

— Чего рассказывать...

— Без гроша, небось?

— Угу.

— Не радуйся, меня этим не проймешь.— Фауна откинулась в кресле, прищурилась.— Одно время я в благотворительной миссии работала, так что все жалостные истории наизусть знаю. Столько я их выслушала — записать, ста томов не хватит. Между прочим, иногда рассказывают правду... Хочешь, я тебе сама про твою жизнь расскажу?

Сюзи молчала, сидела настороженно, потупившись, положив руки на колени.

— Семья бедная, вечно ссоры. В пятнадцать лет, или в шестнадцать, повстречала парня и убежала с ним — лишь бы от дома подальше. Замуж вышла, а скорее всего — нет. Не стал он на тебе жениться...

Сюзи молчала, только пальцы ее крепко сцепились; Фауна отвела взгляд.

— Еще бы, небось повела себя сразу как законная. А он испугался и улизнул. Ты что-то сказала?..

— Нет, ничего.

— Ребенок, наверное, был?..

— Умер.

— Поди, ненавидишь того парня?

— Может, хватит? — сказала Сюзи.

— Ну, хватит так хватит. Думаешь, мне самой это интересно? Слушай, что я тебе скажу. Есть женщины, которые прямо созданы для нашей профессии. Одни работы боятся, другие мужиков ненавидят. Но удовольствия никто от этого не получает. Это все равно что целый день разделывать селедку и не потерять к ней аппетит. А ты, как я погляжу, не очень-то нам подходишь. Чего не хочешь найти нормальную работу?

— Работала я, официанткой. И продавщицей в галантерее. Не вижу, чем это лучше. В кино все приглашают. Так, по-моему, лучше честно, за три доллара.

— За деньгой гонишься?

— А что, нельзя?

— Парень есть?

— Нет.

— Не любишь мужиков?

Сюзи пожала плечами.

— Эх, — вздохнула Фауна. — Твоя взяла. Чувствую, я с тобой намучаюсь!.. Но ты мне нравишься. Молодец, что не пытаешься на жалость взять, беды свои не навязываешь. На меня, если хочешь знать, это лучше всяких жалостных историй действует. Ты, часом, не фригидная?

— Чего, чего?

— Ладно... В тюрьме сидела?

— Месяц, за бродяжничество.

— Других дел за тобой не водится?

— Нет.

— Ну-ка, попробуй улыбнись. А то всех клиентов остудишь...

Сюзи послушно улыбнулась.

— Бог мой,— сказала Фауна.— Ты и улыбаешься-то не как женщина, а как сестра милосердия... Чует мое сердце, будет мне от тебя один убыток. И чего я только такая сердобольная? Работала когда-нибудь в подобном заведении?

— Нет.

— Ну, это все же лучше, чем на улице... Завтра тебя врач посмотрит.

— Можно принести чемодан?

— Что ж, неси...— Фауна раскрыла бумажник, лежащий перед ней на столе.— Значит, так. Магазин Пенни работает до шести. На, купи себе платье — помоднее да подешевле. Щетку новую зубную. А как вернешься, займись, ради бога, своей головой. Если б ты смотрела за волосами, была бы совсем ничего...

— Это я после автобуса растрепанная.

— Тогда понятно,— сказала Фауна.— Ужин у нас в полсedyмого. Когда ела в последний раз?

— Вчера.

— Сегодня на ужин тушеное мясо, морковь со сливками. Вишневое желе.

Уже в дверях Сюзи обернулась:

— Ко мне тут фараон цеплялся. Джо Блейки.

— Это свой парень. В случае чего и денег может одолжить...

— Да он уж предлагал,— сказала Сюзи.— А тушеное мясо я люблю.

Элла перебросила через стойку чемодан.

— Чего сияешь? Никак, работу нашла?

— Да как будто. Слушай, где тут у вас магазин Пенни?

— Повернешь вон там направо, пройдешь полтора квартала, увидишь, с желтым фасадом. Ну, пока!

На улице к Сюзи пристроился Джо Блейки, понес чемодан.

— Вот и умница, определилась,— сказал он.

— А ты откуда знаешь?

— Хозяйка твоя только что звонила. Ну, пока.

- Пока.— Сюзи взяла чемодан и вошла в магазин.
 - Что желаете?
 - Платье. Недорогое.
 - Вот сюда, прошу вас.
 - Можно вон то, томатовое?..
 - О, это у нас новый оттенок, называется «Помда-мур».
 - Я и говорю — помидор.
 - Берите, не прогадаете, очень ноская материя.
 - Хорошо. Пожалуйста, двенадцатый размер.
 - Туфли для ансамбля не желаете?
- Сюзи подумала, глубоко передохнула...
«Эх, пропадать, так с музыкой!..»

6. МУКИ ТВОРЧЕСТВА

Док горел в огне науки, но, как птица Феникс, возрождался из пепла — для новых дерзаний. Что правда, то правда: микроскоп у него плохонький. Зато глаза зоркие, и ум, слава богу, аналитический — отбрасывает прочь эмоции, страхи, пустые сомнения... Док глядел на осьминогов; гипотеза вырисовывалась все яснее. Он принялся колоть стеклянной иглой одного из своих подопечных: ошалев от страха и ярости, тот бросился на сородича и умертвил его. Другого осьминога, апатичного, Док отсадил в отдельный аквариум, притомил слабым раствором ментола и тут же оживил слабым раствором горькой соли. Потом вызвал у животного ярость — краски тела вспыхнули, цвет изменился — и ввел небольшое количество сульфата кокаина — гнев переборолся сном (если, конечно, у осьминогов бывает сон в нашем понимании). Затем с помощью физраствора было произведено пробуждение... И снова то здесь, то там колот он осьминога безжалостной иглой: животное наливалось цветом, багровело, всплескивая щупальцами, и вдруг разом обмякло — скончалось. Док извлек тело из аквариума и вскрыл: не образовались ли в тканях пузырьки?

— Пока все подтверждается, — сказал он вслух. — До механизма явления с моей оптикой не добратся. Однако внешние признаки — апоплексии. Где-то должно быть и кровоизлияние, даром что не видать... Начнем статью с наблюдения...

У Дока заранее были запасены блокноты и две дюжины простых карандашей. Все это лежало на письменном столе. Остро очиненные карандаши, выложенные в шеренгу, похожи были на солдат в желтых мундирах — сейчас бросятся в бой. Док раскрыл блокнот и вывел на первой странице печатно: «Наблюдения и размышления». Грифель хрупнул. Док взял другой карандаш и обвел буквы «Н» и «а»; букву «р» переправил на заглавную, пририсовал к ней снизу рыбий хвост. Зачесалась лодыжка. Спустил носок, почесал. От этого зачесалось в ухе. «Знать, кто-то обо мне говорит», — подумал он; посмотрел на стопку желтых блокнотов. А кормил ли он сегодня крыс? За мыслями забыть недолго. Нет, конечно.

Глядя, как крысы дерутся у кормушки, Док вспомнил, что сам забыл поесть. Ну ничего, напишем пару страниц, можно будет поджарить яичницу. Или лучше перекусить сейчас, чтоб потом не прерывался ход мысли? Он уже столько дней мечтал, как придет покой и мысль полется беспрепятственно; единственное спасение от тревоги — жить спокойной и духовной жизнью. Ладно, сперва поедим. Он сжарил глазунью из двух яиц и стал есть, не отрывая глаз от раскрытого блокнота. Висячая лампа над страницей слишком яркая, бумага отсвечивает, смотреть больно. Док доел глазунью, достал лист миллиметровки, смастерил дно для абажура, приладил. (Работа тонкая, потребовала времени.) Опять засел над пустой страницей, еще раз красиво обвел все буквы заглавия; потом вырвал лист и швырнул под стол. К этому моменту сломались уже пять карандашей. Он очинил их заново и произвел равнение в шеренге желтых солдат.

Послышался шум мотора. Док выглянул в окошко: к «Медвежьему стягу» подкатила машина — люди незнакомые. Ага, вон Мак прешмыгнул в лавку. Что-то надо было у Мака спросить... Только вот что?..

Сосредоточиться всегда трудно, особенно поначалу. Ум шарахается от думанья, как испуганный цыпленок. Человек забывает, что тем и славен, что наделен способностью к мышлению. Док решил заставить голову работать: когда знаешь, чего хочешь, нет невозможного. Он напряг по-волево челюсть и уже двинулся обратно к столу, как вдруг краешком глаза ухватил промельк юбки в окне. Опять выглянул на улицу: по Консервному Ряду в сторо-

ну Монтерея шагала, удаляясь, девушка. Лица не видно, но походка у нее складная: бедро, колено, лодыжка совершают движение вольно, плавно — никаких рывков, никакой зыбкости при переступе. Девушка шла, расправив плечи, вздернув подбородок, чуть размахивая руками. Славная походка, веселая, подумал Док. О многом может повесть походка: об унынии и болезни, об уверенности и решимости... Походка бывает разная — и дерганая, злая, и робкая, крадущаяся, но эта была — счастливая, будто девушка шла на встречу с любимым. А еще говорила она о гордости, лишенной самолюбования... Неужели свернет за угол? Свернула, последний раз стрельнув в глаза своей юбкой. Но Доку казалось, что он по-прежнему видит легкое покачивание бедер, в голове его раздавалась мелодия этого ладного, гибкого, спорого шага. «Небось, страшна как ведьма», — сказал он сердито, и тут же рассмеялся над собой: «Ага, круг замкнулся. Поздравляю тебя, умная голова. Начали с греховных мыслей, перешли в область эстетики и музыки, а кончили, как та лиса из басни: виноград-де зелен... Вот уж действительно, до чего человек не додумается, лишь бы не думать о деле. В конце концов, это просто нечестно. Ну-ка, голова, за работу — теперь не отворачиваться».

Он взял карандаш и написал: «Объект наблюдения — 20 детенышей осьминога, отловленные в межприливной зоне близ города Ла-Джолла. Особи были помещены в большой аквариум, условия в котором максимально приближались к естественным. Каждые 24 часа морская вода в аквариуме полностью заменялась (вода тщательно фильтровалась). В аквариуме находились животные из типичного для осьминогов экологического сообщества, а также песок, камни и водоросли, взятые в месте отлова; периодически доставлялись небольшие ракообразные. Несмотря на все меры предосторожности, 5 особей погибли в течение первой недели. Оставшиеся 15, по-видимому, акклиматизировались и охотно поглощали маленьких крабов Grapsidae. Подсветка...» — грифель хрупнул. Док взял новый карандаш, но и он сломался — вывихнутый грифель продрал бумагу. Док прочел написанное: «Серо, сухо, скучно... И потом, с чего я возомнил, что у животного, столь отличного от человека... Вдруг я сам себя обманываю?» В это время средний голос пел тихо-претихо: «Что ищешь, крошечный

человечишко? Не душу ли свою хочешь найти среди гидроидов и водорослей? Ищешь славы — думаешь прогнать тревогу... А сказать-то тебе нечего... Кто дал тебе право на псевдонаучное красноречие? Почему, например, у Мака нет этих слов-выручалочек?»

А нижний голос пел как за упокой: «Одинок ты! Одинок! Нет тебе ни света, ни тепла. Ну хоть бы кто-нибудь тебя согрел...»

Док выскочил из-за стола, подошел к аквариуму, установился в подсвеченную воду. Из-за камня выглянул осьминог. Он взмахивал щупальцем, как заправский дирижер, подавая знаки невидимому оркестру: бамс, бамс, вот она идет, эти бедра и колени, бамс, бамс, — раздавалось в голове Дока легким веселым звоном...

Док уронил голову, потер веки — в темноте заплясали разноцветные разводы. Потом встал и отправился за пивом.

7. НЕ ВЕРЬ НАЧАЛУ, А ВЕРЬ КОНЦУ

При всем своем хорошем, можно сказать дружеском расположении к Фауне, Джозеф-Мария частенько подумывал, что не очень-то пристало женщине владеть «Медвежьим стягом» — солидным, доходным заведением. Ладно бы управительница, а то ведь хозяйка! Что-что, а уж доход должен стекаться к мужчине, думал Джозеф-Мария. Стоит женщине дорваться до денег, как у нее расстраивается психика, — хочешь остаться здоровой, держись от денег подальше. Баба при деньгах — это уже не женщина, но еще и не мужчина. Она больше не дорожит женственностью, а ведь женственность — самое ценное ее качество!

Джозеф-Мария смекал, как бы освободить Фауну от тяжелой ответственности владения капиталом. Вот если бы ему стать хозяином, а Фауне управительницей — сразу бы установилось желанное, естественное равновесие. До сих пор Фауна удачно избегала его покровительства, однако Джозеф-Мария от своих замыслов не отказывался — глядишь, еще представится удобный случай.

Хороший финансист, просматривая таблицу курсов акций, обращает внимание не только на свои акции, — он еще на всякий случай примечает, как дела у других. Вот так и Джозеф-Мария поглядывал: как там соседка? Собст-

венные его дела шли отлично, отчего бы не раскинуть вокруг благосклонно-хищным оком?.. Сюзи еще не успела отдать вещи с дороги в стирку, а Джозеф-Мария уже знал, какое пополнение в «Медвежьем стяге», и радовался: наконец-то Фауна дала промашку.

— Слышал я,— сказал он, зайдя к Фауне в гости,— у тебя появилась новенькая. Смотри, наплачешься с ней...

— Да уж, чует мое сердце,— вздохнула Фауна.

— Зачем же было ее принимать?

— Видишь ли,— сказала Фауна,— иногда я ошибаюсь нарочно. Конечно, для меня она плохое приобретение, но зато после моей выучки будет из нее кому-нибудь хорошая жена.

— Да ведь она тебя как дурочку провела,— попробовал поддеть Патрон.

— Ну и ладно, не все же в умных ходить,— отвечала Фауна.— Что вообще человек о жизни знает, если хоть раз в дураках не побывал? Вот помню, поехала я миссионершей в Южную Америку...

— В Южную Америку? Зачем?

— Ну, это сразу не объяснишь...

— И что же ты там делала?

— Учила туземцев любить ближнего.

— А они?

— А они меня учили, как выделывать человеческие головы.

— Вот дикари! — с пафосом произнес Патрон.

— Какие же они дикари? Просто хорошие, честные ребята, охотники за головами. Если покупаешь голову у них, так это стоящий товар, без обмана. Правда, всегда найдется какой-нибудь шустрый малый, вроде этого... Ата-ту-лагу-лу. Это, я тебе скажу, прирожденный был жулик. Поводился обезьяньи головы выдавать за человечьи. Побреет получше, ну и, понятно, сушит не так долго, чтоб слишком сильно не съеживались. А люди что... люди все купят...

— Это точно,— согласился Патрон.

— Занесло к нам на беду епископа,— продолжала Фауна.— Ох уж он меня честил, что я эти головы покупала!..

— Ты? Покупала?!

— Ну да. У меня до сих пор в дровяном сарае их целый ящик... Так вот, меня за дуру считали, однако потом все окупилось...

— Это как же?

— А вот посуди сам. У меня в племени все люди были честные и головы продавали настоящие. Появляется на рынке партия голов. А этот жулик, Ата-ту, берет и подбрасывает туда парочку обезьяньих. Что получается? Люди перестают друг другу верить! На настоящую голову смотрят, как на фальшивку. Вот я и скупала у него эти головы, чтобы на рынок не попадали. Там, где я миссионерша, все должно быть по-честному!..

— Но он, наверное, дорого за них брал?..

— Да уж, дороже, чем за настоящие. Знал шельма, что все равно куплю.

— Тут бы любой не растерялся...

— Зато скоро все честь по чести стало... Случится покупать голову в племени Чунгла, не сомневайся — настоящая!

— Он что, больше не подделывает?

Фауна выдвинула ящик стола и извлекла нечто — примерно с лимон размером, круглое, гладкое, как полированное черное дерево.

— Увы... — вздохнула Фауна. — Красивая, правда?

Патрон поспешно отвернулся.

— Вообще-то мне пора домой. У меня племянник в лавке один.

— Как он поживает, все трубит?

— Не говори, вконец меня извел. Недавно купил новую трубу. Не знаю, куда и прятаться. Говорю, иди упражняйся на берегу. Пускай морские львы да прибой поубавят тебе громкости. Так что, ты думаешь, он выкинул? Дал сигнал прохождения военному буксиру! Они до сих пор ищут, что за корабль мимо них проплыл... А вчера ночью, знаешь, что опять отколол? Упражнялся на берегу, да и давай трубить в канализацию. Хотел, говорит, резинанс получить. Не знаю, какой там резинанс, но что в каждом унитазе заиграло «Пушки к бою» — это точно. Одной старушке как раз клизму ставили; что у них сделалось — сказать страшно... Так что я пойду. Этот мальчишка как дунет высокую ноту — стекла того гляди лопнут...

— Ты уж нас не забывай, заходи почаще, — сказала Фауна.

— А ты попомни насчет Сюзи.

— Ладно, ладно...

Как ни странно, люди не любят делать покупок у себя под носом. Сигареты в магазинчике напротив — лучше тех, что продаются в первом этаже вашего дома. Питомицы Фауны даже не подходили к сигаретному автомату в «Медвежьем стяге» — за теми же «Счастливыми» или «Утренними» они отправлялись к Патрону... Вот и получалось, что за день чуть ли не каждый житель Консервного Ряда успевал побывать чуть ли не всюду.

Только Джозеф-Мария вернулся от Фауны, в лавку вошла Сюзи... Конечно, Джозеф-Мария не лучший образчик славного творения Господня, но где нужно навскидку оценить женщину — тут ему равных нет. Если его собственное сердце не затронуто, мнение его окажется верным на все сто процентов... Сюзи разменяла деньги, опустила монету в автомат, нажала на кнопку «Счастливые», — за этот короткий срок и она, и Джозеф-Мария успели переглянуться и оценить друг друга.

Сюзи: «Хитрый, скользкий, злой. Улыбается, а глаза как у змеи. Будет что-нибудь предлагать — не бери; у него во всем расчет. Когда-нибудь сам споткнется о собственную хитрость...»

Патрон: «Совершенно не годится для заведения. С характером. Не станет соблюдать правила игры. Может забить мяч в свои ворота. Ко всем с душой. Втюрится в какого-нибудь парня — про все на свете забудет».

Будь его воля, Патрон не мешкая бы уволил Сюзи из «Медвежьего стяга». По опыту он знал, что только себялюбцы не опасны. Их легко приручить: они играют по правилам, все их поступки можно вычислить. А вот если у человека теплится в душе любовь к ближнему, так и жди от него неприятных неожиданностей... Да, сглупила Фауна, ничего не скажешь...

Джозеф-Мария еще раз оценивающе оглядел Сюзи (будто поддержанную машину покупал). Хорошая фигура. Красивые ноги. Задница, правда, маловата, и грудь слишком полная. Дурной знак: у хорошей шлюхи грудь обычно плоская. Лицо у Сюзи довольно симпатичное — если она, конечно, в настроении. Все чувства сразу проступают на лице; если ей хорошо, то лицо светлое... У шлюхи должна быть маска на все случаи жизни; личико смазливое, но не примечательное — наутро не вспомнить. А вот Сюзи так легко не забудешь! И что самое в ней плохое — для нее

середины не существует: все у нее или «да», или «нет». Одним словом, славный себе сделала Фауна подарочек!

Какахуэте, племянник Патрона, стирал пыль с полок. Он дружески улыбнулся Сюзи, сверкнул золотым зубом.

Сюзи просияла и улыбнулась в ответ, улыбнулась по-своему, по-особенному. Дрогнули, поползли в стороны полные губы; глаза словно распахнулись, и что-то теплое и вместе робкое проглянуло оттуда. Да, тяжелый случай, еще раз подумал Патрон. Прикрывается она бойкостью, но и бойкость-то у нее не та, что нужно — не жалкая, не заученная. Отчаянная, простая душа. Пойдет за парнем, в карман к нему не посмотрит. От таких, как она, мужчине больше неудобств, чем удовольствия. И чем-то — непонятно чем — она здорово напоминает Дока. Нужно еще раз предупредить Фауну: с этой девчонкой хлопот не оберешься. Гнать ее в три шеи из «Медвежьего стяга»! Таково было окончательное, квалифицированное мнение Патрона. (С врачом советуются о болезнях, с Джозефом-Марией — о женщинах; правда, ни тот, ни другой от ошибок не застрахованы.)

Джозеф-Мария успел обдумать и вынести приговор за какие-то мгновения, пока Сюзи распечатывала сигареты и закуривала.

— Как дела? — спросил Джозеф-Мария.

— Нормально, — сказала Сюзи. — Фауна просила блокнот. И пару карандашей — мягких.

Патрон выложил товар на прилавок.

— За месяц — шестой блокнот! И что это она все пишет?

— Гороскопы.

— Ну и как ты думаешь, есть от них польза?

— Вряд ли. Зато и вреда нет.

— Один мой знакомый на гороскопах неплохо зарабатывал, — сказал Патрон.

— Фауна денег не берет.

— Знаю. — Только вот почему не берет? Вроде бы женщина неглупая...

— Да уж не глупее некоторых, — сказала Сюзи.

Тут вошел Док с двумя пустыми пивными бутылками.

— Будь добр, со льда еще парочку, — попросил он.

Сюзи глянула на Дока: интересно, что он такое? — и тут же отвела глаза, смущенная видом его лохматой бо-

роды: она никогда не пялилась на человека, если у него что-нибудь не так.

— Отчего ты сам не держишь лед? — спросил Патрон.— Брал бы тогда по целому ящику пива...

— Нет уж, держи ты. Так рациональнее,— отвечал Док.

— Ты знаком с Сюзи? Она новенькая в «Медвежьем стяге».

— Здравствуйте, рад познакомиться,— сказал Док.

— Здравствуйте,— произнесла Сюзи, выговаривая все слоги (обычно она бросала скороговоркой «здрaсте»).

Когда Док ушел, Патрон сказал:

— Видала? Это у нас человек особенный!

— Чувствуется...

— Он такие штуки знает, что мы с тобой и не слыхивали!— Как всякий житель Консервного Ряда, Патрон бросился защищать Дока.

— Он что, немного с приветом?

— Сама ты с приветом. Просто он так разговаривает — не умеет по-другому.

— Чувствуется...— опять сказала Сюзи.

— Знаешь, чем он занимается? Ловит медуз и головоастиков — и продает!

— Да кому же они нужны?

— Не волнуйся, на всякий товар покупатель найдется.

— Ну-ну. А другие почему не додумались медуз продавать?

— Ты думаешь, все так просто? Надо знать, кого ловить, да как обрабатывать.

— А зачем ему эта борода? У меня был знакомый боец, тоже бороду носил.

— Не знаю. А борцу зачем борода?

— Чтоб грознее казаться.

— Может, и Док тоже?.. Хотя нет, зачем ему грозность напускать... У нас в армии,—вспомнил вдруг Патрон,— бороду носить не разрешали. Будешь выделяться — не уживешься в казарме.

— То-то и оно,— сказала Сюзи.— Я не против, чтоб мужчина выделялся. Только чтобы не очень.

— Женщина должна приспособливаться! — наставительно сказал Патрон.— Что-то я совсем с тобой заболтался. Работа стоит.

— Ты мексиканец? — спросила Сюзи.
— Американец. Папаша, тот был мексиканец.
— А разговаривать по-ихнему умеешь?
— Ну, умею.
— Вулли ву?
— Нет, это не по-нашему.
— Ладно, пока, — сказала Сюзи. Дверь с жалюзийной сеткой захлопнулась за ней.

«А она ничего, — подумал Патрон. — Хотя будь моя воля, я бы ее выставил из «Медвежьего стяга».

Сюзи прошла пустынной улицей к парадному входу «Медвежьего стяга», поднялась на крыльцо. Тут она обернулась, ей почудилось — кто-то на нее смотрит. Она не видела, что Док наблюдает за ней из окна Западной биологической.

8. ВЕЛИКАЯ КРОКЕТНАЯ ВОЙНА

У залива на высоком взморье расположились бок о бок два города — Монтерей и Пасифик-Гров. Похожего в них только и есть, что стоят они в одной местности. Монтерей основали в незапамятные времена чужаки — индейцы да испанцы. Рос город нечинно, самотеком, дома в нем и те торчат как попало. Иное дело Пасифик-Гров — город-убежище суровых духомыслов Моисеевых. Возник он хоть недавно, в 80-е годы прошлого века, зато сразу отлился в готовую форму, со всеми законами, моральными нормами и обычаями. Один из городских законов запрещает сделки, предметом коих служат крепкие напитки. Оттого в аптеках нарасхват тониизирующие средства на спирту. Другим законом предписывается опускать шторы после захода солнца, а раньше не полагается. Не дозволяется гонять на велосипедах. В запрете воскресные походы на пляж и лодочные катанья. Есть еще одно преступление: для него не существует статьи, но почитается оно серьезным, — это буйные пирушки. Надо, впрочем, признать, что большинство законов блюдется теперь не столь усердно. Прежней стены между городом-убежищем и миром нет.

Раз за свою историю Пасифик-Грову случилось попасть в беду, беду нешуточную. События таковы. Среди первого

населения города-убежища оказалось немало стариков. Бежать им было не от кого и не от чего, а просто вот захотелось поселиться на старости лет именно здесь. Старики были ворчуны, от безделья совали всюду нос и скоро порядком всем надоели. Чтоб занять их, городской филантроп по имени Димс подарил городу две площадки для игры в рок.

Рок — сложный вид крокета. Воротца в нем узкие, молотки на укороченной ручке; а играют из-за боковых линий, на манер бильярда. Игра весьма трудна и, как говорят, воспитывает бойцовские качества характера.

Малый спорт, подобно большому, немислим без соперничества и наград. Каждый год в Пасифик-Грове разыгрывался кубок. Казалось бы, какие могут быть особенные страсти вокруг крокета? К тому же если большинству игроков перевалило за семьдесят... Ан нет!

В городе были две команды. Спортивный костюм стариков состоял из ермолки и полосатой куртки, цвет которых в одной команде голубой, а в другой зеленый. Так они и назывались: голубые и зеленые.

За каких-нибудь два года жизнь в городе совершенно исказилась. Началось все с того, что соперники, упражнявшиеся бок о бок, перестали друг с другом разговаривать. Их неприязни последовали домашние: домочадцы голубых не водились отныне с домочадцами зеленых. Но семьями игроков дело не ограничилось, очень скоро весь город являл собой два враждебных лагеря. И вот уже мамыши зеленых барышень изо всех сил старались отвести голубых женихов; тем же отвечали голубые. Спустя немного времени, вражда проникла и в область политики: голубому во сне бы не приснилось проголосовать за зеленого. Потом и церковь раскололась: во время службы голубые и зеленые сидели по разные стороны от прохода; собирались даже строить две отдельные церкви.

Понятно, что пуще всего вражда разгоралась в пору кубковых матчей. Для стычки было довольно косога взгляда. Тон задавали сами престарелые спортсмены. Случалось, после игры двое восьмидесятилетних старичков углублялись в лес и дрались там смертно... Изобрели даже специальные тайные языки, чтобы враг не пснимал разговоров...

Такой жгучей была эта распря, что забеспокоились окружные власти. Еще бы. Одному голубому спалили дом. Вскоре в лесу нашли зеленого, насмерть забитого крокетными молотками. Молоток для игры в рок невелик, да увесист — оружие хоть куда. Старики привешивали молотки на кожаном ремешке к запястью, как боевые топоры, и нигде с ними не расставались. Враги обвиняли друг друга во всевозможных преступлениях, включая те, которые им были не под силу по причине преклонных лет. Голубые перестали ходить в магазины зеленых. Город сделался не город, а черт знает что!

Общий благодетель, мистер Димс, был славный старикан. Прежде, до Пасифик-Грова, он покуривал опиум. От того весь век был здоров, покоен и на старости лет не знал туберкулезов и давлений. Благодетель, он был еще и философ. Увидев, что сотворилось в городе по его милости, он опечалился, а позже утратился. «Теперь я понимаю, что чувствует Бог», — говорил он друзьям.

Близилося тридцатое июля, начало очередного кубка. Обстановка так накалилась, что горожане ходили с револьверами. Голубая и зеленая ребятня затевала между собой жестокие драки. Раз уж чувствуешь то, что чувствует Бог, рассудил мистер Димс, то и поступать надо под стать Богу. Слишком много в городе насилия.

В ночь на тридцатое июля мистер Димс нанял бульдозер. Наутро на месте крокетных площадок зияла огромная ямища с неровными краями. Будь у Димса времени побольше, он завершил бы дело потопом — устроил бы озеро...

Димсу пришлось бежать из города. Хорошо, что он не попался в руки сограждан, — а то бы его непременно обмазали дегтем и вывалили в птичьих перьях. Он укрылся от их гнева в Монтерее: зажил там преспокойно, покуривая свой опиум...

Из года в год тридцатого июля жители Пасифик-Грова устраивают символическое сожжение мистера Димса. Это настоящее праздничное действо. Снаряжают похожее чучело и долго носят его по улицам, а потом вешают на сосне. И, наконец, сжигают; люди шествуют под ним с факелами; и каждый год бедный мистер Димс уходит в дым-с...

«Сказки!» — скажете вы. Сказка — ложь, да в ней намек...

9. ДУРАКОМ РОДИЛСЯ.. ПРЕЗИДЕНТОМ ПОМРЕШЬ

Поверхностному наблюдателю могло показаться, что Консервный Ряд состоит из обособленных мирков, существующих независимо друг от друга. Кафе «Ла Ида», лавка Джозефа-Марии (все еще известная как лавка Ли Чонга), «Медвежий стяг», Королевская ночлежка, Западная биологическая лаборатория,— казалось бы, какая между ними связь? На самом деле их связывает множество незримых уз,— тронь одного — ополчатся все. И если у кого-то горе, то слезы льются тоже у всех...

Самым уважаемым, самым любимым человеком в Консервном Ряду был Док. Он умел врачевать не только телесные, но и душевные раны. Ради друзей он готов был поступиться своей порядочностью и нередко оказывался пособником мелких правонарушений. Наконец, он всегда позволял выманить у себя доллар-другой. Стоит ли удивляться, что докову беду все восприняли как свою собственную?

Что это была за беда, Док и сам не ведал. Он лишь чувствовал, что глубоко несчастлив. Выстроив в ряд карандаши, часами просиживал над желтым блокнотом. В иные дни писал — и зачеркивал, и опять писал — стремительно наполнялась мусорная корзинка; в другие дни не мог выжать из себя ни строчки. Подходил к аквариуму, смотрел в прозрачную воду. И снова напускались на него голоса. «Пиши!» — яростно приказывал верхний голос; «Ищи!» — громко пел средний; а нижний жалобно вздыхал: «Одинок ты! Одинок!» Док не хотел сдаваться без борьбы: воскресил все старые амуры; купался в волнах музыки; читал «Страдания молодого Вертера», но все напрасно — голоса не смолкали. Желтые страницы, окликавшие взгляд, сделались злыми недругами... Один за другим умирали в аквариуме осьминоги... Все трудней становилось обманывать себя отговоркой, что нет-де хорошего микроскопа. Когда скончался последний осьминог, Док ухватился за новую отговорку. «Понимаете,— объяснил он друзьям,— я не могу работать без подопытных организмов. А где их взять раньше весенних приливов? Вот будет с чем работать, да новый микроскоп — тогда монография сразу сдвинется с места...»

Друзья чуяли его боль, проникались ею. Друзья понимали: скоро настанет время, когда нужно будет что-то предпринять.

И вот в Королевской начлежке случилось маленькое собрание — именно случилось, потому что никто его не созывал и не говорил речей.

Посреди комнаты необъятно восседала Могучая Ида. «Медвежий стяг» представляли Агнесса, Мейбл и Бекки. Присутствовали все ребята во главе с Маком... Разговор — как всякий серьезный разговор — повелся издалека.

— Вчера, — сообщил Элен, — Ида вышвырнула пьяного из кафе. Растянула себе плечо.

— Да, старость не радость, — мрачно отозвалась Ида.

— Он на нее первый напал. Зато потом летел — через тротуар прямо на мостовую. Вот бы устроить чемпионат по самообороне. Наша Ида всех бы победила!

— До сих пор плечо болит, — пожаловалась Ида.

Друзья пока что избегали главного.

— Как там Фауна поживает? — спросил Мак.

— Хорошо, — ответила Агнесса. — Чудит помаленьку.

— Да уж, чудить она любит, — подтвердила Бекки, осторожно счищавшая лак с ногтей. — Учит нас столовому этикету. Вынет сорок разных вилок, и давай спрашивать, для чего они нужны...

— Как для чего? Для еды! — сказал Элен.

— Эх ты, невежда, — сказала Бекки. — Тебе что десертная вилка, что навозные ви́лы...

— А предохранительная вилка, знаешь для чего? — воинственно спросил Элен.

— Для чего?

— Дерни, тогда узнаешь! Тоже мне, умная нашлась...

— У Дока все по-старому? — спросила Могучая Ида.

— Ага, — вздохнул Мак. — Был я вчера у него... Давайте подумаем, как ему помочь.

Все задумались... Да, трудно Доку — трудно и верным его друзьям. Еще бы, пошатнулся их кумир. Прежде все удавалось Доку легко — не оттого ли, что не замахивался он ни на что большее? И хотя по-прежнему сильна любовь друзей, примешивается к ней легкое презрение. Великим слабостей не прощают! Люди, боготворившие Дока, возвысились в собственных глазах, потому что бог оказался обычным человеком...

— С какой стороны подступиться, ума не приложу,— сказал Мак.

— А пускай Фауна ему по звездам погадает,— предложил вдруг Элен.— Сейчас она мне гадает.

— Тебе? — удивился Мак.— Как же можно гадать человеку, для которого не существует будущего?

— Почему это — не существует? — обиделся Элен.— Нет, правда, давайте Фауну позовем на подмогу.

— Давайте,— сказал Мак, слегка оживившись.— Это хоть какая-то надежда. Эдди, раскопай-ка бочонок из военных запасов. А ты, Элен, позови Фауну к нашему столу. И пускай захватит свою астрологию...

— Может, она мне уже погадала...— сказал Элен.

Фауна, к немалому своему огорчению, сама не слишком верила, что звездам есть до нас дело; однако утешалась тем, что в это верят другие. Астрология давала ей отличную возможность подсказывать людям, как жить, а уж как кому жить — лучше Фауны не знал никто.

Впрочем, иногда Фауне — несмотря на скрытый скептицизм — становилось не по себе от какого-нибудь гороскопа. Гороскоп Элена поверг ее в ужас и изумление. Может, лучше сжечь эти бумажки и никому не рассказывать?

Фауна с Эленом проследовала в Ночлежку. Мак налил Фауне из бочонка — гостья выпила залпом, не выходя из задумчивости...

— Ну как, ты мне погадала? — с волнением спросил Элен.

Фауна взглянула на него скорбно:

— Лучше не спрашивай...

— Почему? Там что-нибудь плохое?

— Не то слово.

— Ладно, говори, я ничего не боюсь.

— Я уж и так, и этак проверяла...— Фауна вздохнула.— Ты день рождения, случайно, не перепутал?

— Нет, не перепутал.

— Тогда никакой ошибки.— Фауна устало оглядела собравшихся.— По звездам выходит, что Элен станет президентом Соединенных Штатов.

Наступило потрясенное молчание.

— Не верю! — сказал наконец Мак.

— Не хочу быть президентом! — молвил Элен со всей искренностью.

— Хоти не хоти, а звездам виднее,— сказала Фауна.— Поедешь в Вашингтон.

— Не хочу, я там никого не знаю!

— Давайте тогда и мы куда-нибудь поедем,— предложил Уайти II.— Я знаю островки в Тихом океане — заглядение. Может, туда и махнем? Кстати, это подмандатная территория Штатов! Слышь, Элен, твои острова-то!

— Не надо мне никаких островов!

— Может, лучше его убить? — спросил Мак.

— Нельзя,— сказала Фауна.— В гороскопе этого нет. Он проживет до семидесяти восьми лет и помрет от тухлой устрицы.

— Не люблю устриц!

— Ничего, в Вашингтоне полюбишь.

— А может, это все-таки ошибка? — спросил Мак.

— Если бы. Знаешь, сколько раз я проверяла! Нет, ничего тут не попишешь, быть Элену президентом.

— А может, оно и ничего? — раздался одинокий голос Эдди.— Мы ведь еще и не таких президентов видели...

— А нельзя мне пойти отказаться? — Элен был в отчаянии.— Нельзя? Тогда я спрячусь!

— Бесполезно,— мрачно покачала головой Фауна.— Хочешь, проверим еще раз, но надежды никакой. Сколько у тебя на ногах пальцев? Ведь девять?

— Не знаю.

— Посчитай!

Элен снял ботинки, зашевелил губами. Потом объявил горько:

— Ага, девять.

— Вот видишь, и в гороскопе так написано. Так что остается молить бога, чтобы все хорошо обошлось.

— Тут уж моли не моли, хорошего не дождешься,— сказал Уайти II.— Ну Фауна, ну астрология! Сделала из придурка президента. Лучше бы помогла Доку книжку написать...

— Это кто придурок? — грозно спросил Элен.

— Уильям Генри Гаррисон, девятый президент.

— А...— сказал Элен.— Тогда ладно.

— Что же нам делать с Доком? Он стал совсем на себя не похожий! — заверещала Агнесса своим хриплым сопрано.— Я принесла ему пинту виски, он ни разу и не

приложился. Сидит, смотрит на свои желтые бумажки. А знаете, что́ он на них нарисовал?

— Головастики?..— предположил Уайти I.

— Нет, хуже. Неприличную картинку!

— Фу ты напугал,— сказал Мак.— Может, он наоборот, на поправку пошел. Так что там за картинка?

— Представляете,— Агнесса понизила голос,— нарисована женщина, совсем голая. А рядом с ней осьминог курит трубку! Нет, раньше Док таких картинок не рисовал!..

Могучая Ида очнулась — словно гора ожила — и сказала:

— А ведь какой раньше был легкий, веселый! Прямо как порча на него нашла. Будь это не Док, а кто другой, я бы сразу подумала, что здесь баба замешана. Да нет! Сроду еще Док от баб не плакал!..

— Зато они от него плакали,— ввернул Мак.

— А может, и правда, дело в какой-нибудь девчонке? — спросила Фауна, подбочась.— Может, водит его какая-нибудь за нос?

— Нет,— сказал Элен,— у него больше на болезнь похоже. Придешь к нему, а он молчит. Скажешь — не слышит... Скорей бы он выздоравливал.

— Давайте ему подбросим парочку девиц,— предложил Уайти II.— Глядишь, и оживет.

— Знаете,— сказал Мак,— хоть и не верю я в эти звезды, пусть-ка Фауна ему погадает. Авось в гороскопе найдем что-нибудь дельное...

— Все вы не верите, только просите, погадай,— проворчала Фауна.— Что мне, больше всех надо?.. Так когда у Дока день рождения?

Ко всеобщему удивлению, выяснилось, что никто не помнит.

— Вроде бы осенью...— неуверенно сказал Эдди.

— Мне не вроде, мне надо точно знать,— сказала Фауна.— Мак, может, ты у него спросишь?

— Ладно. Слушай, Фауна, ты это... не особо на звезды смотри, прибавь там от себя что надо.

— А что надо?

— Ну, чтоб бросил писать свою чертову книжку. Да зажил по-старому...

— А что плохого, пускай он ее напишет,— сказал Элен.— Раз уж хочется.

— Давайте по-честному,— сказал Мак и почесал живот.— Конечно, ему хочется эту книжку написать, день и ночь над ней страдает. Только знаете, что я думаю? Никогда он ее не напишет!

— Это почему?! — Элен аж с места привскочил.

— Знаете, есть такие люди, их врачи называют «предрасположенные к страданиям»? Они страдают всегда и везде. А почему? Потому что на самом деле им страдать нравится! Так и наш Док. Ему не книжку хочется написать, а пострадать.

— Выходит, он сам себя мучает? — удивился Уайти I.— Зачем?

— Сейчас объясню. Слыхали такое слово — «замена»?

— Это у футболистов, что ли? — спросил Эдди.

— Сам ты футболист,— сказал Мак.— «Замена» — это когда человеку чего-то недостает и он пытается восполнить чем-то еще. Сам того не зная.

— Врешь! — грозно вскричал Элен.— Док все на свете знает.

— Спокойно,— сказал Мак,— конечно, знает. Он и про книжку знает. Знает, что книжка — еще не самый главный вопрос! Потому и не может ее написать! *Quod erat demonstrandum*.

— Чего, чего? — не поняла Фауна.

— Ч. т. д.— что и требовалось доказать.

— Ах, да,— сказала Фауна.— Твоя правда...

10. В СТЕНЕ, НАС ОКРУЖАЮЩЕЙ, ЕСТЬ ЛАЗ, НАС ВОПРОШАЮЩИЙ

Док сделал кое-какую перестановку: теперь стол стоял у окна. Док строчил по желтой бумаге: «Изменение цвета, по-видимому, является не только следствием усиленного притока жидкостей к поверхности, но также следствием коробления тканей, которое вызывает преломление световых лучей, создавая тем самым впечатление цвета».

Где-то хлопнула дверь. Док бросил взгляд в окно: по тропинке от дверей Королевской ночлежки вразвалку шла Фауна.

Док снова склонился над столом, но тут на улице слышались шаги. Так, а теперь кто? Оказывается, это

Могучая Ида идет к себе в кафе. Вот открылась дверь лавки и показался Джозеф-Мария. Он перешел через дорогу, поднялся на крыльцо Западной биологической и постучал.

— Войдите,— крикнул Док (в голосе звучало облегчение).

— Вот, решил заглянуть. А то у меня оркестр над головой репетирует. Свихнуться можно.

— Вообще-то я занят,— не очень уверенно сказал Док. Джозеф-Мария осмотрел комнату.

— Зачем тебе змеи?

— Продавать.

Док выглянул в окно.

— Да кто их купит? — сказал Джозеф-Мария.— Что ты там увидел? — Он по-гусиному вытянул шею в сторону окна.— Так это же новенькая, та самая, из «Медвежьего стяга». Ох, Фауна с ней и наплачется!..

— С кем? — рассеянно спросил Док.

— Ты что, не слышишь?

— Мне надо работать...— вяло сказал Док.

— Знаешь,— неожиданно сказал Патрон,— а я все равно не верю!

— Ты о чем?

— Не верю, что в шахматах нельзя сжульничать.

— Нельзя! Извини, мне пора.

— Постой, куда спешишь?

— Отлив скоро...

Док брел берегом моря. Белые от пены волны лезли на песок, нет-нет да и обдавали ноги. Впереди катили кулички. Золотое солнце уходило все дальше в простор на запад; на ниточке горизонта непрочно замерла шхуна.

Слева белели круглые песчаные дюны, за ними вставали сосны — темные, словно хранившие днем частицу ночи.

«Итак, при стимуляции у них учащается пульс, точь-в-точь как у человека в момент эмоционального или физического напряжения. Возможно, выделяется адреналин. Но как это доказать? Теперь до самых весенних приливов не найти подопытных организмов...» — думал Док.

«Веришь ли ты сам во все это? Ты разучился смеяться над собой. Ты в плену — у своего самомнения», — наговаривал средний голос.

«Одинок ты! Никому ничего не даешь, ни от кого не берешь... Никто не согреет твою душу! Нет у тебя дорогого человека!» — надсаживался где-то в самом нутре нижний голос.

Больше всего на свете Док хотел вернуться к старой жизни — так взрослые порой хотят вернуться в детство, забывая о том, что и детям бывает горько. Док присел на корточки и, согнув ладонь совком, вырыл ямку в сыром песке. Ямка быстро наполнялась водой, песчаные края таяли. Из-под пальцев пустился наутек песчаный крабик.

Сзади раздался голос:

— Чего ты ищешь?

— Ничего, — буркнул Док, не оборачиваясь.

— Тут нет моллюсков.

— Знаю, — бросил Док. Верхний голос запел: «Хочу быть один. Надоели разговоры, объяснения, споры. Не желаю слушать. Сейчас мне выдадут какую-нибудь доморощенную океанологическую теорию. Лучше не оборачиваться».

— В море столько металла! — сказал голос сзади. — Магнием из одной кубической мили можно было бы вымостить всю страну. — «Везет мне на чокнутых, — подумал Док. — Магнитом, что ли, их ко мне тянет?»

— Я ясновидец, — сказал голос сзади.

Не вставая, Док стремительно обернулся, в нем закипала злость:

— Очень приятно! Я тоже ясновидец. А двум ясновидцам в одном месте тесно! — сроду он еще не был так невежлив с незнакомым человеком.

Незнакомец был крупный бородатый мужчина с живыми и ясными глазами здорового смышленного ребенка. Одет в драный комбинезон и выцветшую голубую рубаху. Ноги босы. На голове соломенная шляпа с двумя порядочными дырами в полях — явно, прежним ее хозяином была лошадь какого-нибудь фермера.

Доку стало занято.

— Я имею обыкновение приглашать заходящих людей отобедать со мной, — сказал ясновидец. — Конечно, в этом я не оригинал. То же делал Гарун-аль-Рашид. Пойдемте...

Док поднялся с корточек, в подколеньях покалывало как иголочками. Рядом с маленьким Доком ясновидец высился подобно башне. Глаза у него и впрямь как у смышленного, жизнерадостного ребенка; зато лицо словно из

гранита высечено — такие лица были у пророков и патриархов; так же, наверное, выглядели святые, думал Док. Из обтрепанных рукавов голубой рубахи торчали руки — узловатые, как виноградная лоза; ладони одеты коричневым панцирем мозолей, иссечены порезами ракушек. В левой руке ясновидец держал дряхлые кеды. Видя, что Док смотрит на них, он сказал:

— Я их надеваю, когда захожу в море, — ракушки очень острые, приходится защищать ногу.

— Гаруна, — сказал Док, невольно смягчаясь, — посещали джинны, а также духи земли, огня и воды. Вас тоже навещают джинны? — и тут же подумал: «Господи, ну зачем я ввязался в этот дурацкий разговор? Надо поскорее сматываться, пока еще можно».

Ясновидец посмотрел сверху вниз в лицо Доку.

— Я живу один, — сказал он просто. — Живу на вольном воздухе. Ночью лежишь: волны плещут, сучья сосновые над головой чудно так чернеют... Конечно, от всего этого — от звуков, от тишины, от разноцветья и одиночества — у меня бывают видения. Да и у кого бы их не было...

— Но ведь вы в них не верите? — Док ожидал услышать в ответ «нет».

— По-моему, — отвечал ясновидец, — вера тут ни при чем. Вы видели, как солнце садится в океан? Какое оно делается плоское, как причудливо меняет очертанья? Неужели вы себе напоминаете, что это иллюзия, вызванная атмосферной пылью и преломлением света в воде?.. Наверное, просто наслаждаетесь красотой. А у вас не бывает видений?

— Нет.

— А когда вы слушаете музыку, разве вам не являются какие-то образы, воспоминания?

— Ну, это совсем другое дело...

— Не вижу разницы, — сказал ясновидец. — Прошу вас, обед готов.

Среди дюн, в местах, где искривленные ветром сосны сдерживают ползучий песок, образуются небольшие глубокие ложбины. В одной из таких ложбинок, в какой-нибудь сотне ярдов от берега, и жил ясновидец. Крохотная долинка была защищена от ветра. Сверху нависали сосновые сучья; душистая хвоя густо устилала песок. Над головами, в вершинах деревьев, гулял ветер, а на дне маленькой чаши было тихо и уютно; под корявыми ветвями постоян-

но царил полумрак. Сосны выжили лишь потому, что все время подлаживались к буйным силам стихии: росли кривыми да коренастыми, вытягивали по ветру руки-сучья, опекали стелющиеся растеньица, которые замедляют ход дюн. Под соснами горел костер, на плоских накаленных камнях, служивших плитой, в закопченных дочерна консервных банках дымилось какое-то варево.

— Рад вас приветствовать в своем доме,— сказал ясно-видец.— Нас ждет чудесный обед.

Из развилки сосны он вынул большую жестянку, извлек из нее батон белого хлеба, отрезал два толстых ломтя. Потом из мокрой корзинки достал несколько морских ежей, расколол их о камень, положил на хлеб их гонады

— Самцы сладкие, самки кислые. Я их смешиваю.

— Да, я их пробовал,— сказал Док.— Этот продукт очень богат белком. Итальянцы их едят. Говорят, они содержат вещества, усиливающие половое чувство.

Есть люди, которых никаким умным трепом не собьешь. Ясновидец был непобедимо прост.

— Теперь,— промолвил он,— попробуем вареных моллюсков. У меня есть булавка, чтоб удобней подцеплять. А морскую капусту вы любите? У нее изысканный вкус. Еще у меня есть сборная похлебка — нечто вроде буйабес¹. Не буду говорить из чего — догадайтесь сами.

— Я вижу, вы добываете всю пищу из моря?

— Нет, не всю. Хорошо бы, конечно... Жить было бы тогда проще. Я полностью получаю из моря свой белок, но уввы, мой грешный желудок не может без крахмала. Я ем немного хлеба и картофеля. К морской пище хорошо что-нибудь кислое — у меня есть уксус и лимоны. Балуюсь и пряными травами — розмарином, тимьяном, шалфеем, душицей...

— А как же сахара? — спросил Док.— Ведь в море их нет?..

Ясновидец потупился и несколько времени наблюдал за черным муравьем, который тщетно пытался преодолеть песчаный завал — песок осыпался у него из-под лапок. Наконец выговорил тихо:

— Я краду в магазине леденцы,— чувствовалось, что ему очень стыдно.— Ничего не могу с собой поделаться...

¹ Французское блюдо — рыбная похлебка с чесноком и пряностями.

— Плоть немощна...

— Это меня не волнует. Аппетит — вещь хорошая. Чем больше у человека желаний, тем он богаче. Но я ненавижу воровство. Меня учили, что воровать грех. Как стащу леденец, чуть не плачу от стыда. Все удовольствие пропадает. А я так люблю леденцы «Ребьячья нежность»...

Они ели моллюсков, подцепляя их из раковин булавками и окуная в лимонный сок; потом похлебку — месиво из мидий, моллюсков, крабов и мелкой рыбешки, приправленное чесноком и розмарином. («Не всем это нравится», — сказал ясновидец.)

Поев, Док улегся на ковер из сосновых игл, закинул руки за голову. Ему было хорошо и покойно. Чистый воздух, мягкая сосновая подстилка... Густой запах хвои, водорослей и матэ... Пение ветра в кронах сосен... К Доку вернулся прежний душевный лад.

— Удивляюсь, — сказал он лениво. — Отчего вас до сих пор не посадят? Мы живем в такое время, что всех, кто не бегают, не суетится, считают опасными. Ну а если человек к тому же не верит, что близится конец света, — это уж и вовсе подозрительно.

— Близится-то он близится, — сказал ясновидец. — С первого дня творенья...

— Нет, правда, отчего вы до сих пор не за решеткой? Подумать только, человек счастлив без житейского хлама! В нашей стране это преступление.

— А меня и сажали — несколько раз. Кроме того, время от времени меня берут на обследование.

— Ах да, — сказал Док. — Вы ведь сумасшедший?..

— По-видимому, — сказал ясновидец. — Но я не опасный сумасшедший. А с леденцами меня ни разу не поймали! Я ворую ловко. И никогда не беру больше одного.

— Только не вздумайте собирать вокруг себя учеников, — посоветовал Док. — А то вас распнут как миленького.

— О, это мне вряд ли грозит. Я никого ничему не учу.

— Вот в этом я не уверен, — сказал Док. — Беда нашего проклятого времени в том, что хочешь не хочешь, а ввязываешься в жизнь общества. Может, вы и не проповедуете никаких антиобщественных идей. Зато ваше житие почище всяких проповедей.

— Просто я лентяй,— сказал ясновидец.— Вы когда-нибудь пробовали парагвайский чай матэ?

— Нет.

— Сейчас попробуете. Он крепок и ароматен. От него немного слабит. Вы не возражаете, если я вам его подам в пивной бутылке?

— Ничуть.

— Пожалуйста. Осторожно, бутылка горячая. Прихватите прутиком.

Немного погодя ясновидец спросил:

— Что все-таки вас гложет? Или вы не хотите об этом говорить?

— Эх, кабы я сам знал...— вздохнул Док.— По правде говоря, сейчас отлегло, не пойму отчего.

— А-а, понятно,— сказал ясновидец.— Вы мне вот что скажите: есть у вас жена, дети?

— Нет.

— А хотите, чтоб были?

— Не знаю. Наверное, нет.

— Знаете,— сказал вдруг ясновидец,— вчера ночью я видел русалку. Если помните, в небе стоял полумесяц, все окутывала легкая дымка. Ночь была не простая — черно-серо-белая,— ночь была цветная! У берега в одном месте есть подводный выступ. Отлив был сильный, вода с него сошла, и обнажилось каменное ложе, выстланное мягкими водорослями. Ну вот, подплыла туда русалка, забила хвостом, как семга на пороге, и взлетела на ложе из водорослей, и давай выгибать свои чуждые белые руки — как будто танцует! Долго я смотрел... Потом вода стала прибывать...

— Она вам, верно, приснилась? Или возникла в вашем воображении?

— Не знаю. Но если я смог такое вообразить, то это прекрасно! Все-таки скажите, чего вы хотите от жизни?

— Как бы это лучше выразить... Я хотел бы все, что перевидал, передумал, все, что узнал,— сжать, связать воедино, очистить от постороннего сора, оставив одну нагую суть, чтобы мне наконец явился смысл вещей. Пока же у меня это не выходит...

— Может, вы к этому не готовы? А может, вам нужна помощь?

— Помощь?

— Есть вещи, которые человек не может делать один. Я бы, например, не отважился ни на что такое большое без...— он примолк.

Волны тяжело бились о берег; облако, превратившееся в лучах заходящего солнца в слиток червонного золота, медленно уплывало к востоку...

— Без чего? — спросил Док.

— Без любви,— ответил ясновидец.— Извините, но я вынужден вас покинуть. Мне надо на берег. Кажется, солнце дошло до того места, откуда дальше без меня опустаться не может.— Он поднялся, отряхивая сосновые иголки со своих потрепанных одежд.

— Я к вам еще наведаюсь, хорошо?

— Боюсь, вы меня не застанете,— сказал ясновидец.— Во мне живет беспокойство. Скорей всего, вы меня не застанете.

Док посмотрел ему вслед: ясновидец вскарабкался на край дюны; ветер вздернул поля соломенной шляпы — солнце высветило лицо и позолотило бороду.

11. ТЯЖКИЕ ДУМЫ ЭЛЕНА

Мак отправился к Доку узнавать день его рождения (кстати, Дока он не застал); другие тоже разошлись по делам. В Ночлежке остался один Элен: он сидел задумавшись в кресле-качалке. Лишь теперь начал он постигать своим неповоротливым умом суть речей Мака: Док не сможет написать книгу! Разумеется, мысль, что Док уже не прежний великий Док, все более овладевавшая жителями Консервного Ряда, была недоступна Элену; он только понимал — с Доком какая-то беда. Испытывать к Доку дружеское презрение он не мог — Док оставался для него величайшим из людей. Если бы у Элена спросили, когда конец света,— он отправил бы за ответом к Доку... Вот почему дума его была не о слабости Дока, а о предательстве друзей, которые усомнились... посмели усомниться в таком человеке!

Элен стукнул кулаком по подлокотнику, вскочил и пошел в заведение Могучей Иды. За стойкой стоял Эдди — Элен скоренько пропустил два виски, а заплатил как за одну кока-колу...

Пройдя между двумя корпусами консервного завода, он очутился на берегу моря. Тут его сочувственное внимание привлекла чайка с перебитым крылом. Он погнался за ней — хотел помочь, — а она поплыла в море и утонула.

Док в беде! Для Элена это было вроде землетрясения; но кто же потрясатель?

Элен брел вдоль прибрежных скал, пока не вышел на пляж Пасифик-Грова. Коричневые от загара юноши стояли на руках перед восторженными девушками; Элен не обратил никакого внимания на эту акробатику. Он поднялся по дороге в город и осмотрел весь нижний этаж универсального магазина Холмана. Заведующий этажом сопровождал его неотступно — право, такой чести удостаивались немногие посетители. Элен был так задумчив, что даже не остановился у любимой витрины с блестящим слесарным инструментом...

Еще бы, разве можно, вырвав у человека почву из-под ног, ожидать, что он поведет себя нормально? На обратном пути Элен проходил мимо похоронного бюро; как раз собирались кого-то хоронить. В другую пору Элен с великой охотой присоединился бы к процессии. Теперь он смотрел равнодушно, как выносят все новые и новые венки — и ни малейшего участия не пробуждалось в душе его... Покойник мог проститься с мыслью, что Элен почтит присутствием его пышные похороны...

В Новом Монтерее Элен, вместо того чтоб обойти дерущихся собак, проложил дорогу прямо сквозь свору.

Все вышеописанные поступки немало бы обеспокоили его друзей, но если б друзья узнали его мысли, то попросту бы устрашились.

Мыслить — вообще не просто. Для Элена же это был сущий подвиг. Разрозненные образы, обрывки воспоминаний, отдельные слова, осколки фраз толклись беспомощно у него в голове. Ни дать ни взять автомобильная пробка на бойком перекрестке: машины фырчат, сигналият, а Элен стоит посередке, размахивает руками — направо, налево, прямо — куда там, не разъехаться...

Добравшись до Консервного Ряда, Элен не пошел в Королевскую ночлежку, а улегся под черным кипарисом на пустыре, улегся по старой памяти: прежде, до Ночлежки, он много лет жил под этим деревом...

Мысли Элена не отличались сложностью. Спасибо, что

они вообще были!.. Элен любил Дока. У Дока какая-то беда. Кто же виноват? То, что виноваты могли быть обстоятельства, а не люди, было выше понимания Элена. Надо спасти Дока, пускай даже для этого понадобится убить того, кто портит ему жизнь. Лишить человека живота Элен бы не убоился — до этих пор он никого не убил только потому, что не было нужды и соответствующего настроения... Что там говорили про доково несчастье? Ничего конкретного, все растекается. Хотя стоп, Мак сказал, что Доку ни за что не написать книжку. Вот оно! Неужто Мак? Раз Мак так в этом уверен, значит, он и навредил? Да, как ни грустно, все сходилось на Маке. Мака Элен тоже любил, поэтому подумал: может, еще сговоримся по-доброму, не придется убивать?..

Под кипарисом становилось темно, так темно, что уж и читать нельзя (Элен всегда судил о свете по тому, можно ли читать, хотя книжек и в руки не брал). Зажегся фонарь над парадным входом в «Медвежий стяг». У Дока света не было. С холма, из окон Королевской ночлежки, лился тусклый свет керосиновой лампы... Снова и снова Элен пробовал вернуться к сладкому бездумью, да не тут-то было. В голове неотвязно вертелось: «Мак виноват. Пускай все исправляет!»

Элен встал, отряхнулся от кипарисовых чешуек и направился домой. Он прошел вдоль ржавых труб, пересек колею железки, вот и родная тропка. Издалека, приглушенные корпусами консервного завода, долетали звуки трубы Какахуэте. Мальчишка играл «Шторм на море», и морские львы у Китайского мыса вторили ему лаем.

В Ночлежке вовсю шла игра в крестики-нолики. Играли на полу. Поблизости, чтоб далеко не ходить, стоял кувшин с вином.

— Вот и Элен,— сказал Мак.— Причаливай.

— Мак,— грустно сказал Элен,— пойдем выйдем...

— Что-что? — не понял Мак.

— А то, что ты сейчас огребешь!

— За что?

Этого вопроса Элен боялся больше всего. Как бы половчее ответить?

— Пойдем, там узнаешь.

— Элен, детка, что с тобой? — спросил Мак с ласковым участием.— Скажи, может, я чем помогу.

Элен почувствовал, как улетучивается его решимость.

— Что ты сделал с Доком?! — заорал он иступленно. — Кого хочешь, а Дока не тронь!!!

— А что я сделал? — удивился Мак. — Ничего я не сделал. Ну, разве раскрутил на доллар-другой, так ведь мы все из него деньги тянем. Помнится, и ты как-то раз...

— Зачем сказал, что ему не написать книжку?!

— Так ты об этом?

— А то о чем. Ишь как ты сразу забоялся!..

— Ладно, забоялся, забоялся, — облегченно сказал Мак. — Другой раз не забоюсь... Сядь отдохни. Отпей глоток из кувшина...

Все бросились приголубливать Элена. Он расчувствовался и чуть не плакал. Но все равно не мог забыть о несчастном Доке.

— Вы должны ему помочь, — твердил он. — Вы же знаете, как он мается. Помогите ему!

— Понимаешь, не в нас тут дело, — сказал Мак. — Вся беда в том, что он дал сомнению, аки червю, угнездиться в душе своей.

— Вот-вот, золотые слова, — подтвердил Уайти II.

— Отговорки, — мрачно сказал Элен. — Надо что-то делать...

Мак подумал, подумал, потом сказал:

— Ребята, а ведь Элен прав. Какие мы эгоисты! Самому лучшему другу не хотим помочь. Стыд! Спасибо, Элен — открыл глаза... Если б случилась беда со мной, хотел бы я, чтоб Элен был рядом. Советчик из него, может, и никудышный, зато он настоящий друг, никогда не предаст!

Элен в растерянности склонил голову набок. За свою жизнь он слышал так мало похвал...

— Вношу предложение, — продолжал тем временем Мак. — Встанем и выпьем за здоровье Элена — благородной души!

И все друзья — Мак, Эдди, Уайти I и Уайти II — встали и обступили Элена, и каждый по очереди выпил за него, лихо отставив локоть. Всем стало так хорошо, что захотелось еще... На третий раз Элен не выдержал:

— А нельзя... за что-нибудь такое выпить, чтоб и мне с вами?

— За Пасифик-Гров! — радостно провозгласил Эдди.

Лед был сломан. Всех охватило благорасположение. Пришлось почать очередной бочонок из погребов Эдди. Эдди вынул пробку, чутко принюхался.

— Как же, как же, помню... Я сюда слил из абсентовой бутылки, мексиканцы не допили...

— Аромат-то, аромат,— сказал Мак.— Аж на всю комнату...

Чувство было такое, будто вернулись старые добрые времена. Вот если б еще Гай был здесь! Выпьем за старину Гая, за ушедшего друга!

Абсент, смягчивший вкус смеси, сообщил ему вместе с тем что-то невыразимо сладостное и старинное. И в обитателей Ночлежки словно вселился дух старинного джентльменства. «Только после вас»,— говорили они друг другу, прикладываясь ко вновь наполняемому кувшину.

— Вот будут у нас деньги, пойдем к Уолворту, купим наконец стаканы! — сказал Мак.

— Какие к черту стаканы! Мы же их перекокаем,— сказал Уайти II.— Но мне нравится твоя мысль!

Все вдруг осознали, что наступил один из тех моментов, когда история словно приостанавливается, выбирая, каким путем двигаться дальше. Осознали, что будут вспоминать эту ночь как начало новой эпохи. В такие минуты людей тянет к ораторству.

Мак утвердился, прислонясь к плите, и постучал по вытяжке — тише, мол!

— Джентльмены! Давайте поклянемся вытащить Дока из бездны отчаяния, в которой он пребывает...

— Помнится, как-то раз мы уже хотели сделать ему добро...— осторожно сказал Эдди.— Помните, как за лягушками ездили?..

Но Мак был безмятежен:

— Где нам было тогда — молодозелено. А теперь мы все продумаем — чтоб не оплошать!

Элен пребывал в умилении — вернулись старые дружные времена! — и речь его стала счастливо-бессвязной.

— За Пасифик-Гров,— уже в который раз повторял он.

Мак откинул дверцу плиты и сел на нее.

— Долго я думал,— сказал он,— все последние дни только и думаю...

— Ну, конечно, на что ты еще способен,— сказал Уайти II.

— Есть у меня одна идея...— продолжал Мак, не обращая на него внимания.

— Не мешай, дубина,— сказал Эдди.

— Это ты кому? — спросил Уайти II.

— Так, никому,— невинно отвечал Эдди,— но коль уж ты отозвался...

— Есть у меня одна идея... если вы, конечно, в состоянии воспринимать,— важно сказал Мак.— Предупреждаю, она может прийти вам не по нутру. Все же обдумайте ее серьезно, поменьше эмоций... По-моему, Доку нужна жена...

— Что?! — вскричали все разом.

— Ну, жениться-то не обязательно,— поспешно поправился Мак,— сами понимаете...

Если бы не абсент, размягчивший ребят, быть бы Маку битым!

— Прошу не перебивать,— возвысил голос Мак.— Взглянем на проблему брака в масштабах страны. Почему у нас столько разводов? Да потому, что мужики выбирают себе жен сами! Вот и женятся на ком попало.

— По-моему, безопасней вообще не жениться,— сказал Уайти II.

— Что делать, не все могут удержаться от этого шага,— сказал Мак.— В общем, обдумайте, утром скажете.

Элен потянул Мака за рукав.

— Ты не шутишь?

— Нет, не шучу.

— А знаешь, что я с тобой сделаю, если с Доком что-нибудь плохое выйдет?

— Да,— сказал Мак,— догадываюсь. И поделом мне тогда...

...Все другие обитатели Королевской ночлежки давно уgomонились, а Элен долго лежал без сна. Его кровать, помимо ножек, имела четыре жидких столбика, покрытых стеганым одеялом на манер балдахина — однажды он увидел такую в кино и потом смастерил по памяти. Элен лежал, глядел на стеганые узоры. Голова шла кругом. Неужели нельзя помочь Доку как-нибудь проще, без этой чертовой женитьбы?.. Он пробрался к двери, выглянул наружу — у Дока в окне горела лампа с зеленым абажуром.

— Бедняга,— прошептал Элен.

Плохо спалось ему в эту ночь; снились ему громадные поганки...

12. ЦВЕТOK НА ПОЧВЕ КАМЕНИСТОЙ

Джо Элегант, повар в «Медвежьем стяге», был молод, тощ и бледнолиц. Он носил прямую челку, курил заграничные сигареты, вставляя их в длинный мундштук из слоновой кости, и любил придавать лицу сатирическое выражение. Воздушные пирожные его изготовления не имели равных в мире, так же как и массаж, который он делал девочкам перед субботним нашествием матросов. Джо видели только в завтрак, обед и ужин, остальное время он укрывался в маленькой пристройке, где были кухня и его комната. За полночь оттуда доносился грохот пишущей машинки.

Как-то утром Сюзи села пить кофе; Джо Элегант вытирал столы.

— Хороший у тебя кофе,— сказала Сюзи.

— Спасибо за комплимент.

— Странно, что ты работаешь в таком заведении...

— Не волнуйтесь, это временное пристанище.

— Слушай, у меня есть отличный рецепт, как готовить гомбо¹. Хочешь дам?

— По вопросам меню — к Фауне.

— Не очень-то ты приветливый!

— А почему я должен быть приветливым?

Он как раз поравнялся с Сюзи. Сюзи быстро протянула руку, запустила пальцы ему за воротничок, потащила вниз — приблизилось моргающее лицо Джо.

— Ну ты...— начала она, потом опомнилась, разжала пальцы: «Тьфу, черт...»

Джо Элегант поспешно отступил — потирая горло, разглаживая воротничок.

— Прости, пожалуйста,— сказала Сюзи.

— Ладно уж...

— Сам виноват. Почему ты такой злой?

— Сами видите — эта жизнь не для меня...

— Какая ж тебе жизнь нужна?

— Боюсь, вы не поймете.

— Ты что, лучше других?

— Да нет. Просто не такой как все.

— Это уж точно,— усмехнулась Сюзи.

— Я пишу роман.

¹ Г о м б о (бамия, гибискус съедобный) — травянистое растение, незрелые плоды которого употребляют в пищу.

- Да ну! Про что? Дашь почитать?
- Вряд ли вам понравится.
- Это почему?
- Непонятно будет...
- Зачем же писать, если непонятно?
- Я пишу не для широких масс.
- Ух ты, здорово сказал! Значит, я — широкие массы? Ты, наверное, и пишешь здорово?..
- Джо Элегант сглотнул, держась за горло.
- Я вам как-нибудь почитаю отрывки.
- Ладно. Но ты же сказал, я не пойму...
- Ничего, я буду объяснять по ходу дела.
- Хорошо, а то я такая бестолковая...
- Скажите, вы любите шоколадное пирожное с орехами?
- Ага.
- Тогда я испеку. Может, зайдете как-нибудь ко мне? Чаю попьем...
- Конечно, зайду. А ты хороший парень, Джо. Кофейку не осталось?
- Сейчас свежий сварю.

13. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ

Док провел бессонную ночь. Голова пухла: желтые блокноты, ясновидцы, осьминоги!.. В другое время он сел бы в бессонье работать, или почитал бы что-нибудь, но теперь, стоит зажечь лампу, — в глаза навязчиво лезут желтый блокнот да строй карандашей...

Когда над заливом занялся рассвет, Док решил: нужно проветриться, совершить длительную прогулку — хотя бы на другой конец полуострова, в Кармел, только не прямой дорогой, а в обход, берегом моря. Он встал, зажег свет (в лаборатории было еще темно), сварил кофе...

Разглядев, что у соседа свет, Могучая Ида поставила в полиэтиленовую сумку бутылку с коричневым напитком без опознавательных знаков, вышла из кафе, пересекла улицу и постучалась к Доку.

- Док, ты не мог бы взять пробу?
- Что это хоть такое? — спросил Док.
- Говорят, виски. Мне важно, чтоб никто от него не

помер. В Сосновом каньоне делают, предлагают дешево большую партию.

— Но это же против закона...

— А если кто умрет, это по закону?

Вот и выбирай между подпольной торговлей и убийством. Вечно меня втягивают в какие-то аферы, грустно подумал Док. Преступлением это не назовешь, но и хорошим делом тоже.

Он быстро произвел химический анализ:

— Конечно, не яд, но на пользу вряд ли кому пойдет... Есть толика сивушного масла. Но в общем, не намного хуже «Старой тенисовки».

— Вот и спасибо. Чем же мне тебя отблагодарить?

— Ну, пришли как-нибудь бутылочку... только не этого напитка.

— Тогда «Старого портного». Сойдет?

— Слушай,— сказал Док.— Я ведь по твоему лицу вижу — еще что-то хочешь сказать. Так говори, не тяни.

— Док, это правда... что у тебя что-то неладно?

— У меня? С чего ты взяла?

— Да вот, люди говорят.

— Что за бред! У меня все хорошо!..— сердито сказал Док.— Обхаживают как больного! Ну что, по-твоему, со мной случилось?

— Не знаю, но если понадобится помощь...—только и сказала Ида и поспешно удалилась, нарочно оставив бутылку.

Док взял ее, сделал маленький глоток, скорчил гримасу. Потом отхлебнул побольше. Сердце сердито колотилось. От жалости друзей еще тоскливей на душе. От жалости один шаг до презрения. Док сжал зубы: «Все равно весной поеду в Ла-Джоллу! Все равно куплю новый микроскоп!» А нижний голос шепнул чуть слышно: «Ну хоть бы кто тебя согрел...»

Док сел к столу и, полный злого своеволия, зачем-то написал: «Параллельные прямые пересекаются!» Снова отхлебнул из бутылки и вскрыл вчерашнюю почту. Оклендский политехникум шлет заказ на шесть комплектов препаратов для микроскопа — стадии развития зародыша морской звезды. Слава богу: старая верная работа! Док подхватил ведерки и корзинки, забросил их, вместе с резиновыми сапогами, в свою машину-развалюху и покатил к бухте Большого прилива.

14. НЕЗАДАЧЛИВАЯ СРЕДА

Бывают в жизни незадачливые дни. Хорошая стоит погода или плохая, все равно добра не жди. Люди обычно чувствуют приход такого дня; еще только раскрыв один глаз, понимают — сегодня лучше бы и вовсе не вставать. А когда все-таки встают — есть хочется, да и работать надо, — предчувствия начинают сбываться. Кофе заваривается скверно, шнурки рвутся в руках, чашки самовольно прыгивают с полки на пол и бьются вдребезги. Честные по натуре дети начинают врать; примерные дети скручивают краники с газовых горелок и теряют винты — приходится давать взбучку. Кошка в такой день, как нарочно, приносит котят; собака, приученная к выгулу, вдруг мочится на ковер в гостиной...

Жизнь кажется ужасной... Почтальон доставляет ворох просроченных счетов. Если выглянет солнце, то такое яркое, что впору ослепнуть; если день пасмурный — тоже приятного мало...

Еще с утра Мак почувствовал, что среда будет незадачливой. Проснувшись, битый час не мог отыскать штанов. Направляясь к двери, споткнулся о ящик, который как будто затем и поставили, и долго бранил соночлежников. Шагая через пустырь, он яростно пинал ногами головки одуванчиков; потом уселся на ржавую трубу у дороги и нахохлился. Спустя короткое время показался Эдди — он спешил на работу, в кафе Иды. Разумеется, Мак пошел вместе с ним, надеясь поднять настроение. Долго отирался у бара, ждал, когда Могучая Ида отойдет — Эдди уже держал для него наготове стаканчик, — но Ида как прилипла к стойке — читала письмо из казенного конверта и ворчала:

— Черт бы их всех подрал! Только дела пойдут в гору, нà тебе — налог подскочил... Тебе-то, Мак, хорошо. Не владелец, не рукоделец — никаких забот. Покуда не начнут брать налог за твою собственную кожу — тебе бояться нечего...

— А что, собственно, случилось? — спросил Мак.

— Опять налоги повысили! Городские, да еще окружные...

— Налоги? На что?

— На недвижимость. Вот на этот дом. Все бы ничего,

но я собиралась по кредиту за кофеварочную машину заплатить...

Обыкновенно при подобной жалобе Мак отвлеченно бы посочувствовал, радуясь в душе, что сам не обременен налогооблагаемым имуществом. Но тут его словно по голове ударило: Королевская ночлежка!.. Всю обратную дорогу сердце щемило от беспокойства.

Мак улегся на постель и принялся восстанавливать в памяти историю Ночлежки. Значит, так. Хозяином был Ли Чонг. Но еще задолго до войны они взяли у него этот сарай в бессрочную аренду, за пять долларов в месяц. Не заплатили ни разу (впрочем, Ли Чонг на плату и не рассчитывал). Потом Ли продал дело Джозефу-Марии. А Ночлежка? Вошла ли она в сделку? Неизвестно. Во всяком случае, если Джозеф-Мария и хозяин, то явно сам этого не знает. Иначе давно бы потребовал плату за жилье. Он ведь не Ли Чонг! Но если Ночлежка и вправду записана за Патроном, то ему скоро тоже пришлют извещение о налогах, как Иде. А раз так, он тут же возьмет за горло жильцов. Не такой он человек, Патрон, чтоб платить деньги, а обратно не получать! Захочет получить, да еще и с процентами!

Какая несправедливость! Все разом очутилось под угрозой — кров, безопасность и — какое-никакое! — общественное положение... Что же теперь будет? А ну как Патрон потребует плату задним числом — за все прошлые годы? С него ведь станется... Ну и денек! Не зная, что делать, Мак решил созвать всех ребят на совет. Даже отправил Элена за Эдди...

Мак долго объяснял, что случилось, пока все — включая Элена — не уразумели, какая грозит беда. Ребята были потрясены и тягостно задумались; они чесали в затылке, качали ногой, смотрели в потолок. А Эдди даже встал и заходил вокруг стула — может быть, так скорей осенит?..

Первое предложение внес Уайти II:

— А что если красть у него почту? Тогда он не получит квиток.

— Это не выход, — сказал Мак. — К тому же кража почты — уголовное преступление.

— А если его убить? — сказал Элен.

— Думаешь, меньше, чем за почту, дадут? — усмехнулся Мак.

— Надо подстроить, как будто несчастный случай,— не унимался Элен.— Будто он свалился со скалы в море...

— Все равно, Ночлежка еще к кому-нибудь перейдет. Где гарантия, что новый хозяин будет лучше Патрона?

Впервые в жизни ребята ощутили на себе всю тяжесть и несправедливость отношений частной собственности.

— Может, попросим Дока замолвить за нас словечко? — предложил Уайти I.— Он Дока уважает.

— Не надо, только лишний раз привлечем внимание,— сказал Мак.— Не дай Бог, прибавит плату!

— Да еще вздумает ее требовать...— добавил Эдди.

Сердце Элена наполнилось острой тоской. Он посмотрел на родные беленые стены Ночлежки, увешанные изображениями прелестных любительниц кока-колы, на древнюю плиту, на высокие напольные часы, на портрет известного боксера Джекса в рамке,— посмотрел и заплакал как ребенок, не стыдясь слез.

— Какая же сволочь этот Джозеф-Мария! — сказал он, всхлипывая.— Мы столько труда вложили в Королевскую ночлежку, а теперь он ее отбирает. Мой дом, мое счастье!..

— Успокойся! — сказал Мак.— Ничего он пока еще не отобрал. Поди, и сам не знает, что хозяин.

— Вот если б хозяином был Док! — вырвалось у Эдди.— Мы б тогда забот не знали...

— Док? — быстро переспросил Мак.— Что это тебе вдруг пришло в голову?

— Как что? Док месяцами в почтовый ящик не заглядывает. Он и квиток налоговый заполнить забудет, и плату с нас не спросит.

Глаза Мака засветились:

— Эдди, а ведь ты, кажется, попал в десятку!

— В какую десятку?

— Надо, конечно, все обмозговать...— сказал Мак,— но знайте, ребята: Эдди у нас — гений!

Эдди аж порозовел от удовольствия.

— А что я такого гениального сделал, Мак?

— Отстань, дай подумать...

— Но должен же я знать, что я сделал такого эдакого?

— Наверное, тебя просто осенило свыше,— сказал Мак.— Давайте-ка пораскинем умом: что за личность Патрон. Как по-вашему, он боязливый?

— Нет,— сказал Элен,— он не трус. И башковитый! Мак продолжал рассуждать вслух:

— Что такое Патрон? Патрон — это прежде всего мошенник, причем изрядный...

— И одевается шикарно,— вставил невпопад Элен.

— ...а мошеннику незачем иметь врагов — из города в два счета вылететь можно. Так что, хочешь не хочешь, а всех ублажай, со всеми дружбу води...

— Что ты придумал, Мак? Не томи! — Уайти I ерзал от нетерпения.

— Вот что, ребята,— сказал Мак.— Я погожу вам пока говорить. А то вдруг выйдет пшик — сами же потом меня уважать перестанете. Мне нужно толком все обдумать. Ничего, бог даст, перехитрим Патрона. Но, чур, в этом деле все мне помогайте как один!

— Да что делать-то?!

— Идите пока погуляйте, Мак думать будет,— сказал Мак, улегся на постель, заложил руки за голову и принялся изучать стропила Королевской ночлежки.

Элен тихонько подобрался к нему:

— Ты ведь не отдашь наш дом, правда, Мак?

— Не отдам. Даю слово. Где у нас Эдди?

— На работу пошел.

— Тогда можно тебя попросить?

— Да, что?

— Возьми вон ту банку из-под свиного жира и ступай к Эдди. Пусть он потихоньку нацедит пивка, чтоб мне лучше думалось.

— Ладно, будет тебе пиво. Ты только думай, думай!.. Слушай, Мак, а как это выходит, что Эдди гений, а сам не знает, а я вот тоже не знаю, но я не гений?

— Что-что? — не понял Мак.

— Как выходит, что... — начал было Элен.— А-а, фиг с ним.

15. ТЯЖКО В УЧЕНЬЕ

Фауна была предпринимательница, каких поискать. В былые времена в ее руках приносили доход куда более несуразные заведения, чем «Медвежий стяг». Доверь ей пост председателя правления промышленной корпорации,

она бы и там не ударила в грязь лицом — настоящий бизнесмен в юбке. Она была благожелательна, но пальца ей в рот не клади; всегда готова порадеть за общественные интересы, а за свои тем паче; была щедра, когда знала, что за щедрость воздастся сторицей; сентиментальна, но в душе тверда как камень. И, как всякий умный работодатель, Фауна пеклась о своих работниках.

Став хозяйкой «Медвежьего стяга», Фауна оборудовала одно из помещений для культурного досуга. Комната — она так и называлась — Комната досуга — была большая, приятная, в три окна, выходящих на пустырь. Меблировку составляли мягкие кресла и кушетки с обивкой в яркий цветочек. Портьеры гармонировали с мебелью; гравюры на стенах действовали умиротворяюще, не поражая воображения: коровы по колено в пруду, олени, пьющие из горного ручья, собаки в луже... Вид мокрых животных почему-то умиротворяет человеческому глазу... Для активного отдыха Фауна поставила теннисный стол, ломберный столик и столик для игры в триктрак. В общем, в этой комнате можно было расслабиться, почитать, посплетничать, поиграть — что девочки и делали с успехом...

Одна из стенок была целиком занята стендом, на котором красовались звезды из золотой бумаги, составлявшие особую гордость Фауны. В Комнате досуга всегда царил дух веселый и женственный. Нездешний, восточный аромат шел от курильницы, которую держал в закопченных ладонях гипсовый Будда...

...Было примерно без четверти три. Агнесса, Мейбл и Бекки отдыхали в мягких креслах. Вся природа лениво цепенела в этот час. Пустырь был залит мягким и ясным солнечным светом, в котором даже ржавые трубы и старый бойлер казались прекрасны. Высокие мальвы радостно зеленели. Серая, гладкая персидская кошка лениво охотилась в траве за сусликами — ей было совершенно все равно, удастся ли кого-нибудь сцапать.

Мейбл сказала, поглядев в окно на бойлер:

— Я слышала, раньше в этом бойлере жили?

Агнесса, которая красила ногти на ногах и болтала ногами в воздухе, чтоб лак скорее высох, отвечала:

— Да, ты еще тогда у нас не работала. Были тут такие Мэллой, муж и жена. Поселились в бойлере, обжились. Ходили через топку, у порожка постелили половичок,

устроили навес... Забраться внутрь трудновато, зато внутри все чин-чином — самый настоящий дом. Вот что значит жена хозяйшка...

— А почему же они уехали? — спросила Бекки.

— Ссориться стали. Она говорит, хочу занавески. А он — на кой тебе занавески, окошек-то нет! Начнут, бывало, ругаться, а там эхо — так и бьет по нервам. Он кричит: «Эх, врезал бы я тебе, да в этой халупе и размахнуться негде!» Сейчас он в окружной тюрьме сидит — скоро освободят досрочно за примерное поведение. Жена его ждет, работает в Салинасе официанткой. Да, славная была пара. Он, между прочим, в каком-то масонстве состоял...

Мейбл отвернулась от окошка:

— А слышали, нынче к нам из Салинаса приезжают мужики? Клуб Гремучей змеи в полном составе. Сняли наше заведение на всю ночь.

— Как же, слышали. У них вечер памяти покойных членов клуба. Фауна сделала им приличную скидку.

Агнесса задрала ногу, подула на пальцы:

— Ну как, красиво?

— Хорошо! — сказала Бекки. — Эффектно смотрится, как будто гнилое мясо... Слушайте, куда у нас Сюзи запропастилась? Фауна ей покажет, как опаздывать. Сказала быть к трем — значит, к трем!.. Нет, девчонки, чудное все-таки имя Фауна...

— Раньше-то ее Флорой звали, — сказала Мейбл. — И вообще, что это за слово — Фауна? Что оно хоть значит? Сроду такого не слыхала...

— Так называют этих... ну, оленят всяких разных, — объяснила Бекки. — Знаете, я думаю, Сюзи у нас долго не задержится. Странная она какая-то, глаза сумасшедшие. Шатается по городу целый день одна...

— Ого, девочки, уже без двух минут, — сказала Мейбл. — Сюзи лучше поторопиться!

Как только часы пробили три, из своего спального кабинета появилась Фауна. Ее оранжевая грива была схвачена серебристым обручем, что придавало Фауне сходство с небезызвестной общественной деятельницей, недавно опочившей. От всего облика Фауны веяло той изящной непринужденностью, какая рождается лишь в аристократических гостиных и великосветских борделях. Женщина она была

полная, но шла легко и проворно. На руке у ней висела большая корзинка.

— Так, а где Сюзи? — спросила она немедленно.

— Не знаю, — пожала плечами Мейбл.

— Ну-ка посмотри, может, она у себя в комнате?

Мейбл пошла за Сюзи.

Фауна оглядела столик для игры в триктрак:

— Опять играли на деньги?

— Да не играли мы... — начала было отнекиваться Бекки.

— А чьи здесь валяются два доллара? Смотрите, чтоб в Комнате досуга — никаких азартных игр. Другое дело, если посетитель желает сыграть с девушкой кон-другой... Да, еще я замечала — очки на кусках сахара — это уж вовсе безобразие! Запомните, азартные игры — большой порок. Знаете, сколько девушек, таких как вы, с видами на будущее, проматывали это самое будущее в карты? Нельзя отдаваться на волю случая!

— Ладно тебе, Фауна... Ты же сама дуешься в покер... — сказала Бекки.

— Покер — особая статья, там надейся не на случай, а на голову. И вообще, — спохватилась Фауна, — что за слово — «дуешься»! Как это грубо! Грубость, если хочешь знать, создает заведению дурную репутацию. — Тут Фауна извлекла из корзины белоснежную скатерку и постелила на столик для триктрака. Потом достала салфетку, тарелку, разных калибров бокалы, серебро.

Вошли Мейбл и Сюзи.

— Попрошу юных леди впредь не опаздывать! — Фауна вытащила из корзины учительскую указку. — Итак, леди, кто желает отвечать первой?

— Я, — сказала Агнесса. — Я хочу.

— Пошла ты на фиг! — вскричала Мейбл. — Тебя и так прошлый раз спрашивали. Сегодня моя очередь!

— Леди, что за выражения! — Фауна посуровела. — А вдруг бы вас услышал какой-нибудь достойный, но застенчивый молодой человек?.. Ладно, давай ты, Мейбл.

Фауна принялась тыкать указкой в разложенные на скатерти столовые предметы, а Мейбл отвечала, словно школьница, декламирующая стихотворение:

— Устричная вилка... вилка для салата... вилка для рыбы... вилка для поджарки... вилка для острых закусок... де-

сертная вилка... супная тарелка... нож для десерта... нож для пикулей... нож для мяса... нож для рыбы...

— Хорошо,— похвалила Фауна.— А это?

— Бокал для воды... для белого вина... для кларета... для бургундского... для портвейна... для бренди...

— Умница! А теперь скажи, с какой стороны не надо ставить салат?

— С левой, а то залезешь рукавом в мясную подливку.

— Вот молодец так молодец! — Фауна была просто растрогана.— Не удивлюсь, если скоро здесь засияет звездочка Мейбл,— Фауна указала на стену.

— А что это за звездочки? — спросила Сюзи.

— Каждая новая звезда означает, что воспитанница «Медвежьего стяга» вступила в законный брак,— гордо объяснила Фауна.— И притом сделала хорошую партию! Вон у той первой звездочки уже четверо ребят, муж у ней управляющий на заводе. Вон та, третья от конца — за президентом Салинасского клуба смелых и умелых, изображала Весну на Празднике деревьев¹... А следующая за ней — еще лучше; состоит в Общественном комитете по морали, поет альтом в церкви... Да, высоко залетели мои птички... Ну-ка, Сюзи, теперь ты.

— Что я?

— Скажи, для чего предназначен этот столовый предмет?

— Вот эта чудная вилка?

— Да.

— Кто ж его знает...

— А ты соберись с мыслями, подумай, что можно есть этой вилкой?

— Так,— сказала Сюзи задумчиво.— Картошки ей много не подденешь... Может, она для пикулей?..

— Нет. Это вилка для моллюсков!

— Фу! — Сюзи аж передернулась.— Я моллюсков не то что вилкой... Я на них и смотреть-то не могу!

— Какая некультуренность! — презрительно сказала Агнесса.

— Сама ты... Сама ты это слово!

— Вот-вот, лишний раз подтверждаешь.

— Слушай, ты... — Сюзи вскочила с места.

¹ Праздник деревьев — весенний праздник, справляемый в большинстве штатов; в этот день сажают деревья и кустарники.

— Немедленно прекратите! — возвысила голос Фауна. — А то обеим надаю по заднице!.. Так, теперь займемся осанкой и походкой. Где у нас книжки?

— Небось, Джо Элегант опять забрал читать.

— Да что там читать? — изумилась Фауна. — Я ведь нарочно выбирала всякую дрянь, чтоб никто не польстился. «Журнал скотовода», да «Гражданский кодекс Калифорнии», да еще какой-то вшивый роман из современных... Ладно, обойдемся корзинкой. Ну-ка, Агнесса, корзину на голову! — Фауна придирчиво осмотрела ученицу. — Итак, леди, послушайте. То, что ноги вместе и бедра на показ — это еще не осанка. Осанка — это состояние души! У женщины могут быть бедра как ведра, но держаться надо так, словно у тебя стопка книг на голове.

В дверь постучали — просунулся Джо Элегант и вручил Фауне записку. Она прочла, заулыбалась:

— Вот ведь какой этот Мак. Небось, и пакость сделает, а все равно на него не сердишься. Неотразимый мужчина, одно слово — джентльмен.

— Что он там натворил? — спросила Агнесса.

— Пока вроде ничего... Вы только послушайте, каков слог: «Мак с ребятами имеют честь просить Вас пожаловать завтра после полудня в гости — на стаканчик винца и для важного разговору. Приглашаются также девочки. R. S. V. P.¹». Мог бы просто крикнуть под окошком, так нет же — «имеет честь просить пожаловать»! Ей-богу, настоящий джентльмен, — Фауна вздохнула. — Жалко, что бродяга, а то бы я какую-нибудь из вас непременно за него сосватала... Значит, так. Завтра у Мака в гостях поменьше болтайте, побольше слушайте. Интересно, что это за важный разговор? Очень может быть, что они просто хотят выманить у нас денег. Так что не умничайте, за всех буду думать и говорить я.

Вдруг Фауна стукнула себя рукой в лоб:

— Господи, чуть не забыла! Джо Элегант испек торт. Верней, не торт, а тортище. Ступай, Сюзи, отнеси его Докку, да еще прихвати четыре банки холодного пива. А то совсем что-то наш Док захандрил...

— Ладно, — сказала Сюзи. — А живот от пива с тортом у него не вспучит?

¹ Répondez s'il vous plaît. — Ждем ответа (франц.) — устойчивая форма, применяемая в конце писем.

— Это уж не твоя забота,— сказала Фауна.

Сюзи ушла.

— С какой радостью я бы поставила золотую звездочку и этой девчонке! Все равно нам от нее никакого проку.

16. ЦВЕТОЧКИ СВ. МАКА МОНТЕРЕЙСКОГО¹

Док выложил на полку десять крупных морских звезд, поставил на столе в ряд восемь лабораторных чашек из прозрачного стекла, наполнил их морской водой до половины. Не слишком склонный к порядку в житейском смысле, Док был педант в лабораторной работе. Приготавливать срезы зародыша морской звезды казалось ему теперь сущим удовольствием. Известная, сто раз деланная работа. Никаких дум. Полная определенность. Черета знакомых явлений. За такой работой отдыхаешь...

Прежний покой вернулся к Доку: на душе был штиль,— легкие ветерки, что срывались порой, не нарушали его. Стихли муки творчества: не стыло сердце в первооткрывательском сиротстве. Тихонько играла пластинка Баха — старые верные фуги, четкие, как уравнения... Работая, Док все больше исполнялся благорасположения. Он снова любил себя — как человека, как личность, как всякую живую душу. Чувство неудовлетворенности, часто отравляющее человеческую жизнь и столь сильно мучившее его прежде, отступило. Верхний голос пел успокоенно и чинно; средний, обыкновенно хриплый и громкий, был едва слышен — ворчал, бормотал, но что — не разобрать. А нижний — тот и вовсе молчал, словно убаюканный теплыми, ласковыми волнами...

Вдруг гремучие змеи забеспокоились в своей проволоочной клетке: подняли головы, заводили в воздухе раздвоенными язычками — и все четыре дружно застрочили гремушками. Теперь уж и Док заслышал шаги, оторвался от работы. Дверь открылась, вошел Мак.

¹ По-видимому, автор шутливо перефразирует общее название народных рассказов об итальянском проповеднике, основателе ордена францисканцев Франциске Ассизском (1182—1226) — «Цветочки св. Франциска Ассизского».

— Это, наверно, новые змеи, ко мне еще не привыкли,— сказал он, посмотрев на клетку.

— Сам виноват, редко заходишь,— сказал Док.

— Да не очень-то меня здесь в последнее время привлекали...

— Прости, старина, я был не в духе. Постараюсь исправиться.

— Ну как твои восьминоги? Будешь еще ими заниматься?

— Пока не знаю.

— Лучше б не надо. А то они тебя совсем замучали.

— Что ты,— рассмеялся Док,— осьминоги тут ни при чем. Просто я отвык думать — вот и мучаюсь.

— Бери пример с меня, я и не привыкал,— сказал Мак.

— Позволь-позволь,— сказал Док.— По-моему, ты думаешь не меньше моего; ты, правда, посвятил свой ум проблемам более микроскопического ранга...

— Как-как? Что-то я таких не знаю. Скажи лучше, что ты думаешь о Патроне, только чур по-честному.

— Что тут думать. Не понимаю я его. Мы с ним очень разные люди.

— Еще бы,— сказал Мак.— Ты честный, не то что он.

— Это ты как специалист утверждаешь? — усмехнулся Док.

— Что за намеки? — обиделся Мак.— Положа руку на сердце, разве я не честный человек? То есть, может, и не честный, но зато по-честному признаюсь! Всем известно, что я — обманщик, и мне первому. Джозеф — тоже обманщик, а сам, поди, не знает...

— Хм, может, ты и прав.

— Так я вот что хотел спросить. Как, по-твоему, понравится Патрону, если у него будут кой-какие неприятности?

— Кому же это понравится.

— Он ведь на Консервном Ряду большой интерес имеет. И со всеми должен ладить, если, конечно, хочет у нас задержаться. Верно я говорю?

— Не пойму, куда ты клонишь?

— Так, просто рассуждаю.

— Ты хочешь сказать, что положение у Патрона — щекотливое?

— Вот-вот. И ему, стало быть, не нужны враги!

— Ну, враги, по-моему, никому не нужны.

— А ему особенно! Ведь у него здесь дело, да еще лавка. Так что...

— А-а!—сказал Док.—Теперь я понимаю! Ты решил Патрона слегка распатронить, и прикидываешь, какая у него будет реакция. Так что же ты собрался у него вымогать?

— Ничего, я просто... соображаю.

— Как же, знаем твои соображения. Раз Мак в затылке чешет — добра не жди.

— Ладно, можно подумать, от меня много зла видели...— обиделся Мак.

— Насчет зла не знаю, а вот добра — точно видели мало.

Мак беспокойно заерзал: не о себе пришел он толковать.

— Слышал, Док, новость? Весь монтерейский гольф-клуб перед первым матчем сезона присягу принимал. Уайти II взяли на этот матч клюшки носить. Все игроки шапки поснимали и поклялись, что не будут заниматься подрывной деятельностью...

— Слава те господи,— усмехнулся Док,— а то я уж волновался... Ну, а клюшечники тоже присягу принимали?

— А как же. Все до одного. Кроме Уайти! Отказался! Я, говорит, человек идеи. Вдруг у меня возникнет идея подорвать Капитолий? Что же мне, становиться клятвопреступником?.. Так его теперь к клюшкам и близко не подпускают.

— Я не пойму, он в самом деле хочет Капитолий взорвать?

— Да вроде нет. Он как говорит: сейчас не хочу, а потом — кто меня знает. Целую речь толкнул. Я, говорит, морская пехота, спаситель отечества — при своем особом убеждении. Указчиков над собой не потерплю.

Доку стало смешно:

— Выходит, если есть убеждения, то даже клюшки нельзя носить?

— Выходит, нельзя. Ему говорят — ты угроза общественной безопасности. А он им: какая я к черту угроза, у меня память насквозь дырявая — обидчика не упомяну. А вообще, надоел ему этот чертов гольф-клуб, разговоры там больно скучные — все про деньги, да про женщин...

— Можешь его утешить: герои всегда страдают от своих сородичей.

— Кстати, о женщинах. Куда делась та богатая краля в мехах? Она ведь раньше частенько к тебе навещалась...

— Да понимаешь, что-то ей последнее время нездоровится.

— Жалко. А что у нее за болезнь?

— Трудно сказать. Не берусь ставить диагноз.

— Вообще-то, с ее деньгами,— пробормотал Мак,— этого следовало ожидать...

— Постой, при чем тут деньги?

— Как при чем? — Мак подивился доковой непонятливости.— Допустим, муж у женщины получает двадцать пять долларов в неделю. Так она здоровехонька. И ребятки на ней, и домашняя работа — все ей нипочем, разве что подустанет иногда... Но стоит мужу получить прибавку к жалованью, долларов хотя бы в двадцать пять, тут же и пойдут у нее простуды, аспирины, витамины...

— Да это прямо-таки новая медицинская теория!

— Какая же она новая? Разуй глаза!.. Слушай дальше. Повысят мужу жалованье до ста долларов в неделю. И что же? Женушка тут же выпишет журнал «Тайм» и вычитает себе какую-нибудь диковинную болезнь, там ведь про это на каждой странице. Есть, между прочим, женщины с такими болезнями, что знаменитые доктора только руками разводят! Сейчас самая модная болезнь — алергэя. По-нашему, по-простому, раньше ее сенной лихорадкой звали. Кстати, гениальная голова эту самую алергею придумала — я бы сразу патент выдал! Как захочешь от работы отвилиться, сразу говоришь: у меня на эту работу алергея. У некоторых женщин алергея на грязную посуду — чтоб не мыть... В общем, так скажу: стоит мужчине прилично зарабатывать, тут же дома лазарет...

— Мак, ты циник.

— Почему? Я правду говорю. Покажи мне хоть одну женщину, у которой муж хорошо зарабатывает, и чтоб она была здоровая...

Док хмыкнул.

— Значит, вот какой диагноз ты моей подруге поставил.

— Не знаю, не знаю,— сказал Мак.— У нее особый случай. Тут ведь не просто деньги. Тут большие деньги! А раз так, то и болезнь надо не как у всех, а какую-ни-

будь непонятную. Таковую, что одной английской солью не отделаешься. Пойдет она, милая, по докторам. Обступят они ее, в затылках почешут, руками разведут — мол, первый такой случай в нашей практике...

— Ну, спасибо, Мак, потешил,— Док смеялся от души.— Давно не слышал я твоих речей...

— Скажи уж, не слушал. Ладно. А вот как ты думаешь: доктора, они люди честные?

— Что за странный вопрос?

— А то, что я не хуже их мог бы богачек лечить!

— Это как же?

— А вот так. Во-первых, я нанимаю себе ассистента, глухонемого. Работа у него важная: сиди, помалкивай с умным видом. Во-вторых, покупаю бутылку горькой соли, развожу и разливаю в маленькие флакончики с притертой пробкой. Получается шикарное лекарство под названием... допустим, «Лунная пыль». За каждую чайную ложку я бы брал по тридцать долларов,— принимать внутрь у меня в кабинете. А еще я бы придумал специальный аппарат — кресло с разными блестящими трубочками и с разноцветными лампами. Сажаешь туда женщину, пристегиваешь ремни, включаешь — и начинает ее в этом кресле вихлять!.. Полчаса — двенадцать долларов. А вихляет ее так, как она сама бы могла — если б, скажем, дома белье стирала. Вот бы я всех богачек и вылечил. И сам бы, глядишь, разбогател... Они, конечно, через неделю снова какую-нибудь хворь найдут, но и я к тому времени что-нибудь новенькое придумаю. Скажем, пилюли — смесь снотворного с возбуждающим, чтоб ни туда и ни сюда!..

— Слава богу, что у тебя нет врачебного диплома,— сказал Док.

— Это почему?

— Действительно, почему? — удивился вдруг сам Док, не находя аргументов.— Постой, а как насчет профилактики заболеваний?

— Как сделать, чтоб они не болели?

— Вот-вот.

— Да очень просто. Не приноси домой ни гроша.

Док помолчал, посмотрел на морских звезд — между лучами проступала семенная жидкость.

— Слушай, Мак. Тебе, наверное, от меня что-нибудь надо, раз пришел?..

— Вроде нет. Может, и было надо, да я уж забыл. Я главное рад, что у тебя все прошло.

— Что прошло?

— Ну, эта... восьминожья болезнь.

— Рад, говоришь! — рассердился Док. — Так знай же — все равно будет по-моему! Книжку — умру, а напишу! Мне бы только в Ла-Джоллу добраться, к весенним приливам!

— Хорошо, хорошо, — испуганно проговорил Мак. — Пусть будет по-твоему.

Вернувшись в Королевскую ночлежку, Мак сказал ребятам:

— Эх, показалось мне поначалу, что дело на поправку пошло. А потом... — Мак махнул рукой. — В общем, нельзя ему писать эту чертову книжку...

17. ОКРУТИЛА!

Поступь у Сюзи была легкая. Сюзи взошла на крыльцо Западной биологической и постучала, — а змеи даже не застрочили трещотками.

— Войдите! — крикнул Док, не отрываясь от микроскопа.

Сюзи стояла в дверях, на ладони тарелка с диковинным, красивым тортом, в другой руке — бумажный пакет с банками пива.

— Добрый вечер, — сказала она церемонно.

Док поднял глаза.

— А-а, здравствуйте. Боже, это еще что?!

— Торт. Джо Элегант испек.

— Зачем?

— Наверное, Фауна велела.

— Что ж, я надеюсь, тебе он будет по вкусу.

Сюзи рассмеялась:

— По-моему, этот торт не для еденья, а для гляденья... Вот еще Фауна пива прислала.

— Это уже лучше, — сказал Док. — Так чего Фауне от меня надо?

— Ничего.

— Странно.

— Куда поставить торт? — спросила Сюзи.

Тут Док посмотрел на Сюзи, а Сюзи на Дока, и обоим в голову пришла одна и та же мысль — а торт-то похож на свадебный! — и они принялись хохотать. У Сюзи аж слезы выступили на глазах. «Ой, мамочка, не могу», — повторяла она, всплескивая руками и зажмуриваясь. Док закидывал голову, хохотал раскатисто, шлепал себя по коленкам. И так им было хорошо смеяться, что они нарочно еще долго не унимались.

— Ой, мамочки, — сказала Сюзи, — глаза хоть вытереть. — Она поставила торт на клетку с гремучими змеями — комната наполнилась истошным треском. Сюзи в испуге отскочила в сторону.

— Что это?!

— Гремучие змеи.

— Для чего ты их держишь?

— Беру яд на продажу.

— Ни за что б не стала жить в одной комнате с этими грязными тварями.

— И вовсе они не грязные. Они даже меняют кожу, в отличие от людей.

— Все равно, ненавижу змей, — Сюзи передернулась.

— Ты так говоришь оттого, что их не знаешь.

— И слава богу, что не знаю. Грязные, мерзкие!

Док откинулся на спинку стула, положил ногу на ногу.

— Интересно у тебя получается, — промолвил он. — Змеи — одни из самых чистоплотных животных, а ты их называешь грязными. Почему?

— Сказать почему?

— Сделай милость.

— Потому что ты плохо говоришь о Фауне.

— Постой, — сказал Док. — При чем здесь... Да и не говорил я о ней плохо!

— Говорил. Ты сказал, раз Фауна шлет гостинцы, значит, хочет чего-то. А она просто так, из добрых чувств!

— Ага, понимаю. — Док медленно кивнул. — И ты в отместку называешь змей грязными?

— Угадал. Никому не позволю честить Фауну.

— Да я же просто пошутил.

— Мне так не показалось.

— Слушай, — сказал Док, — мы с Фауной лучшие друзья. Так что давай выпьем пива на мировую.

— Хорошо, — сказала Сюзи, — только прежде повк-

— Ладно. Передай Джо Элеганту, что торт потрясный...

— Еще бы, смотри, сверху — зефир с шоколадной глазурью.

— А Фауне передай, что если б не ее пиво, я бы погиб от жажды.

— Ну хорошо, коли так. — С лица Сюзи сошло напряженное выражение. — Где открывалка?

— Сзади тебя, в раковине.

Сюзи открыла две банки пива, приблизилась к рабочему столу Дока.

— Что это ты такое делаешь?

— Препараты. Видишь стеклянные чашки? В них я кладу сперматозоиды и яйцеклетки морских звезд. Через полчаса умертвляю зародышей в одной чашке, еще через полчаса — в другой, и так далее. А потом делаю срезы и помещаю вот на такие длинные предметные стеклышки. На каждом стеклышке представлен весь цикл развития зародыша.

Сюзи склонилась над чашками.

— Ничего не видать.

— Конечно. Они слишком крошечные. Могу показать под микроскопом.

Сюзи выпрямилась.

— И зачем ты все это делаешь?

— Для студентов. Им нужно изучать, как развиваются морские звезды.

— А для чего это изучать?

— Видишь ли, люди развиваются фактически так же.

— Ну и изучали бы людей.

Док рассмеялся:

— Тут небольшая загвоздочка — трудновато каждые полчаса убивать человеческого зародыша у матери в утробе... На, взгляни. — Он подвинул стеклянное блюдо под микроскоп.

Сюзи приникла к окулярам.

— Ух ты! Неужели я когда-то такая была?

— Да, что-то в этом роде.

— Знаешь, — улыбнулась Сюзи, — я и сейчас иногда себя такой чувствую... Ну и чудная у тебя работа — личинки, червяки...

— Бывает, между прочим, и почуднее, — не удержался Док.

— На меня намекаешь? — Лицо у Сюзи сделалось черствое. — Работа моя не по нраву?

— По нраву, не по нраву, какая разница. Грустно, правда, что этим заменяют любовь. Неполюбовенная замена. Неприкаянное существование...

Сюзи подбоченилась.

— Жалеешь? Себя лучше пожалей! Как ты сам-то живешь? Со змеями да с личинками? Дом весь запаршивел. Пол сто лет не мыт. У тебя и костюма-то, поди, приличного нету. И жрешь, небось, одну сухомятку... Работу выискал — личинок разводить. Это, по-твоему, хорошая жизнь?

— Замолчи, — сказал Док, заражаясь злостью Сюзи, — как хочу, так и живу! Я человек свободный — поняла? Что хочу, то и делаю.

— Ну и что у тебя есть, с твоей свободой? Жуки, змеи, да дом загаженный? Не иначе как тебя баба какая-нибудь бросила, — вот ты и маешься, не знаешь, куда себя деть. Ну скажи, есть у тебя жена? Нет! А девушка? Тоже нет!

— На кой мне жена! — Док сам удивился, что кричит. — У меня женщин и так хоть отбавляй!

— Женщины — это одно, а женщина — совсем другое, — сказала Сюзи. — Можно все знать о женщинах вообще и ничего — о той, единственной.

— Ну и не надо. Я и так счастлив.

— Счастлив? — хмыкнула Сюзи. — Рохля! Раз тебя никакая баба к рукам не прибрала, значит, ты никому не нужен. Да и кто захочет жить с тобой в этом хлеву, с червяками да со змеями?

— Сказала бы уж, кто захочет со мной в постель, если у меня платить нечем, — резанул Док.

— Нет, вы только посмотрите, какой умник, — процедила Сюзи. — Умник-разумник. Все-то у него в жизни ладится... Ты вроде бы сочиняешь какую-то великую книжку?

— Откуда ты знаешь?

— Про это все знают. И все у тебя за спиной потешаются. Хочешь знать, почему? Потому что все видят, ты сам себя дурачишь, никакой книжки тебе не написать. Сидишь, играешь в бирюльки...

Пустив эти слова, словно стрелы, Сюзи увидела, как они вонзаются Доку в душу, — и сердце ее наполнилось болью и стыдом.

— Господи, зачем я только это сказала? Ну зачем?..

— Что ж, может, и верно,—спокойно проговорил Док.—Может, ты ухватила самую суть. Скажи, надо мной и вправду потешаются? Скажи... Как тебя...

— Сюзи.

— Скажи, Сюзи, потешаются?..

— А ты не обращай внимания, они просто дураки,—сказала Сюзи.—И я дура, наболтала всяких глупостей. Ты, пожалуйста, не обижайся.

— Ничего. Правда — это всегда хорошо. Даже когда колется. Человек должен знать о себе всю правду.—И, словно отвечая самому себе на какой-то вопрос: — Да, пожалуй, она права. У меня действительно ничего нет за душой. Вот я и придумал — чтоб заполнить пустоту,—буд-го пишу книгу. И сам в эту небывальщину поверил. Я — ничтожный дурак, а возомнил себя великим мудрецом...

— Ну все, теперь Фауна меня убьет,—простонала Сюзи,—отбивную из меня сделает... Док, ты не верь, пожалуйста... мало ли что шлюха наболтает...

— Какая разница? Правда в любых устах хороша.

— Никогда еще себя такой тварью не чувствовала,—сказала Сюзи.—Почему ты на меня не злишься?

— А за что мне злиться? Может, ты доброе дело сделала — положила конец этой ерунде. Раздавила глупость в зародыше.

— Ну, пожалуйста, рассердись на меня,—взмолилась Сюзи.—Ну хочешь, ударь!

Док усмехнулся.

— Если б от этого прок был...

— Что ж, тогда ничего другого не остается,—печально проговорила Сюзи, и тут же с издевкой: — А, значит, гордый! Кем ты себя мнишь? Хлюпик несчастный!

Послышались проворные шаги, дверь отворилась. Это была Бекки:

— Сюзи! Ты опаздываешь. Уже мужики из Салинаса приехали. Пошли живо! Не забудь надеть свое томатовое платье.

— Между прочим, цвет называется «помдамур»,—тихо сказала Сюзи.—Пока, Док,—и вышла вместе с Бекки. Док посмотрел ей вслед.

— Пожалуй, это единственный правдивый человек, который мне в жизни попался...—сказал он громко сам себе.

Потом нечаянно взглянул на стол и зарычал: — Черт подери! Из-за нее время прошляпил! Вот зараза. Придется все снова переделывать. — И он выплеснул содержимое чашек в помойное ведро.

18. В ЧАС ДОСУГА

Одним из важных и ценных обычаев, заведенных Фауной в «Медвежьем стяге», был обычай собираться в Комнате досуга перед сном, для отдыха и раздумий. Здесь также разбирали жалобы, улаживали ссоры; все до последней заботы представлялось на общий суд: вместе решали, такова ли печаль, чтоб горевать, такова ли радость, чтобы веселиться. Сообща, с профессиональным тактом выносили друг другу похвалу или порицание, давали мудрые советы. Фауна руководила беседой, возвращая в воспитанницах душевную доброту, которая, как известно, — мать покойного сна. Нередко в Комнату досуга подавались легкие закуски; воспитанницы пели хором различные песни, в зависимости от настроения — «Дом родной», «Бравый Черный Джо»¹, «Страдная пора», а то и что-нибудь из «Прекрасной мельничихи»... Полувахта в Комнате досуга врачевала расстроенные нервы и усталые мышцы.

Вечер памяти покойных членов Клуба Гремучей змеи оказался нелегким для воспитанниц Фауны (не хватало двух девушек: Элен и Уистерия отбывали двухмесячное тюремное наказание за драку, которую между собой учинили и о которой до сих пор с восторгом вспоминает Консервный Ряд). Удалился последний «змей», — парадный вход заперли... Девочки устало прибрели в Комнату досуга, плюхнулись в кресла, скинули туфли.

— Слышь, подружки, — сказала Бекки. — Один «змей» сказал, что у нас приют благородных девиц и что мы местная достопримечательность.

— Да уж, еще парочка таких, как Сюзи, и у нас точно будет приют, — ядовито заметила Агнесса. — У меня дядя служил в приюте. Работка — не приведи господи. Кстати, где Сюзи?

¹ Ч е р н ы й Д ж о — прозвище генерала, героя войны Севера и Юга.

— Вот она я,— сказала Сюзи, появляясь в дверях.— Пластинки колотые из музыкального автомата вытаскивала... Что-то я устала, прямо с ног долой. Пора на боковую!

— Ты что, с ума сошла? — удивилась Мейбл.— Ведь нам еще Фауна не сказала баиньки. Она тебе такую боковую задаст!..

— Ну и ночка,— вздохнула Бекки.— По-моему, правильно Фауна скостила цену. Шума от них много, аж голова болит, а зачем сюда ходят, они забыли.

— Пока у них свое горючее не вышло, они в рамках держались,— проворчала Мейбл.— А вот когда Могучая Ида им своего нового пойла прислала... Из чего она его только делает, из шила, что ли?

— Помните того коротышку? — спросила Сюзи.— Я думала, его убью, если он еще раз примется рассказывать, как его сынишка червяка лопаткой...

— А, значит, он и тебе рассказывал? «Представляете, мой сопляк, четыре года, разрезал червяка лопаткой и говорит — я лазьезал чилвика...» Нашел, чем удивить. Я понимаю, слона бы разрезал,— тогда б я, может, и послушала...

— А лысый-то, лысый,— вспомнила Мейбл,— у которого жене операцию сделали. Вот это была операция! Наизнанку ее вывернули, прямо какие-то китайские пытки. А что же у ней нашли? Я так и не поняла — он как зарыдает...

— У ней нашли... как это... фиго-аденому, злокачественную,— припомнила Бекки.— Я его нарочно два раза заставила повторить.

— Слушайте, а кто этот Сиг из Мунд, про которого они горланили? — спросила Агнесса.

— Бог его знает,— сказала Бекки.— Сиг, рыба такал есть.

— Есть, я даже как-то раз пробовала,— подтвердила Мейбл.— А ты, Сюзи, брось эту манеру пререкаться с клиентами...

— Тоже мне, клиенты,— фыркнула Сюзи.— Устроили вечер памяти покойников! Да они сами как покойники. Или как резиновые лягушки...

Тут из спальни-кабинета вышла Фауна в персиковом халате (успела переодеться), встала на пороге, втирая в руки крем.

— Вот что, дорогие мои воспитанницы,— начала она серьезно,— вы можете потешаться над членами клуба сколько угодно, но будь вы на месте администрации, то бишь на моем, вы бы только приветствовали таких солидных, почтенных граждан. Если хотите знать, сегодня у нас в гостях было много важных шишек! Я сделала им скидку и, как видите, не прогадала: никакой поломанной мебели. Не то что ваши любезные матросы — после них ремонта на восемьдесят пять долларов! Ну, дал один матросик Бекки пять долларов чаевых, так зато он два окна высадил да удрал вместе с вешалкой из оленьих рогов...

— Господи, как спать-то хочется,— Сюзи зевнула.

— Запомни, Сюзи,— произнесла Фауна сурово,— у меня закон: с долгом да со словом недобрым спать не ложись...— Она почесала нос карандашом.— Побольше бы было членов в этом клубе...

— Покойных,— прибавила Сюзи.

— Вот оно, недоброе слово,— укоризненно сказала Фауна.— Берите пример с птиц небесных: они щебечут беззаботно, ни на кого не держат зла. Так давайте и мы будем добрее... Давайте расслабимся. Кто хочет пива?

— Если я скажу, что хочу, мне придется тащить пива на всех,— проворчала Бекки.— У меня и так ноги отваливаются. Вы видали, как я кадрили танцевала?

— Как же, видала,— сухо сказала Фауна.— Только ты не танцевала, а виляла и трясла... Сколько я тебя ни учила изящной пристойности, из тебя куртизанка так и прет.

— А что такое куртизанка? — спросила Бекки.

— Девка, по-нашему,— ответила Мейбл.

— Ага, значит, девка?..— обиделась Бекки.

— Фауна, ты прикажи, пожалуйста, Сюзи, чтоб она быстрее возвращалась, если куда послана. Ушла, понимаешь ли, к Доку, а мы тут за нее работай...

— Станный он какой-то, ваш Док,— сказала Сюзи.— Он, часом, не того?

— Не того,— сказала Фауна.— Если хочешь знать, лучше него нет человека на всем Консервном Ряду. Все на нем ездят, кому не лень; другой на его месте давно бы озлобился. Могучая Ида несет самогон на проверку, Мак с ребятами в карман залезть норовят. Мальчишка порежет палец — бежит к Доку, Док перевяжет. Или

вот, подралась как-то наша Бекки с клиентом, и он ее в плечо укусил, так она чуть руку не потеряла. Спасибо, Док вылечил. Покажи ей шрам, Бекки...

— А что, сюда Док не приходит? — спросила Сюзи.

— Нет,— отвечала Фауна.— Но ты не подумай ничего такого — он мужчина нормальный. К нему ходят разные богачки в мехах, он им музыку как в церкви заводит. Так что Док своего не упускает. Раньше — Дора мне говорила — наши девочки тоже к нему заходили. Но я это дело прекратила.

— Почему? — спросила Сюзи.

— Берегу его для кого надо — вот почему. Посмотри вон туда, на золотые звезды — видишь, сколько моих воспитанниц вышло замуж!

— Да кто ж возьмет замуж девку? — сказала Сюзи.

— У тебя допотопные представления,— холодно произнесла Фауна.— С такими представлениями мы боремся! Видишь вон ту звезду, третью с краю? Конечно, она теперь зазналась, так ведь есть с чего. Шутка ли—церковная чтица, муж проповедник! Так что берут нашу сестру замуж!

— А при чем здесь Док? — спросила Сюзи.

— А при том, что я все время держу его на прицеле: ищу для него подходящую партию.

— Зря стараешься. Он мне сказал, что ему жена на фиг не нужна.

— Как ты выражаешься! — возмутилась Фауна и тут же, с интересом: — Ну и как вы с Доком поговорили?

— Поговорили? Да мы чуть не подрались! Он разозлил меня, а я его. Червяков, видите ли, разных разводит, книжку сочиняет про нервные припадки у осьминогов. Я чувствую, он до психушки досочиняется...

— Не говори ерунду,— сказала Фауна.— За некоторых червяков, если хочешь знать, он по десять долларов выручает.

— Да ну! За штуку?

— Это еще что... Купит за двадцать пять центов старую драную кошку, впрыснет в нее разную краску — синюю, красную, желтую,— и нате вам — продаст за пятнадцать долларов.

— Ни хрена себе! — удивилась Сюзи.

— Что за слова! Язык отрежу, так и знай. Ну-ка, в наказание, марш за пивом. То, что ты необразованная,

это еще ладно, а вот вульгарность тебе вовсе не к лицу!..

Сюзи вышла.

— Сгодится ли она Доку? — сказала с сомнением Фауна. — Уж больно ершистая. Всегда у нее словцо за щекой...

Сюзи внесла на подносе бутылки с пивом.

— А почему бы тебе не составить Сюзи гороскоп? — предложила Бекки.

— Это что, гадать по звездам? — спросила Сюзи. — А зачем?

— Чтоб узнать, выйдешь ты замуж за Дока или нет.

— Люблю шутки, но не такие.

— А никто и не шутит, — сказала Бекки.

— И вообще, не верю я звездам... Кончайте-ка эту песню про Дока. Он ученый, колледж закончил, одних книжек прочитал незнамо сколько, и не каких-нибудь там комиксов... Я ему неровня.

— Ну, хватит, милочка! — сказала Фауна. — Взгляни еще раз на этот стенд. Да, да, на золотые звездочки. Особенно вон на ту, у которой внутри еще одна. Так вот, она замужем за профессором Станфордского университета. У него этих книжек миллион. А она, кроме комиксов, и вправду ничего в руках не держала. И что ты думаешь? Укажет какой-нибудь гость на полки с книгами: «Неужели очаровательная хозяйка все это прочитала?», а она только улыбнется этак спокойно, таинственно... А когда спросят ее что-то мудреное, она, знаешь, что делает? Это, между прочим, совсем легко — ты, Сюзи, можешь научиться... Так вот, она повторяет с важным видом чьи-нибудь умные слова, и все думают, что она сама такая умная. Собственный муж не догадывается, что она читать-писать толком не умеет. Так-то... А ты говоришь — Док... Неужто Доку нужна жена, которая больше него знает? О чем же ему тогда с ней говорить? А говорить-то должен он, а не ты. Ты больше помалкивай.

— Куда ей, — сказала Бекки, — у нее язык прежде ума брякает.

— Да, язычок придется придержать, — сказала Фауна. — Иначе не видать золотой звезды... А насчет гороскопа — мысль хорошая. Когда у тебя день рождения, Сюзи?

— Двадцать третьего февраля.

— А в какое время суток ты родилась?

— Не знаю. Вот год, по-моему, был високосный.

— Могу спорить, что она родилась ночью,— сказала Агнесса.— Я всегда верно угадываю.

Фауна сходила к себе в комнату за звездной картой, приколотая ее к стене булавками, потом вытащила из стола свою учительскую указку.

— Ага, вот ты где. Под созвездием Рыб. Значит, ты Рыба.

— Кто, я?

— Ну да.

— Чепуха, не верю,— сказала Сюзи.— Терпеть не могу рыбу, от одного вида тошнит.

— Кто ж тебе велит на нее смотреть,— сказала Фауна.— И все-таки ты Рыба, если не наврала свой день рождения... Ну-ка, прикинем. Рыба посвящена Юпитеру, Сатурн здесь ни при чем... А в каком же доме¹ у тебя Венера?..

— Все равно не верю.

— Расскажи ей, Мейбл, как мои гороскопы сбываются,— попросила Фауна, продолжая вычислять что-то на бумажке.

— Да, прямо чудеса,— начала рассказывать Мейбл.— Завела я как-то щенка. Ну, Фауна и составила ему гороскоп. И выходило, что на третий год, в день своего рождения, в десять часов утра, щенок должен лопнуть.

— Ну и как, лопнул? — спросила Сюзи.

— Лопнуть-то не лопнул, видать, по ходу дела что-то сместилось в гороскопе, а все одно, погиб. В третий свой день рождения, ровно в десять утра, взял да и загорелся. Жарко было, я еще, помню, лимонад пила...

— Где бы это записать, что не пиво,— сказала Фауна.

— От чего же он загорелся? — спросила Сюзи.

— Не знаю, верно, от жары. Жалко, хороший был кобелек. Не слишком, правда, смысленный. Никак не могла отучить его дома гадить. Подойдет, бывало, к Джо Элеганту, задерет ножку...

— Так, наверное, Джо его и поджег! — воскликнула Сюзи.

— Неправда! — сказала Мейбл.— Джо тогда в больнице лежал.

В этот миг Фауна подскочила на стуле.

¹ В астрологии небесная сфера делится на 12 частей, так называемых домов.

— Вот-те раз!

— Что такое? — спросила Бекки. — Что там у нее?

— Знаешь ли ты, Сюзи, кто будет твоим спутником? — внушительно сказала Фауна. — Спутником твоим будет Рак!

— Это что, болезнь что ли? Не надо мне таких спутников!

— Не остри так глупо, — сказала Фауна. — Рак — это вроде краба. Суженый твой родился в июле. Ну-ка, теперь подумайте, кто у нас спец по всяким крабам?

— Джо Ангуро, — сказала Бекки, — он рыбой торгует.

— Да нет же. Док!.. Ну, все, если у него день рождения в июле — спета его холостяцкая песенка! Агнесса, когда у Дока день рождения?

— Не знаю. Пусть Мак спросит.

— Да, обязательно надо выпытать. И чтоб Док не догадался, для чего.

— Мак узнает, — уверенно пообещала Агнесса. — Он из Дока что хочешь вытянет.

— Только пусть поскорее, — сказала Фауна. — Ну а теперь, дорогие мои, спать! — Фауна воткнула карандаш себе в гриву. — Да выпитесь хорошенько. Во-первых, сегодня приходит в порт эсминец с богатыньками моряками. А во-вторых, вспомните, что у нас за день сегодня?

— Получка! — хором воскликнули воспитанницы.

Фауна пошла к себе, прибрала волосы. Минут через пять она отправилась с последним обходом: вынесен ли мусор, не горит ли где свет. В темной Комнате досуга краснел огонек чьей-то сигареты.

— Эй, кто там?

— Я, — ответила Сюзи.

— Чего не спишь?

— Думаю.

— Ну, теперь я точно знаю — не будет от тебя в заведении проку. О чем думаешь, о гороскопе?

— Угу.

— Док тебе нравится?

— Я его в самое больное место ранила. Но и он хорош — сам меня довел...

— Хочешь, я его обработаю? — спросила Фауна. — С моей помощью будет твой.

— Зачем? Ему не нужна жена, а если и нужна, то уж, наверное, не такая, как я.

— Э, люди сами не знают, что́ им нужно. Приходится подталкивать. Какой мужчина в здравом уме станет жениться? Однако женятся.

— Может, по любви.

— Да, бывает и так. Однако это самые скверные браки. Если мужчина женился по любви, девять шансов против одного, что эта женщина ему не пара. Поэтому я устраиваю все за людей сама.

— Как это?

— Понимаешь, если мужчина кладет глаз на женщину, то причина тут вовсе не в ней, а в нем самом. Например, она ему напоминает покойную мать; или она брюнетка, а он боится блондинок; или он хочет жениться в отместку другой женщине; или не уверен в своих мужских способностях и хочет увериться. У меня был знакомый, специально это дело изучал, так он говорит: мужчина влюбляется не в женщину, а в тот образ, который создает в душе... Так что лучше всего, когда брак устраивает кто-то третий, на трезвую голову. По-моему, ты Доку подходишь.

— Почему?

— Потому что на него не похожа. Ну, хочешь его захомутаем?

— Не надо. Не хочу я никого хомутать. Особенно Дока.

— Но все же так делают.

— Знаешь, Фауна,— тихонько сказала Сюзи,— ты тогда про мою жизнь все верно угадала. В шестнадцать лет это со мной случилось. Ты знаешь, он разговаривал со мной, как будто я для него единственная... С тех пор я и слов таких не слышала...

— Ничего,— Фауна обняла Сюзи за плечи,— бог даст, еще услышишь. Если я это дело слажу, я твою звездочку красным кружком обведу. Ну что, пойдем спать?

— Пойдем,— сказала Сюзи.— И все-таки не надо хомутать Дока...

Сюзи подождала, пока Фауна уляжется, и прокралась наружу. В Западной биологической все еще горел свет. Сюзи перешла улицу под фонарем, поднялась на крыльцо,

постучала пальчиками в дверь. Док не отвечал. Тогда она вошла: Док сидел за столом, глаза красные от бессонницы,— перед ним, в ряд, чашки из прозрачного стекла. Вид у него очень усталый, кожа на щеках, под бородой, кажется серой.

— Поздно работаешь...— сказала Сюзи.

— Да уж. Выкинул из-за тебя первую серию зародышей, пришлось переделывать заново. А это долгая во-
лынка.

— Прости, пожалуйста. Слушай, Док, ты должен написать свою книжку. Что уж там за книжка, не знаю, а должен!

— Наверное, ты в тот раз угадала. Не могу я ее написать, кишка тонка.

— Глупости,— сказала Сюзи,— еще как можешь, нужно только захотеть.

— Хм, в том-то вся и штука, что я, наверное, не хочу.

— Зато я хочу.

— Ты? А при чем здесь ты?

Сюзи покраснела и долго разглядывала свои ладони, не зная, что ответить, потом промолвила:

— Понимаешь, все ждут, все хотят, чтоб ты написал. Не напишешь — всем будет обидно!

— Ну, это для меня не аргумент,— усмехнулся Док. Сюзи попробовала зайти с другой стороны:

— Получается, ты просто трус и слабак.

— Ладно, я трус и слабак. Но это мое личное дело!

— Все равно ты должен написать!..

— Ничего я не должен.

— Я бы тебе помогла.

— Чем, дуреха?

— Чем? Подтолкнула бы тебя хорошенько под зад. Может, тебе как раз этого и не хватает.

— Слушай, оставь меня в покое.— Тут Док взглянул на часы.— Опять!! Ах ты, чертова баба! Опять из-за тебя время проворонил!

— Сам виноват, недотепа. Нечего на других сваливать.

— Убирайся отсюда! — рыкнул Док.— Шагай обратно в свою шлюшню!

На пороге Сюзи обернулась:

— Господи, бывают же такие дураки! — и громко хлопнула дверью.

Спустя немного времени раздался робкий стук в стекло.

— Я же сказал, убирайся! — крикнул Док.

— Это не Сюзи. Это я.— В дверь просунулся Мак.

— Что, подслушивал?

— Ничего я не подслушивал... Как ты думаешь, недвижимая собственность на Консервном Ряду — это хорошее вложение капитала?

— Не знаю, не думаю.

— А она девушка ничего,— сказал Мак.

— Ты же говоришь, не подслушивал!

— Чего подслушивать, и так все слышно. Знаешь, умные люди говорят, брать жену из заведения хорошо по трем причинам.

— Постой, ты о чем? — удивился Док.

— Во-первых,— Мак загнул палец,— она будет тебе верна: она и так уже все в жизни перепробовала. Во-вторых, она тебя насквозь видит, значит, в тебе уже не разочаруется. А в-третьих,— Мак загнул третий палец,— если она глаз на тебя положила, то причина тут только одна.

— Какая?

— Нравишься ты ей! — сказал Мак.— Ну, я пошел...

— погоди, присядь. Давай выпьем чего-нибудь.

— Извини, не могу, выпаться надо. У меня завтра дело важное. Спокойной ночи.

Некрашенная сосновая дверь закрылась за Маком, но Док еще долго смотрел на нее, и казалось его усталым глазам, что древесные волокна извиваются как живые...

19. БЛАГОСТНЫЙ ЧЕТВЕРГ (1)

Человек так устроен, что все крупные исторические события на своем вкусу — убийство эрц-герцога в Сараево, Мюнхенский договор, Сталинградскую битву — жаждет увязать, по дням и по часам, с событиями собственной жизни. Американец точно помнит, что именно делал в то время, когда японцы разбомбили Пирл-Харбор; а некоторые даже утверждают, что имели предчувствие.

Четверг, о котором речь, несомненно, был для Консервного Ряда поворотным моментом. То, чему предстояло произойти, подготавливалось исподволь, в течение жизни не-

скольких поколений, всем ходом внутреннего развития... Теперь кто-нибудь непременно вспомнит, что у него было предчувствие. Старожилы скажут, что ощущение было такое, словно назревает землетрясение...

Итак, был четверг. В Монтерее выдался один из тех чудных дней, когда воздух настолько чист и светозарен, что за добрых двадцать миль, как в линзе телескопа, видны крыши домов Санта-Крус на другом берегу Монтерейского залива, и видны исполинские секвойи на склонах горы за Уотсонвиллом, а если взглянуть на восток, то откуда-то из-за Салинаса выплывет гордая вершина пика Фремонта... Солнце улыбалось золотой улыбкой. Красная герань так пламенела, что казалось, воздух займется вокруг. Дельфиниумы голубели ярче самого синего неба.

Такие дни повсюду редки. Люди на них парадовать не могут. Мальчишки ни с того ни с сего издают радостный щенячий визг; черствый бизнесмен отправляется за город — присмотреть дом с участком... Старики посиживают, глядя куда-то вдаль, — смутно припоминают, что в молодости все дни были такими... Кони валяются на зеленом лугу... Куры кудахчут, хлопают крыльями на солнцепеке.

Четверг был как раз таким волшебным днем. Мисс Уинч, которая до полудня всегда пребывала не в духе и этим кичилась, вдруг мило раскланялась поутру с почтальоном.

Джо Элегант встал рано, намереваясь поработать над романом, над той сценой, где главный герой, юноша, выкапывает из могилы свою бабушку, чтобы проверить, так ли она красива, как ему запомнилась. (Роман назывался «Эдипово семя».) Однако, глянув в окно, Джо увидел, как золотится от солнца пустырь, как играет в сердце каждого мальвового цветка алмазик росы, — и тут же выскочил босиком на волю и долго скакал по сырой траве, пока не расчихался.

Мисс Грейвз, исполнительница заглавной партии Принцессы бабочек на ежегодном Празднестве бабочек в Пасифик-Грове, застукала одного пожилого статс-эльфа в окрестностях своего плавательного бассейна... Ну довольно, разве перескажешь все, что случилось в самых разных местах в этот Благостный четверг...

Для Мака с ребятами наступивший день был днем схватки с Судьбой, а поскольку сражаться с ней предстоя-

до Маку, друзья накормили его горячим завтраком, подлив в кофе настоящего пшеничного виски из запасов Эдди. Элен почистил самые приличные, голубые штаны Мака, до блеска надраил ему ботинки. Уайти I извлек откуда-то отцовскую шляпу — черную, с узкими стильными полями и лихо заломленным верхом (покойник был не кто-нибудь, а стрелочник на Южно-тихоокеанской железной дороге!). Чтобы подогнать шляпу к голове Мака, пришлось напихать сзади под тулью туалетной бумаги.

Мак молчал все утро, но ребята видели, что он страшно волнуется. Он знал, как много от него зависит, и чувствовал в сердце робость и отвагу. Ребята вложили ему в руку прилежно изготовленные лотерейные билеты и проводили за порог, а потом сели на траву у входа и стали ждать.

Мак спустился по тропке, пересек узкоколейку. Проходя мимо старого бойлера, с показной беспечностью пробарабанил пальцами по ржавым трубам... Долго изучал набор отверток в витрине лавки Джозефа-Марии, собираясь с духом, потом наконец вошел.

За прилавком стоял Какахуэте, красивый поджарый парень в лиловой яхтсменской куртке с золотыми галунами. Он листал «Эстрадное обозрение», в глазах горел мрачный, диковатый огонек гениальности.

— Здорово, — сказал Мак.

— Привет, — сказал Какахуэте.

— Джозеф-Мария дома?

— У себя, наверху.

— Мне нужно поговорить с ним лично.

Какахуэте медленно, исподлобья оглядел Мака, потом прошел в подсобное помещение и прокричал оттуда:

— Tio mio!

— Чего тебе?

— Тут Мак пришел.

— Зачем?

— Фиг его знает.

Джозеф-Мария в нежно-голубом шелковом купальном халате спустился по ступенькам.

— Доброе утро, Мак. У этих мальчишек никаких манер.

Какахуэте передернул плечами и убрал «Эстрадное обозрение» с прилавка на ларь с картошкой.

— Рано ты, однако, поднялся,— сказал Маку Патрон и выжидательно посмотрел на него.

Мак повел свою речь с учтивой серьезностью:

— Ты здесь у нас недавно, Джозеф-Мария, но у тебя уже много добрых, хороших друзей...

Конечно, во второй части этого высказывания Джозеф-Мария усмотрел небольшую натяжку, однако решил, что беды в ней нет.

— Да, мне здешние люди по душе. Хорошо ко мне относятся...— глаза у него сонно прижмурились — это означало, что он весь настороже, как радар.

— Городишко наш маленький,— продолжал Мак.— Кругозор у нас узкий. А ты свет повидал, все знаешь...

Патрон улыбнулся, признавая собственную мудрость, и ждал, что последует дальше.

— Мы с ребятами хотим спросить у тебя совет,— вкрадчиво сказал Мак,— ты ведь не откажешь.

Патрон ощутил смутное беспокойство.

— Совет? Какой совет? — спросил он осторожно.

Мак глубоко вздохнул и сказал:

— Ты человек торговый, оборотливый, тебе это может показаться чепухой. А может, ты нас и поймешь, как-никак уже пожил с нами. Дело тут чувствительное, касается Дока. Понимаешь, мы с ребятами у него в должниках ходим. Не знаем, как расплатиться...

— Много должны-то? — спросил Патрон. Он поднял за нижний конец стоявшую рядом метелку и выломал веточку, ковырять в зубах.— Иди погуляй,— приказал он тихонько Какахуэте — племянник скользнул вверх по лестнице в мансарду.

— Это долг не денежный! — сказал Мак.— Это долг душевный. Вот уж сколько лет Док нам помогает: заболеем — вылечит, сядем на мель — подкинет денег.

— Да,— согласился Патрон.— Док безотказный...— Он еще не мог понять, куда метит Мак, но чувствовал — опасность где-то рядом.

А Мак — профессиональный обольститель! — от звуков собственного голоса воодушевлялся, делался все увереннее:

— Долго еще можно было бы на Доке ездить, да сейчас ему и без нас тошно...

— А что с ним такое?

— Как, разве ты не знаешь? Он сидит день и ночь как проклятый, бьется над своими целлофаноподами...

— Да-да, ты мне уже говорил,— закивал Патрон.

— Вот мы и хотим с ребятами ему помочь. Не можем смотреть, как наш лучший друг мучается... Он ведь, наверное, и тебе что-нибудь хорошее сделал...

— Да,— обрадованно вспомнил Патрон.— Ты знаешь, что в шахматах нельзя сжульничать?

— Знаю, знаю, Док мне объяснял,— нетерпеливо сказал Мак.— Так я вот о чем: дела у Дока — табак. Вот если б ему новый большой микроскоп, он живо бы с этими целлофаноподами разделался, а стоит микроскоп верных четыре сотни...

— Если вы собираете деньги — десять долларов за мной,— поспешно заверил Патрон.

— Благодарю! — с чувством вымолвил Мак.— Я знал, что ты настоящий друг! Но не об этом хотел я тебя просить. Мы хотим помочь Доку сами, одни! Ты нам не десять долларов, ты нам совет дай!

Патрон зашел за прилавок, достал из холодильника пару банок пива, открыл, подал одну Маку.

— Спасибо...— Мак сделал большой глоток, промочил горло.— Благодарить... Теперь послушай, какой расклад. У нас с ребятами есть кое-какая собственность, мы думаем разыграть ее в лотерею. А на лотерейные деньги купим Доку микроскоп. Вот и решили с тобой посоветоваться насчет лотерейных билетов и всего такого прочего...

— А что же вы будете разыгрывать?—спросил Патрон.

Вот он, ужасный миг! Дрожащей рукой Мак запрокинул банку, втянул остатки холодного, ядреного пива. Потом с душевным трепетом ответил:

— Наш дом, Королевскую ночлежку!

Патрон вытянул из ящика с расческами одну расческу, эдакимчиво провел по своим черным лоснящимся волосам.

— Да разве эта развалюха стоит четыре сотни?

Господи, неужто пронесло?! В эту минуту Мак любил Патрона как родного, готов был руки ему целовать.

— Может, и не стоит. Но ведь это наш дом! — голос Мака дышал силой и чувством.— Согласен, недорогой товар, но кто же дорогое в лотерею разыгрывает? Да будь это хоть пара старых калош — и ту не грех разыграть, на доброе-то дело!

— Хм, в этом что-то есть,— Патрон впервые взглянул на Мака с уважением.— Ну, и кто ж, по-вашему, должен выиграть?

Теперь Мак уверился в успехе окончательно. Как вести себя с жертвой дальше, он знал.

— Я вижу, тебя не проведешь,— доверительно произнес он.— Если я скажу, что разыгрывать будем по-честному, ты все равно не поверишь... Слушай, что мы придумали...

Патрон подался вперед. В нем не чувствовалось прежней настороженности. Конечно, веревок вить он из себя не даст, но уже изрядно смягчился.

— Ну? — спросил он с любопытством.

— Лотерея лотереей, а жить-то нам где-то надо. Верно я говорю? Вот мы и решили... только, чур, между нами?..

— Разумеется,— успокоил Патрон.

— Так вот, мы продадим выигрышный билет Доку, или просто ему подсунем, в общем, подстроим, чтоб выиграл Док.

— А зачем?

— Затем, что всем от этого будет хорошо! Док получит микроскоп. А мы будем жить, как и жили, в Ночлежке. Только она теперь докова будет. Это ему вроде страховки, на старость. Вот так мы и отблагодарим его за все хорошее!

— А вдруг он продаст ваш сарай?

— Не продаст. Не захочет же он нас на улицу выкинуть!

На красивом смуглом лице Патрона расплылась одобрительная улыбка: продумано четко, не подкопаешься.

— А ты молодец, Мак. Я тебя недооценивал. Пожалуй, мы могли бы делать кой-какие дела вместе... Лотерейные билеты уже заготовили?

— Да, полночи вчера рисовали.— Мак выложил на стол пухленькую пачку.

— Почему они у вас?

— Да вот, написано — по два доллара.

— Ну что ж, десять долларов за мной, как я и обещал. Покупаю пять билетов. Могу взять еще сколько-нибудь на продажу.

— Штук двадцать возьмешь?

— Чего уж там, давай полсотни. Я их со своим оркестром распространю...

Мак поднимался обратно по тропинке, не чуя под собой ног, глядя вперед и вдаль. Не останавливаясь, прошел мимо ребят в Ночлежку, тяжело опустился на кровать. Ребята вошли за ним гуськом, обступили.

Мак помолчал, потом торжествующе произнес:

— Наша взяла! Он ведь не ведает, что Ночлежка его. Сам купил пять билетов, да еще полсотни «мокрым спинам» продаст!

Бывают минуты всеобщего облегчения и ликования, когда слова излишни. Эдди выбежал, и все в тишине услышали, как вонзилась в землю лопата, откапывая очередной бочонок...

Таково было первое событие в этот Благостный четверг.

20. БЛАГОСТНЫЙ ЧЕТВЕРГ (2)

Отправляясь на покой далеко за полночь, Фауна опускала у себя в спальне глухие шторы — и спокойно спала до полудня. Но в утро Благостного четверга шаловливое солнце сыграло с ней шутку. Проникло в комнату через крошечное — с острие иглы — отверстие в шторе и давай показывать на стенке все, что делается в Консервном Ряду, как в цветном кино, только перевернутом. Вот прошагала вразвалку — вверх тормашками! — Могучая Ида в цветастом ситцевом платье и черной беретке... Вот проехал, вертя колесами в воздухе, грузовик Тихоокеанской газоэлектрической компании... Проплелся к лавке Джозефа-Марии Мак вверх ногами... А еще спустя прошел по обоям перевернутый Док — вид измученный, в руке откупоренная бутылка пива, и, что самое занятное, пиво не выливается!.. Вначале Фауна старалась снова уснуть, потом раздумала: вдруг пропущу что-нибудь важное? Призрак перевернутого Дока окончательно отбил у нее сон.

Не зря говорится: утро вечера мудренее. Вчера Фауна ломала голову над своей задачкой, а сегодня — проснулась с готовым ответом... Фауна подняла шторы и порадовалась, какой прекрасный выдался день. Кровля Вонючего завода, облепленная чайками, переливалась, как жемчужная.

Фауна облачилась в темно-серый вязаный костюм, зачесала назад свои густые непослушные волосы, надела аккуратную шляпку с черными блестками и перчатки. Зашла

на кухню, погрузила в сумку шесть бутылок пива, потом, поразмыслив, прихватила одну из сушеных обезьяньих голов, в подарок... Вскоре она уже стояла на крыльце Западной биологической, переводя дух; глядя на нее, вы бы сказали, что она представляет интересы ну хотя бы Красного Креста, а уж никак не «Медвежьего стяга».

Док жарил колбаски, посыпая их тертым шоколадом: получалось нечто пикантное, восточное.

— Что-то ты раненько,— приветствовал он Фауну.

— Да вот подумала: вчерашнего пива надолго не хватит, принесла еще.

— Очень кстати,— сказал Док.— Хочешь колбасок?

— Спасибо, не откажусь,— отвечала Фауна, ибо знала: кто дает тебе, тот тебе должен.

— Смотри, обезьянья голова. У меня их много, привезла из Южной Америки.

— Ну-ка, ну-ка, интересно...

— Знаешь, чудаки говорят, будто это человечьи головы.

— Выдумывают,— рассмеялся Док.— Разве у человека такая форма глаз и ушей? Тем более носа...

— Не все же к людям, как ты, приглядываются...— сказала Фауна.— Я, пожалуй, выпью с тобой пива... Сроду ничего похожего не ела,— подивилась она вкусу шоколадных колбасок.— А ты кузнечиков когда-нибудь пробовал?

— Да, в Мексике, они вроде как перченые...

Фауна не любила ходить вокруг да около.

— Слушай, тебе, наверно, надоело, что все к тебе с просьбами пристают...

— Хуже было б, если б меня все забросили,— с усмешкой сказал Док.— Так что тебе нужно? Кстати, спасибо за давешний торт с пивом...

— Как тебе показалась Сюзи?

— Не как все. Даже не верится, что она работает в «Медвежьем стяге».

— Вот-вот,— подхватила Фауна,— проку от нее никакого; да, понимаешь, полюбилась она мне. Беда ее в том, что она в душе леди, ничем этого из нее не вытравить.

Док хрустнул жесткой румяной корочкой, задумчиво отхлебнул пива.

— Оказывается, это тоже может быть недостатком...

— Девушка хорошая,— продолжала Фауна.— Мне нравится. Но для дела большая обуза.

— Ну, так выгнала бы ее.

— Не могу! — сказала Фауна.— Ей в жизни и так досталось. И потом, не тот у меня характер, чтоб людей выставлять на улицу. Вот если б она сама нашла для себя что-нибудь другое. У нас ведь она все равно карьеры не сделает...

— Она мне столько всего наговорила...

— Девушка с характером! А в нашей работе характер — помеха.

— Разом открыла мне несколько горьких истин. Глаз у нее острый, ничего не скажешь...

— И язычок хорош, не промолчит... Знаешь, Док, у меня к тебе большая просьба.

— Да, пожалуйста.

— Ни к кому другому я обратиться не могу: не поймут...

— Да говори, в чем дело.

— Дело в том, что я по опыту знаю: если девушка в душе леди, то ни на что другое уже не годится... Теперь дальше. Ты к нам в «Медвежий стяг» не ходишь; у тебя и так женщин пруд пруди. Правда, мое личное мнение такое, что дешевле иметь дело с нами... Но я тебе не указ, живи как знаешь...

— Не понимаю, куда ты клонишь?

— Сейчас поймешь... Ты, когда пригласишь к себе девушку, только еще начинающую, ты ведь сперва ее обхаживаешь, говоришь ласковые слова, правильно?

— Правильно,— Док покаянно улыбнулся.

— А сам веришь в эти слова, что говоришь?

Док покусал нижнюю губу.

— Ну... допустим, верю... в ту минуту.

— А потом?

— Потом...— Док замялся.

— Ага! Значит, наговорить с три короба, закружить голову — у тебя язык не отвалится?..

— Ты могла бы с успехом заниматься психоанализом.— Док вздохнул.— Так чего ты от меня хочешь?

— Видишь, Док, Сюзи строит из себя недотрогу, мне от нее одни убытки. Не знаю, выйдет ли из нее настоящая леди, но мне хорошо бы от нее избавиться. Так вот, Док,

не поухаживаешь ли ты за ней, как за своими красавицами?..

— Погоди, а кому какой от этого прок?

— Может, я ошибаюсь, но кажется мне, ты умеешь так вести себя с девушками, что любая недотрога будет довольна. Поухаживай за Сюзан, как за леди,— глядишь, и поведет себя под стать...

— Ничего не понимаю.

— Так ведь она тогда уйдет из «Медвежьего стяга». Не захочет больше знаться с девками.

— А что будет со мной?

— Ничего. Ты ведь на других своих не женишься.

— Не женюсь, но...

— Ну, пожалуйста, Док, поухаживай за ней! Тебя от этого не убудет. А она, глядишь, сбежит от нас, выучится на машинистку или на телефонистку... Ну как, согласен?

— По-моему, это нечестно.

Фауна переменила тактику:

— Вчера вечером мы с ней разговаривали, так она и говорит: забыла, мол, когда мужчина последний раз обращался со мной, как с порядочной... Это будет ей очень приятно.

— А может, еще больше расстроит?

— Главное, она потянется к новой жизни!

— А может, ее устраивает старая.

— Нет, что ты! Она ведь в душе леди!.. Слушай, Док, пригласи ее в ресторан, за стол я заплачу. Обниматься-целоваться никто тебя не просит. Просто посиди, поговори с ней ласково...

— Надо подумать...

— Я думаю, ты смог бы.

— Наверно,— нерешительно сказал Док.

— Она девочка славная,— снова принялась уговаривать Фауна,— если отиستیсь к ней по-людски... Пожалуйста, Док, не в службу, а в дружбу.

— А если она не пойдет?

— Пойдет. Я так подстрою, что не сможет отказаться.

Док глянул в окно, что-то теплое шевельнулось у него в душе. Он вдруг почувствовал себя так хорошо, как давно уже не чувствовал.

— Ладно, подумаю,— сказал он.

— А как надумаешь, я ставлю три бутылки шампанского, — пообещала Фауна.

После завтрака Джо Элегант прочитал Фауне очередную главу своего романа. Потом принялся объяснять мифологическую основу повествования и символический подтекст.

— Понимаете,— говорил он,— бабушка воплощает комплекс вины героя.

— Постой, она же, вроде, померла своей смертью и спокойно лежит в могиле.

— Верно.

— Что же это тогда за комплекс вины?

— Это комплекс в подсознании героя. Я пишу о подсознательной жизни.

— Чушь! — сказала Фауна.— Написал бы лучше о настоящей.

— Уж не собираетесь ли вы учить меня искусству слова?

— Собираюсь. Вот тебе, например, рассказ: парень, девушка, и у них любовь...

— Очень оригинально,— покривился Джо.

— Когда человек что-то говорит, он верит своим словам, даже если считает, что врет...

— Господи, о чем вы?

— Спорим, я скоро избавлюсь от одной особы и привлеку новую звездочку? На что угодно спорим!

— Кстати, как мой торт? Понравился Доку?

— Еще бы!

На том закончилось второе событие Благостного четверга.

21. АЙ ДА ЧЕТВЕРГ!

Королевская ночлежка сыграла роль ядра, от которого во все стороны пошла цепная реакция. Воспламенившись, Мак с ребятами зажгли весь Консервный Ряд. Что там энергия плутония в сравнении с их энергией! Только отъявленные ленивцы могли взяться за дело так рьяно и столько успеть. Совещания! Депеши! Планы! Контрпланы! Мак рисовал все новые и новые лотерейные билеты. То, что затевалось как скромное мошенничество, постепенно перерастало в демонстрацию народной любви к Доку. Билеты... Их покупали, продавали, меняли... Посланцы Консервного Ряда появлялись всюду: на станции

Южно-тихоокеанской железной дороги, на станции автобусов дальнего следования... Констебль Джо Блейки таскал пачку билетов в нагрудном кармане мундира: нарушил правила стоянки — изволь купить билет, попытать счастья в лотерее.

Уайти I проник в чудесные, но чуждые пределы Галечных пляжей, Кармела и Сугорья, и успешно сбывал товар среди богатой публики. А его тезка, Уайти II, действовал проще: предлагал билеты всем проезжающим автомобилистам; первый, кто отказался — получил в стекло камнем; и весть об этом разнеслась по дорогам.

Мак с ребятами чувствовали, что делают праведное дело. Заветный выигрышный билет с именем Дока был, разумеется, спрятан: его положили в консервную банку и зарыли на пустыре. По молчаливому соглашению никто ни словом не обмолвился Доку о лотерее. Другьям Дока ребята намекнули, что лотерея будет с подтасовкой в его пользу, а посторонним это знать незачем... Словом, налицо был прекрасный пример коллективного доброхотства и щедрости.

Впрочем, в обществе живет не только добрый волшебник, но и злой чертенок, и действуют они нередко разом. Если первый заставлял людей радоваться за Дока, то второй внушал злорадные чувства по отношению к Джозефу-Марии. Патрон себя умником считает, думали все. Живет здесь без году неделя, ходит разряженный, как павлин. Наживается, прохвост, на безответных «мокрых спинах»... Наверняка, Королевская ночлежка отошла к нему вместе с лавкой, а он про это забыл, а может, просто не знает. Как бы то ни было, если Док выиграет Ночлежку в лотерею, у Патрона не хватит смелости ее отспорить.

Приятно обжулить жулика, что там ни говори! Злой чертенок на этот раз выступал в роли правосудного судьи и потому был особенно в ударе. Люди покупали лотерейные билеты у Патрона с бóльшим удовольствием, чем у других; любовались его довольной физиономией, заранее предвкушая, как она потом вытянется.

В другую пору ребята были бы рады подольше растянуть это удовольствие — продажу билетов, — но время!.. Время буквально наступало на пятки. Если Патрон получит налоговый счет до лотереи, тогда пиши пропало. До пятницы дело еще терпит, но в субботу надо обязательно

сго провернуть. Ребята бросили клич: в субботу в Королевской ночлежке будет вечеринка, приходите все, кто хочет, с припасами.

После обеда в Благостный четверг Мак заглянул к Доку.

— У нас с ребятами в субботу вечеринка намечается. Так что приглашаем. R. S. V. P.

— *Moi, je réponds oui.*

— Чего-чего?

— Приду, обязательно.

Тут Мак вспомнил о возложенном на него поручении:

— Слушай, Док, такое дело. Можно, конечно, у тебя окольным путем выведать, но я лучше напрямик. Когда у тебя день рождения? Я что-то позабыл.

Док содрогнулся:

— Только не надо отмечать! Вы уже один раз отметили, помнишь, еще до войны,— мне до гроба хватит!

— Да не собираемся мы ничего отмечать,— успокоил Мак.— Просто с одним парнем поспорили, на доллар, когда у тебя день рождения. Ну?

— Четвертого июля,— Док назвал первую дату, какая пришла на ум.

— Так ведь это День независимости!

— А я и родился в День независимости,— с радостным облегчением подтвердил Док.

В тот же день, ближе к вечеру, Фауна и девочки наведались в Королевскую ночлежку (как вы помните, Мак пригласил их письмом — «на стаканчик винца, и для важного разговору»). Однако Сюзи с ними не было. С самого утра она казалась молчалива, а потом и вовсе отделилась от компании — пошла гулять на Сосновый мыс, бродила в окрестностях маяка, глядела в озерца, оставленные приливом, срывала скромные, робкие цветы, что растут под самым боком у океана. На сердце было смутно. Хотелось и смеяться и плакать: Док пригласил ее в греческий ресторанчик на пристани. Сюзи ощущала радостное волнение и вместе боязнь, доходящую до тошноты. Док пригласил через Фауну, а Фауна уговорила.

— Нет, нет! Ни за что не пойду,— кричала она Фауне в первом порыве.

— Пойдешь как миленькая,— отвечала Фауна.— Добром не захочешь — палкой погоню!

— Гони! Все равно не заставишь.

— Вон ты как! А я-то, дура, для нее стараюсь...

— Как я пойду? У меня и надеть-то ничего красивого нет.

— А у Дока, думаешь, есть? Если уж его не заботит, в чем он будет, так зачем тебе голову ломать?

— Конечно, ему-то что. У него, поди, суть не в наряде, а в душе. А у таких, как я,— в душе одна пустота, вот и приходится наряжаться. И потом, я не знаю, как себя с ним вести. Снова разозлюсь, наговорю гадостей. Не умею я быть душкой...

— Вот что, детка,— сказала Фауна.— Хочу я тебе дать один хороший совет. А если он не пойдет впрок, можно хоть сейчас звать Джо Блейки, выпроваживать тебя из Монтерея. А совет такой: никогда не начинай драку первая. Бей только тогда, когда тебя ударили. И не думай, что все только и мечтают, как бы тебя обидеть...

— Разве что старый костюм одеть? — заколебалась Сюзи.— Правда, он с пятном...

— Ничего, попросишь Джо Элеганта — выведет пятно и погладит. Скажешь, я велела.

Так вот и получилось, что бродила Сюзи в Благостный четверг около маяка...

По правде говоря, встреча в Королевской ночлежке была не так уж нужна: гости знали про лотерею. Фауна еще раньше сама купила десяток билетов и девочек заставляла купить по одному.

Эдди позаимствовал с работы стаканы — на сей раз с разрешения Могучей Иды, которая была в числе гостей. Ида принесла с собой две бутылки виски «Сосновый каньон».

— Недорого купила: да не больно и жаль,— объяснила Ида.

На встрече царила церемонная серьезность. Агнесса и Мейбл сидели как пайныки, колени вместе. Под испепеляющим взглядом Фауны Бекки тоже свела коленки — так поспешно, что виски у нее в руке расплескалось.

— Ну, будет дельце! — сказал Мак.— Представляю лицо Дока, когда он выиграет.

— Пойдите,— сказала Могучая Ида.— А как же вы ему объясните выигрыш, если он и билета не покупал?

— Мы объявим,— важно отвечал Мак,— что билет на его имя приобрел неизвестный друг... Я только что видел Дока. Он обещал, что обязательно придет в субботу.

— Когда у него день рождения, узнал? — спросила Фауна.

— А как же. Четвертого июля.

Фауна выпустила воздух, как из шарика.

— Вот это да! Вот это я понимаю! Ну все, Док, плакала твоя вольная жизнь. Так уж тебе на роду написано... До чего же славно все сходится!

— Что сходится? — спросил Мак.

Глаза Фауны подернулись влагой.

— Тут такое дело...— голос ее от волнения звучал хрипло.

— Не хочется мне мешаться в вашу игру, но почему б нам заодно не отпраздновать и помолвку?

— Чью помолвку?

— Они, правда, еще не помолвлены. Но скоро будут.

— Да кто?

— Сюзи с Доком. У них по гороскопу так выходит.

— А если они не захотят?

— Захотят,— сказала Фауна.— Еще как захотят!

Все немного помолчали, потом Мак произнес тихо и торжественно:

— Я же вам говорил, что будет дело. Но это не просто дело, это знатное дело! У нас, почитай, с самой войны таких важных событий не было! А ты уверена, что Док не взбрыкнет?

— Ничего, как-нибудь с ним справлюсь. Только, чур, ему о нашей затее — молчок!.. Я однажды боксера тренировала — был один такой во втором полусреднем весе, по кличке Келли-поцелуйся-со-смертью,— вот с кем было трудно. Однако ничего, справилась... И Док у меня тоже будет в форме.

— А Сюзи? — спросил Эдди.

— А Сюзи уже в форме, хоть сейчас на ринг,— отвечала Фауна.

Расходились молча, но у каждого в груди горело пламя. Нет, никогда еще не бывало на свете такого дня, как этот Благостный четверг. И, между прочим, он еще не кончился!

22. ВО ВСЕОРУЖИИ

В половине пятого Фауна вызвала Сюзи к себе в спаль-
ный кабинет для смотра снаряжения. Сюзи бросила ворох
одежды на кровать Фауны.

— Что, еще раз погладить захотелось? — спросила
Фауна. Взяла в руки серую шерстяную юбку и жакет,
аккуратно разложила, придирчиво осмотрела, обнюхала:
нет ли пятен, не пахнет ли пятновыводителем. — Что ж, не-
плохая вещь.

— Это у меня еще с приюта, общественное приданое.

— Другим сообщать не обязательно! — Взгляд Фауны
остановился на коричневых туфлях. — Эй! Джо! Эле-
гант! — прокричала она в дверь.

Джо нехотя приплелся.

— Вообще-то у меня сейчас отдых...

— Так на то я и хозяйка, чтоб работники отдыха не
знали, — сказала Фауна. — Сбегаешь в мастерскую Уилдо-
ка, пусть прибьют на эти туфли новые набойки. Где крас-
ка слезла — подкрасят. И хорошенько начистят. Подождь
там, пока будет готово.

Джо проворчал что-то себе под нос, однако взял туфли
и ушел.

— Перчатки у тебя есть? — спросила Фауна.

— Нет.

— Ничего, я тебе одолжу. Вот эти — белые. Так, дер-
жи еще новый платок — смотри не испачкай помадой!
Женщина должна быть во всеоружии: начищенные туфель-
ки, чистые перчатки, крахмальный носовой платок, да чтоб
шов на чулках в сторону не съезжал... Такая женщина че-
го хочешь добьется! Костюм у тебя неплохой, хороший ма-
терьяльчик, чем дольше носится, тем лучше смотрится —
если, конечно, при этом каблуки на туфлях не сбиты! Эй
там, позовите Бекки!

Вошла Бекки.

— У тебя, помнится, была белая пикейная манишка
и манжеты...

— Да, я как раз их только что подштопала и накрах-
малила.

— Ты не могла бы одолжить их Сюзи? Пришей их,
пожалуйста, вот к этому жакету.

— Только пускай потом выстирает!

— Это само собой...

Бекки прихватывала к рукавам манжеты, а Фауна занялась сумочкой Сюзи.

— Ну-ка, встряхни все ко мне на кровать. Так, аспирин тебе ни к чему. Расческу возьми мою, а свою выбрось. Только у нерях бывает расческа без зубьев. Гигиенические салфетки? Пригодятся. Вот тебе еще моя компактная пудра — время от времени пудри легонько нос. Так, посмотрим на ногти. Хм, не худо... Голову ты, я вижу, помыла?

— Дай ей лучше парик, — посоветовала Бекки, откусывая нитку.

— Не умничай, — одернула Фауна. — Чего сидишь, пришила? Тогда берись за ее прическу, да смотри не науди. — Потом, повернувшись к Сюзи, объяснила: — Бекки у нас по прическам мастерица... А плащик этот ты лучше не надевай. Тоже в приюте дали? Ну, с плащиком они явно сплеховали. — Фауна в задумчивости постучала по зубам карандашом, потом подошла к шкафчику и вытащила горжетку из двух куниц, которые словно сгрызлись между собой. — Ну-ка, надень. Только смотри, потеряешь или чего с ними сделаешь — убью! Так, что еще? Духов не надо. Побрызгайся немножко вот этой розовой водой — запах чуть старомодный, зато свежий и юный.

Бекки стояла за плечами Сюзи, колдовала над волосами.

— Уши большие, — пожаловалась она. — Ничего, может, я их немножко прикрою.

— Молодец, — сказала Фауна, — ты и вправду мастерица.

В шесть часов вечера, при закрытых дверях, состоялся последний инструктаж.

— Ну-ка, повернись, — скомандовала Фауна. — Ноги вместе. Теперь пройди. Хорошо! Походка у тебя что надо. Я же говорю, ты очень даже симпатичная, если стараешься.

Сюзи глянула на себя в зеркало и улыбнулась: ой, кажется, я действительно симпатичная. Эта мысль волновала и была приятна, — от волнения Сюзи еще больше похорошела. Но вдруг улыбка исчезла с лица — снова накатил страх.

— Что такое? — спросила Фауна.

— О чем я с ним буду разговаривать? Не пойду! С таким человеком, как Док, я себя чувствую не в своей тарелке. Фауна, ты скажи ему лучше, что я заболела! Не пойду!..

Фауна дала ей выговориться, потом спокойно сказала:

— Давай, давай, поплачь еще... Авось красные глаза наплачешь. А я-то стараюсь, привожу тебя в божеский вид.

— Прости меня, пожалуйста. Ты все сделала чудесно. Только я никуда не гожусь, не стоит на меня время тратить. Я уже знаю, как все получится: он загнет что-нибудь непонятное, а я разозлюсь. Не пойду! Мне страшно.

— Еще б тебе не было страшно, — сказала Фауна. — И хорошо, что страшно. Значит, ты и впрямь к нему равнодушна. Думаешь, ты первая такая? Не было еще женщины, чтоб шла первый раз на люди с мужчиной, который ей нравится, — и не боялась! Может, Док тоже боится.

— Ну да, как же, — не поверила Сюзи.

Фауна вздохнула:

— Эх, мне бы твои годы, твое личико, твою фигурку — да мой тсперешний жизненный опыт, — ни один бы мужик передо мной не устоял. А что я сейчас? Все знаю, да ничего не могу. Ну да ладно. Буду тебя уму-разуму учить, а ты слушай, запоминай — всего в жизни добьешься!.. Да в том-то и беда, что не станешь ты слушать. Кому нужна чужая мудрость... А пока свою наживешь — глядишь, жизнь уже прожита... Кто знает, может, так и должно быть...

— Я буду слушать внимательно!

— Будешь-то будешь, а прибавится ли от этого ума? Вот скажи, тебе никогда в голову не приходило, что главный наш враг — это язык? Держи рот на замке — убережешься от многих неприятностей.

— Это правильно, — сказала Сюзи. — Но не получается у меня молчать.

— А ты учись — всему на свете можно научиться. Теперь дальше. Что ты, что я — обе любим высказывать собственное мнение. Но если разобраться, какое оно собственное? Мы просто повторяем, что слышали или в кино видели. А промолчать боимся. Вот тебе и второе правило:

придержи свое мнение, потому что нет у тебя никакого мнения.

— И много у тебя таких правил?

— Да на целую книжку хватит,— сказала Фауна.— Представляешь, книжка под названием — «В назидание женщинам»... Итак, правило третье. Учись слушать собеседника. Это вроде бы легко, но ведь никто не слушает! Зато если научишься слушать, можешь узнать много интересного... Вот мужчина что-то сказал, тебя это заинтересовало — так ты этого не скрывай! Вникни в его мысли, а не ломай голову, что бы самой такое ловкое вставить.

— Да,— вздохнула Сюзи,— неплохо бы мне этому научиться...

— погоди, это еще не все. Осталось самое трудное правило, оно же самое легкое.

— Какое по счету?

— Не помню, я уже сбилась. Правило такое. Всегда оставайся сама собой, никем не притворяйся... Не делай вид, будто знаешь то, чего не знаешь: рано или поздно выплывет... И держи еще к этому правилу довесок: никогда не стесняйся спрашивать, за спрос денег не берут. Допустим, Док скажет слово, а ты не знаешь, что оно значит. Так не бойся, спроси! Если хочешь знать, люди больше всего на свете любят учить других тому, что непонятно. Вот и давай им такую возможность!

Сюзи молчала, глядела на свои руки.

— Красивые у тебя ногти,— сказала Фауна.— Как ты за ними ухаживаешь?

— Это меня бабушка научила. Надо вымыть руку и поддержать ее в настое из сухих лимонных корок. Потом насыпать на ладонь пудры и вот так пополировать ногти. А лунки делают палочкой из лимонного дерева.

— Ну, теперь поняла? — спросила Фауна.

— Что поняла?

— Я просто задала тебе обыкновенный вопрос.

— А я-то как дурочка попалась,— Сюзи покраснела.

— Почему как дурочка? Мне в самом деле интересно, вот я и спросила... Лучше всего спрашивать, когда интересно.

— Какая ты молодец! — зачарованно сказала Сюзи.— Спасибо за советы. Только вот смогу ли я всему этому научиться?

— Сможешь. Только надо еще кое-что крепко запомнить. Во-первых, ты — Сюзи, и никто другая! Во-вторых, ты чего-нибудь да стоишь! Другой такой в целом мире нет. Почаще повторяй это про себя — полезно. Дальше, запомни, что ты на свете очень многого не знаешь. А чтобы узнать — надо присматриваться к жизни, читать, людей спрашивать. Хуже нет, когда человек никого, кроме себя, не замечает — жалкая это жизнь...

— А что в-четвертых? — с любопытством спросила Сюзи.

— Я горжусь тобой. Умеешь слушать. Четвертое — самое трудное — соображения требует. Итак, ты — расчудесная. Но учти — всем на тебя наплевать. Никто про тебя не думает, все заняты собой. Как же сделать, чтоб тебя заметили?.. Запомни: хочешь обратить на себя внимание, заговори с человеком о нем самом — проверенный способ! Видишь в нем что-то хорошее, красивое, умелое — скажи ему об этом. Однако льстить и притворяться не стоит... Дальше, дерись только тогда, когда у тебя нет другого выхода. Не затевай первая драку, а если дерутся другие, не торопись, не ввязывайся... Самый лучший способ защиты — быть беззащитной... Итак, человек обратил на тебя внимание; и он тут же захочет что-нибудь для тебя сделать. И ради бога, пусть делает. Не гордись: мол, ничего мне ни от кого не нужно, — так только дураки говорят... Потому что для человека в жизни самая большая отрада — дать что-то другому и знать, что дар твой — нужен. Не думай, это не чушь. Это еще как работает! Попробуй, сама увидишь...

— По-твоему, Док клюнет на эту удочку?

— Конечно. Что он, не человек, что ли?

— Слушай, Фауна, — сказала Сюзи, — неужто ты сама ни разу не была замужем?

— Нет.

— А почему?

Фауна улыбнулась.

— Покуда я узнала все то, что тебе наговорила, годики мои ушли...

— Фауна, ты самая лучшая в мире!..

— Ну вот видишь... Я уже и растаяла, как сливочное масло... Я хочу тебе подарить эту горжетку.

— Зачем, не надо.

— Все, я решила. Бери, и никаких разговоров!

— Ладно, большое спасибо... Ты не могла бы записать свои советы, я их наизусть выучу.

— Хорошо, напишу. Да, еще... Прежде чем сказать что-нибудь Доку — скажи это заранее в голове и вроде как подчисть...

— Чтоб без грубых слов?..

— Без грубых слов само собой; вообще, прежде чем что-то сказать, подумай, а стоит ли? Ведь бóльшая часть разговоров — просто шелуха... Ну, теперь вроде все, можешь идти.

— Фауна, что мне для тебя сделать?

— Что сделать? Повторяй-ка за мной. Я — Сюзи и никто другая.

— Я — Сюзи и никто другая.

— Я чего-нибудь да стою.

— Я чего-нибудь да стою.

— Другой такой в целом мире нет.

— Другой такой в целом... Ой, Фауна, я сейчас заплачу, глаза будут красные.

— Ничего, от этого они только краше, — сказала Фауна.

В семь часов вечера Док, в рубаше с расстегнутым воротом, в кожаной куртке, в старых галифе, стоял у дверей «Медвежьего стяга».

— Извини, — сказал он, бросив взгляд на Сюзи, — я забыл позвонить по одному важному делу... я скоро...

Через десять минут он снова вышел из лаборатории. На нем были чистые брюки, твидовый пиджак и галстук, который он уже сто лет не надевал.

Фауна взглянула на Дока у крыльца под фонарем.

— Ступай, золотко, — сказала она Сюзи. — Первый раунд ты выиграла — по очкам...

23. НОЧЬ ЛЮБВИ

Из всех греков, рожденных в Америке, только один прозывается Сынок. Сынок держит на монтерейской пристани ресторанчик с баром. Сынок — толстяк и все продол-

жаст толстеть. Родился он в Сан-Франциско, рядом с Сутро-парком, учился в обычной американской школе, — и все же в нем непостижимым образом живет тайна Ближнего Востока. Его безупречно круглое лицо отчего-то заставляет подумать о Восточном экспрессе и красавицах-шпионках. Его густой голос звучит заговорщически. Он скажет вам «добрый вечер» — и вы почувствуете, что впутаны в международную интригу. Ресторан доставляет ему друзей и деньги. Пусть самому ему пристало обедать в другом ресторане — на берегу бухты Золотой Рог, где веют ветры с двух морей, — обедать инкогнито, в черной накидке с капюшоном, в обществе балканских герцогинь, — однако и собственное его заведение в Монтерее тоже недурно... Остается добавить, что Сынок знает столько чужих секретов, сколько никто другой в городке: ведь мартини Сынка — эликсир правдивости и одновременно детектор лжи. Истина не просто находится в вине, она еще и выходит порой наружу!

Остановив свой старый автомобиль перед рестораном Сынка, Док выскочил, забежал с другого бока, отпахнул дверцу, протянул руку. «Я сама! Что я, немощная?» — чуть не слетело с уст Сюзи, но тут она вспомнила совет Фауны — и прикусила язык. Она дала поддержать себя под локоть: это прикосновение оказалось волшебным — строптивый огонек в ее глазах погас, зато плечи свободно расправились.

Док растворил перед Сюзи дверь бара и посторонился, пропуская. Завсегдатаи на высоких стульях у стойки дружно обернулись. Взгляды перебежали с хорошенького лица на хорошенькие ножки, немного задержавшись на кунцах. Сюзи в страхе приостановилась: вдруг кто-нибудь узнал? Но нет, все смотрят как на незнакомку.

Сынок, обогнув сбоку стойку, выкатился навстречу.

— Добрый вечер. Ваш столик готов. Желаете коктейльчик здесь или подать туда?

— Спасибо, мы, пожалуй, сразу сядем за стол, — сказал Док.

Сынок с поклонами повел Сюзи в ресторанный зал. Сюзи шла своей чудесной походкой, следом, в полшаге — Док; Сынок заговорщически шептал ему в ухо:

— Все сделано, как просила по телефону ваша секретарша. Ведь это была ваша секретарша?..

— Да...— Док едва нашелся от удивления,— у меня работает одна дама...

— А кто ваша прекрасная спутница? Она в наших краях недавно?..

— Да, недавно.— Док догнал Сюзи.

— Сюда, прошу вас.— Сынок подвел их к круглому столику перед камином. В камине потрескивали душистые сосновые поленья. На столике красовалась ваза с дикими ирисами. Как солдатики, стояли в стаканчиках хлебные палочки. По-хитрому сложенные салфетки были как маленькие короны. Это был лучший столик в зале, уединенный и в то же время удобно расположенный, с хорошим освещением.

Сюзи стрельнула глазами кругом. На других столиках цветов не было. Сюзи подошла к столику, и тут с ней случилось невиданное: вместо того чтоб сразу усесться, она подождала, пока Док отодвинет для нее стул; сев, она улыбнулась Доку и сказала: «Спасибо».

Сынок завис над столиком:

— Хорошо, что от вас был звонок заранее... Помпано — рыба редкая, но я достал... Как насчет коктейля? Вино охлаждается...

— Пожалуй,— сказал Док.— Помните, вы как-то угощали меня одним интересным напитком?

— Как же, как же,— сказал Сынок.— Коктейль «Мысли побоку» — мартини с шартрезом вместо вермута. Славная штука.

— И главное, хорошо действует. Нам пару двойных.

— Сей момент,— Сынок сделал кому-то знак.— Я приглашал Тони играть на пианино, как вы велели, но он заболел...

Док испытующе поглядел на Сюзи: может, она знает, что все устроено Фауной? Да нет, непохоже.

Стремительность, с какой появились коктейли, обличала их заблаговременное приготовление. Наверное, даже если бы Док и не заказал «Мысли побоку», то все равно получил бы именно этот напиток...

Начиная примиряться с галстуком, Док улыбнулся Сюзи, а сам подумал: что это за штука в женщине, красота? То ее нет, то она есть. Сюзи, которая сидит перед ним, ни капли не похожа на вчерашнюю, грубую, скандальную. Док поднял бокал.

— Ты сегодня очень красивая. Спасибо, что составила мне компанию. Выпьем за нас!

Сюзи сделала глоток, чуть не поперхнулась — слезы выступили на глазах.

— Извини, забыл предупредить, — сказал Док, — ходит слух, что этот напиток делают из яда гремучих змей с опиумом.

Сюзи наконец-то обрела дар речи:

— Ничего, даже вкусно. Просто забыла, что надо задерживать дыхание. — Ой, не то говорю, мелькнуло в голове. Забыла все советы. Но Док хорошо, по-доброму улыбается — значит, все в порядке.

Краем глаза Сюзи видела официанта: он похаживал ненавязчиво в некотором отдалении, готовый явиться на малейший зов... Тут Сюзи сделала открытие: когда чувствуешь себя неуверенно — не спеши, не суетись. Она неспешно повернула голову в сторону официанта — официант отплыл в сторону. Нет, действительно, делать все неспешно — это и вправду замечательное открытие! Она медленно подняла бокал, внимательно посмотрела в него на свет, сделала глоток, подержала немного в руке и только потом поставила. Неспешность всему придает смысл, царственный смысл. Люди, не уверенные в себе, озабоченные — вот кто дергается, суетится. Принуждая себя к неспешности, Сюзи чувствовала, как входят в душу неведомые прежде уверенность и спокойствие. Только бы не забыть об этом открытии, сказала она себе. Не спеши, не спеши!

Док дал ей сигарету, чиркнул спичкой: Сюзи тянулась к огоньку так долго, что огонек спустился к самым пальцам Дока... Ласковое тепло влилось в тело Сюзи. Она чувствовала себя свободно — не развязно, а просто раскованно.

— Они знают... кто я такая?

Коктейль «Мысли побоку» действует на всех. Док ответил:

— Они знают, что ты со мной. Какого им еще черта знать? Ну что, еще по одной?..

Не успел Док подзвать официанта, а коктейли уже подали (Сынок всеми силами споспешествовал интриге; если же это не интрига, а просто человеческий праздник, — что ж, он тоже за).

— Люблю смотреть на огонь, — сказала Сюзи. — Где мы раньше жили, там был камин.

— Какая ты красивая! — сказал Док. — Ну надо же, какая ты красивая!

Сюзи не сказала ни того, что ей пришло на язык сразу, ни того, что немного погодя, — опустив глаза, она помолчала, потом вымолвила тихонько: «Спасибо».

В личном сопровождении Сынка появился официант, несший ведро с остуженными бутылками «шабли». Сынок придирчиво оглядел столик, осведомился:

— Ну как?..

— Все превосходно, — сказал Док.

— Можно подавать кушанья?

— Да-да, пожалуйста.

А Сюзи все не могла нарадоваться на свои открытия: не спеши, смотри в оба, поменьше болтай.

Холодный рак в расколотом панцире и помпано были новыми для нее блюдами, она не умела с ними управляться. Поэтому делала все, как Док, но с небольшим отставанием; Док и не заметил, что она за ним повторяет...

Подали шампанское, фрукты и сыр. В этот миг Сюзи пришла какая-то неясная мысль — и мигом переполнила ее существо. Колени задрожали, кровь застучала в висках. Только не надо суетиться, напомнила себе Сюзи. Посмотрела на языки пламени в камине, медленно повернулась к Доку.

— Я отлучусь ненадолго.

— Конечно, пожалуйста, — Док подлетел, помог отодвинуть стул.

Не чуя под собой ног, Сюзи царственно прошагала к двери.

Док посмотрел ей вслед. Непостижимо, подумал он, но к ее походке больше всего подходит слово «девственная»: походка говорит об одиночестве и о величайшей скромности. Откуда такая перемена? Может быть, это актерская игра; Фауна ее вышколила? Но нет, как ни играй, не сыграешь таких глаз, не сумеешь так чудесно краснеть. Док скрутил шампанское в серебряном ведре и поймал себя на том, что ждет не дождется возвращения Сюзи. Глаза его против воли вперились в темное окно, в котором отражалась дверь туалета.

Тем временем за этой дверью Сюзи намочила бумажную салфетку и приложила ко лбу. Погляделась в зеркало, не узнавая собственного лица. «Терпеть ненавижу рыбу, —

громко произнесла Сюзи.— Мснѣя от нее всегда тошнит. Однако сегодня почему-то не тошнит...» И тут наконец мысль, так поразившая ее за столом, обрела четкость: Сюзи уразумела символ, таинственный и неотвратимый знак Судьбы! Как можно было не понять этого сразу... Судьба не просто указывает путь, а прямо-таки тянет за руку! Перед глазами Сюзи вновь возникли два блюда: на одном клешни рака, на другом рыба. Рак и рыба! Рыба и рак! Гороскоп! Они с Доком съели свои знаки зодиака...

— Боже мой! — вымолвила Сюзи и слепо вверилась Судьбе.

Сынок подошел к столику.

— Ну как? Все в порядке?

— Да, спасибо.

— Все в точности, как вы наказывали...

— ?

— То есть не вы, а ваша секретарша.

— Да, да, — сообразил Док, — все, как я просил...

Когда Сюзи вернулась, жизнь ее была осенена новым смыслом. Человек силен не тогда, когда борется с Судьбой, а тогда, когда действует с ней в согласии: все силы можно употребить в одном направлении.

Док поставил стол поудобнее для Сюзи, хлопнул шампанским, понюхал пробку.

— Ну как? — спросила Сюзи.

— Вполне, — ответил Док.

Сюзи взяла пробку со столика, повертела в руках: какая красивая; незаметно положила в сумочку, на память. Взяла из вазы прис.

— Ты любишь шампанское? — спросил Док.

— Да, очень, — ответила она (интересно, какое оно на вкус, никогда в жизни не пробовала). Шампанское и правда оказалось чудом.

— Знаешь, — сказал Док, — там в дюнах есть такие маленькие ложбинки, защищенные соснами. Давай как-нибудь, как у тебя будет время, сходим туда. Возьмем припасы — мясо и все такое, разведем костер, сготовим ужин. Вот будет хорошо.

— Это тебе огонь в камине подсказал?

— Да. Как ты все хорошо понимаешь...

— Может, ты мне как-нибудь расскажешь об этих разных штукаx, что у тебя в лаборатории?..

— Конечно, расскажу.— Сердце Дока вздрогнуло и потянулось к Сюзи. Однако он страшился ее незнакомой скромности. Он отвел глаза от ее глаз—посмотрел на дикий ирис у нее в руке.— Знаешь, есть старая валлийская легенда... как один бедный рыцарь сделал живую деву из цветов...

Сюзи уже порядком захмелела. Она два раза проговорила фразу про себя, прежде чем сказать вслух:

— Надеюсь, она не завяла?

Тут-то наконец и вырвался из самого докова нутра нижний голос.

— Знаешь, мне так одиноко...— Док произнес это почему-то спокойно и сам удивился своим словам. И тут же бросился извиняться: — Я что-то не то говорю, я, кажется, немного пьян.— Еще больше смутился. Наполнил бокалы.— Черт подери! Давай, что ли, тяпнем бренди!

Сюзи наполовину отвернулась, на фоне пламени очертился ее профиль.

— Ты хорошо помнишь то место, про которое говорил,— в дюнах?

— Да.

— Можно нам туда заглянуть?

— Конечно. Когда?

— Сейчас, по пути домой.

— Ты туфли испортишь.

— Ну и что.

— Правда, их можно снять.

— Так мы и сделаем,— сказала Сюзи.

24. ТОМИТЕЛЬНАЯ ПЯТНИЦА

Не всякий полагает пятницу днем несчастливым, однако почти все сходятся на том, что это день томительный. В деловом мире в пятницу уже не заключают сделок... Для школьников она вроде запертой калитки, за которой свобода... Пятница, она уже не работница, но еще и не отпускница,— одним словом, ожидательница. Она не годится ни для дел, ни для развлечений... Женщины обзеревают гардероб, прикидывают, что надеть наутро... За ужином уничтожаются недельные обеды...

В «Медвежьем стяге» Джо Элегант объявил, что зажарит на ужин остатки камбалы... «Мокрые спины» вернулись из очередной славной гастрольной поездки; Патрон с великим почетом проводил их в комнаты над лавкой, выдал каждому по бутылке крепкой мексиканской водки — текилы. На всякий случай он держал наготове и снотворное: на «мокрых спин» порой нападала свирепая тоска по родине, и они начинали искать, с кем бы подраться; пусть уж лучше спят.

Док встал в пятницу поздно и тут же отправился в лавку за пивом. За прилавком стоял Джозеф-Мария, веселый и собранный. Сверху волнами накатывало пение.

— Ну как вчера повеселились? — осведомился Патрон.

— О чем это ты?

— В ресторане, спрашиваю, посидели хорошо?

— Да, — Док словно точку поставил.

— Слушай, Док, ты бы поучил меня еще в эти свои шахматы.

— Все не веришь, что в шахматах нельзя жульничать?

— Почему, верю. Просто хочу разобраться получше... У меня, кстати, есть ящик «богемского» пива, из Мексики. Холодное.

— Да, это вещь, — сказал Док. — Самое знатное пиво во всем западном полушарии.

— Тогда я тебе его дарю.

— Что это ты вдруг?

— Так, ничего. Настроение хорошее.

— Ладно, спасибо... — Док начал понемногу беспокоиться.

Дальше — больше. Шагая обратно в лабораторию, он все время чувствовал на себе взгляды. Это все бренди, подумал он. Не надо было вчера пить бренди. Черт знает что чудится! Нервы!

Док сделал яичницу из двух яиц, сдобрил ее приправой из куркумового корня, чеснока и пряностей. Потом взглянул на таблицу приливов и отливов во вчерашнем «Монтерейском глашатае». Так, сегодня в два часа восемнадцать минут приличный отлив, вполне можно набрать хитонов и змеехвосток, если, конечно, к тому времени не задует ветер с моря, не нагонит воды... От «богемского» Док немного успокоился, хотя по-прежнему испытывал

какую-то смуту. И любимая яичница с приправой в этот раз показалась не слишком вкусной.

В дверь постучали, вошла Фауна. Щелкнула пальцами на гремучих змей.

— Привет, Док. Как самочувствие?

— Нормально.

— Много вчера выпил?

— Да не то чтобы очень.

— Стол понравился?

— Да, отличный. Ты знаешь, что заказать.

— Еще бы я не знала. Ну как, согласен на дополнительный раунд? Верно я про Сюзи тебе говорила?

— Верно. Кстати, как она?

— Спит еще.

— А я сейчас уйду на промысел — скоро отлив.

— Сказать ей, где ты?

— Не надо, с какой стати... Вот сумочка ее у меня, уволок нечаянно. Ты быхватила.

— Что, у Сюзи ног нет? Сама придет да заберет.

— Меня дома не будет.

— Ничего, когда-нибудь вернешься.

— Слушай, — сказал Док, — куда ты гнешь?

Так его и разозлить недолго, подумала Фауна, и тут же заспешила домой.

— Пойду я, дел много. Ты на меня не сердишься?

— За что же мне сердиться?

— Ну, пока. Если чего понадобится, скажи.

— Фауна, а можно тебя спросить... — начал было Док и замолчал.

— Что? Спрашивай.

— Ладно, раздумал. Какое это имеет значение...

Когда Фауна вернулась в «Медвежий стяг», Сюзи сидела сгорбившись над чашкой кофе.

— С добрым утром, — сказала Фауна. — Что молчишь? Отвечать надо, когда здороваются.

— Да, прости, пожалуйста. Доброе утро.

— Ну-ка, посмотри на меня.

— Ну, смотрю.

— Ладно, все ясно...

— Что ясно? Ты ведь ничего не знаешь.

— Хорошо, не знаю. И вообще, какое мне дело? Джо, принеси мне тоже кофе! — Фауна катнула к Сюзи круглую жестяную коробочку с таблетками от головной боли.

— Спасибо, — Сюзи положила в рот три таблетки, запила кофе.

— Док на сей промысел отправился, — как бы между прочим сказала Фауна.

— Ты у него была?

— На улице встретила. Ну, как там у вас вчера?

Сюзи подняла голову, широко распахнула глаза — словно душу распахнула.

— Он до меня за весь вечер ни разу не дотронулся, — произнесла она чуть слышно. — Мы с ним гуляли в дюнах, он ко мне даже не прикоснулся.

Фауна улыбнулась.

— Ну, а говорил-то он с тобой хорошо?

— Да, не много говорил, но душевно.

— Это радует, — сказала Фауна.

— Я, наверное, сумасшедшая. Я ему всю свою жизнь рассказала...

— Почему же сумасшедшая. Молодец.

— Сама рассказала, он и не спрашивал.

— Ну, а сам он что говорил, что рассказывал?

— Рассказывал: жил-был давным-давно один парень, сделал себе живую девушку из цветов...

— Это еще зачем, господи прости?

— Кто его знает. Но когда рассказывал, мне это было понятно.

— А еще что говорил?

— Понимаешь, там, в дюнах, больше говорила я, а он слушал. А как замнусь, в словах запутаюсь, он поможет, направит так ласково...

— Да, — сказала Фауна с гордостью, — у него на это талант.

— Ой, чуть не забыла! — Глаза Сюзи чудесно заблестели от волнения. — Я сроду не верила в гадание по звездам, но вчера!.. Знаешь, что нам подали на ужин?

— Шампанское? — спросила Фауна.

— Ни за что не угадаешь. Рыбу и рака. И меня от рыбы даже не затошнило.

— Ну и что?

— Как что! Помнишь, ты говорила, будто я Рыба, а он Рак?

Фауна отвернулась, скрывая улыбку:

— Что-то у меня в носу свербит. Наверное, простуда начинается...

— А может, это неспроста, что мы съели свои знаки зодиака? Может, это судьба?

— Что ж, очень вероятно. Просто так на свете ничего не бывает.

В глазах Сюзи сверкнуло ликование:

— Съели мы свои зодиаки, а он потом и говорит: «Знаешь, мне так одиноко...»

— А вот это на него не похоже! Неужто выдумал, чтоб завлечь?

— Нет, не понарошке он это сказал. Слыхала я в жизни такие речи, чай, отличила бы. Он сказал это как будто против своей воли, даже сам удивился! Ну, что ты про все это думаешь, Фауна? Не молчи.

— Что я думаю? Думаю, что скоро у меня будет еще одна золотая звездочка.

— Да как же это? Если, предположим — ведь ничего, что я так говорю? — предположим, я к нему перееду. Через дорогу. Но ведь все люди знают, где я работала. Не будет ли его это задевать?

Фауна фыркнула.

— Как будто он сейчас не знает, где ты работаешь... Сюзи, дочка, обещай мне одну вещь. Никогда не убегай от призраков, незачем. Будь человеком — никто тебя не обидит... И мужик, который бежит от судьбы, тоже далеко не убежит. Она его сама найдет.

— А Док?

— Что Док? Если он решит, что ты для него не хороша, значит, сам он тебя не стоит.

— Я не хочу его ловить ни в какие капканы...

Фауна улыбнулась своим мыслям и ответила:

— Не волнуйся, мужик — это такой зверь, что сам капкан насторожит, сам приманку положит, да сам в него и попадет. Ты, знай, спокойно жди. Делать тебе ничего не надо. А не будешь ничего делать, так никто потом и не скажет, что ты его в капкан поймала.

— Но ведь он мне пока не говорил... что я ему нужна...

— Ишь чего захотела. Мужики такого говорить не любят.

— Ой, у меня даже дух захватывает...

— Между прочим,— заметила Фауна,— ты за все утро ни одного скверного слова не произнесла!

— Правда? — удивилась Сюзи.

— Не скрою, когда я отдавала замуж своих прежних золотых звездочек, для меня это была большая потеря. А тебя отдать — совсем не жаль. Никакого убытка. Знаешь, что про тебя Патрон говорит: эта, мол, в дело не годится, задница слишком маленькая, а грудь слишком большая...

— Я только не хочу, чтоб люди думали, будто я за Доком бегаю, хочу на себе женить!

— Успокойся, ни за кем ты не бегаешь. И не будешь бегать. Знаешь, что мы с тобой сделаем...— Фауна посмотрела на Сюзи, что-то соображая.— Уезжай-ка ты сегодня из города, проветришься.

— Куда же я поеду?

— А хоть бы в Сан-Франциско. С поручением — возьмишь один сверток из моего сейфа в банке. А заодно купишь себе кое-какую одежду. Во-первых, шляпку. Во-вторых... купи-ка себе, пожалуй, хороший костюм, чтоб на несколько лет хватило. Походи там по улице Монтгомери, приглядишься, что нынче модницы носят, какой материал в почете... Сразу не покупай, погуляй по магазину для приличия, толком все посмотри. Вернешься завтра.

— Чувствую, ты хочешь меня на сегодняшний день сплавить.

— Верно чувствуешь.

— А зачем?

— Это уж, милочка, не твоего ума дело... Автобуса есть два: в два часа и в четыре. На каком поедешь?

— На четырехчасовом.

— Что так поздно?

— Ты говоришь, Док на промысле? Пока он ходит по берегу, я приберусь у него в лаборатории. Там ведь сто лет женская рука не прикасалась.

— Смотри, еще рассердится!

— Ничего. Я ему поставлю мясо тушиться, на медленном огоньке. Я такое мясо умею, пальчики оближешь.— Сюзи вышла из-за стола и бросилась на шею к Фауне.

— Брось свои телячьи нежности. Иди. Я тебе и так уже свой лучший мех подарила. Не говори мне больше жалостливых слов.

— Что я тебя люблю?

— Ну вот, опять...

— Ладно, ладно, не буду.

25. БРЕХУНЯ

Док вернулся с промысла в половине пятого. Более сотни хитонов были привязаны нитями к стеклянным пластинкам; в дорожных деревянных ведерках с морской водой копошились сотни змеехвосток.

Умерщвление морских организмов — дело весьма тонкое и сложное. Морской зоолог стремится к тому, чтобы животное сохранило свой прижизненный облик, — но в полной мере этого достичь не удастся. После смерти у животных, так же как и у нас, изменяется цвет. Кроме того, если умерщвлять с помощью грубых средств, сокращаются мышцы; змеехвостки, в яростной борьбе за жизнь, могут отторгать лучи...

В комнате, выходявшей окнами на улицу, Док отцедил из деревянного ведерка часть воды. Пересадил змеехвосток в стеклянную плоскодонную ванночку, влил им немного морской воды. Маленькие животные забились, зашевелили змейками лучей. А когда утихомирились, легли спокойно на дно, Док добавил в морскую воду чуточку пресной. Лучи беспокойно дернулись. Док подождал, потом подлил еще толику пресной воды. Пресная вода — яд для морских животных; если вводить ее постепенно, она действует вкрадчиво, словно морфий. Животное расслабляется, погружается в сон и умирает ненасильственной смертью.

Док уселся ждать, пока подействует яд. И вдруг ощутил какое-то смутное беспокойство. Что-то неладно. Что? Вроде ничего такого не случилось. Самочувствие нормальное, утренняя мнительность прошла. Ах, ну конечно! Подсознание напоминает: ящик богемского пива, подарок, остался у Патрона. Док посмотрел в окно на лавку. Стоп, здесь тоже что-то не так. И вдруг он понял, что: окна — чистые! Док обернулся, оглядел лабораторию. Пластинки

не валяются где попало, а аккуратно стоят на полке. Пол блещет чистотой. И запах... в комнате пахнет мылом!

Док отправился на кухню. Тарелки вымыты. Сковородки отдраены, блестят. Из чугунка на газовой плите идет вкусный дух. Док приподнял крышку. Тихо побулькивает коричневый мясной навар с луковками и морковками. Белый корешок сельдерея плавает, как рыбешка...

Док вернулся к рабочему столу, снова огляделся. Койка застлана прилежно, без единой морщинки; подвернутая под матрас простыня — чистая. Из-под койки, как по ниточке, торчат острые мыски старых штиблет... Дока вдруг охватило чувство сиротства — и странная теплая грусть.

Бедная, подумал он, бедная девочка. Неужели она хочет меня отблагодарить; надеюсь, я не сделал ей ничего дурного. Господи, уж не подумала ли она?.. Что я ей там вчера спьяну наговорил? Плохого-то ничего не сделал, а вот не ляпнул ли чего? Ни за что на свете не хотел бы я обидеть Сюзи, ни словом, ни делом. Док опять оглянулся по сторонам. Да, чистоту она наводит умеет. И мясо тушеное, наверное, на славу... Док подлил пресной воды в стеклянную ванночку: от новой порции яда змеехвостки едва шевельнулись. Лучи их уже начинали завиваться в мелкую спираль.

Чистота в лаборатории будоражила Дока, вместе с тем он ощущал в себе непривычную тишь: нижний голос молчал, убаюканный где-то в потаенных глубинах. Док подошел к полке с пластинками: так, Бах... не то, Букстехуде¹ — не то, Палестрина² — опять не то. Но вот рука его набрела на альбом, который он не заводил уже давно. Еще не поняв толком, что это, Док раскрыл альбом. Усмехнулся, поставил первую пластинку. Зазвучала увертюра «Дон Жуана» Моцарта. Док, улыбаясь, пошел на кухню, помешал в чугунке. «Ишь ты, — сказал он вслух. — Выходит, я воображаю себя Дон Жуаном? Да нет, какой из меня Дон Жуан. Тогда отчего же я чувствую себя таким счастливым и гадким?» Док бросил взгляд на стол, где лежали

¹ Д. Букстехуде (1637—1707) — известный композитор и органист, швед по происхождению, много работавший в Германии, автор замечательных органнх произведений.

² Д. Палестрина (1524 или 1525—1594) — выдающийся итальянский композитор, глава римской полифонической школы.

аккуратной стопкой желтые блокноты и рядом — желтые карандаши. «Что ж, попробуем что-нибудь сотворить...» Но в этот миг суетливо скрипнули доски крыльца — и в лабораторию ворвался Брехуня.

Писать о Брехуне — чистое сумасшествие, но коль скоро он появился, у меня нет другого выхода... Люди, которым случалось с ним общаться хоть сколько-нибудь продолжительное время, потом долго не могли опомниться. Кто поумнее, для своего же спокойствия старался себе внушить, что этот человек им попросту приснился. Назвать настоящее имя Брехуни я не могу по той причине, что оно встречается слишком уж на многих бронзовых дощечках, которые гласят: «Создано на пожертвования такого-то».

Брехуня был с рождения богат, причем настолько, что просто не сознавал своего богатства. Ему казалось, что все люди таковы. Он считался ученым, однако талант он был или бездарь — никто не ведал; поинтересоваться этим открыто не осмеливались: ведь он учредил столько научных фондов, финансировал столько разработок, заседал в стольких попечительских советах! Он шутя отваливал миллионы, но при этом был не прочь поесть-попить за счет друзей... Он имел множество ученых регалий, однако некоторые люди втихомолку не без ехидства думали, что регалии ему присуждают лишь в расчете на пожертвования, что он как студент-футболист, которому платят стипендию отнюдь не за успеваемость...

Брехуня был коренастый, как пенек; волосы цыплячьего цвета росли кружком вокруг лысого темени. Глаза у него были блестящие, птичьи. Брехуня интересовался всем на свете. Он изучал окружающую действительность так рьяно, что совершенно разучился судить о ней здраво. Порой Док находил Брехуню забавным, но чаще впадал в отчаяние от его неумной, близорукой восторженности.

Брехуня имел привычку разговаривать ором, ибо считал, что от этого речь яснее.

— Получил мою телеграмму? — проорал Брехуня с порога.

— Нет.

— Я к тебе на день рождения приехал! Всегда помню. Ведь сегодня сожгли Джордано Бруно!

— У меня день рождения не сегодня.

— Правда? Какой же у нас сегодня день?

— Пятница.

— Да? Ну ничего, я подожду.

— Долго ждать придется. День рождения в декабре. И койка у меня всего одна.

— Не беда. Посплю на полу.— Брехуня протопал на кухню, снял с чугунок крышку и принялся поедать тушеное мясо, отчаянно на него дуя.

— Стой, еще не готово! — Док с раздражением понял, что и сам кричит.

— Еще как готово! — громогласно заверил Брехуня, продолжая чавкать.

Док сказал:

— Тут ко мне заезжал Хитцлер. Рассказывает, тебя видели на газоне в университете Беркли, будто ты стоял на карачках, тащил зубами из земли червяка. Что это еще за глупость?

— Это не глупость... Слушай, почему у тебя мясо не готово?

— Я ж тебе говорил!..

— В самом деле?.. Так вот, дорогой мой, это не глупость! Я, видишь ли, изучал, как малиновки добывают червей, так сказать, свой хлеб насущный. И стало мне интересно, какое же усилие они при этом прилагают. Я установил у себя во рту маленький силомер. Вытащил из земли сорок восемь экземпляров. И представляешь, что получается? Получается, что птица весом в три унции выжимает двадцать две унции — в семь раз больше собственного веса. Неудивительно, что они такие прожорливые. Пока еду добудешь — проголодаешься... Любишь малиновок?

— Не знаю, не особенно,— отвечал Док.— Ты что, так весь мой обед и слопаешь?

— Угу, слопаю,— подтвердил Брехуня.— Только он еще не готов. А выпить, часом, у тебя не найдется?

— Сейчас пива принесу.

— Отлично! Тащи побольше.

— А у тебя случайно не найдется пары монет?

— Не найдется. Ни гроша.

— Что?! Ведь у тебя денег куры не клюют!

— Скажешь тоже...

— Нет, правда, подкинь немного денег.

— Не могу, поиздержался.

— Врешь! — сердито сказал Док. — Все знают, что ты денежный мешок!.. И хоть бы раз за выпивку заплатил... Я уж молчу, что я из-за тебя чуть по миру не пошел. Кто хозяйничал у меня в лаборатории, пока я был в армии? Где банки с препаратами? Я, конечно, не утверждаю, что ты их стянул, но сомнение невольно возникает. Где они? Говори, брал?

— В общем-то, да, — признался Брехуня. Потом прибавил задумчиво: — Эх, жалко, что ты не какое-нибудь заведение...

— Я? Заведение?

— Ну да, учебное или благотворительное... Я бы тебе денег пожертвовал...

— Если бы да кабы... Пожертвуй хотя бы пару долларов на пиво, если хочешь сделать доброе дело... — Док вдруг устало расхохотался: все же смешного здесь больше. — Господи, разве бывают на свете такие люди. Это же сама несуразность в человеческом обличье!..

— А у тебя мясо горит, — заметил Брехуня.

Док подскочил к плите, сдернул чугунок.

— Ну еще бы не горело! — промолвил он с горечью. — Ты же выхлебал весь соус!

— А что, было очень вкусно.

В лавке Док сказал Патрону:

— Мне дюжину пива, баночного.

— А почему свое «богемское» не забираешь?

— Целей будет, — отвечал Док. — У меня в гостях... — Тут ему в голову пришла злая мысль, — у меня в гостях один очень интересный человек! Пойдем ко мне, посидим, выпьем по стаканчику. Бреху... в смысле, мой гость, про шахматы лучше меня растолкует.

— А что, пойдем, — согласился Патрон.

— Может, мне захватить бутылочку?

— Захвати.

Переходя улицу, Патрон спросил Дока:

— Будешь завтра на вечеринке?

— Буду.

Патрон сказал:

— Слушай, Док, ты мне очень нравишься. Только

я тебя не понимаю. Разве бывают на свете такие люди, как ты?

— А что во мне, собственно, странного?

— Ты... как бы это сказать... ты вроде своих шахмат. Я совсем не могу тебя понять.

— Ничего удивительного, ведь ни один человек не воспринимает другого как реальное существо. Это еще что. Я вот тебя сейчас познакомлю с человеком, факт существования которого вообще противоречит объективной реальности...

— Ты это... не надо такими словами,— сказал Патрон с беспокойством.

Они поднялись на крыльцо. Брехуня встретил их громкими криками:

— Слушайте, внимайте — благая весть! Род людской скоро исчезнет!

— Позвольте, я вас познакомлю,— сказал Док.— Джозеф-Мария Ривас — Брехуня.

— Почему нельзя сжульничать в шахматах? — с ходу спросил Патрон.

— Как нельзя? Можно! По крайней мере, можно расстроить планы противника. А это почти то же самое... Так о чем бишь я? А-а, вот! Мы скоро вымрем подобно гигантским рептилиям!

— Интересная новость,— сказал Док.

— Это что ж, никаких людей больше не будет? — спросил Патрон.

— Совершенно верно, молодой человек. Люди долго шутили — и дошутились. Открывайте пиво! Человечество, спасая себя, самое себя уничтожило.

— Кого-кого уничтожило? — не понял Патрон.

— То-то, наверное, боги на Олимпе над нами потешаются,— продолжал Брехуня.— Грядет не Армагеддон, а газовая камера. И мы сами этот газ производим...

— Я, между прочим, собирался сегодня поработать над своей монографией...— сказал Док.

— Отлично! Я тебе помогу,— живо отозвался Брехуня.

— Нет уж, спасибо!

Брехуня повел речь дальше:

— Господа, человек разрешил свои проблемы. Он истребил с лица земли всех хищников, научился защищаться от жары и холода, победил почти все инфекционные забо-

левания. Старики доживают до глубоких лет, молодые и подавно умирать не торопятся. Войны, даже самые кровопролитные, не в силах помешать бурному росту народонаселения. А ведь было время, когда маленькая армия за какой-нибудь год могла уполовинить население страны! Голод, тиф, чума, туберкулез тоже действовали на славу... Маленькая царапина от копья — и пожалуйста вам: заражение и смерть. А сейчас? Знаете, сколько раненых в наше время не выживает? Всего один процент! А лет сто назад не выживало восемьдесят процентов!.. Население растет, плодородие земель падает. Так что в обозримом будущем мы просто-напросто погибнем от обилия себе подобных. Если что-то и могло бы нас спасти, так это регулирование рождаемости, однако человечество эту меру явно не приемлет!

— Жуткое дело, — сказал Патрон. — Какого же черта ты радуешься?

— Как тут не радоваться! Ведь это самая удачная шутка творца! Поглощенные выживанием сами себе готовят почву для вымирания!

— Во загнул! — сказал Патрон. — Ни фиги не понимаю.

Док держал в одной руке стакан виски, в другой — жестянку пива. Делал маленький глоток виски и тут же запивал пивом.

— Так, — сказал он, — разум подсказывает не ввязываться с тобой в спор, а чувства зовут в бой.

— Вот и прекрасно, — сказал Брехуня. — Что там, кстати, у вас? Виски?

— Да, «Старая тенисовка», — ответил Патрон. — Налить тебе?

— Если можно, чуть позже. Еще не пора, — сказал Брехуня.

— Твое дело.

— А вот теперь уже пора, — сказал Брехуня.

— Я смотрю, ты не промах, — одобительно сказал Патрон.

— Итак, чувства победили, — сообщил Док. — Держись, Брехуня! Ибо ты забыл об одном важном обстоятельстве. Да, действительно, существовали виды, которые вымерли из-за своих изъянов, но всё это были виды с малой степенью изменчивости! Теперь возьмем леммингов...

— Но это же совершенно особый случай! — поспешно возразил Брехуня.

— А почему ты знаешь, что мы тоже не какой-нибудь особый случай?.. Что делают лемминги, когда размеры популяции превышают размеры кормовой базы? Плывают целыми стаями в море и тонут, тонут, пока количества животных и кормов не уравниваются...

— Я протестую против примера с леммингами!.. Дай-ка мне, пожалуйста, бутылку.

— Плевать я хотел на твой протест... Так что же такое миграция леммингов? Болезнь? Коллективный инстинкт? А может, это психическое явление, которое у одной части животных затем и возникает, чтобы другая часть выжила?

— Все равно, это мошеннический аргумент! — завопил Брехуня. — Моя теория вымирания абсолютно правильна! Не слушайте его, — обратился Брехуня к Джозефу-Марии, — он шарлатан!

— Это я и без тебя знаю, — сказал Джозеф-Мария с восхищением.

Сжимая в руке стакан, Док прицелился указательным пальцем Брехуне между глаз, как из пистолета:

— Что ты там болтал? Болезни перевелись? Нет инфекций? Тишь да гладь? А скажи-ка, разве не растет число нервных расстройств? Поддаются они излечению? А может, наоборот, лечение только способствует их росту? Нет уж, теперь молчи! Довольно тебя слушали. Дальше, не станешь же ты отрицать, что склонность к гомосексуализму растет в геометрической прогрессии? Так не есть ли это новое решение извечной проблемы?

— Не верю, где доказательства? — вскричал Брехуня. — Без доказательств это все болтовня, субъективизм. Может, ты еще скажешь, что у меня самого психическое расстройство? Эх, ты... — В глазах Брехуни блеснули слезы. — А еще друг... Мой самый заветный, самый преданный друг...

— Кто? Я? Твой друг?!

— А разве нет?

— Еще чего не хватало.

— Ну и бог с тобой. Лучше скажи, ты думаешь сегодня готовить обед?

— Обед? Ты ведь его уже съел.

— Значит, так. Сейчас ты будешь готовить,— распорядился Брехуня,— а наш друг Уильям-Мария сходит еще за одной бутылочкой виски, а потом мы с ним сыграем в шахматы.

— Он не Уильям-Мария, а Джозеф-Мария!

— Кто? Ах да! Итак, друг мой, я научу тебя величайшей из игр. Шахматы! Бесплотное творение разума! Может, сыграем на деньги?

— Постыдился бы, старый мошенник,— крикнул Док из кухни.

— Ну так как, Мария, поставим долларов по десять?

Патрон пожал плечами, как бы извиняясь перед Доком:

— Что делать, за науку приходится платить.

— Тогда давай уж по двадцать пять,— обрадовался Брехуня.— Чего скряжничать? Один ведь раз живем!

Док тем временем открыл банку лосося и банку спагетти, вытряхнул на сковородку, перемешал. Посыпал сверху тертым мускатным орехом. Потом грустно поставил пригоревший чугунок в раковину, отмокать...

Когда уже почти стемнело, Патрон вернулся в магазин и отправил с Какахуэте третью бутылку виски в лабораторию Дока. А сам поднялся наверх и влился в танец «мокрых спин». Танец этот назывался «Тихий океан»: плавные, колышущиеся волны; печально-величавые движения. «Сандунга,— пели «мокрые спины»,— сандунга мама миа...»

В полумраке лаборатории Док и Брехуня тихо окунулись в третью бутылку «Старой тенисовки».

— Слезай с кровати! — сказал Док.— Я хочу полежать.

— Пожалуйста... Чем старше я становлюсь, тем меньше я жду от жизни. Особенно от моих так называемых друзей...

— Уж чья бы мычала!.. Выхлебал соус — погубил обед. Приготовили другой — ты и его слопал. Выпил все пиво, две бутылки виски... Выжил меня с моей кровати, раздавил две пластинки; а еще — не отпирайся, я видел! — прибрал в карман мою авторучку! Я уже молчу про то, что ты нагрел Патрона на двадцать пять долларов. Разве ты имел право врать, что конь в определенных позициях может скакать на три клеточки по прямой? Это, по-твоему, честно?

— Да, ты прав...— сказал Брехуня, любовно обнимая подушку.— Ладно, не грусти, ложись на пол, располагайся как дома. На́ вот, выпей, станет лучше. Ну как, полегчало?

— Полегчало, полегчало, отвяжись...

— Слушай, а вон то заведение через дорогу, с красным фонарем, оно еще работает?

— Что?! — Док так и подскочил от ярости.— Ах ты старый козел! Чего удумал! Ну-ка ложись спать!

— А в чем, собственно, дело? Почему я должен отказывать себе в женских ласках? Если к тому же цена сходная... О, я уже слышу, как звенят их голоса, вижу, как зыблется их белая плоть...

— Ты заткнешься или нет?

— Что с тобой, дорогой мой? Что-то я не припомню, чтоб ты сам чурался любовных утех. Ты, бывало, не только через дорогу, ты на край света побежишь...

— Слушай, пошел ты к чертовой матери! — сказал Док.— Только, чур, за порог — ни шагу.

26. БУРЯ ПРИБЛИЖАЕТСЯ

В то время, когда Док и Брехуня ссорились из-за проблемы, которую ни тот, ни другой толком не понимал, Мак сидел в кабинете-спальне Фауны. Сидел он вальяжно, держал в руке вазочку из венецианского стекла в виде бутона, полную виски; но на душе у него было смутно. Он рассказывал Фауне о трудностях, с какими давно не сталкивался.

— Ты не подумай,— говорил Мак,— что мы не умеем устраивать вечеринки. Вот, например, как дошла до нас весть, что Гай погиб, мы в его честь такой траурный вечер устроили! Лучше, чем родео в Салинасе! Жалко, самого Гая не было,— вот бы порадовался...

— Слышала я, после того траурного вечера трое вслед за Гаем отправились...

Мак пожал плечами:

— В наше время трудно обойтись без жертв... В общем, были у нас вечера... Но этот случай особый. У всех сердца пылают участием, все хотят сделать Доку подарок. К тому же намечается двойное событие! У нас в Ночлеж-

ке расставлены брачные силки! Чувствительная история! Уж так мы растроганы, так мы рады... Да вот беда, нет у нас приличной...— Мак замялся.

— Одежды? — подсказала Фауна.

— Вот-вот. Должно же быть по одежке ясно, кто есть кто. Если лучшие друзья Дока будут одеты как бродяги, то как прикажете одеться бродягам?

— Понимаю,— кивнула Фауна.— Вы, поди, хотите быть при полном параде, в смокингах?

— Боже упаси,— сказал Мак.— Просто приличные штаны и пиджак из той же материи, да еще галстук. Кстати, без галстука вообще никого на вечер не пустим! Да чтоб настоящий был галстук, а не какая-нибудь легкомысленная бабочка! Как-никак серьезное, торжественное событие...

Фауна почесала карандашом макушку.

— Эх, старею я,— продолжал Мак.— Как знать, будут ли еще вечера на моем веку...

— Что делать, все стареем,— откликнулась Фауна и задумчиво постучала карандашом по зубам (она тоже мучалась с одной задачей и хотела просить у Мака совета). И вот эти две трудности столкнулись у нее в уме — и родилось решение — торжествующий огонек зажегся в глазах.— Так, кажется, придумала!

— Ну-ка, ну-ка,— заинтересованно сказал Мак,— выкладывай. Только не части, а то я нынче соображаю плохо, всю ночь не спавши.

Фауна встала и взяла в руки палочку, которой управляла движением звезд, а также шлепала по выдающимся частям воспитанниц во время уроков красивой осанки. С этой палочкой ей легче думалось и говорилось.

— По такому случаю надо выпить,— сказала она и налила себе стопку.

Мак повертел в руках вазочку, посмотрел напиток на свет. От красного стекла бурое виски казалось зеленым.

— Слушай, чего я расскажу. Давным-давно жила-была королева,— начала Фауна.— Денег у нее — не счесть. Выбросить сотни две на домашний халат ничего для нее не стоило. А браслетов у нее было! Как все нанижет, рук не согнуть. Так ты знаешь, в чем она ходила на разные торжества — именины там, повешение или еще что-нибудь?..

— В чем? В исподнем? — спросил Мак.

— Нет, но почти угадал. Она одевалась дояркой! Она ведь как любила: помоют, почистят корову, а королева сядет на золотой стульчик и давай ее доить... Или вот тебе другой пример. Знаю я одну старуху, богачку — сливки общества. К ней на вечеринку так просто не прорвешься. Так она уже много лет на голове, знаешь, что носит? Дранный платок! Хочешь высмотреть ее в толпе, глянь поверх голов — не видно дранных платка, значит, ее нет.

Дрожащей рукой Мак поднес к губам стеклянный бутон.

— Я, кажется, начинаю догадываться... Ма...

— Верно! — воскликнула Фауна. — Маскарад! Ведь кто маскарад устраивает? Либо тот, кто с жиру бесится, либо тот, у кого ни гроша за душой!

По лицу Мака поползла улыбка.

— С твоего позволения!.. — сказал он, поднимая вазочку.

— Пей на здоровье, — сказала Фауна. — А маскарад, он, знаешь, еще чем хорош? Тем, что люди в сказочном костюме могут от будничной жизни отдохнуть...

— Все, — сказал Мак, глядя на Фауну с благоговением, — сдаюсь. Раньше говорили: если какая загвоздка, обращайтесь к Маку, Мак голова. А теперь я вижу, настоящая голова — это ты, Фауна. Как тебя осенило? Не иначе как божье произволение.

— Ты считаешь, мысль хорошая?

— Не то слово. По-моему, любой корреспондент удивился бы, лишь бы на нашу вечеринку попасть.

— Теперь подумаем, какой будет маскарад.

— Как какой?

— Ну, нельзя же, чтоб все вырядились, кто во что горазд. Балаган получится, а не маскарад.

— Верно. Какие у тебя соображения?

— Может, «Свита Королевы фей»?

— Нет, — сказал Мак. — Это слишком туманно. Получится тот же разнобой.

— А что если «Белоснежка и семь гномов»?

— Хм, в этом что-то есть. Помню, видел я такой фильм. Вообще-то гномы на нас, бродяг, здорово похожи. Эльфа из Элена сделать трудно, а вот гном-переросток из него, пожалуй, выйдет.

— Вот и мне показалось, что получится хорошо. Всем роли подберем.

— Ну вот и порешили... По-моему, за это дело не грех и выпить.

— Ладно, за успех! Только не забудь сказать всем: пусть придумают себе костюм — или гнома, или принца, или принцессы. А то не пустим! Тише, не урони вазочку.

— Я думаю, Доку можно без костюма?

— Вот увидишь, он придет в костюме. И в галстук. На что хочешь спорим.

27. О СЛАВНОХЛОПОТНЫЙ ДЕНЕК!¹

Стоит чему-нибудь в Консервном Ряду случиться, — новость распространяется со скоростью света, словно по волшебству. В пятницу, в девять часов одиннадцать с половиной минут, Фауна с Маком приняли свое замечательное решение насчет маскарада; в девять часов двенадцать минут волшебная служба оповещения заработала, а к девяти часам тридцати минутам все жители Консервного Ряда, за исключением тех, кто спал, или был пьян, или в отъезде, уже знали новость. Нашлась одна женщина, которая сказала: «Подумаешь, радость — маскарад... Да некоторым мужикам вообще никакого маскарадного костюма не надо!» (это злобное замечание, впрочем, объяснялось тем, что она уже давно позабыла, как мужик выглядит). Однако все другие, узнав о маскараде, обрадовались как дети. Подумайте, сколько интересного ожидало обладателей лотерейных билетов: вечеринка в Королевской ночлежке; лотерея с призом — и с каким; великолепная помолвка, которая войдет в анналы Консервного Ряда; и, наконец, сам маскарад! Любое из этих событий было само по себе прекрасно. Вместе же они обещали вылиться в праздник сродни стихийному бедствию.

Фауна тоже не могла нарадоваться — маскарад устранил главную трудность. Фауна хотела видеть Сюзи в определенном наряде, но боялась, что Сюзи заупрямится. Теперь, слава богу, это будет ее маскарадный костюм.

¹ Выражение из знаменитого стихотворения Л. Кэрролла «Верлиока» (из книги «Алиса в Зазеркалье»).

Чем, собственно, наряд Белоснежки отличается от подвенечного?

Найдутся скептики, скажут, что Фауна слишком много брала на себя. Устраивать брак, не сговорившись ни с одной из сторон, не спросив даже, хотят ли они быть вместе! Скептики, конечно, правы. Однако у Фауны имелось твердое, выношенное убеждение, что люди, во-первых, сами не ведают, чего хотят, во-вторых, не знают, как добиться счастья, и, в-третьих, не видят, когда оно само плывет в руки. Кроме того, Фауна принадлежала к тому редкому типу людей, которые не просто обладают убеждениями, но и с полной ответственностью поступают согласно им. Она была уверена, что Док и Сюзи должны соединиться. И поскольку для осуществления счастья у них самих не хватало разума и храбрости, Фауна готова была соединить их лично. А вдруг она ошибается, скажут критики; вдруг этот союз обречен на неудачу? Фауна ответила бы критикам так: «Можно подумать, Доку и Сюзи друг без друга живется счастливо. Так почему бы им не попробовать соединиться? Что они, в конце концов, от этого потеряют? Попытка не пытка. И потом, не зря же Док надел галстук!.. Если же я ошибаюсь, это моя вина, а не их. Ну, будут иногда поругиваться между собой. А скажите, в каких семьях не ругаются? Но ведь они зато кое-что и приобретут!»

Если бы Фауне сказали, что люди должны хорошенько подумать перед столь ответственным шагом, Фауна бы ответила: «А вот я за них и подумаю сама! Я человек посторонний, значит, могу судить объективно».

А если бы ее обвинили в том, что она сует нос не в свое дело, она бы с легким сердцем промолвила: «Каюсь! Мое любимое занятие!» С Фауной вообще было трудно спорить: она соглашалась с любой критикой, а потом все равно действовала по своей задумке. Астрологией она занялась оттого, что поняла: люди не станут следовать дельному совету мудрого друга, зато с готовностью послушаются далеких звезд,— даром что ученые утверждают, будто звездам нет до смертных никакого дела. Дока, правда, астрологией не проймешь, остается воздействовать силой. На благодарность Фауна не рассчитывала, разве дождешься в наши дни благодарности?.. Док не слышал тоскующего голоса, который пел в его глубинах.

Фауна же из всех его голосов слышала только этот — он звучал для нее как набат, — и понимала главное: беды Дока — от одиночества...

С утра в субботу Фауна приказала девушкам принести к ней в спальный кабинет все платья, какие только у них найдутся. На кровати выросла довольно внушительная гора нарядов (правда, некоторые из платьев были таковы, что стоит в них показаться на улице — тут же загребут за бродяжничество).

Среди прочих пришла к Фауне и Мейбл. Надо заметить, что Мейбл была просто создана для своей нынешней профессии. В любом обществе и во всякую эпоху она быстро бы сориентировалась и стала тем, чем была. Дело здесь не в непреложности Судьбы, а скорее в некоторых свойствах натуры Мейбл. Где бы ни была рождена Мейбл — в лачуге или в замке, — натура все равно взяла бы свое... Мейбл позвала Фауну к себе в комнату, затворила дверь.

— Моя бабушка была родом из Англии... — начав так, Мейбл выдвинула нижний ящик стола и достала пакет в оберточной бумаге, сплошь оклеенный широкими полосами липкой ленты, чтобы не проходил воздух. — Бабушка это завещала матери, а мать мне, — говорила Мейбл, разрывая бумагу. — Да никому из нас это не понадобилось. — Мейбл развернула пакет, сняла несколько слоев папиросной бумаги, — и наконец извлекла на свет платье. Подвенечное платье из кипенно-белого полотна, расшитое белыми же веточками и цветами. Шитье было такое тонкое и искусное, что цветы казались живыми. Лиф был облегающий, а юбка пышная-препышная. Мейбл открыла какую-то коробочку, вынула серебряный венец и положила на кровать рядом с платьем. — Я думаю, она их не испортит. Вот только платье не залила бы чем-нибудь. Венец я почищу — вон как потускнел — чистое серебро!

Фауна на мгновение потеряла дар речи. Пальцы ее гладили дивную легкую ткань. Чтоб Фауна растрогалась — такое бывало раз в сто лет! Но именно это случилось с ней при виде платья.

— Господи! — проговорила она, задыхаясь от волнения. — Вот уж будет Белоснежка так Белоснежка! Еще немного, и я сама поверю в свои предсказания... Мейбл, я дарю тебе мои серьги из черного янтаря!

— Не надо.

— А я говорю — надо!

— Ну ладно,— согласилась Мейбл.

А Фауна уже прикидывала:

— Платье, пожалуй, будет впору.

— Не впору, так подгоним.

— Слушай, а ты сама замуж не хочешь? Я могу потом и тебя выдать.

— Спасибо, мне и так хорошо... Тут, кстати, еще и фата есть!

— Фата — это замечательно, но согласится ли Сюзи ее надеть? Вдруг поймет, куда мы клоним?..

— Да ничего она не поймет. Она, небось, и не знает, что такое фата...

Если б только люди относились к международным делам, к внутренней политике, даже просто к своей работе с такой же истовой заботой и вниманием, как к маскараду,— о, тогда наш мир был бы верхом совершенства!.. Наружность Консервного Ряда была самая спокойная, однако внутри все бурлило...

В одном из углов Королевской ночлежки Уайти II с великим тщанием обучал маленького Джонни Карриага искусству прятанья билета в руке. Джонни одолжили у отца, Альберта Карриага, вернее, взяли напрокат, поскольку Альберт получил за использование своего первенца шестьдесят два цента, как раз на галлон вина. Джонни решили нарядить Купидоном. Костюм состоял из бумажных крылышек, лука со стрелами и колчана. Колчан был тайником для выигрышного лотерейного билета. Хотя почти весь Консервный Ряд знал, что лотерея обманная, соблюсти при обмане достоинство было вопросом принципа. Опасаясь, что Джонни использует стрелы по назначению, на них насадили резиновые присоски.

Уайти II вырезал из бумаги полоску точно такого размера, как лотерейный билет.

— Ну-ка, Джонни, попробуй еще раз,— говорил Уайти II.— Нет, так не пойдет! Краешек видно. Смотри, как надо. Кромочку немножко загибаешь, вот так. Еще раз! Вот, теперь другое дело! Молодец! Теперь давай попробуем, как ты вынешь билет из колчана. Делаешь движе-

ние луком, чтоб все смотрели на эту руку, и говоришь...

— Знаю, я уже выучил! Я бог Купидон, красивый собой, пронзаю сердца беспощадной стрелой.

— Вот здорово! — восхитился Эдди. — Откуда только Мак эти стихи взял?

— Откуда, откуда... — передразнил Уайти II. — Сам сочинил! Ну вот, поднимаешь, значит, правой рукой лук, а левой в это время достаешь билет из колчана. Ну-ка, делай!

— Я бог Купидон, красивый собой... — заверещал Джонни, одной рукой потрясая луком, другой — вытаскивая билет.

— Так, недурно. Однако придется еще потренироваться. Да не смотри ты на левую руку! Смотри на лук! Теперь суешь руку с билетом вот в этот кувшин, как будто роешься в других билетах. Только смотри свой билет не выпусти! Ну, тренируйся!

— Дядь, дай тридцать пять центов.

— Что?!

— Дай, а то расскажу.

— Слышь, Мак, — сказал Уайти II. — Мальчишка шантажирует!

— Ладно, дайте ему сколько просит, — отозвался Мак. — А потом я ему дам раза в два больше, или вообще ничего, смотря как будет работать.

— Только чур не мелочью! — сказал Джонни. — Мелочь можешь себе оставить.

— Ну и дети пошли! — изумился Эдди. — Никакого уважения к старшим. Да скажи я такое своему отцу...

— А твой отец тоже устраивал обманную лотерею? — спросил Джонни.

— Слушай, Джонни, — сказал Уайти I. — По-моему, ты плохой мальчик. Знаешь, куда потом попадают все плохие мальчики?

— Знаю. Я там был, — сказал Джонни.

— Да дайте вы ему тридцать пять центов! — крикнул Мак.

Кто знает, какие чаяния и вожделения дремлют в душе любого из нас! За сломанным носом и недобрым глазом может скрываться самое нежное сердце, за позой, за мифами и символами Джо Элеганта — горячее желание

быть человеком. Дайте людям возможность хотя бы на один вечер быть кем они хотят — и вы узнаете самые сокровенные тайны!

Тему «Белоснежка и семь гномов» для маскарада выбрали в какой-то мере из-за Элена. Уж больно подходила ему роль гнома-переростка. Но когда Элен узнал всю сказку до конца и у него сложилось о ней самое ясное представление, на какое он был способен, он вдруг заявил, что желает быть Прекрасным принцем. Он уже представлял, как вышагивает в белых шелковых штанах по колено и в камзоле, поглаживая рукой эфес короткого меча.

Ему предлагали лучшие роли гномов — Ворчуна и Добряка. Однако Элен не хотел расставаться с мечтой. Или он нарядится Прекрасным принцем, или вообще не придет. На том и дружба врозь.

— Ладно, — сказал Мак, — поступай как знаешь. Хотел я тебе помочь с костюмом гнома, но Принца мне не осилить. Хочешь быть Принцем — сам ломай башку над костюмом...

— Ну и подумаешь, — сказал Элен, — обойдусь без твоей помощи. Ты, небось, сам хотел быть Прекрасным принцем. Завидно, вот и злишься.

— Ничего не завидно, — сказал Мак, — я буду деревом.

— Как это?

— А так. Где действие сказки происходит? В лесу. Вот я и буду деревом — чтоб не выделяться...

Элен вышел и уселся под кипарисом. Он был мрачен и немного испуган: мысли не приходили, а когда он пытался их искать и вроде бы находил, они с кудахтаньем разбегались. И все же решение Элена было непоколебимо. Нельзя подводить народ. Человеку, осужденному на президентство, не пристало рядиться в гнома... Поэтому спустя время Элен зашел с черного хода в «Медвежий стяг» и попросил Джо Элеганта помочь с костюмом.

— Поможем. В лучшем виде, — заверил Джо, зловредно улыбаясь.

По всему Консервному Ряду открывали чемоданы — запах нафталина тек на улицу с обеих сторон и густо стоял посередине. Во всяком доме сказочный сюжет переиначивали в расчете на свой гардероб. По негласному уговору никто не наряжался Белоснежкой.

Утром Док проснулся в Западной биологической на полу, ломило каждую косточку. Немного полежал, пытаясь найти ту часть, которая сильнее всего болела. Самое обидное и противное было то, что вчера он сам, чуть ли не силком, в порыве пьяной щедрости уложил Брехуню на единственную койку. А может, виной не щедрость, а проклятая тяга к самопожертвованию, самоистязанию? Приподнявшись на ноющем локте, Док поглядел на Брехуню: тот сладко спал, похрапывал негромко и уютно; желтые волосы вокруг зеркально-розовой макушки напоминали гало́ вокруг небесного светила.

— Подъем! — в ярости крикнул Док.

Глаза Брехуни открылись — тускло блеснули.

— А что на завтрак?

— На завтрак?! Я думал, у порядочных людей бывает похмелье.

— Да, опохмелиться бы не мешало, — с достоинством произнес Брехуня. — Может, выпьем пивка?

— Что, голова болит?

— Болит.

— Суставы ломит?

— Ломит.

— Чувствуешь упадок сил из-за пониженного давления?

— Чувствую. Я вообще чуть жив.

— Тогда я рад! — Док потер руки. — За пивом пойдешь ты!

Тусклые глаза отчаянно округлились.

— Плачу половину, только иди сам!

— Не пойду, — отрезал Док.

— А если я тебе одолжу твою долю?..

— Все равно не пойду.

— Ладно, подай мне брюки, — уныло промолвил Брехуня. Покопавшись в кармане, протянул Доку две монетки, в двадцать пять и в десять центов.

— Мало, — сказал Док.

— Господи! Сколько же тебе надо?

— Два доллара.

— Да ведь это на шесть бутылок!

— Вот и хорошо. Хоть раз выпью за твой счет!

Брехуня еще глубже запустил руку в карман брюк и вытащил две бумажки по одному доллару.

— Ладно,— вздохнул он,— придется списать на культурный отдых...

Док надел брюки и рубашу и отправился в лавку. Взяв пива, он не спешил домой. Быстро осушив одну бутылку, принялся смаковать другую,— Джозеф-Мария тем временем рассказывал ему о маскараде...

В лаборатории Док поставил четыре оставшихся бутылки на стол.

— А где сдача? — спросил Брехуня.

— Вот где,— Док похлопал себя по животу. К Доку начинало возвращаться хорошее настроение. Вид у Брехуни был ошарашенный.— Что, старая шельма, поддел я тебя? — спросил Док с ликованием.— Ты для меня загадка. Миллионер, а дрожишь над каждым центом, норовишь выпить на дармовщину. Отчего это так?

— Дай пива. А то я сейчас умру.

— Умирай, только подольше. Приятно смотреть, как ты умираешь... Так почему ты такой скупердья?

— Моей вины тут нет! — принялся объяснять Брехуня.— Такое уж сейчас умонастроение. Можно это назвать американским умонастроением. Наши проклятые налоговые законы порождают новый тип психики. Я говорю не о психических расстройствах, а именно о новом психическом типе. Еще два-три поколения — и мы произведем новый человеческий вид... Теперь можно пива?

— Нет.

— Если у человека водятся деньги, и он хочет что-то купить, он уже не думает как простачок: «По карману ли мне это?» Он думает, как бы с помощью самой покупки убавить налоги. Вся нация обрекается на нечестность, потому что честность наказуема... Но в моем случае все гораздо страшнее... Дай, пожалуйста, бутылку, тогда доскажу...

— Нет уж, ты прежде доскажи.

— Не я составлял эти налоговые законы,— трясясь, сказал Брехуня.— Только отдельные индивиды способны творить, но закон не позволяет жертвовать деньги личностям. Группам, организациям — пожалуйста. Но что способны создавать группы? В лучшем случае бухгалтерские книги. Чтобы получить часть моих пожертвований, индивид должен примкнуть к какой-то группе, потерять свою индивидуальность и способность к творчеству. Не я устанавливаю законы. И я ненавижу эти законы, которые ду-

шат щедрость и превращают благотворительность в бизнес. Как ни прискорбно, я вынужден поступать, как все. Знаю, тебе нужен микроскоп, но не могу тебе его подарить! Из-за налогов микроскоп, который стоит четыре сотни, обойдется мне в тысячу двести долларов. Потому что если я подарю его какому-нибудь институту, мне снизят налоги на тысячу шестьсот. Так что видишь, сколько я на тебе потеряю... Даже если тебе за научные изыскания присудят премию, ее почти всю съест налог! Ей-богу, я не против налогов. Однако я принципиально против законов, из-за которых благотворитель не может дарить от полноты сердца, а должен все время заниматься низменной бухгалтерией!.. А теперь дай мне пива, или я...— Брехуня был весь в испарине.

— Славная речь,— сказал Док.— Извольте, ваше пиво.

— А что у нас на завтрак?

— Бог его знает. Сегодня в Королевской ночлежке маскарад, «Белоснежка и семь гномов».

— Зачем это?

— Не знаю.

— Я буду рыжим гномом,— оживился Брехуня.

— Нет, ты больше похож на остывающую звезду. Волосы у тебя вокруг лысины — как гало...

Когда с пивом было покончено, они решили, что другого завтрака им и не надо. Док отправился в лавку и принес еще шесть бутылок пива, на этот раз — в порыве щедрости — своего, «богемского».

— Вот это я понимаю — пиво! — одобрил Брехуня.— Мексиканцы — великий и благородный народ. Сколько они всего нам дали — Пирамиду Солнца, и теперь еще вот это пиво. Немногие цивилизации могут похвастаться такими достижениями... Ты что-то начинал мне вчера рассказывать про свою монографию, а потом переключился на какую-то девчонку... Может быть, ты меня с ней познакомишь?

— Да, это будет очень занятная монография. В ней проводится мысль, что между эмоциональными реакциями цефалопод и человека существует некоторый параллелизм. Я собираюсь проследить патологические изменения при этих реакциях. Ты ведь знаешь, телесные покровы у осьминогов полупрозрачные. С помощью соответствующего оборудования можно, вероятно, наблюдать процесс

этих изменений... А простые организмы и явления порой дают ключ к пониманию более сложных. Считали же, например, что *dementia praecox*¹ — чисто психическое явление. А потом оказалось, что у него есть физические симптомы...

— Ну и что же ты не пишешь свою монографию?

— Да как-то не могу решиться. Только приступаю, сразу страх сковывает.

— А чего бояться? Не получится, так не получится. Что ты от этого теряешь?

— Да вроде ничего.

— А если получится, что это тебе даст?

— Не знаю...

Брехуня благожелательно посмотрел на Дока, потом спросил:

— Ты достаточно залил в себя пива? Не полезешь опять со мной воевать?

— Да когда я с тобой воевал?

— А вчера, забыл? Я, между прочим, до сих пор на тебя в обиде.

— Прошу прощения. Так что ты хотел сказать?

— Ты меня точно не будешь прерывать?

— Не буду.

— Хорошо. Знаешь, кого ты мне напоминаешь? Женщину. Женщину, у которой детей никогда не было, а слова, что младенцам говорят, она выучила... Чувствуется в тебе какая-то незавершенность! Такое впечатление, что ты что-то подавил в себе, чего-то тебе не хватает. Питаешься хорошо, а какого-то жизненного витамина недостает... И сыт, и голоден.

— Не представляю — чего мне может не хватать? Все у меня есть — свобода, покой, любимая работа...

— А вот есть ли у тебя... Помнится, вчера вечером на каждом слове у тебя всплывала девушка по имени Сюзи...

— Господи, да о чем ты говоришь! Ты хоть знаешь, кто такая Сюзи? Неграмотная бродяжка, проститутка. Я сходил с ней в ресторан, потому что Фауна попросила. Да, она мне показалась занятной... Ну, скажем, как новая разновидность осьминога — но не более. Сколько я тебя знаю, Брехуня, ты всегда был дурак. А теперь ты еще и в романтики записался?

¹ Шизофрения (лат.).

— Какая же это романтика? Твоя болезнь — это самый прозаический голод... Ты, наверное, оттого и не можешь обрести внутреннюю цельность, что никогда не отдавался целиком другому существу.

— Тьфу, какой заумный бред! — вскричал Док. — И зачем я тебя только приютил на свою голову?

— Тогда объясни, почему ты кипятишься?

— Что я тебе должен объяснить?

— Если мои слова бред, то почему ты кипятишься? Разве стал бы ты так яростно опровергать заведомую неправду?

— Знаешь, — сказал Док, — мне иногда кажется, что у тебя не все дома.

— Знаешь, — сказал Брехуня, — что я сейчас сделаю? Я куплю бутылку виски!

— Да не снится ли мне это?! — воскликнул Док.

28. НОВЫЙ КУБЛА ХАН, ИЛИ ВИДЕНИЯ ВО СНЕ ¹

Мало кто помнил о том, что Королевская ночлежка, где так давно живут Мак с ребятами, обязана своим именем Элену. А между тем это именно он, охваченный ликованием по поводу обретения дома, придумал вдохновенное название, в котором соединилось обыденное с романтическим; название привилось, и пошла молва о Королевской ночлежке по всему штату. Ночлежка оправдывала свое имя; она не только служила ребятам штаб-квартирой, но и бывала зачастую местом прямо-таки сказочных событий.

Само по себе здание не слишком впечатляло: тесовые стены, толстая крыша без потолка; двадцать шагов в дли-

¹ Во сне (вызванном сильнодействующим болеутоляющим средством) английский поэт-романтик С. Т. Колридж (1772—1834), по его словам, узрел дивные причудливые картины, которые запечатлел в знаменитой поэме «Кубла Хан, или Видения во сне»:

В стране Ксанад благословенной
Дворец поставил Кубла Хан,
Где Альф бежит, поток священный,
Сквозь мглу пещер гигантских, пенный,
Впадает в сонный океан.

и т. д.

(Перевод К. Д. Бальмонта)

ну, десяток в ширину; два квадратных оконца и две двери, по одной на каждую сторону. В это простое помещение Мак и ребята поставили кое-какие замечательные предметы, сам подбор которых говорил об оригинальности ума, предприимчивости и, в какой-то мере, о незадачливости. Огромная чугунная плита посередине, в превосходном состоянии и напоминавшая видом Колизей, готова была поспорить с ним в долговечности. Рядом с печкой стояли напольные часы, в которых некогда жила собака, а теперь Эдди сказал, что это будет его гроб. Над каждой кроватью был устроен полог (легче сделать полог, чем починить крышу); кровать Гая содержалась в том порядке, в каком он ее оставил, уходя на войну: лоскутное стеганое одеяло сложено вдвое, видна серая холщовая простыня. На тумбочке — ящике из-под яблок — книга Гая, «Правдивые рассказы об удивительных похождениях в пустыне», раскрытая на шестьдесят второй странице рукой хозяина; а под ящиком, на черной бархатной тряпочке покоилось главное достояние коллекции Гая — набор шестерен от коробки передач «виллиса» выпуска 1914 года. На полочке над кроватью в красивом граненом стакане всегда стоял букетик цветов: покойник их любил (особенно цветки горчицы, сурепки и одного сорта георгин — он их ел). Никому не разрешалось ни сидеть, ни тем более спать на постели Гая. Пусть его имя в списках погибших и жена давно получила страховку, — когда-нибудь он все же вернется, думали ребята.

Так вот, в Королевской ночлежке и прежде случались праздники, однако такого грандиозного, который вот-вот должен был разразиться, не было никогда. Ночлежку заново побелили снаружи. Кровати сдвинули к стенам и убрали все стены сосновыми ветками, так что комната напоминала беседку. Плиту решили использовать в качестве бара, набив топку колотым льдом. Возле одной из дверей (не парадной) устроили небольшие подмости: занавесом служила холстина, которой маляр закрывает мебель от краски, а ходом для актеров — дверь. Ведь, не считая самой лотереи, ожидалось еще представление... Сосновый шатер освещался китайскими фонариками; гирлянда таких же фонариков над узкоколейкой озаряла тропинку к дому... В общем, ребята постарались на славу и были собой довольны.

Мак придиричливо оглядел место будущего действия и произнес слова, которые у всех остались в памяти: «Страна волшебных грез!»

Джозеф-Мария Ривас отрядил на вечер самую лучшую, можно сказать, призовую команду музыкантов — ансамбль «Мокрые спины» в первоначальном составе: две гитары, маракасы, трещотки, кастаньеты, гаитянский барабан и, наконец, контрабас размером с гребную шлюпку. Позже, в назначенный час, к ансамблю должен был примкнуть со своей трубой Какахуэте Ривас, — пока же он тихо репетировал свое соло на морском берегу.

К вечеру ребята устали от приготовлений, но были довольны. По примеру Мака они все нарядились деревьями — хозяевам не следует выделяться. Одно их печалило: с ними не было Элена. Жажда стать Прекрасным принцем пересилила чувство товарищества. Никому ничего не сказав, Элен отдал себя в руки Джо Элеганта.

— Он ведь, чудила, застал меня врасплох, — уже в который раз оправдывался Мак перед ребятами. — Дурак дураком, а вон какой чувствительный! И чего я не сварганил ему какой-нибудь королевский балахон! Мне без Элена как-то не по себе — никто не мешается, не бубнит...

Обычно гости являются на маскарад робкие, трезвые и битый час не могут раскачаться, бродят потерянно. Консервный Ряд, однако, намного превосходит все известные культурные центры по той быстроте, с какой разгорается здесь веселье. Вечеринка должна была начаться ровно в девять вечера. Сигнал для гостей подаст Какахуэте — протрубит песенку «Свисти, чтоб спорилась работа...».

По меньшей мере часа за два до сигнала по всему Консервному Ряду — в кафе Могучей Иды, в «Медвежьем стяге», наконец, просто в частных домах — провели основательную застольную разминку. Так что праздник должен был грянуть сразу в полную силу. Мак с ребятами несли на себе тяжелейший груз ответственности, который помешал им размяться так, как требовала душа. Все же кое-что они сумели перехватить и теперь ждали гостей, не сводя глаз с минутной стрелки будильника на плите.

«Медвежий стяг» утопал в мишуре. Свита Белоснежки состояла из самых популярных дам Монтерея (да что там Монтерея — всей этой части штата). Дамы облачились

в полупрозрачные одеяния красного, желтого и зеленого цвета, в руке у каждой — бутылка виски, перевязанная лентой под цвет платья. Фауна нарядилась ведьмой. Это была ее собственная придумка. Кроме метлы, никакого костюма и не требовалось; однако чтобы выглядеть еще убедительнее, она соорудила островерхую черную шляпу и черный махровый балахон. Такой костюм хорош для сюрприза: когда наступит великий миг, Фауна сбросит балахон, вместо метлы возьмет волшебную палочку и предстанет в виде доброй тетушки-феи.

Кафе Могучей Иды превратилось в страну гномов. Восемь Добряков, четыре Кашлюна, шесть Простаков и девятнадцать Ворчунов, сгрудившись у стойки, задумчиво пели на два голоса песню «Странная пора».

Джозеф-Мария решил нарядиться вампиром Дракулой. Он не видел фильма про Белоснежку, но был уверен, что вампиры есть в любом кино.

Тем временем Док и Брехуня яростно и бестолково спорили о мозаичной болезни табака, все больше запутываясь... За прорывом плотины последовал форменный потоп: посреди комнаты, в мусорном ведре с колотым льдом покоились шесть бутылок, оставшихся от купленного Брехуней ящика шампанского!

Док и Брехуня начисто запомнили, что будет какая-то вечеринка. Труба Какахуэте пропела сигнал к сражению, но они его не слышали из-за собственного ора. Весь цвет, вся молодость Консервного Ряда весело двинулась по озаренной китайскими фонариками тропинке к Ночлежке, а Док с Брехуней продолжали орать друг на друга...

Наконец Док сказал обычным, унылым голосом, который прозвучал оглушительно:

— Может, мне чем-нибудь другим в жизни заняться? Вот взялся за проблему осьминогов, и ничего у меня не ладится. Может, уехать куда-нибудь?

— Чушь, молодой человек! — сказал Брехуня. — Вы на пороге замечательной карьеры. Вас ждут почести.

— Почести меня не волнуют...

— Почему ты знаешь? У тебя же их сроду не было.

— Все равно, не пытайся меня удержать.

— Очень нужно. Ступай на все четыре стороны, ты у меня и так в глазах двоишься. Ты понимаешь, что ты оставил нас без обеда?

— Да я же купил целую гору котлет. И ты их все слопал — даже не дал разогреть.

— Все равно, мой юный друг, ты не имеешь права морить себя голодом...

На крыльцо взлетел Эдди, распахнул дверь:

— Док! Чего сидишь! Сейчас начнется! Лотерея!

Док выхватил изо льда бутылку шампанского и рывкнул:

— Брехуня, слушать мою команду! Сабли к бою!

Чуть ли не под руки поволокли они Брехуню по тропинке к Ночлежке.

А там уже полукругом стояли перед занавесом — только Дока и дожидались — гномы, звери, лесная нечисть...

— Ну, теперь, все в сборе, — сказал Мак и заглянул за занавес. — Как ты там, Джонни?

— Холодно, черт побери!.. — отвечал Джонни.

В этот миг вошел Элен с задраннным носом и с гордым огнем в очах. С самого утра Джо Элегант трудился над его костюмом, стремясь отомстить всему человечеству.

Основу костюма составляла серая ночная рубаха, на которую были нашиты червы, бубны, пики и трефы. К солдатским ботинкам приделаны желтые помпончики. На шее и плечах красовался бумажный воротник, напоминавший колесо, на голове — картонный шлем с плюмажем. Рубаха подпоясана ремнем, на ремне длинные ножны. Правой рукой Элен гордо салютовал детской кавалерийской сабелькой.

Свою месть человечеству Джо запечатлел на одном определенном месте. Зад у рубахи был кругло вырезан, так что виднелась соответствующая часть Элена, разрисованная красными и синими кругами, под мишень.

От вида Элена захватывало дух. Элен не вертел головой по сторонам, не искал одобрения. Он и так чувствовал, что костюм удался — по наступившей тишине. Он лихо повел саблей — в пар-р-радное положение, вольн-а! — и сложил руки на эфесе. В горле у него сперло от волнения.

— Я... — вымолвил он хрипло. — Я Прекрасный принц. — Тут все разглядели, что щеки у него нарумянены, а ресницы густо накрашены. — Я защитник баб... то есть дам! — И он горделиво оглянулся по сторонам, ожидая аплодисментов — он знал, что заслужил их.

У Мака на глазах выступили слезы.

— Молодчина, Элен,— сказал он.— У тебя самый лучший костюм. Кто тебе помогал?

— Джо Элегант,— отвечал Элен.— Мировой парень. Мак незаметно мигнул Уайти II.

— Прямо сейчас?..— тихо спросил Уайти.

— Да,— так же тихо ответил Мак.— Душу вышиби из этого паршивца!

Элен повернулся к ним, смутно улавливая разговор, и важно объявил:

— Мистер Джо Элегант шлет наилучшие пожелания! Лично быть не может, уехал из города по делам! Так, кажись, все правильно передал, ничего не забыл...

— Ладно, мы его еще отблагодарим, пусть только вернется,— мрачно пообещал Мак.

Гости ошарашенно смотрели на Элена. Никто не смеялся, потому что Мак свирепо скалился и сжимал кулаки.

— Давайте дальше, чего застряли,— прорычала Могучая Ида.

Мак овладел собой, выскочил к занавесу и, повернувшись лицом к гостям, повел речь:

— Дорогие сограждане! У нас на Консервном Ряду живет один человек. Наш самый лучший друг! Уже много лет мы пользуемся его щедростью, не давая ничего взамен. И вот мы узнали, что нашему другу нужна одна штука и стоит она изрядно. Мы с огромным удовольствием разыграем в лотерею нашу собственную Королевскую ночлежку, а на вырученные деньги купим Доку микроскоп. Выручка составляет триста восемьдесят долларов! Прошу открыть занавес!

— Мак, ты с ума сошел! — вскричал Док.

— Молчи,— сказал Мак.— Занавес!

Холстину отдернули в сторону, и все увидели Джонни, в доспехах из алюминиевого листа на голом теле, с голубыми бумажными крыльями за спиной.

— Я бог Купидон! Я красивый собой! — завопил Джонни, потрясая луком. Выигрышный билет при этом выскользнул у него из ладошки и полетел на пол. Джонни метнулся за билетом, голося: — Вонзаю сердца! Беспощадной стрелой! — Сцапал билет, повернулся к Маку: — А что теперь делать?

Мак махнул рукой, чертыхнулся, потом прокричал:

— О Купидон! Этот ли билет вытянула из кувшина твоя неподкупная рука?

— Этот! — отвечал Джонни, хотя к кувшину и близко не подходил.

— Давай сюда, гаденыш, — прошипел Мак, — билет, говорю, давай... Друзья мои! Уж не обманывают ли меня глаза? Какая приятная неожиданность! Да, так оно и есть. Друзья, я счастлив объявить вам, что Королевская ночлежка переходит в собственность Дока!

Хмель наполовину выскочил из Дока. Он придвинулся к Маку:

— Да ты рехнулся!

— Черта с два! — подмигнул Мак.

— Откуда ты узнал, что Ночлежка ваша? Я же вам этого не говорил.

— погоди, как наша?

— Ли Чонг никому не сказал, только мне. Видно, боялся, что вы отколете что-нибудь в этом роде...

— Так, давай отойдем в сторонку. — Мак потянул Дока за рукав.

Они вышли наружу и встали под китайскими фонариками. Док стрельнул шампанским и дал бутылку Маку. Мак сделал губы хоботком, втянул сверкающую пену.

— Повтори, Док, я не понял.

— Ли Чонг хотел, чтоб у вас с ребятами был дом. Он переписал его на ваше имя и внес налоги на десять лет вперед.

— Так чего же он нам не сказал?

— Боялся, заложите или продадите и останетесь без дома.

Мак был потрясен.

— Док, можно тебя попросить об одолжении? Не говори ничего ребятам.

— Конечно, не скажу.

— Дай честное слово.

— Честное слово. А теперь давай выпьем.

Мак вдруг расхохотался.

— Так ты нам сдашь Ночлежку, а, Док?

— Само собой.

— Только бы ребята ничего не прознали. А то они с меня шкуру спустят.

— А не проще ли забыть эту лотерею, как будто ее и не было?

— Нет уж, пусть будет все как есть! Ли Чонг поступил мудро. Разве можно за ребят поручиться? Да я бы и за себя не поручился...

С самого приезда Брехуни организм Дока работал на пределе. Питался Док никудашно, спал урывками, был постоянно на взводе и принимал в огромных количествах алкоголь. Лотерея вывела его из состояния пьяного дрейфа, но это была не трезвость, а лишь отдаленное ее подобие. В голове немного прояснилось, но зато в окружающем мире все подернулось фантастической дымкой. Док вернулся в Королевскую ночлежку; в мигающем свете фонариков отплясывают гномы, лесная нечисть, деревья и ни с чем не сообразный Элен. А может, это сон? Во всяком случае, происходящее плохо вплетается в ткань действительности. Под оглушительную музыку танцует Брехуня, прижимая к животу бледную брюнетку, как будто она — кишечная колика. Омерзительная картина. И настолько же фантастическая, как все остальное.

Человеку, непривычному к буйному веселью, от веселья в Ночлежке стало бы не по себе. Эдди вальсировал под звуки румбы, обнимая невидимую партнершу. Могучая Ида боролась в партере с Уайти II, то и дело открывая необозримые пространства своих розовых панталон. Вокруг борцов двигались стремительной змейкой гномы и звери, исполняя танец конга¹ — три шага, подскок, три шага, подскок. Джонни Карриага расхулитанился: взобравшись на ящик, разил во все стороны стрелами. Одна из стрел Купидона вонзилась, вернее сказать, причмокнулась точно между лопатками миссис Альфред. Потом Джонни сшиб крылом китайский фонарик, от которого загорелись три гнома, и пришлось заливать их водой из чаши для пунша.

Мака с Доком втянуло в поток танцоров. Комната у Дока перед глазами начала медленно поворачиваться, а потом подниматься и опускаться, словно палуба корабля на донных волнах. В ушах стоял музыкальный рев и лязг. Элен выбивал ритм саблей на плите. Джонни тщательно прицелился и поразил его в самое яблочко мишени. Элен взвился в воздух и всей тяжестью рухнул на дверцу — из

¹ Кубинский танец африканского происхождения.

топки брызнула ледяная крошка... Кто-то из гостей втиснулся в напольные часы и теперь никак не мог вылезти... Снаружи казалось, что Королевская ночлежка дышит, всходит, будто хлеб на опаре...

Док сделал ладонь рупором и проорал в самое ухо Мака:

— А где Фауна с девчонками?

— Успеется,— прокричал Мак в ответ.

— Повтори, не понял!

— Успеется, придут! — И потише прибавил: — И вправду, поторопились бы, пока мы тут пожар не учинили.

— Что?! — опять не понял Док.

— Неважно,— махнул рукой Мак.

В это мгновение Уайти I, пробившись сквозь толпу к Маку, прокричал:

— Идут, Мак, идут!

Мак помчался к оркестру, взмахнул обеими руками, останавливая. Джонни пустил последнюю стрелу в контрабас, да так удачно, что вышиб один из ладов.

— Тихо! — яростно воскликнул Мак.

Музыка смолкла — на комнату обрушилась тишь. И тут для Дока началась самая фантастическая часть сна.

Нежно шепнула труба, приглушенная рукой виртуоза, и стала выводить — это сумасшествие какое-то! — «Свадебный марш» из «Лоэнгрина»; Док изумленно вслушивался, а лукавая медь уже принялась шалить с мелодией, плавно скользнула в минор, сменила ритм — и полились сладостные стоны блюза... Танцоры стояли неподвижно и походили на чучел. Док разглядел, наконец, откуда льется музыка: в углу комнаты Какахуэте Ривас, прильнув к трубе, умягчает звук влажной губкой¹.

Потом в этом сне отдернули заляпанный краской занавес и в дверь въехала ведьма верхом на помеле — Фауна.

Господи, подумал Док, рассказать кому-нибудь, не поверят, подумают, что мне в психушку пора.

— У нас! сегодня! счастливое! событие! — пролаяла Фауна. Пошарила в толпе глазами. — Док, подойди сюда.

Док нерешительно двинулся к сцене.

¹ После второй мировой войны в американском джазе был период эксцентричных экспериментов со звуком.

Следом за Фауной вошли четыре девушки из «Медвежьего стяга» в ослепительных нарядах. Встали по две с каждой стороны двери, лицом друг к дружке, подняли руки с бутылками в лентах — получились воротца.

Фауна спешила с метлы и, скинув черный балахон, оказалась в облегающем вечернем туалете из серебряной парчи. А помело у нее в руках чудесным образом превратилось в серебристую волшебную палочку, увенчанную золотой звездой. Фауна привстала на цыпочки, как будто готовилась лететь.

— Я твоя крестная фея! — крикнула она Доку. — А сейчас придет твоя невеста — Белоснежка!

В воротца из бутылок вошла преображенная Сюзи — в свадебном платье, в серебряном венце с фатой. Прелестная, юная и взволнованная. Пухлый рот чуть приоткрыт.

— Принимай свою суженую, Док! — воскликнула Фауна.

Док тряхнул головой, желая наконец проснуться. Ведь это все сон, наваждение — венец, фата, непорочность. Док вскрикнул:

— Что все это значит?

Бывает так, что два человека, стоя порознь, разом проникают в мысли друг друга. Сюзи увидела лицо Дока — и прочла его мысли. От стыда и досады у Сюзи вспыхнула шея, густо покраснели щеки. Сюзи зажмурилась.

А Док понял страдание Сюзи, и все у него в душе перевернулось. И какой-то чужой, но знакомый голос вдруг произнес:

— Крестная фея, я принимаю... свою... суженую...

Сюзи открыла глаза и посмотрела в глаза Доку. И тут же лицо ее почерствело, во взгляде сверкнуло ожесточение, пухлые губы строптиво сжались. Сюзи сняла венец с фатой, какое-то мгновение глядела на них, потом тихонько положила на ящик из-под яблок.

Безумная труба грянула «Свадебный марш» в ритме самбы, и пошла, побежала за ней гитара.

— Слушайте, вы, доброхоты, — сказала Сюзи, перекрывая музыку. — Я согласна жить с последним бродягой в канализационном люке и быть ему хорошей женой! Согласна выйти за подлеца и ему услуживать! Но за Дска ни за что не пойду! — Сказав так, Сюзи опрометью бросилась в дверь за сценой.

Фауна устремилась следом. С этой стороны Ночлежки тропинки не было. Сюзи очертя голову сбежала с откоса, Фауна — неуклюже — за ней. На узкоколейке они остановились, посмотрели друг на друга.

— Ах ты чертова зазнайка! Почему это ты за Дока не пойдешь? — свирепо выкрикнула Фауна. — Почему?

— Я его люблю, — ответила Сюзи.

29. О, ГОРЕ НАМ!..

Одна из наиболее частых реакций организма на шок — летаргия. Если после автомобильной аварии один сидок корчится и стонет, а другой сидит тихо, смотрит в пространство, так и знайте: тихий пострадал гораздо сильнее. Сообщество людей также может испытать шок с последующей летаргией. Именно это приключилось с обитателями Консервного Ряда. Люди потружились в себя; заперли двери на засовы; перестали ходить друг к другу в гости. Всякий чувствовал себя виноватым, даже если сам был причастен к маскараду всего лишь как зритель.

Мак с ребятами остро переживали свое роковое невезение. Еще раз попытались сделать что-то доброе Доку и опять потерпели неудачу. Куда теперь деваться от презрения к себе?

Могучая Ида сделалась грозно-молчаливой. Посетители ее кафе выпивали, боясь проронить слово — так страшила их покаянная ярость, тлевшая в недрах Иды, под ее бугристыми мышцами.

Фауна скорбела как потерявший хозяина сеттер. На ее веку, богатом самыми фантастическими начинаниями, случались и раньше провалы, однако такая катастрофа впервые!

Даже Патрон испытывал легкие угрызения неведомого чувства. Прежде ему всегда удавалось свалить вину на обстоятельства или на неприятеля, а теперь его собственный обвиняющий перст, словно пистолет в комедии, нацелился в его собственное сердце. Чувствовать за собой непонятную вину было довольно занятно, но вместе и болезненно. Джозеф-Мария вдруг сделался доброжелателен и заботлив к окружающим — пугая людей, хорошо его знавших. Разве можно обольщаться улыбкой тигра?

Что же касается Дока, в нем происходило переустройство настолько глубокое, что и самому было невдомек. Он был словно часы, разобранные на столике часовщика — все камни, все пружинки, все маятнишки отдельно, — оставалось лишь снова все собрать.

У человеческого существа есть множество лекарств от душевной боли и от кручины, среди них ярость — не самое последнее. Док в пух и прах разругался с Брехуней и выпроводил его, запретив появляться впредь. Потом яростно отчитал рассыльного за то, что упало качество обслуживания (хотя на самом деле за последние десять лет оно не менялось ни в лучшую, ни в худшую сторону). Наконец он сказал кому-то, что работает и не желает видеть никого с Консервного Ряда и вообще никого не желает видеть. Док сидел над своим желтым блокнотом. Сбоку лежал ровненький ряд карандашей, заточенных Сюзи. В глазах у Дока застыли потрясение и уныние.

Сюзи была виновницей и одновременно жертвой упадка, охватившего Консервный Ряд. Не станем утверждать, что невзгоды закаляют характер, — ведь часто они его разрушают. Однако если определенные черты характера, переплетенные с определенными мечтами, испытать огнем, то иногда...

Элла, официантка и хозяйка кафе «Золотой мак» в одном лице, что в десять утра, что в полночь чувствовала себя одинаково усталой. Усталость была ее естественным состоянием. Элла не только с ней мирилась, но еще и думала, что все люди живут так же. Она попросту не могла представить, как это ноги могут не болеть, спина — не ныть, и как это можно стряпать и оставаться веселой. В завтрак вид жадно жующих ртов отбивал у нее аппетит — сразу на весь день. Часов около десяти вечера поток посетителей иссякал, Элла принималась за уборку: мыла пол, стирала со столиков, выметала крошки из-под стойки.

Джо Блейки вошел в «Золотой мак», как всегда, выпить с утра кофе.

— Только что зарядила кофеварку, — сказала Элла. — Подождешь?

— Конечно, подожду. Элла, ты случайно не знаешь, что вчера вечером стряслось на Консервном Ряду?

— Нет. А что?

— Да я и сам не знаю,— сказал Джо.— Была какая-то вечеринка. Я, разумеется, на нее пошел. А пришел слишком поздно — все уже кончилось. И никто не желает рассказывать, что там случилось.

— Нет, ничего я не слыхала,— сказала Элла.— Думаешь, драка была?

— Да что-то не похоже. О драке бы мне рассказали, про драки они болтать любят... Все ходят с такими лицами, словно чего-то стыдятся. Если что узнаешь, шепни мне, ладно?

— Ладно. А вот и кофе готов.

Вошла Сюзи. На ней был костюм из серого твида в елочку, строгий, но очень элегантный — купила в Сан-Франциско.

— Привет,— сказал полицейский.

— Привет,— сказала Сюзи.— Мне чашку кофе.

— Сейчас. Одежка твоя хороша, ничего не скажешь,— одобрила Элла.

— В Сан-Франциско купила,— сказала Сюзи.

— Ты что, уезжать собралась?

— Нет, зачем же.

— Слушай,— сказал Джо,— может, хоть ты мне объяснишь: что там вчера у вас на Консервном Ряду произошло?

Сюзи пожала плечами.

— Ага, и ты, значит, говорить не хочешь?

Сюзи снова пожала плечами.

— Дело нечисто! — сказал Джо.— Обычно начнут рассказывать, не остановишь. Вот что, Сюзи, если там кого-нибудь убили, ты лучше сразу скажи. Знаешь, что бывает за недачу свидетельских показаний?

— Никого там не убили...— Сюзи повернулась к хозяйке: — Тебя Элла зовут?

— Да вроде.

— Помнишь, Элла, ты говорила, у тебя не было помощницы?

— У меня ее и сейчас нет.

— Возьми меня. Хоть на пару недель, для пробы. В кино сходишь, отдохнешь.

— Не по адресу обратилась, сестренка. И так еле свожу концы с концами. Помощнице платить нечем.

— А я буду за кормежку работать. Ем я немного.

Джо Блейки отвернулся от разговаривающих — стало быть, слушает в оба уха.

— Что это у тебя вдруг за причуда? — спросила Элла.

— Никакая не причуда. Просто хочу работать. За кормежку.

Джо медленно повернулся к Сюзи.

— Может, все-таки расскажешь, какие у тебя... планы?

— Планы? Жизнь новую хочу начать. И уезжать для этого не собираюсь.

— Чем же твое решение вызвано? — спросил Джо.

— Тебя не касается, — ответила Сюзи. — Разве это против закона?

— Хм, может, и против. Нет ничего опаснее благих намерений, — пошутил Джо.

— Ну, пожалуйста, Элла, — взмолилась Сюзи. — Возьми меня на работу.

— Что скажешь, Джо?.. — спросила Элла.

Джо еще раз оглядел Сюзи, заметил, что у корней волосы другого цвета.

— Отращаешь?

Сюзи кивнула.

— А что, Элла, — сказал Джо. — Возьми ее, попробуй.

Элла хмуро улыбнулась.

— Прямо в этом костюмчике?

— Я схожу переоденусь. Быстро, за пятнадцать минут... Знаешь, Элла, я и готовить могу. Жаркое у меня — блеск...

— Ладно, ладно, сперва переоденься...

Джо Блейки подждал Сюзи на улице, пошел рядом.

— Смотри, не подведи Эллу, — сказал Джо мягко, как будто без нажима.

— Не подведу, не волнуйся.

— По-моему, это ты волнуешься.

— Слушай, Джо, помнишь, ты мне как-то денег предлагал, на дорогу?

— Но ты же решила остаться!

— Решила. А не на дорогу можешь дать? В займы.

— Сколько?

— Двадцать пять долларов.

— А где ты будешь жить?

— Я тебе сообщу.

— Хорошо, дам,— сказал Джо.— Что мне, впервой девушек выручать... Потерять я ничего не потеряю.

— Ты не сомневайся, я верну.

— А я знаю, что вернешь,— сказал Джо.

Бойлер, который вот уже много лет стоял преспокойно среди мальвовых зарослей на пустыре между «Медвежьим стягом» и Королевской ночлежкой, был самым первым бойлером на Вонючем заводе, а Вонючий завод был самым первым консервным предприятием во всем Монтерее. После того как поняли, что сардины можно класть сырыми в жестянки с маслом или томатным соком и в запаянном виде готовить на горячем пару, в Монтерее расцвела невиданная доселе промышленность. Вонючий завод начал с маленького оборотного капитала; отчаянно сквалыжничая, первым пробился к успеху; и первым канул в Лету. Первый бойлер, вырабатывавший пар для сардин, был славным детищем предприимчивости Уильяма Рандолфа — инженера, пожарного и одновременно хозяина завода. Бойлер достался ему даром. Это был котел паровоза, что когда-то бегал между Птичьей долиной и океанским побережьем. Паровоз сошел однажды ночью с рельсов и, пробив ограждение эстакады, воткнулся в болотце. Железнодорожная компания сняла с паровоза колеса и клапаны, а облое его тело осталось торчать в грязи.

Уильям Рандолф нашел паровоз, доставил в Монтерей и посадил котел на бетонное основание посреди нового тогда Вонючего завода. Долгие годы паровозный котел исправно поставлял пар низкого давления для варки сардин; лишь трубы изредка разрывались и заменялись новыми.

В 1932 году, в пору расцвета и расширения Вонючего завода, пожалели денег возить котел на новое место,— так и бросили на пустыре. Старик Рандолф был еще жив и, хоть давно отошел от дел, по-прежнему не любил бесхозяйственности. Он снял с заброшенного бойлера все трубки,— остался только цилиндр: шесть шагов в длину, полтора человеческих роста в диаметре. Сохранилась, правда, еще дымовая труба; да топочная дверца — что в длину, что в ширину полметра — болталась на ржавых петлях.

Как временное пристанище бойлер использовали многие, однако первыми постоянными жильцами стали муж

и жена Мэллой. Мистер Мэллой, человек мастеровитый, не только срезал торчащие концы трубок, но и сумел обустроить бойлер. Например, под дымовой трубой он сложил из кирпичей печурку для защиты от зимних ночных холодов.

В качестве дома бойлер обладает и недостатками, и достоинствами. Конечно, кое-кому не понравится влезать на четвереньках в топочную дверцу. Вогнутый пол затрудняет ходьбу и расстановку мебели. Третий недостаток заключается в отсутствии освещения и некоторых других удобств... Достоинства же у бойлера такие: он совершенно влагонепроницаем, уютен и обладает прекрасной вентиляцией. С помощью вьюшки и топочной дверцы можно как угодно отрегулировать подачу свежего воздуха. Бойлер хорош еще и тем, что в нем ни пожар, ни землетрясение не страшны. Да и бомбежка, наверное, тоже. Так стоит ли печалиться, что нет туалета, электричества и водопровода?..

В Приморском Кармеле, где отдыхает богема из Сан-Франциско, было высказано мнение, что Сюзи неспроста избрала домом бойлер. Мол, бойлер — символ материнской утробы, откуда Сюзи предстояло родиться для новой жизни. Может, и так, но прежде всего это утроба отвечала требованиям экономии. В «Золотом маке» Сюзи бесплатно питалась, а в бойлере бесплатно жила.

С деньгами, которые ей одолжил Джо Блейки, Сюзи отправилась в Пасифик-Гров, в универсальный магазин Холмана. Там купила молоток, пилу, набор гвоздей, два листа фанеры, банку нежно-голубоватой побелки и кисть, тюбик хорошего клея, пару розовых занавесок с оборками в голубой цветочек, три простыни, две наволочки, два полотенца, губку для посуды, заварной чайник, две чашки с блюдцами и коробку пакетиков с чаем. Рядом, в магазине «Дешевые товары», Сюзи приобрела подержанную походную койку с матрасом, тазик, кувшин, ночной горшок, два солдатских одеяла, зеркальце и керосиновую лампу. На этом капиталы иссякли; однако уже через неделю Сюзи из чаевых вернула Джо Блейки два доллара с четвертью.

Консервный Ряд, покрывшись стыдом, словно не видел того, что происходило у бойлера, не слышал поздно вечером стука молотка. Не то чтобы люди потеряли к Сюзи интерес, просто они стеснялись любопытничать.

Фауна протерпела десять дней, затем, уступая всегдашней страсти совать нос в чужие дела, отправилась к Сюзи с тайным визитом (дело было во вторник вечером, «Медвежий стяг» закрыт из-за отсутствия клиентов). Стоя у окна Комнаты досуга, Фауна видела слабое мерцание из приоткрытой топочной дверцы бойлера; из трубы лениво тянулся смолистый дымок. Фауна тихо вышла из «Стяга» и двинулась сквозь мальевые заросли к бойлеру...

— Сю-зи...— позвала она еле слышно.

— Кто там?

— Это я, Фауна.

— Чего тебе?

— Ничего. Хотела узнать, все ли у тебя хорошо.

— Да, у меня все хорошо.

Фауна встала на колени, просунула голову в топочную дверцу. Бойлер было просто не узнать. Облые стены нежно голубели; с каждой стороны на месте окна висела приклеенная занавеска с оборками. В комнатке царил дух приятный и женственный. Слабый красный свет печурки озарял койку, на которой сидела Сюзи. В изголовье стояло что-то вроде туалетного столика, с зеркальцем, тазиком и кувшином. Рядом, на полу,— большая жестянка из-под компота, а в ней пышный букет из люпинов и маков.

— Как славно ты здесь устроилась,— сказала Фауна.— Может, пригласишь меня войти?

— Конечно, входи. Только не застрянь в дверях.

— Ты уж помоги, пожалуйста.

С помощью Сюзи Фауна протащилась сквозь дверцу.

— Присаживайся на койку,— сказала Сюзи.— Стула пока нет, но скоро будет.

— Хочешь, мы свяжем тебе крючком коврик?

— Спасибо,— сказала Сюзи,— но я хочу все делать сама... Может быть, выпьешь чаю?

— Да, пожалуй,— рассеянно сказала Фауна. Потом спросила: — Ты больше не сердишься?

— Нет,— отвечала Сюзи.— Ты знаешь, мне здесь очень хорошо. У меня ведь ни разу в жизни не было своего угла...

— Да, ты здесь здорово устроилась. Хочешь, одолжу тебе любую мебель, ну и вообще... Можешь ходить мыться к нам в ванную.

— Спасибо, в «Золотом маке» есть душ.

— Слушай, что ты все «спасибо» да «спасибо»... Ты и так уж меня положила на обе лопатки. Лежачего не бьют.

— Извини, я не хотела обидеть.

— Вкусный чай! Позволь я тебе кое-что скажу. Хочешь слушай, хочешь нет. Я, конечно, наломала дров. Но и ты хороша. Как тебе Дока не жалко? Ты что, до погребели его хочешь довести?

— Постой, ты о чем?

— О том. Поселилась у него под самым носом. Выглянет он в окошко, сразу видит тебя,— говоря так, Фауна заранее сжалась в ожидании взрыва, однако взрыва не последовало.

Сюзи поглядела на свои руки.

— А ногти у меня действительно ничего. На работе целый день руки в воде, так вечером я их мажу кремом. Чтоб кожа не грубела... Ты же сама мне сказала не убегать от судьбы, вот я и не убегаю. Сначала мне, правда, хотелось спрятаться, зарыться куда-нибудь. А потом я раздумала прятаться — вспомнила твои золотые слова. Чего мне скрываться? Кто хочет, пускай смотрит.

— Но разве этому я тебя учила? — робко попыталась возразить Фауна.

— погоди, дай досказать. Ты там что-то говорила про Дока. Так вот, запомни хорошенько и другим скажи, чтоб мне десять раз не повторять: до Дока мне никакого дела нет. Всё, забудьте! Встретила я его, пришлась не по вкусу — плохая оказалась... Может, и не будет больше в жизни такой встречи. Ну, а если будет — если найдется для меня парень,— я уж постараюсь быть хорошей. И с виду, и в душе. Чтоб никто про меня худого слова сказать не мог. Но это все фигня. Главное, я хочу жить спокойно, чувствовать себя человеком. Понятно?

— Понятно. Только ты, пожалуйста, не выражайся.

— Я уже давно не выражаюсь.

— А кто только что сказал «фигня»?..

— Ладно, ты меня с толку не сбивай. Ты поняла, что я тебе сказала?

— Конечно, конечно! Я только не понимаю, почему ты не хочешь помощи от друзей.

— Потому что хочу всего добиться сама. А если не смогу, разве я чего-нибудь стою?

— Но ты же одолжила денег у Джо Блейки.

— Правильно. Ведь он не друг, а полицейский! Он

даже хотел меня выслать из Монтерей. Как отдам ему долг, может, и станем с ним друзьями.

— Я смотрю, ты себя не жалеешь.

— Что делать,— пожала плечами Сюзи,— пожалеешь, больше навредишь.

— Вот-вот, всегда ты такая была,— вздохнула Фауна.— Поэтому в «Стяге» толку из тебя и не вышло...

— Я знаю, кто я была,— сказала Сюзи.— И кем хочу стать, тоже знаю.

— Женой Дока? — выпалила Фауна.

— Тьфу ты! Да усвой же ты наконец: с этим кончено.

— Ну, я, пожалуй, пойду...— уныло промолвила Фауна. Поставила чашку с блюдцем на туалетный столик, опустилась на четвереньки и поползла к дверце.— Подтолкни меня, Сюзи.

Фауна выдавилась из бойлера, словно паста из тюбика.

— Обожди, Фауна! — слышалось вслед. Фауна развернулась, снова просунула голову в дверцу.— Ты, пожалуйста, не обижайся,— сказала Сюзи.— Лучше тебя у меня никогда друга не было. Я не с тобой свожу счеты, а сама с собой. Помнишь, я всегда на всех набрасывалась? Так, оказывается, элитесь-то надо было на себя... Вот полагую сама с собой — глядишь, и с другими сумею поладить.

— А что если Док придет с повинной головой?

— Нет уж, мне такой добычи не надобно. Пусть он хоть вообще без головы придет... Что разбилось, того не склеишь... Вот если понравится мне другой человек, сумеет доказать свою любовь — я этого человека сделаю счастливым...

— Знаешь, я по тебе скучала,— сказала Фауна.

— Ничего, разберусь со своими делами, будем почаще видаться. Я тоже тебя люблю, Фауна.

— Перестань. Не смей мне таких слов говорить,— Фауна всхлипнула и захлопнула топочную дверцу.

30. НА СВЕТ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРЕЗИДЕНТ

Совість — удивительное и таинственное порождение сознания; именно она повинна в том, что наш жизненный путь столь неисповедим, столь комичен и столь мучителен. Зародилась она, вероятно, в смятенной душе тех

первобытных индивидуалистов, на которых сообщество воздействовало силой своей нелюбви. Кто знает, может, совесть пускает корешки и расцветает в чувствилище нашем благодаря питающим ее выделениям некой таинственной железы? Кто знает, не оттого ли человек обрекает себя на муки совести, что чует в них средство возвестить равнодушной вселенной о своем существовании? А может быть, мука есть величайшее наше наслаждение?.. Как бы то ни было, мы предаемся мукам совести так же радостно-самозабвенно, как кошки — любви; от сознания своей вины готовы выть, как волки на луну; ни одного человека в мире не удостоим таким жгучим презрением, как самого себя...

Если и жил на свете смертный, которому недоступны были подобные муки и радости, то это Элен. Для пробуждения совести требуется известная самоуглубленность, а откуда ей взяться у человека, начисто лишенного рефлексии? Жизнь для Элена была чем-то вроде проходящего поезда для мальчишки, который с открытым ртом, с волнением в легком сердце смотрит изумленными глазами на летящие мимо вагоны.

Элен никогда себя ни в чем не винил, ибо был и впрямь невинен, как младенец. Его воспитание и образование Мак описал следующим образом: «Четыре года отсидел в простой школе, четыре — в исправительной, ни там, ни там ничему не научился». Даже исправительная школа, где порок и преступление относятся чуть ли не к числу обязательных предметов, не смогла испортить Элена. Вышел он оттуда таким же чистым душой, как и поступил. Впрочем, некоторые преступные деяния были бы ему по силам — не хватало лишь сосредоточенности, — и неизвестно, как бы сложилась его жизнь, если б судьба не дала ему в друзья Мака с ребятами и Дока. Мака Элен почитал величайшим человеком в мире, а Дока вообще не относил к разряду смертных. Иногда он вместо Бога молился Доку.

Но теперь Элен начал меняться. Мало-помалу в нем копилась сосредоточенность. Возможно, давало всходы коварное семя, посеянное в душе гороскопом Фауны. После первого бурного несогласия он больше ни разу не заговаривал о своем будущем, что само по себе было весьма подозрительно.

Элен не хотел быть президентом Соединенных Штатов. Если б был хоть какой-то способ избежать злой напасти, он бы им воспользовался, но гороскоп не оставлял никакой лазейки. И как узник, помаявшись немного, начинает обживать и даже по возможности украшать темницу, так и Элен, будучи не в силах сбросить оковы грядущего президентства, стал думать, как исполнить предназначение достойно и красиво. Ответственность — это бремя, которое возвышает человека.

Элен стал готовить себя к государственному поприщу. Он прочел попавшийся под руку журнал «Тайм», сначала один раз, потом другой — от корки до корки. И подумал: все, что там написано, — бред (отсюда видно, что, страдая растрепанностью мыслей, он все же обладал здравым умом).

Элен купил «Всемирный альманах» за 1954 год, изучил биографии президентов и стал размышлять над тем, что делать, если англичане снова вздумают насильно забирать на службу к своему королю американских моряков, или если вновь возникнет вопрос о какой-то «Директиве номер 40 за 1954 год»...

С той поры как Элен внутренне смирился с высоким назначением, жизнь его стала мучительной. В иное утро он просыпался счастливым, думая, что президентство всего лишь кошмарный сон. Но тут же пересчитывал пальцы на ногах и — покорялся судьбе и долгу. Труднее всего в этом новом состоянии было одиночество. Он ни с кем не мог обсуждать президентские заботы. Судьба выделила его — и поставила над обиденным. Нет, не гнев владел им, когда он чуть было не поднял руку на Мака, а стремление защищать слабых и униженных, в данном случае Дока. И вовсе не из пустого тщеславия восстал он против друзей, отказавшись пойти на маскарадном. Хочешь не хочешь, он должен был блюсти достоинство своего высокого ранга; будущий президент мог нарядиться лишь Прекрасным принцем, и никем иным!

В обычное время кто-нибудь из ребят непременно заметил бы страдание и усталость на физиономии Элена, а также печать благородного мученичества во всем его облике, — и Элену дали бы две ложки лучшего в мире лекарства — горькой соли. Но сейчас для всех его друзей — и мужчин, и женщин — настала пора невзгод, не располагавшая к душевной чуткости.

Попытки Элена понять, что же случилось на маскараде, не дали плодов. Элен помнил, как во всей красе и величии явился в Ночлежку, а потом... потом случилось что-то непостижимое, имевшее ужасные последствия. Незыблемый дух Королевской ночлежки — подобно граниту, что на своем веку выдерживает несметное число ударов, но в какой-то миг разрушается разом, — этот дух в одночасье испарился.

Мак, которому обычно и горе не беда, впал в тоску; очи его потускнели; отважная душа обескрылела. А уж если с Маком приключилось такое, то можно себе представить состояние ребят — ни дать ни взять выброшенные на берег медузы.

«Что случилось?» — раз за разом спрашивал Элен, но все только взглядывали на него молча и тут же отводили глаза, не желая ничего объяснять. Несколько первых дней Элен еще надеялся, что это просто невиданно затянувшееся похмелье, но вот уже пора бы им снова возжаждать, а все словно дремлют! Элен начал опасаться за своих друзей.

Усевшись под кипарисом, Элен попытался не просто собраться с мыслями, но и задуматься. Подошло время великих дел — и оказалось, что он один обладает нужной для них духовной статью. Когда он, наконец, встал, отряхнул со штанов черно-зеленые кипарисовые чешуйки и направился в Королевскую ночлежку, он был уже не прежний Элен, которого звали за глаза Беспамятным, Пеньком, Дурачком. Его могучие плечи расправились под высоким грузом ответственности; глаза излучали спокойную нравственную силу.

В Ночлежке царил печальный сумрак, пахло плесенью. Ребята лежали на кроватях как неживые. Мак, очевидно, чувствовал себя хуже всех, потому что уставился в свой полóg совершенно пустыми глазами. Он не стонал, не метался, но какая-то тайная скорбь ела его прямо на глазах.

Элен присел в ноги к Маку, ожидая, что Мак лягнет его ногой в стоптанном ботинке, но Мак не шевелился.

— Мак, ты что лежишь как колода? — тихо сказал Элен. — Вставай.

Мак ничего не ответил, только прикрыл глаза, — из-под ресниц выкатились две слезы и быстро высохли на горячих щеках.

— А если я тебе врежу, тогда встанешь? — еще тише спросил Элен.

Мак вяло покачал головой: мол, не надо.

Элен не мог больше сдерживаться, бросил козырную карту — будь что будет.

— Я был вчера у Дока. Сидит с карандашом, ни слова не написал. Ничего за день не сделал. Ничего не придумал. Хватит валяться, Мак, Доку нужна помощь!

— Нужна, как собаке пятая нога, — отвечал Мак заупокойно. — Не сердись на меня, Элен. Я больше не могу. Я в нокдауне.

— А что случилось, Мак?

— Помнишь, как мы в тот раз отмечали его день рождения? Когда за лягушками ездили, — глухо сказал Мак. — Все у него в лаборатории порушили-поломали. Так вот, это все цветочки...

— Какие цветочки? — с интересом спросил Элен.

— Я в том смысле, что тогда поломали вещи — проигрыватель, пластинки, посуду. А теперь хуже — теперь мы душу ему поломали! Я себя чувствую, как медведь, который хотел погладить человека по башке, провел лапой, а у того мозги вон. Все, сдаюсь... — Глубоко вздохнув, Мак перевернулся на другой бок, закрыл лицо руками.

— Нет, ты не сдавайся! — приказал Элен.

— Уж как-нибудь без тебя разберусь, ладно?

— Ладно, разбирайся, — обрадовался Элен.

— Сам и разбирайся! — разозлился Мак. — Что ты ко мне пристал?

— Понимаешь, Док должен поехать в Ла-Джоллу, — принялся объяснять Элен. — На следующей неделе начнутся приливы. Он наловит восьминогов и напишет книжку. Но мы ему должны помочь, Мак!

— Эх, — вздохнул Мак. — Помню, как-то Фауна рассказывала про одного боксера полусреднего веса, его звали Келли-поцелуйся-со-смертью. Так вот, я — Мак-поцелуйся-со-смертью. За что ни возьмусь, все на корню чахнет.

— А ну-ка, встань!

— И не подумаю.

— Встань, тебе говорят!

На этот раз Мак просто промолчал.

Элен вышел на пустырь, огляделся. В зарослях высокой травы лежал проломленный дубовый бочонок из-под дегтя. Элен вырвал крепкую бочарную доску и вернулся с ней в Ночлежку.

Встав у постели Мака, он хорошенько примерился, размахнулся — и ударил Мака так сильно, что у самого от натуги лопнули штаны. И тут только он по-настоящему понял, как сильно хворает Мак: даже не пошевелился, только крикнул!

Элен мужественно поборол охвативший его ужас; потом вспомнил свой высокий страдальческий жребий — ехать в Вашингтон, есть проклятых устриц...

— Ладно, Мак,— произнес он негромко.— Придется мне самому это дело уладить.

Сказав так, он повернулся и ушел, спокойный и величавый.

Мак перелег на бок, подпер голову рукой.

— Нет, вы слышали, что сказал этот болван? И главное, виноват опять буду я: зачем раззадорил? Ну все, теперь беды не миновать... Милая мама, готовь белый саван, сын твой в смертельной тоске...

— Гляжу я на тебя,— сказал Уайти II,— тебя и вправду отпевать пора.

31. ТЕРНИСТОЙ ТРОПОЮ ВЕЛИЧИЯ

Когда человек сворачивает с привычной дороги, он обычно еще долго с сожалением оглядывается назад. Так было и с Эленом, который, не столько по собственной воле, сколько по воле судьбы, оказался вдруг на нехоженной тропе. «Придется мне самому это дело уладить»,— заявил он Маку. Легко сказать, да трудно сделать! Посидев под гостеприимными ветвями черного кипариса, он вдруг понял, что не представляет, какое дело надо улаживать. И с невольной тоской пустился в воспоминания о минувших днях, когда имел счастье быть идиотом, когда все его любили и привечали, когда за него думали другие. Правда, в расплату за бездумную жизнь приходилось безропотно сносить насмешки, но все равно — славное, душевное было время...

Когда-то, давным-давно, Док ему сказал: «Люблю с тобой, Элен, посидеть, поговорить. Ведь ты как колодец. Тебе можно поверять самые сокровенные тайны. Ты ничего не слышишь и не помнишь. А если б и запомнил, все равно бы не уразумел... Да ты, пожалуй, лучше колодца! Ка-

кой колодец умеет так внимать? Ты как исповедующий священник, но без епитимьи...»

То было в прежние бездумные дни, когда Элен еще не знал ответственности... Но в новом своем высоком звании он должен судить о событиях, выбирать линию действий, другими словами, мыслить!

И он предпринял такую попытку, втайне от всех и слегка стыдясь. В доброе старое время, посидев под черным кипарисом минуточку-другую, он улегся бы, положил локоть в изголовье и быстро заснул. Но сейчас он обхватил колени руками и стал мучительно думать. Его ум тщетно пытался выкарабкаться из непонятицы — точно муравьишка из ловчей ямы своего врага, муравьиного льва. Нужно было до чего-то додуматься, принять какое-то решение. Сон не шел к Элену; он хотел было отвлечься, почесаться, но, как на грех, нигде не чесалось. Он должен уладить какое-то дело. Да что это за дело, черт подери?.. Как пришло заветное решение, он так и не понял, потому что клюнул носом, — да тут и проснулся, как будто его кто толкнул, и в тот же миг перед ним забрезжил путь! Путь был не вполне достойный, граничащий с мошенничеством, но другого, как говорится, бог не дал.

Вы, конечно, помните, что с Эленом было очень приятно общаться: задаст он собеседнику вопрос, а ответ не слушает. Люди за ним это знали — и платили откровенностью. Что если, подумал Элен, что если не только спрашивать, но и слушать, не подавая, конечно, виду! Путь не совсем честный, но зато ведет к благородной цели.

Слушать мало, надо еще запоминать, а потом свести все ответы вместе. И дело прояснится. Задам каждому вопрос или пару, думал Элен, глядишь, придет решение.

Изнемогши от умственных усилий, Элен улегся, подложил руку под голову и заснул крепким сном честно поработавшего человека.

32. ПОХОД ЗА ИСТИНОЙ

Джо Элегант вернулся из отъезда с опаской, готовый в любое мгновение улепетнуть еще куда-нибудь, если понадобится. Он ждал кары за свою проделку с костюмом Элена, но никто его не трогал. В благодарность он три дня

подряд делал воздушные пирожные, да такие, что можно язык проглотить. Все-таки ему не терпелось узнать, как приняли его костюм, только боязно было спрашивать. Поэтому, когда в его закуток пожаловал сам Элен, он обрадовался.

— Посиди,— сказал Джо,— сейчас принесу пирога...

Пока Джо не было, Элен рассматривал работы Анри Художника, висевшие на стене. Одна относилась к раннему периоду, когда мастер выполнял картины исключительно из птичьих перышек, другая — к более позднему периоду ореховых скорлупок. Потом Элен посмотрел на ломберный стол с портативной пишущей машинкой, за которым Джо сочинял в свободное время роман. Сбоку от машинки лежала аккуратная стопка бледно-зеленых листов с ярким зеленым же шрифтом. Один листок торчал в машинке, только что начатый: «Дорогой Антоний Уэст! Все это время я думала только о вас...»

Джо принес Элену изрядную толику пирога и стакан молока, и, покуда Элен угощался, Джо то и дело взглядывал на него искоса своими влажными глазами. Наконец спросил:

— Ну и как?

— Что как?

— Как костюм?

— Отлично. Все удивились.

— Еще бы. А Мак что-нибудь сказал?

— Чуть не заплакал, сказал, костюм лучше всех.

Джо Элегант улыбнулся с тихим злорадством.

— Как ты думаешь, что случилось с Доком? — спросил Элен, нарочно придав лицу самое тупое выражение.

Джо по-докторски положил ногу на ногу, по-докторски пошелестел зелеными листками и докторским голосом ответил:

— То, что с ним происходит, имеет два аспекта — общий и частный. А всякое частное, как известно, содержит в себе общее...

— Как-как?

— Его угнетенное состояние имеет под собой много причин, но все они сводятся к одной. Либи́до влечет Дока в одну сторону, а нравственное чувство — в другую. Морская стихия, с ветрами, приливами и отливами, — для Дока мифологическая субстанция. Он связан с ней тем, что

добывает морские организмы. Он относит их к себе в лабораторию и прячет от чужого глаза, как чудесный клад Нибелунгов, а стережет клад дракон Фафнир...

«Он их не прячет, а продает», — хотел сказать Элен, но тут же прикусил язык: нельзя выдавать свое внимание.

— У нас в школе учительница была, Берта Фафнир, — сказал он вместо этого. — В День благодарения на доске индюшек рисовала. Юбки у нее нижние крахмальные, шуршур...

Джо слегка нахмурился: мол, прошу не персбивать, — и продолжал:

— Духовный экстракт мифа — символ. Для Дока символ — та книга, что он жаждет написать. Вроде бы все ясно. Однако если копнуть глубже, то окажется, что его тяга к науке — лишь фальшивое воплощение иной, подлинной тяги к чему-то другому. Символ ложен, путь неверен! Отсюда тщетность усилий, отсюда душевная травма и попытки самообмана. «Нужен микроскоп, чтобы написать книгу, — говорит он себе. — Нужно поехать в Ла-Джоллу к весенним приливам». Никуда он не поедет, ничего он не напишет!

— Почему?

— Потому что избрал заведомо ложный символ. А корень неудач заложен в самой мифологической субстанции. Ведь водная стихия — воплощение материнского начала. Мать мертва и в то же время жива. А он достает из материнского лона чудесный клад и хочет присвоить... Понял теперь, в чем дело?

— Понял, — кисло сказал Элен.

— Ему не хватает любви, понимания, — сказал Джо.

— Этого всем не хватает, — сказал Элен.

— Я бы, наверное, сумел ему помочь, да он не примет моей помощи.

— А я думал, ему поможет Сюзи...

Джо пренебрежительно качнул уголками рта: экая, мол, нелепица.

— Нет, это был бы для него лишь очередной самообман, очередной ложный символ...

— А если она ему нравится? У каждого свой вкус! — возразил Элен.

— Глубокая мысль.

Совсем рядом с пристройкой Джо Элеганта располагалась Комната досуга,— туда и направился Элен. В кресле, положив ноги на стул, сидела Бекки, читала свою почту. Она была членом Общества друзей по переписке и получала множество посланий со всех концов света. В данный момент она держала в руках тонкий листок рисовой бумаги — письмо из Японии. «Дорогой друг! — говорилось в нем. — Полюсиль твой интереса записоська. Как вы позивать Калифольния? Японский девуська тозе делать завивка но без обесъцветка. Мой подруська Мицу Мицуки иметь зелани под Запад ходить. Будет пробовать если твой прислать маленьки балоньсик перекись водород для бризгать».

— Привет! — сказал Элен.

Бекки отложила письмо.

— В Японии когда-нибудь был?

— Нет.

— Вот и я не была. Как Мак поживает?

— Хорошо. Как ты думаешь, что случилось с Доком?

— Его треплет любовная лихорадка, — отвечала Бекки. — И еще бы не трепала — такого-то мужчину!

— Сидит, молчит, как будто его по голове огрели...

— На то она и любовь, — сказала Бекки. — Эх он, бедолага. Если б он сох по мне, я бы подошла к нему, положила руку на его горячий лоб и сказала б: «Док, милый...»

Дверь Фауны распахнулась.

— Так, что здесь за голоса? Привет, Элен. Ты бы искал себе кого-нибудь другого, поздоровее Бекки...

— Я к тебе за делом, — сказал Элен.

— За делом? Что ж, тогда заходи. Садись. Выпьешь стопочку? Дело секретное? Дверь закрыть?

— Да, — проронил Элен, отвечая разом на все три вопроса.

От стопочки взгляд его просветлел.

— Как ты думаешь, что с Доком? Любовь?

— Похоже на то. Раньше я еще сомневалась, но когда он галстук надел... Или потом, на маскараде, когда сказал, что согласен взять Сюзи...

— Пьяный был, вот и сказал, — попытался возразить Элен. — Пьяный человек все что хочешь скажет.

— Всё, да не всё!

— Значит, он по Сюзи сохнет?

— Ну да. Не была б она дура, поехала бы с ним в Ла-

Джоллу, была б ему помощница. А там, глядишь, и пошло бы у них дело на лад...

— Док хочет написать книгу,— вспомнил Элен.

— Нет, ему сейчас не до книг. Он в таком состоянии, что о своих бумажках и думать не может.

— Он вообще ни о чем думать не может.

— Вот именно,— поддакнула Фауна.— Пока он будет думать о Сюзи, он не сможет как следует задуматься о книжке. Такое мое мнение.

— Значит, если б она поехала с ним в Ла-Джоллу...

— Да, это решило бы дело. Только она не поедет, не согласится...

— А может, он ее и не пригласит.

— Ерунда. Была бы умная, и спрашивать не стала б — поехала и все тут...— сказала Фауна.— Ну ладно, что толку нам с тобой разговаривать... Еще выпьешь?

— Не могу,— сказал Элен.— Мне еще к одному человеку надо.

Когда Элен вошел в лавку, Джозеф-Мария Ривас, по случайному совпадению, тоже читал письмо. Читал и ругался себе под нос по-испански. Письмо было от некоего Джеймса Петрилло и содержало в себе недвусмысленную угрозу: если правительству не под силу выдворить «мокрых спин» из страны, говорилось в письме, то с этим вполне справится профсоюз музыкантов. Патрон прямо-таки вспотел от беспокойства. Обычно он вступал в пай с тем, кого не мог подмять под себя, однако Петрилло не оставлял ему мирного исхода. Мысли Патрона невольно клонились в сторону убийства.

— Как живешь? — спросил Элен.

— Паршиво,— отвечал Патрон.

— Не тебе одному плохо,— утешил Элен.— Вон Док, сидит как в нокдауне. Как думаешь, что с ним случилось?

— Бог его знает. У меня своих забот полон рот,— сказал Джозеф-Мария.— Да, кстати, забавное вчера дело приключилось. Возвращаюсь я поздно вечером домой, иду по пустырю мимо бойлера, там еще неподалеку фонарь горит, и вдруг под фонарем чья-то тень — шмыг. Сразу смотрю в оба — кто там околачивается? Ба, да это же Док!

— Не может быть,— сказал Элен.

— Может! — Скользнув глазами по полкам с овощами и пирамидами консервов, Патрон остановил взор на рекламном плакатике, где красивая девушка тянула кока-колу. — Знаешь, что я тебе скажу? — произнес он раздумчиво. — До маскарада я считал, что Сюзи — так себе, как все прочие из «Медвежьего стяга». Но потом она показала характер, стала жить в бойлере. И теперь мне кажется, не зря Док на нее глаз положил: есть в ней что-то этакое, особенное, чего я не разглядел... Ну не беда, я еще за ней приударю.

— Не вздумай! — сказал Элен. — Она докова!

— Глупости, — сказал Патрон. — Женщина не может быть ничьей собственностью. Свистну у ней под окошком, и все дела...

— А у нее нет окошек, — радостно вспомнил Элен.

Патрон улыбнулся. Яд злополучного письма понемногу улетучивался из души.

— Да, есть в ней что-то особенное, — повторил он. — Надо получше приглядеться.

— Смотри не вздумай к ней липнуть! — предостерег Элен.

Джозеф-Мария потупился — именно в этот миг во взгляде сего просквозил коварный пращур-индеец. Потом снова улыбнулся, сказал уступчиво:

— Хорошо, не буду, — и прибавил: — Я слышал, она в «Золотой мак» устроилась...

Представьте себе узкую, длинную и высокую залу, с сигаретным автоматом у самого входа, с выложенным мелким кафелем полом; в дальнем ее конце — потемнелая деревянная стойка с круглыми вертящимися стульями; на стойке — музыкальный автомат (вернее, та его часть, куда бросают монету), касса, вазончик с бумажными салфетками, а также запас соли, сахара, перца, горчицы и кетчупа; во весь простенок зеркало, а под зеркалом, на прилавке, — кофемолка, электросковорода, тостеры, лотки с пирожными, пирогами и пончиками, горка упакованных в целлофан готовых завтраков, пирамидка консервированного супа, нагреватель для консервов; на свободном кусочке стены — сразу три расписания: киносеансов, автобусов и соревнова-

ний по боксу; а вот дверь с окошечком и полкой, ведет на кухню...

Таково было кафе «Золотой мак» в своем лучшем и неизменном виде. Оно было мрачновато-добропорядочным, что для посетителей оборачивалось сочетанием скучной и клеклой еды с довольно хорошим кофе. Где было «Маку» тягаться с новыми веселенькими рестораничками, которые росли в Монтерее, как грибы после дождя, и тщеславились своими низкими потолками, настенно-рекламной живописью, стерильными скатертями и плавающими подсвечниками. Да «Маку» и не нужно было ни с кем соперничать. Ведь немало людей и так предпочитали его всякого рода скороспелкам, весьма уважая за холодные клеклые пончики, жилистое мясо и консервированный суп. К заведениям, где стены украшены рыболовными сетями, а в меню, что ни название, то прямо какой-то анекдот, эти посетители относились с недоверием. Принятие пищи было для них хоть и привычным, но все равно достаточно торжественным обрядом, не допускавшим легкомысленности.

Первый прилив посетителей был с семи до восьми тридцати, второй — с одиннадцати тридцати до часу тридцати, третий — с шести до восьми. В промежутках заглядывали любители кофе, бутербродов и пончиков. А совсем вечером было еще две волны — в девять тридцать, когда в кинотеатре кончался первый вечерний сеанс, и в одиннадцать тридцать, после второго сеанса. В половине первого ночи «Золотой мак» закрывал свои лепестки, правда, по субботам кафе работало до двух ночи, обслуживая тех, кому в это время уже надо опохмелиться.

Приход Сюзи в «Мак» оказал довольно любопытное, но, впрочем, объяснимое действие на Эллу. Долгие годы она отгоняла от себя хворь и усталость суровым усилием воли; над беспросветностью своего существования старалась не задумываться, чтоб не раскиснуть от жалости к самой себе.. Сюзи стала не просто хорошей помощницей, но и душой заведения: шутила с зеленщиком и мясником; весело насвистывала над тостером; никогда не забывала, что мистер Гарригас любит сельдереевый суп с пеной и, главное, помнила, что его зовут Гарригас!.. Первые два дня Элла присматривалась, как Сюзи работает, а когда Сюзи предлагала ей пойти домой, прилечь, она язвительно отказывалась. Потом воля ее поколебалась, и, словно по-

чуяв слабинку, ожили, стали одолевать хвори — ломота в суставах, боли в животе; прихлынула усталость. Лишь окончательно развалившись, Элла призналась себе в своей ветхости. Она отлучилась отдохнуть один раз — невелик грех; потом второй, третий — оказывается, это очень приятно; и сама не заметила, как прирастала не на шутку — тут уж не до раскаяния. Теперь, когда Сюзи после первой вечерней волны посетителей говорила Элле: «Ступай домой, отоспись!» — Элла воспринимала это уже как нечто вполне естественное. А Сюзи не только с честью выдерживала натиск вечерних завсегдатаев, но и привлекала своей веселой обходительностью все новых посетителей.

Стрелка часов переходит одиннадцать, а у Сюзи уже все готово: четыре кофеварочные машины заправлены свежим кофе; гамбургеры, переложенные воощеной бумагой, лежат в холодильнике и ждут, когда их закажут и разогреют; помидоры нарезаны ломтиками для бутербродов; в ящике под электросковородой запасен нарезанный хлеб. В одиннадцать тридцать с последнего сеанса повалит, как на приступ, народ.

Кажется, у Сюзи восемь рук. Она подает бутерброды. Многослойные, из трех тонких гренков — с цыпленком, салатом, ветчиной и майонезом; простые — с плавленым сыром. Булочки с запеченным в середине сыром. И кофе, кофе, кофе. Тарахтит касса, на поролоновую подушечку падает сдача.

— Хозяюшка, давай встретимся в субботу!

— Давай.

— Значит, договорились?

— Договорились. Мужа тоже с собой взять?

— Разве ты замужем?

— Пока да. Не выгнал бы муж за такие разговоры.

— Уж больно ты красивая...

— Да и ты вроде собой недурен. Держи сдачу.

— Оставь себе.

— Спасибо. Что? Булочку с сыром? Сейчас будет готова. Простите, девушка, с вас еще восемьдесят шесть центов за бутерброды с тунцом...

В доли мгновения между заказами она пускает в ход еще три руки из восьми — шевыряет грязные тарелки в мыльную воду, мгновенно протирает губкой.

— Мистер Гелтейн, постойте! Зонтик забыли!

— Ах, да. Спасибо.— Еще двадцать пять центов чайных: Сюзи бросает монетку в банку с прорезью в крышке и с надписью «Для Джо Блейки».

Наутро, когда Джо заходит выпить кофе, перед ним на стойке появляется стопка монеток по двадцать пять центов — Джо расписывается за их получение в бухгалтерской книге. С каждым днем долг Сюзи уменьшается...

Элен вошел в «Золотой мак» без пяти двенадцать ночи и стоял, привалившись к стене, пока не освободился вертящийся стул у стойки.

— Привет, Элен,— сказала Сюзи.— Что будешь?

— Кофе.

— Тогда за счет заведения. Как дела?

— Нормально.

Посетителей становилось все меньше, вот и совсем никого не осталось. Резвые руки Сюзи уже готовили «Золотой мак» ко сну: отскребали гриль, мыли прилавок, вытирали обмазанные горлышки бутылок с кетчупом. Сюзи увидела, что Элен взял веник и подметает пол.

— Эй, ты что?

— Быстрее закончишь. Нам с тобой по пути. Я тебя провожу, ладно?

— Ладно,— сказала Сюзи.— Понесешь мой портфель.

— Какой портфель?

— Шутка.

— Ха, ха,— сказал Элен.

Они прошли по улице Альварадо, ныряя то в темноту — у закрытых магазинов, то в огнистый неон — у ночных баров. Достигнув залива, немного постояли у чугунного парапета, посмотрели на рыбацкие лодки, дремлющие в черной воде. Потом снова зашагали, пересекли узкоколейку, миновали военный пакгауз и, наконец, вошли в Консервный Ряд. И тут только Элен нарушил молчание:

— Ты, наверное, очень умная...

— ?

— Скажи, что, по-твоему, случилось с Доком?

— А я почему знаю.

— Ты на него в обиде?

— Слушай, зачем суешь нос куда не след?

— Не бойся,— поспешно сказал Элен.— Все знают — я тупой.

— Ну и что мне за радость от этого?

— Я — тупой! — счастливо повторил Элен, словно не знал большей добродетели. — Док любит со мной разговаривать. Потому что я все слышу, а ничего не понимаю...

Несколько времени они шли молча. Потом Элен заговорил робко и воодушевленно:

— Док для меня столько сделал! Раз меня судили, его и спрашивают: какой у Элена облик, моральный или нет, — замарать, значит, хотели. А он судье отвечает: к Элену такие слова отношения не имеют. Вот как заступился! В другой раз у меня ногу разнесло — чуть не отняли, — а он ее разрезал, посыпал каким-то порошком — теперь хожу с ногой.

Сюзи молчала. Шаги, и без того гулкие, дробно отдавались в железных кровлях мертвых консервных цехов.

— Док в беде, — сказал Элен.

Шаги заполнили улицу.

— У кого беда, все идут к Доку. А как он в беде — так помочь некому.

Шаги грохотали.

— Я должен ему помочь, — сказал Элен. — А как — не знаю...

— От меня-то ты чего хочешь?

— Пойди к нему и живи с ним.

— Нет уж!

— Если б с тобой что-нибудь случилось, он бы тебе помог!

— Как видишь, ничего со мной не случилось... И с ним ничего не случилось, ты все выдумываешь.

— Нет, не выдумываю! Неужели ты не можешь сделать для него доброе дело?

— Могу. Если бы с ним приключилась настоящая беда — заболел бы, или ногу сломал, — я бы ему носила суп.

— Если он сломает ногу, он не сможет поехать в Ладжоллу, — мрачно заметил Элен.

— Не волнуйся, ничего он пока не сломал, — сказала Сюзи.

Поравнялись с заведением Могучей Иды.

— Хочешь пива? — спросил Элен.

— Спасибо, не хочу. Ты куда, разве не в Ночлежку?

— Нет, мне надо еще к одному человеку.

— Послушай, что я тебе скажу. Однажды, когда я была маленькая, я сделала родителям в подарок пепельницу...

- Ну и как, им понравилось?
- Она им просто была не нужна.
- Они что, не курили?
- Угадал. Спокойной ночи...

Элен был близок к нервному истощению. За всю свою предыдущую жизнь он ни разу не напрягал извилины дольше двух минут кряду. Теперь же, на исходе четвертого часа умственных усилий, запас психической прочности стал стремительно иссякать. А ведь поход не кончился! Предстояло повидать еще двух человек, а потом удалиться под сень черного кипариса, чтобы просеять песок в поисках золотых крупинок. Пока ничто не предвещало удачи. В сознании Элена, как в калейдоскопе, возникал пестрый узор; но только он пробовал повернуть его так, чтобы увидеть смысл, узор неузнаваемо менялся. В голове стоял легкий звон.

Ночь выдалась кошачья. Мимо Элена то и дело крался какой-нибудь здоровенный кот, искавший соперника; кругом сидели и невинно охорашивались кошки, как бы ни о чем таком и не ведая. В свете уличных фонарей серебристо мерцали безмолвные корпуса консервного завода. На прибрежных скалах — напротив океанологической станции — залиvisto лаяли морские львы. И тихо плыла в поднебесье щемящая мелодия «Мемфисского блюза», рожденная где-то на берегу трубой Какахуэте...

Элен помедлил, вкушая тайну ночи... Потом случайно бросил взгляд в сторону жилища Сюзи — как раз в этот миг какая-то фигура отделилась от бойлера, мелькнула под тусклым фонарем и скрылась в темноте. По общему виду и повадке Элен без труда опознал Патрона. Ладно, меня это не касается, подумал Элен. Подошел к Западной биологической, поднялся на крыльцо, постучал в дверь.

Док, расположившись на кровати, проверял зоологическую амуницию: сетки, ведра и стеклянные банки, склянки с формальдегидом, горькой солью и ментолом, резиновые сапоги и перчатки, стеклянные пластинки и леску. На столе — новый небольшой походный аквариум, оснащенный маленьким насосом для продувки и электромоторчиком на двух батареях. Док хмуро смотрел, как бегут кверху белые струйки мельчайших пузырьков воздуха.

— Входи, гостем будешь,— приветствовал он Элена.

— Вот, шел мимо, вижу свет, дай, думаю, зайду,— объяснил Элен.

— Молодец,— сказал Док.— Я уже устал сам с собой разговаривать — дурацкое ощущение. Изливать душу другим тоже не тянет. Ты для меня — находка.

— Слушай, вспомнил! Что такое ос... астрофизика?

— Тебе это очень надо знать?

— Нет, я просто так спросил, из интереса... Я ее хотел учить.

Док поморщился.

— Давай лучше про астрофизику не будем. Ты уж извини.

— Я принес тебе пинту виски.

— Спасибо, ты настоящий друг. Давай выпьем.

— Давай,— согласился Элен.— Ты правда едешь в Ладжоллу?

— Правда. Что мне еще остается. Не зря же я столько про это болтал.

— Многие думают, что ты не поедешь.

— Тогда тем более надо ехать,— вздохнул Док.

— А ты разве не хочешь?

— Не знаю...— блекло сказал Док. Он встал с койки и отсоединил проводок электромоторчика от батареи.— Нечего зря тратить энергию... Знаешь, разобрал я себя по винтикам, как сломанный «форд». Разложил на траве все части, а где неисправность, не пойму. И сумею ли снова собрать, не знаю...

— Не бойся, я тебе помогу,— сказал Элен.— Я в «фордах» разбираюсь.

— Может, ты и в людях разбираешься? — насмешливо спросил Док.

Элен испуганно потупился: неужто его раскусили?

Но Док добродушно сказал:

— Эх ты, механик...

Тогда Элен, сам пугаясь своей дерзости, спросил:

— Как ты думаешь, Док, что с тобой?

Док, к счастью, посчитал вопрос разумным и естественным.

— Бог меня знает,— ответил он.— Скорее всего я пустился искать оправдание своему существованию. Решил внести вклад в науку, выпестовать теорию. Детей-то песто-

гать не пришлось... А теперь мне кажется, эта теория, даже если я ее и создам,— хилая плата за никчемную жизнь. Но раз уж за дело взялся, отступать не годится.

Элен порылся в осколках своих мыслей.

— Мак говорит, что он с Фауной виноват. Говорит, из-за него на маскараде плохо вышло.

— Нет,— сказал Док,— он тут ни при чем. Я сам все испортил.

— Думаешь, надо было тебе Сюзи ловить?

— Ловить? Пожалуй. Я с тех пор много думал и многое понял. Те два дня, что она была рядом, я чувствовал себя другим человеком. Никогда в жизни мне так хорошо не было. Постоянная боль ушла, в душе точно оконце распахнулось.

— И все из-за Сюзи?

— Да. Знаешь, я всегда гордился, что у меня широкий ум, свободный от всяких предрассудков. И какова же оказалась мне цена? Я стал самым гнусным образом взвешивать! Задатки Сюзи. Воспитание. Жизненный опыт. Кругозор. Даже стал прикидывать, какая у нее может быть наследственность... А между тем многие мои знакомые, у которых безупречный набор перечисленных свойств,— премерзкие люди!.. Вот говорю это и только яснее понимаю, какого дал маху...

— А исправить нельзя?

— Каким образом?

— Возьми букет гвоздик да и постучись к ней.

— Начать сначала? Довольно глупо.

— А чем иначе бабу проймешь?

— Гм, может, ты и прав: все гениальное просто. Ты видел Сюзи?

— Да. Она живет в бойлере, у ней там очень красиво. Работает в «Золотом маке».

— Ну и как она? Что хорошего сказала?

Опять покопавшись в осколках мыслей, Элен вспомнил последние грустные слова Сюзи:

— Когда она была маленькая, сделала родителям в подарок пепельницу...— тут Элен остановился: речь явно звучала нелепо.

— Ну и что?

— А пепельница-то им не нужна...

— Это Сюзи сама тебе рассказала?

- Ага.
- Давай-ка выпьем.
- Не могу. У меня важное дело. Одного человека по-видать надо.
- В такую-то поздноту?
- Элен кивнул. Потом сказал покаянно:
- Эх, Док, ты для меня столько добра сделал, а я...
- Что ты?
- Виноват я перед тобой...
- Виноват? В чем?
- Помнишь, ты говорил, я хороший, потому что ничего не вижу и не знаю?
- Помню. И что?
- Элен взглянул на Дока со страхом и стыдом.
- А я нечаянно увидел.
- Что увидел?
- Ты только не сердись, ладно?
- Да что такое?
- Джозеф-Мария ошивается у бойлера...

Сроду еще Элен не испытывал такой усталости. И что самое обидное, результат всех этих небывалых умственных усилий был именно такой, какого он больше всего боялся — то есть никакой. Отправляясь в поход, Элен надеялся узреть свет истины. Вместо этого он узрел совершенно непонятную картину — вроде тех, что Анри Художник делал из ореховых скорлупок. Элену хотелось надолго уснуть, а лучше и вовсе не просыпаться в этом чуждом, неприветливом мире. Эх, не справился с делом, только испортил!.. Как же тогда в Вашингтоне?!

Он устало пересек пустырь и поднялся по тропинке к Королевской ночлежке. Он хотел незаметно проскользнуть в темноте к своей постели и спрятать свое поражение под покровом сна.

Но не тут-то было: Мак и ребята не спали — ждали его.

— Где тебя черти носят? — сердито спросил Мак. — Мы уж обыскались!

— Я гулял, с людьми разговаривал, — сказал Элен уныло.

Мак попытался сесть поудобнее и тут же издал стон.

— Ну, ты мне и врезал! Как я еще жив, не знаю.

— Прости! — сказал Элен. — Хочешь потру?

— Спасибо, не надо! Так что там у тебя на уме, горе луковое? Я же вижу по лицу — что-то задумал.

— И с кем же ты, интересно, разговаривал? — спросил Уайти II.

— Со всеми.

— Нет, правда, с кем?

— Ну, с Джо Элегантом. Потом с Фауной. С Сюзи. С Доком.

— С Сюзи? Где же ты ее видел? — спросил Мак.

— В «Золотом маке». Зашел выпить кофе.

— Смотри, ребята, какой богатый — кофе пьет!

— Мне Сюзи подала даром.

— Ну и что же она тебе сказала?

— Сказала, что в детстве сделала пепельницу...

Мак хохотнул.

— Ценные сведения. А насчет Дока что-нибудь говорила?

— Да, что-то говорила.

— Что? Это же самое главное, дурья твоя башка!

— Не надо на меня злиться. А то я сам разозлюсь.

Мак осторожно перенес вес тела на другую ягодицу.

— Пойду спать под кипарис, — сказал Элен тоскливо: со всех сторон окружает вражда!

— Постой, так что она говорит насчет Дока?

— Говорит, не нужен он ей. Вот разве только... Всё, я пошел.

— Что «разве только»?

— Вот разве он заболит, или сломает ногу...

— Тьфу ты! — сплюнул Мак. — Я думал, чего дельное скажешь. И я тоже дурак, нашел кого спрашивать... И зачем я тебя одного отпустил?

— Я же никому плохого не сделал.

— Но и хорошего, поди, не сделал. Могу спорить, ты сейчас думаешь, какого микроба наслать, чтоб Док заболел. Ну, признавайся!

— Ничего я не думаю. Я устал. Спать хочу.

— Кто ж тебе не дает. Иди спи.

Элен поспешно, не раздеваясь, улегся на кровать, однако не спалось; мозг все сильнее накалялся; прищипоренная совестью, неслась куда-то душа... И лишь когда стал напевать рассвет, Элен забылся.

33. СУДЬБА СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ

После того как Элен ушел, Док долго сидел в оцепенении. В горле было сухо, в груди свербило... Верхний голос наставлял: «Не забывай, ты ученый с умом деятельным, методическим и точным. Допускать можно лишь то, что поддается измерению, что зримо, слышимо, осязаемо. Законы науки, вот твои законы — им и подчиняйся. Их преступая, ты не только совершаешь грех, но и навлекаешь на себя беду: безначалие, анархия воцарятся в твоей душе!» Док невольно ежилась...

Средний голос злорадствовал: «Сколько лет, сколько лет я тебе говорю, что ты сам себя обманываешь! Попробуй-ка, примени свой хваленый аналитический ум...»

Нижний голос, в самом нутре, тоже не молчал, мучал своей всегдашней заунывной песней, но замешивалась в нее новая нотка, почему-то уверявшая, что мука — на пользу.

Под влиянием среднего голоса Док стал думать: «Что ж, проанализируем положение. С одной стороны, я — мужчина, которого ждет научная работа, с другой — эта девушка. Даже если предположить, что первое время нам будет хорошо вместе, все равно, наш союз не может быть удачным, ни за что на свете! Мало того, что Сюзи малограмотна, она еще обладает буйным нравом. И, как полагается невежде, смело берется судить о вещах, о которых не имеет понятия; и других берется учить. Через пару месяцев она нахватается разных ужимок и примется изображать из себя светскую даму... А я только зря лишусь свободы. И весь мой ум окажется ни к чему — я буду все равно что за шахматной доской с заведомо слабым партнером. Надо одуматься, пока не поздно. Сюзи мне совершенно не подходит. И совершенно мне не нужна!»

Однако средний голос и на это возражал глумливо: «Ну вот, опять себя обманываешь! Ты ведь прекрасно знаешь, что она тебе нужна. Больше всего на свете! Пощупай, как мчится твой пульс, послушай, как оглушительно бьется сердце. А все почему? Потому что лязгнула дверца бойлера. Ты еще не успел понять, что это значит, а уже екнуло, закололо в груди. И то, зачем бы это дверце хлопнуть в три часа утра?..»

Тут нижний голос сказал: «Нет на свете только плохого. Хорошее и плохое всегда едины. В мужчине и женщи-

не — даже в самых близких — есть друг для друга и хорошее, и плохое... Дай мне волю! Или, клянусь, я буду терзать и мучать тебя до конца дней твоих! Выпусти меня! Чувствуешь красные сполохи в глазах? Это ярость! Дай же ей волю, иначе она сглохнет тебя, сведет с ума! Ты слышал лязг дверцы? Посмотри на часы!»

Док посмотрел на часы — семнадцать минут четвертого. «Ах он, сукин кот!» — произнес Док с расстановкой. Резко щелкнул выключателем — погасил свет, приблизился к окну, глянул на пустырь, на тусклое обширное пятно света от уличного фонаря. Потом вышел за дверь, спустился по ступенькам на цыпочках. Крадучись пересек освещенную улицу и нырнул в густую тень...

Патрон в это время сидел на толстой ржавой трубе и ломал голову над задачкой, словно школьник. Никак не сходилось с ответом. По условию, молодой мужчина, симпатичный, модно одетый и, главное, денежный, предлагает услуги женщине. У женщины — ни особенной красоты, ни достатка; живет в бойлере, работает в кафе за кормежку. Мужчина к тому же знает, как действовать — подход у него, может, и не научный, зато испытанный. Он приступает со сладкими речами, с обещаниями, с посулами, в решительный момент применяет силу, ведь бабы любят сильных мужчин... Почему же не тот ответ?.. Патрон пощупал распухшие пальцы на правой руке. Ей-богу, эта Сюзи просто ненормальная! Речей слушать не стала, а полез в бойлер, отпихнула, да как даст этой чертовой дверцей — прямо по пальцам! Теперь, поди, четыре ногтя сойдет. Вот зараза! Так размышлял горько Патрон и не слышал, как подобрался Док.

Док схватил Патрона за воротник модной полосатой рубахи и рывком поставил на ноги. Патрон, не задумываясь, провел мастерскую подсечку, от которой Док вместе с ним рухнул наземь. Не расцепляя объятий, бойцы покатались в мальвовые заросли. Джозеф-Мария норовил поддать Доку в пах коленкой, а Док тискал его горло своими сильными, чуткими пальцами. Патрон вдруг понял, что противник выискивает опасную ложбинку под кадыком — изо всех сил впился ногтями в белое пятно докова лица, но пальцы Дока нашли, ущупали-таки губительное место. Разноцветные разводы заплясали у Патрона перед глазами, красным туманом заволокло мозг. Страшные пальцы вдави-

ливались все глубже, еще несколько мгновений — и конец! Он видел, как это бывало с другими! Сдаться! Скорее сдаться! Патрон обмяк, обливаясь холодным потом: что будет? О счастье, Док ослабляет хватку...

Патрон лежал недвижно, в помутненном сознании слабо колыхалось: что если опять попробовать в пах, или головой под челюсть? Но если промахнусь, снова эти ужасные пальцы... Он был чуть жив от слабости и страха. Он даже боялся подать голос: вдруг Док не так поймет и придушит... Наконец прошептал:

— Сдаюсь. Твоя взяла..

— Попробуй еще только подойди к этой девушке, убью на месте,— яростным шепотом отозвался Док.

— Все, больше не буду. Богом клянусь!

В лавке при тусклом свете дежурной лампочки Патрон пытался открыть бутылку виски, но ему мешали разбитые пальцы — пришлось поручить бутылку Доку.

Док ощущал ту слабость и дурноту, какая обычно наступает после припадка ярости. К тому же он чувствовал себя идиотом. Быстро глотнув из бутылки, он передал ее через прилавок Патрону. Тот хлебнул и отчаянно закашлялся, согнувшись чуть ли не пополам. Док обежал прилавок, постучал Патрона по спине. Оправившись от кашля, Джозеф-Мария посмотрел на Дока, как на диво:

— Ну, ты даешь! Где ты научился этому приему? Ты хоть думал, когда его применял? Ты что, хотел меня убить?

— Убить? Наверное.— Док смущенно рассмеялся.— Я думал, ты пошел в гости к Сюзи.

— Пойти-то пошел...— усмехнулся Джозеф-Мария.— Слушай, ей-богу, я не знал, что у вас с ней...

— Да ничего у нас с ней нет,— сказал Док.— Дай-ка еще хлебнуть.

— Я вижу, с тобой шутки плохи,— сказал Джозеф-Мария.— Только зря ты кипятился. Она меня выставила, как щенка. Видишь, дверцей чуть не оттяпала пальцы. Так что я тебе не соперник. Она, как говорится, твоя.

— Она меня и видеть не хочет...— пожаловался Док.

— Как? И тебя?! Интересно, по какой же причине?

— Почему я знаю...

Облокотившись о прилавок, они обменялись долгим взглядом. Потом Патрон сказал:

— Ну и история... Что же ты теперь будешь делать, Док?

Док усмехнулся:

— Элен говорит, снеси ей букет цветов.

— Хм, в этом что-то есть... Однако черт ее знает, что ей нужно.— Патрон сделал маленький, осторожный глоток — сильно поморщился: виски прошло по больному месту.— Судя по всему, она просто чокнутая. Значит, и ухажера ей надо чокнутого. А ты не пробовал забыть ее ко всем чертям?

— Пробовал. Сто раз.

— Что, не выходит?

— Не выходит. Я понимаю, что я просто-напросто дурак, но ничего не могу с собой поделать.

— Да, это с нашим братом бывает. Ничем здесь не поможешь... Постой-ка,— глаза его сверкнули,— я теперь вспоминаю, что она мне сегодня сказала... ну, когда я с ней через эту чертову дверцу разговаривал. «Мне,— говорит,— нужен мужчина, чтоб у него душа была смелая и просторная». А я говорю: «Док, что ли?» А она: «Нет уж, у него душа жидкая. Хлюпик он».

— Молодец, верно говорит...— вздохнул Док.

— А вот мне так не кажется,— сказал Патрон.— Когда ты меня за горло держал, если б я не сдался, ты б меня... того?

— Возможно. Мне и самому сейчас не верится, что я на такое способен. Однако поди ж ты... Выходит, сам себя не знаю.

— Выходит, не знаешь. Вот я и говорю: человек, который может убить голыми руками, никак не хлюпик! Давай-ка эту бутылку прикончим, а потом я тебе помогу.

— Как это?

— Так это. До рассвета еще час. Рванем на Маячную улицу, там в палисадниках цветов видимо-невидимо!

34. ХОРОШАЯ СИДЯЧАЯ ВАННА

Джо Элегант, к счастью для себя, был в «Медвежьем стяге» поваром, а не вышибалой, поэтому поздней ночью его услуги не требовались. Он рано ложился, зато ставил будильник на четыре утра. И каждое утро по три-четыре часа без помех занимался любимым делом.

Стучала портативная машинка — росла стопка зеленых листков с зеленым текстом. Роман назывался «Эдипово семя» и подвигался довольно быстро. Герой романа родился с глубокой душевной травмой, которую вся последующая жизнь лишь усугубляла. Он жил в непрерывной борьбе с мифологической субстанцией и ее духовным экстрактом — символом. Только он вырывался из цепких объятий первой, как тут же получал увесистый пинок под зад от второго. Дух книги был самая утонченная и злая меланхолия; действующие лица обитали в сыроватых таинственных комнатах, где даже в рисунке обоев крылась мрачная загадка, в мире блеклых запахов и туманных грез. Во всем романе не нашлось бы ни одного персонажа, которого наши психиатры не захотели бы взять под наблюдение. У героя были старые тетушки, по сравнению с которыми маркиз де Сад мог показаться юным причетником... Рукопись была уже толщиной с доброе полено, и воображению Джо нередко рисовалась книга в суперобложке с фотографией автора сзади: вольная поза, расстегнутый воротничок, тонкая непроницаемая улыбка, перстень с ядом на безымянном пальце небрежно вынесенной вперед руки. Джо уже заранее знал, кто из критиков даст на роман благожелательную рецензию, а кто будет ругать... Машинка стучала: «Поверхность пруда нежно кудрявилась азоллой. Посередине, на чистой воде, плавала большаядохлая рыба брюхом кверху...»

Джо Элегант вздохнул, откинулся на спинку стула, почесал живот. Потом, зевая, отправился на кухню и поставил кофейник. Пока вода греется, вышел на минутку во двор. Было великолепное утро. Громко хлопая крыльями, сновали над заливом пеликаны, промышляя томко́да — американскую тресочку. В небе висели пухлые розовые облака... Джо увидел перед дверцей бойлера огромный букет, подкрался, обследовал его. Каких цветов тут только не было — тюльпаны, розы, жонкилии, ирисы... Чей подарок, гадать не приходилось: цветы стояли в большой стеклянной банке для препаратов.

Не нужно думать, что со времен маскарада жизни Джо грозила опасность, однако большого дружелюбия со стороны окружающих он тоже не встречал. Поэтому рад был сообщить Консервному Ряду добрую весть. К Фауне весть прибыла вместе с утренним кофе и печеньем «хворост».

К восьми часам о букете знали и в Королевской ночлежке; в кафе «Ла Ида» ранние посетители смаковали новость вместе с коктейлем из виски и лимонного сока.

Лучшие места для зрителей были, конечно же, в Комнате досуга, окна которой выходили на пустырь. За шторой стоял Мак, уминая Фаунин «хворост». Девушки в своих самых нарядных шелковых халатах сидели у окон. Бекки была в красных сафьяновых туфлях, украшенных страусовыми перьями. В восемь тридцать зрители услышали, как скрипнула дверца бойлера, замахали руками друг на друга — тише!

Сюзи, на четвереньках, высунула голову наружу и тут же уткнулась носом в величественное цветочное подношение. Долго, долго смотрела на букет, потом взяла его в охапку вместе с банкой и втащила внутрь. Железная дверца захлопнулась.

В девять Сюзи вылезла из бойлера и направилась скорым шагом в сторону Монтерея. В девять тридцать вернулась, скрылась в бойлере, а спустя мгновение показалась снова, толкая впереди себя чемодан. Публика впала в крайнее разочарование, но ненадолго, потому что Сюзи подошла к парадной двери «Медвежьего стяга» и позвонила. Фауна мигом разогнала девочек по спальням, выпихнула Мака с черного хода и только потом отворила дверь Сюзи.

Сюзи спросила:

— Можно помыться у вас в ванной?

— Конечно.

Через час, когда плесканье в ванной смолкло, Фауна постучалась:

— Золотко, тебе случайно не дать туалетной воды?

— Да, спасибо.

Спустя несколько минут Сюзи появилась из ванной, чистая и сияющая.

— Хочешь кофе? — спросила Фауна.

— Хочу, но я ужасно тороплюсь. Спасибо за ванну. Нет ничего на свете лучше хорошей сидячей ванны...

Из-за шторы Фауна наблюдала, как Сюзи влезла обратно в бойлер. Фауна удалилась в свой кабинет, накорябала записку и послала ее с Джо Элегантом в Западную биологическую. В записке говорилось: «Она сегодня не работает».

35. В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ КОМИЛЬФО

Док разложил на койке свою лучшую одежду. На стиранных защитных брюках какие-то белесые пятна — кислота, что ли? Белая рубашка желта от времени. А старый твидовый пиджак! Оказывается, локти протерлись до дыр! Галстук, в котором был в тот памятный вечер у Сынка, весь в чем-то липком... Док порылся в чемодане, отыскал на самом дне черный офицерский галстук... Первый раз в жизни собственная одежда была ему не по душе. «Но это же глупость!» — сказал себе Док и тут же прибавил: «Что делать, значит, я глупец...» Размышляя о своем гардеробе и вообще о своей жизни, он начал приходить к выводу, что и то и другое в равной мере нелепы. Но нелепее всего страх — да, да, страх! — с каким он думает о предстоящем деле.

Док обратился к гремучим змеям — змеи высунули раздвоенные язычки, внимательно слушая.

— Вы только посмотрите на этого дурака! — Док показал на себя пальцем. — Считается, человек в полном рассудке. Вроде бы даже неглупый, коэффициент умственного развития — 182. Окончил университет, имеет ученую степень. Неплохо подкован в своей области, да и в других не профан. Так вот, этот человек отправляется с визитом к девушке, которая живет в бойлере, несет ей в подарок коробку конфет. И что вы думаете? Он сам не свой от страха! Чего же он боится, спросите вы? Я вам отвечу. Он боится, что не сумеет снискать благоволение этой девушки. Он трепещет перед нею. Отлично знает, что смешон, но, право, ему вовсе не до смеха...

Глаза змей пытливо смотрели на Дока — или это только чудилось?

— И главное, — продолжал Док, — ничего тут не попишешь. Говорят, тело помнит ампутированную конечность. Вот так и я помню эту девушку. Лишившись ее, я лишился цельности и полнокровности. Да, когда она была со мной, я жил действительно полнокровно. Конечно, она не пайнька, но даже когда мы с ней воевали, она все равно была моей неотъемлемой частью. Тогда я не понимал, насколько это важно, задним умом крепок... Кстати, я реалист, я знаю, что если все же ее заполучу, то жить с ней будет ох как трудно — еще десять раз пожалею, что вооб-

ще ее встретил. Но я знаю и другое. Если я ее упущу, то уже никогда не обрету цельность. Буду жить бесцветно и до конца своих дней скорбеть об этой утраченной девушке. Вы, рептилии, существа благоразумные, вы скажете: «Зачем торопиться? Так ли она хороша? Будто нет в море рыбки получше?» Но это вы так потому говорите, что ваше сердце не затронуто. А по мне, не только нет рыбки получше, но вообще она единственная рыбка в море. Море без нее пусто. Так и зарубите себе на носу!»

Док разделся, встал под душ и терся мочалкой, пока кожа не покраснела, не засадила. Зубы чистил так усердно, что из десен пошла кровь. Потом набросился с ножницами на изъеденные формалином руки: обкорнал ногти чуть не до мяса; яростно расчесал давно не стриженную голову; выбрился так тщательно, что щеки занялись огнем. И вот наконец он был готов, но нарочно оттягивал свой выход.

Щемило не только под ложечкой, но и во всей груди — прямо-таки не вздохнуть. Сейчас бы добрый глоток виски, подумал Док. Но нет, Сюзи учует запах, догадается, что принял для храбрости. Интересно, она тоже боится? Этого никогда не узнать: женщины скрывают чувства лучше, чем мужчины. Господи, какой же я дурак. Так не годится, нельзя так волноваться, голос будет дрожать... И все это, подумать только, из-за какой-то... Нет, не смей ее охаивать! Она не виновата, что ты слаб духом. И не забывай, что это ты идешь к ней, а не она к тебе. Кстати, почему я говорю «ты»? Не «ты», а «я». Боюсь, что ли, этого «я»?..

Вдруг Док понял, что делать. Он подошел к полке с пластинками, отыскал «Искусство фуги». Уж если от этой великой музыки дух мой не укрепит, подумал он, значит, и вправду можно складывать оружие... Он сидел не шевелясь; а Бах сотворил мир, населил, обустроил, а потом восстал против него — и погиб... Когда оборвалась четверная fuga, подобно жизни своего создателя, на середине фразы, к Доку уже вернулась твердость духа. «Бах сражался отчаянно! — сказал он себе. — Его смерть не была поражением. Если б он остался в живых, он бы и дальше вел свою немыслимую борьбу».

— Пойдите, дайте мне подумать еще! — крикнул Док неизвестно кому. — Очень важная мысль! Чем привлек меня Бах? Чего я так жажду? Я жажду рыцарского духа. Чем, как не им, славен человек? — Он внезапно остановил-

ся, словно что-то наступило ему на сердце, потом сказал перехваченным голосом: — Господи, как же я не понял? Куда смотрели мои глаза? Восхищаюсь Бахом, а сам не понял главного... Старине Баху было еще не так трудно: у него был талант, семья, друзья. У всех нас что-нибудь да есть. А вот что есть у Сюзи? Что есть у Сюзи, кроме душевной стойкости? Это ее единственное оружие в таком жестоком, таком сложном мире. Но видит Бог, победа будет за ней! Иначе вся человеческая жизнь вообще не имеет смысла...

«А что это такое, победа? — спросил себя Док. — Знаю ли я?» И тут же ответил: «Да, знаю. Если человек не потерпел поражения, это и есть победа!»

И тут же он высек себя за то, что принижал Сюзи.

— Надо же, благородный рыцарь! Спасать собрался, как будто она без меня не проживет. Нет, это я без нее захирею, сгину! В ней мое спасение. Только Сюзи может вернуть мне цельность!

Он больше не чувствовал себя глупцом: в походе к Сюзи глубокий смысл.

— Пока! — сказал он змеям. — Пожелайте мне ни пуха ни пера!

Он встал, взял коробку конфет, молодцевато спустился с крыльца Западной биологической и перешел улицу. Он знал, что из каждого окна следят за ним любопытные глаза. Ну и пусть! Он помахал рукой невидимой публике и свернул на пустырь.

Шагая среди мальв, подумал: «Интересно, как стучать, если дверь железная?» Нагнулся, подобрал с земли какой-то большой ржавый гвоздь и, почти в веселом настроении подойдя к бойлеру, побарабанил гвоздем по круглой железной стенке. Дверца была слегка приоткрыта.

— Кто там? — спросил голос с металлическим призвуком.

— Я, — отвечал Док. — Вроде бы я...

Дверца открылась, Сюзи выглянула.

— Спасибо за подарок — за цветы.

— А вот еще подарок...

Сюзи взглянула на коробку в руке Дока. Потом задрала голову, чтоб посмотреть гостю в глаза, ведь она стояла на четвереньках. Вон как смотрит, подумал Док. С подоз-

рением, с недоверием, а может, только кажется — попробуй-ка выгни так шею.

— Что это, конфеты?

— Конфеты.

— Не надо мне больше подар...— начала было Сюзи, потом разом вспомнила все поучения Фауны.— Ладно, спасибо.

Порыв непосредственности у Дока прошел. Сюзи, устав, по-видимому, пялиться вверх, смотрела ему в коленки.

— Вообще-то я с визитом...— проговорил Док деревянным голосом, никак не давался первоначальный, раскованный тон.— Может, пригласишь войти?

— А ты сумеешь?

— Попробую.

— Правда, у меня тесно...

Док молчал.

— Ну ладно, входи, что ли, в самом деле! — сказала Сюзи и скрылась внутри.

Док опустился на четвереньки перед топочной дверцей; сперва бросил внутрь коробку, затем полез сам, счастливо говоря себе: «Человеку, который проделает это с достоинством, в жизни больше ничто не страшно!» — и только подумал, как тут же зацепился брючиной за угол дверцы, рванулся вперед — дверца захлопнулась, защемила лодыжку. Так он и застрял: сам внутри, нога снаружи, ни туда и ни сюда.

— Я, кажется, застрял...

— Подожди, не дергайся.— Сюзи присела верхом на Дока, ловко отцепила брючину от дверцы.— Ну, вот и все.— Сюзи слезла с Дока.— Немного порвалось, но ничего, заштопаем...

Глаза Дока постепенно привыкали к скудному свету. На полу встречались два лучика — один сверху, из дымохода, другой из приоткрытой топочной дверцы.

— Поначалу видно плоховато,— сказала Сюзи.— У меня есть лампа. Сейчас зажгу.

— Не надо, я и так все различаю,— сказал Док, оглядываясь по сторонам. Сердце вздрогнуло от жалости. Крашенные железные стены с бутафорскими занавесками, за которыми нет окон, самодельный туалетный столик с зеркальцем и склянками... Господи, сколь же отважен человек!.. Но тут Сюзи нанесла удар по состраданию Дока:

— У нас в «Золотом маке» обедает сварщик. Знаешь, что он сделает? Придет со своим газовым резаком и прорежет с боков окошки! — голос восторженно звенел. — Я вставляю маленькие оконные рамы. На подоконниках — ящички с красной геранью. Придется, конечно, покрасить стены снаружи. Думаю, в белый цвет, а окошки с зеленым обводом. У входа разобью цветничок. Я умею ухаживать за розами..

Сюзи умолкла; церемонная тишина заполнила бойлер...

«А ведь это не бойлер, — вдруг подумал Док с радостным изумлением. — Здесь веет домашним духом».

— У тебя здесь очень хорошо, — сказал он. — Ты просто молодец.

— Спасибо за комплимент.

— Это самый настоящий дом! — Док высказал вслух свою мысль.

— Да, мне здесь спокойно и уютно, — отозвалась Сюзи. — У меня никогда в жизни не было своей комнаты.

— Что ж, теперь есть.

— Сижу я тут иногда и думаю: захотят меня выселить, ни за что не уйду, пусть хоть динамитом взрывают...

Док наконец собрался с духом:

— Сюзи, прости, что на маскараде все так получилось.

— Давай не будем об этом. Ты ни в чем не виноват.

— В том-то и дело, что виноват...

— А я говорю — нет!

— Я бы, кажется, все на свете отдал, лишь бы...

— Ну ладно, если ты еще не уразумел, давай объясню, ткну носом. Ты ни в чем не виноват, но урок я получила хороший. Сама кашу заварила, сама и обожглась. А ты здесь ни при чем, спи спокойно. И запомните все: нечего меня жалеть! У меня все в порядке. Никогда мне еще так славно не жилось. И помощи мне ни от кого не надо — ни от тебя, ни от других. Я хочу всего добиться сама! Унюхал? А если не унюхал, значит, только зря пришел!

В бойлере наступило короткое молчание. Потом Сюзи сочла, что Док действительно все «унюхал», и сказала лучезарно:

— Знаешь, я записалась на курсы машинисток! Занятия в школе по вечерам. В следующую субботу возьму напрокат машинку. Глядишь, научусь печатать.

— Конечно, научишься! Может быть, отпечатаешь мою книжку.

— Значит, решил-таки ее написать?

— Да, ведь это последнее, что у меня осталось. Без книжки мне вообще каюк... Скоро начинаются приливы, в субботу наконец-то поеду в Ла-Джоллу. Авось, дело пойдет на лад. Ты рада?

— Да. Почему кто-то должен страдать? — И тут же прикрывлась церемонностью: — Может быть, выпьешь чашечку чаю? Сейчас быстро согрею на спиртовке.

— Да, спасибо.

Сюзи теперь полностью овладела положением; непринужденно болтая, она наладила спиртовку, поставила маленький чайник.

— Мне в «Маке» дают хорошие чаевые. За две недели отдала долг Джо Блейки. Элла хочет взять отпуск на недельку, она ни разу в жизни не отдыхала. Черт возьми, я спокойно одна управлюсь! Ой, прости, вообще-то я теперь не выражаюсь...

— Ты молодец, — сказал Док, — все ты делаешь правильно... Скажи мне, пожалуйста — только помягче, не обязательно тыкать носом, — что за мужчина тебе нужен? Мне это полезно знать — может, в жизни пригодится...

— А вот и чай, — сказала Сюзи, подавая ему дымящуюся чашку. — Подожди, пусть покрепче заварится. Сахар в чашке на столике...

Док положил сахар, помешал.

— Если б я точно знала, что тебе это действительно важно, без дураков, я бы, может, и сказала.

— Без дураков.

— Тогда ладно, слушай. Кого я ищу, может, его и в природе нет, но хочется верить, что есть. Мне нужен человек с широкой душой. Пусть даже суровый, но настоящий мужчина. И чтоб был у него в душе заветный уголок — для меня. Чтоб никогда меня не обижал. И чтобы я была ему нужна больше всего на свете. Чтоб без меня ему и жизнь — не жизнь. Вот такого мужчину я бы постаралась сделать счастливым!

— Ну, если не считать суровости, ты как будто про меня рассказываешь... — сказал Док.

— Нет уж, себя не припутывай! Было время, я тебя слушала, как дурочка. А теперь поумнела. Спасибо тебе —

уму-разуму научил. Сам ведь сказал, что тебе твоя жизнь по душе, я только все испорчу...

— А если я соврал?

— Ну, глаза-то твои не соврали...— Это было сказано без малейшего ожесточения, голос дышал покоем и даже — странно сказать — каким-то весельем. Док был сражен.

— А у тебя счастливый голос, Сюзи.

— Да, я счастливая. А знаешь, кто мне помог?

— Кто?

— Фауна. Она меня научила гордости, а то я не знала, что это такое.

— Как же она тебя учила?! Поучила б заодно меня.

— Она сказала: «Другой такой Сюзи в целом мире нет», — и заставила меня это повторять, а еще сказала, что всякий человек чего-нибудь да стоит. И с тех пор я верю, что это действительно так... Ну ладно, может, хватит разговоров?

— Да, — сказал Док. — Я, пожалуй, пойду.

— А то мне пора на работу... Слушай, помнишь, ты мне рассказывал в тот вечер: в дюнах живет человек, мы еще его с тобой искали?..

— Ясновидец? Конечно, помню. Что с ним?

— Джо Блейки посадил его под стражу.

— За что?

— За воровство. Стащил что-то из универсама. Джо не хотел его сажать, но что поделаешь.

— Ладно, что-нибудь придумаем. Ну, я пошел...

— Ты на меня не сердишься?

— Нет. Но мне очень жаль, что все так получилось.

— Мне тоже жаль. Но горевать не стоит — нет худа без добра. Счастливо, Док. Удачи тебе в Ла-Джолле!

Переходя улицу на этот раз, Док думал: хорошо бы никто меня не видел. Вошел в лабораторию, свалился на койку. В сердце стояла боль поражения и утраты. Он не мог думать о будущем. Одно он знал точно: в Ла-Джоллу надо ехать во что бы то ни стало. Только это и привязывает теперь его к жизни, в этом его дело и его вера. Он крепко зажмурился, разноцветные пятна заплясали на сетчатке.

Скрипнули ступеньки крыльца, и змеи забили своими гремучками, однако не слишком сердито. Дверь приоткры-

лась, заглянул Элен,— при виде докова лица надежда в его глазах померкла.

— Не заладилось? — спросил он робко.

— Не заладилось,— угрюмо подтвердил Док.

— Неужели никак?..

— Никак.

— Тебе что-нибудь помочь?

— Нет, спасибо. Хотя, постой! Знаешь Джо Блейки?

— Констебля? Конечно.

— Так вот, Джо забрал в дюнах одного человека. Пойди к Джо и скажи, что этот человек — мой хороший знакомый. Пусть будет с ним поласковее. Я навещу его, как только смогу. Еще скажи, что этот человек совершенно безобидный! — Док перевернулся на бок, порылся в кармане.— Вот тебе два доллара. Попросишь Джо, чтоб он тебя пустил в камеру, и передашь... нет, лучше забеги по дороге в универсам, купи дюжину лакричных леденцов. Отдашь ясновидцу вместе со сдачей.

— Кому-кому?

— Ясновидцу. Так зовут этого человека,— устало объяснил Док.

— Не волнуйся, мигом все сделаю! — сказал Элен, гордый поручением, и умчался рысцой.

Док снова улегся, но только начал засыпать, убаюканный своим страданием, раздался стук в дверь.

— Кто там? — крикнул Док.— Войдите!

Ответа не было, но постучали еще раз. Змеи неистово затрещали.

— Боже! — сказал Док.— Неужто школьники пришли на экскурсию?

Однако это оказалась телеграмма — длинная-предлинная, с оплатой за счет адресата. В ней говорилось:

ЭВРИКА! ГРЕЧЕСКОЕ СЛОВО ЗНАЧИТ НАШЕЛ. ТЕПЕРЬ ТЫ УЧРЕЖДЕНИЕ. УЧРЕДИЛ ОТДЕЛЕНИЕ ИЗУЧЕНИЮ ЦЕФАЛОПОД КАЛИФОРНИЙСКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ. ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ГОД ПЛЮС ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ. ЗАНИМАЙСЯ ОСЬМИНОГАМИ. СДЕЛАЮ ТЕБЕ ВЫСТУПИТЬ КОНЦЕ ГОДА ДОКЛАДОМ КАЛИФОРНИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОТ ТЕБЯ. ПОЗДРАВЛЯЮ. НЕ ЗАБУДЬ ОПЛАТИТЬ ТЕЛЕГРАММУ. ЖАЛЬ НЕ УСЛЫШУ ЧТО СКАЖЕШЬ.

Док положил телеграмму на постель и сказал:

— Вот сукин сын!

36. ЛАМА САВАХФАНИ¹

— Хорошие леденцы — «Ребятчья нежность»! Ешь! — говорил Элен, сидя на краешке железной тюремной койки и с любопытством глядя на ясновидца. — Раз ты друг Дока, можешь ничего не бояться.

— А что это за Док? Я его не знаю.

— Зато он тебя знает. Считай, тебе повезло.

— Док — это какой-то доктор?.. Но я не знаю никаких докторов.

— Нет, он не взаправдашний доктор. Он ловит разных морских жучков.

— О, тогда я его помню! Однажды я угостил его обедом.

— Ну вот, а он тебя угощает леденцами.

— Боюсь, что я не стану их есть.

— Почему?!

— Скажите моему другу Доку, что в душу мою проник яд жадности. Я очень люблю леденцы. До вчерашнего дня я крал по одному леденцу и искуплял свое маленькое преступление стыдом. Но вчера меня обуял непомерный аппетит, и я взял сразу три. Директор магазина, оказывается, знал, что я беру по одному леденцу, и закрывал на это глаза. Но когда я взял три, он не стерпел. Я на него не в обиде, он поступил правильно: кто знает, что я совершил бы на следующий день. Быть может, у меня возникло бы более опасное желание... И вот я хочу наказать себя: я буду нюхать эти леденцы, но к ним не притронусь.

— Ты что, чокнутый? — спросил Элен.

— По-видимому, — отвечал ясновидец. — Хотя утверждать не берусь. Ведь у меня нет почвы для сравнения — я не знаю, как чувствуют себя другие.

— Ну ты и разговариваешь — навроде Дока, — сказал Элен. — Ни слова не пойму.

— Как он, кстати, поживает?

— Не очень хорошо. Мучается!

— Да-да, я теперь припоминаю. Я еще тогда обратил

¹ Слова Иисуса, распятого на кресте. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или! ламá савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего ты Меня оставил?» (Евангелие от Матфея, XXVII, 45—46).

внимание, что его душа одета саваном одиночества. Еще тогда мне было за него боязно.

— Нет, ей-богу, словечки у тебя — прямо как у Дока! — восхитился Элен. — Знаешь, из-за чего он мучается? Из-за бабы.

— Что ж, этого следовало ожидать. Если человеку холодно, он ищет тепла. Если человек одинок, от этого есть только одно лекарство. Почему же он не возьмет эту женщину в жены?

— Она не хочет с ним жить... пока.

— Что ж, бывает. Такое уж они племя.

— Кто?

— Женщины. А что значит «пока»? Разве потом что-нибудь изменится?

Элен уставился на ясновидца дикими, стоячими глазами. Этот человек разговаривает, как Док. Может, он даст совет? Однако напрямую говорить с ним не стоит.

— Можно тебя спросить?

— Да, пожалуйста.

— Только это не настоящий вопрос... В жизни ничего этого нету... не знаю, как сказать...

— Стало быть, вопрос гипотетический?

— Ну да, вроде как шутка! Дело, значит, такое. Один человек попал в беду, мучается...

— И что же?

— Никак беду не одолеет. А у него есть друг...

— Друг, это, наверное, вы? — спросил ясновидец.

— Нет! Совсем другой парень! — замахал руками Элен. — Не помню, как зовут... В общем, попал человек в беду. Есть один способ, как с ней справиться, но сам он ничего сделать не может. Значит, это должен сделать друг? Как думаешь?

— Да. На то он и друг.

— Даже если тому человеку будет больно?

— Да, даже если очень.

— Даже если нет полной надежды?

— Да. Я не знаю, как обстоит дело с вашим Доком, но знаю, как обстоит с вами... Если вы его любите, то, чтобы помочь, вы должны быть готовы на все — буквально на все. Даже убить его, если его мука неисцелима. Таков высший и горчайший долг дружбы!.. — Элен слушал затаив

дыхание.— Я понимаю: то, что вы хотите совершить — жестоко. Убедитесь прежде, что иного выхода нет; затем усвойте — наказание неотвратимо. И последнее: очень возможно, что спасенный вами друг не захочет больше разговаривать с вами... Так что ваш поступок требует настоящей любви, великой любви! Такова ли ваша любовь к другу?

Элен шумно вздохнул.

— Я же говорю, ничего этого нету! Я спросил — вроде как загадку загадал. Гипа... в общем, шутка!

— А по-моему,— сказал ясновидец,— вы любите вашего Дока не на шутку!..

Никто не знает, каким образом человек становится великим. Быть может, величие всегда живет в нас — дремлет в темной бездне души, чтобы в один прекрасный день воспрянуть к свету; а может, оно проникает в тело извне, словно незримые космические частицы? Однако вот что доподлинно известно: величие пробуждается к жизни, к действию лишь силой необходимости; обретается человеком в муках; влечет за собою очищение, возвышение, нравственную перемену, после которой нет пути назад, к невинно-безответственному существованию!

Элен лежал под черным кипарисом, корчился, тихонько постанывал сквозь стиснутые зубы. Ночь длилась; луна зашла, отдав мир в объятия злой черной тьмы; и грудь Элена стеснилась таким безмерным, таким безысходным отчаянием и одиночеством, что Элен возопил о своей великой и страшной участи, как возопил некогда Он, думая, что Бог оставил Его...

Час за часом в душе Элена шла борьба, и лишь к трем часам в сердце настоялась решимость. Элен принял этот свой жребий, как прежде принял проклятое президентство. Он знал, что действует с судьбой заодно — и был спокоен. И, право, только поверхностный и скучный человек не счел бы его в эту минуту прекрасным!

Элен поднял с земли орудие судьбы — бейсбольную битку Уайти II — и выполз из-под ветвей черного кипариса, словно огромный серый кот.

Не прошло и трех минут, как он вернулся под дерево. Упал ничком на землю и зарыдал.

37. ГЛАВКА С БУЛАВКУ

Доктор Гораций Дормоди терпеть не мог ночных вызовов (кто ж их любит?); но Док был приятель, приятелю не откажешь, к тому же по исступленному голосу в телефонной трубке доктор понял — дело нешуточное.

Приехав в Западную биологическую, доктор увидел, что лицо хозяина блее полотна, правая рука висит как плеть.

— Ну, что я могу сказать — явный перелом. Насколько серьезный — пока не знаю. Нужно сделать рентген. До машины дойти сможешь?..

Поглядев на снимок, Гораций сказал:

— Так и есть. Кость перешиблена начисто, срастется нескоро. А теперь расскажи-ка еще раз, как тебя угораздило?

— Сам не пойму... Может, во сне сунул руку между стенкой и кроватью и повернулся на другой бок?..

— А может, ты все-таки с кем-нибудь подрался?

— Говорю же тебе — я спал! Ну что ухмыляешься? Что смешного?

— Ладно, спал так спал, — примирительно промолвил доктор. — Какое мое дело... Если, конечно, того, другого, лечить не придется. Судя по повреждениям мягких тканей вокруг перелома, разговор у вас был крутой: похоже, без дубинки не обошлось.

— Бред какой-то! — вскричал Док. — Через день начнутся весенние приливы, мне нужно ехать в Ла-Джоллу!

— Камни ворочать?

— А как же!

— Ну-ну... Валяй... — усмехнулся доктор. — Как гипс, схватывается?

— Схватывается, — подавленно ответил Док.

38. ВЫКРУТАСЫ (2), ИЛИ ПРАЗДНЕСТВО БАБОЧЕК

Когда нам приходится очень плохо, для утешения хочется найти другого человека, которому еще хуже. Так уж, видно, мы устроены: стоит убедиться, что чужая беда злее нашей, настроение повышается.

Вам кажется, что в Консервном Ряду создалось положение, плачевнее и безнадежнее которого не бывает. А вот послушайте-ка, что случилось в это же время по соседству, в городе Пасифик-Гров; отчего всю ночь горели огни в Массонской зале; отчего хотели горожане свергнуть мэра с его приспешниками. А случилось неопишное горе, коснувшееся всех и вся: не прилетели бабочки!

Надо сказать, что благосостояние Пасифик-Грова почти всецело зависит от этого удивительного явления природы, которое к тому же веселит сердце, пленяет воображение граждан и служит средством воспитания молодежи.

В некий день, в разгар весеннего ликования природы, над Монтерейским заливом вдруг появляются необычайные темно-оранжевые облака: то несметные стаи бабочек-данаид летят на окраину Пасифик-Грова, в сосновый бор. Но не просто в сосновый бор совершают они из года в год свое паломничество, а к нескольким заветным соснам. Бабочки буквально облепляют каждый их юный побег и сосут густую смолистую живицу, сосут до тех пор, пока не захмелеют и не отвалятся, а на их место садятся все новые и новые жаждущие, и скоро земля в бору покрывается сплошным золотистым ковром из хмельных бабочек; они лежат на спинках, пьяно размахивают лапками и что-то радостно лепечут на своем языке!.. Около недели длится этот праздничный кутеж; потом для бабочек наступают будни — они трезвеют и улетают прочь, но уже не густыми стаями, а парочками или поодиночке...

Долгое время жители Пасифик-Грова не сознавали, каким сокровищем обладают. Но затем вдруг заметили, что с каждым годом в город съезжается весной все больше и больше туристов — поглазеть на бабочек. А где туристы, там и прибыль. Грех упускать деньги, которые сами текут в руки. Приятно и то, что бабочкам не нужно платить за гастроли... И вот решили справлять ежегодно. Празднество бабочек; а какое празднество без карнавального представления?

Карнавальное представление, кроме своего обычного, имеет и специальное назначение. Как вы, наверное, помните, в Пасифик-Грове установлен сухой закон, который исполняется неукоснительно. Не беда, что во всех аптеках днем и ночью нарасхват тонизирующие средства на спирту — зато крепких напитков вы ни в одном магазине не сыщете. Конечно же, горожанам казалось обидным, что

бабочки прилетают в этот оазис трезвости не за чем-нибудь — до чертиков напиться! Поначалу на пьянство бабочек демонстративно закрывали глаза, а потом придумали и вовсе отличный выход — стали отрицать самый факт пьянства. И нарочно сделали карнавальное представление с трезвым сюжетом. Жила-была Принцесса бабочек (ее песенки исполняет мисс Грейвз), которая однажды куда-то полетела, заблудилась и пропала. Каким-то образом, уж каким не помню, к ее пропаже причастны коварные индейцы (роль индейцев исполняют в коричневых подштаниках). Как бы то ни было, верные подданные ищут свою принцессу по всему свету. И вот в конце концов находят и прилетают несметной ратью, чтобы освободить ее. (Когда бабочки ложатся на спины и машут лапками в воздухе, они приветствуют свою повелительницу!) Карнавальное представление пользуется огромным успехом. Происходит оно на стадионе; туристы тут могут купить бабочек, изготовленных из всевозможных материалов, начиная с сосновых шишек и кончая платиной... В общем, жители города не плошают. Неспроста в туристском рекламном проспекте эмблемой Пасифик-Грова служит бабочка-данаида!

За всю историю города лишь однажды с бабочками вышла осечка. Кажется, в 1924 году, если мне не изменяет память, бабочки не прилетели; и тогда обезумевшие от горя горожане день и ночь делали бабочек — сотни тысяч бумажных бабочек, — а потом разбрасывали их повсюду. С той поры мудрые отцы города всегда держат наготове пачки отпечатанных на бумаге бабочек, на случай, если вновь случится несчастье...

Срок прилета бабочек известен с точностью плюс-минус два дня. Репетиции же праздничного представления начинаются задолго, за несколько месяцев; индейцев обучают все новым акробатическим номерам; принц вытряхивает из трико нафталиновые шарики; а принцесса неустанно упражняет свое колоратурное сопрано, чтобы в день представления голос звучал действительно роскошно.

Теперь слушайте, что произошло этой весной. Мисс Грейвз — молодая симпатичная учительница младших классов, усталая от своих сорванцов, — за два дня до предполагаемого прилета бабочек потеряла голос! Чем только не смазывали ей горло, чем не орошали — все бесполезно. Не иначе как неведомая психосоматическая

болезнь поразила ее связки,— вместо рулад раздавался лишь какой-то мерзкий каркающий звук. Страстное отчаяние горело в глазах мисс Грейвз.

Несчастье с принцессой оказалось дурным знамением: шел день за днем, а бабочки все не прилетали. Сперва горожане чувствовали беспокойство и растерянность, потом, преисполнившись слепой ярости, начали искать виновных. Многим стало приходить на ум, что в муниципалитете подобрались негодные люди, пора бы их заменить. Кладовщики, у которых обнаруживалась недостача, все сваливали на мэра; снизилась посещаемость кинотеатров, упали доходы их владельцев — опять муниципалитет виноват... И вот робкое ворчание уже переросло в рев: «Долой подлецов!»

Вскоре в Кинг-сити, в шестидесяти милях от Пасифик-Грова, случился пожар в отеле, и кто же, вы думаете, выскочил из пламени в неглиже вместе с неизвестной блондинкой? Угадали? Конечно, мистер Кристи, мэр Пасифик-Грова! После этого о благородной отставке не могло быть и речи. Он попросту драпанул из родного города, должно быть, прослышал, что его хотят позорно вымазать дегтем и обвалить в птичьих перьях... Да, со времен Великой крокетной войны не было в городе столь бурных и мрачных событий!..

Представители религиозного объединения, не входя в подробности дела, объявили, что всему виною грехи граждан. Нигилисты видели корень зла в муниципалитете, начальнике полиции и ответственном за бережное использование пресной воды и призывали свергнуть их всех разом и немедленно. Более степенные и трезвомыслящие горожане винули в происшедшем — возможно, не без оснований! — Рузвельта и Трумэна с их либеральными штучками... А бабочки все не прилетали...

Затем разразился скандал в школе. Первоклассник Уильям Тейлор пришел однажды домой, достал из портфеля карандаши,— и во что бы вы думали они были завернуты? В суперобложку непотребного сочинения господина Кинзи¹! Под угрозой страшного наказания бедный мальчик признался, что получил это от своей учительни-

¹ А л ь ф р е д К и н з и (1894—1957) — известный американский исследователь сексуального поведения человека; его подход характеризовался подчеркнутым зоологизмом и физиологизмом, что немало шокировало публику.

цы, мисс Бак. Стали допрашивать учительницу, — и что же выяснилось? Выяснилось, что еще ее папаша был опасный смутьян — в 1918 году подписал петицию об освобождении Юджина Дебса¹!. После этих событий люди в городе изверились друг в друге.

А мисс Грейвз все хрипела и каркала...

А бабочки все не являлись...

Так что, видите, беда в Консервном Ряду — это еще не беда.

39. И СНОВА У НАС В ГОСТЯХ БЛАГОСТНЫЙ ЧЕТВЕРГ

И вот снова настал Благодный четверг. Был самый разгар весны, солнце круто повернуло на лето, разомкнуло лепестки золотых маков. Все утро с полей, окружающих военную базу Форт-орд, долетал пряный аромат голубых люпинов.

Гремучие змеи всех размеров выползли из убежищ и блаженно грелись на припеке. Обезумевший от весны кролик — достойный коллега Мартовского Зайца из «Алисы в стране чудес» — нахально проскакал по стрельбищу, прямо перед мишенями, на виду у двух рот. По нему радостно грянули из всех стволов — и что же? Хоть бы оцарапали: кролик, целый и невредимый, удрал за дюну. Отважная его выходка обошлась военной казне в 890 долларов, но зато сколько радости солдатам!

Мисс Грейвз проснулась в это утро, исполненная невероятным и радостным предчувствием. Она попробовала спеть хроматическую гамму и обнаружила, что к ней вернулся голос, — а значит, на землю вернулся лад! Так оно и было. Около полудня небо над заливом оранжево вскипело; несметные стаи бабочек-данаид полетели к Пасифик-Грову, к любимым своим соснам, и вот уже сосали сладкую тягучую живицу и падали, захмелев, на землю. В пожарном депо состоялось экстренное заседание организационного комитета праздника; из шкафов спешно извлекали короны добрых фей и коричневые подштаники коварных индейцев. Временно исполняющий обязанности

¹ Ю д ж и н Д е б с (1855—1926) — американский социалист, один из организаторов Социалистической партии США, неоднократно подвергался репрессиям.

мэра сочинил праздничное воззвание, которое незамедлительно опубликовала городская вечерняя газета.

В это утро был довольно сильный отлив, море словно разминалось всерьез перед главными весенними приливами; горячим солнцем ошпарило обнажившиеся прибрежные водоросли — и такой ядреный дух пошел от них, что тут же слетелись тучами голодные мухи.

У жителей Монтерея тоже было хорошее настроение. Судья Альбертсон отпустил на волю ясновидца — сам пострадавший, директор универсама, за него поручился.

Доктор Горацій Дормоди, удаляя пациенту аппендикс, то и дело принимался весело насвистывать себе в маску и даже рассказал анестезиологу политический анекдот; но о сломанной руке Дока ни словом не обмолвился. Мало ли какие курьезные истории приключаются с пациентами — все равно нужно хранить врачебную тайну. Впрочем, ничто не мешало доктору, вспоминая ночной вызов, усмехаться себе под нос...

Каким-то непостижимым образом все, однако, узнали о доковой руке. Фауне внесли весть на подносе вместе с печеньем «хворост»; Алисе, Мейбл и Бекки — вместе с апельсиновым соком. Патрон услышал новость от Какахуэте, который затем помчался на пустынный морской берег и трижды буйно протрубил припев песни «Милая Джорджия Браун», шесть раз виртуозно поменяв тональность.

Могучая Ида была так поражена новостью, что чуть не опрокинула огромную бутылку с беспородным виски «Сосновый каньон», которое вот-вот должно было стать благородным, перелившись в бутылочки из-под «Старого ворона».

Мак и ребята узнали о происшедшем чуть свет и сразу развили тайную кипучую деятельность...

Сюзи в семь часов открывала «Золотой мак»; как обычно, с утра было не вздохнуть от любителей кофе. Только ближе к полудню Сюзи услышала, что Док сломал руку. Отлучиться с работы она не могла: Элла делала в парикмахерской химическую завивку. И надо заметить, что многих посетителей Сюзи в этот день обслужила престранно. Когда с ней весело заговаривали, она пусто глядела поверх голов; мистера Мак-Мини назвала мистером Макси; а к почтенному мистеру Макси обратилась почему-то: «Эй,

вы!» — и подала ему яичницу в недожаренно-слюнявом виде, отчего старика чуть не стошнило.

Мак первым явился в лабораторию, на место происшествия, — прибежал со сна босиком. С уважением пощупал свеженький гипс, выслушал неубедительное объяснение. Док по-прежнему считал, что ночью рука попала между койкой и стеной.

— Что же ты теперь будешь делать? — спросил Мак.

— Не знаю. Но мне нужно работать в Ла-Джолле, понимаешь, нужно!

Мак собрался было предложить свою с ребятами помощь, но тут какая-то смутная мысль шевельнулась у него в голове.

— Не горюй, может, еще как-нибудь уладится... — пробормотал Мак и пулей полетел в Ночлежку.

Там он первым делом осмотрел постель Элена: нетронута.

— Да, Элен сегодня дома не спал, — подтвердил Уайти I.

— Ну надо же, — проговорил Мак восхищенно. — А мы и не ведали, кто наш светлый гений!..

Мак вышел к кипарису, подлез под вислые нижние сучья и выволок Элена наружу, словно провинившегося щенка из-под кровати, и чуть ли не на себе доставил в Королевскую ночлежку.

Элен находился в состоянии полного душевного изнеможения.

— Я не мог по-другому, — бессильно проговорил он.

— Сюзи кто-нибудь видел? — спросил Мак.

— Я видел, как она утром шла на работу, — сказал Эдди.

— Так ступай сообщи ей новость. Только как будто невзначай, — приказал Мак. — Как же ты до этого допер, Элен?

— Ты на меня сердишься?

— Нет, боже упаси. Конечно, мы не знаем, как себя Сюзи поведет, но по крайней мере это шаг в верном направлении. — Мак повернулся к двум Уайти. — Обратите внимание, Элен ему не ногу сломал, а руку. Правильно рассудил: ходить Док сможет, а работать — нет. Ты вот что, — обратился Мак к Уайти II, — ступай под окошко к Доку и стереги. Ежели кто захочет подвезти его в Ла-

Джоллу, поговори с этим человеком ласково — битую свою бейсбольную захвати. Кстати, где она?

— Я ее в море бросил,— сказал Элен.

— А, вот, значит, чем ты его! — воскликнул Мак. — Ладно, Уайти, возьми какой-нибудь кусок трубы...

Потом Элен рухнул на постель и долго лежал недвижно, а Мак сидел подле, то и дело мочил в воде тряпицу и прикладывал к его пылающему челу.

Вдруг Элен заговорил с мучительным усилием:

— Мак, я не могу! Не справлюсь я с этим делом. Пусть хоть звезды мне приказывают, хоть полиция — не могу! Неученый я!

— Постой, ты о чем? Ты уж и так сделал все, что мог!

— Да я не об этом,— простонал Элен. — Скажи Фауне, пусть подыщет другого президента.

— Ба! — Мак уставился на него в изумлении. — Я-то думал, ты давно забыл.

— Разве такое забудешь,— сдавленно сказал Элен. — Я никого не хочу подводить, но, правда, я не гожусь. Ради бога, пособи, чтоб меня отчислили из президентов! Ну, очень прошу, ну, пожалуйста!

Глаза Мака зажглись состраданием:

— Дурья ты наша, золотая ты наша головушка... Не беспокойся, никто тебя силком не заставит... А дело ты сделал благородное! Все мы сопляки против тебя.

— Ты не думай, я не устриц испугался! Если надо, я навозных жуков могу есть... Но как я — со всей страной? Я все испорчу. Не гожусь я для этой службы!

— Хорошо, не волнуйся, радость ты наша. Храбрец ты наш. Освобожу я тебя от этой службы. Это я тебе обещаю, я, Мак! — Мак поманил к себе Уайти I: — Ну-ка, садись сюда и приголубливай его. И не давай вставать, покуда я не вернусь! — сказал и умчался.

— Слушай, надо срочно что-то делать,— сказал Мак Фауне. — Мало ли что еще взбредет в голову нашему герою — возьмет и кого-нибудь пристукнет!

— Да-да,— сказала Фауна,— понимаю. Бегу. Вот только соображу, что с собой взять... Как ты думаешь, если я ему подарю обезьянью голову, он обрадуется?

— Конечно! — сказал Мак. — Он только о ней и мечтает.

Фауна развернула перед Эленом свою звездную карту и сказала:

— Ты знаешь, я тогда ошиблась, я думала, Сатурн на ущербе, а он в полной фазе. Я думала, у меня на карте точка, а это мушиное пятнышко.

— А может, ты врешь, утешить меня хочешь? — подозрительно спросил Элен. — Как я узнаю, что это правда?

— Сколько у тебя пальцев на ногах?

— Считал уже — девять.

— Посчитай-ка еще раз.

Элен скинул ботинки:

— Да как будто все по-старому...

— А что это вон там за пальчик подогнулся? Да, Элен, оба мы с тобой хороши! Я со звездами обсчиталась, а ты с пальцами. У тебя же их десять, как у всех людей! Просто мизинец подогнулся.

По лицу Элена медленно поползла улыбка — блаженная, неудержимая. Вдруг тень беспокойства снова омрачила чело:

— А кого вместо меня назначат?

— Вот уж не знаю.

— Ну, пусть только не справится! — угрожающе проговорил Элен. И лишь потом отдался чистосердечному ликованию: свободен, свободен! Громко запел: «Моя подружка, моя тень, за мною ходит целый день...»

Фауна свернула звездную карту и отправилась домой.

Уже почти в полдень на холм, к Королевской ночлежке взвошел посыльный; где-где, а тут ему прежде бывать не доводилось.

— Ребята, у меня там для вас здоровенный ящик. Я не нанимался тягать его в гору. Идите, забирайте свое добро.

— Ура! — вскричал Мак. — Привезли!

Спустя минуту они всей троицей — Элен, Уайти и Мак — пыхтя тащили большой деревянный ящик к Ночлежке. На полдороге к ним подскочил Эдди:

— Сюзи пришла! Я за ней бежал. Насилу угнал! Она уже у Дока...

— Пособи-ка нам, — сказал Мак. — Ну, и какой же у нее вид?

— Не женщина, а шаровая молния!

Они внесли ящик в Ночлежку; Мак взял маленький топорик, сбил крышку.

— Вот она, родимая!

— Где? Она же с Доком!

— Да я не про Сюзи. Смотрите сюда.— Все устави-
лись на длинную черную трубу с восьмидюймовым зерка-
лом, на лежащие в соседнем отделении окуляры, на сло-
женную треногу.

— Видали? — гордо сказал Мак.— Самая здоровая
штука во всем каталоге. Ух, Док и обрадуется! А теперь,
Эдди, рассказывай все снова по порядку, ничего не про-
пускай...

Какой же это был день — торжественный, нарядный,
словно салинасская средняя школа прошла маршем по ули-
цам со своими пурпурно-золотыми стягами. В небе, на вы-
соте четырехсот метров, парила эскадрилья веселых херу-
вимов, держа как полотнище розовое облако, на котором то
и дело вспыхивало и гасло слово БЛАГО. И чайка с пере-
битым крылом вдруг воспрянула, взлетела высоко в воз-
дух, крича: «Благо! Благо!»

Сюзи мчалась так, что ноги за головой не поспевали.
Тут ее перехватил Эдди, принялся болтать обычную ерун-
ду о погоде. Сюзи буркнула что-то в ответ, хоть и не поня-
ла, что ее спросили и вообще кто это семенит рядом...

Она подбежала к крыльцу Западной биологической, не
заметив Уайти II, стоявшего на часах с железным прутом.
Появление Сюзи освобождало его от обязанностей, но он
не ушел — остался подслушивать.

Запыхавшаяся Сюзи застыла перед дверью в той девич-
еской оробелости, которая как раз-то и бьет наповал.
Потом она немного отдышалась, постучала и вошла, а
дверь затворить забыла — на радость Уайти II.

Док сидел на койке, уныло рассматривал грудку снаря-
жения на полу.

— Я слышала, у тебя что-то с рукой? — спросила Сю-
зи грудным голосом.— Может, тебе чем-нибудь помочь?

Лицо Дока на мгновение просветлело, но тут же снова
омрачилось.

— Не видать мне весенних приливов, как своих ушей,—
сказал он, глядя на гипс.— Не представляю, что теперь
делать...

— Это больно? — спросила Сюзи.

— Нет, не очень. Потом, наверное, будет больнее.

— Я могла бы поехать с тобой в Ла-Джоллу.

— И переворачивать камни по тридцать — сорок килограммов?

— Ничего, как-нибудь сдюжу.

— Машину водить умеешь?

— Конечно.

— Все равно, нет тебе смысла со мной ехать... — вздохнул Док. Но тут же из самой глубины его существа взметнулся крик: — Стоп, не то говорю! Есть смысл! Ты нужна мне, Сюзи. Пожалуйста, поехали со мной! Работы невпро-ворот, мне одному без руки не справиться.

— Ты мне будешь говорить, что́ делать, кого искать.

— Конечно! И сам я не такой уж немо́щный. Ведь у меня еще есть левая рука, правда?

— Ясное дело. Когда в путь?

— Не позднее сегодняшнего вечера. Если ехать всю ночь, как раз успеем к утреннему отливу, он начинается в семь восемнадцать. Годится?

— Годится. Если я и вправду тебе нужна.

— Конечно, нужна! Что я без тебя буду делать. Но мне жалко — ты намаешься.

— Это ерунда, — сказала Сюзи.

— Слушай, можно с тобой посоветоваться? Брехуня учредил для меня фонд в Калифорнийском технологическом институте...

— Что ж, хорошо.

— И на службе у них состоять не обязательно...

— Еще лучше.

— Но мне так и хочется послать его подальше вместе с его деньжищами.

— Ну и пошли.

— С другой стороны, там у них шикарное оборудова-ние...

— Это хорошо.

— Только не люблю я ни на кого работать!

— Тогда не соглашайся.

— Но он меня зовет выступить с докладом перед Ака-демией наук!

— Ну, тогда соглашайся.

— Но для этого мне надо книжку написать. А я не знаю, смогу ли. Что мне делать, Сюзи?

— А чего тебе самому больше хочется?

— Не знаю...

— Ну и ладно. Сейчас не знаешь, потом узнаешь. Слушай, у меня кое-какие дела остались. Часа на два. Не поздно будет?

— Ничего, нормально. Лишь бы к вечеру выехать.

— Как закончу, сразу к тебе приду.— Сюзи направилась к двери.

— Сюзи, я тебя люблю,— сказал Док.

Сюзи стремительно обернулась, глянула на него из-под строгих бровей. Потом медленно передохнула; твердо сжатые губы дрогнули, зацвели пухлой улыбкой, а глаза просияли нежно и страстно:

— Видать, и вправду судьба нам с тобой быть...

40. ПУСТЬ БУДЕТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ ЛИШЬ ВЕСНА!

В Королевской ночлежке, в окружении ребят, сидела на старом стуле Сюзи. Вид у нее был яростно-сосредоточенный. В руках обруч от бочки, ноги на двух кирпичах. Перед ней доска, на которой выведено мелом — «ключ зажигания», «спидометр», «уровень топлива». Справа на полу — ящик из-под яблок, из него торчит ручка швабры.

— Давай снова! — скомандовал Мак. — Поверни ключ зажигания! Жми правой ногой на педаль акселератора! — Сюзи достала ногой до мелового овала на полу. — Есть, завелась!

— Чук-чук-чук... — радостно изобразил Элен звук мотора.

— Теперь отожми сцепление.

Сюзи нажала левой ногой на кирпич.

— Так, теперь ручка переключения скоростей — к себе и от себя!

Сюзи поставила ручку швабры на первую скорость.

— Отпускай сцепление. Прибавляй газ. Отожми сцепление. Ручку скоростей — в сторону и вперед! Есть вторая скорость! То же самое, ручку на третью скорость! Ну вот, молодец! Давай еще раз...

За полтора часа занятий Сюзи проехала на стуле примерно полторы сотни миль.

— Главное — не торопись, — учил Мак. — Тебе лишь бы из города выехать, ни во что не врезаться. А там уж можно признаться ему, что первый раз за рулем. Назад он поворачивать не станет. Будет сам тебе подсказывать, что да как. Не волнуйся, справишься. Я ее тебе заведу и по улице направлю.

— Какие же вы хорошие ребята, — сказала Сюзи. — Спасибо вам.

— Ерунда. Ты вон Элену говори спасибо... — Мак осекся. — В общем, лишь бы прок был... А ну-ка, давай еще потренируемся скорости переключать.

Вечер был чудесный, под стать дню. Заходящее солнце окрасило в розовый цвет барашки пены на волнах залива и пеликанов, грузно спешащих с ловли домой, на морские скалы. Корпуса консервного завода мерцали, словно платиновые...

На улице перед Западной биологической стоял старенький автомобиль Дока; заднее сиденье завалено всевозможными ломиками, ведерками, лотками, сетями... Собрался весь Консервный Ряд, не было только Мака с ребятами. Патрон выстроил вдоль обочины бутылки «Старой тенисовки». В закатных лучах пламенела грива Фауны. Девочки обнимали Сюзи. Бекки плакала от романтических чувств.

Джо Элегант выглядывал из дверей своей пристройки. Он только что решил, что на гонорар от романа поедет в Рим.

Док держал в руке длинный список, проверял снаряжение.

А вот и Мак с ребятами: спускаются гурьбой с холма, осторожно несут треногу и длинную черную трубу. Вот они уже пересекли узкоколейку, пустырь, подошли к автомобилю, поставили трубу на треногу.

Мак откашлялся и сказал:

— Друзья, мне очень приятно от своего имени и от ребят подарить Доку вот эту штуковину.

Док глянул на подарок — и челюсть у него отвисла. Это же телескоп, да еще с таким увеличением, что луна будет как на ладони! Док с трудом подавил смех.

— Ну как, нравится? — спросил Мак.

— Очень, — ответил Док.

— Еще бы, самая здоровая труба во всем каталоге! — гордо сказал Мак.

— Спасибо, ребята... — голос у Дока перехватило. — В конце концов неважно, куда смотреть — вверх или вниз. Видеть — вот что важно!

— Ладно, мы ее потом затащим в лабораторию, — сказал Мак. — А теперь дайте-ка мне вон ту бутылку. За Дока! Ура! — И тут же шепнул Сюзи: — Поверни зажигание. Дай газ.

Зафыркал дряхлый мотор. Док хлебнул из бутылки.

— Отожми сцепление, поставь на первую скорость. Отпускай сцепление... — тихо командовал Мак своей ученице.

Автомобиль тронулся, вполз на тротуар, зацепил бампером крылечко Западной биологической и лишь потом валко съехал на мостовую и пополз прочь, волоча за собой щепки.

Вывернув левой рукой строптивую баранку, Док весело обернулся. Прощальный луч солнца озарил его лицо — смеющееся, полное жизни.

Консервный Ряд смотрел вслед Доку и Сюзи. Ветхий автомобиль вписался в первый поворот и вместе с солнцем скрылся за пакгаузом.

— Я думаю, сегодня взойдет ее золотая звездочка! — сказала Фауна. — Эй, Мак, что с тобой?

— Порок ужасен обликом весьма¹, пусть будет в нашей жизни лишь весна! — продекламировал Мак, смахнув слезу. Потом приобнял Элена: — Президент бы из тебя получился что надо!

¹ Искраженная строка из философской полеми «Опыт о человеке» английского поэта А. Попа (1688—1744):

Весьма ужасен обликом Порок,
Дабы всяк зрящий устрашиться мог;
Но, буде зрим почасту, он не мнится
Уродом страшным — и в друзья годится.

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА

В 1940 году Стейнбек вместе с Рикеттсом совершил на сейнере путешествие по Калифорнийскому заливу. В одном из небольших мексиканских портов он услышал рассказ об огромной жемчужине, однажды выловленной мальчиком-индейцем. История эта запомнилась писателю, и на ее основе он создал киносценарий и небольшую повесть, которая была опубликована в декабре 1945 года в журнале «Вумеис хоум компэниен».

Короткая назидательная притча о нашедшем необыкновенную жемчужину мальчике под пером писателя превратилась в поэтическую повесть, населенную реальными людьми в реальной обстановке капиталистического мира. Ловец жемчуга Кино, его жена Хуана, их крошечный сын Койотито и все перипетии, связанные с необычной жемчужиной, изображены писателем с той убедительностью и поэтичностью, которые присущи подлинным творениям искусства. «И как во всех историях,— отмечал Стейнбек,— рассказанных и пересказанных множество раз и запавших в человеческое сердце, в ней есть только хорошее и дурное, только добро и зло, только черное и белое, и никаких полутонов».

Это своеобразие авторского письма послужило некоторым американским критикам поводом для утверждения, что повесть написана «с точки зрения баснописца или пропагандиста, а не как результат проницательности подлинного художника». Другие критики считали, что Кино, выбросив жемчужину в море, в конечном счете признал свое поражение.

Вряд ли можно согласиться и с тем и с другим утверждением. Басня, притча требует от ее автора не менее проницательности, умения постигнуть сущность явлений, чем от автора повести или рассказа. Пропагандистский эффект «Жемчужины» бесспорен, но он-то и свидетельствует о художественной проницательности писателя, об его умении возвысить конкретный — да к тому же еще исключительный — случай до уровня общечеловеческой истины.

В повести Стейнбека жемчужина становится символом бесполезности богатства. Кино мечтал с ее помощью дать образование сыну. Но после гибели Койотито жемчужина теряет для него реальную ценность, и он выбрасывает ее в море. И акт этот — символ не поражения, а силы: Кино теперь на собственном опыте познал, как отличить хорошее от дурного, добро от зла. Именно в этом — непреходящее моральное значение повести Стейнбека.

Работая летом 1945 года в Мексике над сценарием для кинофильма «Жемчужина», Стейнбек задумал написать новый роман, что-то вроде мексиканского «Дон Кихота». Роман этот писался трудно и долго и вышел в свет в феврале 1947 года только благодаря настоятельным требованиям издателей. Новый роман назывался «Заблудившийся автобус» и отражал размышления его автора о дальнейших путях развития Соединенных Штатов Америки.

Рецензии на новый роман были весьма противоречивыми. Рецензент еженедельника «Геральд трибюн букс» хвалил книгу и, в частности, отмечал: «Заблудившийся автобус» полностью лишен какой-либо сентиментальности, и в нем начисто отсутствуют те милые недоноски, судьбой которых г-н Стейнбек последнее время был слишком сильно обеспокоен». Журнал «Америкен меркури», наоборот, утверждал, что слабостью романа является «отсутствие действующих лиц, которые бы вызывали полную симпатию Стейнбека». И далее рецензент объяснял, что, по его мнению, до сих пор «Джону Стейнбеку и его читателям лучше всего служили сентиментальная мягкость и эмоциональная вовлеченность писателя».

Такая противоречивость рецензентов мало беспокоила писателя. «Мне не стоит читать рецензий, ни хороших, ни плохих. Они только сбивают меня с толку, так как одна опровергает другую, и в результате — пустота», — признавался Стейнбек в одном из писем этого периода. Писателя больше беспокоило то обстоятельство, что критики и на этот раз не разглядели концептуального и философского смысла романа, не поняли его глубинной аллегории. Это не случайно. В те годы в США не принято было сомневаться в ценностях американского образа жизни, не модно было копаться в глубинах моральных проблем.

Повесть «Благостный четверг» вышла в свет летом 1954 года. В ней рассказывалось о послевоенном Консервном Ряде, о старых друзьях и новых пришельцах. Повесть не без оснований воспринималась и читателями, и критиками, как легкое чтение, ни на что серьезное не претендующее. Журнал «Нью рипаблик» отмечал, что повесть находится в русле главной темы писателя — «общих уз человечности и любви, которые делают возможным добро и счастье».

СОДЕРЖАНИЕ

Жемчужина. Перевод Н. Волжиной	5
Заблудившийся автобус. Перевод В. Гольщикова . . .	77
Благостный четверг. Перевод Д. Псурцева* . . .	293
Историко-литературная справка	510

* © Издательство «Правда». 1989. (Перевод.)

Джон СТЕЙНБЕК

Собрание сочинений
в шести томах

Том IV

Редактор тома
М. Д. Литвинова

Оформление художника
Ю. А. Боярского

Технический редактор
В. Н. Веселовская

ИБ 1987

Сдано в набор 5.12.88. Подписано к печати 16.03.89.
Формат 84×108^{1/32}. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 27,30. Усл. кр.-отт. 28,14. Уч.-изд. л. 28,37.
Тираж 1 700 000 экз. (5-й завод: 850 001—1 100 000).
Заказ № 3189. Цена 3 р. 40 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва,
А-137, ул. «Правды», 24.
Отпечатано в типографии издательства «Советская
Сибирь», 630048, г. Новосибирск, 48,
ул. Немировича-Данченко, 104.

Индекс 70655

